Е. Н. ВОДОВОЗОВА • НА ЗАРЕ ЖИЗНИ • МЕМУАРНЫЕ ОЧЕРКИ И ПОРТРЕТЫ

2

Е. Н.

ВОДОВОЗОВА

НА ЗАРЕ ЖИЗНИ

МЕМУАРНЫЕ ОЧЕРКИ И ПОРТРЕТЫ

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

Е. Н.

ВОДОВОЗОВА

НА ЗАРЕ ЖИЗНИ

МЕМУАРНЫЕ ОЧЕРКИ И ПОРТРЕТЫ

ТОМ ВТОРОЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

ББК 84Р1
Р62

Подготовка текста и комментарии
Э. С. ВИЛЕНСКОЙ

Оформление художника
В. МАКСИНА

Р $\frac{4702010100-125}{028(01)-87}$ 23-87

НА ЗАРЕ ЖИЗНИ

ЧАСТЬ III

Шестидесятые годы

Глава XIV

НА ВОЛЕ

Жизнь в доме родственников.— Самостоятельный выезд и полная его неудача

Через несколько часов после того, как я с великим трепетом в последний раз стояла перед строгим ареопагом институтских экзаменаторов, моя мать везла меня в дом своего родного брата Ивана Степановича Гонецкого и его жены Любовь Дмитриевны. Несколько офицеров, ежедневно обедавших у дядюшки, как у своего полкового командира, и другие гости — дамы и мужчины, все светское, исключительно военное общество — уже садились за стол. Меня подводили то к одной, то к другой даме, представляли, что-то говорили, но я ничего не понимала, подавленная и смущенная массою впечатлений. Несколько часов тому назад я еще трепетала за исход последнего экзамена, вынесла разнообразные напутственные речи моего начальства, а теперь я на воле, в первый раз в жизни попала в большое общество. Я делала реверансы часто без нужды, невпопад отвечала «да» и «нет», замечала это сама и еще сильнее конфузилась.

В первый раз сидя за большим обедом не с институтскими подругами, я мучительно раздумывала: «Можно ли съесть весь суп, налитый мне на тарелку, или хороший тон и приличие обязывают оставлять что-нибудь. Не будут ли дрожать у меня руки, когда я начну разрезать жаркое; не опрокину ли я чего-нибудь нечаянно?» Я так опасалась всего этого, что, покончив с супом, наотрез отказалась от дальнейшей еды, хотя весь день у меня ничего не было во рту.

Обед окончен: мужчины уходят курить в кабинет к дяде, дамы отправляются в гостиную. Сердце бьется уже

не так тревожно, и я начинаю прислушиваться к разговорам дам. Оживленно болтают о покроях платьев, о модных шляпках. «Как, разве можно говорить теперь о таких пустяках?» — совершенно серьезно спрашиваю я себя.

Новая система обучения в институте, введенная Ушинским, который к тому же сам лично имел громадное влияние на институток, заставила нас в последние полтора года серьезно поработать над своим образованием. Но это дало нам лишь кое-какие элементарные сведения по некоторым отраслям знания, но не могло подготовить к жизни нас, с раннего детства изолированных от нее. Многие идеи шестидесятых годов, бродившие в обществе, проникали и через наши толстые стены, но большею частью в совершенно искаженном виде, и в нашем мозгу в конце концов образовался какой-то хаос. Я лично вынесла убеждение, что теперь стыдно в обществе вести разговоры о туалетах, что все без исключения заняты ныне разрешением серьезных вопросов, но какие из них можно считать таковыми, я в этом не всегда разбиралась. Не имела я ни малейшего представления и о том круге людей, в среду которых я случайно попала.

Новые мои знакомые, почти исключительно из военного круга, продолжали и в шестидесятые годы свой прежний образ жизни, ничего общего не имевший с идеалами тогдашнего общества. Правда, кое-кто из людей этой среды тоже окунулся в водоворот тогдашней кипучей жизни, но, во всяком случае, таких было крайне мало. Мои же новые знакомые стояли в стороне от общественного движения. До них доносился лишь весьма отдаленный шум бурного потока, который с могучею силою несся по русской земле. До их ушей доходили обыкновенно только курьезы и пошлости, выкидываемые, если можно так назвать, «формалистами движения» этой эпохи, которые только по внешности придерживались идей и стремлений шестидесятых годов. Под их покровом они проделывали вещи нередко весьма безобразные и пошлые, одни — вследствие своего скудоумия, другие — для того, чтобы ловить рыбу в мутной воде. Узнавая только курьезы о последователях новых идей, знакомые моего дяди высмеивали все общественное движение, рассказывали о нем небылицы и представляли все и всех в комическом виде.

К нам в гостиную начали входить мужчины. Подле меня сел один из офицеров и спросил, почему я не принимаю никакого участия в разговоре. Я отвечала, что тут говорят о модах, о которых я не имею никакого понятия, да они

меня и не интересуют. При своей экспансивности и наивности я имела глупость прибавить еще:

— Я думала, что услышу рассуждения о литературных произведениях, о правах человека, а тут болтают только о тряпках...

— Не советую вам, mademoiselle, идти по этой стезе... Этак, пожалуй, вас скоро увлекут девицы, которые отрезывают свои косы, и молодые люди, разгуливающие лохматыми!.. Да-с, теперь молодежь перестает мыться, чесаться и прилично одеваться, и все это чтобы выгадать время для изучения наук!.. Неужели ради этого и вы погубите ваши косы?

В эту минуту к нам вошел дядя и предложил потанцевать. Одна из дам села за рояль, и я весь вечер с увлечением носилась в вальсах и польках. Офицер, который высказал опасение за участь моих кос, заметил мне, что теперь он успокаивается насчет моей будущности: страсть к танцам удержит меня «от неприличного общества экстравагантных лохмачей обоего пола».

Первые недели, проведенные в доме родственников, сонная, однообразная жизнь, пустые разговоры окружающих все сильнее угнетали меня. Сильно возмущала меня и нравственная сторона этих людей. Я постоянно замечала лицемерие, фальшь и угодничество подчиненных офицеров относительно моих превосходительных родственников, их любезную готовность служить им, выказываемую в их присутствии, и беззастенчивые насмешки над ними за их спиной. Что касается моей тетушки, то она особенно поражала меня своим ничегонеделанием, растительною жизнью, которую она вела, необыкновенною сонливостью и интересами, проявляемыми ею лишь к мелочам.

Это была женщина роста выше среднего, в ту пору лет под сорок, с остатками если не красоты, то миловидности и светского изящества; но ее чрезвычайно портила улыбка, застывшая на губах ее неоживленного лица. Она просила меня называть себя не тетя (что она находила вульгарным), а «ma tante», была чрезвычайно любезна со мною, но истинной доброты от нее я не видала,— по своей натуре она вообще была к добру и злу совершенно равнодушна.

Когда она приходила в столовую утром, она долго перемывала уже вымытую посуду, а покончив со своими «чайными обязанностями», отправлялась в сопровождении лакея осматривать комнаты; при этом она поднимала с пола и мебели каждую соринку, кусочек ниточки или обронен-

ную булавку и, указывая находку, спрашивала своим обычным спокойным голосом:

— А это что же?

Получался ответ:

— Вероятно, маленький барин изволили обронить.

— А на вазе опять грязь? — спрашивала генеральша.

— Да ведь это муха! Разве ее уследишь, треклятую? Где села, там и нагадила!

— Рассуждения о мухе можешь оставить при себе.

Все свои замечания тетушка высказывала, не повышая и не понижая тона, без запальчивости и раздражения, но так как ежедневно на нескольких предметах она усматривала что-нибудь, не согласовавшееся с ее понятием об идеальной чистоте и аккуратности, то обыкновенно приказывала по нескольку раз в день подметать добрую половину своей огромной казенной квартиры. Несмотря на то что генеральша держала себя с прислугою без окриков и брани, та ненавидела ее как за придирчивость ко всякой мелочи, так и за требовательность какой-то сверхъестественной чистоты, а еще больше за ужасающую скупость. Повар не смел поставить суп на плиту, не доложив ей об этом, и по числу обедающих должен был при ней наливать в кастрюлю известное количество кружек воды. В ее комодах, в разных узелках и мешочках хранились самые крошечные обрезки материй и полотна. Когда приходилось чинить белье или платье детям, генеральша, прежде чем выдать горничной лоскуток, долго приноравливала его к дырке, чтобы не дать обрезок чуть-чуть больше того, чем было нужно. Если кто из прислуги жил в ее доме подолгу, то только благодаря ее супругу, которого домашние служащие очень любили.

Вспыльчивый, крикливый и шумливый генерал был по натуре жалостливым и добрым человеком. После вспышки гнева, во время которой он осыпал провинившегося, а иногда и невинного, отборною русскою бранью, он то и дело потихоньку совал обиженному им рублевку или трешницу, но под условием не сметь пикнуть об этом генеральше.

Обзор комнат так утомлял пользующуюся неизменно превосходным здоровьем генеральшу, что она часа за полтора до утреннего завтрака ложилась отдохнуть. Добросовестно выполнив обязанности хозяйки дома, она немедленно засыпала так крепко, что ее приходилось долго будить каждый раз, когда кушанье было подано. Ее способность спать долго и много была просто изумительна. Так же крепко спала она и перед обедом, и перед вечерним чаем,

и этот троекратный отдых днем при совершенном отсутствии физической и умственной деятельности совсем не мешал ее крепкому сну по ночам. Если приезд гостей или выезд с визитами выбивал ее из обычной колеи, она наверстывала свой сон, ложась в постель тотчас после вечернего чая, и тогда уже спала до следующего дня по тринадцать и четырнадцать часов сряду.

Ее супруг обладал живым темпераментом и отличался противоположными свойствами. При деятельной натуре, его, видимо, поражала в жене ее необыкновенная наклонность ко сну, и он вечно подтрунивал над нею. Когда она заспанная выходила к вечернему чаю, он, сдерживая свою смешливость, говорил: «Сегодня, кажется, было особенно сладкое «до», но, может быть, это было «по»? (*«до»* и *«по»* он называл привычку жены спать *до* и *после* еды). Этого было совершенно достаточно, чтобы прогнать с глаз генеральши последние остатки сна. Она, по собственному признанию, никогда не испытывала к кому бы то ни было ни страстной любви, ни ненависти; ее кровь всегда спокойно переливалась в жилах, но эта насмешка мужа выводила ее из себя и волновала до такой степени, что ложки и стаканы, которые она перетирала, звенели в ее руках. Она бросала на мужа взгляд презрительной укоризны и отвечала своим спокойным голосом: «Да, я заснула». Но генерал уже не мог сдерживаться: он фыркал так, что чай брызгал у него изо рта.

— Вместо того чтобы делать совсем неподходящие замечания другим, вам бы давно следовало выучиться пить чай поприличнее...— холодно отчеканивала генеральша.

— Из-за чего же тут обижаться, мой друг? Уверяю тебя... я всегда изумляюсь твоему постоянству и выдержке. Если, например, солдат перед сражением...

— Потрудитесь передать солдату то, что ему нужно знать, а меня прошу уволить! — И она гордо и не торопясь выходила из столовой.

За нею быстро бежал генерал, упрашивая ее не сердиться, но, когда возвращался в столовую, еще долго сморкался и кашлял, подавляя смех, снова и снова душивший его.

Обед и завтрак для генеральши — самое напряженное время: трое ее детей (два мальчика и девочка) вбегали тогда в столовую в сопровождении бонны. Их неугомонность, шаловливость, непоседливость, перескакивание с места на место повергали их мать в отчаяние. Но она и на них не кричала, не давала им эпитетов «болванов», которыми нередко осыпал их отец, не грозила им, как он, «розгача-

ми» и «березовой кашей», но отстраняла их руки, хватавшие со стола все, что попадалось, и с мукою в голосе произносила: «Разве это прилично?»

После завтрака, если она не выезжала с визитом, она садилась за работу: починка лопнувших швов на лайковых перчатках и пришивка к ним пуговок были ее единственным рукоделием. В такое время она приглашала меня поболтать с нею до наступления ее предобеденного сна, но затем решила утилизировать этот час с большею пользою и просила меня читать детям народные сказки, говоря, что знакомство с народным языком, как она слыхала, считается теперь необходимым. Один из офицеров по ее просьбе принес какой-то сборник для учащихся, и я начала читать одну из сказок, но, как только попадалось какое-нибудь выражение вроде «простофиля», «дурачина», «бесы», «черти», тетушка приходила в ужас, находя их крайне вульгарными. Она просила меня заменить эту книгу Кольцовым, но, когда я прочла несколько его стихотворений, она вознегодовала еще более. «Какую пользу,— рассуждала она,— может принести знание таких мужицких выражений, как «раззудись, плечо», «горит горма», «старый хрен заупрямился»? Речь образованного человека всегда должна отличаться отсутствием грубых выражений!» Относительно стихотворения «Дума сокола» [1] она заметила: «Какая глупая мысль идти куда глаза глядят! Это, конечно, понравится детям, но им необходимо внушить стремление, обратное тому, что проповедует Кольцов. Люди должны отдавать себе отчет в том, что делают, а не идти куда глаза глядят!»

Когда Кольцова я заменила сказками Пушкина, от тетушки досталось и последнему.

Я спросила ее, неужели раньше она не читала ни Пушкина, ни Кольцова и не училась русской литературе? Она отвечала, что, конечно, училась, даже множество стихотворений Пушкина у нее переписаны в альбомчике, но что все эти пустяки у нее, слава богу, давно испарились из головы.

Постоянно выслушивая жалобы тетушки на то, как для нее утомительны и несносны визиты, вечера, театры, гости, званые обеды, я с удивлением спрашивала, кто ее вынуждает ко всему этому.

— Положение мужа... Наконец, все так живут! Если бы я могла делать то, что хочу, я никогда не вставала бы с своей софы.

Первое время меня сильно интересовала тетушка, как

особа без каких бы то ни было личных желаний, вкусов, интересов, самых элементарных человеческих требований, даже без стремления к простому движению, пока я не поняла, что она всецело принадлежит к растительному миру.

— Почему вы не выберете себе знакомых по вашему вкусу, из людей, которые не стесняли бы вас?

Она просто отвечала:

— Разве не все равно, один или другой? Мне и в молодости было решительно все равно, кто будет нас посещать — те или другие знакомые, лишь бы это были люди приличные!

— А театры? Неужели и они не доставляют вам удовольствия?

— Конечно, театры несколько развлекают, но ведь и для них необходимы сборы: одеваться, ходить по лестницам, ехать. Во всяком случае, никакое представление не увлекало меня так, как тебя. Ты ведь голову теряешь в театре: перевешиваешься через барьер, плачешь, смеешься! У меня и в ранней молодости никогда не было такой экзальтации, да ее и не может быть там, где девушек воспитывают надлежащим образом.

На мое замечание, что она проповедует такой индифферентизм ко всему на свете, точно сама разочаровалась во всем, тетушка очень посмеялась над моею наивностью.

— Благодаря разумному воспитанию,— возразила она,— меня не допускали до восторгов, и я в большом выигрыше: не испытала в жизни никаких разочарований. В прежние времена девушки, небрежно воспитанные, мечтали при луне, но, по крайней мере, от этого им не было ни тепло ни холодно... Ну, а теперь это кончается более трагично: они волнуются, кипятятся, влюбляются в кого попало, даже в таких бедняков, которые не могут прокормить семьи. О мое дитя, пожалуйста, подумай об этом... Только в глупых и очень вредных романах можно проводить мысль, что с милым рай и в шалаше! В действительности же мечты о шалаше испаряются очень скоро, и наступает период разочарования, а еще чаще злобы ко всему, кто лучше одет, кто катается в хорошем экипаже! Вот почему эти несчастные смотрят на нас, как на бездушных созданий! Уверяю тебя, все это из зависти... Помни, дитя, что даже для того, чтобы делать добро, как проповедуют писатели, необходимо быть богатой.

Обычные посетители дома моих родственников мало интересовали меня и были для меня весьма несимпатичны.

Как уже было сказано выше, у дяди, как у полкового командира, ежедневно обедало несколько офицеров его полка. Как-то пришли они немного раньше обеденного часа, и лакей, вводя их в столовую и не зная, что мы с тетушкой уже возвратились с прогулки, сказал им, что нас не было дома, а между тем мы сидели в комнате, соседней со столовой, и слышали разговор офицеров между собой. Один из них передавал другому о том, что однажды видел, как «скареда» (он так честил тетушку) собирала после гостей остатки фруктов в особую корзину и сливала недопитое вино, дополняя им начатые бутылки. Другой рассказывал о том, какое страдание выражается на ее «каменном лице», когда ей приходится класть сахар в стаканы гостям. Тетушка при этом вспыхнула и головой показала мне на дверь. Мы встали и тихо вышли в другую комнату.

Пораженная поведением ее гостей-завсегдатаев, я с возмущением громила их за лицемерие и фальшь, но тетушка остановила меня словами: «C'est la vie!» * Когда мы сели за обед, она обращалась с офицерами, только что ужасно отзывавшимися о ней, с своею обычною вежливостью, предупредительностью и любезностью. Я уверена, что об этом инциденте она не рассказала своему мужу, потому что тот и сам частенько конфузился ее скаредности.

Дядюшка своею природною живостью, простотою и искреннею добротою ко мне нравился мне несравненно более своей «каменной супруги», но и он своими рассказами, шутками и прибаутками во время наших продолжительных обедов повергал меня в отчаянное смущение. Когда анекдот достигал до апогея скабрезности, тетушка прерывала увлекшегося супруга словами, которые она почему-то всегда находила необходимым сказать по-французски: «Прекратите же наконец! Ведь ваша племянница — молодая девушка!» Дядюшка все-таки оканчивал начатое, но уже в сокращенном виде, сопровождая некоторые слова хохотом и фырканьем. Присутствующие вторили смеху его превосходительства. Я обыкновенно не понимала, в чем была тут соль, впрочем, соли, вероятно, и не было, а была только одна сальность. Я по крайней мере чувствовала лишь то, что в повествовании дядюшки было что-то грязное, чего не следовало рассказывать. Но нередко и те рассказы, в которых не было скабрезности, возмущали меня до глубины души.

---

* Такова жизнь! *(фр.)*

— Вчера приходит ко мне с докладом солдат моего полка,— ораторствует он.— А я уже кое-что слышал о нем. Он, видите ли, не то какой-то отщепенец, не то старовер или раскольник: уж и не знаю, как там называются у них все эти благоглупости. Как только я его увидал, так и вспомнил эту его чепуху, и меня так и взорвало! Выслушал доклад и спрашиваю: «А как крестишься?» Молчит. «Не слыхал разве, болван, что у тебя спрашивают?» И вдруг, как вы думаете, этот солдат, который всегда был на прекрасном счету, нагло вытягивает передо мной два пальца. «А третий, где третий палец, скотина?» Меня это окончательно взбесило... я его так ткнул, что он покатился с лестницы и с верхней площадки до нижней все ступеньки пересчитал! Ну, и затем ему от меня еще порядочно-таки досталось!..

— Héros impertinent! * — ударив его по руке веером, кокетливо произнесла его соседка.

— О да... вы действительно истинный защитник нашей православной религии и нашей святой родины! — щебетала другая.

— Вы, дамы, рады преувеличивать наши заслуги! — отшучивался дядюшка.

Он строго распекал каждого кадета, каждого встречного военного, если тот не отдавал ему чести по самому строгому кодексу военных правил. Но застигнутый им врасплох мог несколько смягчить его сердце, если тут же усердно извинялся, призывал бога в свидетели, что не заметил генерала, при этом то и дело прикладывал руку к козырьку, пожирал глазами его превосходительство и всей фигурой изображал страх, почтение и раскаяние. Дядюшка старался выискать малейшее упущение в форме и поведении военного, но не по злобе, которою не отличался, не по честолюбию, которым не страдал, а только потому, что глубоко был убежден в том, что самое ничтожное отступление от дисциплины, как червь, подтачивает все устои и основы русского государства и внедряет в умы подчиненных опасное шатание мысли.

Миросозерцание дядюшки не отличалось ни глубиною, ни сложностью: образ правления, нравы, обычаи, одним словом, все, что было на Западе, он находил глупым, пошлым и смешным, а что было в России — превосходным и трогательным. Вследствие этого он свирепо осуждал всех, кто ездил за границу. Если туда отправлялись лечиться, он считал это идиотством: по его мнению, у нас существуют

---

* Дерзновенный герой! *(фр.)*

лечебные местности лучше, а не хуже заграничных; осуждал и тех, кто ехал за границу, чтобы пожить среди красивой природы,— он находил, что у нас на Кавказе и в Крыму такие чудные места, каких не существует нигде на свете, а тех, кто в западные столицы ездил запасаться туалетами, он считал настоящими преступниками против родины, лоботрясами и пошлыми форсунами, так как они в таких случаях, по его мнению, поощряли западноевропейскую промышленность в ущерб родной, русской.

Однажды он отправился со мной в магазин игрушек и потребовал игрушечную мебель. Когда она была ему подана, он заметил торговцу, что цена несообразно высока, а тот оправдывался тем, что это вещи парижские, хотя и дорогие, но зато превосходной работы.

— Молчать, дубина! — загремел генерал.— Значит, по-твоему, все русское дрянь? Если ты родину любишь и порядочный торговец, ты должен был бы держать только свое, русское.

Ему подают дешевые русские игрушки, но он находит их негодными, и перед ним снова раскрывают ящик с французскими изделиями, не указывая на штемпель. Он одобряет их, платит деньги и уходит. Дома, развернув покупку, он находит французское клеймо, разражается ругательствами, дает слово возвратить купленное, но затем, махнув рукой, дарит игрушки детям.

Будучи по натуре добрым, даже мягкосердечным и участливым, он проявлял эти качества лишь в семейной, обыденной жизни, но был до невероятности жесток, когда дело касалось людей, уличенных в политической неблагонадежности. Он готов был помогать и великодушно помогал каждому бедняку, которого встречал, но, избавляя от нищеты одного, он мог тут же изувечить другого, унизить и насмеяться над его человеческим достоинством, если только тот не исповедовал его допотопных идеалов, служения православию, самодержавию и народности [2], не разделял его упрощенной обывательской морали.

Особенную ненависть и презрение вызывали в нем политические преступники. Какую бы жестокую кару ни несли они за свои поступки, он всегда обвинял правительство в слишком большом снисхождении к ним, находил, что если бы он лично взялся за истребление «этой шайки отъявленных негодяев и величайших в России преступников», их бы через месяц-другой не осталось и следа.

— Вы говорите, что этих голоштанников, этих шутов гороховых будут судить? — спрашивал он, когда услыхал

об одном политическом процессе.— Удивительно, как не понимают того, что такое отношение слишком большая честь для них! Каждому, кто уличен в политической неблагонадежности, прежде всего следует всыпать горячих розгачей, а тех из них, кто посмелее кричит о братстве, равенстве, свободе и о другом в таком же роде бессмысленном вздоре, отодрать шпицрутенами! — Дядюшка был искренно убежден в том, что, если к людям политически неблагонадежным была бы применена подобная мера, все политические преступления исчезнут с лица русской земли, как по мановению волшебного жезла.

Он неутомимо заботился о благосостоянии солдат, но как к ним, так и ко всем подчиненным был чрезвычайно требователен и жестоко карал за малейшее нарушение дисциплины. Человек он был малообразованный и совсем неначитанный: получив лишь плохое корпусное образование, он никогда не пополнял его. Он часто усматривал потрясение государственных основ там, где их не было и следа, иногда открывал их в самом легком нарушении правил военной службы, а в гражданской жизни — в устном или печатном выражении либеральных мнений.

Добросовестный, строго исполнительный по службе, генерал Гонецкий всеми фибрами своего существа был преданным рабом самодержавия и служил верою, правдою и своею кровью всем трем монархам, в царствование которых он жил. Без колебаний и страха он всегда готов был отдать свою жизнь за каждого из них, и ни в больших, ни в малых чинах никогда не прибегал к лести перед сильными мира: своим быстрым повышением по службе он был обязан исключительно своей необыкновенной храбрости и безукоризненному исполнению своих обязанностей. И в молодости, и на старости лет, уже в самом высоком положении, он держал себя чрезвычайно просто со всеми и гордился тем, что всем «режет в глаза правду-матку». И это было вполне справедливо: в его преданности царю было много прямоты и безукоризненной честности, что особенно подтверждает один оригинальный инцидент, случившийся с ним несколько позднее описываемого мною времени и рассказанный им самим мне и моему мужу под величайшим секретом через несколько лет после «происшествия».

Когда после усмирения польского восстания 1863 года [3], во время которого генерал Гонецкий отличился [4], он явился во дворец по поводу назначения ему значительной награды, у императора Александра II находился в эту минуту его брат, великий князь Константин Николаевич.

В известном кругу русского общества существовало в это время убеждение, что польский мятеж вспыхнул вследствие того, что русские власти мирволили полякам и что тон этой опасной для России миролюбивой политики давал не кто иной, как наместник Царства Польского великий князь Константин Николаевич [5].

Известно, что великий князь Константин Николаевич имел большое влияние на дела государства (в период 1856—1862 годов) и стоял во главе прогрессивной партии правительства, между тем Иван Степанович Гонецкий был диким консерватором [6] и всю жизнь придерживался совершенно противоположных взглядов. Уже одно это не давало возможности Ивану Степановичу относиться к брату государя с таким же благоговением и любовью, с какими он относился ко всем остальным членам царской фамилии. Когда же в известной части общества стали осуждать великого князя Константина Николаевича за то, что он мирволил полякам, верноподданническое сердце Ивана Степановича вскипело негодованием.

Великий князь Константин Николаевич не мог, конечно, ожидать проявления враждебных чувств к себе от такого человека, как генерал Гонецкий, который прославился своею неподкупною, беспредельною преданностью царю и его семейству; проходя через приемную и заметив в ней генерала, он сказал радушно: «А, Гонецкий» — и протянул ему руку. Вместо того чтобы пожать протянутую руку, Иван Степанович заложил свои руки за спину со словами: «Врагу моего государя и отечества руки подать не могу!» Пораженный этими словами, великий князь бросился в кабинет своего брата, с которым и вышел в приемную через несколько минут. Взбешенный государь закричал Ивану Степановичу, что еще не было примера такой неслыханной дерзости, нанесенной в его собственном доме самому близкому члену его семьи.

Таким образом, мой дядя хотя и был рабом своего государя, но не корыстным, вероломным и лукавым, какими обыкновенно бывают рабы, а честным, преисполненным искренней любви, готовым пролить за царя и отечество всю кровь до последней капли.

Хотя, благодаря доброте и вниманию ко мне дяди, мне удавалось довольно часто посещать оперу и драматические представления, но общество, окружавшее меня, все более претило мне, и я рвалась в круг людей трудящихся, как это настойчиво советовал мне Ушинский, мнением которого я особенно дорожила, но ни в тот момент, ни в ближайшем

будущем не видела возможности попасть в него и посещать лекции, бывшие тогда в большом ходу [7]. Моя мать, занятая своими делами и исполнением разнообразных провинциальных поручений, редко могла сидеть дома. Она не прочь была пускать меня одну, но, когда она однажды высказала это, тетушка ясно и определенно заявила ей, что она считает крайне неприличным для меня, как для молоденькой девушки, выезжать без провожатой, и притом на извозчике. Моя мать убеждала ее, что через месяца два-три, когда я приеду домой, она все равно предоставит мне полную свободу, так как не имеет средств ни нанимать для меня компаньонок, ни держать карету. Тетушка доказывала, что тогда будет другое дело,— она, как мать, может делать со мной, что ей угодно, а теперь, когда вся ответственность за меня лежит на ней, моей тетушке, в доме которой я живу, она убедительно просит отнюдь этого не делать. Матушка дала ей слово вполне подчиняться ее желанию. Но тут же, заметив мое огорчение, тетушка начала утешать меня, давая торжественное обещание, что, если я захочу посещать моих институтских подруг, ее бонна и карета всегда будут к моим услугам.

Однако со стороны тетушки это была одна словесность: бонна постоянно нужна была ее детям, карета всегда была занята, а если освобождалась, то оказывалось, что лошади были утомлены. Матушка тоже скоро убедилась в том, что я не могу рассчитывать на обещания тетушки, тем не менее, когда разговор заходил об этом, она каждый раз подтверждала, что я с своей стороны не имею ни малейшего права нарушить слово, данное тетушке, так как мы обе живем на ее полном иждивении. Это каждый раз вызывало во мне краску стыда и негодования.

— Конечно, вы правы, я должна слепо повиноваться ее распоряжениям, так как ем ее хлеб! Как ужасно быть такою жалкою и несамостоятельною! — говорила я с отчаянием. Матушка сильно подсмеивалась над тем, что я думаю о самостоятельности уже через несколько дней после выхода из института.

Однажды после завтрака кроме меня никого не осталось дома: дядя и тетушка отправились с визитами, чтобы затем ехать на званый обед; моя мать тоже куда-то уехала и должна была возвратиться только к шести часам. После их отъезда я стала расхаживать по анфиладе огромных пустых зал, роскошно обставленных дорогою мебелью. Был холодный, морозный день; еще стояла санная дорога, но солнышко заманчиво и ярко светило в огромные зеркаль-

ные стекла окон, выходивших на набережную. У меня сжалось сердце при мысли, что хотя я на воле, но сижу взаперти еще при более печальных условиях, чем даже в институте: там были хотя подруги, а тут ни души, с кем можно было бы перекинуться словом. Вдруг я заметила у наших окон извозчиков, когда в сани одного из них садилась какая-то дама. У меня мелькнула мысль, что я могла бы съездить к моей любимой подруге, которая была в институте экстерной и занимала с своею теткою особое помещение на вдовьей половине Смольного.

«Как приятно,— думала я,— прокатиться в такую чудную погоду и поболтать с подругой!» Эта мысль так овладела мною, что больше я уже ничего не соображала; надеть пальто и шляпу было делом одной минуты, и я очутилась на набережной; я вскочила в первые попавшие сани и приказала везти себя в Смольный. Как это ни невероятно, но, тотчас после выхода из института, я не имела ни малейшего представления о том, что прежде всего следует условиться с извозчиком о цене, не знала, что ему необходимо платить за проезд, и у меня не существовало даже портмоне.

На Николаевском мосту скопилось много экипажей, и мой извозчик поплелся шагом. Вдруг ко мне вплотную подошел какой-то оборванный мастеровой, от которого несло водочным перегаром, и что-то заговорил, размахивая руками прямо в лицо. Это так меня испугало, что я начала кричать во все горло. В эту минуту мы переезжали мост, и только что повернули на левую сторону набережной, как передо мною, точно из земли, вырос офицер с лошадиным лицом, тот самый, который так нелестно отзывался о моей тетушке.

— Стой! — закричал он моему извозчику и обратился ко мне.— Как, вы не в карете? И без dame de compagnie? * Куда вы отправляетесь? — властно допрашивал он.

— Я вам не обязана отчетом! И вы не смеете в таком тоне разговаривать со мной!

— А!.. Значит, вы устраиваете это en cachette!.. ** Просто-напросто убежали без дозволения старших, потому что ваши сегодня уехали! Сейчас... сию минуту... извольте вылезать из саней!.. я вас провожу до дому.

— Как вы смеете мне приказывать? Дрянной, противный человек!

---

* Здесь: без сопровождающей *(фр.)*.

** тайком *(фр.)*.

— А, так вот вы как! Прекрасно! Все это будет доложено и вашему дядюшке, и вашей тетушке. Очень порадуете ваших родственников, которые так бесконечно добры к вам!

— Уж никак не вам это говорить! Вы даже не понимаете всей низости предательства!

Покраснев до ушей, офицер резко отошел от моих саней.

Отделавшись от него, я ехала уже далеко не в радужном настроении: меня охватывал страх, что вот-вот ко мне опять кто-нибудь подойдет. Моя тревога еще более усилилась, когда я вдруг вспомнила, что нарушила слово, данное матери и тетушке, и что за это мне придется вынести множество неприятностей.

Но вот я у подъезда института: отстегиваю полость и направляюсь в коридор: чтобы проникнуть в одну из комнат какой-нибудь жилицы вдовьего дома при Смольном, нужно было перейти множество бесконечных и длиннейших коридоров. Вдруг я услыхала за собой неистовый крик моего возницы: «Деньги, что же деньги?» А затем ряд ругательств, которые он посылал мне вдогонку. «Господи! Как он бесцеремонно требует у меня денег! Значит, он простой разбойник и решил ограбить меня среди белого дня!.. Наверно, сейчас бросится на меня!» И я опрометью побежала дальше. При повороте коридора я столкнулась с Луизою Карловною, добрейшим немецким существом, теткою моей подруги, которую я приехала навестить. С бьющимся сердцем, едва переводя дыхание, я впопыхах, бестолково передавала ей о том, как извозчик хотел меня ограбить. Она ничего не понимала. Подошел и извозчик. Страх нападения при третьем лице не беспокоил меня, и я смело начала обличать его в разбойнических намерениях.

— Подумайте, сударыня,— перебил меня извозчик, обращаясь к Луизе Карловне,— села она со мной с Пятнадцатой линии, не рядилась, думаю, что ж, настоящая барышня, пожалуй, трешницу даст. Весь город проехали, а она как деньги платить — прочь бежать! Ишь ты, думаю, не дам смазурить, лошадь бросил, чтобы, значит, нагнать ее.

Луиза Карловна поняла наконец, в чем дело:

— Я заплачу тебе... барышня ничего не понимает...

— Я тоже смекаю: не то она придурковата, не то блажная какая... На дороге из-за пьяного на всю улицу орала, а тут еще какой-то офицер повстречался, так тот прямо из саней хотел ее высадить: видно, из-за придуркова-

тости такую боязно из дому пускать!.. Так ведь она-то так кричать на него зачала, что тот и отступился.

Я чуть не разрыдалась от этих новых оскорблений. Наконец мы вошли в комнату и уселись. Луиза Карловна спросила у меня о том, как могла я вообразить, что извозчик повезет меня даром.

— Я думала, что извозчики представляют своего рода общественное учреждение, которым желающие пользуются бесплатно.

— А вы знаете какие-нибудь такие учреждения?

Мне пришло в голову, что таким общественным учреждением может считаться колодезь: никто не спрашивает, когда берут из него воду. И я высказала это Луизе Карловне.

— Если в вашей деревне имеется колодезь, то он, вероятно, был устроен на деньги вашей матери. Разумеется, ваши рабочие и служащие брали из него воду бесплатно, но другие, конечно, должны были спрашивать позволения.

«Правда, тысячу раз правда! — думала я.— Ведь живя в деревне, я это прекрасно понимала, но как-то все это перезабыла за время своего институтского воспитания...»

Когда мне пришлось возвращаться домой, заботливая Луиза Карловна приказала нанять для меня извозчика, записала нумер пролетки, засунула мне за перчатку мелкие деньги, которые я должна была заплатить за проезд, но провожать меня домой было некому.

Совсем не сладкой показалась мне моя самостоятельность: меня тревожила предстоящая сцена с родными за самовольную отлучку, но еще более охватывал ужас при мысли о моей неподготовленности к жизни. И я тут же начала припоминать свои промахи и бестактности за время моей двухнедельной свободной жизни. Я не знала, в чем, собственно, они проявлялись, но признавала таковыми все то, что при моих словах давало повод присутствующим то улыбнуться, то с удивлением взглянуть на меня, то смеющимися глазами подмигнуть на меня соседу, а все эти мелочи я умела хорошо наблюдать. Теперь все это приходило мне в голову и повергало меня в настоящее отчаяние. Мучило меня и то, что в простой обыденной жизни я то и дело не знала, как поступить, не умела отличить мелочного от важного. Я вполне сознавала, что деньги, уплаченные за мой проезд Луизою Карловною, должна будет заплатить моя мать, но я не знала, имела ли я право без предварительного ее разрешения тратить деньги на свои удовольствия,

наконец, как считать израсходованную мною сумму — большою или малою, не слишком ли ощутительна будет эта затрата для моей матери, или такие деньги считаются пустяками?

Когда я подробно изложила матери все происшествия моей поездки, она заметила, что все это она сама передаст родным, что лично она не очень строго отнеслась бы к содеянному мною отчасти потому, что в молодости все бывают легкомысленны, к тому же я сама достаточно намучилась за все это. Тут мы услыхали голоса наших в вестибюле, и я убежала к себе.

— Вероятно, все обошлось бы благополучно,— сказала моя мать, входя в нашу комнату,— но мне пришлось удалиться: к брату пришел рыжий офицер, который угрожал донести на тебя, что, конечно, и приводит теперь в исполнение.

Наконец к нам вошел и дядюшка: он молча встал передо мной в свою излюбленную позу, в какой он имел обыкновение произносить длинные речи:

— Ну-с, милая племянница! В этой истории прежде всего скверно то, что ты нарушила приказание, данное тебе женою и соблюдать которое ты дала слово. Твоя мать часто не соглашается со взглядами жены на все эти ваши женские комильфотности... [8] Вероятно, в этом ты и черпаешь оправдание твоему дерзкому, своевольному поведению! Повторяю, когда ты приедешь домой, ты будешь поступать так, как этого желает твоя мать, тут же ты будешь делать только то, что требует от тебя твоя тетушка. Хотя я мало понимаю в ваших женских комильфотностях, но вижу, насколько была права жена, запрещая тебе самостоятельные выезды. Приятно было тебе, когда какой-то пропойца, размахивая грязными ручищами перед твоим носом, обдавал тебя сивухой? А ведь могло бы быть и гораздо хуже: в другой раз, когда ты опять задумаешь насладиться самостоятельностью, такой оборванец вскочит к тебе в сани с выпученными глазами, чмокнет тебя прямо в губы, выбросит тебя из саней, потащит по снегу, осыпая колотушками и площадными ругательствами...

— Ах, братец, да что же вы это запугиваете бедную девочку! Ведь ничего такого не бывает и не может быть! — прервала его матушка, заметив, что я от страха трясусь как осиновый лист.

— Вот видишь ли, сестра, сама ты не умеешь сделать никакого наставления и мне мешаешь! У вас там в провинции, где все знают друг друга, может быть, этого и не

бывает, а здесь легко может случиться кое-что и похуже с такой девчонкой, у которой на лице написано, что она ничего не понимает. (Он называл мою мать «сестра» и «ты», а она его «вы» и «братец».) Ведь вот я начал как следует,— говорил он, обращаясь к матери укоризненно,— а ты меня перебила... я даже забыл, на чем остановился. Ну, так слушай, сестра, что я тебе скажу: ты ведь не имеешь понятия, почему твоя дочь устроила эту самостоятельную поездку, а я прекрасно знаю, откуда это у нее. Смольный институт наводнили новыми учителями. Эти дуроломы и нажужжали девочкам в уши о самостоятельности, о сближении с народом... Ну-с, милая племянница, теперь ты сблизилась с народом, можешь, кажется, понять, насколько это приятно для порядочной девушки! А сейчас я хочу поговорить с тобой о вещах еще более серьезных. Скажи, как ты смела так нагло, так заносчиво и дерзко держать себя с Иваном Ивановичем, с этим во всех отношениях прекраснейшим и достойнейшим офицером?

— Дядя, дорогой, умоляю вас, скажите мне, неужели, если бы вы были на месте этого офицера, вы стали бы доносить родственникам на молодую девушку? Нет, нет, дядюшечка дорогой, вы никогда не запятнали бы себя этим! Вы, конечно, строго пожурили бы виновную, но наушничать на нее, ябедничать, доносить никогда не позволили бы себе!

При моих словах дядю передернуло от брезгливости: в житейских делах он был человеком малосообразительным, и, вероятно, ему не приходила в голову обратная сторона поступка его офицера. Он с минуту молчал, вероятно обдумывая, как бы с честью вывернуться из истории, принимавшей неожиданный для него оборот.

— Видишь ли, моя милейшая, но дерзкая на язык племянница... Ты прежде всего должна молчать, когда старшие с тобой разговаривают. К сожалению, тебе даже и этого не сумели внушить твои гениальные учителя. Знаешь ли ты, почему надо повиноваться старшим? По обыкновению, не знаешь! И это опять я должен тебе объяснять. Так слушай же: повиноваться старшим необходимо уже для того, чтобы впоследствии повелевать другими...

— Да мне же никогда не придется повелевать. Не буду же я, как вы, дядюшечка, полковым командиром или каким-нибудь начальником?

— Нужно отдать тебе справедливость: ты пренеснос-нейшее создание, и язык твой — враг твой! В царствование блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны тебе бы его отрезали! Да, весьма печальны, мой друг, результа-

ты твоего воспитания! Держу пари, что ты не понимаешь даже, кого ты должна представлять в данную минуту. Не знаешь, конечно, говори же?

— Как это представлять, дядюшечка? Я никого не представляю...— отвечала я в полном недоумении.

— Я так и знал, что ты и этого не понимаешь! Так изволь же запомнить, что ты в данную минуту не кто другой, как обвиняемая, обязанность которой *только* отвечать на вопросы. А кто я в данную минуту для тебя? Ты, конечно, воображаешь, что я твой дядя! Но так ты думаешь только по своей глупости и полному невежеству! Я в эту минуту для тебя *только* твой судья, и он один может задавать вопросы обвиняемой. Кажется, я все достаточно тебе выяснил, а теперь марш к тетушке и хорошенько извинись за все неприятности, которые ты ей наделала.

Выслушав и от тетушки то же самое, но в иной редакции, я возвращалась в свою комнату с твердым намерением умолять мою мать немедленно уехать домой: мне казалось, что я становлюсь в тягость моим родственникам и что для меня жизнь в их доме представляла не интерес, а лишь одно огорчение.

Глава XV

СРЕДИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОЛОДЕЖИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Первое знакомство с людьми молодого поколения.— Вечеринка у «сестер».— Рассуждения, споры, пререкания, взгляды на художественные произведения и искусство, на государственную службу, брак и любовь.— Пение, чтение и танцы *

Шестидесятые годы можно назвать весною нашей жизни, эпохою расцвета духовных сил и общественных идеалов, временем горячих стремлений к свету и к новой, неизведанной еще общественной деятельности. Чтобы дать наглядное представление об этом периоде нашей жизни, необходимо познакомить не только со всеми реформами того времени и с влиянием их на общество, но и с идеями, которые бурным потоком пронеслись тогда по градам и ве-

* Мои первые знакомства с «новыми людьми», посещения вечеринок, разговоры, споры, речи, слышанные мною в то время, я подробно описывала моей сестре, жившей в провинции. После ее смерти я нашла у нее мои письма и пользуюсь ими [1], как материалом для моих воспоминаний о молодежи шестидесятых годов. *(Примеч. Е. Н. Водовозовой.)*

сям нашего отечества и энергично будили от вековой спячки. Но для полного понимания шестидесятых годов и этого еще мало: необходимо знать, как начал складываться новый порядок вещей, как распадались некоторые старые формы жизни и постепенно созидались иные основы общественности, вырабатывались новые принципы, как охватило русских людей лихорадочное движение вперед, как страстно стремилась молодежь к самообразованию и просвещению народа, какую непреклонную решимость выражала она, чтобы сразу стряхнуть с себя ветхого человека, зажить новою жизнью и сделать счастливыми всех нуждающихся и обремененных. Такое небывалое до тех пор стремление общества к нравственному и умственному обновлению имело громадное влияние на изменение всего миросозерцания русских людей, а вместе с тем и на многие явления жизни, на отношение одного класса общества к другому. Всесторонне представить великую эпоху нашего возрождения — задача грандиозная. Моя цель гораздо скромнее. В своих очерках я буду описывать только то, чему была сама свидетельницею, указывая все то новое, что вносило в жизнь молодое поколение, но не скрывая и его слабых сторон.

Идеи шестидесятых годов давным-давно всосались в плоть и кровь русского культурного человека, но многое, о чем тогда горячо спорили, чего добивались с огромными усилиями, теперь представляется наивным, элементарным, а подчас и комичным.

Скучая до невероятности в доме родственников, я со всею страстью молодости мечтала познакомиться с кем-нибудь из «новых людей». Я приходила в отчаяние, что скоро мне придется уехать из Петербурга, а я так и не составлю себе о них ни малейшего представления.

Но моя мечта скоро осуществилась. Недели через две после моего выхода из института, в половине февраля того же 62 года, я с матушкой отправилась навестить наших землячек и дальних родственниц — Татьяну Алексеевну Кочетову и Веру Алексеевну Корецкую, двух родных сестер, родители которых уже давно умерли. Обе сестры владели неразделенным имением в наших краях Смоленской губернии, верстах в шестидесяти от нашего поместья.

В судьбе обеих сестер было много общего: одна за другою они были отданы в Екатерининский институт, обе вышли замуж вскоре после окончания в нем курса и в то время жили вместе. Младшей из них, Вере Алексеевне Корецкой, было двадцать два года: она прожила в замуже-

стве за студентом всего лишь год и овдовела уже два года тому назад. Старшая, Татьяна, вышла замуж восемь лет тому назад, но прожила с мужем года два и по взаимному соглашению разошлась с ним навсегда: он взял какую-то должность на юге и поселился там, оставив на руках жены маленькую дочку Зину.

Знакомые называли обеих сестер «вдовицами», хотя старшая, Татьяна, была, что называется, соломенной вдовой. Обе они были искренно привязаны друг к другу, нанимали сообща одну квартиру и тратили на жизнь средства, не считая, кто из них вносил в хозяйство больше, кто меньше. Единственным поводом к размолвке между ними служило воспитание семилетней Зины, которую обе они горячо любили, но Вера в свои отношения к племяннице вносила более страстности, точно ревнуя ее к сестре, как будто досадуя на то, что ее права над ребенком менее значительны, чем права родной матери.

Материальные средства сестер были очень скромны: Татьяна раз навсегда отказалась от какого бы то ни было вспомоществования со стороны мужа, мечтая только о том, чтобы он оставил ее в покое. Существовали они на деньги, получаемые со своего имения, а также за уроки музыки и языков, которые обе они давали в частных домах и в одном известном тогда пансионе. Обе они имели огромный круг знакомых: младшая, Вера, по мужу знала множество студентов и молодых девушек, а у старшей были связи в педагогическом и литературном кругах. Они вели деятельный образ жизни: днем были заняты уроками, вечером посещали лекции, вечеринки, и сами принимали у себя гостей два раза в месяц.

Зная мою мать за безукоризненно честную женщину, хорошо изучившую на практике сельское хозяйство, в котором сами они ничего не понимали, они просили ее посещать их имение несколько раз в год, внимательно приглядываться ко всему и сообщать им, как ведет дело их управляющий, не следует ли заменить его другим, нельзя ли поставить их хозяйство так, чтобы оно давало больше дохода. Они предлагали денежное вознаграждение за этот труд, так как он требовал значительной затраты времени, но моя мать просила их об одном: взять меня под свое крылышко, перезнакомить с их знакомыми, посещать вместе со мною лекции и чтения, на которых они бывали. Она рассказала им, как я тоскую в неподходящей среде, как стремлюсь попасть в круг «новых людей». Сестры не только выразили готовность взять меня под свое покровительство, но даже просили

мою мать оставить меня у них на все время нашего пребывания в Петербурге. Но та не согласилась на это, решив, что я буду часто их посещать, если только мы поладим друг с другом, могу и ночевать у них в экстренных случаях.

Отправляясь к сестрам в первый раз, я была на седьмом небе от счастья. Судя по тому, что моя мать рассказывала о них, я решила, что обе они принадлежат к людям молодого поколения.

Сестры были очень похожи друг на друга: обе среднего роста, стройные, с мягкими, вьющимися темно-каштановыми волосами, только Татьяна была гораздо плотнее сестры, даже с наклонностью к полноте и выглядела старше своих двадцати шести лет. Хотя одета она была в простое, черное шерстяное платье, но оно хорошо сидело на ней и сшито было более изящно, чем у сестры. Волосы ее были зачесаны назад «à la chinoise» * и пышным узлом заколоты сзади; спереди они лежали красивыми волнами, а короткие из них причудливо завивались разнообразными кудряшками. Такие же кудряшки вились и по шее; ее куафюра ** говорила об отсутствии щипцов и чего бы то ни было искусственного. С добродушною улыбкою на румяных губах, Таня казалась эффектнее и красивее своей младшей сестры Веры, которая, несмотря на свои двадцать два года, имела вид девочки-подростка: чрезвычайно худенькая, с обстриженными, вьющимися волосами, в очень узком черном платье без какой бы то ни было отделки, которое плотно обхватывало ее удивительно тонкую талию, худенькие плечи и тонкие, как палочки, руки. Ворот лифа заканчивался гладким узеньким белым воротничком, а гладкие узкие рукава — белыми манжетами. Своим нарядом, всею своею худощавою фигурою и строгим выражением детского лица она более всего напоминала послушника при монастыре. Если Таня была более эффектна по внешности, то Вера приковывала внимание интеллигентными, одухотворенными чертами лица, строгим, суровым взглядом своих умных карих глаз.

Сестры встретили нас как самых близких родственниц и произвели на меня очень приятное впечатление, а семилетняя Зина, живая как ртуть, грациозная и с чудными синими глазками в рамке пышных кудрей, привела меня в такой восторг, что, как только я сняла пальто, я схватила ее за руки, и мы начали с нею скакать, бегать и прятаться

---

* «в китайском стиле» *(фр.)*.

** прическа (от *фр.* coiffure).

по углам. Заметив, что моя мать смотрит с восхищением на прелестную девочку, Таня заметила:

— Да... была бы девочка ничего себе, да «строгая» тетушка до гадости избаловала ее... Подумайте, тетя (так называла она мою мать, а Вера — «крестною»; мы же обеих сестер начали называть по именам и обращались друг к другу на «ты», как они просили об этом): Верка прибежит с урока, не успеет передохнуть и начинает возиться с Зиною, тащит ее в какую-нибудь кузницу или мастерскую,— все это с целью ее умственного развития. Вместо того чтобы освежить свой костюм... посмотрите-ка, ведь он скоро весь разорвется у нее по швам,— она накупает девочке массу игрушек и тоже все это будто для ее умственного развития, а по-моему, только из одного баловства...

— Отчасти я действительно делаю это для ее развития, а отчасти для того, чтобы ей было чем вспомнить детство. Вот у нас с сестрой при воспоминании о нем только мороз по коже подирает: наша мать умерла, когда мы были крошками, а отец заботился только о своей экономке, которая часто без всякого повода колотила нас и на нас же жаловалась отцу, требуя, чтобы он заставлял нас на коленях просить у нее прощения и целовать ее корявые руки. Нет, нет... Зинка не должна проклинать свое детство... Она будет любить своих матерей! Правда? — И с этими словами Вера притянула к себе племянницу и покрыла ее кудрявую головку страстными поцелуями.

— Так воспитывать, как воспитывали нас, конечно, дико, но и тебе нечего свое баловство прикрывать побуждениями высшего порядка: ты без всяких принципов, просто до безумия, прежде была влюблена в своего мужа, а потеряв его, всю страсть перенесла на племянницу...

— Пускай будет баловница, только бы не вышла модницею в маму! — возразила Вера.

В эту минуту девочка вырвалась от нее и потащила меня в детскую показывать свои игрушки: «железную дорогу», «школу», «прачечную», «весы» и множество других игрушек, только что получивших название «развивающих», то есть необходимых для умственного развития детей.

— Зинка, говори, как железная дорога двигается без лошадок? А как это называется? Зачем это сделано? — спрашивала свою племянницу вошедшая Вера.— А кем ты будешь, когда вырастешь?

— Буду учить бедных деток... Они ничего не знают, а я им все расскажу...

— А теперь говори, кто я?

— Мама Вера, а другая — мама Таня.— Вера часто задавала этот вопрос племяннице, видимо, для того, чтобы лишний раз услышать из ее уст желанное для нее слово «мама».

— Как у вас хорошо!.. Все так просто!..— говорила я, прохаживаясь с Верою по комнатам.

— У нас небольшие достатки, а если бы и были лишние деньги, нам стыдно было бы бросать их на такой вздор, как обстановка. Особенно это стыдно теперь, когда народ пухнет от голода!.. Ты только что соскочила с институтской скамейки и, конечно, не знаешь, что по части обстановки, одежды и всяких житейских удобств в молодом поколении уже выработано два непоколебимых принципа: человек должен иметь только то, без чего он не может обойтись, и постоянно стремиться к тому, чтобы сокращать свои потребности, довести их до минимума, иметь только самое-самое главное, только то, от недостатка чего страдает организм... Понимаешь,— простотою своей жизни каждый современный человек должен стараться все более напоминать простой народ... Отчасти уже из-за одного этого он будет доверчивее относиться к нам! Существеннейшая же задача тут в том, чтобы деньги, которые остаются у человека за удовлетворением крайне необходимого для него, употреблять не на барские прихоти, а на нужды народа, и прежде всего на его просвещение.

Меня не шокировал ее взвинченный, поучительный тон: я совсем не знала общества, не имела представления, как разговаривают люди между собою, еще ни с кем не сближалась, кроме институтских подруг. Вот потому-то я с таким напряженным вниманием старалась вслушиваться во все, что она мне говорила.

Очень многие осуждали молодежь шестидесятых годов за то, что она выражалась искусственно, в приподнятом и высокопарном тоне, уснащала речь прописными истинами. И действительно, этим грешили очень многие. Но ведь шестидесятые годы были необычайною эпохою. И все в ней было необыкновенно: кажется, даже температура крови людей того времени была повышена; вся их жизнь шла ускоренным темпом. Но эти недостатки не помешали весьма и весьма многим, нередко даже тем, которые выражались особенно фразисто, проникнуться до глубины души идеалами и принципами этой эпохи. Весьма многие из шестидесятников так усердно работали над своим самообразованием в молодости, что, заняв впоследствии места в учреждениях по крестьянским делам, в гласном суде,

в земстве, оказались чрезвычайно полезными деятелями. Из той же молодежи, сильно грешившей в годы юности высокопарным выражением мыслей, вышли люди, отдавшие на служение идеалам шестидесятых годов всю свою жизнь, во имя их приносившие великие жертвы.

Разговор со мною Веры Корецкой шел в поучительно-проповедническом тоне, так как она была пламенною последовательницею идей шестидесятых годов и все высказывала с большим энтузиазмом. Вдруг лицо ее омрачилось, она немного отодвинулась от меня и, окидывая меня с головы до ног суровым взглядом, произнесла:

— Но ты слишком, слишком нарядно одета!

Я сконфузилась и мысленно признала всю неуместность моего нарядного туалета. Уже в институте до меня кое-что доходило об опрощении молодежи, но по части идей в моей голове стоял тогда невообразимый сумбур. Хотя я предполагала, что могу попасть к людям молодого поколения, но все-таки вырядилась во все самое лучшее, что только было у меня.

Когда мы вошли с Верой в столовую, которая заменяла и гостиную, моя мать вдруг спросила ее:

— Разве у тебя был тиф, Веруся, или какая другая болезнь, что ты остригла волосы? Ведь они у тебя такие красивые!.. И у тебя была бы такая же чудная прическа, как у твоей сестры!

— Мне некогда, крестная, тратить время на куафюры! Таня употребляет на свою прическу по часу и более...

— Ну, уж милая моя: ни за какие коврижки не пожертвую своею косою ради твоих принципов! Ах, если бы вы знали, тетечка,— жаловалась она,— как «они» изводят меня за это! Как-то проговорилась им, что люблю свои волосы, ну и насмешек же сыплется с тех пор на мою голову! А вот ей,— указала она на свою сестру,— трудно четверть часа потратить на прическу, а на Зинины затеи у нее всегда хватает времени... Все «наши» считают ее строгой и принципиальной, ну а что касается племянницы, так тут она теряет все свои принципы и всю свою строгость. Уверяю вас, тетечка, я очень уважаю современные идеи, стараюсь придерживаться известных принципов, но нахожу, что нельзя все подводить под них, нельзя же карать человека даже за мелочи, если они никому не вредят, если они не мешают человеку в серьезных отношениях быть принципиальным.

«Какие они обе интересные!» — думала я и мысленно благословляла судьбу, закинувшую меня к ним.

— Постой, постой, Танюша,— возразила матушка.— Ведь я настоящая деревенщина: много десятков лет из деревни не выезжаю, всеми корнями давно в землю вросла... Мне что-то невдомек, о чем вы толкуете. Скажи, пожалуйста, кто же это «они», про которых ты упоминаешь? Мне как-то чудно, что у мужчин, да еще у молодых, мог образоваться такой взгляд, что женщина должна себе волосы обрезать даже тогда, когда у нее чудная коса! Неужели это для того, чтобы выгадать время? Хорошая коса — такое украшение для нашей сестры! А ведь каждой женщине до гробовой доски хочется выглядеть покрасивее! Да и что тут дурного, если она в то же время человек деловитый! Принарядиться, заботиться о своей наружности — такова уже, милая моя, женская природа!

— Если природа женщины так суетна и ничтожна, если ее помыслы преимущественно направлены на пустоту, эту природу нужно стараться изменить к лучшему,— наставительно заметила Вера.

— Видите ли, тетечка,— заговорила Таня,— в самое последнее время «они», то есть молодежь нашего круга, находят, что женщина тратит непроизводительно слишком много времени, что она должна быть таким же серьезным человеком, как и мужчина. Ведь это же правда: наши прически, туалеты, езда по портнихам, визиты, соблюдение разных конвенансов *, действительно поглощают всю нашу жизнь. Вот каждая женщина и должна стремиться к тому, чтобы постепенно уничтожать свою пошлость... Но я против излишней строгости: зачем «они» все доводят до крайности, зачем требуют, чтобы человек все чувства и привычки, даже к разным мелочам, бросил в жертву принципам! Ну-ка, ты, «жрица принципов», объясни это? — обратилась она к своей сестре.

— Ну, теперь поняла,— перебила ее матушка с лукавой усмешкой.— Вы, должно быть, какие-нибудь сектантки, новую веру сочинили!..

Звонкий смех обеих сестер был ей ответом.

— Да что вы, тетечка, ничего подобного! Цепи рабства разбиты, вот мы и зажили новою жизнию,— говорила Таня. Верочку же замечание моей матери так рассмешило, что она снова и снова принималась хохотать.

— Не попала? Ну, что делать! Я все же рада, что Верусю рассмешила. Цыганка по ладони судьбу предсказывает, а я по улыбке узнаю характер. Думала я, что крестни-

* приличий, обычаев (от *фр.* convenances).

ца моя к себе строгонька, а еще более строга к людям. А вот улыбка-то ее мне все и выдала: вижу, что Веруся на редкость доброй души человек, что и суровость-то ее вынужденная!.. Личная жизнь не задалась, бедненькой, а второй раз ей, пожалуй, и не полюбить! И прилепилась она к своей новой вере... или как вы там, принципами, что ли, их называете? Вот всю душу-то и хочет она в них вложить...

И действительно, улыбка и смех Верочки, что, впрочем, редко случалось с нею, совершенно преображали все черты ее сурового лица, делали его до неузнаваемости добрым, мягким и детски прекрасным.

— Вы не цыганка, тетечка, а настоящая сердцеведка! Я всегда удивляюсь, почему ангелы не возьмут нашу Верку живою на небо! Если мы не голодаем и не холодаем, то благодаря только Зине: Верочка боится, что это повредит ее здоровью, а сама она давно бы и без юбки ходила, и без хлеба сидела.

Когда моя мать узнала, что к «сестрам» сейчас должны явиться гости, она распрощалась со всеми и уехала.

Едва ли существовал в то время семейный дом, где не устраивались бы вечеринки. Если при этом преследовали цели просветительные, то на них читали лекции по различным предметам, нередко целую серию лекций, например, по русской истории. В таком случае лекторы должны были указывать на те стороны нашей прошлой жизни, о которых до тех пор приходилось умалчивать, обращать внимание на все то, в чем могла проявиться самодеятельность общества, если бы наш государственный строй этому не препятствовал, выдвигать тяжелое экономическое положение народа,— одним словом, раскрывать прежде всего мрачные стороны нашей прошлой жизни [2]. Никто не интересовался более внешнею историею — войнами и дипломатическими сношениями. Излагать историю так, как это делали Устрялов и Карамзин, высказывать преклонение перед внешним могуществом России, замалчивать факты, указывающие на произвол верховной власти,— значило подвергать себя насмешкам и презрению [3]. Русских и иностранных классических писателей в то время мало читали, и лекции по литературе устраивались реже, чем по другим предметам. Чаще всего слушали лекции или устраивали практические занятия по естествознанию. Все эти чтения и занятия даже в частных домах привлекали массу народа.

Вечеринки устраивались не только с целями просветительными, но и чтобы повеселиться: на них болтали, спорили, пели, танцевали, затеивали разные игры, живые

картины, характерные танцы, произносили экспромтом стихи и речи, речи без конца. Когда спор обострялся и доказательства, сыпавшиеся со всех сторон, не могли убедить многих, присутствующие требовали, чтобы тот, кому предмет спора был лучше знаком, сказал речь по этому поводу. Иных и просить об этом не приходилось,— сами вызывались. Иногда эти речи были так длинны и обстоятельны, что скорее носили характер лекции, которая, вероятно, показалась бы теперь крайне элементарною, но тогда была нова для очень многих, и ее слушали весьма внимательно. Стремление учиться и поучать других было всеобщим и сказывалось даже на самых веселых, разудалых вечеринках. Темою речей очень часто были какие-нибудь особенные явления в общественной жизни, а то и просто смешные происшествия в том или другом семействе или кружке. А когда введена была судебная реформа [4], произносили защитительные и обвинительные речи, осмеивая в них слабые стороны ораторских приемов того или другого адвоката или прокурора.

Нередко увеселительные вечеринки устраивали в складчину. Кто-нибудь просил знакомых уступить для такого случая квартиру, собирал с желающих присутствовать плату по 25—50 копеек и не более, как по рублю, и вручал деньги знакомой, закупавшей все необходимое для угощения. Если на вечеринку являлись в знакомое семейство к людям небогатым, посетители что-нибудь приносили с собою. Тот, кто не имел средств и на это,— не конфузился, с удовольствием ел, что находил на столе. Одним словом, ни хозяев, ни посетителей не стесняли приношения.

Знакомые жили между собою тесною жизнью, часто видались друг с другом и хорошо были осведомлены насчет материального положения каждого. Эти частые собрания удивительно способствовали сближению людей между собою, обмену мыслей, приобретению знаний, облегчали выработку общественных идеалов, помогали даже в борьбе за существование: имея много знакомых, легче было пробиться в жизни, находить занятия, без средств подготовиться к тому или иному экзамену.

Необыкновенное оживление общества в начале шестидесятых годов было совершенно новым явлением. Люди того времени много работали с целью самообразования, с величайшим увлечением учили других, но в то же время и веселились напропалую. Никогда не встречала я позже такого разудалого веселья, не слыхала такого звонкого

смеха! И это было весьма естественно: вслед за падением крепостного права продолжались и дальнейшие преобразования, вселявшие великие надежды на лучшее будущее [5]. Все, казалось, ясно говорило, что и у нас наступила наконец совершенно новая, не изведанная еще нами гражданская и общественная жизнь, когда каждый, искренно того желающий, может отдать с пользою свои силы на служение родине. Что же удивительного, что в эту кратковременную эпоху нашего умственного и нравственного расцвета надежды и упования на лучшее будущее быстро перешли в уверенность, что распространение гуманных и демократических идей, как могучий поток, без остатка смоет всю грязь нашей жизни, что это сулит всем, задавленным трудом, униженным и оскорбленным, великое счастье, что эта эра наступит скоро, очень скоро... Такая легкая воспламеняемость, такие преувеличенные ожидания естественны были в людях, еще не живших общественною жизнью, не имевших в историческом прошлом никакого опыта, ничего, что могло бы хотя несколько просветить их на этот счет. Оптимистическое настроение, охватившее тогда не только юношество, но и взрослых людей прогрессивного лагеря, придавало общественному движению замечательное оживление. Энергическая деятельность шла рука об руку с бурным весельем. Жилось чрезвычайно интересно. Сердце, как горящий костер, пылало страстною любовью к ближнему, голова была переполнена идеями и разнообразными заботами: одни готовились к чтению какого-нибудь реферата, другим приходилось многое что почитать, чтобы возражать, при этом почти всем необходимо было работать для заработка, и в то же время считалось священною обязанностью обучать грамоте свою прислугу, приглашать из лавочек и подвалов детей для обучения, заниматься в воскресных и элементарных школах.

Отношения между знакомыми были задушевные, родственные, без тени светскости и фальши. Принято было все говорить друг другу прямо в глаза. Правда, некоторые злоупотребляли этим, доходили до ненужной фамильярности, навязчивости и бесцеремонности, но ведь все, что вводится и появляется нового, никогда почти не обходится без утрировки. Конечно, и в других отношениях не все шло гладко в этих интеллигентных кружках шестидесятых годов: в них тоже происходили дрязги, недоразумения, ссоры, неприятные столкновения. И тогда люди влюблялись и ревновали до безумия, несмотря на то что молодежь того времени смотрела на ревнивца, как на первобытного

дикаря, как на пошлого, самодовольного собственника чужой души, не уважающего человеческого достоинства ни в себе, ни в других. Несмотря, однако, на многие слабые стороны совместно-общественной жизни и деятельности, все неприятности, все недоразумения, какие тогда случались, разрешались проще, легче и справедливее уже по одному тому, что люди хорошо знали друг друга, ближе стояли один к другому. К тому же тогда приходилось вести жизнь, преисполненную напряженной деятельности, и оставалось меньше времени для дрязг и мелочей.

Встречая в доме моих родственников людей со светскими манерами, в изящных туалетах, я была поражена внешностью гостей «сестер», доходящею до бедности, и отсутствием в них какого бы то ни было светского лоска.

Опрощение во всем обиходе домашней жизни и в привычках считалось необходимым условием для людей прогрессивного лагеря, особенно для молодого поколения. Каждый должен был одеваться как можно проще, иметь простую обстановку; наиболее грязную работу, обыкновенно исполняемую прислугою, делать по возможности самому,— одним словом, порвать со всеми разорительными привычками, привитыми богатым чиновничеством и барством. Мужчины в это время начали усиленно отращивать бороду: они не желали походить, как выражались тогда, на «чиновалов» и «чинодралов», не хотели носить официального штемпеля. Женщины перестали затягиваться в корсеты, вместо пышных разноцветных платьев с оборками, лентами и кружевами одевали простое, без шлейфа, черное платье, лишенное каких бы то ни было украшений, с узкими белыми воротничками и рукавчиками, стригли волосы,— одним словом, делали все, чтобы только не походить, как говорили тогда, на разряженных кукол, на кисейных барышень.

Это опрощение было вызвано распространением демократических идей, с могучею силою овладевших умами и сердцами русской интеллигенции; содействовали этому и великие преобразования. Освобождение крестьян из-под крепостной зависимости было уже само по себе реформою демократическою; большое значение имело и то, что стены университета были открыты для несравненно большего числа людей [6], чем прежде,— для семинаристов и разночинцев, громадное большинство которых были людьми крайне бедными. Закаленные лишениями и тяжелым трудом, они не имели ничего общего с светскими людьми.

В девять часов вечера в квартире «сестер» уже расхаживало много гостей обоего пола. Тут были и бородатые, и совсем безбородые, и медицинские студенты, и студенты университета, и женщины стриженые, и с заплетенной косой, спущенной на спину; мелькали почти всё молодые лица.

Гостей на вечеринках не рекомендовали: этот обычай находили смешным, каждый должен был сам рекомендоваться. Молодежь называла друг друга только по фамилиям, случалось, даже каким-нибудь прозвищем, и лишь людей постарше величали по имени и отчеству. Для меня некоторые из посетителей «сестер» так и остались в памяти под прозвищами: многих из них я скоро совсем потеряла из виду; через два с половиною месяца я уехала в провинцию, а когда возвратилась и явилась в знакомый кружок, его состав сильно изменился.

В первую минуту меня особенно заинтересовало то, что в руках почти каждого из входящих была маленькая корзиночка или бумажный тюричок [7]. Принесенное одни клали на стол, другие, извлекая содержимое, шутливо прибавляли что-нибудь в таком роде: «На алтарь общественной пользы приношу сию колбасу». Еще более удивило меня то, что гости принялись сами накрывать на стол: одни расставляли посуду, другие выносили все лишнее из столовой, третьи втаскивали в нее стулья из остальных комнат. Были и такие, которые делали вид, что помогают, но только попусту суетились; опасаясь, что их упрекнут в бездействии, они перехватывали у кого-нибудь стул, завязывали спор, и всюду уже раздавались смех, шутки, остроты.

Во время суматохи не слышно было звонков, а между тем то и дело входили новые посетители. Мужчина высокого роста с умными серыми глазами, с моложавым лицом, но с проседью в волосах, с симпатичною наружностью проходил по комнате, кивая головою направо и налево и разыскивая кого-то глазами.

— А, словесник, селадон! [8] — кричали ему со всех сторон. Не обращая ни на кого внимания, он подошел к Татьяне, громко поцеловал одну за другою обе ее руки и начал проделывать то же с Верою.

— Ах, господи, Николай Петрович, как это вам не опротивела вся эта старина! — говорила та с сердцем, отдергивая свою руку.

— С дурнушками я и в старину никогда не решался на это, а с прелестными, дорогими моему сердцу «сестрами-вдовицами» буду производить ту же манипуляцию до

конца моих дней...— И он обходил гостей, пожимая всем руки.

— И не стыдно вам, словесник, громогласно, как нечто геройское, провозглашать эти амурные поползновения крепостнического закала? — кричал ему вдогонку студент, высокий худощавый юноша с чрезвычайно болезненным лицом, густо покрытым веснушками, известный под прозвищем «Смерч», который никого не пропускал без обличения, на всех обрушивался, как ураган, как настоящий смерч, за что и получил свою кличку.

Николай Петрович Ваховский, которого называли «словесником», не успел еще ответить, как Таня подвела меня к нему и начала рекомендовать, как особу, только что соскочившую с институтской скамьи. В эту минуту к ней подошел стройный молодой человек, лет двадцати шести — двадцати семи с удивительно эффектною наружностью.

— Как, это вы, Василий Алексеевич? Когда же вы возвратились?..— закидывала его вопросами Таня, и щеки ее покрылись густым румянцем.

Я подбежала к Верусе, чтобы разузнать, кто такие были эти гости, как мне казалось, самые интересные из всех пока появившихся посетителей и получила в ответ, что Николай Петрович Ваховский — преподаватель словесности и «человек с прошлым» [9]. Я призналась ей в своем невежестве и просила мне объяснить, что значит «человек с прошлым».

— Видишь ли, Николаю Петровичу трудно мириться с формализмом, с казенщиной, со всем официальным... Не может он выносить и властей с полицейским направлением... Все это, конечно, ценные качества, а люди отсталые на все смотрят наоборот, и Ваховскому не раз отказывали от места: ему пришлось переводиться из одного учебного заведения в другое, переезжать из одного города в другой. Вот это-то и значит, что он человек с прошлым. Он сюда переехал с юга, и теперь уже сам не ищет здесь казенного места, а занимается преподаванием в частных домах и пансионах. Человек он хороший, даже очень хороший, но в нем все-таки есть закваска от прежнего времени... Видала, какой он любитель лизать ручки? Но мы ему многое прощаем: ведь он уже немолодой, почти под сорок, естественно, что он не может быть совсем новым человеком. А другой, подле него,— Василий Алексеевич Слепцов. Хотя он самый настоящий человек молодого поколения и известный писатель, но он тоже ценит нашего «словесника», дружит с ним, считает его образованнейшим и хорошим человеком.

Меня поразила внешность Слепцова: белизну его высо-

кого благородного лба и бледных щек резко оттеняли густые, черные волосы и недлинная черная бородка. Однако, несмотря на тонкие, красивые черты лица, оно было неподвижно, как прекрасное мраморное изваяние. Стоя перед Татьяной, он продолжал разговаривать с нею, но ни один мускул не дрогнул в его лице, глаза не меняли своего выражения.

Вдруг дверь в столовую с шумом отворилась, и в комнату ввалился с кипящим самоваром мужик, совсем простяцкий мужик, по виду лет за сорок. Он был в засаленной черной поддевке, в высоких смазных сапогах с напуском, с всклокоченной бородой и с растрепанными волосами, по-видимому не водившими близкого знакомства с гребенкой; только очки, которых в то время почти никто не носил из простонародья, несколько противоречили внешности вошедшего.

— Якушкин, Павел Иванович! — закричали присутствующие и двинулись к нему.

В ту народническую эпоху, когда повсюду слышалась горячая проповедь о сближении с народом, Якушкин знал его непосредственно. С котомкой или с коробом за плечами, набитым незатейливым товаром офеней [10], предназначенным чаще всего для вознаграждения за пропетые ему песни, которые он записывал, он пешком вдоль и поперек исходил немало губерний. Этот скиталец русской земли, человек без пристанища, семьи и собственности (все его имущество было с ним и на нем), во время своих вечных странствований тщательно присматривался к жизни народа, записывал его песни, пословицы, прибаутки, поговорки, собирал о нем экономические и другие сведения и знал его лучше, чем кто бы то ни было в то время. Якушкин глубоко верил, что теперь, когда народ освободился из-под помещичьей власти, он проявит свои могучие силы, если только ему не помешают сбросить иго невежества. Горячая вера в духовные силы народа, интересные рассказы о скитаниях, простая, открытая душа — все снискивало любовь и уважение к нему всюду, где только он ни появлялся.

— А, словесник, здорово, миляга, здорово! — проговорил Якушкин, заметив своего старого знакомого, Николая Петровича Ваховского. Он поставил на стол самовар, который успел захватить в кухне, так как, по своему обыкновению, вошел в квартиру через черную лестницу.

— А, и ты здесь, паренек? — обратился он к Слепцову и троекратно облобызался с ними обоими.

Странно было видеть вместе этих двух людей — Слеп-

цова и Якушкина, столь различных по виду: первый — молодой, хорошо одетый, стройный, изящный, а второй по внешности простой мужичонко-замухрыга и несравненно более его пожилой, они сердечно обнимались и дружески, любовно разговаривали между собой. Дело в том, что хотя Слепцов и не посвящал, как Якушкин, всю свою жизнь на изучение народа, но, несмотря на свою молодость, и он порядочно-таки побродил по России [11], наблюдая жизнь не только крестьян, но и фабричного люда. Вот эта-то общность интересов и сблизила между собою этих двух людей, совершенно различных по своей внешности, привычкам и характеру.

— Где же хозяюшки? Где сестры-вдовицы? Подавай мне их! — закричал Якушкин, когда заметил обеих сестер, пробиравшихся к нему среди посетителей, тесно окружавших его.

— Ах вы сизокрылые касаточки! — говорил он, чмокая в щеку то одну, то другую из них.

— А где же наша пташечка? Чай, уж косу отрастила? Иди-ка сюда, девонька, иди!.. Подарчонок для тебя припасен!..

Когда Зина с его помощью взобралась к нему на колени, он начал вытаскивать из своего объемистого кармана плетенки из бересты, кузовочки и разные дудочки и свисточки.

Гости усаживаются к столу для чаепития. Вдруг звонко задребезжал звонок, точно дернутый нетерпеливою рукой, и в комнату вошла стройная девушка среднего роста, лет двадцати двух. Эта цыганского типа особа была поразительной красоты: черные густые, волнистые и курчавые волосы представляли настоящую природную шапку из мелких кудрей; такие же натуральные мелкие кудри служили как бы оригинальною рамкою красивому лицу. Яркий румянец ее смуглых щек, черные густые брови дугой, пунцовые, полные губы, из-под которых блестели белые, как алебастр, зубы, живые темно-синие глаза — все отдельно было броско, но вместе представляло гармоническое сочетание и говорило о физической силе, здоровье и о страстном темпераменте. Живая, жизнерадостная, она быстро проходила по комнате, подавая руку направо и налево, по пути кидая вопросы то тому, то другому, и, не выслушав ответа до конца, заливалась веселым смехом. Это была сама жизнь, настоящее солнце в ореоле своих жгучих лучей, весна во всем блеске своей обаятельной свежести, во всей прелести пышного расцвета.

— Тетя Оля, тетя Оля! — прыгала за нею Зина, хлопая

в ладоши. Девушка быстро повернулась к ней, схватила ее в свои объятья, но остановилась как вкопанная, разглядывая Якушкина, которого она видела в первый раз.

— Во какой сторонушке цвел-расцвел маков цветик? Какой же удалой добрый молодец красну девицу-красавицу во полон возьмет? — в упор глядя на нее и улыбаясь, спрашивал Якушкин.

— Вот это-то, дяденька, меня самою интересует...— нисколько не смущаясь, отвечала она.— Да здесь об этом не очень любят разговоры разговаривать...— и, несколько изменив тон, она громко прибавила:

— Позвольте отрекомендоваться: Ольга Николаевна Очковская.

— Неправда, не Очковская она, а очковая змея! Даже за один взгляд на себя она впускает смертоносный яд в самое сердце!..— со смехом кричал Николай Петрович Ваховский.

— Разве это подходящие речи для педагога и наставника? — И Очковская, с шутливою укоризною покачивая головой, протягивала ему руку.

— Даже и здесь ни на шаг от пошлости! — проговорила новая посетительница. Точно нарочно, чтобы оттенить красоту Очковской, вновь вошедшая представляла по внешности совершенную ей противоположность: с темным, угреватым лицом, неладно скроенная, высокая, с коротко остриженными прямыми волосами, с непропорционально длинными руками и ногами, с гнойными подслеповатыми глазами, она была очень непрезентабельна. Ее физиономия была антипатична и потому, что она всегда имела вид чем-то недовольной.

— Мое нижайшее почтение...— быстро вставая, раскланиваясь с преувеличенною вежливостью и подавая ей руку, проговорил Якушкин; в то же время он комично перекосил глаза в сторону Слепцова, как будто желая обратить его внимание на безобразие вновь вошедшей. Но на мраморном лице писателя не дрогнула ни одна жилка. Слепцов, этот баловень судьбы, щедро осыпанный умственными и физическими дарами, удивительно умел владеть собою: когда он хотел скрыть свои смеющиеся глаза, он опускал густые, длинные ресницы — и тогда уже никто не мог поймать его насмешливого взгляда. Так было и тут: выражение его лица оставалось бесстрастным.

— Мария Ивановна Сычова,— произнесла новая посетительница в ответ на приветствие Якушкина, не замечая иронии в его преувеличенной почтительности. Здороваясь

с другими, она подошла и ко мне, но вдруг как-то вздрогнула и с деланной брезгливостью едва коснулась протянутой мною руки.

За большим столом уже не было места: кое-кто пил чай, сидя на подоконниках, некоторые теснились вдвоем на одном стуле, между тем гости продолжали прибывать. Сычова села на диван за столик, где уже пили чай Вера с Зиночкой и Очковская, которая притянула к себе девочку, одною рукою закрывала ей глаза, а другою вкладывала ей в рот леденцы, вытаскивая их из своего кармана. Зина звонко хохотала. На небольшом расстоянии и спиною к ним за большим столом сидели: Якушкин, Слепцов, Ваховский и я, так что мне было слышно все, что говорили сзади.

Усевшись на диван, Сычова вынула из саквояжа шерстяной чулок, начала его вязать и обратилась к Вере с вопросом, что это за особа, которую она видит у них в первый раз. Дело шло обо мне, и она выразилась так: «Что это за фрукт?» Та холодно ответила ей, что это их родственница, только что вышедшая из института, и выразила удивление, почему она говорит с таким презрением о девушке, которую видит в первый раз.

— А, так вот что! Когда дело касается ваших родственников, у вас особая мерка при выборе посетителей. Вы никогда не впустили бы в свой круг такую разодетую куклу, как эта, если бы она не была вашею родственницею.

Хотя гости были заняты своими разговорами и я думала, что, кроме меня, никто не прислушивается к тому, что говорилось за маленьким столиком, но Слепцов при последних словах Сычовой круто повернулся в ее сторону и произнес бесстрастно:

— Когда высказывают мнение о своем ближнем, истинная доброта диктует кое-что удерживать про себя... Впрочем, это изречение одного восточного мудреца! — И он как ни в чем не бывало продолжал начатый разговор с соседом.

— Да... Вы не страдаете излишнею снисходительностью к людям,— обратилась Вера Корецкая к Сычовой.— Можно ли требовать, чтобы девушка, только что соскочившая со школьной скамейки, все понимала? Когда мы с Танею выходили из института, то каждая из нас первое время тратила на шляпки и тряпки все деньги, забывая о калошах. Эта, как вы называете, «разодетая кукла» могла бы жить припеваючи в том богатом кругу, в который закинула ее судьба, а она всеми силами рвется в круг людей работящих и образованных. Но по вашим человеконенавистническим теориям за то только, что она надела модное

платье, которое и сделали-то ей ее родственники, ее следует с позором вышвырнуть из порядочного круга...

Вдруг Якушкин вскочил с своего места и на дьяконский лад произнес тонким, пронзительным дискантом:

— Не мешайте детям приходить ко мне, ибо таковых есть царствие небесное!

Все громко расхохотались.

— Когда Сычова приглядится к платью вашей родственницы, она не будет так строго относиться к ней... Ведь вот же мне она прощает мои кораллы! — проговорила Очковская, указывая на нитку красных кораллов на шее, нарушавших однообразие ее скромного черного туалета.

— Я-то никому не прощаю подобных пошлостей, только не хочу с вами говорить об этом... Ведь для вас это все равно что горох в стену! Это вам Корецкая все извиняет... Здесь вообще царствует удивительная справедливость: одной все прощают, потому что она родственница, другой — потому, что она вечно лижет Зинку и сует ей конфекты...

Вера вспыхнула и резко крикнула:

— Зачем только вы являетесь к нам? В нашем доме вы встречаете разодетых кукол и даже таких взяточниц, как я, которая за конфекты Зине извиняет всякую пошлость!

Николай Петрович Ваховский в это время уже встал изза стола и прохаживался со Слепцовым; указывая ему глазами на Сычову, он проговорил:

— Какой ехидной может сделаться женщина, попирающая законы естества!

Сычова действительно представляла характерный тип озлобленной старой девы; никого не любя, она заботилась только о своем здоровье: приходила в ужас от сквозняков, брюзжала на чужую прислугу за плохо вытертый стакан, с ненавистью обличала тех, кто имел привычку хорошо одеваться, но более всех возбуждали ее злобу женщины, пользовавшиеся всеобщею любовью. Она бывала решительно во всех домах известного круга людей, хотя никто не приглашал ее к себе, никто не приводил ее к знакомым. Лишь только узнавала она, что в том или другом семействе устраиваются «фиксы», даже если то были люди, которых она никогда не встречала раньше, она смело являлась к ним, без всякого стеснения заявляла, что желает познакомиться, и с тех пор никогда не пропускала у них вечеринки, даже в том случае, если хозяева не скрывали антипатии к ней. По своей наглости или скудоумию она не обращала ни малейшего внимания на то, как к ней относятся, про-

должала всюду бывать и переносить сплетни из одного дома в другой. Обучаясь акушерству и всегда надевая одно и то же платье, грязное и истрепанное, она, видимо, находила, что этого совершенно достаточно для того, чтобы считать себя особой передовой и прогрессивной, и с великим злорадством обличала каждого, кто сколько-нибудь отступал от предписанной в то время простоты в одежде или обнаруживал недостаточно радикальное исповедание веры. Щедрин говорит, что «ко всякому популярному общественному течению неизбежно примазываются люди, совершенно чуждые его духу, но ухватившие его внешность. Доводя эти внешние признаки до абсурда, до карикатуры, пользуясь популярным общественным движением в интересах личного самолюбия, карьеры или еще более низменных выгод, такие личности только опошляют движение и приносят ему глубокий вред» [12]. Эти слова можно было вполне приложить к Сычовой.

Шум и оживление усиливались: многие встали из-за стола и прохаживались, другие группами сидели и стояли во всех комнатах квартиры. Позже других явившиеся садились за стол, закусывали и сами наливали себе чай.

— Отрежьте-ка мне колбасы,— просит один свою соседку.

— Извольте... Нужно бы покрасивее, да лучше не умею,— отвечают ему, подавая.

— Бросьте это... Вы все убиваетесь по отсутствию красоты, а вам бы давно пора понять, что настоящая красота в том, чтобы избавить человека от голода.

Таня схватила меня за руку, когда я проходила мимо нее, и усадила за стол подле себя.

— Можете себе представить,— говорит она,— ищу Павла Ивановича (Якушкина) повсюду и наконец нахожу его в кухне: он свернулся калачиком, подложил под голову свою котомку и спит себе преспокойно. Дуняша предлагала ему диван в моей комнате, наконец, свою собственную кровать, но он наотрез отказался, говорит, что в чистом месте все перепачкает, и улегся в кухне на полу.

— Вот молодчина так молодчина! Такой человек, как он, отрешившийся от всех барских привычек, условностей и затей, имеет полное право считать себя свободным от пошлых предрассудков! — восторгалась молодежь.

— А это что же? — спросил один студент, когда Дуняша поставила на стол подносик с несколькими бутылками пива и графинчик с водкой.— Ведь на наших собраниях уже давно решено вывести пьянство! Оно не только гнусно

само по себе, но гнусно и тем, что напоминает пошлый разгул помещиков!..

— Какой тут разгул! — конфузливо и как-то боязливо оправдывалась Таня.— Якушкин уже старик и «без мокренького», как он выражается, не может существовать. Такому человеку можно, кажется, оказать маленькое снисхождение...

— А это, Кочетова, уже прямо подло с вашей стороны...— напал на нее один из студентов.— Раз решено не угощаться спиртными напитками, это правило должны соблюдать все и не делать из него исключения ни для стариков, ни для знаменитостей, если они желают быть в нашей компании. Ведь иначе выйдет, что мы признаем авторитеты.

— Правильно! К черту авторитеты!..— на все лады кричала молодежь.

— Нельзя же отрицать все авторитеты, например авторитет родительской власти,— вдруг робко заметила я, в первый раз в этот вечер раскрывая рот.

— Не потому ли следует соблюдать авторитет родителей, что они породили вас? Им самим это было только приятно!..— отрезал самый юный из студентов, известный под прозвищем «Экзаменатор» (по фамилии Петровский), только что усевшийся подле меня, производивший впечатление мальчика-подростка, гимназиста даже не старших классов. Черты лица его были очень мелки, носик крошечный, вроде придавленной пуговки, и вздернутый вверх, что придавало ему задорный, комический вид, тем более что он всегда рассуждал о серьезных материях.— Разве вам не известно,— опять обратился он ко мне,— что наши отцы и деды были ворами, стяжателями, тиранами и эксплуататорами крестьян, что они с возмутительным произволом относились даже к родным детям? — После длинной тирады он немного передохнул, но вдруг лицо его озарилось «адской насмешкой», и он, наклоняясь ко мне, спросил:

— Может быть, вы и насчет «боженьки» не вполне осведомлены?

Этот вопрос показался мне до невероятности пошлым, а нотка снисходительного покровительства и иронии в его словах страшно взбесила меня: краска негодования залила мое лицо, и, ничего не ответив ему, я встала и перешла на свободное место у противоположной стены.

Петровский, которого называли «Экзаменатором», потому что он, чуть не в первый раз встретившись с челове-

ком, сейчас же спрашивал, читал ли он ту или другую книгу, имеет ли понятие о том или другом, был в то же время ретивым развивателем и пропагандистом и, вероятно, страдал настоящей манией, зудом, который заставлял его выкладывать другим все, что он сам только что узнавал. Не получив от меня поощрения к дальнейшему распропагандированию моей особы, он уже через несколько минут расхаживал с девочкой лет пятнадцати — шестнадцати, особенно бедно одетой, с умненькими и живыми глазками. От «сестер» я узнала, что ее зовут Манею, что она ученица одной из них и дочь портнихи, которая в то же время отдает внаем комнаты студентам, а те бесплатно обучают ее дочь, что она учится со страстью, проявляет большие способности к ученью и серьезный интерес ко всему, что слышит и читает.

Маня с «Экзаменатором» уселась против меня; он имел вид репетитора-гимназиста, а она — его ученицы; он спрашивал, она отвечала, благопристойно сложив ручки на коленях и со страхом поглядывая на своего учителя, как бы желая удостовериться, не проштрафилась ли она перед ним тем или другим ответом.

— Понимаете, Маня, я уже вам говорил, что вы раз навсегда должны установить одну общую точку зрения, которая поможет вам узнать, к чему должен стремиться человек. Что же, знаете вы это теперь?

— Вот это, что вы сейчас сказали, я как будто не очень поняла,— говорила Маня, конфузливо обдергивая свои рукава.— Только все же я догадываюсь, о чем вы хотите меня спросить... Видно, то же самое, что и Федор Алексеевич мне намедни говорили...

— Сколько раз я вам уже замечал, чтобы вы никогда не употребляли множественного числа там, где нужно единственное. Это не только неправильно, но и унизительно для человеческого достоинства: все люди равны, и вы совершенно такой же человек, как и Федор Алексеевич. Пожалуйста, продолжайте.

— Я хотела сказать... что эти слова... я узнала от Федора Алексеевича... и уж они мне так *пондравились*... так *пондра*...

— Ах, боже мой, Маня, понравились, а не пондравились!..

Маня, видимо так горячо желавшая познакомить его со словами, которые пришлись ей по душе, но грубо прерванная своим ментором, как-то вся съежилась и растерялась.

— Простите, пожалуйста, я знаю, что вы все говорите

на мою же пользу... только уж такая я злосчастная: чуть что у меня в голове — все и поспутается...

При этих словах юнец вздрогнул,— они точно ударили его хлыстом по лицу. Он так вспыхнул от стыда, что слезы навернулись у него на глаза. Он схватил руки Мани и, горячо пожимая их, просил простить его за нетерпение:

— Сам знаю, что бываю мерзавцем и свиньею... и, право же, это оттого, что мне так хочется, чтобы все поскорее узнали то, что я сам знаю. Простите меня, Манечка, и скажите то, что вы хотели сказать...

Она с минуту смотрела на него в замешательстве и теребила свои рукавчики. Наконец улыбнулась и сразу проговорила, точно затверженный назубок урок, без малейшей запинки, и с лицом, сияющим радостью:

— «Человек должен стремиться к благополучию наибольшего числа людей». Ведь вы это хотели меня допросить? И я, ей-богу же, понимаю это. Мне радостно, даже очень радостно это...

— Прекрасно, Маня, вполне правильно... Но не забывайте, что и при этом нужно разбираться в том, какое благополучие желательно, какое — нежелательно; следовательно, необходимо уметь еще отличать добро от зла, хорошее от дурного. Впрочем, по всему, что я слышу о вас за последнее время, я вижу, что вы начинаете уже кое в чем серьезно разбираться... Ну, а вот вы, барышня,— обратился он ко мне.— Что вы понимаете под добром и злом? Я вижу, конечно, что вы в моднеющем пансионе воспитывались, но ведь там больше насчет «parlez français» и «tenez vous droite» *, но едва ли давали вам рациональные понятия о добре и зле. Если же, паче чаяния, вы это понимаете, потрудитесь высказаться.

Я в упор посмотрела в лицо юнца, которое, когда он конфузился, носило такое простое, милое, детское выражение, но теперь по-прежнему было комично-торжественно. Меня до невероятности злило, что он, этот мальчишка, осмеливается брать со мной, как мне казалось, неподобающий тон, и я запальчиво и, сколько сумела, язвительно ответила:

— Вы очень комичны и навязчивы, господин экзаменатор!

— Тут нечего злиться. Когда вы чему-нибудь путному научитесь, старайтесь не хранить это только про себя... Если же вам вдолбили какую-нибудь глупую теорию или

---

* «говорите по-французски» ... «держитесь прямо» *(фр.)*.

неправильное понятие, пользуйтесь случаем, чтобы избавиться от вздора.

Меня все более смешила его манера держать себя, говорить и поучать, но высказанная им мысль казалась мне правильною и серьезной.

— Почему же вы думаете, что я не умею отличить добра от зла? Я, вероятно, не хуже вас знаю, что понятия об истине и лжи, о добре и красоте, о высоком и низком — вечны, как божий мир, и во все времена будут и были одни и те же.

— Вот и оказывается, что у вас ерунда в голове! Так слушайте же и зарубите себе на носу: понятия и взгляды на нравственность меняются сообразно с духом времени, а вовсе не уподобляются каменным глыбам. Я вам сейчас поясню примером: прежде драли крестьян розгами и плетьми, брали взятки, родители насильно выдавали дочерей замуж за богатых,— и все находили это в порядке вещей, считали добрым и хорошим то, на что теперь каждый культурный человек смотрит с отвращением.

Теперь уже более, чем его резкими выражениями, я была уязвлена тем, что и этот, как мне казалось в ту минуту, не крупного полета юнец мог так отбрить меня. Переконфуженная до невероятности, я отправилась слушать разговоры в соседнюю комнату, куда шли и другие.

— Так вы думаете, батенька, присоседиться к государственному пирогу? — укоризненно говорил медик Прохоров своему земляку, молодому человеку по фамилии Кондратенко, недавно окончившему университетский курс.

«Что это за «государственный пирог»? Что может означать подобное выражение?» — ломала я себе голову. Меня приводило в отчаяние, что такая масса слов, выражений и понятий были недоступны мне даже в простом разговоре.

— Что же делать,— было ему ответом,— если помимо службы я ничем другим не могу обеспечить существование моей семьи! Я не одарен никакими талантами, во мне нет и способностей для того, чтобы заниматься какою-нибудь свободною профессиею: я не могу быть ни ученым, ни профессором, ни художником, ни артистом, ни писателем. Уроки, которые давали мне возможность существовать хотя кое-как, и те кончаются, и я остаюсь без всяких средств, а между тем мне подвертывается чиновничье место...

— Полно вам, Кондратенко, вздор городить,— возражал ему медик Прохоров, молодой человек лет двадцати трех, брюнет, с черными глазами и весьма решительным видом.— Ведь только тот, у кого нет никакой энергии,

никакой инициативы, никакого чувства собственного достоинства, никакого сознания того, что наступили новые времена, когда каждый обязан ворочать собственными мозгами, не может взять себя в руки,— одним словом, только жалкому сопляку приходится теперь ходить на помочах какого-нибудь директора департамента, тухнуть в канцелярии и заниматься никому не нужным бумагомаранием.

— И я нахожу, что при ваших способностях и при вашем образовании просто преступно идти по старой дорожке, проторенной нашими тятеньками. Я, как и ваш земляк, тоже был лучшего о вас мнения.

— Молодое поколение обязано отыскивать новые пути, соответствующие новым современным требованиям! — кричали ему на разные лады.

— Очень возможно, что это только минутная слабость! Ведь иному трудно сразу сбросить с себя ветхого человека.

— Теперь, Кондратенко, нужно крепко держать себя в руках. Чтобы жить и бороться в настоящее время, нужны люди со стальными нервами, с определенно обоснованными принципами...

— А главное, необходимо прежде всего выяснить, зачем живешь, по какой дороге пойдешь, что будешь преследовать в жизни...

— Может быть, Кондратенко говорит все это с целью узнать, как к этому отнесутся люди нашего круга?.. А возможно, что он делает это с целью открыто заявить нам, что с этих пор он не имеет больше ничего общего с идеалами, дорогими для всех нас? У вас, Кондратенко, может быть, где-нибудь в глубине вашей души есть маленький расчетец на то, что раз вы смело заявляете нам такие ужасные вещи, у нас не хватит храбрости в глаза осудить вас?

— Когда вы окончите обливать меня грязью, когда вы исчерпаете все ваши нравоучения, ругань и низкие подозрения,— я сразу отвечу всем вам. Я вижу, что еще «Смерч» горит нетерпением обличить меня... Хотя это будет перефразировка уже сказанного, но, сделайте одолжение, говорите и вы,— не то с горечью, не то с сарказмом произнес Кондратенко, бледный как полотно.

— Напрасно, Кондратенко, вы вносите сюда столько раздражения. «Ты сердишься, Юпитер,— значит, ты не прав!» Обязанность человека нашего круга — высказывать товарищам все без утайки и фальши...— ораторствовал «Смерч», по-видимому ничуть не задетый саркастическим замечанием по его адресу.— Мы собираемся здесь не для

светской болтовни и презираем тех, кто в глаза говорит одно, а за глаза — другое, как это было в обычае у наших родителей, когда у них сходились обжираться кулебяками и разносолами и для пищеварения беседовали с знакомыми. Ваше желание, Кондратенко, сделаться чиновником показывает, что вы игнорируете одно из главнейших требований молодого поколения — разрывать с прошлою жизнью, с ее обычаями и укладом, с понятиями наших отцов. Мы, молодая Россия [13], обязаны повергать во прах старые идолы и разрушать старые храмы, чтобы на их развалинах создавать новую жизнь, и эта новая жизнь ничего не должна иметь общего с жизнью старого поколения. Мы всегда должны твердо идти по новой дороге, брать на себя только такую деятельность, которая приносила бы пользу ближнему, а если ее нельзя найти,— создать новую. Конечно, нам предстоит отчаянная борьба с реакционерами, с предрассудками, с своим собственным страхом перед всем новым, даже, как это ни странно, с собственным индифферентизмом к общественной деятельности, что так основательно внедрили в нас наши милые папаши и мамаши... Вы упомянули, Кондратенко, что у вас семья... Я не хочу верить, что вы женились из-за прихоти пошляка мужчины. Вы, конечно, выбрали себе такую жену, с которою можете идти рука об руку в общественном деле. В таком случае ваша жена будет помогать вам создавать новую общественную деятельность...

При последних словах Очковская быстро выдвинулась вперед.

— Позвольте, Ольга Николаевна,— запротестовал Кондратенко,— очередь за мною. Я задержу недолго. Я должен сказать вам, господа, что, к сожалению, ничего не мог почерпнуть для себя полезного из ваших речей... У меня примеры на глазах, как сушит, убивает человека чиновничья карьера, и я делал все, чтобы избежать ее. Изобрести для себя новую деятельность гораздо легче на словах, чем на деле. Если я так думаю вследствие умственной тупости и убожества, умоляю вас, придумайте для меня какую-нибудь деятельность вне государственной службы, и если она даже будет очень скромно обеспечивать существование моей семьи, я вам даю слово никогда не сделаться чиновником...

— Как это неделикатно сваливать свои заботы на чужие плечи!..— кричали ему на разные лады.

— Можете себе представить, ведь Кондратенко уже ушел...— заявил кто-то через несколько минут.

— Ну и черт с ним! — раздалось в толпе.

— Вы знаете его адрес? — спрашивал Слепцов у какой-то дамы и под ее диктовку записывал его в свою книжку.

— Где нужда, там и Василий Алексеевич! — зашептала Таня, наклоняясь ко мне.— Вот попомни мое слово: он завтра же обегает весь город и что-нибудь добудет для Кондратенка... Это самый великодушный, самый чудный из всех наших знакомых.

В это время Веруся, обращаясь к своим гостям, говорила чрезвычайно взволнованно:

— Конечно, вы должны были сказать ему все, чтобы удержать его от чиновничьей карьеры. Но вы говорили с ним как-то безжалостно! Не знаю, как выразиться... как-то совсем нехорошо. Ему самому, видно, все это так тяжело! А у вас не нашлось ни слова участия к нему! Мы должны были сообща помочь ему отыскать новый труд, а если бы это оказалось невозможным, мы обязаны из своих заработков собирать известную сумму и поддерживать его до тех пор, пока он не найдет для себя деятельности, которую мы все могли бы одобрить. А это что же? Руганью и низкими подозрениями выгнать человека из дома! Это ужасно, это просто даже позорно! Если бы вы знали, какие это славные, очень славные люди оба Кондратенко — муж и жена! Мы должны прийти к ним на помощь! Ведь мы же составляем тесный кружок людей единомыслящих, следовательно, должны быть более близки между собой, чем даже родные по крови,— мы родные по духу!.. Это выше, святее и более ответственно, чем родство по крови!

Все как-то притихли, точно пристыженные этими словами. В эту минуту Очковская положила мне руку на плечо, и мы начали прогуливаться с нею. Вдруг из открытой двери маленькой комнаты, заставленной мебелью и шкапами вследствие вечеринки, раздался голос Слепцова:

— Так, пожалуйста, повидайтесь же с ним... ведь директора получают всевозможные запросы из провинции, наконец, он может направить вас к кому-нибудь другому. Имейте в виду, что Кондратенко кончил университетский курс, что он человек с серьезными знаниями, и вашему директору не грех похлопотать за него. Поскорее же известите меня о результате свидания...

— Какое впечатление производит на вас Слепцов? — спросила меня Очковская, когда я вошла с нею в другую комнату.

— Он красив, очень красив... только лицо у него какое-то неподвижное, точно маска...

— Несмотря на его замечательную красоту, меня долго расхолаживала неподвижность его лица, но я начинаю убеждаться, что он надевает эту маску умышленно, чтобы скрывать величие своей души.

— Что же вы тут прячетесь, Ольга Николаевна? — заговорил Николай Петрович, подходя к нам.— Я уже заявил публике, что вы хотите поставить на обсуждение кое-какие вопросы. Слышите? Вас зовут!

И действительно, из большой комнаты раздавались страшный шум, топот ног и крики:

— Очковская, Очковская!

— А я расхотела говорить...— сказала Очковская, не двигаясь с места.— У меня уже улетучилось все, что я собиралась сказать...

— Ручаюсь, вам стоит только рот открыть, и на помощь вам явятся и огонь в крови, и пламень в груди... Да идите же!

— Каждая дама в таком случае всегда любит поломаться!..— бросил Слепцов, проходя мимо нас.

— Неправда! — с досадой крикнула ему вслед Очковская, и его слова точно пришпорили ее: она быстро вошла в большую комнату. Публика из кожи лезла, чтобы представить настоящий раек [14] театра: кричала, топала ногами, вызывала Очковскую на все лады, а когда та появилась, аплодировала, сколько хватало сил. Ольга Николаевна прижимала руку к сердцу, делала реверансы, раскланивалась по-театральному, но, как только начала говорить, сделалась серьезною, с каждым словом все более увлекаясь.

— Я хочу поговорить насчет последних слов «Смерча». Он и очень многие из вас утверждают, что жену должно прежде всего выбирать для того, чтобы иметь возможность работать вместе с нею для общественной пользы... Следовательно, вы ищете в браке только пользы и выгоды для ближнего, а я нахожу, что вступать в него следует не с утилитарными целями, а только по взаимной страстной любви.

— Ерунда! абсурд! — кричали со всех сторон.

— Оказывается,— с запальчивостью перебила их Очковская,— что вы не понимаете, что такое свобода слова, а еще называете себя «молодою Россиею», «молодым поколением», «носителями прогрессивных начал и идеалов»! Прежде выслушайте, а потом хотя камнями побивайте...

— Вы знаете,— тягуче и с ненужной обстоятельностью заговорила Сычова,— что камнями вас никто не собирается побивать, но после таких слов в порядочном доме вам не протянули бы руки.

— Убирайтесь вы в ваш порядочный дом! — закричала ей Вера во все горло.

— Ведь и пошлость имеет свои границы...— резко возразил Ваховский, в упор глядя на Сычову. Но та не сконфузилась, не тронулась с места и, хотя на нее все поглядывали, кто с гримасою, кто с насмешкою, продолжала брюзжать:

— Смазливая девчонка, вот за нее и готовы каждому горло перервать!..

— Продолжайте же, Ольга Николаевна, а госпожа Сычова в это время приготовит для вас новый камень, но не из особенно смертоносных,— заметил Слепцов.

— Видите ли,— заговорила Очковская,— я все более чувствую, господа, что мои взгляды расходятся с вашими. Мне уже давно стало казаться, что я воровски пользуюсь вашим добрым отношением ко мне. Вот это-то и заставляет меня откровенно раскрыть перед вами мой символ веры. Начну с моего прошлого: до девятнадцати лет я прожила в полном довольстве. Меня обожали родители; хотя они имеют хорошие средства, но богачами их нельзя считать, а между тем они исполняли не только все мои желания, но, с их точки зрения, даже прихоти: выписывали журналы и книги, какие только я просила, позволяли брать уроки у дорогих учителей, хотя находили, что я достаточно всему обучена, так как выучили меня четырем иностранным языкам. Говорю об этом для того, чтобы показать, как они всегда считались с моими желаниями, хотя очень часто не могли сочувствовать им. Дозволили они мне брать уроки и у Николая Петровича Ваховского, когда он появился в нашем городе. Уже ранее, чем я начала занятия с ним, мне стала претить провинциальная жизнь, мое положение сонной царевны в сонном царстве, а тут под влиянием Николая Петровича мне окончательно опостылела такая жизнь, и на этой почве у меня то и дело начали являться размолвки с родителями. Как раз в это время у меня явился жених, богатый, молодой, образованный, даже красивый. Я находила его весьма порядочным человеком, и, если бы я сказала ему: «Будем работать для блага ближнего, устроим школу, больницу», он, несомненно, на все согласился бы, но я не чувствовала к нему страстной любви и отказала ему. Родители были крайне возмущены. Они находили, что у него все, о чем может мечтать девушка: молодость, красота, богатство. Последнее, по их мнению, важно было для меня потому, что почти все их состояние после смерти должно перейти в руки моих братьев. Как только я отказа-

ла блестящему жениху, так отношения с родителями обострились: между нами явилось какое-то взаимное озлобление. Если бы я ограничилась отказом жениху, мои родители, вероятно, со временем примирились бы с этим, но не знаю, что со мною сделалось. Точно кто-то толкал меня говорить им резкости и безжалостные вещи, я точно мстила им за то, что они осмелились желать этого брака. Но все это я сообразила впоследствии, а в то время во всем считала себя правою. Кончилось тем, что я разошлась с родителями и уехала в Петербург. Если бы вы знали, как у меня до сих пор обливается сердце кровью, как мне недостает их ласки, забот, как я убиваюсь из-за того, что поступила с ними жестоко и несправедливо. Видите ли, я и в этом сильно расхожусь с вами. А мои воззрения на брак диаметрально противоположны вашим. Как это ни странно, но ваши взгляды, по крайней мере тех из вас, которые говорили со мною об этом, сильно совпадают со взглядами моих родителей, но у вас они, конечно, более общественного характера. Расчет на выгоду как у вас, так и у них, а мне он одинаково противен. Считаю своею обязанностью заявить вам, что в браке я буду руководиться не общественными соображениями, а исключительно моими личными чувствами. Моим мужем будет только тот, кто заставит биться мое сердце от радости и счастья. Вот какая разница между вашими и моими взглядами. Вы заботитесь только о благе ближнего, а я, презренная эгоистка, прежде всего для себя мучительно хочу личного счастья. Должна сознаться, что в этих мечтах я то и дело забываю о ближних... В этом я оправдываю себя в собственных глазах тем, что только любовь, одна любовь может дать женщине настоящее нравственное удовлетворение, делает ее лучше, более доступною великодушию. С моей точки зрения, только брак по страсти может дать женщине настоящую энергию для общественного служения, только он один даст ей возможность приносить истинную пользу ближнему. А когда в браке руководятся не страстью и любовью, а даже возвышенным расчетом, женщина не получит никакого счастья, следовательно, и никакого удовлетворения: понятно, что и ближнему, в таком случае, не будет никакой выгоды... Как антипатичны мне ваши взгляды на брак, так антипатичны мне и ваши взгляды на поэзию. Когда я раздумываю о них, вы представляетесь мне настоящими убийцами и палачами. Да вы и есть настоящие убийцы!.. Вы убиваете все грезы молодости, все лучшие мечты о счастье, всю поэзию жизни! Вы высмеиваете художественные произве-

дения, искусство, а я... я обожаю все, что носит печать поэзии. Так вот какая пропасть лежит между вашими воззрениями и моими! Я все сказала: гоните меня из вашего круга!

Поднялась целая буря: одни кричали одно, другие — другое, многие поднимали руку вверх, показывая этим, что желают говорить, топали ногами, свистели, чтобы заставить себя выслушать, но, кроме отдельных выкриков, все слилось в беспорядочный хаос голосов. Наконец Ваховскому удалось энергично закричать:

— Я буду руководить прениями. Выступайте со своими возражениями в том порядке, в каком вы стоите в настоящую минуту. Господин медик, вам говорить первому...

— Вы, Очковская, сами прекрасно понимаете, что проповедуете культ узкого личного эгоизма. Если бы вы руководились стремлением к общественной пользе, с кой-какими вашими взглядами еще можно было бы помириться, но вы всюду на первом месте ставите удовлетворение личной страсти... И все это вы высказываете с таким пафосом, что можете даже людей, нетвердых в принципах, просто смутить...

— Все ваши страсти и любови,— задорно прокричал другой,— только рутина, старый хлам, который давно пора выбросить за борт!

— Конечно... конечно,— авторитетно подтвердил Прохоров,— художественные произведения, а тем более музыка, живопись, ваяние и вообще все искусство созданы только для богачей, для улучшения их пищеварения.

— Исключительно для барского самоуслаждения!

— И вы думаете, Очковская, что, поставив страсть во главу угла, вы открыли Америку? Ведь и до вас многие руководились такими же африканскими воззрениями.

— Люди, поженившиеся по страсти, драли, как и прочие, своих крепостных и предавались разврату на стороне!

— Дайте же мне, наконец, сказать... Слова прошу, слова...— силился перекричать других один из студентов, не в силах более ожидать своей очереди.— Видите ли, господа, вероятно, многим из вас казалось, что романтизм давно отжил свой век. Но если последовательницею его является такая прогрессивная особа, как Очковская, это означает, что он еще силен. Имейте же в виду, Очковская, что романтизм всегда питал только гнилые иллюзии и тянул русских барышень не к живой общественной деятельности, а к пуховику, вызывал лишь слезы при виде безвременно погибшего воробья.

— Да знавали ли вы,— перебил его другой,— людей, поженившихся по страсти, которые не закисли бы, не отупели, не опошлились в этой узкоэгоистической, сентиментальной сфере чувств, которые бы шли вперед по пути прогресса, занимались просвещением, двигали науку вперед, улучшали бы жалкое положение мужика? Нет, тысячу раз нет!

— Смерть диким страстям и заоблачным пареииям! — Эти и подобные им замечания сыпались без промежутков; часто даже двое и трое кричали зараз, и Ваховскому приходилось останавливать то одного, то другого словами: «Дайте же сказать Иванову».— «Тарасов,— вам говорить».

Вдруг «Смерч», с глазами, налитыми кровью, начал внезапно и энергически проталкиваться через толпу.

— Не ваша очередь! — остановил его Ваховский.

— Входя в порядочный дом,— грубо отрезал ему «Смерч»,— я не желаю иметь дело с городовыми и полицейскими; с благоговением и трепетом относиться к вашим распоряжениям и словам я тоже не желаю. Какой вы мастер руководить людьми, доказательство налицо — госпожа Очковская. Это вы вбили ей в голову такие гнусные взгляды и принципы! — И «Смерч» резко отстранил рукою Николая Петровича, подошел вплотную к Очковской и, свирепо уставившись в нее, взволнованно продекламировал:

Пускай ты верен назначенью,
Но легче ль родине твоей,
Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей? [15]

— С таким трагизмом и драматизмом, как вы, я не умею декламировать, но я могу лично вам ответить тем же Некрасовым:

Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано [16].

— Это нехорошо. Это слишком зло для вас, мое прелестное дитя.— И с этими словами Николай Петрович схватил обе руки молодой девушки и поцеловал их.

Молодежь с хохотом кричала ему:

— Это что за допотопные нежности!

— Ах вы сентиментальный словесник, брехун!

— Как есть настоящий эстет!

— Хотя здесь не очень любят правду слушать,— опять завела свою машинку Сычова,— но поцелуи ручек, нежные эпитеты — все это до невероятности пошло и возмутитель-

но. Я уже заметила, где только заведется смазливая девчонка, там она всегда понижает нравственный уровень.

— Почтеннейшая акушерка! — вдруг произнес «Экзаменатор», очутившийся подле нее.— Почтительнейше обращаю ваше внимание на то, что вы говорите в пространство.— И он указал ей рукою на публику, которая уже разбрелась по комнатам и разбилась на несколько групп.

— Во-первых, я не акушерка, а еще буду акушеркой, и очень горжусь этим, а во-вторых, я с вами разговаривать не хочу,— отрезала Сычова.

— А в-третьих ничего не будет? Пожалуйста, чтобы было и в-третьих. Вы не желаете? Тогда я сам выполню этот нумер!.. Так вот-с: хотя со взглядами госпожи Очковской я не вполне солидарен, но эпитет «смазливой», данный вами особе поразительной красоты, не согласен с правдою, которую вы сами так отстаиваете, и продиктован вам гнусным чувством, называемым завистью. Но это не мешает мне уважать вашу будущую профессию и с восторгом думать о моменте, когда вы у колыбели новорожденного человечества...— Он, видимо, желал прибавить еще что-то язвительное, но спохватился вовремя: саркастическая улыбка передернула его детское личико, он не выдержал, расхохотался и, как школьник, юркнул в сторону.

Николай Петрович долго пытался заговорить в кружке споривших, но общий говор заглушал его голос. Наконец ему удалось перекричать других:

— Не могу согласиться с вашими взглядами на художественные произведения. Вы забываете о том, что они возвышают и облагораживают душу. Если вы уничтожите их, вы низведете человека до скота. Вспомните Лира, который сказал... [17]

— Это вымысел. Может быть, и красивый, но все-таки вымысел Шекспира. К тому же короли и бары всегда так рассуждали, всегда думали только о самоуслаждении в то время, когда народ пух от голода и прозябал в невежестве...

— А я вами недовольна, очень недовольна, мой дорогой, дорогой наставник,— выговаривала Очковская Ваховскому.— Неужели в защиту поэзии и искусства вы могли сказать только то, что сказали? Если бы я умела говорить, я бы сказала такую речь, такую, стены затрещали бы, и присутствующие покраснели бы от стыда, что отвергают такие великие дары неба. Да, уж доподлинно правда: «Бодливой корове бог рог не дает»!

— Как же говорить? Ведь я не подготовился к такой речи.

— Говорите экспромтом. Почему же вы не можете сказать речь в защиту ваших излюбленных художников слова?

— Словесники всегда говорят по тетрадочкам и записочкам!..

— Все эстеты — фразеры: такими фразами, как «облагораживают», «возвышают», они могут сыпать сколько угодно, но большего от них не ждите,— с хохотом кидали Ваховскому со всех сторон.

— У меня сердце разорвется от боли, если о вас будут говорить такое...— И Очковская дернула за руку Ваховского и толкнула его в центр круга.

Его симпатичное лицо вдруг приняло восторженное выражение, и он заговорил с большим одушевлением:

— Как можете вы, мечтающие об общественной пользе, об осуществлении высоких идеалов на земле, о самоотвержении, о борьбе с общим нашим врагом, повторяю, как можете именно вы отвергать великое значение наших писателей-художников? Отрицая жизненные удобства для того, чтобы свои силы, материальные и духовные, нести на алтарь общественной пользы, вы, молодое поколение, заслуживаете высокого уважения и подражания... Но ваше преклонение только перед тем, что полезно, доводит ваш утилитаризм до отрицания в человеке всех эстетических потребностей, вложенных природою в сердце человека: это уже преступление против духа святого. Живой интерес к художественным произведениям и искусству создает высокое духовное наслаждение, дает утешение, вытравляет мелочность, грубость, всякую накипь житейской пошлости, приносит забвение от забот, внушает каждому возвышеннейшие побуждения. Человек, не развивший в себе способности и уменья наслаждаться художественными произведениями, если только не сверхъестественно щедро одарен от природы, в громадном большинстве случаев — эгоист, сухое сердце, неспособное на великодушные поступки. Боже мой, разве можно отрицать великое значение художников слова! Они заставляют человека задумываться над такими явлениями жизни, которые обыкновенно проходят совершенно бесследно, они учат нас мыслить и любить своих ближних. Как в русской, так и в иностранной литературе немало произведений, в художественных образах изображающих людей той или другой эпохи с их радостью и горем, с их надеждами, разочарованиями и жизненною борьбою,— они дают нам представление о людях известной эпохи в более ярких, выпуклых образах, чем это могут

сделать самые драгоценные исторические документы. Великий талант художника может изобразить человека столь возвышенно-благородной души, что его образ вечно будет носиться перед вашими духовными очами, и вы будете употреблять всевозможные усилия, чтобы достичь его нравственной красоты, или наоборот — в яркой картине покажет вам душевную пустоту, низость и пошлость с такою силой, что вы содрогнетесь от ужаса. Художественные произведения будят совесть и стыд как отдельных людей, так и целого общества,— следовательно, поднимают его нравственный уровень. Молодые друзья! Вы, с безумным восторгом, какой дается только юным, чистым сердцам, рукоплескавшие падению крепостничества, забываете, что уничтожением этой страшной язвы, в корне развращавшей умы и сердца русских людей, вы прежде всего обязаны нашим художникам слова, которые, несмотря на цензурный гнет и жестокие кары, были вдохновенными провозвестниками воли. Всю мерзость крепостничества они наглядно, в художественных образах представляли нам и мало-помалу внедряли в умы сознание необходимости великой реформы. И вдруг вы, с такою страстью и энергиею бросившиеся в ряды истинных просветителей народа, развенчиваете Пушкина [18], который всю жизнь был вождем нашего просвещения, а между тем он, этот величайший из наших художников, должен остаться нашею гордостью до тех пор, пока русская речь будет раздаваться в пределах нашего отечества. Мои молодые друзья! Подумайте, откуда у вас взялись бы идеалы и стремления высшего порядка, если бы подходящей почвы для них не подготовляли своими произведениями они, наши великие художники? Постепенно меняя допотопные понятия ваших отцов и дедов, они в каждом новом поколении вырабатывали все более возвышенные взгляды, мысли, стремления. В конце концов это они произвели полный переворот во всем миросозерцании русских людей. Если из ваших рядов, господа, выйдут защитники прав человека, люди, сочувствующие страждущим и обремененным непосильным трудом, герои и борцы за правду, свободу и за лучшее будущее, то этим вы обязаны будете только великим художникам слова. Они, эти властители наших дум, творцы всего, что есть в нас лучшего, всегда учили нас стремиться к самопожертвованию, развивали сострадание и любовь к ближнему, заставляли нас отворачиваться от житейской грязи и обыденщины. Я твердо уверен, что нынешнее отрицание поэзии — простое недоразумение, что оно исчезнет, как дым. Это мое

глубочайшее убеждение прежде всего зиждется на том, что вы, молодежь, отрицатели поэзии и искусства, несете во все концы нашей родины, трепещущей в агонии нищеты, мрака, невежества, произвола и отчаяния, целый груз чудных поэтических надежд и великодушнейших стремлений, и сами вы скоро сознаетесь, кому вы обязаны своими благороднейшими порывами.

Раздался гром аплодисментов, а Ольга Николаевна, с детским восторгом схватив Ваховского за руки, начала кружиться с ним по комнате.

Петровский («Экзаменатор») в ту же минуту вскочил с своего места и запальчиво прокричал:

— Чернышевский, наиболее уважаемый из наших крупных современных писателей, определенно высказал, что произведения искусства не могут выдержать сравнения с живою действительностью, что жизнь прекраснее искусства... [19] И вам, господин словесник, не вредно было бы это помнить...

— Конечно,— возражала Вера Корецкая,— мы не можем придавать такого значения художественным произведениям, какое придает им Николай Петрович. Мы также не отрицаем красоту и прекрасное, но стараемся отыскивать то и другое не в трелях соловья, не в вечернем звоне церковных колоколов, не в маленькой ножке кисейной барышни, а в том, что дает счастье трудящемуся люду, что расширяет его умственный кругозор, его права на свободу.

— Господин словесник,— заговорил медик Прохоров,— чересчур восторженно охарактеризовал писателей-художников: он опустил многие явления нашей жизни, еще более, чем художественные произведения, способствовавшие распространению общественных идеалов, но это вполне натурально в словеснике... Сознаюсь, однако, что он, хотя и односторонне, все же правильно сформулировал результаты их трудов. Наши писатели-художники вместе с другими явлениями жизни много способствовали изменению миросозерцания русских людей. Но необходимо иметь в виду, что Пушкин и другие художники все-таки прежде всего стремятся развивать любовь к красоте... Поймите же вы наконец, господин словесник, что теперь не время с этим возиться... Не забывайте, что Россия

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна [20].

Так вот-с, милейший Николай Петрович, знайте же, что не чувству красоты нужно теперь обучать, а возбуждать ненависть к рутине, злу, лихоимству. Пусть ваши писатели-художники обличают теперь зло, царящее у нас, пусть учат не подличать, не подлаживаться, не пресмыкаться перед сильными мира сего...

Николай Петрович прерывает его криком:

— Они всегда учили и учат этому.

Прохоров не обращает на это внимания и продолжает:

— Да-с... так пусть же эти ваши художники слова занимаются теперь не опоэтизированием красоток у фонтанов, цветков да облачков... да-с, пусть с этим маленько пообождут... Те из них, которые не желают расстаться с подобными сюжетцами, пусть отойдут в сторонку, их песенка спета... Очередь за нами. Да-с, за нами, не художниками, а людьми дела и прозы. Мы, а не они, должны начать переворот в действительной жизни.

— Еще бы: не старикам же брать на себя такую великую задачу! — выкрикнул кто-то из молодежи.

— Конечно, это уж наше дело! — заговорил совсем юный студент, энергично тряхнув своими густыми черными кудрями; при этом глаза его блестели отвагой, силой и задором.— Да, мы должны взяться за это! Мы, молодое поколение, представители новой силы и нового духа! Мы призваны обновить мир! Наша задача — прокладывать новые пути, создавать новые формы жизни, все изменить в нравах и обычаях, все перестроить или, по крайней мере, все перереформировать.

— Этого мало...— прервал его сосед.— Из переустройства и перереформирования ничего не выйдет: необходимо до основания разрушить все старое, чтобы ни одной балки, ни одной подпорки не оставалось,— ведь и те давно прогнили. Нужно, чтобы все новое было действительно новым.

— Таким образом,— заметил Николай Петрович,— вы хотите похерить всю цивилизацию, хотите начать жить с каменного века?

— Прошу слова,— заговорил учитель Яковлев, человек лет двадцати восьми.— Хотя я уж не так юн, как громадное большинство здесь присутствующих, но я ваш душою и телом. Я не совсем согласен с тем, что необходимо до основания уничтожить все старое: мне кажется, можно коечто оставить. Не только художники пера до сих пор дают кое-что полезное, но и художники кисти могут иногда приносить пользу народу, если в своих картинах они будут изображать его бездолье и произвол наших охранителей.

Я могу дать несколько сюжетов для картин и ничего не буду иметь против того, чтобы ими воспользовались. Мне самому они не нужны: я — учитель математики (молодой человек говорил все это совершенно серьезно). Итак, господа, вот вам сюжет для *первой картины*: за недоимки идет с молотка все имущество крестьянина. Полицейских, окружающих его, необходимо представить с зверскими рожами... При этом нужно изобразить, как с одной стороны уводят со двора последнюю коровенку (она должна быть написана изможденной, со впалыми боками), с другой — мужики и бабы рассматривают убогую одежонку хозяев, поступающую в продажу: она вся заплатанная и перезаплатанная и представляет настоящее нищенское рубище. Это может выйти очень недурно,— конечно, если картина будет хорошо написана. Тогда она послужит прекрасной иллюстрацией непроходимой бедности нашего народа. *Вторая картина*: фабричный рабочий перед раскаленной печью. Это, кажется, не требует комментариев, но для художественной разработки я могу прибавить еще кое-что: пусть художник фотографически верно изобразит фигуру рабочего — в рубахе с расстегнутым воротом перед печью, докрасна накаленною, а кругом фабрики лежит снег по колено, глубокая зима... *Третья картина*: до смерти засеченная девушка лежит в глубоком обмороке, а подле...

— Да помилосердуйте с вашими сюжетами! Ведь просто стыдно слушать! Вы так обязательно диктуете темы картин... но ведь среди нас нет художника, который бы мог выразить вам за них свою глубочайшую признательность! — весь красный, вскричал Николай Петрович Ваховский, вспылив до невероятности.

Его слова были покрыты криками неистового негодования, резкими высвистами и топотом ног. Среди этого гвалта и отчаянного шума чаще всего раздавались отдельные фразы: «Как вы смеете прерывать так грубо?» — «Когда вы чуть ли не целый час высыпали вашу ветхозаветную дребедень,— мы молчали...» — «Вот какому пониманию свободы научили вас ваши обожаемые художники слова!» — «Нахал!» — «Крепостник!» — «Обскурант!» — «Вон, вон отсюда!» — и к этому требованию присоединилось большинство, настойчиво повторяя последнюю фразу.

— Опомнитесь! Так унизить... Выговорить такие ужасные слова!..— вскочив на середину комнаты, не помня себя от волнения, кричала Вера Корецкая. Ее худенькие щеки были мертвенно-бледны, ее руки и плечи вздрагивали, вся ее тщедушная фигурка как-то съежилась.— За одну

вспышку... вы выгоняете безукоризненно честного человека! Вы сами наговорили ему хуже того, что он вам... Вы забываете, что он уже старик! Не может же он разделять все ваши взгляды!

— Мы, кажется, основательно освободились от светских приемов, давным-давно говорим в глаза друг другу все, что придет в голову, не заботясь о форме, что сейчас же было доказано... Почему же слова Николая Петровича так возмутили вас? — говорил Слепцов, но по его тону трудно было догадаться, порицает ли он молодежь за фамильярность или добивается только справедливости.

— Так пусть же хотя извинится,— вдруг прокричал кто-то с хохотом, и все подхватили эти слова на разные лады.— Пусть извиняется!.. С паршивой овцы хоть шерсти клок!..

— От всей души приношу мои извинения... Если я позволил себе не особенно деликатно выразить свое нетерпение относительно сюжетов картин господина Яковлева, то ведь и меня здесь не щадят. Но могу вас уверить, господа, что мое ухо уже давно привыкло к вашим эпитетам вроде «брехун», «золотушный эстетик» и тому подобное; они меня нимало не раздражают. Единственно, что ущемляет мое сердце, это ваша кличка: «старик да старик!» Даже такая великодушнейшая особа, как Вера Алексеевна, и та не забывает ее. Позвольте же вам заметить, что я стар только по сравнению с вашею лучезарною молодостью: мне тридцать восемь лет, я считаю себя еще совсем молодым человеком и даже не теряю надежды жениться по страсти.

Дружный хохот и бурные аплодисменты были ему ответом.

Яковлев как ни в чем не бывало продолжал свою речь, точно весь инцидент совсем не касался его.

— Такие картины,— опять начал он совершенно покойно и обстоятельно,— сюжеты которых я привел для примера, могли бы усиливать значение наших обличений и нашей пропаганды. Теперь сделаю вывод из сказанного мною: необходимо уничтожить то, что служило прихоти барства, и оставить из старого все, что может пригодиться на пользу народа.

— Один назовет прихотью то, в чем другой увидит только пользу,— не унимался Николай Петрович.

— Зачем же иметь в виду реакционеров и дураков? — оборвал его Яковлев.

— Ну, насчет этого мне с вами не столковаться!..— И Ваховский обратился к кружку молодежи, сгруппиро-

вавшейся в другом конце комнаты: — Я хочу поговорить с вами о другом. Вы то и дело нападаете на мою дорогую ученицу Ольгу Николаевну Очковскую... Многие, пожалуй, даже начнут косо смотреть на нее за высказанные ею взгляды на брак и любовь... Но ведь разногласие у вас с нею происходит только по некоторым пунктам. Могу вас уверить, что хотя она и говорит о своем эгоизме, но дай бог, чтобы каждый работал для ближнего так, как она. Что же касается ее взглядов на брак и любовь,— разве уже такое преступление помечтать в молодости о том, чтобы «сердце было согрето жаром взаимной любви»?

При этих словах «Смерч» злобно зашипел на Николая Петровича:

— Хотя мы, молодежь, то и дело расходимся с вами по весьма многим вопросам, но, благодаря вашему прошлому, мы все-таки приняли вас в наш кружок... Несмотря на все наши разногласия, вы могли бы идти с нами в ногу, так сказать, сообща с нами плыть к нашему берегу, к строго намеченной нами цели, которою может быть только общественное благо. Но вы на каждом шагу показываете, что не можете стать выше ветхозаветных условностей, выше предрассудков литературных, семейных и личных. А почему? Потому, что вы эстетик по натуре, просто даже какой-то цыган!.. Недаром же вы стараетесь убеждать других стихами цыганских песен. При этом вы еще какой-то старосветский селадон и все более превращаетесь в слезливого старикашку... Могу заверить присутствующих, что господин словесник в конце концов не что иное, как ублюдок Манилова и закорузлой чиновницы. Госпожа Очковская воображает, что своими идеями вы, господин словесник, принесли пользу ее развитию, а с моей точки зрения — один только вред. Она из натур колеблющихся, у нее много этой старой закваски, трухи в голове, а вы своими взглядами еще сбиваете ее с толку...

Как я позже узнала, «Смерч» был безнадежно влюблен в Ольгу Николаевну и смертельно ревновал ее к Николаю Петровичу Ваховскому, к которому она ничего не питала, кроме глубокой привязанности и уважения.

— Что, батенька, отделали-таки вас сегодня, можно сказать, под воск и под орех!..— не скрывая улыбки, заметил Слепцов, когда Николай Петрович опустился на стул подле него. Я сидела тут же. Они оба тотчас начали меня расспрашивать, как я чувствую себя в этой крикливой компании после монастырского затишья и официальной благопристойности. Краснея и смущаясь, я отвечала, что

меня страшно интересуют разговоры здесь присутствующих, что они открывают мне мир новых идей, о которых я не имела ни малейшего представления.

— Скажите откровенно, неужели вас не шокируют выражения, иногда довольно-таки резковатые? — спросил меня Слепцов, и его холодное лицо вдруг приняло выражение искреннего участия.

Я доверчиво созналась, что они меня несколько коробят, но это пустяки, так как сущность разговоров меня очень интересует, заставляет думать...

— Я ведь совсем невежественная особа: в первый раз в жизни попала к передовым и образованным людям...

— Ну, знаете ли, для жизни такая скромность просто вредна! По теперешним временам нужны зубы поострее и самой быть посмелее.

Против нас стояло, сгрудившись, несколько человек, и посреди них Таня.

— Ну, зачем, зачем вы развенчиваете чудного Пушкина? Вы послушайте только,— и она своим мелодичным голосом с увлечением продекламировала «Прощай, свободная стихия» [21], умело оттеняя все тонкие, художественные штрихи этого стихотворения.

Оказалось, как она тут же объяснила, что в «годы молодости» она училась декламации у настоящего артиста и чуть было не поступила на сцену.

— Да кончите вы с этою красивою чепухою! Теперь не время «красу долин, небес и моря и ласку милой воспевать»! [22] — кричали ей.

— Что же делать, если мне противно резать лягушек!

— Позвольте вам заметить,— выступил медицинский студент,— что лягушка — предмет анатомического и физиологического исследования... Никто не говорит, что нужно заниматься только лягушкою. В природе необходимо исследовать все, даже самое малое, так как в конце концов оно может оказаться значительным.

— Неужели, Кочетова, вы не понимаете,— заметил ей другой,— что изучение природы более полезно, чем чтение Пушкина, который, как у нас здесь только что было установлено, уже сделал свое дело, и в настоящее время чтение подобных произведений поддерживает лишь бесплодные романтические грезы и вредные бредни. Изучение же природы ведет к изысканию ее законов, к уничтожению предрассудков, к великим открытиям, полезным для всего человечества.

— Меня не тянет к изучению природы... вероятно,

потому, что у меня нет для этого никаких способностей. Что же мне делать? Подобные занятия нагоняют на меня только смертельную тоску,— с отчаянием оправдывалась Таня.

Но тут раздались гневные возгласы:

— Мало ли кого к чему тянет! Наших маменек и папенек всю жизнь тянуло только ко сну, еде и разврату.

— Что это значит иметь способности к тому или другому? — рассуждал учитель Яковлев.— Не только в области знания, но и в области искусства, в пении, музыке, живописи человек может достигнуть всего, чего пожелает. Может быть, вы не будете знаменитой европейской певицей, но, если пожелаете петь на сцене с средним успехом, можете выучиться петь, если только не потеряли слуха вследствие какой-нибудь болезни. Прежде все были убеждены в том, что для того, чтобы подвизаться на сценических подмостках в качестве певца, музыканта, артиста, необходимы какие-то врожденные способности... Но это совершенный вздор. Впрочем, такие рабские понятия были нормальным явлением в крепостническую эпоху, когда все упования возлагались на бога и на крепостных. В настоящее же время нашим девизом должно быть: «При желании и воле можно достигнуть всего собственными силами».

— Кто же еще из нашего круга стоит за искусство? Вы, Лярская, вероятно, крепко держитесь за свою музыку?

Особа, к которой были обращены эти слова, была одною из наиболее пожилых среди присутствующих: у этой бледной девушки с исхудалым, утомленным лицом, по-видимому давно уже утратившим блеск молодости, из-под густых, еще черных бровей смотрели большие карие, живые и проницательные глаза.

— Меня приспособили только к музыке... Ею только и кормлюсь, да плохо она кормит, особенно теперь. Может быть, это оттого, что все кричат: «Наука, наука!» Вот я и задумала поучиться... За уроки предметов, пожалуй, теперь будут больше платить. Ведь у меня больная сестра на руках. А музыку я люблю, люблю всем моим сердцем, всем помышлением... Кажется, удавилась бы, если бы хоть изредка не могла послушать Глинку, Листа, Шопена...

Раздались хохот и восклицания:

— Вот так бескорыстное служение искусству!

Лярская, видимо, не понимала ни этого смеха, ни иронических замечаний и какими-то удивленными глазами посматривала вокруг.

— Музыке у нас, в большинстве случаев, учили только людей богатых. Чтобы наслаждаться ею, необходимо не

только знать ее, не только быть сытым, но иметь еще деньги, чтобы заплатить за билет в театр. А если есть лишние деньги, их следует употреблять на что-нибудь более разумное...— наставительно произнесла одна из молодых девушек.

— Художники-писатели приносили пользу хотя в прошлом, что же касается музыкантов, но это уже совсем бесполезный народ. Даже ремесленник, простой сапожник, который хорошо умеет шить сапоги, полезнее человечеству, чем все эти дармоеды-музыканты,— решительно произнес Прохоров.— А ведь какая уйма денег идет на эту музыку и музыкантов! Строят консерватории, выдают стипендии, а народ коснеет в невежестве... Для народных школ в России нет никогда денег.

— За борт музыку, за борт! — повторяло в голос несколько человек.

— Да, теперь другое время, должны быть и другие песни!

В одной из групп Очковская говорила:

— По-вашему, человек может сделать с собою все, что пожелает: одному ничего не стоит заставить себя заниматься тем, к чему у него отвращение, другому — развить в себе голос, даже и в том случае, если природа не наделила его им, третий — может бросить все, в чем он находит радость и счастье: музыку, чтение поэтических произведений,— одним словом, совершенно переделать себя на иной лад. Если это и возможно, в чем я сильно сомневаюсь, да и не вижу в этом никакой необходимости, то, во всяком случае, для этого нужны исполинские силы!

— Если у человека не слякотная натура,— набросился на нее «Смерч»,— он восторжествует над всеми своими пошленькими чувствицами и вожделениями, он будет их царем, а не рабом. Но ведь вы верная последовательница идей «словесника»... вы, великолепнейшая, изящнейшая...

— Зачем вы подбираете эпитеты для моего уязвления?

— Потому что вы чересчур заняты своею великолепною особою. И такое красование собою вам никогда не даст возможности восторжествовать над пошлостью, привитою вам вашими превосходными учителями вроде господина Ваховского... В жизненной борьбе вы всегда останетесь пушечным мясом...

— Я знала, что без пушечного мяса у вас дело не обойдется...— с ядовитым смехом отвечала Очковская.

Но это только подлило масла в огонь, и «Смерч» уже

с расширенными зрачками, окончательно забывая здравый смысл, хрипло кричал ей:

— Да, я скажу... я брошу вам в лицо... при всех... вы очень любите покрасоваться своим великолепием! При ваших ветхозаветных взглядах на любовь не вам поднимать знамя прогресса, не вам стоять в рядах женщин, борющихся за эмансипацию! Да-с, извините-с, не вам. Вы выскочите замуж за пошляка... за красивого самца... за реакционера. Попомните мое слово: сильно обожжете свои крылышки! О, она даст вам себя почувствовать, эта вами воспетая страстная любовь!..

— Чего вы захлебываетесь от злости? — крикнула ему Ольга Николаевна.

В ту же минуту Прохоров оттянул за руку «Смерча» в сторону и начал вполголоса выговаривать ему:

— Ну, знаете ли, дружище, это не того... Дружескому обсуждению и выяснению современных вопросов и злоб дня вы придаете чисто личный характер, столь порицаемый нашим кружком. Неужели вы совсем потеряли способность наблюдать за собою? Неужели не поняли до сих пор, что не можете хладнокровно слова сказать с Очковскою? Вы по праву считаетесь прогрессистом и прекрасным пропагандистом, а между тем вы рискуете, что присутствующие зачислят вас в разряд таких господчиков, как Отелло, и других первобытных дикарей. Вам бы, знаете, освежиться, выйти на воздух...

«Смерч», несмотря на свою запальчивость, моментально последовал совету: не проронив более ни слова и ни с кем не простившись, он вышел из комнаты.

Вдруг я с ужасом увидала, что «Экзаменатор» с ироническою улыбкой на губах прямо направляется ко мне. О, я отлично поняла, что это грозит мне чем-нибудь очень неприятным. И не ошиблась. Он остановился против меня и как бы мимоходом проговорил:

— Ах да, барышня, я совсем забыл спросить вас, почему вы проткнули себе только уши и только к ним прицепили по пуду золота с драгоценными камнями? (Это было бичевание меня за ношение серег.) Вам бы заодно и нос себе проткнуть... Знаете, как делают дикари...

— На сей раз господин обличитель выбрал не совсем подходящий объект для сатиры,— заметил ему Слепцов.

— Каждую личность, цепляющуюся за прогнившие устои и одряхлевшие нравы, необходимо подвергать немилосердному осмеянию — таков мой принцип! — нисколько не смущаясь, отрезал ему юнец.

— О, рыцарь без страха и упрека! Я трепещу от восторга от вашего великолепия!..— не изменяя своего бесстрастного выражения лица, проговорил Слепцов, но при этом так уморительно выпучил зрачки своих глаз, что даже я, несмотря на горечь только что нанесенной мне обиды, не могла удержаться от смеха.

В ту же минуту Слепцов, хлопнув себя по коленке, испустил протяжный залихватский звук и весело затянул: «Ах вы, сени, мои сени...» Песню подхватили остальные, но он сразу оборвал ее и перешел на бурный вальс, громко напевая его, что также подхватили присутствующие. Лярская тотчас заиграла вальс на фортепьяно, Слепцов ангажировал меня,— мы понеслись, а за нами и остальные.

— Так-то, так-то...— усаживая меня на место, точно в каком-то раздумье проговорил Слепцов.— Можно и сережки носить, и песенку гаркнуть, и танец сплясать... и нет в сих малых делишках никаких преступлений, а одно лишь веселие души. Не правда ли? А очень огорчаться всяким вздором — себе дороже.— И что-то бесконечно участливое на минуту оживило холодное выражение его красивого лица.

Когда, через год после первого знакомства со Слепцовым, он стал бывать уже в моем доме, я окончательно убедилась в том, что неподвижное выражение его лица было только маской, за которой скрывалось чуткое сердце и великодушный характер этого популярного общественного деятеля шестидесятых годов.

Если на вечеринках того времени спорили и говорили с необыкновенным увлечением и задором, то и танцам отдавались всецело. Один танец сменялся другим. Фортепьянной игре аккомпанировали кто голосом, кто свистом, кто под звуки танца напевал какую-нибудь песенку, нередко тут же сложенную экспромтом, кто просто наигрывал на гребенке, кто под такт похлопывал в ладоши или барабанил по какой-нибудь металлической доске,— одним словом, все было в ходу, и ни один из присутствующих не оставался равнодушным к этому веселью. Шум, топот ног, раскатистый смех, шутки, прибаутки и восклицания раздавались непрерывно. Двое мужчин танцевали вместе. Один из них, рыжий,— представлял англичанина, шаржируя его манеру: не сгибая ног, он держался как палка, важно и чуть-чуть наклоняя голову. Другой изображал сентиментальную немку: умильно поглядывая на своего рыжего кавалера, она сладко улыбалась, беспрестанно делая книксены.

— Цыганскую! Цыганскую! — требовала публика, и все, как один человек, начали напевать плясовую на жгучие цыганские мотивы. Ольга Николаевна Очковская убежала в другую комнату, а когда возвратилась, была уже в красной шали через плечо. Она схватила коробку, бросила в нее чайные ложечки и, подняв над головой, как тамбурин, потрясала ею в воздухе, мастерски отхватывая цыганскую. Все более увлекаясь танцем, она испускала от времени до времени цыганское гиканье, выкрики и передергивала плечами.

Все пришли в неистовый восторг: аплодировали, топали ногами, кричали «bis». Больше всех неистовствовал «Экзаменатор».

Наконец Очковская взяла стул и подсела к Слепцову.

— Хорошо, что нет «Смерча», а то бы он отравил мне и пляску. Скажите, Василий Алексеевич, почему он вечно шипит и не дает мне проходу?

Вместо ответа Слепцов бросил на нее беглый взгляд и только пожал плечами.

— И на челе его высоком не отразилось ничего! [23] — вспыхнув от досады, иронически проговорила Очковская.

— А что вы хотите, чтобы на нем отразилось?

— Очень просто... чтобы вы реагировали на то, что вам говорят... чтобы вы не относились так высокомерно, так пренебрежительно к людям.— И она дрожащими пальцами поправляла кораллы на шее.

— Этими слабостями я не страдаю... Я не ответил на ваш вопрос, потому что вы прекрасно сами знаете то, о чем спрашиваете...

— Разве я могу знать, почему... по какому праву «Смерч» отравляет мне каждую вечеринку?..

— Разве можно серьезно рассуждать о праве или бесправии человека, уязвленного страстью! Вам следует не себя жалеть, а его... Человек совершенно потерял рассудок: от вас он не видит никакого поощрения, в глазах всех читает насмешку, не соответствуют эти чувства и его новому символу веры, который он всем навязчиво проповедует. Он делает глупость за глупостью, сам сознает это, но остановиться не может и устраивает только все новые нелепости...

Характерные танцы продолжались: пара за парой отплясывала русскую, казачок, лезгинку, которую прелестно исполнила Таня с молодым человеком армянского типа.

— Ох, зацепил Слепцов сердечко Очковской, зацепил... Кажется, она и сама этого еще не сознает... Ишь ты, какой сердцеед этот господин литератор! Все дамы здесь без ума

от него...— говорила Лярская своему соседу, студенту в русской рубашке.— Вы говорите, что у вас все по-новому, но ведь это уже самое, самое старое...

— Да что вы раскудахтались! В ваших словах какая-то смесь просвирни [24] и салопницы. А теперь у каждого на всем должна лежать печать собственной, резко обозначенной индивидуальности. Вот вы рассуждаете о сердечных делах других,— этим прежде занимались все женщины. Наблюдательность такого характера должна быть отнесена теперь к категории весьма постыдной. Личные дела — святыня, которой посторонний не смеет касаться... Лучше скажите-ка о себе: прочитали ли вы те книги, которые я вам принес: Фохта, Молешотта, Льюиса? [25]

Лярская с горечью, но чистосердечно призналась в том, как мало она подготовлена к подобному чтению. Вследствие этого, по ее словам, она взяла себя в руки, ежедневно прочитывает по одной главе и заставляет сама себе передавать ее. Когда это плохо удается, она принуждает себя поработать ночью над тем же самым. И вот уже несколько дней, как она точно выполняет заданный себе урок.

— Бросьте вы эту ерунду! Разве вы не знаете, что теперь и при обучении детей уже не прибегают к принуждению? А вы из самообразования устраиваете самоистязание, надеваете на себя цепи. Черт знает что такое! Вот до чего мы погрязли в унизительном рабстве! Самой надевать себе намордник! Вы должны выработать из себя вполне свободную личность, которая сознает свою силу и не нуждается в самоистязании, принудительных и самокарательных мерах. Как же вы не понимаете, что при заколачивании себя в колодки принуждения у вас окажется не свободное, а вынужденное развитие? Оно ведь ломаного гроша не стоит! То же и в нравственной области: если вы желаете сделать то или другое и идете наперекор своей природе, будьте уверены, что на ваших поступках, на ваших идеях, точно так же как и на знаниях, приобретенных путем принуждения, будет лежать печать Каина, печать раба.

«Значит, делай что вздумается,— думала я про себя.— Но это уже безнравственная теория, да и не логично: почему же «они» осуждают Очковскую и Таню, так настойчиво требуют бросить чтение художественных произведений, мечты о страстной любви?»

Было уже около двенадцати часов ночи, когда кто-то позвонил, и в комнату вошел Хмыров [26]. Он был одет помужицки, но настолько щеголевато, что едва ли часто приходится встречать такими нарядными самых богатых

крестьян: в черных бархатных шароварах, всунутых в красивые сапоги, в бархатном кафтане нараспашку, из-под которого выглядывала подпоясанная голубая шелковая рубашка, расшитая разноцветными шелками.

Хмыров писал исторические статьи, но более был известен своею оригинальною жизнью и библиотекою: он работал по ночам, а спал днем; библиотека же его состояла преимущественно из вырезанных из журналов статей, подобранных в необходимом для специалистов систематическом порядке. Как собеседник он не представлял никакого интереса.

В эту минуту вышел из кухни выспавшийся Якушкин и встретил Хмырова словами: «А, господин мужик!» Это выражение очень верно характеризовало Хмырова, имевшего вид господина, переряженного мужиком. Таня повела их обоих в свою комнату, где была приготовлена для них очень скромная выпивка и неизбежная селедка.

В общей комнате говорили о том, что на днях будет устроен литературный вечер, что многие известные писатели уже дали слово принять в нем участие, а завтра отправляются приглашать поэта Аполлона Майкова.

— Что же он будет читать? «Коляску»? [27] — спрашивал кто-то с иронией.

Не имея понятия об этом стихотворении, я просила Слепцова познакомить меня с ним. Он сказал, что не помнит всего стихотворения наизусть, но продекламировал своим однообразным голосом некоторые строфы, прекрасно оттенив при этом главную мысль стихотворения — преклонение поэта перед государем Николаем Павловичем, которого он называет «великим человеком» и утверждает, что лишь потомство сумеет его разгадать и в ряду земных царей его образ колоссальный на поклонение народам водрузит.

Присутствующие просили Слепцова продекламировать стихотворение «Узнику», как полную противоположность произведению Майкова.

Василий Алексеевич не заставил себя просить. Ввиду того что не все еще были знакомы с этим стихотворением, он объяснил, что оно было передано студентами, заключенными в Петропавловской крепости, своему любимому поэту М. Л. Михайлову, когда того перевели в ту же крепость, и его трогательный ответ им [28].

Все знаменитые чтецы, которых мне удавалось слышать, при чтении меняли интонацию голоса, различно подчеркивали каждое слово, каждую мысль. Чтение Слеп-

цова было иного рода: он не понижал и не повышал тона, увлечение тем, что он читал, не выражалось в его глазах — они оставались холодными, а лицо его было неподвижно, — между тем его чтение производило чрезвычайно глубокое впечатление [29]. Он умел сделать выпуклым каждый художественный образ, умел остановить внимание на каждой мысли, на каждом тонком и своеобразном штрихе автора, — в этом таилась какая-то своеобразная сила и секрет Слепцова.

Затем присутствующие начали просить Якушкина петь со Слепцовым народные песни. Слепцову подали скрипку, за которой на его квартиру уже успел сбегать какой-то молодой человек. Его довольно слабый голос был симпатичен; Якушкин подтягивал ему тенорком, в котором, однако, рельефно выделялась личность того, кого изображала песня: разудалого добра молодца, которому море по колено, несчастную бабу, потерявшую на войне последнего сына, девушку, обманутую в любви. Несмотря на жидкий тенорок, Якушкин мог трогать сердца, когда голосом, полным душевной боли, выводил:

На чужой ли стороне он иную полюбил,
А меня ли, красну девку, на век вечный загубил.

Затем хор грянул «Вниз по матушке по Волге»; один из студентов с большим чувством пропел: «Вперед без страха и сомненья» [30] и др.

Был третий час ночи. Зазвонил колокольчик, и явился Лев Николаевич Модзалевский, красивый, стройный, высокий молодой человек. Он заявил, что, проходя мимо дома, увидал свет в окнах «сестер», вспомнил, что у них «фикс», и, уверенный в том, что гости еще не разошлись, решил забежать на часок. Ответом ему был общий крик: «Мазурка, мазурка!» Модзалевский считался не только ловким танцором, но и искусным дирижером танцев. Присутствующие бросились выносить из столовой последние стулья. И вот понеслись звуки энергичной, бравурной мазурки Глинки, которую играли на фортепьяно в четыре руки под аккомпанемент голосов всех присутствующих.

Трудно представить себе, до чего разнообразны были фигуры мазурки, дирижируемой Модзалевским. Она перемежалась всевозможными танцами с самыми фантастическими комбинациями: то танцующие парами пролетали по всем комнатам, то держались за руку один за другим, то шли угрожающею стеною друг против друга. В одной группе в комическом виде воспроизводили все фазы ухажи-

вания: преследование, ревность, муки сердца, отчаяние, коленопреклоненные мольбы и достижение цели, то есть похищение. В другой группе представляли отживших стариков: мужчины выступали сгорбившись, старческой походкой, а молодые женщины с половыми щетками и швабрами заметали их следы. Не отставал от других и Якушкин, проделывавший ногами, руками и выражением физиономии все то, что мог бы проделывать простой мужик, в первый раз увидавший, как танцуют мазурку, и при своей косолапости начавший подражать танцорам. Грохот, топот, смех стоном стояли в воздухе, потрясая стены, а более всего пол. Жилички нижнего этажа, две портнихи, прибежали просить «господ» танцевать потише, чтобы не мешать им спать, но засмотрелись на танцующих, а через несколько минут их розовые ситцевые платьица, как и платье кухарки Дуняши, уже мелькали в водовороте кипучего веселья. Веселились до полного истощения сил,— недоставало только членовредительства.

Перед уходом гостей двое студентов обещали зайти к «сестрам» на другой день, чтобы расставить мебель в надлежащем порядке, а Ваховский (словесник) обратился с вопросом, кто желает прочесть только что вышедший роман «Отцы и дети» Тургенева [31], чтобы при первой возможности потолковать о нем. Несмотря на то что молодежь беспощадно отрицала художественную литературу, все без исключения выразили желание прочитать роман, объясняя свой интерес желанием узнать, в каком виде выставил Тургенев старое и молодое поколение. Сейчас же условились, кто будет читать вновь вышедший роман вместе с другими, кто отдельно, когда и кому он должен быть передан.

Гости расходились после четырех часов утра, но далеко не все тотчас попали на свои квартиры: одна группа провожала другую, но, вследствие разгоревшегося спора, провожаемые делались провожатыми и, подходя к своим домам, поворачивали назад, чтобы проводить своих спутников.

Мы втроем, Таня, Вера и я, ложились спать в комнате, сплошь заставленной мебелью. Как только я улеглась и вспомнила проведенный вечер, я разволновалась до того, что разрыдалась.

— Тебя оскорбили слова этого юнца? — подбегая ко мне и обнимая, спрашивала Таня.

— Да нет же: ее смутили замечания Сычовой, которая на всех шипит, как змея,— говорила Веруся.

Но я уверила их честным словом, что, хотя меня в пер-

вую минуту действительно покоробили замечания этих двух личностей, но я тут же увидала, что все их посетители всё высказывают в лицо друг другу, и нахожу, что это несравненно лучше, чем лицемерие, которое я встретила в светском кругу. Я повторяла «сестрам», что плачу от счастья: их приглашение дало мне возможность получить хотя некоторое представление о молодом поколении.

— Они все горят таким желанием приносить пользу народу, обществу!.. Скажите мне откровенно, как вы думаете... это не одни только слова? Они на самом деле все такие хорошие?

— Я, конечно, не знаю, все ли они на самом деле окажутся такими, как на словах... А вот Слепцов...— начала Таня, но Вера резко оборвала ее.

— Ты вечно со своим Слепцовым. Для тебя только и свету, что в этом окошке. Не он один хороший человек. Для примера возьму хотя бы Петровского, которого у нас прозвали «Экзаменатором»... Это фигура действительно несколько комичная. Мне самой приходило в голову, что он фразер. Между тем его товарищи говорят, что он удивительно великодушный человек, что у него слово не расходится с делом, что это натура на редкость общественная... Я нисколько не сомневаюсь в том, что и остальные не окажутся пустыми болтунами. Мы, члены нашего кружка, будем крепко держаться друг друга, обязаны поддерживать шатающихся... Я уверена, что все, кого ты тут видела, может быть, кроме небольших исключений, будут отдавать свои силы на служение обществу и народу...

Ту же непоколебимую веру в людей, которые ее окружали, Вера вселила и в меня. Какая-то неизведанная до тех пор радость наполняла все мое существо. В первый раз в жизни я с невыразимым восторгом думала о том, как интересно жить на свете. Мой ум и сердце представляли тогда tabula rasa *, на которой можно было написать если не все, что угодно, то, во всяком случае, очень многое. Вследствие уже пробужденного во мне интереса ко всему живому, почти все, что я слышала в тот вечер, казалось мне глубоким, значительным и важным. Некоторые теории и взгляды молодежи меня как-то волновали, другие — просто очаровывали, и все, о чем они говорили и спорили, даже то, с чем я совсем не могла согласиться, все же шевелило мой мозг, заставляло серьезно думать, побуждало читать, много читать и учиться,— одним словом, в умствен-

---

* чистую доску *(лат.)*.

ном отношении толкало меня вперед. Не могу скрыть, что мне в то же время то и дело вспоминались выражения, которые так часто срывались с уст молодежи: «ерунда», «наплевать», «свинство», «к черту», и они порядочно-таки шокировали меня; не нравился мне и фамильярно-грубоватый тон их, но я тут же повторяла себе, что все это лишь внешняя сторона, что она у людей светских превосходно отшлифована, а между тем их разговоры не будят мысли, ничего не дают для умственного и нравственного развития. И меня с непреодолимою силой потянуло исключительно в среду людей трудящихся, живущих для водворения на земле свободы, высшей правды и всеобщего счастья. Я не задавалась вопросом, как они будут водворять счастье, свободу и равенство на земле, но надежда, что они когда-нибудь и меня зачислят в свой круг, что и я вместе с ними буду делать «великое дело» [32], заставляла трепетать от восторга мое юное сердце.

Глава XVI

СРЕДИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОЛОДЕЖИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Воспитание Зины.— Занятия и лекции.— Увлечение естественными науками.— Воскресная школа и занятия в ней Помяловского.— Учительский кружок

Когда на другой день после вечеринки я встала с постели, кроме кухарки уже никого не было дома. Сестры, проспав несколько часов, ушли на уроки, захватив с собою Зину, чтобы отвести ее в знакомое семейство, где ей приходилось оставаться до их возвращения. Настоящие «детские сады» возникли позже, но в то время, о котором я говорю, несколько семейств, знакомых между собою, устраивали нечто вроде учреждений подобного рода. Матери, жившие поблизости друг от друга, приводили своих детей в знакомый дом, где они оставались в продолжение нескольких часов под присмотром либо одной из них, либо учительницы, нанятой родителями сообща. Обучение вполне соответствовало воззрениям того времени: требовалось, чтобы оно было жизненным и реальным, то есть, с одной стороны, его фундаментом должно было бы быть естествоведение, с другой — знакомство с народом и трудящимся людом вообще. Отличаться от образования взрослых оно могло лишь тем, что для детей необходимо было давать все в самом эле-

ментарном виде. Но это далеко не всегда соблюдалось: детям показывали скелеты человека и зверей, а случалось, что при них, как и при взрослых, резали лягушек и кроликов. Воспитательница не должна была пропускать на прогулке ни одного лудильщика, кузнеца, сургучника, стекольщика, сапожника и водить детей в их мастерские, показывать им обстановку и орудия производства этих рабочих. Принято было водить детей на постройку новых жилищ, заходить с ними в подвалы, а если дети были постарше, то показывать им заводы и фабрики. При всех этих экскурсиях необходимо было при детях расспрашивать рабочих об их заработке, жизни, о количестве у них детей, о том, какие лишения они выносят. Рука об руку с обучением естествоведению должны были идти и рассказы из жизни народа; при этом находили необходимым обращать особенное внимание на бедность народа, на его тяжелый труд, вообще на мрачные стороны его существования, что нередко приносило гораздо более вреда, чем пользы. Вместо того чтобы веселыми играми, рассказами и песенками оживлять жизнь ребенка, поддерживать его жизнерадостное настроение, следовательно, укреплять его физически и морально, в нем возбуждали излишнюю чувствительность. Заставляя его задумываться над вопросами, несвойственными возрасту, расшатывали его нервы, делали не по годам мрачным и задумчивым, прививали болезненную восприимчивость.

Шестидесятые годы были временем отрицания поэзии и искусства, между тем при воспитании требовалось развивать и упражнять все органы чувств дитяти, все его способности физические и психические. Даже в бедных семьях на последние гроши (прежде родители не приносили таких жертв на воспитание и образование своих детей, как в то время) нанимали учителей рисования, лепки, пения, а нередко и музыки. Интеллигентные люди проникнуты были тогда мыслью, что в природе дитяти в зачаточном виде заложены самые разнообразные способности, что нравственная обязанность родителей делать всевозможные усилия, чтобы не зарыть в землю какого-нибудь его таланта. Другие утверждали (и их было немало среди тогдашней интеллигенции), что человек, не одаренный от природы тем или другим дарованием в области знания или искусства, может, если только пожелает, легко развить его путем упражнения. И вот потому-то в детях так тщательно развивали способность к пению, рисованию, лепке и ко всевозможным отраслям естествознания. Однако казалось бы,

что ввиду отрицания искусства не следовало бы развивать в детях способностей к нему, а упражнять их лишь в столярном и токарном мастерствах, что тогда и было в большой моде в интеллигентных семьях. Но такое противоречие было скорее кажущееся, чем действительное, так как при обучении детей искусству старались, насколько возможно, заставить его служить современным утилитарным целям. Так, например, при обучении лепке и рисованию находили необходимым, чтобы дети воспроизводили орудия народного труда: молотильные цепы, лопаты, сохи, бороны, рисовали различные постройки и прежде всего избы, мельницы.

В общем, недостатки, иногда даже весьма крупные, в воспитании и образовании детей, знакомство с печальными сторонами жизни трудящегося люда, слишком большое переполнение детских голов естественнонаучными и другими сведениями, преждевременное умственное развитие и кое-какие другие погрешности постепенно сглаживались и исчезали. И не мудрено: эти недостатки так резко бросались в глаза своею несообразностью, что не могли удержаться долго, а между тем здоровое ядро, заложенное в основу воспитания детей в шестидесятые годы, а именно то, что умственное развитие необходимо строить преимущественно на естествоведении и изучать все окружающее как в природе, так и в жизни народа, установилось только с того времени и отразилось в общественном сознании.

Не менее важны были завоевания в нравственной области. Прежде всю заботу о воспитании возлагали на государство: ребенка отдавали в казенное заведение, где его воспитывали так, как это необходимо было для правительственных целей. Что же касается домашнего воспитания, то у людей со средствами дети дошкольного возраста оставались под надзором иностранных воспитателей, а в небогатых семьях им предоставлена была полная свобода делать что угодно, и они росли под влиянием крепостных, среди развращенной дворни. Только с шестидесятых годов в огромном кругу общества впервые было сознано, что о ребенке прежде всего должны заботиться его родители, что казенное воспитание убивает его индивидуальность, что его умственное развитие следует начинать гораздо раньше школы, что, наконец, воспитание посредством страха, наказаний, угроз, розог, этих способов педагогического воздействия, практиковавшихся в дореформенной России, создавало лишь рабов, убивало в ребенке его способности. Основная идея воспитания эпохи шестидесятых годов — раскрепощение детской личности, признание ее прав на

известную самостоятельность, на необходимость свободно высказывать свои суждения, всестороннее умственное и нравственное развитие и требование от родителей гуманного, внимательного отношения к ребенку.

Возвращаюсь к своему рассказу. Когда сестры пришли с уроков и мы кончили обедать, обе они уселись за работу. Я удивлялась их энергии: проспав в предыдущую ночь три-четыре часа и работая до самого обеда, они и после него немедленно принялись за подготовку к урокам следующего дня.

Я осталась с Зиной, привлекавшей меня своим лепетом, грацией и неземною красотою своего личика; к тому же вся обстановка детской, занятия девочки и ее игрушки, отношение к ней старших, горячая забота о ней обеих ее «матерей», мысль каждой из них, как бы лучше объяснить ей то или другое,— все это было совершенно ново для меня и не имело ничего общего с тем, что я встречала дома в детстве у себя и в знакомых мне семействах. Большой шкаф в комнате Зины был набит предметами ее занятий. Она показала мне одну за другою несколько своих тетрадок; на страницах одной из них были прикреплены листья разнообразных деревьев и засушены цветы. Затем девочка поставила на стол несколько коробок, разделенных на отделения. В одной из них были собраны камешки и раковины, в другой — образчики ржи, овса, конопли, льняных семян; в особых свертках хранились образцы производства хлопчатой бумаги и льна. Все, что девочка показывала, она могла назвать и дать элементарное объяснение. Я просто пришла в восторг и от разнообразных сведений семилетней Зины, и от того, что она, городская девочка, жившая в деревне лишь два-три месяца в году, составила уже некоторое представление об окружающей природе, тогда как мы хотя и жили в деревне круглый год, но никто не научил нас пользоваться ее дарами, никто не обращал нашего внимания на явления природы, и мы умели только завидовать игрушкам наших сверстников в богатых семьях.

На мой вопрос, играет ли она в куклы, Зина, к моему крайнему удивлению, притащила что-то вроде обрубка палки, на одном конце которой было грубо размалевано лицо, а остальная часть была завернута в разноцветные тряпки. Несмотря на примитивность своей куклы, Зина с трогательною нежностью укачивала ее на руках, прижимая к груди, укладывала спать, напевая ей песенки. На мой вопрос, почему у ребенка нет настоящей куклы, Таня отвечала, что хотя она лично находит даже, что кукла дает

упражнение лучшим свойствам женской души и материнства, заложенным природою, но она решила в этом отношении не противоречить сестре. Вера была убеждена, что кукла приучает к кокетству, развивает любовь к нарядам, доказывала, что женщины выходили пустыми отчасти потому, что их мысль наталкивали только на раздевание и переодевание своих кукол, на пустую болтовню из домашней обыденщины. Она была глубоко убеждена в том, что в современном воспитании необходимо все это уничтожить и изменить, причем прежде всего следует выбросить из детской весь этот кукольный хлам и романтизм. Она считала компромиссом даже деревянный обрубок, который она, вместо куклы, допустила в детскую Зины, но рассчитывает, что он все-таки не может уже так развратить девочку, как настоящая кукла.

Первым средством для самообразования, для подготовки себя ко всякого рода деятельности и к настоящей полезной общественной жизни считалось тогда изучение естественных наук, на которые смотрели, как на необходимый фундамент всех знаний без исключения [1]. Как в Западной Европе, так отчасти и у нас люди образованные уже давным-давно придавали им большое значение, что наглядно подтверждали великие открытия, но в шестидесятых годах благоговение к естествознанию распространилось в огромном кругу русского общества и носило особый характер. Ждали необыкновенно полезных результатов не только от научных исследований специалистов, но от каждой популярной книги, к какой бы отрасли естествознания она ни относилась, находили, что образованный человек обязан черпать свои знания прежде всего из этого источника. Тогда были твердо убеждены в том, что изучение естественных наук поможет устранить суеверия и предрассудки народа, уничтожит множество его бедствий. Такие взгляды вызвали появление в свет множества популярных книг по естествоведению, и публика раскупала их нарасхват. Теперь даже трудно себе представить, с каким всеобщим восторгом было встречено издание перевода книги Брема «Жизнь животных» [2]. Не читать этой книги значило подвергать себя укорам и насмешкам. Но занимались не одною зоологиею, а и другими областями естествоведения: минералогиею, ботаникою, физиологиею, химиею, отчасти даже анатомиею. Так как специально изучать все эти предметы для громадного большинства было немыслимо, отчасти вследствие недостаточной подготовки к ним, отчасти по недостатку времени, то каждый старался полу-

чить о них хотя элементарные сведения. Не говоря уже о том, что лекции по названным предметам читались в публичных залах профессорами [3] и специалистами, их устраивали и в частных домах, в которые тоже иногда удавалось заполучить профессора, но в большинстве случаев тут читали студенты-естественники и под их руководством шли занятия.

Кстати надо заметить, что в то время студенты вообще, особенно естественного факультета, имели много частных уроков: сразу явилось немало лиц как из высших, так и из средних классов общества, желавших заниматься естественными науками. Каждое семейство, у которого в доме была свободная комната, охотно уступало ее вечером для подобных занятий: тут демонстрировали бычачье сердце, резали лягушек и зайцев, изучали и сравнивали устройство зубов различных животных, строение тела птиц и рыб, рассматривали под микроскопом растения, насекомых, кусочки сыра, капли воды. Все эти чтения и занятия, где бы их ни устраивали, притягивали массу народа. Но многие сознавались, что, отчасти вследствие неподготовки к слушанию подобных лекций, отчасти оттого, что большинство подобных сведений приобреталось урывками, они стояли в мозгу отрывочными фактами, не объединенными между собой одним общим знанием. Но зато явилось немало и таких, которые с страстным увлечением погрузились в изучение естественных наук и кончили тем, что написали специальные сочинения по этим наукам, а еще чаще полезные популярные книги. Однако было немало и таких, которые, начав занятия по естествоведению, очень скоро почувствовали отсутствие не только каких бы то ни было способностей к ним, но и простого влечения. Но бросить занятия этими предметами было весьма трудно, по крайней мере для тех, кто не имел достаточно силы воли, чтобы противостоять влиянию своего кружка.

Русские люди, кроме немногих исключений, начали жить общественною жизнью лишь после падения крепостного права, в то время, когда еще в каждом из нас было много крепостнической закваски; вот потому-то некоторые фанатики идей шестидесятых годов предъявляли свои требования к остальным членам общества как-то особенно тиранически и нелепо. Никто не обращал ни малейшего внимания на то, имеет ли человек склонность к тому или иному предмету. Каждый правоверный шестидесятник должен был все свои способности отдавать естествознанию. Эта мода подчинила тогда такое множество интеллигент-

ных людей, что нередко талантливые музыканты, художники, певцы и артисты забрасывали искусство ради изучения естественных наук и вместе с другими бегали на ботанические, зоологические, минералогические и другие экскурсии, работали с микроскопом, определяли тщательно собираемые камешки,— все были загипнотизированы великим значением естествоведения.

В то время я часто встречала в кружках высокую, красивую блондинку Эн.; она не бывала у «сестер», и я не могла назвать ее своею знакомою, тем не менее мне приходилось иногда разговаривать с нею. Специально изучая химию, она однажды печально заговорила со мною о том, что ей вообще не даются естественные науки, вероятно, вследствие ее жалкого образования, но что, несмотря на это, она будет продолжать свои занятия во что бы то ни стало, так как теперь ни один образованный человек не может существовать без знания химии. Через несколько месяцев после этой встречи разнеслось известие о том, что Эн. покончила самоубийством. При этом ее приятельницы утверждали, что это несчастие произошло только из-за того, что ей совсем не давалась химия. Но такова ли была действительная причина самоубийства молодой девушки, или к этому прибавилось и что-нибудь другое, я не могу сказать, так как была мало знакома с нею.

Вечером мы отправились с Верою Корецкою к медицинскому студенту старшего курса Прохорову слушать его чтение о кровообращении. Он занимал отдельную квартиру и жил со своими родственниками, которым неожиданно пришлось уехать из Петербурга по своим деревенским делам, и они все помещение предоставили в его распоряжение. Чуть ли не в каждой комнате его квартиры шли по вечерам разнообразные занятия. Прослушав лекцию, желающий мог войти в следующую комнату: посреди нее стоял человеческий скелет, а на столиках лежали кости и череп,— тут при помощи студента-специалиста можно было получить наглядное знакомство с строением человеческого тела. В одной из комнат этой квартиры шли опыты по химии.

Хотя занятия по естествоведению, на которых мне приходилось присутствовать, в большинстве случаев излагались довольно удобопонятно, но я с каждым разом чувствовала все меньшее к ним влечение. Я постеснялась откровенно поговорить об этом с Верой: она была слишком строгою последовательницею всех предписаний шестидесятников и, как мне казалось, могла только осудить меня,

а потому я и обратилась к ее сестре Тане. Та со страхом выслушала мою исповедь.

— Да уж тебе-то совершенно не приходится так скептически относиться к этим занятиям,— ведь ты только начинаешь работать! — говорила она.— Я — другое дело: вот уже несколько месяцев я бьюсь над этими предметами, а у меня в голове все какие-то обрывки... При этом еще както мучительно досаждают звуки, звуки без конца...

Я изумилась и не поняла, при чем тут звуки. Таня махнула рукой и, удостоверившись, что в соседней комнате не было ее сестры, присела ко мне на диван и начала говорить, приходя все в большее отчаяние:

— Счастливая! Ты не знаешь, что такое звуки! А мне они просто мешают заниматься!.. Рассматриваю под микроскопом крылышки насекомого, уже начинаю подмечать кое-какие детали, вдруг в ушах раздается вальс Шопена или соната Бетховена... Я все забываю и, когда прихожу в сознание, ловлю себя на том, что ногами такт отбиваю, головою покачиваю и голосом подпеваю... Каково? А то в уши лезут разные стихи... Ах, прах бы побрал этого Пушкина! Он меня просто отравил! Нужно мне было еще учиться декламации! Ведь для этого мне пришлось выучить наизусть множество его стихотворений,— вот они и лезут теперь в голову!..

— А ведь ты чудесно умеешь декламировать,— говорила я ей,— я на твоем месте поступила бы на сцену.

— Опомнись, что ты говоришь! Ты все как-то не можешь усвоить современных требований! Прошло времечко, милая моя, когда мы потешали сытых людей! А что было бы с Верусей, если бы я поступила на сцену? И как всем нашим я стала бы в глаза смотреть? Наконец, если все, решительно все умные и образованные люди находят, что естественные науки необходимы, и мы с тобой должны покончить со всеми своими благоглупостями!.. Мне куда тяжелее тебя достаются эти занятия! Я до сих пор содрогаюсь от ужаса, до сих пор не могу приучить себя смотреть, как режут лягушек, не могу без омерзения дотронуться до человеческих костей!.. Всеми силами стараюсь вытравить из себя эту пошлость — и не могу...

Такого разговора было для меня достаточно, чтобы больше уже ни к кому не обращаться со своими сомнениями. Я не только продолжала бегать на всевозможные занятия по естествоведению, но и добывала книги, чтобы прочитывать то, что только что было изложено устно. Несмотря на это, я все более сознавала, что у меня ничего не

выйдет из приобретаемых сведений, но мысль, что, бросив эти занятия, я не только не удовлетворю главным требованиям людей, меня окружающих, но даже сама себя буду считать пропащим человеком, заставляла меня еще с большим рвением заниматься тем, чем и все остальные.

Одною из главных своих обязанностей молодежь считала занятия в воскресных школах. И я с Верою Корецкою в первое же воскресенье отправилась в воскресную школу. Это было в марте 1862 года, незадолго до пожаров в Петербурге,— следовательно, еще до начала особенно усиленного гонения, воздвигнутого на воскресные и бесплатные школы [4]. В школу, которую я посещала, приходило иногда двадцать, а то и более учителей и учительниц, и каждый из них брал двух, а то и одного ученика, и они вместе садились на скамейку. Подготовка учащихся была крайне разнообразна: приходили и безграмотные, и полуграмотные, притом желающих учить являлось иногда лишь немногим меньше, чем учеников.

Как только мы вошли в школу, мимо нас прошел молодой человек лет двадцати семи — двадцати восьми. Вера шепнула мне, что это Помяловский, писатель, уже пользовавшийся тогда большою известностью [5]. Его густые, вьющиеся, волнистые темно-русые волосы были закинуты назад; красивые голубые глаза, благородный открытый лоб, подвижные черты лица и удивительно приветливая улыбка на губах — все делало его чрезвычайно симпатичным.

На этот раз я не взяла ученика, села на скамейку сзади Помяловского и начала прислушиваться к его преподаванию. Он с такой доброй улыбкой провел рукой по волосам белобрысого мальчонка, что, видимо, сейчас же расположил того в свою пользу. В то время как Помяловский перелистывал книгу, чтобы выбрать что-нибудь для чтения своего ученика, тот спросил его:

— Скажите, дяденька, как это пророк Илья так гулко громыхает по небу? Ведь на нем нет ни каменной мостовой, ни мостов...

Помяловский громко расхохотался, ему вторил и его ученик; затем он так просто начал рассказывать о небе и тучах, о громе и молнии, что под конец мальчик воскликнул:

— Значит, про пророка Илью только сказки сказывают?

Во время этого объяснения к Помяловскому подходили и другие ученики, без церемонии оставляя своих учителей, и наконец около него образовалась целая группа, из кото-

рой то один, то другой спрашивал его что-нибудь. Помяловский встал с своего места и с неподражаемою простотою, то добродушно посмеиваясь, то сопровождая свои объяснения русскими поговорками и пословицами, разъяснял недоумения детей. Скоро все присутствующие в школе — ученики и учителя обратились в одну аудиторию и внимательно слушали в высшей степени занимательные объяснения Помяловского.

Когда мы уходили из воскресной школы, Вера подошла к Помяловскому и пригласила его на свои вечеринки, несмотря на то что они друг с другом совсем не были знакомы. Но тогда этим не стеснялись, если только встреченный человек казался симпатичным. Так на это, видимо, посмотрел и Помяловский: он сердечно поблагодарил Веру за приглашение, записал ее адрес и дни приема и обещал бывать у них, что и выполнил, но меня уже тогда не было в Петербурге.

Объединение людей шестидесятых годов в кружки было в ту пору в большом ходу и представляло своего рода новинку. Общественное движение, охватившее русское общество, выдвинуло множество вопросов, о которых необходимо было побеседовать сообща; этому объединению сильно содействовали демократические идеи и пошатнувшиеся сословные перегородки. Во многих кружках, особенно в тех из них, которые были устроены с просветительными целями, можно было встретить чрезвычайно смешанное общество: и дам высшего света, и студентов, и сыновей купцов, и чиновников, но, конечно, чаще всего интеллигентную молодежь обоего пола, среди которой было теперь так много бывших семинаристов и детей разночинцев.

Как устроился частный маленький учительский кружок (его называли также кружком педагогов юного поколения), который я посещала,— я не расспрашивала; знаю только, что никакого членского взноса в нем не существовало, и посетители собирались то в одной, то в другой квартире кого-нибудь из своих знакомых. На заседания кружка приходил каждый желающий, если у него был в нем хотя один знакомый. При входе с каждого взимали по 15—20 копеек на чай и булки, что и передавали кухарке. Чаще всего и таких сборов не делали, так как хозяйка квартиры все расходы принимала на себя. Когда собравшиеся усаживались к столу, один из них спрашивал: «Кто желает сегодня рассказать о том, как он ведет свои занятия в воскресной или какой другой школе, какие рассказы и чтения предлагает своим ученикам и как они реагируют на это?» И моло-

дые люди обоего пола излагали, как они занимаются с своими учениками, какие вопросы те задают им, каковы результаты их преподавания. Обучением в воскресных школах тогда живо интересовалось все интеллигентное общество. Вера Корецкая подробно рассказала о беседах Помяловского с учениками. Многие тут же решили посещать ту воскресную школу, где преподает этот писатель, чтобы поучиться у него преподаванию.

Однажды кто-то заявил на собрании нашего учительского кружка, что он только что слышал, что при обучении первоначальной грамоте скоро будет введен такой метод, который во много раз ускорит ее усвоение. Ввиду того что никто из присутствующих ничего не знал об этом, я, несмотря на свою застенчивость, изложила все, что я слышала о звуковом методе от К. Д. Ушинского в бытность его инспектором Смольного монастыря: он уже тогда занимался этим вопросом и решил в близком будущем написать азбуку (впоследствии приобревшую замечательно громкую известность) и изложить еще новую тогда теорию начального обучения грамоте [6]. Когда я сделала свое сообщение, на меня резко напал «Экзаменатор», который усердно работал в одной из воскресных школ. Он выступил с серьезным обличением меня за то, что в моем присутствии состоялось уже несколько заседаний этого кружка, а между тем я умалчивала о вещах, которые могли быть полезны для всех, кто занимается преподаванием. При этом он закончил свое обличение словами:

— Вы сами видите теперь, какое гнусное воспитание вы получили в вашем великосветском пансионе или институте. Вместо того чтобы научить вас разумному отношению к делу, оно приучило вас к рабскому молчанию или к пошлой конфузливости... Так говорите же, может быть, вы еще знаете что-нибудь путное?

До невероятности обозленная таким бесцеремонным отношением «мальчишки», я молчала, не умея дать ему надлежащий отпор. Но когда другие обратились ко мне с тою же просьбою, но в более деликатной форме, я начала говорить о том, что присутствующие, насколько я могла понять, совершенно отрицают классную дисциплину, находят, что учащиеся должны пользоваться полною свободою: захотят во время урока поболтать с соседом, побегать в коридоре, могут поступать как вздумается. Ушинский же стоит за строгую классную дисциплину, которая, однако, дает полную свободу ученикам высказывать учителю все, что им приходит в голову, но в то же время обязывает их

соблюдать тишину и порядок в классе, иначе, по его мнению, ученики мешают своим соседям слушать, а учителю — объяснять преподаваемое.

На Ушинского посыпались обвинения в ветхозаветных взглядах:

— Мы, молодое поколение,— заявлял то один, то другой,— должны порвать связь с тем жестоким временем, когда к учащимся относились не как к разумным существам, а как к солдатам, которые по заведенному порядку, по команде должны были думать, соображать, отвечать, уходить, приходить...

Такие выражения относительно Ушинского мне казались святотатством: меня это крайне разобидело за него, и я хотела крикнуть им, что, требуя тишины в классе, он показывает только, что не желает смешивать свободу с распущенностью. Я считала своею нравственною обязанностью бросить это в глаза им, осмелившимся осуждать такого великого педагога, а между тем постыдно промолчала.

— Скажите-ка лучше, сколько ему лет? — спрашивали меня.

— Это никакого отношения не имеет к его взглядам! — возражала я.

— Напротив: почтенные годы даже умных людей обыкновенно заставляют держаться совсем непочтенных взглядов! Иные старички придерживаются заскорузлого образа мыслей даже не из подлости, а просто потому, что они одряхлели...

— Если вы находите нужным делать тайну из его годов,— перебил его другой, видя, что я молчу,— может быть, вы заблагорассудите открыть нам, как он относится к поэзии и искусству?

Я отвечала, что ни из чего не делаю тайны, что Ушинскому, кажется, нет и сорока лет, что в педагогике он реалист в лучшем смысле слова, что в качестве инспектора института он явился настоящим реформатором, ломал все старое, что он первый ввел в преподавание естественные науки, что он в своей хрестоматии отводит этим предметам много места, что на художественные произведения у него, сколько могу судить, такие же взгляды, как и у Николая Петровича Ваховского.

Присутствующие причислили его к разряду «честных педагогов», которые хотя и могли бы стоять в рядах современных людей, но годы и эстетические воззрения этому мешают.

Нередко собрания учительского кружка были посвящены воспоминаниям. В таких случаях кто-нибудь из присутствующих заявлял: «Я расскажу о своем детстве, то есть о том, как не надо воспитывать». У некоторых рассказчиков, иногда в художественных образах, вырисовывалась картина разврата помещичьей среды, ссоры, дрязги и интриги между родителями. Даже в тех семьях, где детей горячо любили, мало интересовались характером детской души, притупляли их любознательность, не давали им ни духовной пищи, ни простора для их умственной самодеятельности. И рассказчик или рассказчица обыкновенно так заканчивали свое повествование: «Вот потому-то мы и должны вести настоящую агитацию против тирании семьи, вот потому-то у нас явилось отрицание авторитетов наших отцов или же в лучшем случае полнейший индифферентизм к ним». И во всех подобных речах красною нитью проходила мысль, что прежде всего необходимо разорвать семейные цепи и реформировать законы, основанные на старых традициях и рабских устоях.

Прежде чем порицать молодежь шестидесятых годов за то, что она так беспощадно сурово относилась к родителям, нужно вспомнить, что́ она вынесла из родительского дома, будь то помещичья или чиновничья среда. В первом случае дети видели полный произвол как над крепостными, так и над собою: тех и других пороли, тем и другим давали зуботычины и пинки, те и другие были существами совершенно бесправными, с тою только разницею, что дети дворян еще с раннего детства приучались ничего не делать и с молодых лет проматывать состояние, созданное трудом крепостных. Помещичья среда и весь склад ее жизни развивали в детях взгляд на крестьян, как на низшую людскую породу сравнительно с собою, как на что-то вроде домашних животных, отданных судьбою под власть помещиков. Так же деморализована была и чиновничья среда: в ней дети с раннего возраста могли слышать о подхалимстве родителей перед начальством и невероятном взяточничестве; их заботливо обучали искусству снискивать себе благосклонность сильных мира сего и примерами доказывали им, как это необходимо для их будущего счастья и карьеры. Таким образом, молодое поколение вырастало, не получая добрых советов, не видя честных примеров, не воспитав в себе культурных привычек.

Нужно помнить также и то, что до освободительного периода русские люди были лишены какой бы то ни было инициативы как в сфере воспитательной и общественной,

так и в сфере отвлеченного мышления. Вот потому-то, за исключением небольшого числа выдающихся людей, громадное большинство не имело привычки к самостоятельному мышлению, анализу и критике. Понятно, что многие из молодого поколения не могли разобраться в той массе идей, которые в освободительный период стали быстро распространяться в обществе, хотя многие из них были уже и не новы. Но откуда же могла познакомиться с ними молодежь того времени, получившая жалкое образование в своих семьях, корпусах, институтах и семинариях? Вот потому-то в шестидесятые годы так часто спорили об идеях и вопросах, иногда самых элементарных, о многом рассуждали наивно, односторонне, а то и нелепо. Серьезному, всестороннему и правильному обсуждению мешало также и то, что весьма многие вопросы были тесно связаны со сложными социальными и политическими идеями, мало доступными тогда громадному большинству. Недостаток опытности и образования мешали молодежи понять, что их отцы оказывались без вины виноватыми. О, если бы они поняли это, как многое смягчилось бы в их отношениях к ним! Но могла ли молодежь в водовороте кипучей, лихорадочной жизни освободительного периода хладнокровно сообразить, что самая жестокая неправда русской жизни не вина их отцов, а результат закрепощения народа в продолжение двух с половиною столетий? Могло ли молодым людям прийти в голову, что даже в них самих под налетом гуманных идей и демократических идеалов заложена толща барских привычек, рабских чувств и вожделений? Напротив, они твердо верили в то, что, резко порывая все связи с прошлым, они стряхивают с себя всю мерзость былых времен. Вот почему в молодом поколении шестидесятых годов с такою жестокою прямолинейностью явилось резкое отрицание всякого авторитета, а тем более родительской власти, вот почему так часто происходили тогда (и, конечно, у некоторых даже без крайней необходимости) тяжелые семейные драмы, ломка жизни как своей собственной, так и близких им людей. Весьма многие прекрасно понимали, что, разрывая с родителями, они остаются без поддержки, идут на голод и лишения, но им казалось, что как бы ни пострадали от этого их интересы и личная жизнь, какие бы ужасы ни сулило им будущее, но нравственная обязанность требует от них зажить новою жизнью, которая будет чище и справедливее той постылой, позорной и смрадной жизни, которую вели их отцы при крепостном праве.

Как бы иногда детски наивны ни были многие взгляды

и суждения молодежи, но громадное значение имело уже то, что русское общество начало думать и заботиться не только о личных интересах. После вековой спячки обсуждение разнообразных вопросов будило мысль и сознание, а это волей-неволей заставляло читать и учиться. Все это мало-помалу вырабатывало критический взгляд и побуждало все более задумываться над различными явлениями общественной жизни. Одним словом, идеи шестидесятых годов, несмотря на односторонность и парадоксальность некоторых из них, постепенно приводили к правильным выводам и расширяли умственный кругозор русского общества. Этому сильно помогала и литература: критические, публицистические и научно-популярные труды внушали стремление к расширению прав народа, к улучшению его материального положения и к деятельности для его просвещения. Сатирические журналы и листки бичевали пороки, привитые крепостничеством. Те же идеи, те же обличения встречались и на страницах беллетристических произведений. Несмотря на то что очень часто герои повестей того времени были лишены жизненной правды и художественной простоты, изображены слишком тенденциозно, несомненно, что и беллетристика того времени немало содействовала распространению просветительных идей.

Глава XVII

У РОДСТВЕННИКОВ

Лекция Костомарова.— Разговор с К. Д. Ушинским.— Встреча с П. Л. Лавровым

Прогостив несколько дней у «сестер» и получив обещание, что одна из них заедет за мною, чтобы отправиться вместе на лекцию Костомарова, я возвратилась в дом моих родственников.

С самого момента приезда моей матери в Петербург у меня установились с нею наилучшие отношения. Воспоминания о моем злополучном детстве изгладились из моей памяти, не ставила я ей более в вину и заброшенности в институте: с возрастом еще до окончания курса я начала сознавать, что в этом мне следует винить лишь печальное стечение житейских обстоятельств.

Хорошие отношения с матерью установились у меня прежде всего потому, что она увлекалась, как молоденькая

девушка, многими новыми идеями, почерпаемыми ею прежде всего из чтения книг, чем она усердно занималась в последнее время, а также из разговоров в весьма разнообразных обществах, посещаемых ею в Петербурге. Труду и образованию она приучилась придавать огромное значение уже давным-давно, что же касается кодекса светских приличий и требований, то это было ей недоступно: с ранней юности судьба закинула ее в глухую деревню, в которой она и провела всю свою жизнь. Вот потому-то первобытные взгляды и понятия людей, в среду которых мы с нею попали, были одинаково антипатичны как ей, так и мне. Только мы различно реагировали на них: у меня рассуждения посетителей моих родственников нередко вызывали возмущение, а порой и наивное обличение, она же относилась к ним совершенно спокойно и находила их естественными в людях материально обеспеченных, заботящихся только о своих развлечениях и удобствах и жизнь которых лишила их возможности вдумываться в житейские явления. Консервативные до дикости рассуждения ее брата не влияли на ее взгляды, ни на йоту не уменьшали ее горячей любви к нему и глубокой признательности за доверие к ней, за его родственное участие в минуты ее особенно тяжелой материальной нужды. Когда дядя узнавал от домашних, что матушка собирается отпустить меня на лекцию или в какую-нибудь школу, он, смотря по настроению, или кричал на нее, или усовещивал в таком роде:

— Подумай, сестра, зачем ей (то есть мне) трепаться по лекциям и школам? Ведь это же глупая мода! Ты и без лекций сумела устроить свои расстроенные дела! Сила не в них, а в том, чтобы от природы иметь что-нибудь в верхнем этаже (при этом он стучал себя пальцами по лбу). А если там ничего нет, милая моя, так и лекции не помогут... только привьют девочке наглость и самомнение!

— Правда, братец, маленькое свое хозяйство я устроила и при жалком своем образовании, но только при помощи крепостных! А теперь каждому приходится рассчитывать только на себя!..

— Но зачем же непременно лекции? Твоя дочь Саша по лекциям не трепалась, а вышла умною девушкою.

— Братец, да ведь и такая молоденькая девочка, как она, все же из лекций вынесет побольше, чем из россказней вашего старого знакомого Селезня-вральмана... А ей только этим и предстоит наслаждаться в наших палестинах!

Дядюшка моментально вспоминал Селезня-вральмана и забывал все остальное при мысли, что он может сейчас

рассказать о нем и о других чудаках нашего захолустья, с которыми познакомился, навещая своего покойного отца и свою сестру в нашей деревне.

После обеда, происходившего обыкновенно в многолюдном обществе, если только матушка оставалась дома вечером, она отправлялась со мною в свою комнату.

— Ну, рассказывай все, все, что ты видела и слышала,— торопила она меня, ложась на кушетку. Я садилась подле нее и, боясь упустить какие-нибудь подробности, передавала все по порядку, знакомила ее с разудалым весельем молодежи, с впечатлениями, вынесенными мною из посещения новых знакомых, воскресной школы, учительского кружка и из моих занятий. Мы сообща все обсуждали; многое, высказываемое молодежью, очень нравилось ей, но кое-что она находила диким и нелепым.

— Так он, этот мальчик,— говорила матушка, когда я рассказала ей о придирках ко мне Петровского,— при всем обществе так-таки и переконфузил тебя за сережки! Ах, бедная девочка! Но, знаешь ли, если серьезно подумать, так ведь он правильно нападает на женщин: действительно, смешно увешивать себя всякими балабошками и побрякушками! Наша сестра нацепит на себя браслеты, брошки, кольца, превратит себя в идола, а другие еще завидуют! Нет, глупость это одна, суета и тщеславие!..

Очень часто при передаче мною виденного и слышанного матушка предупреждала меня, чтобы я не проговорилась о том или другом в обществе родственников, а то скажут: «Вот среди какого круга людей вращается девочка с дозволения своей матери».

Когда я сообщила ей о том, что одна из «сестер» скоро заедет за мною, матушка сказала:

— Пусть бы только не Веруся приехала, она так бедно одевается! Начнутся разговоры... Ах, забыла, как они называют людей живых, смелых, но когда те бедно одеты? «Мятежными или беспокойными элементами», что ли? Не понравится им Веруся и тем,— рассуждала матушка,— что у нее такое строгое, серьезное лицо! Тут по душе женщины с улыбочками, с светскими ужимками и фокусами! Нет, богачам не оценить такую личность, как Веруся! А Таня, сдается мне, побольше придется им по вкусу! Впрочем, и ее не одобрят, если узнают, что она разошлась с своим мужем.

— Да им-то что за дело? — возмущалась я.— Ведь кто бы из сестер ни приехал, они явятся ко мне, а не к ним!

— Здесь не любят «разводок». И про Таню скажут, если, боже сохрани, до них дойдет как-нибудь слух об ее

положении, что своим появлением она осквернила их дом! — И матушка рассказала мне, что как-то в мое отсутствие один из офицеров, назвав фамилию их общей знакомой, сообщил, что она разъехалась с мужем и требует от него формального развода. Тетушка сейчас же произнесла: «Надеюсь, что эта разводка не переступит более порога моего дома!» Матушка заметила ей, что гораздо лучше разойтись с мужем, чем делать детей свидетелями домашних дрязг и сцен. Дядюшка сейчас же набросился на сестру с словами: «Сама ты честно жила, с мужем не разводилась, потеряв его, сумела себя соблюсти, а не можешь составить себе правильного взгляда на брак!» — «Зачем же мне было с мужем разводиться, когда я всю жизнь его любила?» — спрашивает матушка, а тетушка воспользовалась этим, чтобы затянуть свою нотацию: «Кого бог соединил, того человек не может разъединить! Не удался брак — неси свой крест, вот что повелевает нам наша религия и приличие».

За мною наконец явилась Таня. Хотя она была очень скромно одета, но на этот раз принарядилась лучше обыкновенного и была очень мила и эффектна: она так любезно раскланялась с тетушкою, что понравилась даже ей, несмотря на ее требовательность по части этикета.

Если занятия по естествоведению не привлекали меня, зато лекция Костомарова меня вполне очаровала: по форме она отличалась необыкновенною художественною простотою, а по содержанию мне казалось, что лектор осуществляет идеал историка с точки зрения современных требований. Я была поражена, какая масса народа пришла на его лекцию. Среди них мелькали женщины в роскошных туалетах, но несравненно больше было крайне просто, а то и очень бедно одетых, с короткими волосами и в черненьких платьях. Тут я встретила нескольких девушек и молодых людей, с которыми уже познакомилась. И вдруг неожиданно для себя я увидала Ушинского. Как я была счастлива видеть его! Он также выразил удовольствие, что встретил меня на этой лекции, попенял, что я ему до сих пор ничего не сообщила о своем времяпрепровождении, и через несколько дней обещал навестить меня.

То, что это посещение произойдет в доме моих родственников, отравляло радость предстоящего свидания. Господи, как я стыдилась при мысли, что Ушинский застанет меня среди роскошной обстановки, как мучительно страдала от допотопно-консервативных взглядов, которыми, как я ожидала, дядюшка и тетушка угостят его. Но когда лакей

доложил мне о его приезде, я была дома одна, и мне пришлось провести его в свою комнату через анфиладу пустых зал и гостиных, роскошно убранных.

— Если вы долго проживете в такой обстановке, не думаю, чтобы она так или иначе не повлияла на ваше решение вести трудовой образ жизни. Там, где люди живут так, и их взгляды более или менее соответствуют обстановке. К тому же обязанность порядочного и более или менее образованного человека развивать в себе скромные вкусы...

Я была совсем не ответственна за моих родственников и их обстановку, и меня крайне огорчило такое скептическое отношение ко мне Ушинского. Я отвечала ему конфузливо, что до сих пор, однако, это не оказало на меня ни малейшего влияния. Но я тут же забыла о маленькой боли, которую он мне причинил, и у меня вырвалось неожиданно для меня самой:

— Неужели тот, кто узнал вас, прослушал ряд ваших лекций, пользовался вашими советами и указаниями, может нравственно погибнуть?

Лицо Ушинского приняло горькое выражение, и он грустно произнес:

— Что вы толкуете? Разве я мог вывести моих институтских учениц на настоящую дорогу труда? Разве я мог девочкам, умственно не только неразвитым, но воспитанным в самых превратных понятиях, внушить человеческие взгляды, дать надлежащее направление их уму, когда каждый разговор с ними, чуть не каждая лекция перетолковывались вкривь и вкось, вели к неприятным столкновениям и интригам! — И он махнул рукой с какой-то безнадежностью.

И передо мною был Ушинский, этот смелый, энергичный человек, который, несмотря ни на какие препятствия и гонения, шел своею дорогою с гордо поднятою головою! Да, вероятно, много жизненных бурь пронеслось над ним в последнее время, если у него, хотя бы даже на мгновение, послышалась в голосе нота разочарования и сомнения! Я только тут заметила, как он исхудал и лишь позже узнала, как он тревожно доживал в институте последнее время своего инспекторства. Я страстно желала крикнуть ему, что он говорит неправду, что, напротив, он оказался настоящим титаном, который перевернул вверх дном все взгляды своих учениц, что, благодаря только ему, мы не можем пойти по той дороге, по которой пошли бы без него... Но я не издала ни звука, не умела формулировать своих мыслей, не нашла

ничего сказать ему в утешение, не смела даже поднять на него глаза и сидела, готовая зарыдать.

— Ну вот... ну вот, девочка!.. Зачем эти разговоры! Ведь я хотел вас порасспросить... а вы меня сбили, просто сбили меня с толку.

Меня так рассмешила мысль, что его, Ушинского, мог кто-нибудь сбить с толку, а тем более моя маленькая особа, что я вдруг расхохоталась, объясняя ему это среди приступов все нового смеха.

— Несомненно, вы сбили меня с толку! Сами приучили меня к своей невероятной застенчивости и скромности, а тут проявляете такую самонадеянность: «Как вы-де смеете говорить о том, что меня может погубить какая-нибудь обстановка, кто-нибудь и что-нибудь?» Но, конечно, чтобы скрыть свою гордыню, вам пришлось припутать и меня, и мои лекции...— И он вновь подсмеивался и шутливо переиначивал мои слова. Может быть, он настраивал себя на веселый лад, чтобы хотя на минуту заглушить душевную тревогу, которая так омрачала его жизнь в последнее время.

Затем он начал расспрашивать меня о том, что я успела прочитать после моего выпуска. Подобные вопросы он всегда задавал деловито-сурово. Я опять до смерти переконфузилась того, что мне приходилось сознаться ему, что работу, которую он дал мне, я еще не подвинула вперед. При этом я забыла даже привести что-либо в свое оправдание. Ушинский вообще чрезвычайно строго относился к занятиям своих учениц и не способен был обращать внимание на какие бы то ни было житейские обстоятельства. Он, вероятно, удивился бы, если бы кто-нибудь заметил, что девушке, только несколько недель тому назад соскочившей со школьной скамейки, естественно было повеселиться и поразвлечься после абсолютного монастырского затворничества. Ушинский же строго, как провинившейся школьнице, заметил мне:

— В конце концов оказывается, что вы не можете работать без надзора и постоянного руководства. Шутка ли сказать, потерять почти целый месяц! Однако что же вы делали все это время? Расскажите, пожалуйста, насколько вам вспомнится, как вы провели неделю за неделей.

Робея и заикаясь, но мало-помалу справляясь с своим смущением, я рассказала ему о первой вечеринке молодежи, на которой присутствовала, о новых знакомых, о моих занятиях естественными науками. Передавая споры и разговоры молодежи, я умалчивала лишь о том, в чем проявля-

лась их резкость и грубовато-фамильярная манера обращения, предполагая, что это не понравится Ушинскому. А мне так хотелось, чтобы он заинтересовался ими и так же, как я, был бы приятно поражен их правдивостью, откровенностью, их благородными общественными стремлениями и разговорами, полными интереса и значения,— по крайней мере, такими они представлялись мне тогда.

Ушинский с напряженным вниманием слушал меня, разражаясь от времени до времени таким веселым добродушным смехом, который еще более поощрял мою болтовню. Наконец, вставая, чтобы уходить, он шутливо заметил, что великодушно прощает мой легкомысленный образ жизни.

— Ну, я рад, очень рад, что вы попали в среду молодежи и людей работящих! Видите ли, как только вы сильно захотели выпрыгнуть из вашей раздушенной бонбоньерки, из вашей золоченой клетки, вы и выпрыгнули из нее! И всегда так бывает: когда человек сильно чего-нибудь захочет, он добьется своего.

Хотя на этот раз я была откровенна с Ушинским более, чем когда бы то ни было раньше, даже изумлялась самой себе, что я могла болтать с ним так непринужденно, но я все-таки не решилась рассказать ему о некоторых взглядах, высказанных молодежью на брак и любовь. Не только выпускною институткою, какою я была тогда, но и гораздо позже, за все время моего знакомства с ним, я никогда не слыхала, чтобы он или кто-нибудь при нем вел разговоры и споры о подобных вещах даже с теоретической точки зрения, а на какие-нибудь фривольные темы и подавно. Но зато я подробно рассказала ему о том, что говорилось на вечеринке относительно поэзии и искусства. Ушинский заметил мне, что отрицательное отношение к тому и другому высказывается теперь нередко, но он считает подобные мнения вредными прежде всего для того общественного дела, которому желает служить молодежь. Горячо и убедительно доказывал он мне всю несостоятельность подобных воззрений и их вред для всестороннего развития, говорил, что изучение естественных наук крайне необходимо, но оно должно идти рука об руку с изучением художественных произведений. Я была поражена, как в этом отношении взгляды Ушинского совпали со взглядами Ваховского, высказанными им в его речи в защиту художников слова.

На одной из вечеринок у «сестер» в группе мужчин, о чем-то рассуждавших между собою, было произнесено имя Петра Лавровича Лаврова. Это меня крайне заинтере-

совало, потому что господина с таким именем, отчеством и фамилиею я встречала в доме моих родственников. Я подошла к группе, в которой о нем говорили, заметила в ней Николая Петровича Ваховского и просила его сказать мне все, что он знает о Лаврове. Он сообщил, что П. Л. Лавров — артиллерийский полковник, профессор высшей математики и механики в артиллерийской академии, что он ученый и в прошлом году прочитал три публичных лекции о значении философии [1], выказал в них большой ораторский талант, проявил себя глубоким мыслителем и человеком громадных знаний и что после каждой лекции его провожали громом рукоплесканий.

«Неужели такой человек,— спрашивала я себя,— может бывать в доме моих родственников?»

В первый же раз, когда в доме моего дяди не было гостей и я сидела за чайным столом только с ним и тетушкою, я начала расспрашивать их о Лаврове. Из слов дяди я убедилась, что Лавров, посещающий их дом, то же самое лицо, о котором мне говорили. Тетушка заметила при этом, что, несмотря на его ученость, она не очень-то дорожит этим знакомством. При каждом своем посещении Лавров собирает деньги на вспомоществование каким-то беднякам, и у нее всякий раз вылетает из кармана десяток-другой рублей; она находит крайне неделикатным с его стороны такие поборы. Карманы их гостей, утверждала она, тоже страдают от него: он без церемонии обращается к каждому из их посетителей и спрашивает, не желает ли тот помочь его беднякам. Скоро, говорила она с досадой, все будут его избегать.

Дядя горячо защищал его и находил, что со стороны Лаврова нет никакой неделикатности, а, напротив, своего рода подвиг собирать на бедных, и прибавил, что лично он даже очень рад, что через верного человека может оказать хотя маленькую помощь несчастным.

Я была слишком неопытна и не сумела воспользоваться этим фактом и им отчасти объяснить визиты Лаврова к моим родственникам. Напротив, мне еще сильнее захотелось узнать от него самого о причине его посещений нашего дома. Мне не пришло даже в голову, что я не имею нравственного права задавать такие вопросы незнакомому человеку. Я только думала о том, как бы найти несколько минут, чтобы остаться с ним с глазу на глаз. Скоро для этого представился весьма удобный случай.

На званом обеде в доме моих родственников в числе приглашенных гостей был и Петр Лаврович Лавров, явив-

шийся раньше других. Дядя отправился с ним в свой кабинет. Вскоре после этого тетушка, занятая хлопотами к предстоящему обеду, приказала мне передать дяде, что один из знакомых офицеров просит принять его по неотложному делу. При этом она прибавила весьма внушительно, чтобы я не вздумала, по своему обыкновению, прибежать назад вместе с дядею, а до его возвращения оставалась бы с гостем и занимала его,— иначе это выйдет совсем неприлично.

Когда я вошла в кабинет, дядя схватил меня за плечи и, подводя к Лаврову, принялся рассказывать ему о том, какая я эмансипированная девица: разъезжаю по лекциям, стремлюсь к самостоятельности... При этом он в комическом и преувеличенном виде представил мой первый злополучный выезд из дому, мой испуг, когда ко мне подошел пьяный, и затем, как я, по его словам, «отбрила офицера» и прочитала нотацию о низости предательства за то, что тот желал меня «вернуть в лоно семьи, догадываясь, что я уехала из дому без согласия старших». При потоке слов дядюшки мне насилу удалось возразить, что я и не думала читать нотацию господину офицеру, но, когда он стал грозить мне доносом дяде, приказывал мне сейчас же возвратиться домой вместе с ним и вообще начал обращаться со мною возмутительно грубо, я действительно назвала его поступок как он того заслуживал.

— Однако что же это у вас за офицера? Прежде они отличались хотя галантностью относительно дам!..— заметил Лавров.

— Да... тут он немножко того... переборщил. Но этот офицер — прекраснейшей души человек, очень предан моему семейству: видит, что девочка со своею эмансипациею, того и гляди, надурит, вот он и приступил к ней довольно-таки решительно. Да ведь знаете, с нею и нельзя иначе: она только по-видимому конфузлива и застенчива, а на деле даже чересчур смела. Подумайте, на днях я делаю ей какое-то замечание, а она мне так и отрезала при всех: «Я ведь, дядя, не солдат вашего полка, что вы на меня так кричите!»

И дядя, вероятно, еще долго перебегал бы с одного предмета на другой, рассказывая про меня все, что подвертывалось ему под язык, если бы я не напомнила ему, что его заждался визитер по неотложному делу.

— Вы такая известная личность... ученый... такой образованный...— залепетала я, как только мы остались с Лавровым вдвоем, и вдруг остановилась. При этих словах Петр Лаврович приложил руку к сердцу и, улыбаясь, на-

клонил голову, как бы показывая, что благодарит за комплимент.

— Я говорю это с чужих слов, от лиц, которые слушали ваши лекции, вероятно, читали и ваши труды, но даже если бы я могла говорить это самостоятельно, то и тогда не стала бы прибегать к комплиментам,— ведь теперь все такое очень постыдно...

Лавров смотрел на меня такими серьезными глазами, так внимательно вслушивался в мое бормотанье, что я совсем переконфузилась. Только боязнь, что сейчас войдет дядя, заставила меня вытянуть из себя то, что я хотела сказать.

— Мне говорили, что вы не только известный ученый, но что у вас и очень глубокие идеи... И вот я... и вот мне... Не сердитесь, пожалуйста... скажите... зачем вы бываете у нас, то есть в доме моих родственников? Меня очень удивляет, что вы, человек с глубокими идеями, можете бывать в таком обществе. Оно даже для меня, а я только начинаю учиться, кажется таким пошлым, отсталым, невежественным. Люди, посещающие наш дом, осмеивают все новое, честное, хорошее... Они только по виду такие вежливые и вылощенные, а сами грубы и фальшивы. Почти все они высмеивают меня за то только, что я стремлюсь посещать лекции и воскресные школы. Пожалуйста, простите, что я решилась вас спросить об этом... Не сердитесь на меня...

— Уверяю вас, я нисколько не сержусь, напротив, даже очень рад, что вы обратились ко мне,— серьезно заговорил Лавров, протягивая мне руку и крепко пожимая мою.— Но отвечать на ваш вопрос довольно-таки мудрено, и еще при таких условиях, когда ваш дядя каждую минуту может сюда войти. Спрашивая меня о том, почему я бываю в доме ваших родственников, вы имеете в виду, вероятно, то, что порядочный человек должен являться лишь в такое общество, которое он безусловно уважает, убеждения которого он вполне разделяет. Не так ли? Это честный и вполне правильный взгляд на людские отношения. Но когда вы поживете подольше, вы поймете, что жизнь слишком сложная штука и придерживаться такого принципа относительно даже простых знакомств — невозможно. Другое дело друзья, очень близкие люди,— при выборе их, конечно, не следует забывать принципа, который, видимо, вы имеете в виду. Деловые отношения, различные обязанности, жизненные случайности, да мало ли что заставляет человека сталкиваться с разнообразными людьми нередко диамет-

рально противоположных воззрений. Тут уже можно требовать лишь одного, чтобы человек, попав в общество, чуждое ему по духу, оставался самим собою...

— Следовательно, вы должны,— вдруг осмелела я,— если вы хотите оставаться самим собою и попадаете в такой дом, как наш, обличать тех, кто говорит ерунду и несет пошлости!.. Вы должны обличать и потому, что обличение считается теперь одною из главных задач современного человека...

— Ну, нет...— расхохотался Лавров.— Оставаться самим собою еще не значит выходить на площадь и произносить «profession de foi»...* Не следует ни к кому подлаживаться, подпевать тому, что идет вразрез с убеждениями, но явиться, например, как сегодня, на ваш парадный обед и начать обличать посетителей — это не принесло бы никому ни малейшей пользы, а повело бы только к скандалу.

Но тут послышались шаги дяди, и Лавров спросил меня уже совсем другим голосом, какие лекции мне удалось прослушать.

— Кстати, скажите, пожалуйста, Петр Лаврович, неужели вы находите, что для такой девчонки, как она, у которой еще молоко на губах не обсохло, могут быть полезны все эти лекции? Ведь она не может даже их понимать!

— Будет чаще посещать их и кое-что почитывать на тему лекций и постепенно начнет понимать и усваивать то, что услышит. К тому же большинство теперешних лекторов читает весьма популярно. Когда же девушке учиться, если не в ранней молодости? Если она теперь привыкнет к пустой, светской жизни, потом сама не захочет учиться.

Тут разговор был прерван приходом новых гостей, и больше мне уже не удавалось с глазу на глаз побеседовать с Петром Лавровичем, которого, однако, я и после этого встречала несколько раз в доме моих родственников, но всегда в большом обществе. В таких случаях он подходил ко мне или присаживался подле на несколько минут, и мы перекидывались с ним обычными в таких случаях фразами. Он спрашивал меня обыкновенно, что я теперь читаю, чем занимаюсь, скоро ли думаю уехать в деревню.

Когда Лавров, уже через несколько лет после описанного инцидента, был арестован и административно выслан в Вологодскую губернию [2], ко мне как-то приехал мой дядя. У меня уже была собственная семья, и дядя, снимая верх-

* исповедание веры *(фр.)*.

нюю одежду, начал с самого порога выкрикивать, что он «воистину пригрел на сердце ядовитую змею». На мой вопрос, кого он подразумевает, он отвечал, что говорит о Лаврове, который, по его словам, оказался злейшим врагом отечества и престола и вероломнейшим из смертных. И дядюшка, не знавший никаких сомнений, не понимавший никаких мало-мальски сложных явлений современной жизни, смотревший на все с точки зрения первобытной морали, начал изливаться в жалобах на Лаврова и проклинать его. Он-де считал его, Лаврова, своим ближайшим другом, всегда с готовностью давал ему деньги, когда тот собирал их на вспомоществование беднякам, нередко совал ему их даже потихоньку от жены, а теперь знающие люди говорят ему, то есть моему дядюшке, что это с его стороны было крайне легкомысленно, что эти деньги Лавров, вероятно, употреблял на преступные цели.

— И подумать только, что я содействовал его гнусным, противоправительственным замыслам! А до чего я верил в благородство души этого человека! Как только я узнал, что он арестован, я немедленно бросился чуть ли не по всем значительным лицам, которым полагается ведать подобные дела, честным словом заверял всех и каждого, что в обвинение Лаврова, наверно, вкралась какая-нибудь ошибка, а надо мной, как над дураком, смеялись! Честное слово, как над настоящим дураком! И наговорили о нем такое, что я, как ошпаренный, бежал и от этих лиц, и из этих учреждений! Удивительно низкий и вероломный человек этот Лавров! Он ведь знал, что душа у меня доверчивая, что дружба к нему заставит меня хлопотать о нем, являться во все эти учреждения, особенно неприятные для меня в моем положении... И, несмотря на это, он заварил-таки свою скверную кашу!

— Да в чем же его обвиняют?

— Он... он... да разве ты не знаешь? Социалист, вот каков он гусь лапчатый! — произнес дядя, с ужасом расширяя зрачки.

Уверенная в том, что от дяди я услышу особое, только ему свойственное объяснение этого термина, я спросила его, что означает слово социалист.

— Бегала по лекциям, а этого не знаешь! Впрочем, мне самому это только что объяснили... Я ведь не очень-то интересуюсь всею этою грязью!.. Социалисты — это вреднейшие люди в государстве, просто какие-то шуты гороховые, санкюлоты [3], скоморохи, которые отрицают собственность, государство, семью, отечество, царя, бога, которые

думают перекроить весь мир по своему дурацкому образцу,— кричал дядя с жестоким неистовством, как будто желая показать мне и моему мужу, что если и мы окажемся таковыми, то должны помнить, как он смотрит на подобных людей. Но даже и помимо этой педагогической цели он, по своему умственному кругозору, не мог дать новым теориям и учениям иных объяснений, как назвав их последователей «мерзавцами», «гадами», «франкмасонами» [4] и т. п.

Глава XVIII

СРЕДИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОЛОДЕЖИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Прощальная вечеринка.— Домашняя жизнь господина «Экзаменатора»

Перед своим отъездом из Петербурга я явилась к «сестрам» на последнюю вечеринку, на которую они заранее особенно усердно зазывали своих друзей, совершенно серьезно требуя, чтобы каждый из них дал мне надлежащий совет относительно того, что я должна делать в деревне. На этот раз их гостями были те же лица, что и на первой вечеринке, кроме княжны Липы.

В то время нередко можно было встретить в интеллигентных кружках девушку или женщину аристократической фамилии. Разочарование в своих близких, знакомство с людьми иного круга и идеи шестидесятых годов обыкновенно были причиною их разрыва с своею средою. Такие личности тоже подвергали себя опрощению: жили, питались и одевались чрезвычайно скромно, зарабатывали свое существование уроками, переводами, перепискою. Обыкновенно они до фанатизма были преданы идеалам и стремлениям эпохи шестидесятых годов, свято выполняли даже внешние мелочные требования по кодексу нравственности того времени. Так было и с княжною Липою, которая, кстати сказать, никогда не была княжною. Ее так прозвали в кружках молодежи, потому что по наружности она ничего общего не имела с княжеским родом, а между тем многие, знавшие ее, и не подозревали, что если она и не княжна, то по происхождению все же чистокровная аристократка.

При основательном знании иностранных языков у нее не было недостатка в хорошо оплачиваемых уроках; получала она хорошее вознаграждение и у разных дельцов, у которых вела деловую переписку на иностранных языках.

Но у нее никогда не хватало денег на лето, когда все подобные заработки прекращались, — в такое время ей приходилось брать место гувернантки. Тогда и между собою и ей в глаза знакомые говорили с добродушною насмешкой: «Княжна Липа отправляется учить манерам!» Действительно, представить это себе было довольно комично: ее манеры были чрезвычайно решительны, резки и угловаты, ее голос криклив, и она с беспощадною бранью нападала на каждого, кто хотя бы на йоту не только в поступках, но и в словах отступал от принятого тогда молодежью катехизиса шестидесятников. Но у нее было на редкость золотое сердце: она делилась решительно всем, что имела, и шла навстречу каждому нуждающемуся. Некоторые злоупотребляли этим до полной бесцеремонности: не предупредив ее ни словом, они без всякого стеснения поселялись в ее комнате, занашивали ее платье, белье, присваивали ее книги.

За время, прошедшее между моим первым и последним посещением сестер, я имела много случаев ближе познакомиться с молодыми людьми обоего пола, которые бывали у них. Сестры так много говорили им о моей неприспособленности к жизни вследствие институтского воспитания, что они мало-помалу начали относиться ко мне, как к неопытной девочке, которую необходимо предупреждать чуть ли не о каждом камне на улице, оберегать, защищать, но, конечно, поучать, поучать прежде всего. И в этот раз каждый старался преподнести мне какой-нибудь совет, наставление, иной даже в форме настоящей речи, не обращая внимания на то, что многое из того, что они говорили, я должна была уже усвоить из их же разговоров.

Из речи «Смерча», обращенной ко мне, когда гости садились за стол и шумели стульями, до меня долетали только отрывочные фразы:

— Вы должны пропагандировать современные идеи среди окружающих вас, чтобы они не явились лишними на пиру жизни! Вы должны указывать на высокое призвание гражданки! Вы должны звать на великое служение!..

В эту минуту вошел новый посетитель, и Слепцов, воспользовавшись этим маленьким перерывом, заметил:

— Конечно, все, что вы сказали, очень возвышенно и благородно! Но ведь госпожа Цевловская, вероятно, не составила себе никакой программы для деятельности. Она, конечно, желает добра ближнему, но едва ли имеет представление, как осуществить это стремление. Чтобы сделать эти советы более практичными, их следовало бы излагать

попроще... Ведь госпожа Цевловская не скрывает того, что она не подготовлена к отвлеченным идеям и мышлению.

Называть звонкие фразы «Смерча», которые он высыпал, как горох из мешка, отвлеченным мышлением, несомненно, было злою ирониею, но при необыкновенно оживленных разговорах не до того было, чтобы обдумывать каждое слово.

— Натурально,— подтвердил медик Прохоров,— что для нее (то есть для меня) все надо излагать полегче и удобопонятнее. Вот, барышня, берите-ка карандаш и бумагу и записывайте, а мы сообща будем припоминать все, что вам надо читать и какое чтение вы обязаны рекомендовать другим. Кто-нибудь из товарищей, например Петровский, как человек обязательный, возьмет на себя труд собрать для вас кое-какие книги из указанных вам, а кое-что, может быть, вы и сами достанете...

И я начала записывать то, что мне выкрикивали с разных сторон: «Современник», «Колокол», «Полярная звезда», стихотворения Некрасова, Фогт, Льюис, Молешотт, Луи Блан, Бокль, «Искра», «Молотов», «Мещанское счастье» [1] и многое другое.

— Советуйте провинциальным барышням сдать в архив не только чтение Поль де Коков и Евгениев Сю [2], но и Пушкиных, Лермонтовых и других художественных деятелей. Объясняйте им, что теперь времена переменились и необходимо изучать прежде всего то, что может научить служению общественным интересам, любви к народу, все то, что помогает уничтожать предрассудки, то есть естественные науки.

Я была очень польщена, что через меня желают пропагандировать новые идеи, что меня считают достойною такой высокой миссии. При своей неопытности я не знала, что тогда мало входили в то, кто может и кто не может вести пропаганду, хотя бы даже и легальную, и поручали ее нередко еще менее умственно развитым, чем я была в то время.

— Но ведь женщине мало общественной деятельности,— говорил один студент с иронией.— Ей во всех случаях жизни необходим еще друг — мужчина... Если уже таков закон природы, выбирайте себе мужа не по приказанию папаши и мамаши, а вполне сознательно и самостоятельно: он должен быть вашим настоящим другом — товарищем, с которым вы могли бы идти рука об руку в деле обновления жизни.

— Заметьте, что и в мелочах,— с хохотом говорил его

сосед,— женщина должна соблюдать свою самостоятельность: свои картоночки и сверточки пусть уже сама таскает, а не навьючивает их на своего спутника.

— Заставлять мужчину таскать за собою всякие пустяки,— начал обстоятельно Прохоров,— позволяет себе только легкомысленное создание, а потакает такой женской слабости лишь «кавалер», а не человек, уважающий свое человеческое достоинство. Конечно, мужчина должен прийти на помощь женщине, если ей трудно поднять какую-нибудь тяжесть, но лакейски прислуживать ей, обхаживать ее, подымать ее перчаточки и платочки,— это уже настоящая пошлость! Подобные услуги одинаково роняют нравственное достоинство мужчины и женщины и в то же время показывают все ничтожество, все слабосилие женского пола, что, несомненно, несправедливо. Вы, женщины, слабее нас только физически, а ваш умственный аппарат действует не хуже нашего.

— Провинциальное общество,— заговорил один из студентов,— в умственном отношении сильно отстает от столичного: собираясь на обеды и вечеринки, оно до сих пор еще несет невообразимую чушь и пошлость. Чаще всего болтают о делах амурного свойства, о любовниках и любовницах своих знакомых, сплетничают, клевещут на своих приятелей за их спиной. В таких случаях вы должны немедленно заявлять, что подобные разговоры носят столь низменный характер, что вы считаете непристойным их слушать. Имейте в виду, что обязанность молодого поколения поднимать нравственный уровень общества! Провинциальным барышням вы должны постоянно указывать на безнравственность и бессодержательность их прежнего существования, на пошлость кокетства и глазенапов, направлять их на путь гражданского служения.

— Замужней женщине ты должна пропагандировать вот что,— заметила Таня, обращаясь ко мне,— если она не вносит в общий бюджет своего заработка, если она берет содержание от мужа, не любя его, если она не расходится с ним и тогда, когда убедилась в его общественной дрянности,— она *только законная содержанка*. Замужем или не замужем женщина, она, как и мужчина, должна идти вперед в умственном развитии, приносить пользу обществу, никогда не забывать о необходимости самостоятельно зарабатывать свой насущный хлеб.

— Женщине очень трудно понять истинный смысл материальной независимости! — заметил молодой человек, которого я видела здесь в первый раз.— Я знаю прогрессив-

ных девушек, прекрасно рассуждающих о самостоятельности, а пойдет в театр или на какое-нибудь другое собрание, случайно встретит полузнакомого, поболтает с ним две-три минуты, и сейчас пить или есть захочет, а ты плати...

— Такая опасность вам не грозит от меня!.. И от меня! И от меня! — с хохотом бросали ему дамы со всех сторон.

— А ведь это верно,— раздался чей-то голос из угла,— что ваша сестра вообще очень любит примазываться к мужчине... И к браку-то она прежде всего стремится из-за того, чтобы как-нибудь отвертеться от труда, чтобы самой не зарабатывать своего существования. Вот вы и должны указывать женщине, сколь постыдно для нее теперь висеть на шее мужчины.

Своего визави, который ничего не говорил, я попросила сказать мне несколько напутственных слов.

— Вам забыли прибавить,— заметил он,— что если вы не должны висеть на шее мужчины, то и вы не должны мужчине позволять висеть на своей шее, садиться себе на голову... Довольно было раболепия и низкопоклонства! Если же вам необходим брак...

Но эти слова решительно перебил Петровский («Экзаменатор»), проходивший в эту минуту мимо:

— Вы все еще продолжаете говорить о браках, о мужьях, женах... А между тем теперь уже наступило время, когда передовые люди должны смело кричать всюду: «Долой такой устарелый институт, как брак!»

— Ну, уж извините, господин Петровский,— заговорила музыкантша Лярская,— такими советами вы просто сбиваете с толку девочку! Подумайте сами, возможно ли ей, в ее годы, говорить такое? Это, можно сказать, просто даже неприлично!

— Теперь только тупоголовые люди заботятся о приличии! — кричали ей со всех сторон.

— Не в видах приличия, но я тоже скажу, что совершенно неподходящее для нее дело проповедовать подобные вещи,— заметила Очковская.— Я большую часть жизни прожила в провинции и знаю, чем это может кончиться. Если она там будет повторять подобные фразы о браке, она сделается не только посмешищем, но и накликает на свою голову множество серьезных неприятностей и конфликтов.

— Заметьте, Очковская,— заговорил медик Прохоров,— ведь «Смерч» был прав, когда доказывал вам, что у вас довольно-таки большая тяга к допотопным взглядам!

Вы должны стараться вытравлять их в себе. Лярская — другое дело: она музыкантша, и этим все сказано. А вы особа прогрессивная, трудящаяся на общественной ниве, — ваш умственный кругозор должен быть пошире. Эдак вы, пожалуй, будете проповедовать сей юной особе, чтобы она придерживалась всех нелепых провинциальных обычаев, чтобы она не смела войти в мужское жилище, чтобы она смотрела на квартиру холостого человека, как на вражий стан, как на притон хищника, зверя и самца!

— Как я смотрю на это — не идет к делу, но я тоже не посоветую ей в провинции ходить в квартиры холостых людей. Уверяю вас, что после этого ей будет немедленно закрыт вход во все порядочные дома.

— Значит, вы советуете ей жить по-старому, подчиняться прежним предрассудкам? — спрашивали Очковскую со всех сторон.

— Для неопытной девочки начинать такую опасную пропаганду в провинции значит сразу лишиться возможности распространять те идеи, которые вы внушаете ей. А теперь я хочу спросить Петровского: если будет уничтожен брак, кто же будет тогда воспитывать детей?

— Странный вопрос! Те же родители, но свободные, не связанные между собою, как два каторжника, цепью законного брака, следовательно, более разумные существа! Но и это нововведение останется разве на два-три года, а затем дети будут получать общественное воспитание [3]. Да иначе и представить себе невозможно! Имейте в виду, какая происходит теперь из-за этого громадная потеря времени: двое родителей затрачивают все свои силы на воспитание нескольких, а то и одного ребенка. Ужасно думать, сколько даром сил пропадает! Тогда как при общественном воспитании на двадцать — тридцать детей понадобится два-три воспитателя. Притом же детей будут воспитывать специалисты, люди, серьезно изучившие педагогическое дело и имеющие в нем опытность.

— Едва ли матери согласятся расстаться с маленькими детьми! Материнская любовь, нежность, забота лежат уже в натуре женщины, и эти свойства, как солнце и воздух, необходимы при воспитании ребенка!

— Однако результаты воспитания не подтверждают этого... Несмотря на родительскую любовь и другие сантименты, родители и дети всегда оказывались у нас двумя враждебными лагерями. Только тогда, когда родительские обязанности будут лежать на обществе, родительский гнет не будет тяготеть над детьми. Только тогда, когда тупоголо-

вых родителей устранят от воспитания, их дети начнут получать истинно нравственные понятия и знания!

— Да что это вы, Петровский,— перебила его Вера Корецкая,— опять потонули в общих вопросах! Вы должны иметь в виду отъезд Цевловской. Сделайте сводку всего того, что ей было высказано, и от себя прибавьте, что найдете необходимым! Вы такой мастер делать выводы. Вот это и послужит для нее настоящей программой и руководством для будущей деятельности.

— Что же, я ничего не имею против этого... А вы, барышня, не бойтесь,— вдруг обратился он ко мне,— что я столь благовоспитанной девице, как вы, скажу что-нибудь такое, что может вас шокировать...— обратился Петровский ко мне. Должно быть, он догадался, что я с ужасом думаю о предстоящей речи, которая должна заставить меня пережить мало лестного для моего самолюбия.

— Ну, этого-то госпожа Цевловская, конечно, не боится,— возразил Слепцов, не скрывая иронии.— Она твердо помнит, что находится в культурном обществе, где подобные вещи немыслимы!..

— Отчего это, Петровский, вы при обращении к Цевловской всегда прибавляете особые словечки и выражения, какие-то насмешечки?.. Не от того ли, что она самая юная из нас и самая робкая? — сердито обратилась к нему Верочка.

— Сознаюсь откровенно,— отвечал «Экзаменатор» как-то по-детски наивно, не обращая ни малейшего внимания на то, что все это говорится в моем присутствии.— Когда я вижу Цевловскую во всем блеске ее комильфотности, мне так и хочется поддразнить ее... Конечно, это глупо с моей стороны! Простите и слушайте...

Я думала, что за этим последует пункт первый, пункт второй и при каждом из них перечень содержания, причем Петровский начнет загибать пальцы. Я решила, что на этот раз этих пунктов будет так много, что ему не хватит всех его десяти пальцев, но обманулась,— он начал речь, которую закончил так: «*Первая задача* современного человека — направлять свои силы на то, чтобы на нашей злосчастной родине поменьше слез проливалось, *вторая* — пробивать бреши в китайской стене русского невежества и предрассудков, *третья* — обличать злоупотребления в общественной жизни и индифферентизм к общественному делу».

Хотя вначале я была польщена возлагаемою на меня миссиею, но, когда было высказано все то, что требовалось

от меня, я страшно перепугалась и нашла, что такая задача не по моим силам, а при одной мысли о необходимости обличения кого бы то ни было меня охватывал просто какой-то ужас. Мне казалось, что во всем этом я обязана открыто сознаться сию же минуту, высказать все это во всеуслышание, иначе я воровски воспользуюсь доверием окружающих, сознательно дам о себе превратное представление, как о личности более сильной, развитой и смелой, чем я была в действительности. Я решила, что страх, который меня разбирает при мысли о возложенной на меня миссии,— подло утаивать, так как он доказывает во мне присутствие рабских чувств, особенно унизительных для современного человека. Но как же заговорить публично, как вынести устремленные взгляды двадцати — тридцати человек, когда даже при одной мысли об этом я, как в лихорадке, тряслась с головы до пят и спазмы сжимали мне горло? Как раз в эту минуту мимо меня проходили Очковская и Ваховский, и я решила во всем сознаться им и просить совета. Ольга Николаевна схватила меня за руку и усадила между собой и Николаем Петровичем. На мое путаное признание мне отвечали дружным смехом. В эту минуту перед нами остановился Слепцов: из последних слов он, по-видимому, понял, в чем дело.

— А что, тяжела ты, шапка Мономаха? [4] — заметил он, улыбаясь.

— Да что вы так трагически все принимаете? — успокаивала меня Ольга Николаевна, ласково гладя меня по руке.

— Ведь эта «трагедия» и произошла оттого,— заметил Николай Петрович,— что сия девица решила серьезно выполнять наималейшие требования, возложенные на нее, то есть ни более ни менее, как сразу изменить допотопные взгляды крестьян и дворян всех полов и возрастов...

— Но ведь я же должна заявить, что не способна на такую деятельность?

Они опять рассмеялись моей наивности, а Ваховский добавил:

— В таких самообличениях нет никакой надобности! Обучайте безграмотных — это, конечно, необходимо для каждого, читайте, серьезно учитесь и в конце концов сами увидите, что можете еще сделать для пользы окружающих вас.

В то время когда мы в сторонке рассуждали между собою, собравшиеся уже разбились по группам.

— Довольны ли вы, господа нигилисты, вашею новою

кличкою, которую вам дал самозваный ваш крестный папаша Тургенев, и вашим представителем Евгепием Васильевичем Базаровым? [5]

При этом вопросе Прохорова все присутствующие сразу заговорили, зашумели, заспорили, а через несколько минут уже вскочили со своих мест и сбились в кучу. Слова и выкрики, раздававшиеся здесь и там, преисполнены были злобы и негодования: «Весь роман — сплошная гнусная карикатура на молодое поколение!» — «Это презренный пасквиль!» — «Он (Тургенев) не имеет ни малейшего понятия о молодом поколении!» — «Еще бы: сидит за границею, услаждается пением своей Виардо и перестал понимать, что делается в России!» — «Эстетики в конце концов всегда превращаются в обскурантов, клеветников, гасителей просвещения, гонителей всего честного, порядочного и молодого!» — «Они ненавидят молодое поколение за то, что оно требует не только слов, но и дел.» — «Трудно сочинить бо́льшую клевету: Базаров, этот представитель молодого поколения, обжора, пьяница, картежник, который еще бахвалится своею пошлостью и даже в ней пасует!» — «Он представлен пошлым самцом, который не может оставить в покое ни одной смазливой женщины!» — «Кто из нас опивается шампанским, кто посещает дома, где идет картеж?» — «Да... да, кто нам дает шампанское? Сестры, что ли?» — «Мы даже решили, чтобы на наших собраниях никогда не было ни карточной игры, ни спиртных угощений!» — «А дуэль? Кто из нас оскандалит себя ею?» — «Дуэль — старый пережиток, и никто еще дуэлью не доказывал своей правоты!»

Княжна Липа долго силилась перекричать других; наконец это ей удалось.

— В несравненно более гнусном виде, чем мужчина, выставлена современная женщина в этом клеветническом романе! Встречали ли вы, господа, женщину, хотя сколько-нибудь напоминающую тупую, развратную, пьяную от шампанского Кукшину, которая, чтобы похвастать своею ученостью и прогрессивными взглядами, разбрасывает по столам своей квартиры неразрезанные журналы и окурки папирос? Господин Тургенев желает показать этим, что женщина недостойна свободы, не должна заниматься науками, иначе из нее выйдет карикатура на человека!.. Я предлагаю вам, господа, написать протест против романа «Отцы и дети», выразить в нем презрение и негодование к подобным пасквилянтам, покрыть это заявление массою подписей и отправить в Париж господину Тургеневу.

— Я совсем не очарован этим романом,— возразил Слепцов,— нахожу в нем множество промахов и противоречий, неправильно понятых взглядов молодого поколения. Автор выставляет Базарова человеком без веры, но молодое поколение верит в очень многое, прежде всего оно твердо верит в свои идеалы. Тем не менее я все-таки не разделяю только что высказанного здесь взгляда на Кукшину. В ней автор вовсе не изображает современной женщины: она и ее приятель Ситников представляют превосходную карикатуру на людей, заимствующих лишь внешность прогрессивных идей, примазывающихся к новому течению, чтобы щегольнуть словами и фразами, и воображающих, что этого достаточно, чтобы прослыть общественными деятелями. Что это карикатура, видно уже из того, что к обеим этим личностям с презрением относятся Аркадий и Базаров.

— Не то, не то...— кричали ему.— Базаров с презрением относится к Кукшиной только потому, что она не понравилась ему своею внешностью: он может любоваться богатым телом женщины, а других отношений к ней он иметь не желает!..

— Тургеневу необходимо отправить протест! — требовала молодежь, и тут поднялся невообразимый шум.

— Господа! Устроим какой-нибудь порядок для обсуждения этого романа! [6] Пусть каждый выскажет свой взгляд не голословно, а мотивируя его,— предложил Ваховский.

— А вы, словесник, по обыкновению, только о порядке хлопочете!.. Вам бы в городовые! — со злостью бросила ему княжна Липа.

Молчаливый и холодный с виду, Слепцов вдруг решительно выступил вперед. Хотя затем он произнес скорее шутливую, чем серьезную речь, но его бледное лицо покрылось красными пятнами, а руки дрожали, когда он дергал свою коротенькую, черную бородку:

— Считаю долгом выяснить различие между деятельностью городового и господина Ваховского, так как я встречаю здесь не в первый раз непонимание значения роли того и другого. Обязанность городового не только смотреть за внешним порядком, но и затыкать рот каждому, кто пожелает сказать живое слово, улавливать непочтительные отношения к властям предержащим, а господин Ваховский стремится упорядочить наши словопрения, дабы все могли высказаться вполне, и ни одна мысль, ни одно наше слово не пропали бы для мира. Характер деятельности этих двух

Базаров, по наущению автора, советует Аркадию немножко поучить своего отца и сделать выбор, какие книги должно ему читать. На первый раз Аркадий приказывает отцу прочесть необходимую для его возраста *«Самодеятельность»* Смайлса с примечаниями Кутейникова.

лиц мне представляется диаметрально противоположным. Городовой действует согласно инструкциям начальства, Ваховский же — по собственной инициативе. Первый за усердную службу получает поощрение от начальства, второго преследуют и начальство и общество. Конечно, для господина Ваховского это не вредно,— оно сделает его нечувствительным к превратностям судьбы... Вот еще какое различие я нахожу в деятельности этих двух личностей: городового заботит одна мысль: «Хватать и не пущать», у Ваховского несколько более сложный образ

Наглядное изображение спора Базарова с Павлом Петровичем на тему *«сперва нужно место расчистить»*.

«Отцы и дети». Карикатурный роман. Рисунки и текст А. М. Волкова, гравюры Ф. Фрейнда. «Искра», 1868, № 14.

мыслей: принципы и идеалы, которые мы только что научились формулировать, Ваховский проводит в жизнь уже с самого начала своей деятельности.

— Правда... правда! — кричали некоторые, хлопали же все, кроме «Смерча» и княжны Липы.

Причина нападок на Ваховского, несмотря на множество услуг, которые он всегда старался оказать каждому, несмотря на его кристально чистую общественную деятельность, заключалась в том, что весьма многие из молодежи довольно нетерпимо относились к тем, кто им противоре-

чил, а Ваховский по многим вопросам держался других взглядов.

Нужно, впрочем, оговориться: хотя молодежь того времени иной раз весьма запальчиво, а подчас и заносчиво относилась к иным мнениям и взглядам, чем те, которые она исповедовала, принимая их часто на веру, без критики и проверки, но я все же не раз была свидетельницею и того, что она терпеливо выслушивала мнения противоположного характера, если только их высказывал писатель или профессор, пользовавшийся особенною благосклонностью молодежи. Правда, подобная отповедь дозволялась немногим, отвоевавшим это право серьезными общественными заслугами, к тому же это благоразумие быстро улетучивалось: пылкий темперамент молодежи, не уравновешенный общественною дисциплиною, молодая, горячая кровь, недостаток серьезного образования заставляли ее быстро забывать о принятом решении внимательно относиться к чужому мнению.

На этот раз Ваховский без помехи высказывал то, что думал. Он тоже кое-чем недоволен в романе, но не берется выяснять ни художественного, ни общественного его значения, а желает только показать, что это произведение ничего общего не имеет с пасквилем и клеветою на молодое поколение.

— Базаров,— доказывал он,— является истинным представителем молодого поколения. Он обрисован в романе необычайно сильным, можно сказать мощным, характером, с непреклонною волею,— ни перед кем не виляет, ни у кого не заискивает, смело до дерзости говорит в глаза все, что думает, и притом никого не щадит, отличается необыкновенною жизнедеятельностью, работает неутомимо, двигает науку вперед, не любит загребать жар чужими руками, но, при выдающейся силе своего ума и характера, Базаров отличается сатанинскою гордостью и о себе самом самого высокого мнения. Хотя он обладает весьма крупным и оригинальным умом, но вследствие своей самонадеянности, этого характерного грешка молодежи, нередко высказывает незрелые мысли. Все остальные лица, выведенные в романе, стоят несравненно ниже Базарова по своей работоспособности, по своему закалу, уму и характеру. Как же можно говорить, что в лице Базарова Тургенев осмеял молодое поколение, когда, наоборот, он показал в нем редкие достоинства? В нем сгруппированы наиболее характерные стремления, симпатии и антипатии молодого поколения: он серьезно изучает медицину и естественные

науки, ботанизирует, режет лягушек, работает с микроскопом, не признает авторитетов, издевается, иногда даже невпопад, над проявлениями романтизма, отрицает искусство и поэзию, находит, что химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, что Рафаэль гроша медного не стоит, признает только то, что полезно, чрезвычайно скептически относится к старому поколению. Базаров, можно сказать, фотографически верно списан с молодого поколения... Что же касается шампанского, к которому он питает большую склонность, и других его качеств, например его отношений к женщинам, то в тех кругах, где мы с вами вращаемся, мы действительно не встречаем в молодежи этих слабостей. Но, господа, простите... вы еще так мало знаете жизнь и ее соблазны... так мало знаете самих себя!.. Можете ли вы ручаться, что если бы вас стали усердно угощать шампанским, может быть, оно кому-нибудь из вас и пришлось бы по вкусу? Базаров не всегда последователен: он с презрением отзывается о женщинах, а затем сам влюбляется. Такою непоследовательностью грешит большинство молодых людей. Господа! перед вами длинная жизнь со всеми ее соблазнами, подвохами и западнями! Неужели каждый из вас может наперед ручаться за то, что он всегда, как теперь, будет стремиться выбирать себе подругу жизни прежде всего для того, чтобы рука об руку с нею работать на общественной ниве? Почем знать, не падет ли ниц кто-либо из вас перед могуществом женской красоты и очарования! Что же касается дуэли, то несомненно, что обычай этот отживший и весьма неумный. Но, осуждая Базарова за дуэль, вы не принимаете в расчет разнообразно-сложных положений, конфликтов, в которые иногда жизнь ставит человека. Наконец, нужно помнить и то, что роман «Отцы и дети» хотя и вышел в свет только теперь, но, говорят, написан уже года три тому назад [7], следовательно, Тургенев работал над ним в то время, когда тип представителя молодого поколения еще не настолько определился, как теперь.

— Как ни обеляйте Базарова,— возразил Петровский,— таким, каким он выставлен, он оказывается порядочною дрянью: человеком жестким, который не умеет ни к кому отнестись сердечно. У него даже достает наглости сказать, что «свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад сам себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке». Ну, скажите, пожалуйста, кто из молодежи способен сказать такую пошлость?

— Антипатичность Базарова,— доказывала Очков-

ская,— проявляется в особенно отталкивающем виде тогда, когда дело касается его отношений к безобидным старикам родителям, любящим его всем сердцем. Но ведь вы в этой самой комнате не раз называли сентиментальною пошлостью всякое проявление нежных чувств к родителям! Разве вы не проповедуете постоянно, что нужно порвать со всем прошлым и прежде всего с папашами и мамашами? При этом вы не исключаете даже таких родителей, которые не мешают своим детям жить и учиться... Будьте же справедливы, сознайтесь, что этою чертою характера вы сильно напоминаете Базарова! Но я тоже нахожу, что в остальном Тургенев все-таки клевещет на молодое поколение: Базаров насмешливо, высокомерно, жестоко, с презрением и изредка разве только снисходительно относится даже к своему другу, никого не любит, ничего не признает, даже своего народа. Это, конечно, возмутительная клевета на молодое поколение. Большая часть молодежи, с которою мне приходилось сталкиваться, бескорыстные, превосходные друзья, сердечные товарищи, готовые отдать всю кровь своего сердца для блага и просвещения народа!

Хотя при дальнейшем разборе романа многие соглашались, что «отцы» являются у Тургенева не в авантаже, обрисованы людьми неразвитыми, дряблыми и безвольными, и даже более умный из них, дядя Аркадия, выставлен совершенным баричем, который все время тратит на уход за своей великолепной особой, тем не менее все-таки присутствующие решили, что Тургенев с большею симпатиею относится в этом романе к старому поколению, чем к молодому [8], и называли его ренегатом, так как он, по их мнению, из прогрессивного лагеря перешел в реакционный.

В то время как княжна Липа с некоторыми другими принялась составлять протест Тургеневу, который, кажется, совсем не был ему отправлен, началось обычное веселье. На этот раз все так устали к трем часам, когда расходиться считалось еще слишком преждевременным, что затеяли игру в «оракула». Тот, кто исполнял эту роль, садился с завязанными глазами на стул посреди комнаты, и к нему один за другим подходили и клали руку на его голову. При этом кто-нибудь спрашивал его, что будет с особою, рука которой покоится на его голове. Говорить о том, что сердце означенной особы пламенеет безумною страстью, что тот или другой умирает от ее равнодушия, что она выйдет замуж за того-то, казалось в то время слишком личным, а потому даже и в такой игре старались представить общую картину будущего строя общества и указывали на роль,

которую будет играть в нем личность, желающая услышать предсказание оракула. Остроумию и фантазии предоставлялся при этом полный простор, но то и другое встречалось не часто.

Завязанные глаза и то, что это было простою забавою, не мешало произносить длинные речи. Один молодой человек, исполнявший роль «оракула», набросал в своей речи картину теперешней деревни с убогими, курными, полуразвалившимися избенками. Ее единственная улица — грязная, топкая лужа с барахтающимися свиньями; по ней проходит жалкий, малорослый скот, перебегают босоногие деревенские ребята-заморыши, двигаются оборванные, с изнуренными лицами крестьяне. Через тридцать лет все преображается. Это уже значительный поселок с несколькими широкими, прекрасно вымощенными улицами, с уютными крестьянскими жилищами, с большими садами, в которых высятся фруктовые деревья, а на клумбах пестреют цветы. Позади деревни тянутся поля, прекрасно обработанные по новейшим способам. Внутренняя обстановка деревенских жилищ, как и их внешность, вполне соответствует требованиям культуры: в каждом домике несколько комнат, простенькая, но чистая мебель, по стенам — портреты великих людей и полки с книгами. Среди деревни три громадные дома — дворцы, но без всяких бесполезных архитектурных украшений, с высокими залами, с огромными окнами, дающими свободный доступ солнцу и воздуху. Одно из этих зданий-дворцов — школа для детей младшего возраста, другое — для детей среднего возраста, третье — университет.

— Да-с, господа, университет, настоящий университет! Через тридцать лет не только в больших и малых городах России, но и в деревнях с значительным населением будут свои университеты. Они будут отличаться от теперешних несравненно лучшим составом профессоров, и лекции в них будут читаться исключительно по вечерам. Все различия между сословиями будут стерты к этому времени: не будет ни господ, ни крестьян, ни бар-паразитов, ничего не делающих, а только услаждающих себя, ни людей, трудящихся до истощения, ни нищих, ни безграмотных. Взрослое население, мужчины и женщины, днем на полевых работах, разумеется, сообразно с силами каждого, а вечером все отправляются в университет на лекции. Не будет сословных перегородок, не будет и резкого различия в одежде: все одеты просто, но чисто и соответственно с временем года. На лицах — ни следа уныния и забитости: все бодры,

веселы, оживленны. Среди взрослого населения только одна из женщин отличается от других, и то лишь тем, что на седых ее локонах (я говорю об особе, рука которой покоится на моей голове) красуется венок из чудных роз: трогательный подарок воспитываемых ею детей. Тогда это будет уже стареющая, но, несмотря на это, все еще прелестная матрона: она окружена громадною ватагою веселых, здоровых, краснощеких детишек, с которыми она отправляется к озеру, чтобы приглядеть за малышами во время купанья.

Хотя картина близкого будущего русской деревни была набросана «оракулом» наивно до ребячества, но, судя по горячим аплодисментам, она, очевидно, понравилась присутствующим. Ваховский же с хохотом кричал ему:

— Браво, браво! Вот она прирожденная тяга к эстетике,— говорил он.— Даже такой отрицатель ее, как Б., нашел необходимым украсить будущие сады крестьян цветочками, а для матроны не пожалел и венка из чудных роз! Хотя далеко не так скоро, как вы мечтаете, мои молодые друзья, но, несомненно, лет через тридцать произойдут большие перемены на нашей родине. Очень сомневаюсь, что к этому времени вы добьетесь братства и равенства, не рассчитываю я и на деревенские университеты, но надеюсь, что материальное положение народа чрезвычайно улучшится, не сомневаюсь и в том, что к тому времени не будет уже ни одного безграмотного. Добьемся мы, конечно, лет через тридцать и иной формы правления, когда станет легче жить русскому народу, усилится движение во всех сферах общественной деятельности. Эти перемены произойдут прежде всего оттого, что даже люди, не особенно гуманные от природы, поймут наконец, что их личная выгода, их интересы тесно связаны с выгодами и интересами ближних, и все ревностно примутся работать на пользу просвещения народа и для его материального благополучия. И это будет иметь громадное влияние на обновление всех условий нашей жизни! Но даже и в том случае, если бы осуществились все ваши мечты, у человека останется свой собственный уголок в сердце, где он будет прятать свои лучшие сокровища: любовь к природе и красоте. И вы, господа нигилисты, можете отрицать все, что угодно, можете с головой уйти в общественную деятельность, а придет время, и вы, как и все остальные смертные, будете увлекаться, любить, ненавидеть, ревновать...

— Передохните, господин словесник! Передохните! —

закричал ему медик Прохоров.— Как врач, прописываю вам по утрам холодные души!..

Ваховский со смехом отвечал, что не последует его предписанию, «ибо до конца своих дней желает сохранить огонь в крови».

Публика начала уговаривать Очковскую исполнить роль «оракула», но она наотрез отказалась. С тою же просьбою обратились к «Смерчу». Он сейчас же уселся на стул со словами:

— Я никогда не ломаюсь, как прочие. (Язвительный намек на Очковскую.)

Когда ему завязали глаза, одна из дам положила ему на голову руку Очковской. Он вздрогнул и начал свою речь прерывающимся от волнения голосом:

— Вам известно, господа, что в настоящее время только что изобретен новый способ выводить цыплят, хотя и из яиц, но без курицы, с помощью нагретого воздуха. Один опытный сельский хозяин говорил мне, что это открытие произведет огромный переворот в сельском хозяйстве, я же полагаю, что это поведет в близком будущем даже к перевороту во всем человечестве. Подумайте сами: если начали выводить цыплят, то со временем, и, по всей вероятности, очень скоро, могут додуматься до того, как чисто механическим путем, но, конечно, с более усовершенствованными и сложными приспособлениями, чем это делается относительно цыплят, начнут увеличивать население. И вот тогда уже все золотушные сентименты относительно страстной любви между полами падут сами собой. Должен сознаться, я с грустью думаю о положении личности, рука которой, если не ошибаюсь, лежит на моей голове. Хотя она будет тогда, увы, уже весьма, весьма престарелою особою, вероятно, без единого зуба и без единого волоса, но, конечно, даже и тогда она все же будет вздыхать о страстной любви, навсегда утраченной и для нее лично, и для всего человечества.

Раздался неудержимый хохот: то один, то другой собирался что-то возразить, но не мог выговорить ни слова от душившего смеха. Общий хохот и фырканье стихали на мгновение, но возобновлялись снова и снова. Эта речь, сказанная серьезно, а под конец даже с каким-то злорадством и угрозою в голосе, предназначалась Очковской, в которую так отчаянно-безнадежно, так безумно влюбился этот беспощадный отрицатель страстных чувств. Я взглянула на «Смерча», который уже стоял в сторонке, потупившись, с трясущимися руками, с нервно скривившимися

губами,— и у меня болезненно сжалось сердце. Я уже на первых вечеринках слышала, что у него чахотка. Затем я не видала его более месяца и заметила, что с тех пор его болезнь сделала большие успехи: он сильно исхудал, щеки провалились, красные пятна покрывали его выдававшиеся скулы. Вероятно, рука об руку с прогрессирующею болезнью каждая капля крови этого несчастного юноши была отравлена ядом неразделенной любви. Месяца через два после этого, когда я уже жила в деревне, сестры писали мне, что «Смерч» простудился, схватил воспаление легких и умер в больнице.

На другой день после вечеринки Вера Корецкая вернулась с урока раньше обыкновенного и заявила, что ей крайне необходимо взять свою книгу у Петровского, носившего кличку «Экзаменатора», и советовала мне прогуляться с нею к нему, уверяя, что в такое время мы не застанем его дома.

Нам отворила дверь девочка лет двенадцати со словами: «Вы, верно, одна из «сестер», к которым ходит наш Петруша?» Вера подтвердила ее догадку, и к нам в ту же минуту вышли: девочка лет одиннадцати и пожилая женщина в переднике, с засученными рукавами, мать обеих девочек и квартирная хозяйка Петровского. Она, как мы узнали через несколько минут, была женщиною без всяких средств, вдовою бедного чиновника, и сама выполняла обязанности кухарки. Она умоляла нас не только войти в комнату «Петруши», но и напиться с ними чаю. «Все, у кого бывает наш Петруша, нам самые близкие люди»,— с чувством говорила она. Вера спросила ее, не родственница ли она Петровского. Оказалось, что она совсем чужая ему, знает его лишь с тех пор, как он сделался ее жильцом, но она любит его, как родного сына, а он, по ее словам, делает для нее гораздо больше, чем делают сыновья для своих родных матерей. При этом она ввела нас в комнату Петровского. Вера с удивлением спросила, как он может жить и заниматься в такой крохотной, полутемной конурке. Хозяйка рассказала нам следующее. Она сдала ему внаймы лучшую, самую большую комнату в своей квартире, в которой он и поселился. Но когда он прожил у них несколько дней и увидал, что обе ее дочери занимались в полутемной комнате, а третья служит спальнею и столовою для всей семьи (квартира состояла всего из трех комнат), он настоял, чтобы она переселила своих дочерей в его комнату, а сам перешел в полутемную на том якобы основании, что днем его никогда почти не бывает дома, а при искусствен-

ном освещении все равно, в какой комнате заниматься. Эту комнатюрку, занимаемую Петровским, хозяйка считала настолько плохою, что не находила даже возможным сдавать ее внаем. Когда Петровский занял ее, она обрадовалась этому и назначила за нее плату наполовину меньше той, которую он условился платить ей за хорошую комнату, но он не согласился на это и продолжает ей платить за эту плохую комнату по условленной цене, как за первую, им нанятую. Но этого мало: младшую дочь хозяйки Петровский приготовил в первый класс женского училища для приходящих, в котором обучалась и старшая ее девочка, до сих пор, почти ежедневно, следит за занятиями ее обеих дочерей, объясняет им все, чего они не понимают, снабжает их книгами для чтения и проверяет, читают ли они их. Хозяйка, когда стала передавать нам о том, как Петровский приходит ей на помощь решительно во всем,— не выдержала и закончила свой рассказ, обливаясь слезами. Она по бедности может лишь очень маленькое жалованье платить дворнику, который вследствие этого небрежно выполняет свои обязанности. И вот, когда необходимо, Петруша нарубит ей дров, даже помои вынесет, решительно ничем не брезгает.

— А когда мне делается совестно, что он работает, как чернорабочий, да еще бесплатно, он меня же еще бранит на чем свет.

Затем хозяйка выдвинула ящик его письменного стола и показала нам объявление, крупно написанное рукою Петровского на целом листе, которое он, когда уходит из дому, прикрепляет на видном месте, чтобы каждый, приходящий к нему, мог его прочесть. Объявление гласило: «Папиросы в столе, чай, сахар и булки в комоде, неимущие могут всем пользоваться беспрепятственно». И пользуются так,— говорила хозяйка,— что ему, бедненькому, часто самому не остается для другого дня. Вот потому-то она, по уходе его, когда знает, как теперь, что у него припасов осталось немного, а до получки денег еще далеко, потихоньку от него и прячет в стол его объявление.

Этот рассказ просто поразил меня. Я и представить себе не могла, что «Экзаменатор», бесцеремонно навязывающий свои знания, столь дерзко высказывающий в глаза всем нелестные мнения, эта бочка, точно порохом набитая идеями и фразами, которые он разбрасывал, не обращая внимания на то, как это подчас дико, комично и неприятно для других, мог быть такою прекрасною личностью. Но мне скоро пришлось убедиться в том же и относительно многих

других молодых людей обоего пола: несмотря на то что они, как и Петровский, выражали свои мысли и взгляды весьма фразисто, они, как и он, оказывались альтруистами, людьми, у которых слово не расходится с делом. Может быть, молодежь того времени потому так и склонна была к высокопарным выражениям, что с фразами из гражданского и общественного лексикона многие тогда только что познакомились. Как бы то ни было, но я на деле нередко убеждалась в том, что для многих высказываемое торжественно и искусственно было не голыми догматами катехизиса шестидесятых годов, а жизненными идеалами, всосавшимися в плоть и кровь, овладевшими их сердцами и всеми помыслами.

Глава XIX

РАЗДЕЛ СЕМЕЙНОГО ИМУЩЕСТВА

Положение членов моей семьи после крестьянской реформы.— Второй брак моей сестры.— Ее муж П. П. Лаговский

Прежде чем описывать мое пребывание в деревне, я должна сказать хотя несколько слов о судьбе членов моей семьи после уничтожения крепостного права, с которыми я познакомила читателей в первых очерках этой книги.

Года за два до окончания мною институтского курса моя мать переехала в Бухоново, имение своего брата, которым она управляла. Что же касается своего собственного поместья — Погорелое, то, поставив в нем хозяйство весьма разумно и добропорядочно, она в 1861 году поселила в нашем доме своего старшего сына, моего брата Андрея, который в это время был уже женат и оставил военную службу. Матушка не пожелала жить с молодыми, и, как только они переехали в Погорелое, она немедленно и навсегда переселилась в Бухоново, выстроив в нем для себя *хибарку* на скорую руку. Я так называю ее жилище потому, что его нельзя было считать ни домом, ни хатой: оно состояло из двух крестьянских изб, разделенных сенями, в углублении которых была устроена крошечная кухонька. В каждой из этих изб было по одной комнате, разделенной перегородкой, не доходящей до потолка. Таким образом, в доме было две комнаты или четыре клетушки. Для обстановки своего нового жилья матушка взяла из Погорелого все, что было там ненужного и поломанного и за негодностью свалено в сарай. Всю эту мебель она приказала

деревенскому плотнику скрепить и склеить, обставила ею свои новые четыре клетушки, и в такой убогой обстановке провела еще более четверти века до самой своей кончины. Она не только мирилась с этою обстановкою, но находила ее еще слишком хорошею для себя. В том, что она так убого устроилась на своем новом пепелище, когда имела полное нравственное право, даже без ущерба для семьи своего сына, обставить себя более комфортабельно, не только сказывалась ее привычка к простоте, но и врожденная гордость и некоторое тщеславие, которое, хотя она и скрывала, все же жило в ней. Оставшееся ей после смерти мужа жалкое, небольшое имение Погорелое, обремененное большими долгами, она превратила в благоустроенное поместье. Правда, она не увеличила размера его прикупкою новых земель, его величина оставалась приблизительно такою же, как была тогда, когда матушка принялась за хозяйство, но она более чем в два раза увеличила запашку, усилила производительность земли, запаслась надлежащим количеством скота, поддерживала необходимые сельскохозяйственные постройки,— одним словом, подняла ценность имения во много раз против прежнего. В тот момент, когда она поселила в этом имении своего женатого сына, оно вполне могло прокормить семью помещика, но, конечно, если бы только новый хозяин, как и матушка, продолжал отдавать хозяйству все свои силы и жил так же скромно, как и она.

Несмотря на то что, благодаря неусыпному труду матушки, хозяйство в Погорелом было доведено до прекрасного состояния, несмотря на закон, по которому она имела право получить из него свою вдовью часть, она отказалась от всего, ничего не взяла из его амбаров, наполненных зерном, ни со скотного двора, чтобы начать новое хозяйство в Бухонове. Она работала только для детей, и из нажитого ею для них она не хотела ничем пользоваться для себя лично. В Бухонове она продолжала работать так же неутомимо, как и в Погорелом, чтобы отблагодарить своего брата за его доверие и доброту к ней. Программа ее жизни в будущем состояла в том, чтобы и в Бухонове ничем не пользоваться в имении, а только скромно поддерживать им свое существование. Она имела в виду прежде всего увеличить ценность братниного имения и достигла этого вполне.

Однако редкое бескорыстие, справедливое отношение как к помещикам, так и к крестьянам, уменье беспристрастно улаживать ссоры и недоразумения соседей, когда те прибегали к ее содействию, что случалось весьма нередко

ввиду глубокого уважения, приобретенного ею, наконец, даже преклонение перед идеалами шестидесятых годов и искреннее сочувствие освобождению крестьян,— ничто не мешало ей, хотя и несравненно реже, чем прежде, все же проявлять иногда чисто крепостнический произвол по отношению к родным детям, несмотря на то что те уже выросли, а некоторые из них имели даже собственных детей. До конца своих дней сохранила матушка безумную любовь к своему первенцу, которая, когда дело касалось его интересов, заставляла ее быть весьма несправедливою к остальным своим детям.

Один почтенный человек, любимый всеми членами моей семьи, питавший к матушке глубочайшее уважение и прекрасно знавший, как та и другая черта ее характера подчас тяжело отзывались на нас, ее детях, обыкновенно говаривал нам:

— Ведь не будь этого, Александра Степановна по своей жизни и по своему достойному поведению могла бы считаться святою... Недаром она сама так часто повторяет: «Один бог без греха!»

Нужно заметить, что проявлению произвола ее родительской власти мы, ее дети, отчасти помогали сами, так как даже те из нас, которые, по обычному выражению матушки, «фордыбачили», то есть смело говорили ей в глаза то, что, по ее мнению, обязаны были оставлять про себя, все-таки исполняли почти все ее требования, если даже они шли вразрез с собственными нашими желаниями. Это, вероятно, можно объяснить тем, что, несмотря на наши современные взгляды, прежние навыки, из числа которых подчинение родительскому авторитету занимало первое место, были прочно привиты нам. К тому же у матушки, пока она окончательно не одряхлела, были на редкость сильный характер и твердая воля, и противиться ей мы были не в силах.

Одним из наиболее поразительных актов ее самоуправства и несправедливости по отношению к взрослым детям был раздел нашего достояния в конце 1861 года. Она решила разделить наше родовое имение не по закону, существующему в России, а по своему усмотрению.

Такое желание явилось у нее потому, что своему любимому сыну Андрею она желала передать в полную и неотъемлемую собственность все наше родовое достояние вместе с домом и со всею землею. При этом она не задумывалась даже над тем, что такими же законными наследниками родового имения, как старший ее сын Андрей,

оказывались и другой ее сын Захар, и нас три сестры, из которых я не была еще совершеннолетней, а во время этого раздела сидела на школьной скамейке. Моя старшая сестра Нюта только что разошлась навсегда с мужем по второму браку и осталась без всяких средств к жизни с невозвратно погибшим здоровьем; сестра же Саша жила в губернском городе Смоленске и существовала исключительно частными уроками.

По мнению матушки, ее сыну Заре не следовало вовсе являться сонаследником при разделе родового имущества, так как он владел имением, доставшимся ему по завещанию от дяди Макса. Но это имение, состоявшее из двухсот десятин чересполосной земли, представляло или болото, или значительные земельные участки, давно остававшиеся без обработки. Незадолго до раздела нашего родового имения матушка по просьбе Зари предлагала вновь поселившемуся в тех краях помещику, желавшему расширить свое владение, купить землю ее сына всего-навсего за 500 рублей, но он давал лишь половину,— и продажа не состоялась.

Итак, несмотря на то что матушка прекрасно знала ничтожную ценность Зариного наследства, она находила, что раз он владеет, хотя незначительным, имением, он не имеет уже нравственного права стремиться к получению своей законной части из родового поместья. Эту мысль, как и другие свои взгляды на право наследства, она впервые высказала во время оригинального дележа нашего родового имущества, произведенного ею непосредственно, без участия посторонних лиц, а тем более каких бы то ни было судейских властей.

Единственным наследником родового поместья, доказывала она, должен быть Андрюша и потому, что он уже живет в этом имении, которое она не желает дробить на части; наконец, он, Андрюша, один из всех ее детей женат, имеет собственную семью и может немедленно приняться за хозяйство, что было крайне необходимо. Заре ничего не нужно из Погорелого, убеждала она, так как он получил место с вполне достаточным для его потребностей вознаграждением.

Матушка совсем не принимала в расчет ни того, что Заря всегда мог жениться, ни того, что он был человеком крайне вспыльчивым, безукоризненно честным и принципиальным,— следовательно, легко мог потерять место.

По объяснению матушки, в деле раздела родового имущества она не желала поступать по писаным законам, потому что лучше всех законов в мире знает, кому из ее

детей что нужно. При этом она прибавляла, что глубоко убеждена в том, что ее дети дадут честное слово свято подчиниться ее воле, не откажутся и впоследствии, когда я, младшая в семье, приду в совершеннолетие, без взаимных споров и дрязг подписать надлежащие бумаги; она твердо верила в это, потому что «она ведь давала своим детям не рыночное воспитание, и они вышли людьми образованными». Так рассчитывала она и на том основании, что Погорелое создано ею из ничего, следовательно, это имение — ее собственность, плод ее трудов, а приобретенное своим трудом каждый может отдать кому пожелает.

Матушка правильно поняла характер своих детей: ни у кого из них не явилось и мысли оспаривать ее волю; хотя на этот раз она поступила с ужасающей несправедливостью и вызвала с их стороны кое-какие неприятные для себя возражения, тем не менее ее желание было свято выполнено.

Расскажу по порядку, как произошло это замечательное семейное событие; я в это время находилась еще в стенах института и узнала о нем от присутствовавших уже после того, как возвратилась в наш родовой дом.

Брат Заря нашел нужным со всеми подробностями ознакомить меня с тем, как происходило это дело, отчасти потому, что я все равно от кого-нибудь услышу о нем, оно могло дойти до меня в искаженном виде, и я могла получить неправильное понятие о роли как его, Зари, так и остальных членов нашей семьи при этом дележе. Но прежде всего он решился все рассказать мне для того, чтобы этот поступок матушки не заставил меня когда-нибудь осуждать ее за него.

— Правда, она поступила весьма несправедливо,— говорил Заря,— но у нас всех, ее детей, несравненно больше недостатков, чем у нее, к тому же мы не должны забывать, что она всю жизнь билась для нас как рыба об лед, и то, какие тяжкие лишения вынесла она, чтобы только поставить нас на ноги.

Чтобы как-нибудь невольно не пропустить чего-нибудь существенного при передаче мне этого дела, он просил Нюту присутствовать при его рассказе.

Мои братья и Саша (сестра Нюта жила в это время с матушкою) получили однажды письма от нее с просьбою приехать к ней к такому-то дню, с упоминанием, что она зовет их для переговоров о разделе нашего родового имущества; она не сообщала при этом никаких подробностей, хотя раньше об этом никому ничего не говорила.

Когда сестра Саша получила такое письмо, она немедленно отвечала, что приехать никак не может, так как это равносильно было бы потере всех уроков, к тому же она раз навсегда заявляет, что решительно ничего не желает получать из родового достояния: до сих пор кормилась своим трудом, так же надеется прокормить себя и в будущем. При этом она просит матушку распорядиться ее частью, как это она найдет наиболее справедливым. Это письмо матушка прочитала вслух, когда мой брат Андрей, сестра Нюта и Заря находились в сборе в назначенный ею день. Несмотря на то что Заря явился самолично, он, выслушав письмо Саши, вынул и передал матушке и свое собственное письмо к ней.

Получив от матушки приглашение явиться к ней, чтобы потолковать о разделе семейного имущества, Заря предполагал, что дела по службе не дозволят ему исполнить это требование, а потому и отвечал письмом, но затем, неожиданно для себя, получил возможность явиться лично. Следовательно, в ту минуту, когда Заря письменно высказывал матушке свой взгляд на раздел имения, он не знал еще, что устранен ею от наследства. И его письмо тоже матушка прочла вслух. В нем Заря не только отказывался от своей законной части в Погорелом в пользу трех своих сестер, но не желал получать даже арендную плату за землю, оставшуюся ему в наследство от дяди, и просил ежегодно передавать ее своей кормилице, семья которой жила тогда в страшной бедности.

Прочитав письмо Зари, матушка от волнения долго не могла произнести ни слова. Наконец она сказала:

— Да, вы пошли в отца! Он бы гордился вами!.. Но я не желаю, Заря, дать тебе право распоряжаться хотя бы и твоею законною частью. Я решила все имение передать Андрею — он больше всех вас нуждается в нем. А вам остальным никакого наследства не нужно: ты и Саша имеете прекрасные заработки, Нюта будет жить со мною, Лиза после окончания курса тоже может поселиться у меня или в семье Андрюши, а не захочет жить ни здесь, ни там,— пусть идет трудовою дорогой. Ясно, что имение нужно только Андрею. Тем не менее я поставлю ему в обязанность, чтобы он сестрам в продолжение трех лет выплатил две тысячи сто рублей, то есть дал бы каждой из них по семьсот рублей.

На это Заря возразил ей, что наши законы безобразны прежде всего потому, что обездоливают самых слабых, то

есть женщин, а львиную часть наследства отдают в руки мужчин.

— Вы же, маменька, обездоливаете ваших дочерей гораздо больше, чем это делает закон. Даже и при моем участии в наследстве, каждая из них по закону могла бы получить вдвое больше, если бы только их достояние перевести на деньги, а моя часть, разделенная между ними, могла бы удвоить их маленький капитал, вы же обязываете брата Андрея, который, согласно вашей воле, один получает все родовое имущество, выделить сестрам лишь по семьсот рублей каждой, да и то в продолжение трех лет.

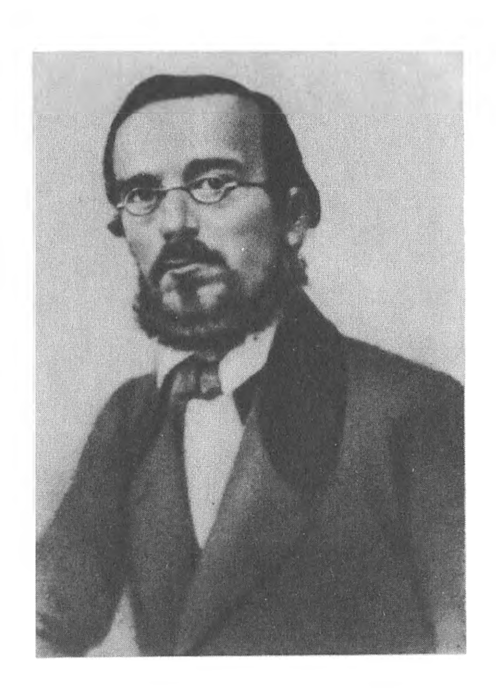
— Если ты недоволен моим решением, имеешь законное право не подчиняться ему. С помощью полиции ты можешь даже выгнать своего родного брата с семьею просто на улицу, так как он без твоего дозволения поселился в родительском доме.

— Я не заслужил от вас такого тяжкого оскорбления! Мне горько, что вы обижаете сестер, самовольно распоряжаетесь участью даже младшей сестры, еще несовершеннолетней. Вы, наконец, забываете и то, что вместе с вами над созданием Погорелого трудилась и сестра Саша, отдававшая в имение все свои трудовые гроши. Недаром же она преждевременно состарилась и уже теперь выглядит старухой; Нюта же работать не может и осталась без средств. Из моего письма вы узнали, что я не претендую на наследство, что я отказался от родового достояния, но за сестер мне очень обидно... Я нисколько не сомневаюсь в том, что вы сами пожалеете о вашем распоряжении, сами будете страдать из-за вашей несправедливости.

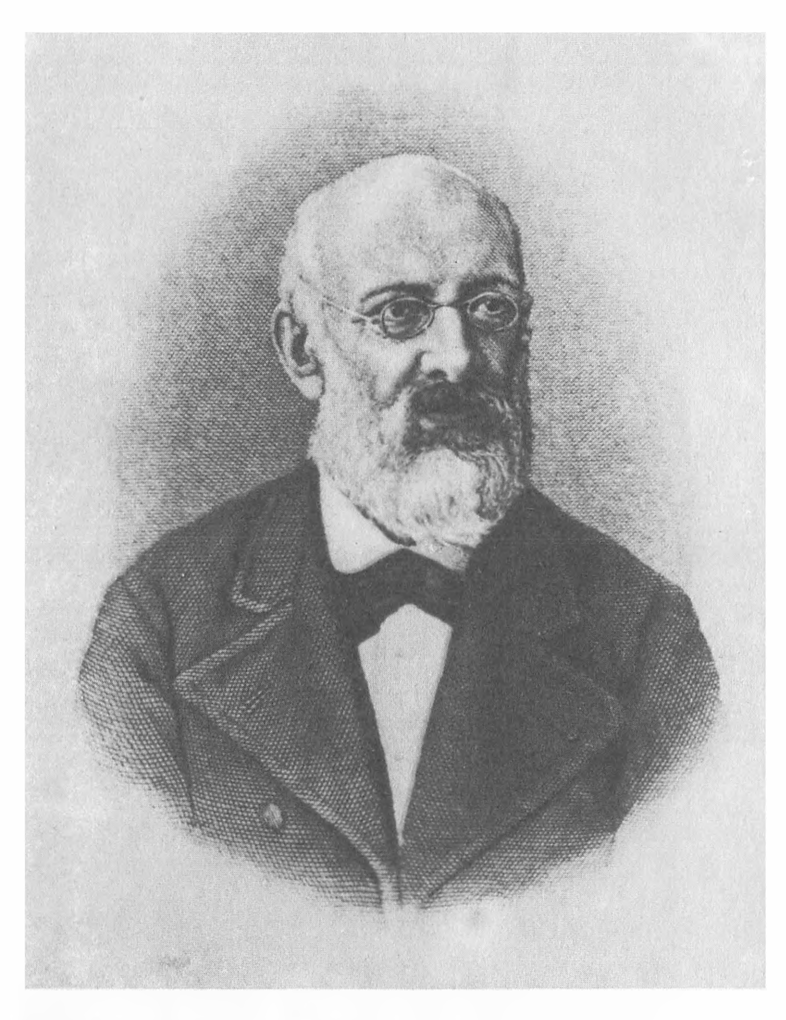
— Ну, господин проповедник, кончили вы вашу речь? Я тебе вот что скажу, милый друг: не страдай ты ни за меня, ни за сестер. Мне нужно знать только одно: желаешь ли ты подчиниться моему решению или нет?

— Должен сознаться, маменька,— мне стыдно и больно разыгрывать роль Пилата...[1] Извольте... подчиняюсь...— И Заря вышел и приказал закладывать лошадей. Однако должен был снова войти в комнату, где в ту минуту сидели матушка и Нюта. Хотя она тоже подчинилась требованию матери, но, издавна затаив злобу против нее за насильно навязанный ей брак, она всю свою последующую жизнь то и дело срывала сердце, разражаясь упреками по ее адресу, чему содействовали как ужасающие несчастия, продолжавшие преследовать ее, так и недостаток образования и ее крайне нервное состояние.

Н. И. Костомаров.
Литография П. Ф. Бореля.
1850-е гг.

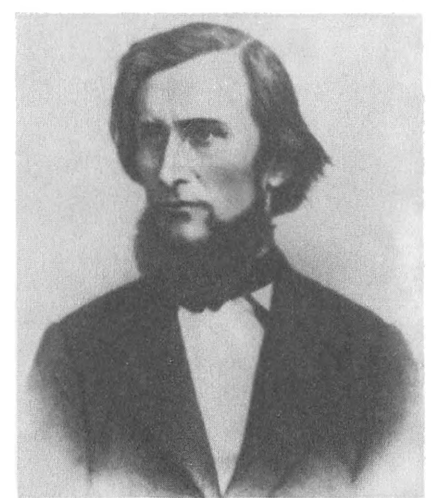


Смольный монастырь.
Фотография. Начало XX в.



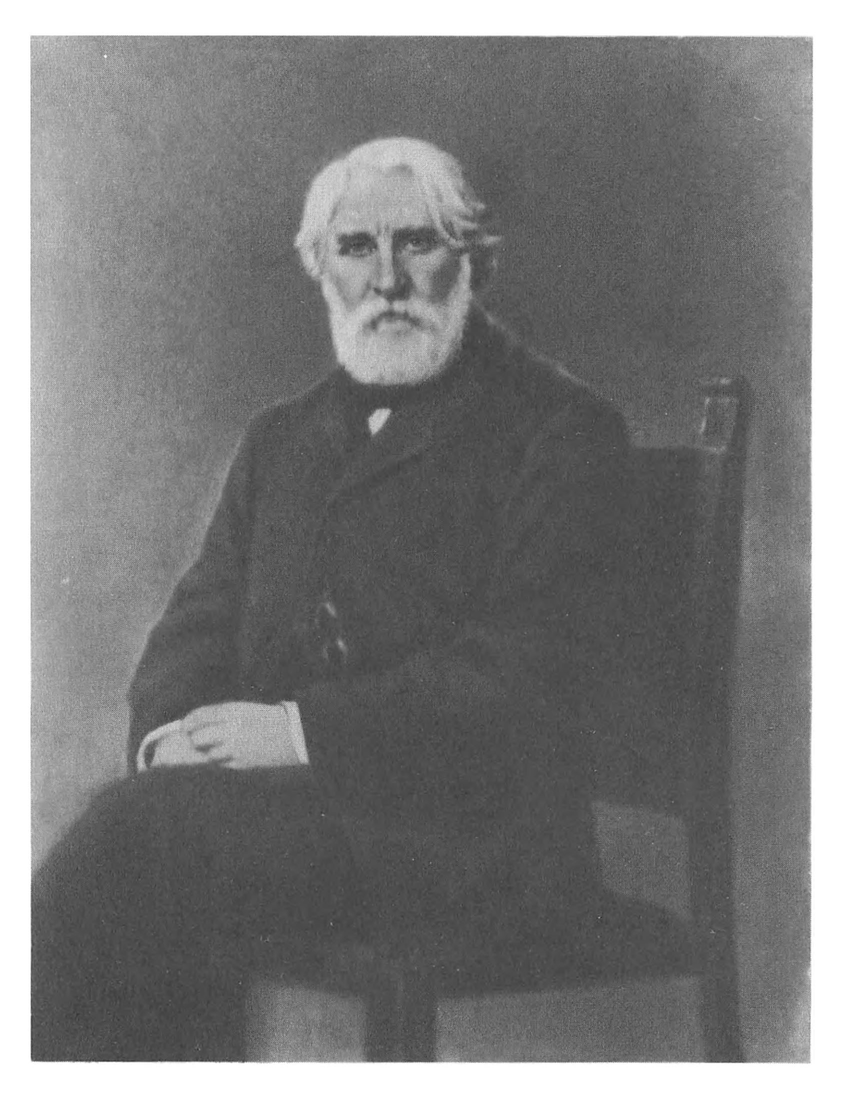
В. И. Водовозов.
Гравюра Ф. Меркина. 1886 г.

К. Д. Ушинский в группе преподавателей Смольного института (в первом ряду крайний справа). Фотография. 1860-е гг.

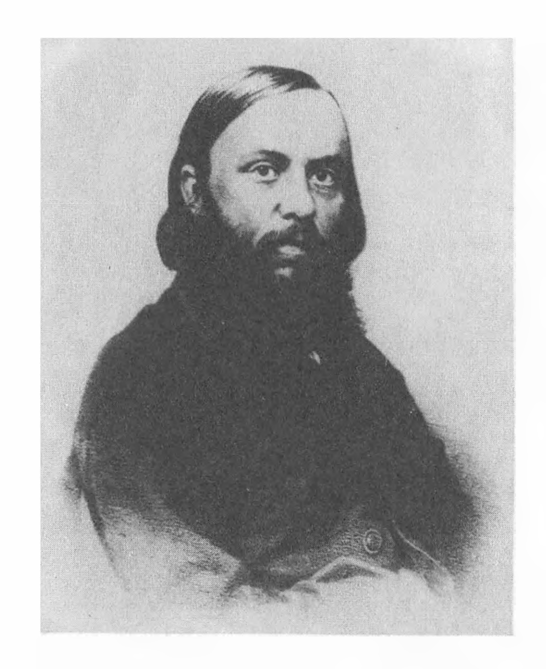


К. Д. Ушинский. Гравюра неизвестного художника. 1860-е гг.

Н. А. Некрасов.
Фотография С. Л. Левицкого. 1856 г.



И. С. Тургенев.
Фотография А. И. Шпаковского.
Петербург. 1865 г.



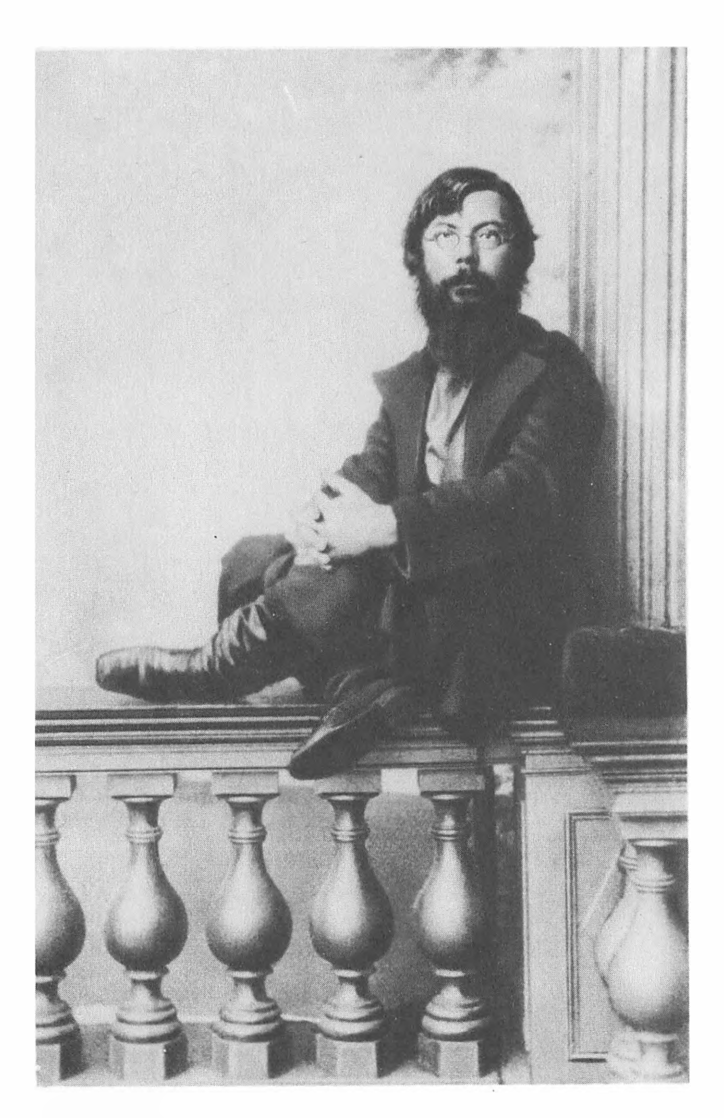
В. С. Курочкин.
Фотография. 1860-е гг.

Н. К. Михайловский.
Фотография. 1870 г.

ГОДЪ VI. САТИРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ СЪ КАРРИКАТУРАМИ. № 9.

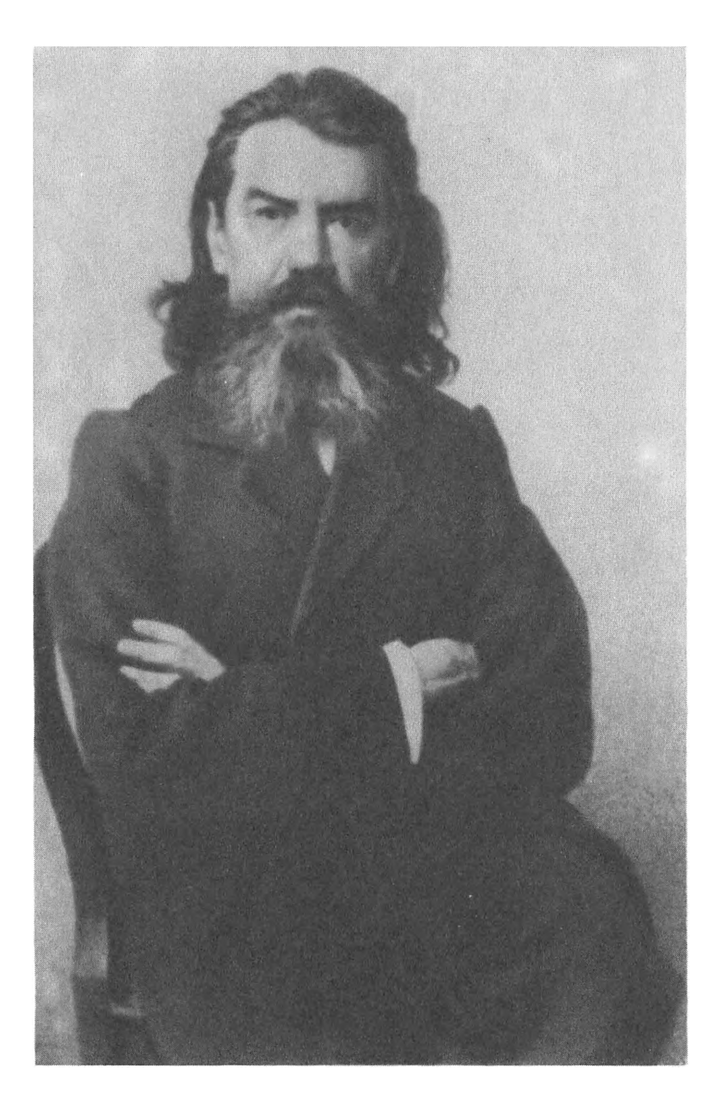
В. А. Слепцов в группе писателей-демократов
Слева направо стоят: П. И. Якушкин, П. Н. Рыбников,
В. А. Слепцов, Н. К. Отто, А. И. Левитов; сидят: Е. Южаков,
С. В. Максимов.
Карикатура неизвестного художника. «Искра», 1864, № 9.

Н. Г. Помяловский.
Фотография. 1860-е гг.



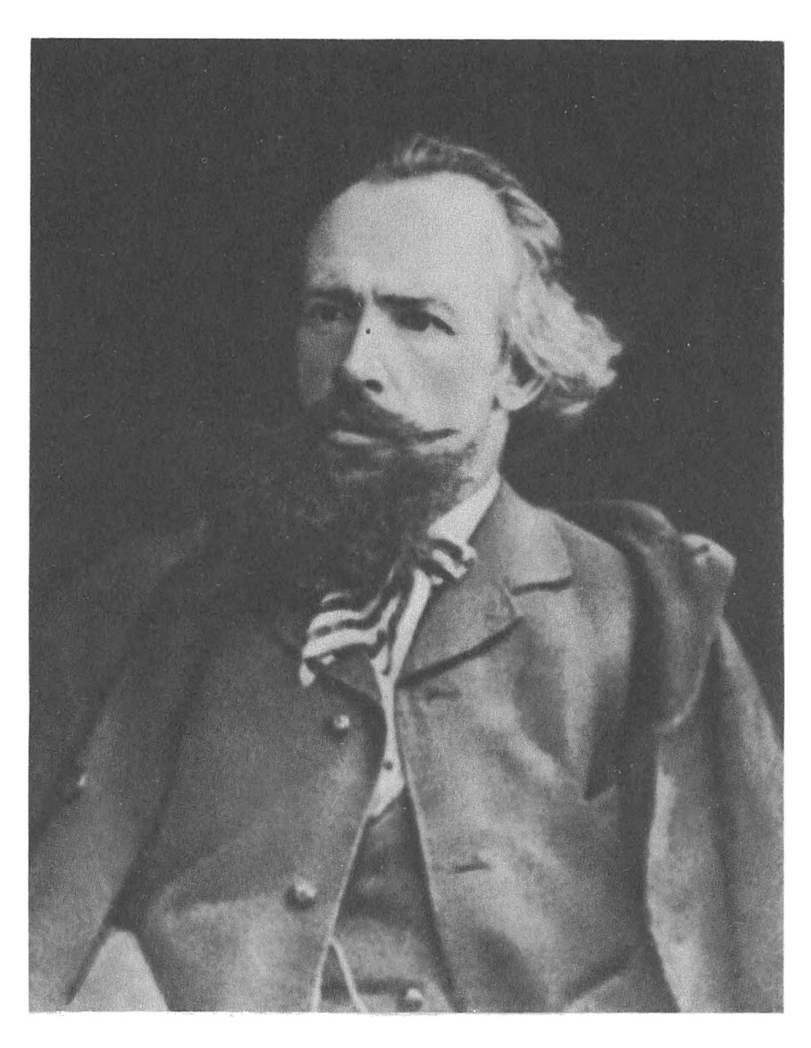
П. И. Якушкин.
Фотография. 1860-е гг.

Д. И. Писарев.
Фотография. Начало 1860-х гг.



Г. З. Елисеев.
Фотография. 1860-е гг.

П. Л. Лавров.
Фотография. 1865 г.



В. Р. Щиглев.

Н. Г. Чернышевский.
Фотография В. Я. Лауфферта. 1859 г.

В. А. Слепцов.
Фотография. 1860-е гг.

Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Фотография конца XIX в.

Дом Бекмана
на Знаменской улице
(теперь ул. Восстания,
№ 7), где помещалась
в 1863—1864 гг.
слепцовская коммуна.
Фотография. 1961 г.

«Вечеринка». Картина
В. Е. Маковского. Масло.
1875—1897 гг.

Когда Заря вошел в комнату, Нюта запальчиво выговаривала матери:

— Для своего любимчика вы готовы с остальных ваших детей снять последнюю рубашку! Вы для него всю жизнь обирали Сашу, отдавали ее, как простую батрачку, то на одно, то на другое место, иной раз для того только, чтобы выплачивать его карточные долги... Вы не стыдитесь распоряжаться даже состоянием вашей младшей дочери, которая не может ничего сказать и ничего еще не понимает в делах. Вы не стыдитесь...

Матушка перебила ее:

— Я все тебе прощаю: ты жалкое существо... ты мой крест!.. Ты мстишь мне за твой первый брак... я виновата, конечно... Но во второй раз ты вышла замуж по собственной воле, по страстной любви... И что же? Ведь, пожалуй, не лучше?

Но тут обе они так разрыдались, что выбежали из комнаты одна за другою.

После смерти сумасшедшего Савельева, первого мужа Нюты, она сделалась крайне болезненной и нервной. Прошло уже четыре года после его смерти, а она не поправлялась и по месяцам больная лежала в постели. В то время в Калуге жила наша кузина, известившая сестру, что в их городе недавно поселился новый доктор — Лаговский; он лечит чрезвычайно удачно, и сам по себе человек весьма образованный и симпатичный, приобрел большую практику и пользуется необыкновенною любовью своих пациентов. Кузина приглашала Нюту поселиться у нее и полечиться. Сестра воспользовалась ее приглашением: в деревне ей все опостылело, все напоминало несчастную жизнь с ненавистным мужем, и притом она вела с матушкою однообразную, тоскливую, уединенную жизнь. Матушка вся была поглощена хозяйством, а Нюта проводила весь день одна в большом пустом доме.

Лечение Лаговского действительно пошло очень успешно: сестра стала заметно поправляться. Не прошло и года, как доктор и пациентка влюбились друг в друга. Нюте в то время было года двадцать три, и хотя ее редкая красота была растрачена в первом браке, но она все-таки, как мне говорили, была тогда еще очень недурна. Нюта знала, что Лаговский пьет, но надеялась, что это пройдет с женитьбою, как он в этом клятвенно заверял ее, и согласилась быть его женою.

Петр Петрович Лаговский был незаконным сыном крепостной женщины и богача помещика. Первые годы

своего детства ребенок провел в поместье отца, как родной и любимый сын, окруженный роскошью и иностранными гувернантками и гувернерами. Мальчик проявил редкую склонность к легкому усвоению языков и отличался выдающимися способностями к учению. Когда ему исполнилось лет двенадцать, отец отправил его вместе с матерью в Москву с требованием, чтобы сын продолжал учение, а сам женился на богатой женщине и имел от нее нескольких детей. Несмотря на это, он постоянно посылал сыну и его матери средства для жизни. Юный Лаговский окончил не только среднее образование, но и медицинский факультет. В это время отец его умер, и все его состояние перешло в руки законных наследников. Но Петр Петрович немедленно начал самостоятельно зарабатывать средства к жизни.

Лаговский был человек выдающийся как в умственном, так и в нравственном отношениях: зная свое дело, он продолжал следить за всем, что появлялось нового в медицине; основательно знакомый с несколькими иностранными языками, чрезвычайно начитанный в литературе, он с увлечением бросался на все, что появлялось по этой части. При своей замечательной памяти, он без запинки мог декламировать десятки страниц подряд из классиков иностранных и русских, в стихах и прозе. Но самою характерною чертою его был страстный интерес к судьбе человека, кто бы он ни был: крестьянка, помещик, пастух, ребенок, взрослый, образованный или безграмотный, бедный или богатый; со всеми он вступал в длинные беседы, надолго запоминал каждого, справлялся о его положении при всяком удобном случае, чем поражал решительно всех. Бескорыстный, приходивший на помощь каждому нуждающемуся, живой, находчивый и интересный собеседник, Лаговский обладал даром побеждать сердца всех, с кем сталкивала его судьба.

Вследствие своей склонности к запою Лаговский не мог долго заживаться ни в одном городе. Но, куда бы судьба ни забросила его, он всюду быстро ориентировался, заводил множество знакомых, приобретал истинных друзей.

Мать его умерла, когда он был еще очень молодым; денег он совсем не ценил, не гнался за ними, а на свое пропитание всегда мог добыть себе, тем более что отличался самыми простыми вкусами. Он лечил каждого, кто подвертывался под руку, и не только не требовал вознаграждения, но, входя в дом к неимущим, прямо заявлял, что будет посещать больного лишь с условием, чтобы ему не платили, составлял для таких лекарства или покупал их на свои

средства, делался сиделкою там, где это требовалось по ходу болезни, имел поразительную способность вызывать на доверчивый, сердечный разговор, но более всего возился с такими пациентами, болезнь которых его интересовала как врача. Внимание к больным и его полное бескорыстие быстро сближали его с пациентами, которые обожали его, что помогало ему легко приобретать практику. В городе, куда он только что переезжал, ему обыкновенно удавалось некоторое время скрывать свой недуг: когда четыре-пять раз в году он овладевал им, кто-нибудь из приятелей увозил его за город, помещал в каком-нибудь уединенном месте и устраивал за ним уход во время болезни. Когда Лаговский поправлялся, он снова появлялся в обществе как ни в чем не бывало.

Вследствие этого моя сестра около двух лет не имела настоящего представления об ужасном недуге своего мужа. Она замечала, конечно, что он по временам начинал пить, но прежде, чем он доходил до умопомрачения, кто-нибудь из благоприятелей являлся к нему и под предлогом, что его зовет к себе больной за семьдесят — восемьдесят верст от города, увозил его куда-нибудь. Года через два после женитьбы Лаговский стал чаще подвергаться запою; приятели не успевали иногда предупредить безобразий, производимых им во время его недуга, и они во всей наготе обнаруживались перед его женою. Если Лаговский в такие периоды требовал водки и жена или прислуга старались его удержать от пьянства, он бросал в них всем, чем попало, лез на них с ножом, бил и ломал все, что попадалось под руки, кричал, пока домашние не разбегались. Его жена так страдала от этого, что однажды ужасающий нервный припадок потряс ее организм, и у нее сильно пострадали память и соображение. Скоро после этого нервные припадки сестры участились, она начала страдать жестокими головными болями и сделалась еще более слабою и хворою, чем была до второго брака. В конце концов Лаговский привез ее к матери. Он заявил ей, что не возьмет более к себе свою жену, так как вконец испортил ее без того слабое здоровье, а если она еще раз-другой сделается свидетельницею его безобразий, то ей угрожает удар или сумасшествие.

— Женившись, я поступил как подлец, и, оставляя ее у вас, поступаю не лучше,— добавил он.

Матушка нашла его объяснения наглыми и разразилась потоком бесцеремонных упреков. Он выслушал все молча и в свое оправдание сказал только, что когда он решил

6

жениться, то уверен был, что силою воли избавится от своего порока, но теперь пришел к убеждению, что запой — не порок, а тяжелая форма психического расстройства.

Расставаясь с женою, видимо, с ее согласия, он от времени до времени навещал ее и гостил в нашей семье по неделям. В конце концов не только со всеми членами моей семьи, но даже с матерью, он был в самых сердечных отношениях. Расстаться с женою, кроме тех причин, о которых он упомянул матушке, его, вероятно, заставляло предчувствие или сознание, что его болезнь примет в близком будущем характер еще более неудобный для семейной жизни. Действительно, вскоре еще один оригинальный признак говорил о приближении его болезни: начиная пить, до наступления умопомрачения, а может быть, и в самый этот момент, он в грубых и аляповатых стихах писал сатиры на городских властей и местных заправил, обличал их во взяточничестве и утеснениях или раскрывал какое-нибудь мошенничество в общественном деле, а чаще всего злоупотребления в городской больнице,— и эти листки с написанными на них стихотворениями, сочинением которых он никогда не занимался, когда был в нормальном состоянии, он со своими приятелями расклеивал ночью на заборах и зданиях. Автора сатиры скоро узнавали, и власти, очень часто обязанные ему спасением какого-нибудь близкого человека и потому не желавшие доводить дело до крупного скандала, приказывали ему немедленно выехать из города и нигде не показываться в губернии, в которой он только что проживал. После разлуки с женой он прожил лишь два года. Еще чаще переезжал из одной местности в другую, пока внезапно не умер на одной почтовой станции.

Глава XX

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОД РОДИТЕЛЬСКИЙ КРОВ

В первых числах мая (1862 год), более чем через полгода после своеобразного раздела нашего родового имущества, я должна была возвратиться в родное гнездо, то есть в село Погорелое, где я родилась и провела первые годы детства. Матушка оповестила своих детей о нашем приезде, умоляя их собраться к этому времени, чтобы хотя несколько дней провести всем вместе под родительским кровом.

Меня чрезвычайно радовало, что матушка так торжественно обставляла мое возвращение. О моем злополучном детстве я как-то совсем не вспоминала, а мысль, что я увижу всю семью, особенно обожаемую сестру Сашу и брата Зарю, к которому я успела привязаться во время его посещений меня в институте, заставляла сильно биться мое сердце.

Первая минута встречи была какая-то бестолковая: меня со всех сторон о чем-то спрашивали, я отвечала невпопад, сама задавала вопросы и, не вслушиваясь в ответы, бросалась в объятия то к одному, то к другому, не замечая лиц, меня окружающих,— слезы застилали мне глаза. Наконец прислуга объявила, что обед подан. Но мы все еще не расходились: матушка заговорила о чем-то, и я начала вглядываться в лица моих родных. «Что за безобразная старуха, морщинистая, с обвисшею кожею на щеках, с темными пятнами на лице, с черными кругами под глазами? Да это Нюта! Боже, какая старая и некрасивая, а ведь она славилась своею красотою, и она еще так молода. Как переменилась и Саша! И она уже утратила блеск молодости: грустные глаза освещали ее лицо, которое уже не было живым и подвижным, как прежде; глубокая морщина прорезывала ее лоб поперек. И она выглядит гораздо старше своих двадцати шести лет! Почему на ее лице написана такая безнадежная грусть! Ведь она добилась всего, о чем мечтала, пользуется, по словам матушки, безукоризненною репутацией, прославилась педагогическими способностями, всегда была поддержкою семьи! О, я буду упрекать ее за недостаток веры в жизнь и людей! Я вдохну в нее мою веру, я заражу ее ею!» Все эти мысли вихрем проносились в моей голове, и я вдруг выпалила неожиданно для себя самой:

— У меня столько планов, столько надежд на будущее! Наступила новая, совсем новая жизнь! Теперь, когда цепи рабства пали, каждый может сделать много для ближнего!

Дружный смех присутствующих был мне ответом, а Андрюша протянул баритоном:

— О, весна, о, юность, о, любовь!

— А ты порядочная фантазерка! — закричал Заря, обхватывая меня за талию, и начал вальсировать со мною. Все направились в столовую, но я выскользнула из рук брата и опрометью бросилась осматривать комнаты.

Обстановка осталась та же, какою она была и во времена моего детства. И вдруг я остановилась посреди зала и остолбенела. Передо мной точно кто-нибудь внезапно поднял

театральный занавес, и с подробностями до мелочей, одна за другой, появлялись картины забытого мною несчастного детства, сиротливого, одинокого, заброшенного, не согретого даже нежными чувствами родной матери! И тени прошлого, одна за другою, точно сбрасывая свои густые покрывала, явились передо мною в конкретных образах. Все, что было кругом меня,— мебель, каждая вещь обстановки,— напоминали мне об ужасах прошлого. Воспоминания нахлынули на меня сразу, ударяя по голове, точно молот по наковальне, и извлекая из нее, как огненные искры, целые сцены из моей прошлой жизни, как будто происходившие только вчера. Тут, как и прежде, стоял длинный низенький столик, заваленный теперь игрушками, за которым я занималась и к которому так часто привязывал меня сумасшедший Савельев, первый муж моей сестры, чтобы произвести надо мною дикую расправу. Диван — это тот самый, на котором дворовые обливали меня водою, полумертвую от страха их угроз! Вот и образ, перед которым я давала им клятву, что никому не проговорюсь об их воровстве. А это кресло? Как часто на нем сиживал Савельев, вынуждая меня делать доносы на жену и прислугу! И мне почудилось даже, что он и в эту минуту сидит в нем, повернул ко мне свое лицо, искаженное злобою, и я, как и в то время, бегу в коридор, чтобы избавиться от его зловещих, вечно бегающих глаз, и спасаюсь в детскую. Вот образ, перед которым по ночам я так горячо молилась, чтобы бог заставил мою мать, мою родную мать, любить меня, чтобы он послал смерть Савельеву. Деревянная кровать няни, почерневшая от старости, еще сохранилась. Как часто, когда ночью мне делалось страшно, я забиралась к ней под одеяло; на ней же иногда спала и Саша,— два существа, только эти два существа на земле, любившие меня и которым судьба так недолго дала возможность охранять мое несчастное детство. Я упала на колени перед этой дорогой для меня кроватью, рыдания душили меня. Но я в ту же минуту вздрогнула от громкого смеха в столовой, вскочила на ноги и, чтобы освежить пылающее от слез лицо, прошмыгнула в другую комнату, а затем выбежала на парадное крыльцо. Но и тут образы прошлого продолжали терзать меня: мне казалось, что по ступенькам крыльца подымается передо мной Савельев и протягивает ко мне свои костлявые руки. У меня закружилась голова, и я схватилась за перила, чтобы не упасть.

— Что с тобою, девочка? — участливо спрашивал Ан-

дрюша, поворачивая меня за плечи к двери.— Что? Вероятно, сувениры и супиры? * О, боже, даже в слезах!

Подошел и Заря, и оба брата подхватили меня под руки и под громкий зов остальных повлекли в столовую.

— Вот вам поэтическое создание, проливающее слезы над могилой воробья,— шутил Андрюша.

— Ну, расскажи, из-за чего ты всплакнула? — спрашивала ласково матушка.— Не правда ли, ведь приятно вспомнить детство?

Я ничего бы не ответила, если бы она не произнесла этой роковой фразы, которая вдруг вызвала во мне воспоминания всех моих злоключений, всех обид прошлого, а свое раздражение я не умела еще сдерживать.

— Как, мне? Мне приятно вспоминать детство? — вскричала я с горечью и болью.— Да тут каждая комната напоминает мне ужасы и зверские истязания, совершенные надо мною!

— Да ты просто с ума сошла! Тебя баловали больше нас всех! Но и нас никто никогда не подвергал истязаниям,— кричали с негодованием и возмущением все члены моей семьи. Только Нюта сидела молча, низко склонив голову над тарелкой.

— Да вы сами меня колотили вовсю, отчаянно драли за волосы во время уроков, просвещали по ночам, будили в четыре часа ночи! — резко говорила я, в упор глядя на мать.— Что же касается Савельева, то он и ремнем драл, и веревкой бил, и плеткой, пинал сапогами, осыпал градом колотушек, порол так, что оставлял на теле кровавые рубцы, ссадины, раны... Недаром же Нюте приходилось мыть меня в бане, чтобы скрыть от прислуги его истязания.

От изумления все смолкли на минуту, а затем со всех сторон раздались возгласы:

— Какой вздор! Разве можно было в то время производить все эти истязания так, чтобы ни матушка и никто из нас об этом не слыхал? А разве дворовые, которые ненавидели Савельева, стали бы молчать об этом? Нет, ты просто начиталась романов, слышала кое-что об ужасах крепостничества, тебе какая-нибудь дичь и померещилась... Это какая-то сплошная небылица!

Меня крайне раздражало, что никто не верит моим словам, и я еще с большим упорством и запальчивостью бросала отдельные фразы о том, как я пряталась от Савельева в крестьянских избах, на полатях, под тулупами, как

---

* воспоминания и вздохи (от *фр.* souvenir и soupir).

бросалась в грязные канавы, чтобы избежать встречи с ним. Но так как присутствующие продолжали поглядывать на меня с недоверием, я выпалила с раздражением и едким сарказмом: «Да! я испытала в детстве всю силу материнской любви и заботы!» Но и эта жестокая фраза не образумила меня: я все еще не поняла всего безобразия моих упреков, всей неуместности высказывать подобные вещи при первой встрече после многолетней разлуки.

— Однако, Нюта, ты, во всяком случае, должна лучше других понимать, есть ли хотя какой-нибудь смысл в ее бреде? — спрашивал Заря.

Нюта, не поднимая головы, едва слышно произнесла: «Она говорит правду...» — и начала рыдать, закрывая лицо носовым платком.

— Как, твой муженек действительно истязал ее? Ты была свидетельницей этих безобразий? — обратилась матушка к Нюте с лицом, пылающим гневом.— Ты никогда не отличалась умом, но ты честно относилась ко мне! Как же ты смела утаивать от меня все эти ужасы?

— Вот вы, вероятно, чтобы прибавить мне ума, и выдали меня насильно замуж за сумасшедшего! — Глаза Нюты были уже сухи, и она старалась влить в свои слова весь яд, накопившийся в ее душе, чтобы побольнее уколоть матушку за тот ад, который ей пришлось пережить с ненавистным мужем.— Хотя я вам ничего не говорила об истязаниях сестры моим супругом, которого вы навязали мне, но вы же раз ночью застали такую сцену, когда он стрелял в меня, видели кровоподтеки и ссадины на моем теле! Но, по своему обыкновению, скоро об этом забыли. Что вам дети! Для вас на первом месте было хозяйство, чтобы устроить его для своего любимчика! Почему же вы не подумали, почему сами не сообразили, что присутствие такого человека, как мой супруг, может только вредно отозваться на вашей младшей дочери? А мне было не с руки говорить вам о его безобразии! Вы прогнали бы его из вашего дома, а он потащил бы и меня за собой, и я осталась бы с глазу на глаз с этим извергом! Я, конечно, поступала дурно, но как же вы назовете ваш поступок относительно меня и ваши неусыпные материнские заботы о вашей маленькой дочери?

— Боже, боже! Как все это ужасно! Нюта, молчи, сейчас замолчи! — кричали ей братья.

Вдруг Саша подняла на меня глаза с выражением тяжелой муки и страдания.

— Ты говоришь — «цепи рабства пали»,— это верно. Но я не вижу, чтобы это сколько-нибудь смягчило твое

сердце! Ты, как и в дореформенных семьях, в пылу раздражения начала грубо упрекать свою родную мать, подняла всю эту муть прошлого... Ты научилась великолепным фразам, но не поняла их внутреннего смысла! Да, твое нравственное воспитание страдает большими дефектами! Переступив порог своего родного дома, ты начинаешь с того, что говоришь ужасные вещи.— И она встала, за нею поднялись и другие, кстати обед уже был окончен.

О, как я была пристыжена! Эту отповедь дала мне Саша, светлый образ которой я всю жизнь носила в моем сердце, как величайшую святыню. «Что я наделала? Как она должна презирать меня!» И, сгорая от стыда, я хотела в ту же минуту броситься перед ней на колени, умолять ее не думать обо мне очень дурно, поведать ей, какие чистые мечты и стремления наполняют мою душу. Я отправилась в нашу прежнюю детскую и застала Сашу сидящею на постели: склонив низко голову, она так задумалась, что не слыхала даже, как я открыла дверь. Я бросилась перед ней на колени, прижалась к ней, слезы лились из моих глаз, и я не могла произнести ни звука. А она, точно угадывая мои мысли, гладила меня по голове, говоря:

— Ну да... Я знаю, у тебя честные порывы, но, видишь ли... Как бы тебе это объяснить?.. Ты, может быть, и готова облагодетельствовать весь свет, открыть объятия всему человечеству, а человека ты забываешь...

— Право же, я не виновата... Все эти воспоминания нахлынули на меня как-то сразу, неожиданно... Посмотрела кругом, и мне внезапно представилось все прошлое... Раз это случилось, не могла же я фальшивить с матерью, улыбаться, говорить приятные для нее вещи!.. Да и к чему? Прежде много говорили елейных слов, а делали гадости...

— Сдерживать себя — не значит фальшивить!.. Деточка дорогая, только когда ты будешь любить, жалеть, бояться огорчить человека, кто бы он ни был, только этим пока ты и можешь приносить пользу ближнему. А ты не пожалела даже свою родную мать! Ведь все, что ты ей выкрикивала, безжалостно, жестоко, даже как-то непристойно...

— Ах, Шурочка, как можешь так рассуждать ты, именно ты? Ведь это все такая ветошь, ветхозаветные взгляды, рутина! Пристойно и непристойно, приличие и неприличие, все эти понятия и слова теперь никуда не годятся! Каждый обязан руководиться одною только правдой. Я вступаю в новую жизнь, хочу жить и говорить по-новому, без сантиментов, без светских прикрас.

Сестра смотрела на меня во все глаза, печально покачивая головою.

— В новых стремлениях и взглядах чрезвычайно много хорошего и честного. Но из того, что ты сейчас сказала, мне кажется, ты усвоила себе один только формальный, протокольный нигилизм, приняла его на веру, без критики и проверки!

В эту минуту нас позвали в столовую. Мы застали всех наших мирно беседующими между собой, точно ничего особенного не произошло. Ни в этот раз, ни позже никто не напоминал мне о моей гадкой выходке,— напротив, все с сердечным участием начали расспрашивать обо всем, что я пережила в последнее время.

На другой день Саша получила письмо от знакомой, которая извещала ее, чтобы она немедленно возвратилась в город, так как уже официально заявлено, что она получила место главной учительницы гимназии, в которой ей будет отведена квартира, но начальство требует, чтобы она явилась через два-три дня. Саша уехала на следующий день.

Глава XXI

ЗАХОЛУСТНЫЙ УГОЛОК ПОСЛЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ

У мирового посредника.— Оживление захолустного общества.— Взгляды помещиков на новшества.— Умирающая баба в роли свахи своего мужа.— Неприятное приключение со священником.— Разговоры в крестьянской избе о дарованной свободе

В Петербурге я слыхала немало рассказов о том, как родители недружелюбно смотрят на сближение их детей с простонародьем, но совсем иное отношение встретила я в моей семье. Когда я передавала матушке слышанное мною на вечеринках, устраиваемых молодежью, о необходимости опрощения и служения народу, об обязанности каждого просвещать его, о стремлении женщин к самостоятельности и образованию, равному с мужчинами, она просто приходила в восторг. Правда, ей казалось смешным, когда на девушку нападали за то, что она вместо черного платья надевала цветное, или когда она, якобы за неимением времени на прическу, обрезывала свою косу; вообще она, как старая женщина, не могла сочувствовать формальной стороне нигилистического учения, но все существенное в нем, его основа и главнейшие требования века сделались

в короткое время близкими ее душе, недаром же мы, ее взрослые дети, называли ее первою нигилисткою в России. Когда я передала матушке о том, что мне советуют сближаться с крестьянами, она удивилась даже, что мне приходилось это советовать. Она просто не понимала, как при жизни в деревне человек может изолировать себя, обособиться от ближайших своих соседей, то есть крестьян, как можно не чувствовать стремления быть им чем-нибудь полезным. Она твердо была убеждена в том, что, ввиду их темноты и бедноты, каждый грамотный и благожелательный человек может принести им много пользы. Она находила, что, если я буду держать себя как барышня, отстраняться от интересов крестьян, я никогда не узнаю их настоящего положения и пропаду от деревенской скуки.

— Это как-то и не по-человечески: жить и не знать, что подле тебя делают люди! Да и как же тогда вы, молодежь, будете применять ваши идеалы к практической жизни? Неужели все ограничится разговорами о любви к народу, о готовности ему помогать и просвещать его?

О преследованиях со стороны полиции за сближение с крестьянами [1] в наших краях тогда не было и речи, а тем более не могло этого быть относительно членов моей семьи: моя мать с ранней молодости жила в этом захолустье, с утра до вечера имела дела с крестьянами, мои сестры постоянно заходили в их избы. Матушка настаивала даже на том, чтобы я, когда в первый раз появлюсь в той или другой крестьянской семье, приходила с каким-нибудь маленьким подарком. И мы еще в Петербурге закупали с нею платки, ленты, кушаки, ярких цветов ситцы.

Согласно моему желанию, матушка оставила меня пока в Погорелом, которое привлекало меня многим: и тем, что я родилась и провела в нем годы моего детства, и тем, что я знала всех живших в этой местности. В этом имении к тому же жил мой брат Андрей, который был в то время мировым посредником [2]. Занимало меня и то, что к нему приходили соседи в гости и по делу, а также крестьяне, с которыми он почти ежедневно беседовал о разных делах, а когда возвращался домой из своих поездок по должности,— сообщал мне много новостей. Личность моего брата Андрея сама по себе меня очень интересовала. С подвижным умом, очень неглупый от природы, весьма видный и красивый, он, будучи в военной службе, отличался большою склонностью к щегольству, мотовству и светскому времяпрепровождению. Свои внешние преимущества и находчивость он употреблял на флирт с дамами, среди

которых имел большой успех. Но могучий поток идей шестидесятых годов до неузнаваемости изменил его. Он весь отдался серьезному чтению, а когда был выбран мировым посредником первого призыва [3], со страстным увлечением и с искренним интересом окунулся в новое для него дело. Когда я приехала в деревню и пожила в ней, брат произвел на меня впечатление серьезного общественного деятеля: он прилежно изучал законы, внимательно следил за всем, что могло ему выяснить и осветить его новые обязанности. Он пользовался таким доверием крестьян, что и впоследствии, когда оставил должность и проживал в своем поместье как частный человек, они приходили к нему даже из отдаленных деревень, упрашивая его быть то судьею в их споре, то вырешить им какое-нибудь недоразумение, то дать совет, то составить деловую бумагу.

Из разговоров мировых посредников, посещавших брата, нетрудно было понять, что некоторые из них старались толковать «Положение» по букве, а не по смыслу закона, и что это в большинстве случаев клонилось к выгоде помещиков, а брат мой смотрел на дворян и крестьян как на лиц равных перед законом, что вызывало к нему страшную вражду дворян.

Однажды к его крыльцу подъехал пожилой помещик В. Занятый делом, не терпящим отлагательства, брат просил меня выйти к посетителю, извиниться перед ним и сказать, что он не может принять его ранее получаса. Уже одно это вызвало неудовольствие помещика В., и он, несмотря на то что видел меня в первый раз, стал на чем свет поносить моего брата, все громче выкрикивал, что он делает все, чтобы унизить дворян, а несколько дней тому назад, по его словам, выкинул с ним такую штуку: вследствие одного недоразумения с крестьянами, которое может разрешить только мировой посредник, он, помещик В., письменно пригласил моего брата приехать к нему, а тот вместо этого осмелился вызвать его для разбирательства к себе и дал об этом знать крестьянам, с тем чтобы они явились к нему в то же самое время. Таким образом, разгневанный помещик обвинял моего брата в том, что он его, дворянина, равняет с крестьянами, вызывает как бы на очную ставку помещика с его бывшими крепостными.

Тут вышел мой брат и начал просить помещика пожалеть его и явиться к нему на другой день, когда соберутся и крестьяне: тогда его дело несравненно легче и нагляднее выяснится в присутствии двух сторон. Ведь иначе ему, как мировому посреднику, придется много раз приезжать в его

поместье и несколько раз созывать крестьянские сходы. Но помещик раздражался еще более такими доводами и говорил, что возмущен и поражен до глубины души тем, что мой брат, такой же дворянин, как и он сам, не понимает того, что, явившись на такое сборище, он, помещик В., унизит свое дворянское достоинство. Брат старался умаслить его, отпуская, по своему обыкновению, шутки и остроты, что мужики-де явятся к нему «как чернь непросвещенна» и будут стоять на дворе без шапок, а для него, помещика, будет приготовлено особое кресло на крыльце. Мой брат выставлял ему на вид и то, что его, помещика, никто не смешает с «сиволапыми»: у него и одежда не та, и повадка говорить барская, властная, но не мог ничем убедить посетителя, который, выведенный из себя, крикнул:

— Да поймите же вы наконец, несчастный человек, что дворянская честь не позволяет мне ставить себя на одну доску с моими рабами и крепостными! Как вам не стыдно не понимать этого? Ведь вы не только сами дворянин, но и бывший военный человек!

Тогда мой брат уже серьезно заметил ему:

— И вы постарайтесь понять, Николай Николаевич, что они более не рабы и не крепостные ваши, а лишь временнообязанные [4], и что закон дает мне право в случае подобных недоразумений призывать к себе сразу обе стороны.

Но тут разгневанный помещик разразился хохотом.

— Закон, закон! Вот уморили! Каждый знает, что все законы чиновники переделывают на свой лад! Если бы за это карали, то все они давно были бы разосланы по каторгам.

— Очень возможно, что наши чиновники привыкли нарушать законы, но я не чиновник, а мировой посредник.

— Вас должны убрать, и уберут! Мировой посредник, батюшка мой, поставлен правительством для того, чтобы охранять интересы как помещиков, так и крестьян. Помещики же нашей округи пришли к единодушному заключению, что вы заботитесь лишь об интересах крестьян, а наши помещичьи интересы ни в грош не ставите, умаляете и унижаете достоинство дворянина!.. Все ваше поведение сеет великую смуту в слабых умах крестьян. Понимаете ли вы, чем это пахнет? И вот-с помещики нашей округи решили в первую голову поставить в дворянском собрании вопрос о том, может ли обязанности мирового посредника исполнять человек, «красный» по своим убеждениям, просто-напросто какой-то фармазон! [5] Да-с, милостивый государь, мы до вас доберемся, будьте благонадежны!.. —

грозил раздосадованный помещик, садясь в свой экипаж и не подавая на прощанье руки ни хозяину дома, ни мне.

По словам брата, чрезвычайно было тяжело в то время надлежащим образом исполнять обязанности мирового посредника особенно по двум причинам: 1) в наших помещиках совсем не было воспитано ни малейшего уважения к законам: они давным-давно привыкли к тому, что их постоянно нарушали. Правда, они знали, что при нарушении закона им придется платиться, но они находили это в порядке вещей, говоря: «Пусть каждый берет то, что ему при сем полагается, лишь бы сделал мое дело», то есть совершил противозаконие. На того же, кто в этом отношении шел по иной дороге, они смотрели как на «выжигу», который не удовлетворяется обычной взяткой.

Мировых посредников первого призыва никак нельзя было заподозрить во взяточничестве, и тем из них, которые не нравились помещикам, они давали кличку «красный», «смутьян», аттестовали их как людей, опасных для правительства, подтачивающих в корне все устои русского государства. Некоторые помещики, однако, допускали, что по новым временам, может быть, и страшновато нарушать закон, но этот страх, и то у некоторых из них, явился в нашей местности лишь немедленно после объявления воли, а год-другой спустя они уже находили, что давать и брать взятки опять можно беспрепятственно и безнаказанно. Вследствие множества недоразумений, порождаемых Положением 19 февраля, постепенно начали выходить циркуляры и «разъяснения», мало-помалу ослаблявшие некоторые пункты этого закона [6]. Вот эти-то разъяснительные циркуляры и давали лазейку обходить закон, не неся за это никакой ответственности, следовательно, все больше и больше можно было делать уступок несправедливым требованиям помещиков. Однако в 1862 году в наших краях большинство мировых посредников первого призыва еще старалось быть верными духу закона и всеми силами защищать интересы крестьян.

Вторая причина, особенно тормозившая, по мнению моего брата, исполнение мировыми посредниками их обязанностей,— необыкновенная алчность помещиков. В то время редко какого помещика нашей местности можно было назвать хорошим сельским хозяином: почти никто из них не изучал серьезно хозяйства, и вели они его так же, как их деды и прадеды, по старым образцам. Даже запашку мало кто увеличивал, а некоторые оставляли без обработки

значительные пространства земли, и у каждого зря пропадали порядочной величины земельные полоски, зараставшие негодною травой или превращавшиеся в болота. При этом необходимо заметить, что земля в нашей местности в то время ценилась крайне дешево, и большие поместья продавались по баснословно дешевым ценам. Однако, несмотря на то что помещики не придавали никакой цены небольшим клочкам своей земли и то и дело оставляли их без обработки,— когда случалось, что в такой полоске нуждались крестьяне и просили помещика уступить им ее, он ни за что не соглашался, как бы это гибельно ни отозвалось на будущем хозяйстве крестьян.

Мировые посредники первого призыва, по крайней мере большинство из них, являлись в то время в деревнях и провинциальных городах «новыми людьми», поражавшими не только помещиков, но и крестьян. Последние долго не доверяли им, потому что большинство их было теми же дворянами, но скоро убедились, что эти дворяне — люди нового типа. Один знакомый крестьянин так характеризовал мне их:

— Взяток не берут, скулы не сворачивают, ни один даже матерно не поносит, а нас, темных людей, наставляют, как быть должно.

Конечно, и между мировыми посредниками первого призыва были и сквернословы, и драчуны, и настоящие баре, которые старались служить только своему брату помещику, но таких было меньшинство, большинство же честно и даже с превеликим увлечением исполняло свои обязанности. Крестьянам нравилось в их «посредственниках», как они их называли, и то, что те ничего общего не имеют с чиновниками даже в своей одежде: массивная бронзовая цепь с бляхой, сверкавшая на солнце, как золотая, вселяла в народе несравненно более доверия и уважения, чем кокарда на картузе чиновника.

Только что мы успели проводить одного посетителя, как на крыльцо поднялся другой: сутуловатый старик, по одежде представлявший что-то среднее между помещиком и крестьянином. Это был мелкопоместный Селезнев или, как его называли — «Селезень-вральман», рассказывавший на именинах помещиков о том, как он с царем селедку ел. Этот рассказ я слыхала еще в детстве, им развлекал он слушателей и в освободительную эпоху. В данную минуту он пришел просить брата разъяснить ему очень важный для него вопрос. Он владел всего двумя крепостными дворовыми и понял, что, когда пройдет двухлетний срок [7], они

оба отойдут от него и получат право распоряжаться своею судьбою по своему усмотрению.

— Нас, что называется, ограбили среди белого дня! — жаловался Селезнев.— А вот вы объясните мне, Андрей Николаевич, как же теперь будет насчет моих сынов? У меня, как вам известно, четыре незаконных сына, прижитых мною от моей крепостной. Я не настолько был глуп, чтобы поставить их на барскую ногу: с малолетства исполняли они у меня крестьянскую работу. Но хотя они и были крепостными, как и все остальные прочие, но ведь выходит вот что: они были со дня своего рождения крепостными моей крови, значит — вечными моими крепостными, так сказать, самим богом назначенными мне в вечные крепостные. Скажите-ка мне, как же теперь? Неужто царь их тоже отымет у меня? Неужто и ублюдкам дана будет воля?

Брат объяснил ему, что если бы они в метрическом свидетельстве значились его сыновьями, то они и теперь могли бы по его приказанию пахать и скородить [8] у него. Но так как они в метрике показаны рожденными от крепостной и числились, как и остальные, его крепостными, то судьба их будет такая же, как и всех крепостных дворовых в мелкопоместных имениях: по истечении двух лет он, Селезнев, может пользоваться их услугами лишь по взаимному с ними соглашению, то есть не иначе, как за плату, если они захотят у него служить.

Это объяснение привело старика в негодование.

— Значит,— говорил он,— царь хотел, чтобы я, столбовой дворянин, унизил свое дворянское достоинство, женившись на хамке, на своей холопке? Разве царю и такая воля дана, чтобы он распоряжался нашими родными детьми? Как же он может заставлять их служить родителям только за плату? Этого быть не может! Ни царь, ни псарь не могут указкой быть, как поступать мне с моею плотью и кровью.

Брат просит Селезнева, если он ему не верит, обратиться с этим вопросом к кому-нибудь другому, но тот чистосердечно признался, что двое мировых, у которых он уже побывал по этому поводу, совершенно так же объяснили ему это дело.

— А потому я и приехал к вам, как к моему мировому посреднику, заявить, что я отказываюсь повиноваться и царю и вам, исполняющему его несправедливые требования.— При этом он вынул из кармана присланную ему бумагу и с сердцем сунул ее в руки брата.— Вот извольте получить обратно: мне ее прислали для подписи, а я не

желаю ни подписывать, ни иметь дело с такими крамольниками, которые не признают ни божеских законов, ни законов естества.

Когда мой брат заехал к другому, уже не к мелкопоместному помещику, тот вынул уставную грамоту [9] и сказал:

— Подписывать не буду! не могу же я подтверждать своею подписью, что я радуюсь грабежу, учиненному надо мною среди бела дня. Так как такое приказание идет от самого царя, а жаловаться на него можно только богу, то я при вас и засовываю эту грамоту за икону. Уж пускай сам бог рассудит меня с царем на том свете.

Случались и отказы подписать уставную грамоту, сопровождаемые угрозами и неприятностями всякого рода, создававшими массу хлопот для мировых посредников. Но однажды такой отказ сопровожался в наших краях громким скандалом, который долго волновал наше захолустье.

В нескольких верстах от нашей деревни находилась усадьба, принадлежавшая трем сестрам, девицам Тончевым, прославившимся даже в суровое крепостническое время своею жестокостью к крестьянам (см. о них выше, глава IV). Вследствие этого у них ежегодно оказывались в «бегах» несколько крестьян, что постоянно уменьшало и без того небольшое число их подданных. Оставшиеся крестьяне мстили им напропалую: воровство и другие напасти не переводились в их хозяйстве, случались и поджоги, а однажды двух старших сестер крестьяне подвергли жестоким истязаниям. Когда манифест 19 февраля был обнародован, Тончевы разволновались до невероятности. Их невежество, алчность, бесчеловечное отношение к крестьянам — одним словом, все их обычные свойства проявились тут в совершенной степени.

В то время, когда всюду шли разговоры о новой реформе, три сестры разъезжали по помещикам и священникам, расспрашивая их о том, как им понимать новый манифест. Неужели и их крестьяне тоже сделаются свободными? Неужели и от них, законных помещиц и столбовых дворянок, отберут для тех же хамов часть их собственной земли? Всем в нашей округе было достаточно известно обостренное настроение чувств сестер Тончевых, и все местные дворяне старались избегать встречи с ними, но, когда это уже было немыслимо, к ним выходили без особенного удовольствия. Хотя некоторые помещики сами враждебно относились к крестьянской реформе, но сознавали, что, как бы они ни выражали сестрам свое неудовольствие, все-таки они останутся в их глазах без вины винова-

тыми и в конце концов нарвутся еще сами на дерзость уже за одно то, что решились принять эту реформу без сопротивления, протеста и скандала. Один из таких помещиков, чтобы избежать неприятностей со стороны сестер, старался всячески их вразумлять: он утешал их тем, что дворовые в течение двух лет останутся в их полном повиновении, а крестьяне будут сначала временнообязанными...

Но Эмилия, старшая из сестер, всегда вспыльчивая, а теперь дошедшая до невменяемости, уже кричала во все горло:

— Не временнообязанными будут передо мной мои хамы, а вечными моими рабами, понимаете, вечнообязанными?..

Вторая сестрица подпевала:

— Да-с! Они будут нашими рабами до гробовой доски!

Третья, опасаясь отстать от старших сестер, выкрикивала:

— Это нехорошо, что вы так говорите. Вы этим потакаете всем мерзавцам, а вы — дворянин! А вот мы, как прежде, что хотели, то и делали с крепостными, так будем распоряжаться и теперь... и никаких подписей давать не будем!.. Да!.. очень гадко, очень низко с вашей стороны!..

— Да вы просто какие-то бестолковые сороки! Я же тут при чем? Я так же, как и вы, страдаю от этой реформы! И не очень-то вы будете теперь делать все, что захочется! Пришли другие времена, и с вами не очень будут церемониться! Если вы добровольно не пойдете на требуемые уступки, никто не посмотрит на то, что вы дворянки...

Старшая, Эмилия, которую ее сестры считали необыкновенно умной и находчивой, запальчиво выкрикнула в лицо помещику:

— Значит, вы, смотря по времени, либо хам, либо дворянин! Да и то сказать: оборотнем быть вам на роду написано. Если бы вы были настоящим дворянином, то у вас кровь вскипела бы от этих манифестов и реформ! Вы не допустили бы такого безобразия с собою! Да что с вами толковать! Вы-то уверены, что вы настоящий дворянин, а я-то очень и очень в этом сомневаюсь: мне издавна была известна большая склонность вашей матушки к одному черномазому казачку: и глазищи-то у вас, и вихры — все в Мишку Беспалого... Откуда же взять вам дворянскую честь?

Но тут, как у нас всюду рассказывали в ту пору, поднялся невероятный скандал. Помещик схватил Эмилию за плечи, повернул и вытолкнул за дверь, а две младшие

сестры осыпали в эту минуту его самого градом колотушек. Весть об этом скандале, как раскаты грома, немедленно прокатилась по отдаленнейшим уголкам нашего захолустья.

Когда были назначены мировые посредники, Тончевы к этому времени так или иначе поняли, что им не отделаться от неизбежного, то есть не обойтись без уступки крестьянам части своих земель, но они, видимо, решили биться до последней капли крови, чтобы поменьше нести ущерба в своей земельной собственности. Где была только какая-нибудь возможность, они старались отводить под земельные наделы крестьян участки, самые негодные для хлебопашества. Крестьяне не соглашались получать их в надел, жаловались, указывая на причину своего отказа. Для разбирательства подобных пререканий моему брату то и дело приходилось ездить к ним: он упрашивал их, доказывал, уламывал, объяснял, почему они не имеют права поступать так, а они дерзили ему напропалую. Потеряв не только всякую сдержанность, но и элементарную женскую стыдливость и порядочность, Эмилия, а за ней и остальные сестры позволяли себе самые неприличные выходки. Брат прибегал к шуточкам и лести, на которую прежде сдавалась иногда Эмилия, особенно когда превозносили ее ум, но тут она без слов вдруг совала под нос своего мирового фигу,— дескать, на, выкуси! И остальные сестры торопились проделать тот же жест. Иной раз посредник бился изо всех сил, приезжал к ним по нескольку раз только для того, чтобы склонить к уступке крестьянам какого-нибудь ничтожнейшего клочка земли, указывая на то, что для них, Тончевых, эта полоска не имеет никакого значения, а крестьянское хозяйство пропадет без него.

— Вы, вероятно,— говорил мой брат,— решили разорить их штрафами за будущие потравы? [10]

Эмилия без всякого стеснения отвечала:

— Еще умником считается, а насилу-то догадался!

В конце концов полюбовное соглашение между Тончевыми и их крестьянами для составления уставных грамот оказалось немыслимым. Чтобы это выяснить, так сказать, официально, мой брат решил отправиться к ним с двумя другими мировыми посредниками той же губернии, о чем он за несколько дней известил как Тончевых, так и крестьян. И вот посредники подъезжают к дому трех сестер-помещиц, а на крыльце... Мировые посредники решительно недоумевают, что такое на крыльце? Вглядываются, и что же оказывается: все три сестрицы стоят в ряд, неподвижно

одна возле другой, а их платья, юбки, рубашки подняты вверх, и стоят они обнаженные до пояса.

В ту минуту, когда подъезжали мировые, звон их колокольчиков заслышали и крестьяне и толпою двинулись во двор, на который выходило крыльцо с тремя обнаженными фигурами сестер. Все были так поражены этим зрелищем, что никто не проронил ни звука, только один старик громко плюнул и выругался, и вся толпа сразу совершенно безмолвно и быстро двинулась прочь со двора, а мировые, не входя на крыльцо, повернули назад и уехали.

Однажды в воскресный день матушка просила меня отвезти сверток с гостинцами в семью Пахома, нашего прежнего крепостного, жившего в двух верстах от нашего дома. Пахом, еще молодой крестьянин, уже лет семь как был женат на Василисе, бывшей нашей дворовой, которая в это время лежала в злейшей чахотке. Знакомый доктор, приезжавший к нам в гости и посетивший больную, нашел ее положение совершенно безнадежным. Вот в эту-то семью я и отправилась в экипаже с братом, который по делу ехал по той же дороге за несколько верст дальше.

Когда я вошла в избу, хозяин, здоровый мужчина лет за тридцать, сидел за столом с двумя гостями-крестьянами, а три его девочки-погодки, лет шести, пяти и четырех, бегали тут же.

Большинство крестьян нашей местности в начале шестидесятых годов прошлого столетия были крайне бедны. Семья Пахома была тоже не из зажиточных, но сидела без хлеба реже других. Пахом, кроме хлебопашества, занимался отхожим промыслом и в качестве плотника нередко отправлялся в Москву, откуда к весне приносил домой несколько десятков рублей. Но в то время, о котором я говорю, дела семьи были крайне плохи: жена, на редкость работящая баба, простудилась, прохворала всю зиму, и хозяйство пришло в полное расстройство.

Пахом встретил меня очень радушно, благодарил за то, что я «не побрезговала ими, хоча и питерская, а не заспесивилась». Я поднялась на полати, чтобы поздороваться с Василисою, которая в теплый весенний день лежала под овчинным тулупом в страшной лихорадке. Когда я вручила ей от имени матери сверток с чаем, сахаром и другими скромными приношениями, на меня посыпались благословения и добрые пожелания находящихся в избе, а я, чтобы направить разговор на более для меня интересную тему, спрыгнула с полатей, села к столу и просила мужчин продолжать разговор, если только они имеют ко мне хотя

маленькое доверие. Но крестьяне переглядывались между собою и молчали. Тогда с полатей послышался беззвучный, надтреснутый голос больной. Ей, видимо, было чрезвычайно трудно говорить, и у нее при первых же звуках что-то захрипело и заклокотало в груди: она то кашляла и останавливалась, то пыталась говорить и пила воду из ковшика, который подавала ей старшая девочка. Наконец она заговорила, но некоторые слова ее вылетали с визгом, хрипом и с каким-то высвистом. Я разобрала только: «Чаво от барышни таиться? Пущай послухает...»

Пахом начал мне рассказывать, что когда на днях доктор объявил ему о том, что его жена не протянет и двух недель, он счел необходимым передать ей это, чтобы сообща «удумать, как приснировиться, когда она помрет, чтобы, значит, и за девчонками, и за скотиной, и за домашностью настоящий пригляд был, чтобы и избу было на кого оставить».

Я до невероятности смутилась тем, что все это говорилось в присутствии умирающей, и стала доказывать, что никому не известно, кто из нас умрет ранее других, и что такими разговорами не следует тревожить больную. Но в ту же минуту с полатей снова послышались звуки точно испорченного часового механизма: больная заворошилась, в груди ее опять что-то зашипело и заклокотало, она стала откашливаться и отплевываться и наконец скорее прошептала, чем проговорила:

— Не... помру, барышня! помру!.. пущай ён усё вам обскажет... Вы свое словечко за ребятенок моих замолвите... Ой... ой... продохнуть моченьки нетути! А энто дело... значит... наше семейственное таково мутит... душеньке моей спокой буде, ежели мы семейством порешим допреж, чем мне представиться.

Из дальнейших объяснений Пахома я поняла, что, когда он заявил жене о ее близкой кончине, оба они пришли к заключению, что ему необходимо жениться во что бы то ни стало, и притом как можно скорее после смерти Василисы, чтобы управиться с женитьбою к страде, то есть к наиболее срочным летним деревенским работам, иначе хозяйство с ребятами мал мала меньше погибнет без работницы, а нанимать ее не по карману. Но тут у них вышло разногласие: Пахом высказал желание жениться на Ксюше, здоровой восемнадцатилетней девушке из другой деревни, а Василиса требует, чтобы он женился на Дуньке-хромоножке.

— А зачем мне хромоножка, коли я мужик исправный и во всей силе,— значит, взять могу за себя настоящую,

здоровую девку, без порока. А разве с ей, с Василисой, столкуешь? Как уперлась на своем — бери хромоножку, и ни тпру ни ну. А ежели буде не по-ейному, грозится проклясть на том свете, и так себя эвтим изводит, так на меня серчает, того и гляди, чтоб чаво с ей до времени не приключилось. А я, чтоб худого ей, чтоб смертушку ей накликать раньше, значит, того, как предел ей положен,— ни боже мой, потому как она завсегда была женкой честной и первой работницей на селе... Разве можно?

Несчастная опять заворошилась, но на этот раз уже так разволновалась, что от жестокого приступа кашля не могла выговорить ни слова. Ей давали пить, и разговор был прерван на несколько минут. Когда я опять поднялась к ней на полати, она схватила мою руку, чтобы поцеловать, гладила по плечу своею высохшей дрожащей рукой, показывала глазами и жестами, чтобы я осталась. Я просила ее не беспокоить себя и обещала в подробности разузнать их семейное дело.

Пахом, между прочим, упомянул, что, по желанию Василисы и по ее выбору, он пригласил двух крестьян, тут присутствующих, для того, чтобы сообща и по совести порешить их «семейственное» дело. Крестьяне эти, как оказалось, вошли в избу только перед моим приходом. При этом Пахом прибавил, что дал жене слово перед образом поступить после ее смерти так, как будет здесь решено. Одного из присутствующих он назвал Антоном и охарактеризовал первым грамотеем на селе, человеком бывалым: «В разных городах живал — виды видал, а от крестьянской работы не отбился, одно слово — мужик правильный». Про другого, Петрока, сказал только: «Чтоб душою покривить — ни боже мой».

Антон был мужик лет за сорок, с сильною проседью в черных, курчавых волосах, с симпатичным и интеллигентным лицом. Я просила объяснить мне, что за девушка Дунька-хромоножка и что представляет из себя Ксюша, почему первую предпочитает Василиса, а вторую — ее муж.

Антон не сразу ответил, но внимательно посмотрел на меня и, точно что-то соображая несколько минут, начал говорить. Я старалась не прерывать никакими вопросами его неторопливую, степенную речь. Сравнительно с остальными крестьянами нашей местности он выражался лучше и правильнее, и лексикон его слов был обширнее; при этом у него попадалось меньше местных выражений.

— Дунька не по своей вине хромоножка, а от бога,

значит, от рожденья одна нога длиннее другой. Девка она не хворая, но,— от ноги ли то, али просто богу так угодно было,— только правда, что она не очень сильная: кули с зерном таскать ей не под силу, да и то сказать — не бабье это дело, а всякую бабью работу она сробит и проворнее, и лучше другой. Долюшка выпала ей горе-горькая: почитай, по восьмому годику осталась круглой сиротой, так и тогда куска никто ей не считал: кто зачем в избу к себе позовет, так она в одночасье приберет, подметет, перечистит все до последней плошки, и так, что любо-дорого смотреть. И говорить ей не надо: делай то, делай это, все сама знает,— сметкой большой бог наградил. Не было по суседству избы такой, чтобы она всех ребят не перенянчила, чтоб при болезни старым и малым не пособляла. Свора и злоба на деревне у нас большая идет промеж баб, но чтоб, значит, Дуньку кто чем укорил, так, кажись, этого не бывало. А сама-то она сызмальства прицепилась к Василисе, и так подружками они доселе остались. Девчонок Пахомовых она страсть как любит, точно родных своих ребят! Наймется к кому в работницы али на поденщину, и ежели не очень далеко от Пахомовой избы, так ввечеру к ним прибежит, все у них перечистит, ребят перемоет, рубашонки им перечинит. Ежели б не она, так за болезнь-то Василисы ихние девчонки вконец обовшивели бы. Как же Василисе Христом-богом не молить мужа, чтобы он за себя взял Дуньку-хромоножку?

— Перед смертным часом,— заговорил Петрок строгим голосом,— и бабий завет, да еще насчет детушек родимых, муж должон свято хранить! Родима-то матушка лучше знает, кто ейных ребят в обиду не даст.

— Не мачехой, а маткой родной будет девчонкам!..— подтвердил Антон.

— Чудаки! Ей-ей, чудаки! Я ж не перестарок какой! Чаво ж мне за себя старуху-то брать! — запальчиво выкрикнул Пахом.

Антон и Петрок напомнили ему, что Дунька — ровесница Василисы.

— А мне-то што из того? Хоча моложе ей буде! Перво-наперво хромоножка она, а с лица — што картошка печеная! — возражал Пахом запальчиво.

— Чаво зря язык чешешь? Честную девку порочишь, да еще сироту безродную! Такое тебе и болтать не пристало! — сердито крикнул на него Петрок.— Правду сказывай: «Как мальчишке безбородому, Ксюшка-де мне приглянулась!»

— Зенки-то Ксюшка не на одного тебя пялит! Пока в девках,— может, до конца себя соблюдет: больно батьки своего боится. А што там впереди буде,— только богу известно...

— Так-то так!.. Усе ж...— понуря голову, смущенно бормотал Пахом.

— Еще чаво? — уже со злостью накинулся на него Петрок.— Женка-то еще жива, на погост не время нести, а уж думки-то про баловство пошли! Ты не срамотину неси, а толком, при людях, последнее слово скажи.

Пахом с остервенением чесал затылок и долго молчал, наконец махнул рукой и упавшим голосом промолвил:

— Чаво мне Василису перед смертушкой обиждать? Греха на душу брать не хочу: супротивства ейного николи не видел! Как она, жалеючи ребят, просила, чтоб я, значит, взял за себя Дуньку, пущай так и буде. Пущай во сырой земле ейные косточки спокой найдут.

Но тут раздался звон колокольчика,— мой брат возвращался за мной. Я полезла на полати проститься с Василисой и была поражена выражением ее исхудалого лица: на провалившихся щеках пятнами играл яркий румянец, на тонких растрескавшихся губах блуждала улыбка, глубоко запавшие глаза сияли счастьем. Она весело и часто закивала мне головой и, по обыкновению бывших крепостных, начала ловить мою руку для поцелуя. Когда ей это не удалось, она сказала тихим, дрогнувшим голосом:

— Благослови вас бог, барышнечка!..

Чтобы не возвращаться снова к описанию семьи этого крестьянина, я кстати скажу, что после описанного события Василиса прожила лишь несколько дней. Пахом сдержал слово, данное ей при других, и через шесть недель после похорон первой жены женился на Дуньке-хромоножке.

Когда мы с братом возвращались домой и проезжали мимо небольшого лесочка, до нас явственно донеслись стоны и отрывочные слова, видимо исходившие от человека, который находился поблизости от дороги. Кучер остановил лошадей, и мы с братом вышли из экипажа. Не успели мы сделать и нескольких шагов в глубину леса, как увидали небольшую прогалинку, а посреди валялось что-то вроде огромного плаща, который точно шевелился. Когда мы подошли к предмету, привлекавшему наше внимание, брат вдруг разразился неистовым хохотом. Косматая голова с длинными волосами показалась из-под плаща. Брат от душившего его хохота не мог говорить, а я ничего не пони-

мала. Только нагнувшись, я увидала, что это был священник в рясе, лежавший лицом к земле и не имевший возможности встать на ноги: через оба рукава его рясы был продет длинный кол или шест. Ясно было, что продеть этот шест самому священнику не было ни нужды, ни возможности, и я приставала к брату с вопросом, что все это значит, но он продолжал хохотать. Когда он наконец сдержал приступ душившего его смеха, он громко позвал кучера. Пока тот привязывал вожжи к дереву и подходил к нам, мой брат сказал священнику:

— Преподобный отче, не можете ли объяснить моей сестренке, только, знаете, так, чтобы не совсем ее переконфузить, каким образом вы попали в такое положение?

Священник, распростертый на земле с колом, продетым через широкие рукава его рясы, мог только немного двигать головой. Он узнал брата и отвечал с негодованием и злобою:

— Ваша сестрица сконфузится не из-за меня, а за своего братца, когда она узнает, что его с позором протурят с должности... Всем известно, что вы развратили наших крестьян! Из-за вас они и вытворяют всякие безобразия!

В это время подошел кучер, и брат с его помощью начал поднимать священника, приговаривая:

— Вместо того чтобы поносить меня, вы бы объяснили сестре, за что вы, отче святой, попали в немилость к крестьянам.

Но вот наконец попа поставили на ноги, осторожно придерживая его с двух сторон. В эту минуту он имел вид распятого человека. Всклокоченная и запачканная борода, растрепанные, лохматые и длинные волосы, испачканное грязью лицо и глаза, сверкавшие злобой,— все показывало, что он не только без покорности и смирения выносит свое испытание, но готов растерзать каждого. Кучер, долго сдерживавший свой смех, расхохотался во все горло; его хохоту вторил и брат; наконец оба они начали вытягивать шест, стараясь делать это как можно осторожнее и легче, чтобы не расцарапать плечи попа и не разорвать его одежды. Как только его освободили от шеста, священник, не прекращая брани и упреков по адресу брата, схватил свой цветной носовой платок и начал вытирать им грязь с лица и рук и всей пятерней расчесывать волосы. Брат продолжал свои шуточки:

— Отче, отче, так-то вы благодарите вашего спасителя? Ведь без меня вы заночевали бы в лесу...

Но священник, как только несколько привел себя в порядок, так и пустился в путь.

Я просила кучера объяснить мне, что все это означает, и тот совершенно просто отвечал:

— Уж коли кол попу продели, значит, он больно охоч до баб. Видно, с поличным попался! Небось в суд жаловаться не пойдет, даже попадье своей не скажет!

Когда я впоследствии спрашивала крестьян, карают ли они по-прежнему своих священников за чересчур любезное отношение к бабам, они отвечали мне, что этого давно не случалось:

— Наши-то колы им сразу отбили охоту... Теперешние попы этим не займаются.

Хотя мне предсказывали, что я буду томиться однообразием жизни в деревне, но этого не случилось: жизнь в ней была несравненно более оживлена, чем прежде. К тому же, все казалось мне теперь значительным и интересным: и разговоры мировых посредников, которые то и дело приезжали к брату, и отношения помещиков к новой реформе, и их рассуждения по этому поводу,— одним словом, общественное движение проникло и сюда и всколыхнуло даже такую захолустную деревню, как наша.

Помещики посещали друг друга гораздо чаще, чем раньше; их разговоры и споры нередко принимали весьма оживленный характер. Много говорили они о предстоящем местном самоуправлении [11], о том, что скоро и у них среди низеньких деревенских изб будут возвышаться школы и больницы. За немногими исключениями, помещики (я говорю только о нашей местности) просто издевались над этими будущими нововведениями. Они доказывали, что такие затеи могли возникнуть лишь в головах кабинетных ученых, не знающих своего народа, что для того, чтобы заманить крестьянских ребят в школу, будущим земствам придется внести в свой бюджет солидную сумму на пряники, как приманку для ребят, а чтобы умаслить родителей отпускать своих детей в школу, правительству понадобится издать новый закон, по которому крестьяне получат право драть лыко в панском лесу, безвозмездно собирать грибы и ягоды, а в панских озерах и сажалках ловить рыбу. Без этих приманок, утверждали они, школы будут пустовать, так как крестьяне могут понимать лишь свою непосредственную выгоду, а не ту, которая обнаружится для них через несколько лет. Не будут крестьяне, по их мнению, посылать своих детей в школу и потому, что каждый ребенок школьного возраста уже исполняет какую-нибудь работу, необходимую в крестьянстве.

На именинах у нашего соседа собралось огромное

общество: я была свидетельницею, как оно высмеивало предполагаемое устройство лечебных пунктов. Помещиков поражало то, что там, в Петербурге, не знают даже того, что наши крестьяне испокон века привыкли лечиться у знахарей и шептух. Все они в один голос утверждали, что крестьяне не променяют их на настоящих докторов, приводили множество примеров того, какими ужасными средствами лечат деревенские знахари и как, несмотря на то что они то и дело отправляют своих пациентов на тот свет, это не уменьшает доверия к ним народа.

Собравшиеся гости были солидарны между собой во взглядах на лечение народа, только одна немолодая помещица внесла диссонанс в этот разговор, заявив, что они говорят против очевидности. Крестьяне, утверждала она, хотя и продолжают лечиться у знахарей, но в то же время из дальних деревень отправляются в те помещичьи усадьбы, где хозяйка или ее дочь занимаются лечением, а когда к кому-нибудь в деревню приезжает доктор из города, больные крестьяне буквально осаждают его. Она предсказывала, что, как только появятся земские врачи, от больных крестьян у них не будет отбою. Утверждала она это на том основании, что крестьяне наблюдательны и сообразительны от природы, быстро распознают, кто знает свое дело, кто нет, и помимо этого они вообще любят лечиться. То, что они теперь лечатся у знахарок,— еще ничего не значит, ведь и очень многие помещики прибегают к их же помощи, и не только из-за одного невежества и предрассудков. Посылать за доктором в город не всегда возможно даже для людей богатых, а когда близкий человек страдает, трудно оставаться в бездействии,— многие только из-за этого обращаются к знахарям.

Чтобы показать несостоятельность такого рассуждения, один из присутствующих рассказал следующее. Его сын, доктор, гостил у него летом. Как только он приехал в деревню, так и отправился по избам лечить крестьян. Одной бабе он прописал шпанскую мушку [12] на затылок и какую-то микстуру, на свои деньги послал купить лекарство, а когда ему его доставили, он опять посетил бабу, опять растолковал ей, что и как делать. Тем не менее шпанскую мушку баба проглотила, а тряпку вымочила в микстуре и привязала к затылку. Это заставило всех хохотать. Помещица, говорившая в защиту необходимости рационального лечения, оказалась посрамленною.

Года через четыре после этого, когда я опять приехала в ту же местность, в ней уже существовали две школы

и устроен был лечебный пункт и больничка. Все, что я увидела и узнала в то время относительно этих двух нововведений, убедило меня в том, как неосновательны были мнения о них помещиков, как мало знали они крестьян, среди которых прожили всю свою жизнь. Как только открывалась школа, ребят, желающих в ней учиться, и родителей, умоляющих принять в нее своего ребенка, оказывалось несравненно более, чем могли вместить ее стены. То же было и с лечением. Когда земские врачи явились на назначенные им лечебные пункты, к ним немедленно потянулся народ не десятками, а сотнями.

О чем бы ни разговаривали помещики между собою, как бы ни бранили они правительство за крестьянскую реформу, как бы ни осмеивали предстоящие новшества будущего самоуправления, какие бы первобытные взгляды ни высказывали они при этом, но очень важно было уже то, что они зашевелились, начали думать и рассуждать не только об опостылевшей всем обыденщине, но и об общественных явлениях. Таким образом, мертвая тишина и утомительное однообразие, царившие до тех пор в помещичьей среде нашего захолустья, сменились теперь большим оживлением.

Ко мне то и дело приезжала молодежь обоего пола, пока еще жившая в поместьях своих родителей. Они расспрашивали меня о взглядах петербургской молодежи на те или другие вопросы, брали книги для чтения, но за советами насчет своих недоразумений с родителями обращались не ко мне, а к моей матери.

Совершенно незаметно ни для себя, ни для других душою молодого кружка нашей местности сделалась не я, только что нашпигованная новыми идеями, а моя мать, в то время уже старая женщина. Когда крестьянская реформа совершилась, оба ее сына, тогда уже взрослые люди, увлеченные идеями освободительной эпохи, бросили военную службу: старший из них, Андрей, явился в качестве мирового посредника, а другой мой брат получил частное место в уездном городе поблизости от родного села. Оба они часто посещали матушку, выписывали все, что тогда выходило лучшего в литературе, и нередко сообща прочитывали многое. Матушка с жадностью набросилась на чтение; теперь у нее было для этого гораздо больше свободного времени, чем прежде: заботы и труды по родовому имению, поглощавшие всю ее жизнь, она передала своему сыну Андрею. И вот, отдавшись чтению, она начала впитывать в себя новые понятия.

Моя мать и в крепостническую эпоху придавала большое значение приобретению знаний, но тогда она смотрела на это с утилитарной точки зрения. «Больше будешь знать, больше будешь зарабатывать»,— говорила она своим детям. В лихорадочную эпоху нашего возрождения она уже рассуждала иначе: «Мы все совершали в своей жизни великие преступления, и не оттого, что были злыми и дурными, а чаще всего потому, что мы оказывались невежественными и неразвитыми умственно и нравственно». Как в начале ее деятельности, когда она мужественно принялась за работу, чтобы поднять свое расстроенное хозяйство, над нею многие подсмеивались за то, что она работает, как мужчина, и забывает свое дворянское происхождение, так некоторые подшучивали над нею и теперь. Но ее деловитость и честность, ее прямой и открытый характер, чуждый какой бы то ни было корысти и фальши, снискали ей в нашей местности всеобщее уважение молодежи. И теперь помещики сильно осуждали ее за высказываемые ею новые воззрения, но она приобрела много друзей среди их детей. Хорошо зная материальное положение и характеры помещиков, живших часто даже на далеком расстоянии от нашего поместья, ей удалось в ту пору удержать многих молодых девушек от тяжелых жизненных ошибок, иногда от ненужного разрыва с родителями; умела она многим указать и на деятельность, бывшую у них под руками в деревне. Однако немало было и таких, которым она советовала порвать с своими близкими и ехать учиться в Петербург,— родители таких детей делали матушке большие неприятности.

Однажды к нам приехала крестница матушки, Варя Никитская, девушка лет двадцати трех, среднего роста, с симпатичным выражением миловидного лица. Она была дочерью крайне бедного мелкопоместного дворянина, но с восьмилетнего возраста осталась круглою сиротою без всяких средств к жизни и была взята на воспитание своими дальними родственниками, богатыми помещиками.

Варя с ранней молодости выказала громадные хозяйственные способности, и, когда ей исполнилось пятнадцать — шестнадцать лет, на ее руки постепенно перешло не только огромное домашнее хозяйство со всеми маринованиями, солениями и варениями, но и управление и заведование женскою частью всего деревенского хозяйства. За свой напряженный и ответственный труд, не оставлявший ей свободной минуты, она не получала никакого вознаграждения: ее только содержали и одевали. И вот Никитская

задумала бросить деревню и уехать учиться в Петербург, но ее добрую, привязчивую натуру крайне смущала мысль уйти от людей, которых она считала своими благодетелями. Относительно этого она и приехала посоветоваться со своею крестною.

Матушка доказывала Варе, что ее добрые чувства к родственникам делают ей честь, но она не должна преувеличивать их благодеяния относительно себя. Конечно, ее обучили грамоте, и за это им большое спасибо,— другие помещики не позаботились бы и об этом, но они не дали ей образования, ничего не сделали для нее: хотя громадное хозяйство в продолжение семи лет лежит на ее плечах, они по-прежнему только кормят и одевают ее и не думают оплачивать ее тяжелый труд, и таким образом она уже давно с лихвою расплатилась за свое содержание с своими родственниками. Теперь, по словам матушки, Варя имеет полное нравственное право поступить так, как она сама того пожелает. Тем не менее она находила, что желание Вари ехать в Петербург немедленно — крайне легкомысленно. На что же она поедет, когда у нее нет ни копейки? На какие средства будет она там жить, когда у нее нет ни друзей, ни знакомых?

— На дорогу я достану — продам золотой браслет и сережки, которые мне подарили, а там найду какие-нибудь занятия... Ведь туда едут не только люди со средствами... Неужели я одна такая злосчастная, что не сумею пробиться?

Матушка убедила ее в том, что для нее немыслимо теперь бросить деревню: она не имеет никаких знаний для того, чтобы найти в Петербурге какой-либо заработок, ее сведения по сельскому хозяйству ни для кого там не требуются. Ей лучше всего поступить таким образом: она, ее крестная мать, берется уговорить ее родственников не пользоваться более ее трудом даром. Если они заартачатся, она пригрозит им, что сама найдет для своей крестницы какое-нибудь подходящее платное место в другом хозяйстве. Бралась матушка уломать ее родственников и относительно того, чтобы они, кроме жалованья, взяли ей еще помощницу,— тогда у нее будет свободное время для обучения крестьянских ребят, а также и для самообучения: она, ее крестная, берется снабжать ее книгами и журналами и объяснять ей все, чего она не поймет, а в затруднительных случаях обе будут обращаться к моим братьям. Года в два Варя скопит немного деньжонок, посредством чтения подвинется вперед в своем умственном развитии и может

отправиться в Петербург: тогда она будет в состоянии слушать лекции, которые там читают, а может быть, и найдет себе заработок.

Этот проект привел Варю в восторг, и она опасалась только того, что он не осуществится. И действительно, в другое время это было бы невозможно, но не то было тогда: помещики, напуганные крестьянскою реформою, а также предстоящими нововведениями и разрывом молодежи с родителями, о чем у нас только и ходили слухи, со страхом ожидали для себя еще чего-то более худшего. Родственники Вари, дорожа ею, как превосходною и честною хозяйкой, поняли, что матушка легко может найти для нее платное место в другой семье, и на все согласились, конечно предварительно изругав и молодую девушку, и ее покровительницу.

Меня очень интересовали рассуждения моего брата с крестьянами, когда они приходили к нему для выяснения своих недоразумений. Но первое время я мало что в них понимала. Хотя местный говор крестьян я знала с детства и, по приезде в деревню, легко вспомнила его, но их жалобы на помещиков, их недоразумения с ними, о которых они сообщали своему посреднику, мне были малодоступны. Для того чтобы это понимать, нужно было иметь ясное представление о помещичьих землях, о мирских переделах, о разверстании земель [13], необходимо было знать и пункты Положения 19 февраля, возбуждавшие иногда противоречивые толкования даже среди людей опытных. К тому же, крестьяне говорили все сразу, начинали обыкновенно свое объяснение с посредником таким гвалтом, что я иной раз ничего не могла разобрать в этом галдении; как от этого, так и от усиленного напряжения понять что-нибудь у меня сильно разболевалась голова, и я кончала тем, что уходила к себе, не дослушав до конца. Тем не менее мой брат сильно подсмеивался над моею упорною настойчивостью понять их новые деревенские дела и приписывал это «миссии», возложенной на меня молодежью. Он советовал мне лучше почаще посещать избы и вести разговоры с отдельными крестьянами. Я последовала его совету.

В домашнем быту прежде знакомых мне крестьян я нашла ничтожную перемену: вместо лучины у большинства из них избу вечером освещала пятнадцатикопеечная керосиновая лампочка, прибавилось число людей, носивших сапоги, а также количество семейств, у которых были самовары. Всем этим, однако, обзаводились крестьяне, которые, кроме сельского хозяйства, занимались и отхожи-

ми промыслами. Но особенно бросалось в глаза то, что сами крестьяне глядели теперь менее забитыми, казались более смелыми и самостоятельными; в сношениях с господами я заметила менее приниженности и угодливости. Правда, что и после освобождения некоторые из них подходили к господской ручке, зато в их приветствии слышалось менее рабских слов и вышла из употребления фраза, которую я так часто слышала в детстве в их разговорах со своими помещиками: «Вы — наши отцы-благодетели, а мы — ваши дети». Немало явилось и таких, особенно среди парней, которые не только не подходили к господской ручке, но не снимали даже шапки, проходили мимо помещика и его супруги, язвительно-насмешливо поглядывая на них, что крайне возмущало последних и служило даже предметом множества жалоб со стороны помещиков. Мировые посредники, чему я не раз была свидетельницею, уговаривали крестьян не раздражать господ такими пустяками, доказывая им, что те даже из-за этого зачастую не будут соглашаться на ту или другую необходимую для них уступку. Однако некоторые из парней не сдавались ни на какие увещания. Но те же крестьяне совсем иначе относились к помещикам, с которыми у них не было ни дрязг, ни тяжб, ни неприятных столкновений. Нужно заметить, что в то время явилось немало таких дворян, преимущественно среди их сыновей, которые начали держать себя чрезвычайно просто с крестьянами, заходили к ним в избы поболтать, давали им советы, как поступать в том или другом случае, писали им письма, деловые бумаги, а то и жалобы на помещиков. Более консервативные из них с ненавистью смотрели на молодое поколение из своей среды; их страшно злило даже то, что крестьяне подают их сыновьям руку, в то время как мимо них они демонстративно проходят с шапкою на голове.

Руку подавали крестьяне преуморительно: подойдут с протянутой рукой и сунут ее, как палку; при этом парни не могли понять, нужно или нет снимать шапку, когда подаешь руку.

— Как же это ты, Иван, руку мне подаешь, а шапку не снимаешь? — спросил однажды доктор крестьянина.

— А нешто вы снимаете шапку, когда встречаете нас? — смело отвечал ему тоже вопросом молодой крестьянин.

— Конечно, снимаю: прежде шапку сниму, а потом руку подаю.

— Ах ты, господи, вот и приметлив я, а в этом маленько

сплоховал! Так за то ж вы с нами тыкаетесь (на ты), а мы с вами выкаемся (на вы).

— Да, я к вам не обращаюсь на «вы», потому что вам тогда кажется, что я говорю со всеми, а не с одним.

Изба старика Кузьмы была от нашего дома верстах в десяти. Крестьянин этот был крепостным одного из наиболее зажиточных помещиков нашей местности. Молодухи двух старших сыновей старика приходили к нам иногда за лекарством для своих детей, а летом нанимались к нам на поденщину; младший же сын Кузьмы — Федька, еще не женатый парень лет двадцати, был в то время работником у моего брата. Матушка советовала мне познакомиться с ними и отзывалась об этой семье, как об одной из наиболее честных и порядочных в нашей местности, а о Кузьме говорила, как о человеке очень сообразительном, но крайне угрюмом, даже озлобленном.

Когда в один из воскресных дней я вошла в его избу, вся семья была налицо: и старики — родители, и двое женатых сыновей, Петрок и Тимофей, со своими женами и малолетними детьми, и Федька, пришедший к родителям в праздник «на побывку». Я застала всех членов семьи за самоваром; при этом на столе лежала связка баранок. Малышам давали по баранке и выгоняли на двор. Меня более всего поразил облик и вся фигура старика Кузьмы. Это был человек лет под шестьдесят, сухой как жердь, сутулый, с лицом, на котором выдавались скулы, обтянутые желтою кожей, совершенно лысый, но с очень густыми седыми бровями, торчавшими какими-то кустиками. Он сидел под образами, и глаза у него были опущены вниз даже тогда, когда он говорил: он точно разговаривал сам с собою, а когда изредка подымал голову, глаза его бегали, как у затравленного зверя.

Перед двумя из крестьян стоял чай в стаканах без блюдечек, и перед каждым из сидевших за столом лежало по крошечному кусочку сахару. Когда кто-нибудь допивал чай, хозяйка наливала следующим, так как в семье было всего два-три стакана и оловянная кружка. Чаепитие продолжалось долго и происходило только по праздникам или когда в доме были больной или гость. Лицо старухи хозяйки напоминало высушенную черносливину: так оно было черно, изборождено морщинами, и в нем чуть-чуть выдавался только нос. Я спросила ее, сколько у нее выходит чаю. Она начала пересчитывать по пальцам: на Покрова брали восьмушку, на Илью восьмушку и т. д. Я насчитала полфунта в год и удивилась ничтожному количеству чая,

выпиваемого при большой семье, даже если его употребляют только в праздники. Она отвечала мне, что гораздо чаще, чем чай, семья пьет сушеную землянику или малину, а при болезнях — липовый цвет.

На мои расспросы о воле Кузьма отвечал вопросом же:

— Кака така воля? Ты, барышня, из Питера, значит, поближе нас к царю стоишь, вот ты и растолкуй нам, какую нам царь волю дал. А мы, почитай, воли-то энтой и не видывали!

— Показаться-то воля показалась,— заметил его старший сын Петрок,— да мужик-то и разглядеть не успел, как она скрозь землю провалилась.

— Царь-то волю дал заправскую,— заговорил Федька,— читальщики о ту пору вычитывали нам не то, что попы, в манихфестах. Наши-то попы да паны подлинный царский манихфест скрыли, а заместо его другой подсунули, чтобы, значит, им получше, а нам похуже [14].

— Вы говорите, Федор, просто что-то несуразное,— возражала я.

— А вот, барышня, я сейчас расскажу, как от нас настоящую царскую волю прикрывали,— упрямо доказывал Федька.— Дело-то было на глазах как есть у всей деревни. О ту пору верст за сорок от нас старичок проявился поштенный, толковый мужик, большой грамотей. Чтобы, значит, задарма не тащиться ему к нам, мы по две гривны с семьи ему положили, а кому не под силу, лошадь и человека должон был дать, чтобы послать за им. В нашей семье бабы взялись пирогов ему напечь, а суседи — водки купить. Вот в воскресный-то денек, чуть забрезжился свет, наша подвода за им и выехала, а под вечер его к нам и доставили. Старичок-то хороший, как лунь седенький... Ну, мы его в одночасье в красный угол посадили, вместе с им выпили, закусили, все честь честью. Вечерок-то выдался погожий, мы и высыпали из избы, на завалинку старичка посадили, а кругом-то уся деревня вплотную кругом его сгрудилась, да и много чужих понашло. Старичок-то встал с завалинки, перекрестился, на все стороны низко поклонился, вынул бумагу из-за пазухи, да и зачал: «Православные, грит, ежели, значит, я облыжно хоть словечко прочту, гореть мне не сгореть в аду кромешном. Когда становой...»

— Упустил... не все его словечки обсказал! — вдруг выкрикнула одна из молодух.

— И то правда,— поправился парень и, видимо, начал

прилагать все старания, чтобы дословно передать все сказанное стариком: — «Чтоб, значит, язык мой в аду перелизал все сковороды раскаленные, чтобы змий жалом своим ядовитым всю утробу мне разворошил, чтоб душенька моя христианская не знала в аду спокоя до скончания века. Православные христиане, сказываю вам по всей правде, что бумага моя списана с подлинного царского указа-манихфеста: важнеющий енерал провозил ее на поштовых. Пока коней-то перепрягали, прилег он отдохнуть в Ведерках, что от нашего-то села без малого в верстах в двухстах буде, да и захрапел... Один грамотный паренек указ-манихфест скрал, а я в одночасье и списал с его. Как бумагу-то списали, так енералу опять за пазуху сунули. Будьте без сумления, православные, списал от слова до слова». Ну, и зачал он читать. Тут-то всего я не упомню, а выходило так, что усадебная земля, панские хоромы, скотный двор со всем скотом помещику отойдут, ну, а окромя эвтого,— усе наше: и хорошая, и дурная земля, и весь лес наши; наши и закрома с зерном, ведь мы их нашими горбами набили. А заместо эвтого, извольте радоваться, что вышло: отрезали такую земельку, что ежели в ей хоча половина годной для посева, так ты еще бога благодари.

На мой вопрос, куда девался старичок, Федька закончил так свой рассказ:

— Заночевал он у нас, а утрешком потащили его к становому и в телеге отправили в город, а куда девался оттудова, так и не слыхивали.

— Вестимо, кто нам правду откроет, так того паны да попы упрячут туды, куды Макар телят не гоняет,— на разные лады повторяли молодухи и их мужья.

— Если вы не верите ни попам, ни панам, то вам объясняют манифест ваши мировые. Вы же доверяете своим мировым,— ну, хотя бы моему брату? Неужели он вам врать будет?

— Врать-то не буде, не таковский, только и его поднадули,— заметил Петрок.— Разве паны и попы его одобряют? Не велика ему честь от их-то.

— Наш-то поп этот самый манихфест и подделал,— упрямо стоял на своем Федька.

— Да какая же выгода попу от этого? — допытывалась я.

Тогда со всех сторон и мужики и бабы начали выкрикивать:

— Наш-то поп — Ирод заправский!

— Разе трудно его подкупить?

— На деньгу-то ён зарится, как муха на мед... С живого и мертвого по сю пору дерет!..

— Ежели что ему поперечишь али в чем отказ дашь, так уж ён и на тебе, и на бабе твоей, и на ребятах твоих усё выместит!

Жена Петрока, расхаживая по избе, укачивала плакавшего ребенка; она подошла ко мне вплотную и быстро заговорила:

— Ты послухай, барышнечка: летось ён, значит, поп наш, звал к себе Петрока — мужа мойво, чтоб на помочь к нему навоз вывозить, а меня гряды окапывать, а Петрок-то и скажи: «Я, батька, приду и женку приведу, коли ты сам с сынами к нам на косовицу придешь»... Так ён-то, поп, мойму ребенку рот причастной ложкой разодрал, а суседка отказала ему сено грести, так ён ейному мальчику такое имечко при крещении дал, что усё село его досель просмеивает.

— Да разве возможно причастной ложкой рот разорвать?

— И, милая,— сразу затараторили, подходя ко мне, обе молодухи.— Наших-то делов ты знать не знаешь, ведать не ведаешь, вот и дивишься, а ты погляди: от струпьев и таперетка пятны остались.

— А я постом-то к исповеди пришла,— перебила ее другая молодуха,— так ён перво-наперво как гаркнет: «А пятак принесла?» — «Нетути, грю, батюшка, откелева же я тебе его возьму?» — «Денег нет, а грехи принесла? Неси, грит, моей попадье гарнец овса, тогда и грехи ко мне приноси».— «Как же, батюшка, грю, гарнец овса подороже пятака! Почто же ты с меня дороже, чем с других хочешь?» Так и прогнал от исповеди, так и не исповедовалась цельный год!

— По крайней мере, помещики не могут вас теперь истязать, как прежде, бить, надругаться над вами!..— старалась я указывать им на выгодные стороны новой реформы.

— Как было допреж, так осталось и ноне: и скулы выворачивают, и зубы пересчитывают...— утверждал старик Кузьма, не подымая глаз от стола.

— Но этого никто не имеет права с вами делать! Вы можете жаловаться мировому.

— Как жалобиться-то на пана? — возражал Петрок.— По нашим местам заработков, почитай, никаких нетути: чугунка далече, фабрика одна-одинешенька, да и та не близко, и народу в ней завсегда боле, чем надоть. И не

всякому сподручно хозяйство бросить... Вот и приходится путаться кругом свойво же пана: у его мужик наймается на косовицу, мосты чинить, лес рубить, бабы на жнитво да на огороды... Паны куда лютей стали супротив прежнего! Ежели ты таперича у пана робишь, ён ткнул тебя куда да как попало, либо палкой с медной головой, либо ногой, ажно дух займется!.. А ему што? Допреж иной разбирал: ежели, значит, искалечит, загубит человека, ему изъян, а ноне хошь ты пропадом пропади! А пожалобился на его, к примеру сказать, хоча своему посредственнику, и не найдешь ты работы во всей округе, кажинный пан буде тебя со двора, как собаку, гнать али потравами затравит [15], а ежели баба по грибы али за ягодами в лес пошла, да он встрелся,— вдрызг изобьет.

— Паны сказывают нам: таперича земля у вас своя, нас из-за вас разорили! А посмотрели б, какие доходы мы с земли получаем! Да ежели ты и негодную полоску получил, так ты и эту землицу, мужичок миленький, не только потом и кровью ороси, а без малого полста лет выкупай [16],— с горечью промолвил Тимофей, второй сын хозяина.

— Мужику,— заговорил старик Кузьма,— здесь, значит, на земле, николи не было управы и вовек не буде... Может, на том свете бог мужика с паном рассудит! Как допреж кажинную копейку, добытую хребтом да потом, отбирали, так и ноне тянут с тебя и на оброки, и за недоимки, и за выплату. Как допреж пороли до крови, и таперича тебе таковская же честь, а ежели народ не стерпит, забуянит, подымется уся деревня, так и таперича нагрянет военная команда, кого пристрелит, кого окалечит, кого как липку обдерет али такой срамотиной опорочит, что лучше б твои глазыньки на свет не глядели!.. И весь свой век проходишь ты как оплеванный.

Я была потрясена этим рассказом. Я не умела еще понять тогда, что даже такая грандиозная реформа, как крестьянская, не могла уничтожить всей неправды, вытравить всего ужаса бесправия и произвола, веками въедавшихся в нашу жизнь, не понимала и того, что, как бы зло нашей жизни ни было еще велико, но освобождение крестьян от крепостной зависимости, несмотря на все его дефекты, все же имело громаднейшее значение для всех классов русского общества и уже направило его на путь обновления. Только что слышанное так угнетало, так удручало меня, так подрезало крылья моих детских надежд и упований, что я тут же порешила две вещи: обо всем немедленно написать в Петербург моим новым юным

друзьям и более никогда не произносить фразы, которую так недавно еще я любила повторять: «Теперь, когда цепи рабства пали!..»

Глава XXII

СРЕДИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОЛОДЕЖИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ 1863 ГОД

Роман «Что делать?» и его влияние.— Устройство швейных мастерских на новых началах.— Две вечеринки с благотворительною целью.— Разрыв между старым и молодым поколением.— Фиктивные браки.— Женитьба на крестьянках.— Значение шестидесятых годов

После петербургских пожаров в мае 1862 года началась реакция. Но и такие репрессии, как частые аресты, заключение Чернышевского в крепость, закрытие воскресных школ, строгие преследования за сношения с Герценом, за распространение прокламаций и даже за простое хранение «Колокола», приостановка на восемь месяцев «Современника» и «Русского слова» [1], не могли подавить радикальных течений в русском обществе.

В 1863 году я окончательно переселилась в Петербург [2], имела много знакомых среди университетской и медицинской молодежи, среди писателей, учителей и интеллигенции вообще. Более чем скромные средства моей семьи не помешали нам назначить с сентября этого года еженедельные фиксы, которые быстро сделались чрезвычайно многолюдными. Это не было следствием уменья хозяев занимать гостей, чего в то время совсем не требовалось, как и других добродетелей по этой части: посетителей было много во всех домах, где только собирались в назначенные дни. То были времена совершенно особые. Как в предыдущем, так и в 1863 году жилось весело, оживленно, разнообразно, и не только людям с достатком: принимать у себя большое общество, участвовать на увеселительных пикниках и всевозможных экскурсиях стоило гроши, а у кого и их не было, это тоже не служило помехою для веселья вовсю.

По вторникам к нам являлось так много гостей, что большинству приходилось сидеть на подоконниках, сундуках, ящиках, на импровизированных сиденьях из дров. Это никого не смущало: во время спора, когда молодежь, нетерпеливо выслушивая какое-нибудь возражение, не могла спокойно усидеть на месте, дрова разъезжались в разные стороны и кто-нибудь грохался на пол. Смех, шутки, остро-

ты сыпались со всех сторон и лишь увеличивали оживление. Так, или приблизительно так, было почти всюду у моих знакомых: их квартиры так же, как и моя, не отличались хорошею обстановкою и даже элементарным комфортом отчасти потому, что их хозяева были люди молодые, еще не обеспечившие себя постоянным заработком, отчасти по принципу того времени жить как можно проще.

Несмотря, однако, на общественное оживление, реакция давала чувствовать себя на каждом шагу. Приходит, бывало, кто-нибудь и сообщает о новых арестах, ссылках, о кровавых усмирениях крестьянских движений [3] в различных местностях России, о жестокостях, происходящих в Польше при усмирении восстания, о новых правительственных репрессиях. Узнав множество подобных новостей, на одной из вечеринок рассуждали о том, какое движение произошло бы в России, как быстро умерило бы правительство свой произвол, если бы возможно было поднять мятеж среди огромного числа раскольников и сектантов [4]. Молодежи казалось, что те и другие в качестве оппозиционного элемента, весьма внушительного уже по своей численности, сумели бы дать почувствовать правительству, что во второй половине XIX века нельзя угнетать так безнаказанно. С этою мыслью соглашались все; при этом многие указывали на то, что для правительства было бы еще более чувствительно, если бы одновременно с раскольниками можно было поднять и все Поволжье [5]. Некоторые даже детски наивно утверждали, что осуществление такого плана не представит особенных затруднений, если бы только нашлось несколько очень умных голов, которые взялись бы организовать это дело.

Кстати замечу, что не только у молодежи, но и у зрелых образованных людей того времени существовала непоколебимая вера в чудотворную силу человеческого ума: все невзгоды и затруднения, экономические неурядицы, накопившиеся веками на нашей родине, как результат сложных и печальных исторических условий, казалось возможным быстро уничтожить, если только за лечение этих недугов взялись бы очень умные люди. Уму придавали всесильное, всеобъемлющее значение. Ложь, воровство, взяточничество и всевозможные пороки считали прежде всего последствием глупости и умственной неразвитости. Вполне умный человек, по понятиям весьма многих людей того времени, не будет притеснять слабого уже потому, что это не расчетливо, невыгодно для него самого: слабого он может сделать полезным даже для своих возвышенных целей. Подлецом

быть невыгодно: вполне умный человек бывает им разве в самых исключительных случаях. Подлец — прежде всего дурак. Иногда кто-нибудь возражал: «А Бэкон Веруламский [6], знаменитейший мыслитель и философ, оказался же простым взяточником...» — «Это было бог знает как давно!.. Что-нибудь подобное может случиться с одним из современных мыслителей разве в виде исключения, а исключения допускаются даже в грамматических правилах!» Чем более знаний приобретал человек, тем более нравственным авторитетом он пользовался. Истинно образованный человек, как думали тогда, обладал в то же время и чутко развитою совестью. Поступок, доказывавший благородство, добрую душу, сердечную деликатность, истинное сочувствие к ближнему, считали результатом ума, всесторонне развитых умственных способностей, сообразительности и правильно понятой личной выгоды. Чувство было не в авантаже, ему придавали ничтожное значение, а проявление его даже осмеивали: «Вот вы и рассиропились!» — эту фразу тогда нередко можно было слышать.

Когда осенью 1863 года из деревень и дач все снова съехались в свои насиженные петербургские гнезда, необыкновенное оживление в интеллигентных кружках сразу дало себя чувствовать. Кого только ни приходилось посещать в это время, всюду шли толки о романе Чернышевского «Что делать?». Хотя печатание его закончилось летом (1863 год) [7], но жившие вне столицы не успели еще его прочитать; зато теперь не могли наговориться о нем.

В настоящее время трудно представить себе, какое огромное влияние имел этот роман на своих современников. Его обсуждали не только в собраниях, специально для этого устраиваемых, но редкая вечеринка обходилась без споров и толков о тех или других вопросах, в нем затронутых.

Как после выхода в свет романа «Что делать?», так еще чаще впоследствии, критики и читатели указывали на большие его недостатки: на то, что действующие лица в нем являются людьми без заблуждений и увлечений, без ошибок и страстей. Жизнь их идет удивительно гладко, ровно, без потрясений и драм, без испытаний и соблазнов, без тяжких страданий: с их уст никогда не срываются проклятия судьбе, их сердца не разрываются от боли и муки, их души не омрачаются ненавистью, злобою, завистью, отчаянием. Это какие-то особенно трезвенные люди, удивительно уравновешенные и счастливые. Другие наиболее крупным недостатком романа считали то, что действующие лица зачастую находятся в противоречии с жизненною правдою,

что их отношения между собой грешат неестественностью, что тенденция сквозит почти во всех их разговорах, решениях, поступках, что, наконец, это произведение не роман в том смысле, как это принято понимать, а публицистический трактат, написанный на социально-общественную тему. Но еще чаще на этот роман сыпались обвинения за то, что он не отвечает художественным требованиям. В этих обвинениях хотя далеко не все, но кое-что было справедливо, что же касается последнего, то нужно помнить, что шестидесятые годы были эпохою отмирания эстетики: современники искали в нем не художественных красот, а указаний на то, как должен действовать и мыслить «новый человек».

Как бы ни были велики его недостатки, но в нем, несомненно, было и чрезвычайно много достоинств, иначе он не вызвал бы в русском обществе такого живого, такого напряженного, такого продолжительного внимания к себе. Несмотря на все его недочеты, он навсегда останется наиболее важным историческим памятником, в котором ярко отразились идеи и стремления эпохи шестидесятых годов, этой кратковременной весны нашей юной общественности.

Я вовсе не намерена заниматься оценкой этого произведения, но так как действующие лица, выведенные в нем, вызвали в обществе множество толков и подражаний, то я считаю необходимым указать на причины этого явления. Но я не буду касаться Рахметова, представляющего в романе героя, идеал «человека будущего», не собираюсь упоминать и о многом другом [8], подражания чему я не могла наблюдать в том кругу, среди которого вращалась.

Громадное влияние романа Чернышевского объясняется тем, что автор его, самый популярный и уважаемый писатель того времени, явился в нем истолкователем стремлений и надежд, овладевших умами и сердцами «новых людей», и отнесся к ним с глубочайшею симпатиею и сочувствием. В этом романе сосредоточены не только основные идеи современников, но затронуты наиболее важные вопросы, стоявшие тогда на очереди. Не менее ценно было и то, что автор романа укреплял в юных сердцах пламенную надежду на счастье: каждая строка красноречиво говорила о том, что оно возможно на земле, что оно достижимо даже для обыкновенных смертных, если только они отнесутся к нему не пассивно, а всеми силами ума и сердца будут работать для его завоевания, памятуя о том, что оно должно идти рука об руку со счастьем ближнего. В семейной жизни автор романа стоит за свободу любви, за идеаль-

но честные, откровенные, деликатно-чистые отношения между супругами. Вот эти-то идеи, высказываемые и подтверждаемые примерами действующих лиц, были особенно симпатичны молодежи. В снах Веры Павловны, центральной фигуры романа, автор проповедует социалистические идеалы, относительно которых тогда еще мало кто у нас был осведомлен; большая часть остальных идей была известна русскому обществу уже раньше появления в свет этого романа, но он дал возможность распространить их в несравненно большем кругу, заставил думать о них и, таким образом, расширил духовный горизонт читателей, осветил и укрепил их миросозерцание — одним словом, дал сильный толчок к умственной и нравственной эволюции русского общества. Многие сцены в нем, весьма живо и талантливо написанные, воспроизводят действительную жизнь того времени, и все литературные погрешности романа сильно сглаживаются тем, что автор сумел уловить в нем биение пульса людей шестидесятых годов с их повышенною температурою и дать наглядное представление о лихорадочном трепете жизни того времени. Идеи романа согревали юные сердца горячими демократическими чувствами, внушали пламенную любовь к ближнему, служили страстным призывом к возрождению и обновлению, пробуждали горячее стремление к общественной деятельности.

В основе деятельности людей шестидесятых годов лежало бескорыстное служение народу и вера в могущественное значение естествознания. Чернышевский не мог не подчеркнуть этих характерных черт своего времени: Лопухов и Кирсанов, действующие лица его романа, усердно занимаются естественными науками. Как оба они, так и Вера Павловна отличаются энергиею, необыкновенною работоспособностью и проникнуты стремлением облегчить жизнь трудящихся людей, создать для них отдых и развлечения более высшего порядка, чем те, которыми они пользовались, сделать их менее поддающимися эксплуатации.

Действующие лица романа, как и их современники, проникнуты непоколебимою, трогательною, наивною верою в то, что труд, приобретение знаний и забота о ближних произведут скоро, очень скоро полный переворот в нашей жизни.

Популярности романа много содействовало и то, что он представлял сплошной, победный, торжествующий гимн труду и трудящимся, труду, который еще недавно был уделом только раба. Автор романа придает громадное

значение трудящемуся человеку, кто бы он ни был, пробуждает высокое уважение к нему...

«Мы бедны,— говорится в песенке, которую напевает Вера Павловна,— но мы — рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться,— знание освободит нас; будем трудиться,— труд обогатит нас... Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других» [9].

Вера в плодотворность труда, хвала здоровым наслаждениям — лейтмотив романа. Читатели то и дело наталкиваются в нем на мысль, что злоба и горе не вечны, что навстречу трудящимся, угнетенным и оскорбленным быстро идет новая, светлая, чистая и радостная жизнь.

Символом веры людей того времени было расширение прав всех граждан без различия их социального положения, сближение с народом, распространение просвещения среди него, уничтожение гнета и предрассудков, смелое обличение неправды, эмансипация личности, презрение к старому укладу жизни, выражавшемуся в аристократизме, светскости, барстве, деспотизме и произволе во всех сферах жизни. Эти взгляды и стремления людей шестидесятых годов ярко отразились и в романе «Что делать?».

Трудно представить себе, с каким волнением читала его тогда интеллигенция, какую веру пробуждал он в пользу знания и науки, какую надежду подавал он тем, кто шел на завоевание счастья для себя и ближнего [10], как настойчиво звал он к общественной борьбе, какую блестящую победу сулил он каждому, кто отдавался ей!

Нравилось молодежи и то, что даже ее стремление к шумному веселью, эту черту тогдашних нравов, Чернышевский сердечно поощрял в своем романе, указывая, что после труда такой отдых крайне необходим для обновления моральных и физических сил.

«Если ты семидесятилетний старик, но попался сюда, изволь дурачиться вместе с другими; ведь здесь никто ни на кого не смотрит, у каждого одна мысль: побольше шуму, побольше движения, то есть побольше веселья каждому и всем» [11].

Успеху романа сильно содействовала и его демократическая основа: стремление людей шестидесятых годов к опрощению во всем укладе домашней жизни, в нравах и обычаях семейных и общественных на каждом шагу сказывается в нем: «заботы об излишнем, мысли о ненужном непригодны...» [12] или: «где праздность, там гнусность; где роскошь, там гнусность» [13]. Действующие лица рома-

на — по происхождению разночинцы и всему обязаны собственным силам. Это опять-таки соответствовало взглядам того времени. Они выражались тогда порою очень наивно: тот, кто принадлежал к привилегированному классу, старался скрывать это, а вышедший из народа при первой возможности выставлял на вид свое происхождение. С какою гордостью рассказывал в то время молодой человек о том, что его отец до сих пор пашет землю, а мать в три погибели гнется над жнитвом!

Популярности романа помогало и то, что автор писал его в каземате Петропавловской крепости [14]. Вдумываясь с благоговением в каждое слово высокочтимого автора, наши сердца обливались кровью при мысли, что лучший и умнейший из людей нашего времени, считавшийся истинным вождем молодого поколения, томится в тюрьме.

Роман «Что делать?» ярко отразил своеобразную мораль и психологию людей шестидесятых годов, его действующие лица в своих взглядах и поступках придерживаются принципа рационального эгоизма, под чем подразумевалась тогда честно понятая выгода. Иллюстрации и объяснения этого принципа разбросаны по всему произведению. Они таковы: человек не обманывает, не ворует, не совершает других подлостей прежде всего потому, что это противно его натуре и вредно его ближним. Нанося вред ближнему,— вредишь и себе, так как интересы обеих сторон тесно связаны. Таким образом, человек не совершает дурных поступков прежде всего из эгоистической честности,— следовательно, из личного расчета. Самые великодушные, благородные, самые возвышенные поступки действующие лица «Что делать?» объясняют собственною выгодою, собственным расчетом. «Приносить жертвы...— говорит одно из действующих лиц романа,— их не бывает, никто не приносит; это — фальшивое понятие: жертва — сапоги всмятку. Как приятнее, так и поступаешь...» [15]

Таким образом, действующие лица романа являются «эгоистами», но понимай под этим — альтруистами высшей пробы. Стремление всякими натяжками логически выводить все возвышеннейшие побуждения из «личной выгоды», так широко истолкованной, имело, между прочим, одно очень важное моральное последствие: представить самое возвышенное, самое благородное поведение не каким-то заслуживающим изумления и похвал геройством, а чем-то естественным, простым, само собою подразумевающимся, видеть в нем не какую-то особенную заслугу, а необходимый результат неотъемлемых качеств ума и сер-

дца каждого вполне порядочного человека. Но, конечно, формулировка такой благороднейшей теории была крайне искусственной [16], совершенно парадоксальной и вносила немалую путаницу в понятие об эгоизме и альтруизме. Однако этою своеобразною моралью «честного эгоизма», или, точнее сказать, альтруизма, очень многие были тогда сильно проникнуты, и Писарев так выразил это настроение: «Люди мыслящие, просвещенные, чуждые предрассудков, руководясь единственно велением своего эгоизма, непременно придут к общему благу» [17]. Выражения вроде «правильно понятая выгода», «разумный эгоизм», то и дело срывались с уст людей того времени.

Молодой человек Б. дарит наследственную землю крестьянам, а сам продолжает жить как настоящий пролетарий. Когда он приехал в деревню, чтобы покончить с формальностями по передаче своего имущества крестьянам, его посетил интеллигентный человек, случайно попавший в те же края, и выразил ему свое удивление и восторг по поводу его великодушнейшего дара крестьянам. Б. изумили эти восторги, и он совершенно искренно уверял, что сделал это исключительно из эгоизма.

— Когда я в прошлом году приезжал сюда, я встретил такую ужасающую нищету крестьян, таких заморенных детей, что они просто не давали мне спать по ночам. Но тогда не я владел этим имением... Теперь же, когда я развязался со своею землею и наши бывшие крестьяне получат сравнительно с другими более значительный надел, меня оставили в покое картины ужасной нищеты в моей родной деревне.

Эмансипация личности была лозунгом, краеугольным камнем учения эпохи шестидесятых годов, и автор «Что делать?» не мог не отвести в своем романе видного места этому вопросу. Борьба за освобождение личности более всего развивается в романе на почве семейных отношений: цензурные условия были тогда таковы, что автору, вероятно, волей-неволей пришлось ограничиться лишь семейною сферой, и он значительное место отводит женщине, как существу, наиболее угнетаемому родительскою и супружескою властью. Он, между прочим, указывает и на то, что у нас мало уважается неприкосновенность внутренней жизни. Каждый член семьи, особенно старшие, без церемонии суют лапы в интимную жизнь ближнего. Между тем каждый должен «заботиться о том, чтобы в его внутренней жизни был уголок, куда никто не залезал бы» [18]. Вывод из

сказанного по этому поводу таков, что женщина должна разорвать все путы, тормозящие ее жизнь, сделаться вполне самостоятельною в делах сердца и, не ограничиваясь этим, сбросить моральный гнет предрассудков, зажить общественною жизнью. Она должна трудиться так же, как и мужчина, как и он иметь свой собственный заработок и быть полезною обществу, одним словом, обязана отвоевать себе такое самостоятельное положение, «чтобы она никогда не пожалела о том, что она женщина».

Пропаганда необходимости для женщины самостоятельного заработка началась уже раньше выхода в свет романа «Что делать?» [19] и вызвана была прежде всего освобождением крестьян. Более или менее зажиточные помещики могли и после крестьянской реформы безбедно существовать в своих поместьях, но мелкопоместным дворянам, особенно же их детям, приходилось возлагать все надежды исключительно на собственные силы. Кроме них, в помещичьей среде оказался целый разряд лиц, выброшенных на улицу тотчас после уничтожения крепостной зависимости: это были родственники, а еще чаще, родственницы — крестницы, воспитанницы, сироты обнищавших дворян, принятые в помещичьи дома более зажиточными их собратьями. Эти лица, жившие, как тогда выражались, «из милости у своих благодетелей», обыкновенно назывались «приживальщиками» и «приживалками», хотя редко кто из них проживал без дела, даже, напротив, на них-то обыкновенно и лежали самые тяжелые и ответственные обязанности по дому и хозяйству. Скоро после объявления крестьянской воли многие помещики были напуганы слухами, все время циркулировавшими не только среди крестьян, но и среди них, о том, что настоящее освобождение крестьян еще впереди, что в будущем оно грозит помещикам полным разорением, и это заставляло очень многих из них объявить проживающим у них лицам, что они не будут больше держать их на своем иждивении. Таким образом, эмансипация женщин и тесно связанный с этим вопрос о их самостоятельном заработке был прежде всего вызван экономическими условиями этой эпохи, а также и ее демократическими идеями, но сильный толчок к распространению этих идей был дан, конечно, и романом «Что делать?». С его выходом в свет женщины несравненно энергичнее начали стремиться к самостоятельному заработку, к высшему образованию и вести борьбу за свое освобождение, за уравнение своих прав с мужчинами, но лишь в отношении семейном, в праве на образование и за-

работок; о политической же равноправности тогда не могло быть и речи.

Среди женщин началась бешеная погоня за заработком: искали уроков, поступали на службу на телеграф, наборщицами типографий, в переплетные мастерские, делались продавщицами в книжных и других магазинах, переводчицами, чтицами, акушерками, фельдшерицами, переписчицами, стенографистками.

Отношение общества к трудящимся женщинам тоже быстро менялось. Прежде, когда женщина оказывалась в безвыходном материальном положении, ей приходилось поступать в чужой дом в качестве гувернантки, классной дамы, бонны или компаньонки,— на таких смотрели свысока, как на парий и жалких созданий, и сами они, сознавая, что на них лежит клеймо отверженности, сторонились не только своих хозяев, но и крепостных, которые, будучи по духу и положению рабами, презрительно относились к ним. Не то было в шестидесятые годы, когда все обязаны были трудиться; сфера женского труда расширилась, и труд с этого времени не унижал, а возвышал человека. С трудящимися женщинами теперь искали знакомства,— ведь они на деле доказывали, что понимают современные требования. Что же касается тех из них, которые продолжали вести пустую светскую жизнь, на таких стали смотреть с презрением. Взгляд на характер заработка, сообразно с новыми веяниями, тоже сильно изменился: во времена крепостного права женщина, вынужденная искать работы, стремилась попасть гувернанткою в дом познатнее и побогаче; хотя в нем она сильнее чувствовала капризы хозяев, как людей, более избалованных судьбою, тем не менее комфорт, красивая обстановка, возможность получше принарядиться так ценились, что почти каждая бедная девушка стремилась попасть к богачам. В эпоху же господства демократических идей этого не искали, а прежде всего старались избегать малейшей тени зависимости, а потому места гувернанток и компаньонок брали только в крайней нужде.

Роман «Что делать?» породил множество подражаний и попыток устроить свою жизнь, избрать деятельность точь-в-точь такую, какою она является у действующих лиц названного произведения. Уже само по себе рабское подражание кому бы то ни было в общественной деятельности, семейной жизни, в поступках или словах говорит о людях весьма юных, мало думающих, незнакомых с жизнью, не научившихся еще углубляться в ту или другую идею, проникаться ее духом и сущностью, а не формою. И дей-

ствительно, многие в то время, получив жалкое образование, не могли разобраться в слишком большом грузе идей, сразу пущенных в оборот. Особенно нелепым выходило подражание лицам, выведенным в романе, преследующем свои особые цели и задачи. А если вспомнить, что некоторые имеют склонность еще утрировать все, чему подражают, то можно себе представить, какими уродливыми выходили эти заимствования, примененные к живой практической действительности! Сталкиваясь с курьезами в жизни молодого поколения, многие обвиняли в этом роман «Что делать?», который был тут ни при чем; обвиняли и все движение этой эпохи, совершавшей великое дело обновления русского общества. Правда, иное неразумное и непродуманное применение новых идей и рабское подражание действующим лицам романа «Что делать?» приносили иногда немалый вред, но в то же время они вызывали и всестороннее обсуждение: постепенно острые углы сглаживались, а новые принципы мало-помалу всасывались в кровь и плоть русского человека.

«Если Вера Павловна,— рассуждали не по разуму ретивые поклонницы романа,— смотрит, как на унижение, когда мужчина целует руку у женщины, то еще более унизительно для детей целовать руку у родителей, называть их «папа» и «мама»,— все это напоминает помещичий деспотизм, когда даже ласки предписывались детям». И вот целование руки выведено из употребления, мать и отца дети должны называть по именам. Случалось, что мать, отучившая детей от ласк, как от излишней слезливости и сентиментальности, приучившая называть себя Сашею или Машею, вдруг делалась свидетельницею того, как дети ее «отсталой от современной жизни» знакомой, которую она осуждала за консерватизм, с глазками, блестевшими радостью и восторгом, бросались к ней с криком: «мама», «мамочка», «мамуля»!.. и покрывали горячими поцелуями ее шею, глаза, руки, лицо... Женщина с могучим инстинктом материнства не могла равнодушно пройти мимо такой сцены. Вообще, скоро многим матерям пришлось сознаться, что они не в состоянии подавить желание слышать заманчивое для слуха женщины слово «мама», и громадное большинство очень скоро уничтожило этот, только что введенный, обычай.

Требование, предъявляемое женщине,— иметь свой самостоятельный заработок,— многими понималось в начале крайне односторонне. Я не буду говорить о тех, тяжелое материальное положение которых вынуждало и мужа и же-

ну брать занятия вне дома. Но даже там, где муж или отец зарабатывали достаточно для скромного существования, все же требовалось, чтобы женщина вносила в общий семейный бюджет и свой собственный заработок. В первое время на практике это осуществлялось нередко весьма нелепо, иной раз даже не без вреда для членов семьи.

Для примера возьму обычную интеллигентную семью: муж — учитель, профессор, писатель или служащий в каком-нибудь частном учреждении; он с утра до пяти-шести часов находится вне дома или у себя за рабочим столом напряженно работает. Жена на уроке,— ее тоже нет до обеда. Бросить детей на руки кухарки при большой семье, едва справляющейся с собственными обязанностями, немыслимо. Чтобы заменить себя (няни в то время были поголовно безграмотные), мать семейства вынуждена была на время своего отсутствия нанимать приходящую грамотную девушку, вознаграждение которой нередко назначалось немногим меньше того, что она сама получала. Но родная мать могла лучше приноровиться к детям, более изучила индивидуальность каждого из них, умела говорить с ними на более понятном для них языке, наконец, оставаясь дома, имела возможность присмотреть за хозяйством. Если же ей приходилось возвращаться домой только к обеду утомленною от работы и ходьбы, она уже не в состоянии была заниматься ни с маленькими детьми, которые по вечерам обыкновенно переходили на ее руки, не могла следить и за своими старшими детьми, обучавшимися в школе. В отсутствие матери отцу, если работа привязывала его к письменному столу, то и дело приходилось отрываться, чтобы улаживать детские ссоры и недоразумения с учительницею. Одним словом, домашний порядок и хозяйство сильно страдали от отсутствия хозяйки дома. Все знакомые мне в то время отцы семейств страшно возмущались вновь заведенным порядком. Жены нередко и сами сознавались близким, что требование во что бы то ни стало самостоятельного заработка от матери семейства очень часто оказывалось нелепым: в большинстве случаев он был совершенно ничтожен и, кроме сумбура, ничего не вносил в семью. Но даже мать, приходившая к такому сознанию, далеко не всегда тотчас бросала свой «самостоятельный заработок». Боязнь, что кто-нибудь назовет ее «законной содержанкой», «наседкой»,— эпитеты, которые в таких случаях были в большом ходу,— мешали поступить так, как подсказывали ей опыт и собственное сознание. Но когда трусость, рабство и другие черты характера, унасле-

дованные еще от очень недавних времен, стали ослабевать, женщина начала более разумно относиться к заработку.

Роман «Что делать?» вызвал особенно много попыток устраивать швейные мастерские на новых началах. На моих глазах устраивались две из них. Несколько знакомых мне девушек и женщин однажды собрались, чтобы потолковать об организации нового предприятия. Отдельного издания романа «Что делать?» тогда не существовало. Покупали номера «Современника», в которых он был напечатан, и отдавали переплетать отдельною книгою. Самою страстною мечтою юноши, особенно молодой девушки, было приобретение этой книги: я знала нескольких, продавших все наиболее ценное из своего имущества, чтобы только купить этот роман, стоивший тогда 25 рублей и дороже.

Усевшись за стол, собравшиеся раскрыли роман в том месте, где было описание швейной мастерской, и начали подробно обсуждать, как ее устроить. В конце концов решено было нанять отдельную квартиру, но среди присутствующих не оказалось ни одной, которая могла бы ссудить необходимую сумму. Тогда условились нанять меблированную комнату рублей в двадцать пять. И тут же стали собирать деньги на новое предприятие, но так как и это не вполне удалось, то пришлось привлечь к пожертвованию и остальных знакомых.

Хотя интеллигентные кружки горячо сочувствовали прогрессивным опытам, но наши знакомые состояли преимущественно из людей очень молодых, без определенного заработка. Однако в конце концов 25 рублей были собраны и нанята меблированная комната; кто-то пожертвовал и маленькую сумму на первое обзаведение. Дамы, хлопотавшие по делам новой мастерской, наняли четырех портних и получили несколько заказов от своих знакомых. Распорядительницею мастерской пришлось назначить М., девушку лет двадцати двух, единственную из всей компании обучавшуюся кройке в продолжение нескольких недель. Но дамы благоразумно рассудили, что, вследствие недолгой подготовки к этому делу, для нее еще опасно выступать в качестве закройщицы, и на такое амплуа наняли специалистку. М. должна была присматривать за пятью портнихами и за всем порядком в мастерской, а когда присмотрится к кройке, обязана была кроить более простые платья.

Потому ли, что молодая хозяйка-распорядительница не умела импонировать своим служащим, не хотела и не могла обращаться с ними с бесцеремонной грубостью заправских хозяек, оттого ли, что, кроме нее, в мастерской постоянно

путались дамы — участницы нового предприятия, бедно одетые и простые в обращении, как бы то ни было, но портнихи начали обращаться со своею распорядительницею чересчур фамильярно и недоверчиво, то и дело спрашивали ее, получат ли они свое жалованье вовремя. Бедную М. это приводило в отчаяние: она созвала экстренное собрание всех устроительниц мастерской, описала им свое незавидное положение и просила совета, как ей держаться с портнихами, чтобы возбудить к себе больше доверия. Присутствующие посоветовали ей объяснить швеям, на каких основаниях устроилась мастерская, и выяснить им, какая выгода для них получится впоследствии, а также указать на то, что в конце месяца кроме жалованья между ними будет поделена и вся прибыль. Это окончательно подорвало ее авторитет хозяйки-распорядительницы, и портнихи в ответ со смехом закричали ей: «Отдайте нам только жалованье, а прибыль оставьте себе!..» За несколько дней до конца первого месяца закройщица и одна из лучших портних заявили, что они уходят. Оказалось, что, за вычетом суммы на покупку приклада, а также на покупку материи одного платья, испорченного самою хозяйкою-распорядительницею, валовой доход новой мастерской за первый месяц как раз представлял только сумму, необходимую на уплату месячного жалованья одной закройщице, а чтобы рассчитаться с остальными швеями, пришлось снова прибегать к сбору денег и наслышаться множества грубостей со стороны портних. Итак, наша первая мастерская закрылась, не успевши расцвесть.

Другая мастерская на новых началах просуществовала более продолжительное время и была закрыта по совершенно особой причине, ярко отразившей новое течение в настроении тогдашних прогрессивных кружков.

Один мой знакомый Д. С., с которым я познакомилась в провинции, приехал в Петербург как раз в то время, когда вышеописанная мастерская доживала последние дни. Это был человек лет тридцати, весьма начитанный и неглупый, необыкновенно деятельный по натуре, чрезвычайно увлекавшийся современными идеями, для торжества которых он готов был отдать всю кровь своего сердца, но в высшей степени наивный, как очень многие в то время. Перезнакомившись с большинством интеллигентных кружков, он всюду нападал на женщин за то, что первые неудачи при устройстве мастерских заставили их опустить руки, тогда как они должны были послужить им лишь указанием, чего надо избегать при возобновлении этого дела, а оно, по его

мнению, крайне необходимо, так как успех швейных мастерских послужит доказательством торжества социальных идеалов, если и не во всей их чистоте, то, по крайней мере, отчасти, и наглядно покажет, что их можно применять к практической жизни уже в настоящее время. Он доказывал, что причиною провалов швейных мастерских было следующее: во главе этих новых предприятий стояли неопытные женщины, не знающие швейного дела. При обсуждении различных недоразумений они не обращались за советами к мужчинам, которые, как более их компетентные в вопросах экономического характера, могли бы приходить им на помощь. Помехою успеха, по его мнению, явилось и то, что вновь открытые мастерские были состряпаны на скорую руку, что в них не приняты были во внимание взгляды портних, что им, умственно неразвитым девушкам, преждевременно открыли секрет устройства подобных мастерских, который они не могли понять, толковали о дележе прибылей в то время, когда швейная клонилась к полной гибели, а потому такие обещания должны были показаться портнихам просто комичными. Конечно, в кое-каких неудачах, доказывал он, отчасти виноват автор «Что делать?»: при описании мастерской у него все удается, и притом слишком быстро. Но это совершенные пустяки и мелочи, а основная идея романа — не только возвышенная, но и осуществимая. Приступая к устройству мастерской на новых началах, по его мнению, необходимо иметь средства на ее открытие, а вовсе не рассчитывать на сбор денег среди знакомых. К тому же нельзя устраивать модный магазин, предназначаемый преимущественно для богатых заказчиц, и придавать ему нигилистическую внешность. Устраивая швейную мастерскую, рассуждал он, мы имеем в виду улучшение судьбы простых работниц, их умственное развитие, улучшение их материального положения и распространение как среди них, так и в обществе, социальных стремлений; следовательно, необходимо употреблять все усилия, чтобы она получала как можно больше заказов. Рассчитывая на вкусы такой публики, мастерская должна иметь отдельную квартиру в несколько комнат, украшенную зеркалами и обставленную хорошею мебелью, снабжена модными журналами и манекенами, а распорядительница мастерской обязана являться всегда одетою как настоящая мадам, хотя бы она и презирала наряды; при этом она сама должна уметь прекрасно шить, кроить и обладать изящным вкусом.

Ему возражали, что это значило бы допустить множе-

ство компромиссов, а мы-де, молодое поколение, должны высказывать презрение к роскоши, в чем бы она ни проявлялась. Д. С. с жаром протестовал против подобных возражений и находил, что такими соображениями и сохранением внешних атрибутов своей принадлежности к «молодой России» можно пожертвовать для торжества высокого общественного идеала, что хотя в романе «Что делать?» высказывается презрение к роскоши, но действующие в нем лица являются вовсе не аскетами, а между тем они делают серьезное дело, приносят громадную общественную пользу, распространяют социалистические принципы.

Опасавшиеся ущерба своим демократическим идеалам не примкнули к разработке дальнейшего плана Д. С., но он своими речами воодушевил некоторых моих знакомых, снова уверовавших в возможность добиться успеха. Они дали слово помогать ему во всем и составили особый кружок. Популярность Д. С. и его влияние быстро усиливались: он то и дело доказывал свою практическую сметку, проницательность, необыкновенную предприимчивость и заботливость о каждой мелочи при устройстве предприятия, чем поражал всех. Он обстоятельно собирал сведения о существующих швейных мастерских, заранее хлопотал о заказах.

Д. С. был из зажиточной семьи, имел немало связей в семействах людей богатых и крупных чиновников,— знакомые дамы дали ему слово обратиться в новую мастерскую, как только она будет открыта. Он даже сделал то, что уже совсем немыслимо было для членов его кружка: на обзаведение мастерской он собрал довольно значительную сумму. На одном из собраний кружка он откровенно познакомил его членов со своим материальным положением: он ежемесячно получает из дому 130 рублей, на жизнь ему достаточно 30 рублей, а 100 рублей он обещал вносить ежемесячно в продолжение полугода на нужды новой мастерской, так что она, по его мнению, будет твердо стоять на своих ногах. При этом он добавил, что у него есть на руках и сумма в 1 000 рублей, но это — священные для него деньги, он ни за что не тронет из них ни копейки, они необходимы ему для одного очень важного предприятия, имеющего тесную связь с новой мастерской, но более об этом не проронил ни слова.

Наконец в одном из собраний кружка Д. С. ввел г-жу Полянскую, даму лет под сорок, и отрекомендовал ее как особу, наиболее подходящую для роли хозяйки-распорядительницы новой мастерской.

Это была женщина с светскими манерами, с знанием иностранных языков, производившая приятное впечатление, как особа очень неглупая и положительная. Она выразила свое сочувствие новым идеям и новому предприятию и заявила, что основательно училась кройке. Со смертью мужа она осталась без всяких средств, ей необходим заработок, но она все-таки никогда не решилась бы поступить в обычный модный магазин в качестве закройщицы, так как считает это для себя неприличным. Все ее знакомые — люди порядочного круга... что бы они подумали о ней!.. Она очень рада иметь дело с образованными и идейными людьми и согласна взять место в новой мастерской, сделаться в ней закройщицею и распорядительницею, если ей дадут надлежащее жалованье и отведут особую комнату в мастерской. В таком случае она предлагает обставить ее своею мебелью, зеркалами; найдется у нее и еще кое-что необходимое для мастерской. К тому же у нее лично много знакомых, которым известен ее художественный вкус: она сама будет находить немало заказов.

Молодежь кружка была несколько шокирована ее взглядами на приличия, но выражение ее симпатичного лица примиряло их с этим недостатком. Косо посмотрели некоторые и на ее слишком изящный туалет, но ее глубокий траур придавал ему скромность и простоту. Но одно удивило и возмутило в ней всех без исключения,— это то, что она не читала романа «Что делать?». Ей тотчас предложили его для прочтения и прежде, чем окончательно условиться с нею относительно ее назначения, пригласили еще на одно заседание с непременным условием высказать свое мнение относительно мастерской, описанной в романе. Она с готовностью исполнила это желание, явилась в указанное время и высказала горячую благодарность, что ей дают возможность ближе сойтись с людьми, пропагандирующими такие благородные идеи. Теперь она еще более настойчиво просила принять ее в качестве хозяйки-закройщицы, хотя бы только для опыта. Но она все же считает необходимым высказать, что не рассчитывает на такой успех мастерской, чтобы она, как в романе «Что делать?», могла завести свои агентства, лавки... Мастерская, конечно, будет приносить доход, хотя получится он далеко не так скоро и не в таком большом размере, чтобы дать средства на крупные предприятия, описанные в романе. Автор его, вероятно, много слышал о том, как наживаются хозяйки модных магазинов; но это не потому только, что они берут высокую плату за труд своих работниц и кладут ее в свой

карман, а потому, что они просто-напросто обкрадывают своих заказчиц: требуют материи в полтора раза больше, чем следует, приклад ставят в счет вдвое и втрое дороже, чем он им обходится.

Хотя эти дельные замечания заставили членов кружка умерить свои чересчур большие ожидания от успехов нового предприятия, но они нашли, что и при этом дело все же будет иметь огромное общественное значение.

Ни одна швейная мастерская в Петербурге, говорили знакомые, не открывалась при столь благоприятных условиях. Полянская оказалась гением практичности и опытности: за недорогую плату она сумела нанять прекрасное помещение, прелестно обставила его своею мебелью, чему помогла также и значительная сумма, собранная Д. С. на первое обзаведение. Заказов сразу получилось больше, чем можно было рассчитывать. Полянская очаровывала заказчиц своими советами, обнаруживавшими ее художественный вкус, умела, кому нужно, пустить пыль в глаза, объясняясь по-французски и по-английски, в назначенный срок строго исполняла заказы, и число их быстро увеличивалось. Мало того, она сумела деликатно и ловко уговорить членов кружка не топтаться в мастерской без нужды, водворила полный порядок и играла роль настоящей хозяйки, которая, однако, отдавала строгий отчет в каждой копейке.

Через три месяца существования мастерской излишка еще не оставалось, но и не требовалось уже более тех ста рублей, которые аккуратно вносил Д. С. Полянская утверждала, что в следующий месяц, даже и при шести портнихах, за уплатою жалованья швеям и за квартиру получится маленькая прибыль, хотя еще очень скромная. Она предложила, не уменьшая рабочей платы, сократить работу портних на один час и употребить его на чтение, что было принято с восторгом.

Члены-основатели новой мастерской были очень рады этому нововведению: большая часть их уже находила, что новая мастерская ничем не отличается от простого модного магазина, кое-кто уже резко высказывал порицание Полянской, но Д. С. сдерживал их, насколько хватало сил, горячо убеждая потерпеть еще немного, чтобы мастерская окончательно утвердилась, и давал слово, что она очень скоро примет совсем другой характер сравнительно с учреждениями этого рода. А пока что он усердно занимался организациею чтения для портних,— и действительно, ему удалось его устроить. Ежедневно по часу вечером им читали Островского, Некрасова, Гоголя с небольшими объясне-

ниями, и делали это толковые люди. Швеи после каждого чтения горячо благодарили своих чтецов и, видимо, все более привыкали к новой мастерской, не встречая в ней ни прижимок ни обид.

Месяца через четыре после основания мастерской Полянская заявила, что можно увеличить количество портних. Д. С. объявил ей, что он берет это на себя и скоро приведет к ней нескольких новеньких.

Одну из них — Таню, девушку лет девятнадцати, Д. С., прежде чем отвести в мастерскую, познакомил со мной, ничего не сказав об ее прошлом. Он просил, чтобы молодая девушка погостила у меня неделю-другую, чтобы я давала ей в это время кое-что почитать и сама почитала с нею.

Таня оказалась девушкою совсем неразвитою. По ее словам, она недавно приехала из провинции, мать умерла еще в раннем ее детстве, отец женился во второй раз, и мачеха еще при отце сживала ее со света, а после его смерти жить с нею оказалось невозможным, и она переселилась в Петербург. Читала она плохо, писала еще того хуже, а выражалась языком полуграмотных горничных. Ни одна из прочитанных ей повестей не возбуждала в ней ни малейшего интереса. Она часто плакала, а на мои вопросы о причине ее слез она обыкновенно отвечала: «Не знаю, как присноровиться ко всему...» Все это я передала Д. С., но он удивил меня неожиданным вопросом:

— Помните ли вы в романе «Что делать?» характеристики Жюли и Насти Крюковой?

И, не дав времени ответить, горячо заговорил:

— Вот, видите ли: Жюли была уличною, развратною женщиною, а потом сделалась содержанкою. Несмотря на это, она оказалась способною на бескорыстную привязанность... А Настя Крюкова?.. Бесстыдная, вечно пьяная, продажная, а когда Кирсанов выкупил ее от хозяйки публичного дома, согрел ее своим участием и любовью, она переродилась в любящее стыдливое создание!

Из сказанного о них Чернышевским Д. С. приходил к выводу, что нет такой девушки, у которой временный разврат мог бы загубить всякое нравственное чувство; ни одна из подобных личностей при благоприятных условиях не потеряна для честной жизни.

— В наш век эмансипации личности мы обязаны,— настаивал он,— содействовать освобождению женщины от всяких пут, а тем паче от клещей алчных содержательниц домов терпимости. Мы должны жалеть этих погибающих созданий более остальных несчастных,— ведь они жертвы

общественного темперамента, жертвы общественных страстей... В публичных домах им приходится выполнять самые презренные обязанности, грязнить душу и тело. Они более других имеют право на сочувствие и сострадание, самостоятельно же вырваться им из этого омута невозможно,— содержательницы опутывают их долгами. Вот для их выкупа мне и нужна тысяча рублей, о которой я упоминал. Таню и еще двух девушек я уже выкупил из дома терпимости, нанял комнаты для этих трех девушек и помещу их в нашей мастерской: через месяц-другой они уже будут существовать самостоятельным трудом.

На мой вопрос, знает ли Полянская, кого он приведет к ней, он отвечал, что знать ей это пока незачем.

— Если бы она была особою нашего круга,— говорил он,— я бы, конечно, ничего не скрыл от нее, но, несмотря на свою порядочность и деловитость, она все же не поймет всей глубины идеи, которую я преследую.

Еще пятый месяц существования мастерской был в начале, когда Полянская прислала членам кружка письменное заявление о том, чтобы они немедленно избавили ее от трех девушек, отрекомендованных Д. С. Она сообщала, что все три девушки не умеют шить даже так, как обыкновенно шьют все женщины: пачкают материю, работают крайне лениво и недобросовестно. Кроме Тани, поведение двух остальных во всех отношениях наглое и бесстыдное. Их как-то особенно раздражают дамы, хорошо одетые, которым они вдогонку посылают срамные слова, а если удается забежать вперед, высовывают язык, проделывают самые непристойные жесты и антраша [20]. Заказчицы, которых они раздражили своими фокусами, уже, конечно, никогда более не переступят порога мастерской. Да и все портнихи, наверное, скоро разбегутся: на днях ушла лучшая из них — Саша. Вечером, когда работницы выходили из мастерской, обе проститутки, приплясывая и проделывая неприличные жесты, во все горло затянули срамную песню. В это время навстречу им шел отец Саши, служащий плавильщиком на заводе. Он с бешенством вбежал в мастерскую, потребовал немедленного расчета своей дочери, кричал, что хозяйка мастерской должна была предупреждать портних и их родителей о том, что в мастерскую принимают проституток. Что же касается Тани, то она хотя и не скандалит, но совсем не может работать: шитье выпадает у нее из рук, она постоянно плачет или жалуется на головную боль и уходит из мастерской раньше времени. Если Д. С., говорила Полянская, устроивший у нас прости-

туток, думает, что подражает этим Кирсанову, действующему лицу в «Что делать?», то он сильно заблуждается и лишь искажает мысль романа. В нем Крюкова, несмотря на позорное прошлое, под влиянием страстной любви, вдруг вспыхнувшей в ее сердце, и под руководством прекрасного человека, которого она горячо полюбила, в конце концов исправляется. Только после этого она поступает в мастерскую. Но в романе вовсе не говорится, чтобы контингент портних Веры Павловны набирался из домов терпимости. Проститутки же, приведенные Д. С. в мастерскую, безвозвратно погибшие создания: они совершенно погубили прекрасно начатое дело. При этом Полянская заявляла, что она остается в мастерской недели полторы, чтобы покончить с заказами, принятыми ею, но новой работы она уже не будет брать на свою ответственность. Свое письмо она заканчивала в таком роде: если бы даже члены кружка согласились взять от нее немедленно трех проституток и решили бы с этих пор увеличивать состав портних исключительно по ее выбору, то и в таком случае она не может остаться в мастерской. Если члены кружка могли не обратить внимания на то, что таким странным нововведением они компрометируют ее, честную женщину, и ставят в положение «начальницы проституток», то они с легким сердцем могут поставить ее еще не один раз в другое какое-нибудь неожиданное положение, которое лишит ее возможности получить в будущем честный заработок.

У Полянской не нашлось заместительницы, и мастерская закрылась, как только она ушла.

О судьбе проституток, выкупленных из публичного дома, Д. С. сообщил мне, что все три, видимо условившись между собою, исчезли еще за несколько дней до закрытия мастерской. С Танею же я встретилась в театре совершенно неожиданно. Прекрасно одетая, она с каким-то господином пробиралась в первые ряды партера. Проходя мимо меня, она поклонилась, а в антракте подошла ко мне как ни в чем не бывало. Она имела совершенно другой вид, чем прежде: была весела и оживленна, говорила без наглости, но и без смущения, и с первых же слов поведала мне, что она на содержании у очень доброго и богатого господина, который сразу купил ей несколько шелковых платьев. Больше мы ничего не нашли, что сказать друг другу, и разошлись, чтобы никогда не встречаться.

Не один Д. С. вызволял проституток из домов терпимости: это было время, когда мысль о необходимости спасать погибших девушек, и притом, конечно, совершенно беско-

рыстно в самом глубоком смысле слова, вдруг охватила не только юную, пылкую, увлекающуюся молодежь, но кое-кого и из людей солидных и зрелых; были даже случаи, когда вступали с ними в законный брак.

Однажды три студента пришли ко мне с просьбою устроить с благотворительною целью литературно-музыкальный вечер: я должна была пригласить литераторов и уступить для вечеринки свою квартиру,— все остальные хлопоты они брали на себя. Меня удивило их желание взять для вечеринки мою квартиру: из пяти ее комнат только одна была средней величины, остальные были крошечные. Но студенты утверждали, что с теми, у кого она больше, им по многим причинам на этот раз не хотелось бы связываться. Они доказывали, что моя квартира, несмотря на небольшую площадь, занимаемую ею, точно специально приноровлена для скромной вечеринки. Их требования очень невелики: они удовлетворятся сбором в 40—50 рублей. Большая комната будет заставлена стульями, которые они доставят своевременно, а в маленьких комнатах посетителям придется стоять. Билеты за сиденье в большой комнате будут продавать по рублю, а с тех, кому придется стоять,— по 50 копеек. Мне казалось недобросовестным за такую высокую цену подвергать посетителей духоте и стеснению, но студенты уверяли, что публика страшно интересуется литераторами, готова платить и не такие деньги, чтобы взглянуть на них, хотя бы в щелочку. А тут они увидят их в простой домашней обстановке. «Публика не подозревает, какие у нас певцы среди студентов! Да и по части «балета» мы выдержим сравнение даже с императорским театром»,— убеждали они меня. Тут я вспомнила, что из квартиры против нас только что выехали жильцы.

Решено было в некоторых комнатах пустой квартиры устроить помещение для хранения верхнего платья, а в других — чаепитие. В нашей довольно большой передней мы решили поставить фортепьяно и поместить певцов. Когда выступит «балет», певцы должны будут войти в пустую квартиру, а публика, занимавшая стулья в большой комнате, отодвинется к стене, а отчасти войдет и в переднюю,— таким образом, для танцоров освободится место.

Через несколько дней я известила студентов, кто из литераторов соглашается читать на вечеринке, но почти никто из них не сказал мне наверно, что именно собирается прочесть каждый из них. Студенты доставили мне программу вечеринки, или скорее, подробнейший проспект с объяснениями. В нем в комических выражениях упомя-

нуто было о том, что может ожидать каждый, рискнувший потратить на билет рубль или полтинник. «Комнаты не отличаются ни высотою, ни объемом блестящих общественных зал и дворцов, ни роскошью освещения и обстановки, не дадут они для дыхания, как требует современная гигиена, и достаточного количества кубических саженей воздуха. Но духота и теснота — не беда, не было бы только обиды, а это заботливо будет устранено. В антрактах публика может подышать чистым воздухом в пустой квартире, находящейся на той же площадке напротив. За все неудобства, которые придется претерпеть публике, она не только увидит и услышит писателей, но в антрактах может представить на их усмотрение свои гениальные соображения об общественном переустройстве всего мира, изложить им всякие пустяки, которых у русского обывателя накопилось достаточно за целые века молчания. Как истинные поборники свободы, писатели не пожелали заранее стеснять себя определением того, что ими выбрано будет для чтения и рассказа,— они сделают это по вдохновению, когда назреет момент. Слух публики будет услаждаем поистине отменным хором певцов. Правда, их могучие голоса могли бы потрясти восторгом всех слушателей даже в залах исполинских размеров, а тут, пожалуй, будет некоторая опасность для посетителей, имеющих не особенно солидную барабанную перепонку. Но устроители вечера позаботились и об этом: при входе каждый имеет право требовать вату бесплатно. Танцы будут исполнены с такою грацией и божественным огнем, что сама муза Терпсихора [21] от изумления и восторга вскочила бы со своего места, а потому и публику почтительнейше просят встать в это время с своих мест, отодвинуться к стене, а то и постоять в передней».

Эти проспекты служили входными билетами и продавались только близким знакомым. На незанятой текстом четвертой странице красовалась цена, был обозначен адрес квартиры, день и час начала вечера.

Кстати замечу, что никто из устроителей даже не подумал о том, чтобы давать знать полиции о вечеринке: ни до, ни после нее никто не беспокоил нас. Да, удивительные были времена: шли аресты довольно внушительных размеров, в Польше массами казнили повстанцев, практиковались и другие реакционные меры, наглядно подтверждавшие, что политика правительства круто поворачивает направо, между тем движение в обществе продолжалось, и оставались незамеченными весьма многие инциденты, за

которые у нас издавна принято карать или, по крайней мере, вписывать в книгу живота.

Хотя полиция и не беспокоила нас, но моя семья тревожно переживала дни, предшествовавшие вечеринке. Требованиями билета меня осаждали буквально с утра до вечера,— предлагали плату вдвое против назначенной, приносили записки от знакомых с просьбой найти местечко для подателя письма, но билеты все были проданы распорядителями в несколько дней.

А вот и вечер. Как только начался съезд, оркестр загремел вовсю, то есть две пианистки исполняли на фортепьяно какую-то бравурную пьесу в четыре руки и несколько человек аккомпанировали им на мерлитонах * и других неизвестных музыкальных инструментах примитивного вида. Уже это одно весело настраивало публику: при входе каждый хлопал в ладоши и раскланивался на все стороны. «Полтинничников» вводили в комнатюрки, а «рублевых» усаживали на стулья, близко-близко один подле другого. Как только все уселись, оркестр смолк, и к столику, поставленному к стене, подошел М. И. Семевский, хорошо читавший Островского, и прочел один акт его пьесы «Свои люди — сочтемся!». За ним выступил В. С. Курочкин с несколькими стихотворениями Беранже в своем прекрасном переводе. Затем послышались звуки сонаты Бетховена в артистическом исполнении одной молодой особы. В это время тихо вынесли столик, за которым читали, и заменили его кушеткой. Когда затихли последние звуки сонаты, к кушетке подошел П. А. Гайдебуров в халате и лег на него, держа в руке длинный чубук. Он весьма удачно исполнил роль Подколесина с его слугою Степаном [22], которым превосходно был загримирован один из студентов. За ним выступил Н. С. Курочкин и прочитал стихи итальянского поэта в своем переводе [23].

Каждого исполнителя провожали громом рукоплесканий и неистовым стуком.

Был объявлен антракт, и присутствующих приглашали в пустую квартиру, где на столах стояли тарелки с бутербродами, стаканы с чаем, графины с лимонадом и кувшины с клюквенным морсом. Все это мы получили от неизвестной с условием угощать желающих бесплатно. Это дало нам возможность украсить стену аншлагом с надписью громадными буквами: «Почтительнейше просят публику бесплатно закусить и освежиться».

---

* Здесь: на молотках (от *фр.* merlin).

— Ну, нет-с... злоупотреблять таким великодушием — совесть зазрит!.. Нужно помнить, что цель вечера благотворительная,— проталкиваясь сквозь толпу, громко произнес военный, единственный представитель своего сословия на этом вечере. Он положил на стол десятирублевку и взял стакан чаю. Пример ли военного или аншлаг с любезным обращением к публике, а может быть, и удачно выполненная первая часть программы, но только присутствующих внезапно охватил великодушный порыв. Хотя десятирублевиков никто более не выбрасывал, но на столе быстро выросли две кучки — одна с кредитками в рубль, другая — с мелким серебром.

Я нашла в толпе щедрого военного и поблагодарила его за пожертвование. Мы разговорились: он сообщил, что случайно прочел наш проспект, который ему так понравился, что он взял билет. Он уверял, что ему особенно легко и хорошо дышится в этом милом интеллигентном обществе.

— А молодая особа,— спросил он меня,— которая так артистически исполнила одну из труднейших сонат Бетховена,— она тоже отрицает искусство?

Не могу удержаться, чтобы не сказать несколько слов об этом военном. Он отрекомендовался Николаем Дементьевичем Новицким; через месяц-другой после этого он познакомился с моею семьею, бывал одну зиму на наших вторниках, но затем исчез с нашего горизонта, так что я забыла даже его имя и фамилию. Прошло более четверти столетия. Мне необходимо было ехать в Киев для свидания с моим сыном, содержавшимся в то время по политическому делу в киевской тюрьме [24], и приходилось явиться к начальнику жандармского управления, грозному Василию Дементьевичу Новицкому, прославившемуся своею необыкновенною грубостью не только с арестованными, но и с их родственниками. И при этом фамилия Новицкого ничего не напомнила мне. Прежде чем явиться к киевскому Новицкому, мне посоветовали поговорить об этом деле с его братом, жившим в Петербурге и считавшимся весьма порядочным человеком. Петербургский Новицкий был тогда уже полным генералом и членом военного совета; чтобы быть им принятой, я взяла к нему рекомендательное письмо от Н. К. Михайловского, который был знаком с ним. Каково же было мое удивление, когда Николай Дементьевич, прихрамывая, вышел ко мне с самым сердечным радушием, протягивая мне обе руки. «Да будет вам стыдно являться ко мне с рекомендациями! Я сам прекрасно вас знаю и с наслаждением вспоминаю вечера, проведенные у вас. А если

бы вы знали, как часто приходит мне на память «вечеринка с благотворительною целью»!..» И мы вместе начали припоминать и надпись на аншлаге, и комическое содержание проспекта, и необыкновенное оживление посетителей в маленьких комнатках нашей квартиры, и подмывающее веселье молодежи.

И не один Новицкий через много лет вспоминал с удовольствием эту вечеринку, которая была таким обычным явлением в наших интеллигентных кружках, но лишь с меньшим наплывом посетителей и без благотворительной цели.

Возвращаюсь к прерванному рассказу. Один из устроителей как угорелый бегал по комнатам двух квартир, сзывая публику звоном колокольчика. Через несколько минут действительно раздалось превосходное пение хора «Вниз по матушке по Волге», дружно подхваченное всеми присутствующими; так же пропето было еще несколько народных песен. Даже такое громкое пение не вызвало усердия полиции, хотя вся наша парадная лестница была запружена народом, который прислушивался к пению, отчетливо раздававшемуся всюду. Духота и постоянное общение с пустою квартирой заставили нас открыть настежь входную дверь.

Блестящий успех нашего скромного угощения заставил устроителей закупить провизию для второго антракта в большем количестве,— нас одушевляла мысль хотя чем-нибудь отблагодарить публику за ее великодушие.

Вдруг меня кто-то окликнул. Я подняла голову и начала всматриваться в молодую особу, которая медленно приближалась ко мне. Она остановилась передо мной, улыбаясь, и я только через минуту узнала ее и бросилась обнимать.

О. Н. Очковскую я не видела более года: скоро после моего отъезда из Петербурга и она уехала в провинцию. Хотя я уже слыхала, что теперь она только на время приехала сюда, что угощение на нашей вечеринке «от неизвестной» было от нее, что она даже будет танцевать, что ее ждут с минуты на минуту, я все-таки не сразу ее узнала. Пышные розы не цвели уже на ее смуглых щеках, ее покатые плечи образовали углы, вся ее фигура, прежде склонная к полноте, исхудала до чрезвычайности. Вероятно, вследствие этого она казалась даже ростом выше прежнего. Порывистая живость ее движений, страстность ее темперамента, проявлявшиеся в каждой фибре ее всегда оживленного лица, заменились теперь какой-то затаенною грустью. Если прежде все говорило в ней о жизни и юности во всем

блеске расцвета, то теперь серьезное страдание, видимо посетившее ее, придавало ее фигуре особенную симпатичность, делало ее лицо еще более одухотворенным. Я закидывала ее вопросами, она отвечала отрывисто, да тут было и не место для разговоров. Она сообщила, что живет с родителями в деревне, помирилась с ними, устроила школу, исхудать же ее заставила тяжелая болезнь и разные житейские невзгоды. Тихая деревенская жизнь ей совершенно по душе, ее удручает лишь продолжительное однообразие. Если бы можно было хотя раз-другой в месяц совсем забыться в шумных спорах, в пляске вовсю, как это бывало прежде, у нее хватило бы энергии, даже хорошего настроения надолго, но в деревне жизнь томительно однообразна... Приехала она в Петербург по делам родителей и лишь на несколько недель... Не могла, конечно, отказать, говорила она с улыбкой, «в своем содействии благотворительной вечеринке»... Ее очень тешит мысль, что она сегодня выступит чуть не на театральных подмостках в танцах, которым она никогда не училась, а цыганскую пляску сама видела лишь один раз в жизни. Вдруг она внезапно спросила меня: «В пользу кого или чего устраивается эта вечеринка?» Я созналась, что мне даже и в голову не пришло спросить об этом. Ольга Николаевна упрекнула меня за легкомыслие, говоря, что слухи идут о новых течениях у нас, и при этом в высшей степени диких и нелепых, а потому-то она и спросила меня об этом. Вдруг она расхохоталась неудержимо весело и так, как только она одна умела смеяться.

— Вот так логика! — вскричала она,— вас упрекаю в легкомыслии, а сама, принимая активное участие в вечеринке, тоже не подумала ни о чем осведомиться!..

В эту минуту меня окликнул В. А. Слепцов и быстро подошел к нам. Хотя Ольга Николаевна и должна была ожидать этой встречи (почти ни одна затея в нашем кругу не проходила без его содействия или прямого участия), она очень переконфузилась, но что еще больше удивило меня, так это то, что и он на этот раз сильно смутился. На его вопрос, надолго ли она приехала в Петербург, она сухо ответила: «Сама еще не знаю»,— и стремительно вышла из комнаты.

Я всею душою симпатизировала и Слепцову и Очковской, но так как ни тот, ни другой не говорили мне о том, какие сложились у них отношения друг к другу, я, конечно, и не спрашивала у них об этом. Что Ольга Николаевна, в конце концов, была безумно влюблена в Слепцова,—

в этом я не сомневалась, как и многие другие, но какие чувства Слепцов питал к ней, трудно было прочесть на его неподвижном лице. Когда я уезжала в провинцию, они, как мне казалось, были в дружеских отношениях. Что же произошло, что они, судя по встрече, так изменились друг к другу? Не этот ли разрыв положил печать глубокого страдания на прекрасное лицо Очковской? Хотя многих знакомых это интересовало, но, если кто-нибудь по своей экспансивности подымал подобный вопрос в обществе, обыкновенно ему замечали: «Каждый должен устраивать личную жизнь по своему усмотрению», или: «Никто не имеет права залезать в чужую душу», или: «Предметом обсуждения могут быть лишь дела общественные, а не личные». Тут невольно приходилось прикусить язычок даже тому, у кого он был очень длинен.

Слепцов сообщил мне, что Якушкин явился совершенно пьяный и ему необходимо дать опохмелиться, что иначе он наговорит много нелепостей.

Когда я пробиралась в «залу», публика аплодировала хору, кончавшему пение. В эту минуту из противоположной двери показался растрепанный, засаленный, лохматый Павел Иванович Якушкин.

— Други мои, братья мои!..— забрюзжал он, повторяя каждое слово по нескольку раз.— Ребята вы хорошие... чудесные ребята. Что же это такое? Оглобли назад вертают? Нельзя назад... Что у кого, то и в дело пускай: палки... камни... зубы... кулаки [25]. Во как! — И он поднял вверх кулаки и выпучил глаза.— Эх вы, голуби мои злосчастные! — И вдруг, сделав хитрые глаза и грозя пальцем, он произнес: — Только бы не кукиш в кармане казать!

Тут Слепцов подошел к столику и шепнул ему, что «мокренькое» уже ждет его, взял его под руку, и Якушкин направился к двери, то и дело хватая Слепцова за голову, целуя его и приговаривая:

— Славный паренек!.. Уж такой-то славнеющий!

Слова Якушкина публика встретила смехом и громом рукоплесканий,— она видела в них намек на изменившуюся политику правительства. Лишь только он исчез за дверью, появился В. И. Водовозов и прочел отрывок из «Зимней сказки» Гейне в своем переводе [26]. За ним опять вышел Якушкин, уже совершенно трезвый, и рассказал один эпизод из своих странствований по России,— о том, как он бабам продавал ленты и платочки, и какие у него выходили при этом разговоры. После этого С. В. Максимов прочитал отрывок из своей статьи о путешествии по северу

России[27]. За ним следовало чтение Слепцова с обычным громким успехом.

Объявили второй перерыв, и публику просили перейти в другую квартиру — освежиться и закусить уже без каких бы то ни было жертвоприношений.

Было далеко за полночь, когда устроители начали перетаскивать в пустую квартиру стулья, чтобы в большой комнате расчистить свободное место для «балета». Разнообразные танцы особенно понравились публике: были исполнены различные малороссийские танцы, лезгинка, русская: одна девушка, одетая мордовкой, протанцевала свой народный танец. Вполне ли соответствовали национальности костюмы и танцы танцоров, судить не могу, но все они вызывали громкие аплодисменты. Когда же появилась Очковская в красной цыганской шали, обшитой густою бахромою, голова, шея, руки которой были щедро украшены бусами, фольгою и позвякивавшими монетами, она одним своим появлением вызвала всеобщий восторг, настоящую бурю бешеных аплодисментов, восклицаний и топанья ног, которых уже никто не в состоянии был остановить. Начался танец, и Очковская сама все более увлекалась и пьянела от восторга публики и от темпа музыки, все более быстрого, от гиканья и цыганских выкриков, видимо непроизвольно срывавшихся с ее уст. Ей совсем не давали передышки, то и дело кричали «бис», и она повторяла еще и еще все тот же танец. На ее шее разорвалась нитка бус; все бросились их подбирать с криками: «И мне, и мне на память!» Несколько человек хлопали с каким-то остервенением, выкрикивая во все горло: «Бис, божественная! Бис, очаровательная Очковская!» Наконец она выбилась из сил и убежала.

Заиграли мазурку: тут уже и посетители с билетами, и устроители вечеринки, одним словом, все присутствующие пустились в пляс в двух квартирах сразу, так как звуки музыки раздавались повсюду, а в задних маленьких комнатках шла оживленная беседа: трудно было представить, что многие тут в первый раз видели друг друга, казалось, все собравшиеся хорошо были знакомы между собой. Когда топот ног несколько стихал, то один из братьев Курочкиных или кто-нибудь из студентов произносили экспромты в стихах; затем снова пели и танцевали, танцевали без конца... Вдруг кто-то закричал: «Шестой час!» Тогда к устроителям (они расхаживали в цветных бантиках) двинулись посетители, протягивая им свои визитные карточки, а некоторые и деньги с просьбою прислать один

или несколько билетов на следующую вечеринку [28]. Адреса требовавших билеты немедленно записывались, а деньги никто не брал ввиду того, что тут только явилась мысль повторить вечеринку.

Через несколько дней после этого ко мне пришли устроители вечеринки и начали на чем свет бранить Очковскую. По их словам, вторая вечеринка, которую они решили устроить, имела еще несравненно более шансов на успех, чем первая: желающих получить билеты записано уже очень много, «почти» обещана огромная зала в квартире одного финансиста, все участники прошлой вечеринки обещали свое содействие и во второй раз. И вдруг Очковская не только отказывается проплясать свой цыганский танец, но заявляет, что считает своим нравственным долгом оповестить всех участвующих о цели вечеринки, то есть, как прибавляли они, донести всем, что сбор как с первой, так и со второй вечеринки предназначается для выкупа девушек из домов терпимости.

Тут только я впервые узнала о цели этих вечеринок. Я выразила устроителям мое удивление, что после печального опыта в швейной мастерской Полянской они могут еще думать о спасении погибших девушек, доказывала им, что они, во всяком случае, обязаны сообщить ближайшим участникам о цели вечеринки. И получила в ответ, что они не только не скрывают своих взглядов на этот вопрос, но громко пропагандируют их всюду: если они не заявили об этом во всеуслышание, то только потому, что этому помешал инцидент с Д. С. Этот «барич», этот «дворянский недоумок», бранили они его, выкупив из публичного дома несчастных девушек и не дав им опомниться от ужасающей жизни, не дав успокоиться их издерганным нервам, немедленно засадил их за работу. Да еще из трех девушек, выкупленных им, две из них, как оказалось, уже по нескольку лет прожили в этом учреждении,— следовательно, таких, для которых внезапный переход к трудовой жизни был особенно тяжел. Вообще «он» все устроил по-идиотски. Разве можно было ожидать при этом хороших результатов? Своею необдуманною попыткою Д. С. сразу поселил недоверие к гуманнейшему делу. Только это и заставило их, так оправдывались студенты, на время скрывать цель вечеринок. Им нужны деньги для выкупа погибающих девушек... Откуда же их взять? Если они добудут деньги, то поставят дело спасения несчастных совсем иначе, чем Д. С. Выкупив их от хозяек домов терпимости, их немедленно отправят на весну и лето в деревню, а затем уже будут исподволь при-

учать к труду и заниматься их умственным и нравственным развитием. Что же касается Очковской, которая так гнусно отнеслась к делу, имеющему громадное общественное значение, так ведь она всегда отличалась большою склонностью к заскорузлым понятиям, а пожив в провинции, по их мнению, окончательно отупела.

Моя защита Очковской и Д. С. вызвала с их стороны резкую отповедь, что им не помешало, однако, сейчас же просить меня съездить в семью финансиста, чтобы условиться насчет зала для вечеринки. Я отказалась это исполнить, и вечеринка не состоялась.

Прошло недели три-четыре, и двое уже других студентов пришли просить меня устроить вечеринку для сбора хотя бы очень небольшой суммы денег в пользу их товарища, высылаемого докторами на юг. Мне и в голову не пришло усомниться в правдивости их слов, и вечеринка опять состоялась в моей квартире, но не для поправки здоровья студента, а, как я узнала впоследствии, тоже для выкупа проституток. На вопрос, обращенный мною к устроителям, зачем они прибегли ко лжи, они, не смущаясь, отвечали, что возвышенная цель оправдывает средства. Чтецами на второй вечеринке выступило большинство писателей, принимавших участие и в первой, исполнительницею музыкальной части явилась другая, тоже даровитая музыкантша, было и хоровое пение, но не было уже никаких танцев. Вместо проспекта первой вечеринки, который так понравился многим, устроители на этот раз не удосужились написать никакой афиши. Несмотря на множество лиц, выразивших желание явиться на вторую вечеринку, пришлось раздать билеты меньшему числу лиц, чем в первый раз: дворник, проведавший, что предстоит опять вечеринка, заявил мне, что домовладелец не позволяет устраивать что бы то ни было в пустой квартире. Все это невольно удручало всех нас. Вообще повторная вечеринка оказалась несравненно менее оживленной, чем предыдущая.

У нас говорили, что сбор с этой вечеринки дал возможность выкупить из дома терпимости трех девушек. Одну из них взяла дама средних лет, чтобы отвезти ее на лето в свое имение. По ее словам, ее спутница так скандалила на железной дороге, что вынудила ее пересесть в другое отделение вагона. Когда она доехала до места назначения, проститутки уже не оказалось в вагоне, а куда она исчезла, дама не стала справляться, так как решила, что она отравит ей все лето. С другой проституткой дело кончилось так же.

неудачно: ее взялась отвезти в деревню к своей престарелой родственнице молодая, только что поженившаяся парочка. Эту вторую девушку удалось привезти в деревню. Однако в семейном доме, где ее поселили, она проявила необузданный характер, предавалась беспрерывным вспышкам гнева, выкидывала то непозволительные шалости, то детские капризы. Ее начали сторониться и смотрели на нее как на ненормальную. Через несколько недель после ее водворения члены семьи решили, что жить с нею невозможно, собрали необходимую сумму на дорогу и на прожитие на первый месяц и дали ей возможность уехать, куда она сама пожелала. Третья проститутка, кроткого, миролюбивого характера, честная по натуре, всем своим любящим сердцем привязалась к человеку, который помог ее освобождению из дома терпимости: она вполне добропорядочно прожила всю свою недолголетнюю жизнь, работала, сколько хватало сил, но оказалась крайне болезненною. О судьбе этих трех девушек я сообщаю только по слухам.

В тех кружках, к которым я имела какое бы то ни было отношение, описанная выше попытка спасать девушек из домов терпимости была последнею,— я, по крайней мере, ничего не слыхала о том, чтобы кто-нибудь еще предпринимал что-либо подобное. Вообще это увлечение вспыхнуло как-то внезапно и так же внезапно погасло.

Иначе дело обстояло в семейной сфере (понимая под этим отношения между родителями и детьми) и в брачных союзах. Тут недоразумения, конфликты, тревоги, отчаяние, тяжелые драмы наполняли собою всю эпоху шестидесятых и первую половину семидесятых годов, пока в этой семейной революции не обновились понятия, взгляды и обычаи.

Недоразумения и раздоры между отцами и детьми, начавшиеся у нас издавна, особенно обострились в шестидесятые годы. Общество представляло тогда две диаметрально противоположные группы — прогрессивную и консервативную. К первой из них преимущественно принадлежала молодежь, но не только она одна, а все наиболее живое, чуткое, образованное в обществе. Представителей консервативной группы тогда обыкновенно называли крепостниками; к ним причисляли всех, державшихся старых порядков и отрицавших необходимость изменения чего бы то ни было в наших нравах. К прогрессивной группе в семье большею частью принадлежали взрослые дети, а к консервативной — родители. Диаметрально противоположные воззрения этих двух поколений сделали совместную жизнь членов семьи невозможною. Этот разлад

давал себя чувствовать во всех классах русского общества: сыновья дворян отказывались занимать весьма многие должности своих отцов, находя их недостаточно честными и благородными; сыновья чиновников находили зазорным для себя сидеть в канцеляриях и департаментах или корпеть над какою-нибудь механическою работою, которая не может ни удовлетворять умственным запросам, ни приносить пользу ближним; даже сыновья очень многих купцов находили теперь, что нельзя заниматься торговлею, так как относительно этого рода деятельности недаром сложилось убеждение: «Не надуешь, не продашь». Дочери порывали с родителями потому, что они не желали выходить замуж за тех, кого родители выбирали им в мужья. Многие из них глумились даже над обрядом венчания, если он был обставлен помпезною пышностью и церемониею и если виновница торжества являлась на него в пышном белом наряде с померанцевым венком и фатою на голове. Молодое поколение находило, что для того, чтобы ничто не напоминало этот мишурный блеск брачного обряда, скрывавшего столько лжи и обмана, служившего ширмою для выгодной сделки между родителями, необходимо обставлять его совершенною простотою и естественностью, соответственными современным демократическим взглядам. И немало новобрачных уже являлось в церковь совершенно запросто: невеста без флердоранжа, жених — без всяких атрибутов свадебного торжества,— оба в простых платьях, в которых они обыкновенно отправлялись на уроки.

Разрывы детей с родителями, жен с мужьями оказывались самыми характерными явлениями эпохи шестидесятых годов. Даже в тех семьях, где детей горячо любили, им все же нередко приходилось резко порывать с родителями, и здесь происходила не менее ужасающая драма, как и там, где деспотически расправлялись с ними. В этих семейных драмах не было ни правых, ни виноватых, были только несчастные люди, случайно попавшие под тяжелое колесо переходного времени. Девушки желали учиться и стремились в столицы, где они мечтали не только приобретать знания, но и найти условия жизни, более справедливые и разумные, более соответствующие современным требованиям, чем те, которые они встречали в своей допотопной семье, так беспощадно губившей все проблески самостоятельной мысли и всякую индивидуальность. Как было им не броситься отважно в новую жизнь, когда все кругом говорило им, что, продолжая дышать смрадом окружающей среды, они одним уже этим совершают преступление.

В таких случаях положение девушки являлось особенно трагичным. Переговоры и мольбы о том, чтобы ее пустили в столицу учиться, очень часто ни к чему не вели: родители не понимали, как может их дочь жить на чужой стороне без надлежащей опытности, без родных и какой бы то ни было опоры. Они не видели примера, чтобы молодая девушка благополучно устраивалась самостоятельно, да еще жила на свой заработок, и отказать в ее просьбе считали своею священною обязанностью. Девушки, раздраженные упорным сопротивлением родителей, в то время когда им так хотелось поскорее окунуться в водоворот новой, кипучей жизни, демонстративно, резко, бурно порывали все отношения с родителями или подготовляли тайное бегство. Они как-то мало думали о том, что без средств существовать невозможно, и обыкновенно ссылались на то, что другие уехали и живут же... Но как жить без надлежащих бумаг? Это многих из них заставляло опасаться, что без документов полиция немедленно водворит их на прежнее место жительства. Вот тут-то и явилась мысль о фиктивном браке, за который многие ухватились тогда, как за якорь спасения в безвыходном положении. Родители девушки, решившейся на фиктивный брак, обыкновенно не подозревали, что она выбрала себе мужа только для того, чтобы уйти из-под родительского крова. Если она выходила замуж слишком поспешно за человека, который только что появился на ее горизонте, они находили, что даже такой скороспелый брак лучше, чем ее попытка к бегству, ее вечные порывы к самостоятельной жизни, семейные раздоры, всегда тяжело отзывавшиеся на тех и других,— и соглашались.

Фиктивный брак лишь очень редко оканчивался так счастливо, как это описано у Синегуба («Былое», 1906 год, № 8—9) [29], что, вероятно, случилось только потому, что оба действующие лица в этом фиктивном браке оказались на высоте своего положения, людьми из ряду вон высоконравственными, чистыми и честными: они действительно в конце концов сделались настоящими супругами в лучшем смысле этого слова.

В фиктивных браках часто повторялись такие случаи: молодому человеку рассказывают о безвыходном положении хорошей девушки,— она не может вырваться из семьи не только для того, чтобы учиться, но чтобы существовать по-человечески. Между ее родителями вечно происходят интриги, распри, которые изо дня в день грязнят чистую душу молодой девушки. Родители твердо решили не дозво-

лять ей оставить их дом иначе, как после ее брака. Молодой человек, познакомившись с положением девушки, соглашается вступить с нею в фиктивный брак и немедленно разойтись после брачной церемонии. Все в точности исполнено: супруги расходятся в разные стороны, не имея ни малейших сведений друг о друге. Через год-другой после этого фиктивный муж влюбляется в девушку и желает на ней жениться. Между тем о своей фиктивной жене молодой человек знает только одно, что она уехала за границу учиться. Пока он собирает сведения о том, где именно она находится, и переписывается с нею, проходит довольно много времени, но его несравненно больше уходит на бракоразводный процесс, поглотивший последние средства молодой четы, заставивший ее пережить много горя, ожиданных и неожиданных страданий. Когда им наконец оказывалось возможным пожениться, они уже были с одним-двумя незаконными детьми на руках, с большими долгами на шее, с издерганными нервами и силами, надломленными в непосильной борьбе с нефиктивными затруднениями.

А вот и другой фиктивный брак, еще более характерный для того времени. К знакомой мне девушке посватался молодой человек, но получил отказ. Поддерживаемый ее родителями, он через несколько времени повторил свое предложение. По молодости и неопытности она считала претендента на ее руку порядочным человеком (оказалось, что он совсем не был таковым) и откровенно созналась ему, что любит другого, за которого родители не желают ее выдавать замуж. Молодой человек выслушивает ее признание и предлагает ей фиктивный брак, клятвенно уверяя, что его любовь к ней беспредельна и бескорыстна и что он употребит все силы, чтобы соединить ее с любимым человеком. Молодая девушка вполне верит ему, так как, по ее словам, он был принят в интеллигентных кружках и считался порядочным человеком. Она бурно выражает свою радость, бросается на колени, благодарит своего спасителя за его великодушное предложение, уславливается с ним о том, чтобы после венца, доехав вместе до первой почтовой станции (дело было в провинциальном городе), навсегда разъехаться в разные стороны. Но каково же было ее изумление, когда она начала прощаться с ним, чтобы самостоятельно продолжать свой путь по другой дороге. Она была силою задержана мужем, который предъявил ей свои супружеские права и отправился вместе с нею в Петербург. И по дороге и позже она пыталась бежать от него, но он каждый раз чувствительно доказывал ей свою законную

власть. Между супругами началась не жизнь, а настоящая каторга, длившаяся несколько мучительных лет, пока супруг не заблагорассудил сам дать ей развод, задумав жениться на другой.

Стремление работать среди народа наиболее плодотворно заставляло некоторых жениться на крестьянках или на простых, необразованных девушках, что обыкновенно кончалось не менее печально, чем и фиктивные браки. Нужно заметить, что мужчины чаще женились на горничных, портнихах или крестьянках, чем образованные девушки вступали в такой же неравный брак.

В одной элементарной школе обучал Голковский, молодой человек, только что окончивший университет, а одною из учительниц в ней была очень молоденькая девушка из высшего круга. Им часто приходилось встречаться и в воскресной школе, где оба они учительствовали, и в учительских собраниях.

На одну из вечеринок моих знакомых, когда у них собралось уже несколько человек, пришел Голковский, а за ним учитель Яковлев, столь обязательно предлагавший сюжеты для художественных произведений (см. главу XV). В то время как Голковский с кем-то разговаривал в стороне, Яковлев заявил, что желает предложить на общее обсуждение один роман из действительной жизни, о котором поговорить куда полезнее, чем заниматься разбором досужих фантазий писак художественных произведений, так как он даст обильный материал для решения нескольких коренных современных вопросов.

Несмотря на всю нелепость этого предложения, Яковлев высказал все это тоном, не допускавшим сомнений в правильности его разумения, по обыкновению, очень важно и совершенно серьезно.

— Я говорю,— добавил он,— о романе молодой аристократки, преподавательницы известной нам элементарной школы: мне сделалось случайно известно, что она написала Голковскому письмо, в котором предлагает ему руку и сердце.

Услышав последнюю фразу, Голковский вскочил с места как ужаленный. Он придвинулся вплотную к Яковлеву и гневно прокричал ему в лицо, что запрещает ему продолжать начатое, что только при своей скудоумной голове он не понимает того, что не имеет права залезать в чужую душу. С этими словами Голковский выбежал в переднюю и в страшном волнении, надевая пальто и ни к кому не обращаясь, продолжал громко бранить Яковлева.

Все это мало смутило последнего. После ухода Голковского он продолжал распространяться на ту же тему. Он-де, Яковлев, прекрасно понимает, что не следует вести бесед о личных чувствах, но роман Голковского представляет исключение и подлежит общественному обсуждению. Некоторые из присутствующих выразили желание не подымать вопроса о названном романе, другие возражали, что Яковлев, вероятно, имеет свои резоны настаивать на этом. И тот начал:

— *Пункт первый:* если особа аристократического происхождения первая письменно объясняется в любви молодому человеку противоположного социального положения, я делаю из этого вывод, что она желает подражать Татьяне Пушкина: «Я вам пишу, чего же боле...» Тут я ставлю вопрос: могут ли прогрессивные люди «молодой России» допускать брак девушки, олицетворяющей заскорузлые отжившие идеалы, с человеком современным, который должен содействовать их исчезновению. *Второй пункт:* Голковский полюбил девушку аристократического происхождения. По отзывам ее товарищей по преподаванию, эта особа дельная, следовательно, Голковский и с нею может продолжать общественную деятельность. Но это ли он в ней полюбил? Пусть поглубже проанализирует свое чувство, не есть ли это наследие от отцов, пережиток крепостнических, барских наклонностей и развратных вожделений к выхоленному, барскому, аристократическому телу?

И оратор окинул окружающих победоносным взглядом,— дескать, замечайте, в каких тонкостях и глубинах я умею разбираться...

К его удивлению, все как-то сердито бросали ему на разные лады:

— Это бог знает что такое!.. Никто не имеет права обсуждать личные дела!

— Если общество находит, что этот роман должен оставаться исключительно в области личных дел господина Голковского, то так и должно быть,— проговорил смиренно Яковлев деловитым тоном и, по обыкновению, нисколько не смущаясь.

Роман Голковского носит резкий отпечаток эпохи шестидесятых годов, и я кратко передам его так, как я узнала о нем от него самого через несколько лет после его окончания.

Прежде чем принять какое-нибудь решение относительно брака с молодою девушкою из высшего круга, Голковский условился с нею посещать ее дом в качестве ее препо-

давателя. По мнению их обоих, брак их мог состояться лишь при условии, что они тайно обвенчаются, и она уйдет из дому только в том, что было на ней. Она согласна была на все из-за любви к Голковскому и высказывала свои мечты о том, как она, рука об руку с ним, пойдет по дороге труда. Но Голковский после более близкого знакомства с девушкою пришел к заключению, что ее изнеженный и крайне хрупкий организм, ее привычки к большому достатку не дадут ей возможности переносить те суровые условия жизни, на которые он должен был обречь себя в близком будущем. Боялся он и того, что, при виде ее лишений, которые ей придется испытать, его любовь к ней заставит его пойти на компромисс,— им он считал даже отказ от намеченной им деятельности в народной среде. В нем жила непоколебимая уверенность, что общественная деятельность обязывает устранять все препятствия,— следовательно, и личные чувства, мешающие ей. Он откровенно все высказал молодой девушке, а та приняла это за недостаток любви к ней,— и они сразу порвали свои отношения.

В наследство от только что умершего отца Голковский вместе с двумя сестрами получил около девяноста десятин земли, полное хозяйство и барский дом в одной из губерний средней полосы России и немедленно уехал на свою родину. Он не захотел воспользоваться львиною частью наследства, как это полагалось ему по закону: землю, небольшой капитал и остальное имущество он разделил на три равные части, а барский дом, по соглашению с сестрами, решено было отдать под школу или больницу. Прошло более года в хлопотах по разделу. Его сестры вышли замуж и уехали из деревни, отдав в аренду свои земельные участки.

Первое время жизни в деревне Голковский как-то туго сближался с крестьянами. Чтобы сделать эти отношения более близкими, он женился на бойкой крестьянской девушке из очень бедной семьи и зажил с нею в своем помещичьем доме, который в тот момент еще не был общественным достоянием. Хотя он со своими тридцатью десятинами считался одним из бедных землевладельцев-помещиков, но все же он был несравненно богаче соседних крестьян, и крестьянская девушка и ее родители были очень довольны этим браком, не подозревая того, что Голковский из своего земельного участка хочет еще кое-что выделить своим соседям — крайне бедным крестьянам, страдавшим от малоземелья.

Земельная собственность Голковского состояла из двух неравных участков. Наибольшую ее часть, около двадцати

десятин, он через несколько месяцев после брака раздарил наибеднейшим соседям, а несколько позже свой барский дом преподнес в дар земству для больницы. На своем же участке, составлявшем около десяти десятин, находившемся отдельно, версты за две от его барского дома, он на несколько сот рублей, оставшихся у него после раздела с сестрами, построил себе избу. Голковский хотел взять себе такой же земельный надел, как у всех окружающих его крестьян, но это трудно было осуществить, потому что его десятидесятинный участок неудобно было делить. Когда его жена и ее родители поняли, что он стремится зажить жизнью, общею с остальными крестьянами, они в глаза и за глаза стали поносить его с остервенением. Чтобы женина родня меньше грызла его, он отстроил для себя крестьянскую избу, но побольше и поудобнее соседских. Как только все было окончено и он обзавелся хозяйственным инвентарем, он нанял рабочего и вместе с ним начал трудиться не покладая рук, с раннего утра до позднего вечера. Хотя его жена была не из лентяек, усердно работала и исправно вела хозяйство, но это не мешало ей вечно упрекать мужа: она говорила, что он обманул ее, что если бы она знала да ведала, что он хочет сделаться простым мужиком, то ее отец выбрал бы ей более подходящего парня из простых крестьян. Несмотря на это, Голковскому все же казалось, что существование для него в деревне возможно, что скоро для него наступят лучшие дни. Он обучал жену грамоте, читал ей, объяснял, и, так как она оказалась понятливою от природы и весьма любознательною, он рассчитывал, что она скоро разовьется умственно и нравственно. Утешало его и то, что он постепенно освоился с земледельческою работою и деревенским хозяйством. Однако скоро его положение в семье сделалось невыносимым. Дело в том, что, когда его барский дом был принят под больницу, земство устроило в нем приемный покой и аптечку, а в другой его части поместился земский врач с своею семьею, и к ним из города (благо, он был недалеко) стали наезжать интеллигентные люди.

Голковского, лишенного общества образованных людей около двух лет, тянуло к ним все более и более. Перезнакомившись со всеми, он стал проводить у них все свободное время, и жильцы его бывшего дома посещали его большою компаниею. Жена Голковского заметила, что ее муж, угрюмый и мрачный дома, оживлялся и становился веселым и разговорчивым со своими новыми знакомыми. Она давно поняла, что не ровня ему, но теперь еще более укрепилась

в этой мысли; пришла она к сознанию и того (но, конечно, на свой лад), что она не может делить с ним множества его интересов, что его знакомые хотя и вежливы с нею, но настоящих разговоров у нее с ними не выходит, что в толках и спорах их с ее мужем она не может принимать участия, что они посещают ее дом для него, а не для нее. И она начала жестоко ревновать мужа ко всем его новым знакомым, а в особенности к женщинам, которых возненавидела всеми силами своей души. Она стала осыпать их грубыми насмешками, бросала им в лицо гнусные намеки без всякого повода с их стороны, в справедливость которых она, видимо, сама не верила. Это заставило ее мужа просить своих новых знакомых не посещать его, но зато он сам по праздникам, особенно зимою по вечерам, то и дело бегал к ним. Тогда его тесть и теща, входя в его избу и перекрестившись на образа, обращались к нему обыкновенно со словами: «Пришли тебя образумить... нешто можно так жить? Стал мужиком, и держись одной линии!..» Он кряхтел и терпел, но поведения своего не менял. Жена его, озлобившаяся до последней крайности, во время одной перебранки с мужем подскочила к нему и, злобно глядя ему в глаза, заявила, что она, чтобы насолить ему, сошлась с рабочим.

Тогда он решил бросить свою усадьбу: перевел на имя жены весь свой земельный участок и избу и окончательно переселился в Петербург.

На основании подобных неудачных попыток проведения в жизнь идей шестидесятых годов многие утверждают, что идейное наследство этой эпохи оказалось крайне скудным, что русское общество унаследовало от нее лишь стремление к эмансипации женщин, что только это одно и сделалось его прочным достоянием, а что все остальные идеалы имели чисто временное значение и умерли вместе с этою эпохою.

Неправда, тысячу раз неправда! Факты убедительно доказывают совершенно противное.

В нашем прошлом резко обозначились две эпохи: первую представляет дореформенная Россия со всеми ужасами крепостного права и крепостнических воззрений, которые своим ядом заражали и отравляли все стороны быта, все сферы деятельности, характер русского человека, его привычки и понятия даже в том случае, если он не имел никакого отношения к крепостным,— так было велико тлетворное влияние права владения людьми. Второй период — Россия, пробужденная к жизни уничтожением крепо-

стничества и другими реформами, а также распространением новых идей, когда началось общее обновление нашего общества и постепенное изменение его быта и миросозерцания.

Шестидесятые годы окрестили «эпохою нигилизма» вследствие отрицания в это время старой морали, авторитетов, поэзии и искусства. Отрицание поэзии и искусства было, несомненно, ошибочно и вредно, но такое направление длилось недолго; притом, даже в острый период этого течения мысли, среди наиболее радикальной части общества было немало людей, продолжавших с благоговением относиться к художественным произведениям во всех областях творчества.

Людей шестидесятых годов называли нигилистами, отрицателями par excellence *, но эта кличка совершенно неудачна, так как она неправильно определяет характер их деятельности, воззрений и стремлений. В эпоху нашего обновления молодая интеллигенция была проникнута скорее пламенною верою, чем огульным отрицанием. Нигилисты горячо верили во всесильное значение естественных наук, в великую силу просвещения и в возможность быстрого его распространения среди невежественных масс, верили в могущественное значение обличения, в возможность улучшения материального положения народа, коренного преобразования всего общественного строя и водворения равенства, свободы, справедливости и счастья на земле, не сомневались они в том, что совершенно исчезнут гнет, произвол и продажность, наконец, горячо верили, что все эти блага возможно осуществить в очень близком будущем, и эта вера у многих из них доходила до детской наивности.

Люди шестидесятых годов, конечно, не водворили счастья на земле, не добились они ни равенства, ни свободы, о чем так страстно мечтали, но идеи, которые они разрабатывали и пропагандировали в литературе, с кафедры и в частных беседах, нарушали общественный застой, шевелили мысль, расширяли умственный горизонт русского общества, делали его более восприимчивым к участи обездоленных и трудящихся классов, а мысль о необходимости всеобщего обучения сделалась с тех пор аксиомой. Мало того, только эпоха шестидесятых годов внесла в сознание русских людей идеалы общественного

---

* по преимуществу, в особенности *(фр.)*.

характера — бескорыстное служение родине и своему народу, что, кроме редких исключений, было весьма малодоступно предшествующему поколению.

Наиболее характерные из общественных идеалов того времени — идеалы демократические, выражавшиеся стремлением сблизиться с народом для улучшения всех сторон его жизни,— получили право гражданства лишь с эпохи шестидесятых годов. Борьба за равенство всех перед законом, за уничтожение сословных привилегий и предрассудков, особенно усилившаяся в эпоху обновления, продолжается и до настоящего времени. Можно смело сказать, что с тех пор сильно пошатнулись сословные перегородки, ослабела рознь между людьми, и в настоящее время, сравнительно с прошлым, чувствуется больше уважения к человеческому достоинству: низшие и средние классы общества меньше страдают теперь приниженностью перед сильными мира и буржуазным чванством, а высшее общество несравненно меньше кичится знатностью своего происхождения, чинами, орденами и другими внешними преимуществами.

Люди шестидесятых годов до тех пор доказывали всю безнравственность и лживость обывательской морали, в основе которой лежали карьера, нажива и пролазничество, пока эти пороки не сделались очевидными для большинства и не получили правильной оценки. Под влиянием горячей проповеди гуманных идей постепенно ослабевали грубость нравов и некультурность. Отношения к подчиненным, к детям и слабым сделались с тех пор заметно более мягкими и человечными. Что наиболее развращало целые поколения в дореформенной России, это тогдашний взгляд на труд как на настоящий позор. Только бурная волна демократических идеалов освободительного периода подняла труд и трудящихся на небывалую до тех пор нравственную высоту.

Одним словом, идеи шестидесятых годов совершенно обновили общество [30]. Правда, далеко не все они были новы, но люди того времени распространили их, сравнительно с прежним, в огромном кругу русского общества, и каждое последующее поколение развивало их далее с точки зрения новых понятий, требований и новых условий жизни. Дореформенный уклад жизни с его сонным прозябанием, с его рабским миросозерцанием, с его преклонением перед правом сильного сделался невозможным.

⟨Глава XXIII⟩

ЖИТЕЙСКИЕ НЕВЗГОДЫ

Выстрел Каракозова.— Паника, охватившая русское общество.— Тяжелое материальное положение членов моей семьи.— Неожиданная помощь.— Паульсон — педагог и составитель книг для чтения.— Появление Некрасова на нашем журфиксе.— А. А. Краевский.— Екатерина Павловна и Григорий Захарович — чета Елисеевых.— Собрание у Гайдебуровых.— Марко Вовчок и отношение к ней Елисеевых

Из прошлого моя память удерживала преимущественно мрачные картины жизни; из прочитанного или услышанного от других и из того, что мне приходилось наблюдать лично над жизнью окружающих, меня особенно потрясали житейские драмы и неожиданные, стихийные удары судьбы, разражавшиеся над нами. Это заставляло болезненно сжиматься мое сердце даже тогда, когда жертвы этих несчастий сами, казалось, уже забыли о них. Встречаясь с ними в минуты их более или менее уравновешенного настроения, я невольно вспоминала изречение поэта: «О, радость — мимолетная гостья! Тише... тише, не разбуди горя!»

В сердцах молодых людей обоего пола обыкновенно жила лучезарная уверенность на близкое, очень близкое обновление нашей родины, на скорое улучшение во всех областях жизни, на перемены к лучшему в личной судьбе, но и эту веру я утратила еще в ранней молодости, и ее животворные лучи очень скоро перестали озарять меня. Мои близкие считали меня отчаянной пессимисткой, а между тем пессимизм не свойствен моему характеру: я до глубокой старости сохраняла сильное влечение к веселому обществу, среди которого раздавались безыскусственная болтовня, оживленные споры, смех, шутки и остроты, отвлекавшие меня от грустных мыслей. Моя память удерживала все мрачное лишь потому, что жизнь моей семьи и людей, наиболее близких моему сердцу по духу и крови, представляла чрезвычайно мало отрадного. Их то и дело преследовали несчастья: неожиданные тяжелые утраты, аресты, тюрьма, ссылка в отдаленные и менее отдаленные местности, лишение педагогической и какой бы то ни было деятельности. Особенно тяжело было думать о тех из них, кого лишали возможности следовать своему природному призванию, которому они с юных лет отдавали свои умственные силы, и уже начали свою деятельность с большою пользою для общества.

Прошу извинить меня за это отступление. Этим очерком я желаю закончить мою книгу * и дать хотя некоторое представление читателям о том, как жилось людям моего круга в конце шестидесятых годов.

Уже после 1863 года в русском обществе чувствуется ослабление восторженного состояния и необыкновенно страстно напряженного подъема духа начала шестидесятых годов [1]. Смелые обличительные речи раздавались уже не так часто; одни выражали сомнение в том, что скоро наступит торжество правды и справедливости, равенства и братства; другие более скептически начинали относиться к новым реформам и находили в них все более недостатков. А между тем еще так недавно они были убеждены в необходимости работать рука об руку с правительством и с экзальтированной отвагой исполняли обязанности на новых общественных должностях в роли мировых посредников, письмоводителей, землемеров, докторов, фельдшеров, учителей в новых школах. Как бы ни была скромна новая обязанность, как бы ни было мало вознаграждение за труд, интеллигентные люди находили, что преступно отказываться от какой бы то ни было должности, что с их помощью несравненно скорее новые реформы не только должны будут совершенно обновить русскую жизнь, а граждан переродить в энергичных защитников прав народа и смелых пропагандистов гуманных общественных идеалов... Эти увлечения постепенно теперь шли на убыль. Однако нельзя сказать, что энергия интеллигентов уже совершенно истощилась, что они впали в апатию и уныние. Толчком для того и другого, большою переменою в жизни людей среднего круга был выстрел Каракозова 4 апреля 1866 года [2], когда наступила самая злейшая реакция, которая внезапно сразу ошеломила и пришибла русских граждан. Паника охватила всех. И не мудрено: всюду пошли повальные обыски и аресты, многие мои знакомые заключены были в тюрьмы, доносы сыпались со всех сторон, постоянно приходилось узнавать, а то и самой наблюдать овации, устраиваемые публикою Комиссарову при его входе с своею супругою в какую-нибудь общественную залу, в театр, концерт [3]. Когда в проходах трудно было пробираться от толкотни скопившегося люда, Комиссарова сердито-ворчливым голосом произносила: «Разве не видите, что *спаситель* идет? Пропустите же!» Когда в театре шла опера

* Эта глава написана уже после выхода в свет моей книги «На заре жизни. Воспоминания». СПб., 1911 год. *(Примеч. Е. Н. Водовозовой.)*

или просто какая-нибудь пьеса, как только опускался занавес, иногда после действия, публика настойчиво требовала от артистов пения гимна «Боже, царя храни». При этом многие зорко наблюдали, нет ли кого, кто успел уже повернуться и надевал шапку для выхода или кто не тотчас вскочил с своего стула. Такие несчастные подвергались настоящему скандалу, и их нередко ожидали большие неприятности и осложнения. Вновь испеченные волонтеры сыска и предательства суетливо бежали к выходу, звали полицию, требовали немедленного ареста тех, кто продолжал сидеть или надевал шапку, когда уже раздалось пение гимна. Мне указывали на того или другого подобного волонтера, который еще недавно считался порядочным человеком и отличался либеральным образом мыслей. Так обстояли дела в этот мрачный период во всех областях нашей жизни. На всех тех, кто до этого политического дела занимался какою-нибудь отраслью естествознания, власти смотрели как на слишком вольнолюбивого гражданина, и он чаще других подвергался подозрению. Как популярные книги, еще недавно столь распространенные среди читателей, так и строго научные произведения по естествознанию были сняты с полок книжных магазинов и отправлены на чердаки,— ими более не зачитывались, их никто более не покупал. После выстрела Каракозова, когда уже постепенно стали ослабевать апатия и ужас от арестов и ссылок, наиболее умственно развитые люди начинают все более чуждаться официальной России, все более резко осуждают тех, кто работает вместе с ней, кто добивается занять какую-нибудь правительственную должность. Эта изоляция людей, нередко весьма одаренных и энергичных, от правительства, от его должностей и предпринимаемых трудов, от всего, на чем лежал официальный штемпель, все более внедрялась в нравы интеллигентного общества. Много ужасов и житейских невзгод в этот жестокий период времени пришлось испытать моему семейству, хотя к делу Каракозова ни прямо, ни косвенно никто из нас не был припутан, никто не принимал в нем ни малейшего участия.

О жестокой каре, совершенно неповинно нами понесенной, я говорила уже в «Голосе минувшего» (№№ 1 и 2, 1915 год) [4]. Тут же я хочу рассказать о том, какие лишения пришлось нам испытать, как трудно было найти в то время заработок тем, которых правительство считало прикосновенными к какому бы то ни было политическому делу или только заподозренными в политической неблагонадежности. Нужно заметить, что в их категорию зачисляли тогда

и людей, которых не привлекали ни к какому политическому процессу, у которых, как и в моей семье, до тех пор не было никакого обыска. Таких неблагонадежных лиц администрация без объяснения причин высылала на родину, с которою у них нередко уже с детства была утрачена всякая связь. Не лучше было положение и тех, которых она хотя оставляла на месте, но затрудняла им возможность найти заработок, особенно если они занимались педагогической деятельностью.

Когда Вас. Ив. Водовозов в 1866 году был совершенно неожиданно для него лишен права преподавать в казенных учебных заведениях [5], он рассчитывал на частные уроки, от которых во время службы в учебных заведениях ему приходилось очень часто отказываться по недостатку времени.

Весною, уже после выстрела Каракозова, одна дама, жившая до того времени с своими детьми за границей, условилась с Васильем Ивановичем, что он с осени начнет подготовлять ее двух сыновей к поступлению в 3-й и 4-й классы гимназии, назначив за это прекрасное вознаграждение. Но во время этих переговоров еще ничего не было известно о катастрофе, готовой разразиться над моей семьей, и мы уехали на лето к моей матери в деревню. В августе Василий Иванович возвратился в Петербург и узнал, что он уволен со службы из всех заведений, где он числился преподавателем. Нас как громом поразило это известие, но Василий Иванович не пришел в отчаяние, рассчитывая на частные уроки. Скоро после этого он получил от особы, с сыновьями которой условился заниматься, письмо, в котором она выражала сожаление, что вынуждена пригласить преподавателем в свой дом не его, а другого учителя. «Кругом все говорят мне,— объясняла она,— что в гимназии, несомненно, будет известно о подготовлении моих мальчиков вами, уволенным со службы за политическую неблагонадежность». Она опасалась, что из-за этого ее сыновей или совсем не примут в учебное заведение, или что к ним будет придираться начальство. То же случилось и с другими частными уроками. К тому же на этот раз и предлагали их в несравненно меньшем количестве, чем прежде.

Теперь трудно представить тот ужас, ту панику, которые охватили тогда все русское общество немедленно после каракозовского выстрела. Громадное большинство даже прогрессивных людей опасалось каких бы то ни было сношений не только с впутанными, но даже совершенно искусственно пристегнутыми к этому политическому делу.

Вот почему увольнение Василия Ивановича со службы быстро получило широкую огласку. Чтобы иметь возможность существовать, оставались лишь занятия литературой. Василий Иванович в то время не был новичком в этом деле и оказывался хорошо вооруженным: кроме древних, он знал пять новых языков, переводил стихами древних и новых поэтов, писал в педагогических и толстых литературных журналах статьи об образовании в западноевропейских странах и у нас, о современной литературе, критические статьи и рецензии. У него уже тогда были изданы три книги: «Рассказы из русской истории» в двух частях и «Новая русская литература» [6]. Цена за книги была назначена несоответственно малая, а долг за эти издания был сделан, сравнительно с нашими средствами, большой и еще не выплачен. Валовой доход от всех трех книг едва достигал 600—700 рублей в год и хотя получался по грошам, но Василий Иванович тщательно складывал полученные деньги в особый пакет и аккуратно вручал его типографу Сущинскому [7].

Хотя до инцидента 1866 года мне лично удалось поместить несколько статей под разными псевдонимами в педагогических журналах и в журналах для детей [8], но это был крайне жалкий заработок: за подобные статьи в несколько страниц вознаграждение полагалось тогда самое скудное, к тому же нередко проходило два-три месяца, в продолжение которых я не имела возможности напечатать хотя бы несколько строк.

Месяца через полтора после нашего возвращения в Петербург у нас не осталось ни копейки. Что было делать? Продать обстановку квартиры? Но ее не существовало: за нашу убогую мебель, всю переклеенную и перечиненную домашним способом и приобретенную на рынке за гроши, не дали бы и трех-четырех десятков рублей, а состояла она исключительно из крайне необходимых предметов. Я была вынуждена продать небольшое количество имеющегося у меня серебра и золотых вещиц — подарки родственников. Вся вырученная от этой продажи сумма могла прокормить мою семью, состоявшую из шести человек, лишь в продолжение двух — двух с половиной недель, а потому я и решила удержать ее для непредвиденных случаев, всегда неизбежных там, где существуют маленькие дети. Мы сами с осени урезывали себя в самом существенном и пропитывались продуктами, забранными в долг из лавок. Все это я делала по секрету от покойного мужа: его принцип, соблюдения которого он требовал от меня даже и в то

злополучное время, заключался в немедленной уплате решительно за все, что приходилось покупать. Он говорил, что если на нем лежит долг за издание книг, то он вправе был его сделать потому, что заранее предупредил хозяина типографии, что будет выплачивать его из денег, получаемых от продажи книг. Отдавая на расходы семьи все, что он зарабатывал, он не входил и не умел входить в подробности нашего существования.

Однажды, когда мы сидели за обедом, кухарка бросила на стол тетрадки из лавок со словами, в которые она постаралась вложить все свое негодование и презрение:

— Ни мяса, ни булок, нигде и ничего вам не будут давать в долг ни на грош, пока вы не выплатите все, что задолжали. Из-за вас стыдно на улицу глаза показать.

Когда Василий Иванович услыхал сказанное кухаркой, он недоуменно спрашивал меня, о каких долгах она говорит. Спазма сдавила мне горло. Я не решалась произнести ни слова, чтобы не разрыдаться, молча выскочила из столовой и отправилась к С., единственным состоятельным людям из всех моих знакомых.

Из провинциальных городов России очень многих юношей, а также и тех из них, которые проживали за границей, родители после крестьянской реформы начали привозить в Петербург для подготовки их к университету. Помещики, которые почему-нибудь не могли жить в столице с своими сыновьями, поручали их на год и более педагогам, а те обязывались давать им полный пансион, нанимать для них учителей и следить за их подготовкой. С., муж моей подруги, был одним из преподавателей, державших у себя подобных юношей, получая за них весьма солидное вознаграждение. Вот к ним-то я и отправилась просить взаймы. Волновало это меня до крайности: била лихорадка, подкашивались ноги,— до того времени мне никогда не приходилось просить в долг. Меня приводило в ужас, что я обнаруживаю свою бедность, которую страшно скрывала. Но все обошлось благополучно. В гостиной меня встретил С., который, прежде чем я успела открыть рот, искренно стал возмущаться увольнением моего мужа со службы без объяснения причин и с неподдельным участием расспрашивал о наших делах. Мало того, он сам предложил взять у него деньги взаймы. Пришлось признаться, что я затем и приехала к ним. Он ушел в свой кабинет за деньгами, а в эту минуту ко мне вышла моя подруга; когда ее муж вручал мне 200 рублей, я, поблагодарив его, прибавила, что лишь через шесть-семь месяцев могу рассчитывать возвра-

тить ему эту сумму. Он усердно просил не торопиться, указывая на то, что он теперь получает гораздо более, чем проживает его маленькая семья.

Как только я возвратилась домой, я подвела подсчет долгам, выложила перед кухаркой деньги за забор по всем книжкам, отдала ей жалованье, а дворнику — деньги за квартиру. У меня осталось менее половины занятой суммы, и я была вынуждена продолжать прежний способ хозяйства, то есть и впредь все забирать в долг, удерживая остальное по самый черный день.

Когда Василий Иванович узнал, каким способом я расплатилась с лавками, он пришел в негодование за то, что я сделала долг, не зная наверное, будем ли мы в состоянии расплатиться вообще, а тем более через полгода. Но я не могла определенно добиться от него того, как иначе я могла поступить.

К нам как-то зашел прощаться наш знакомый В. И. Шемякин: он надолго уезжал из Петербурга для ревизии школ в разных губерниях. На мой вопрос, будет ли он по-прежнему давать отчет в газете «Голос» о выходе в свет новых книг по педагогике, детской и юношеской литературе, он отвечал, что на днях отправляется к А. А. Краевскому, чтобы отказаться от этой работы, несовместимой с его теперешним назначением. Я начала упрашивать его передать эту работу мне. Я объяснила ему, что хотя мне самой удалось поместить как-то в «Голосе» в двух номерах очерк под названием «Заметки старой пансионерки» [9], подписанный лишь последним слогом моей фамилии, но Краевский, вероятно, забыл об этом; к тому же цензурою запрещено было их продолжение, так как в них усмотрели замаскированное обличение институтских порядков, что тогда строго преследовалось. Дозволялось описывать только традиционное институтское обожание, страстную любовь воспитанниц к институту, прелесть и наивность их жизни в этих крепко-накрепко замурованных учреждениях и их восторг при посещении института царской фамилией. Я высказала Шемякину опасение, что, если он попросит Краевского передать мне свою работу, тот не исполнит этой просьбы и потому, что у меня не было литературного имени. Я просила Шемякина позволить мне писать рецензии вместо него, подписывая их его инициалами, и носить их в редакцию от его имени.

Серьезно подумав над моей просьбой, Шемякин сказал мне, что, вероятно, увольнение Василия Ивановича со службы поставило нас в крайне тяжелые материальные

условия... Иначе, по его словам, я не могла бы задумать столь рискованное предприятие, которое может вызвать непредвиденные осложнения. Однако в конце концов он, хотя и с явным неудовольствием, но согласился на мою просьбу и, чтобы не попасться впросак, устроил это дело довольно обстоятельно: съездил к Краевскому, известил его о том, что хотя он уезжает из Петербурга, но будет продолжать посылать рецензии через меня, так как я исполняю и другие его поручения, что я всегда буду иметь его новый адрес и являться в редакцию за получением гонорара.

Два мои очерка прошли благополучно, но полученные деньги не радовали меня сознанием того, что и я, хотя несколько, поддерживаю мою семью. Сама лично я в то время смотрела на чужие инициалы, выставляя их под собственными статьями, довольно просто, или, точнее сказать, легкомысленно. Я и раньше подписывала свои работы различными псевдонимами или только последним слогом фамилии, а следовательно, казалось мне, и не было никакого различия с тем, что я делаю теперь. Но Василий Иванович не давал мне покоя, доказывая, что я обманываю не только читателей, но и редакцию.

Вдруг я получаю из редакции «Голоса» просьбу сообщить адрес Шемякина, что я немедленно и исполнила, а скоро после этого пришло и от Шемякина письмо с посланием к Краевскому. В. И. Шемякин извещал меня, что редакция «Голоса» заявила ему, что его последние очерки (то есть мои) носят нежелательный для нее характер, и, если он будет продолжать писать в том же духе, она не может печатать его (то есть моих) статей. И вот это-то заставило Шемякина чистосердечно во всем сознаться, а потому он и просил меня, прочитав его письмо к Краевскому, переслать его по принадлежности.

— Скажите, это вы выдавали свои статьи за работу Шемякина? — спросил меня Краевский, когда я пришла по его вызову.

— Да,— совершенно смущенная, могла я только выговорить дрожащим голосом, несмотря на все усилия подавить нервное состояние.

— Вы, видимо, сознаете сами, что это... простите за выражение... весьма некрасивый и нецелесообразный способ во что бы то ни стало втереться в число сотрудников газеты.

Это возмутило меня до глубины души, и я с негодованием возразила:

— Может быть, это нецелесообразный способ действия, но почему же он такой позорный? И каким образом вы усматриваете в моем поступке, что я во что бы то ни стало желала втереться в число ваших сотрудников? Подписывая свои статьи чужими инициалами, я не находила и не нахожу в этом ничего ни преступного, ни постыдного! Очень многие подписываются псевдонимами, чужими инициалами, и никто их не осуждает!

— Говорите, что не стыдитесь, а сами краснеете. Конечно, Шемякин столько же виноват, сколько и вы, а пожалуй, даже больше. Выдавая свои статьи за работы Шемякина, вы как-никак обманывали редакцию. И зачем вам это понадобилось? Ведь у нас напечатали два ваших фельетона, продолжение же их не было помещено только вследствие запрещения цензуры. Но вы и в тот раз поступили совсем некорректно: под видом пансиона вы разоблачили институтские порядки, что строго преследуется цензурой. Вы, конечно, имели в виду, что редакторы, не воспитываясь в институтах, не догадаются о вашей проделке, следовательно, вы уже и в этот раз подвели редакцию. В ваших же теперешних очерках вы обнаружили неподходящий для нашей газеты обличительный и нервный тон, несвойственный перу Шемякина. Вот видите, мы это сейчас же заметили... Не думайте, однако, что я побеспокоил вас только для того, чтобы прочитать вам нотацию. Я хотел посоветовать вам не пытаться работать в газетах: у вас для этого нет ни надлежащего чутья, ни способностей. Для вас лучше было бы что-нибудь переводить, делать компиляции...

— Я бы с удовольствием взялась за компиляции, но никто их мне не предлагает. Что же касается переводов, то мой муж знает много иностранных языков, напечатал стихами перевод Гейне «Зимняя сказка», к которому в печати отнеслись с большой похвалой, написал немало оригинальных статей и несколько книг, но и он не имеет работы.

— Я вижу, сударыня, что только ваше тяжелое материальное положение заставило вас не совсем корректно поступить с редакцией «Голоса». Когда будет какая-нибудь подходящая для вас работа в «Отечественных записках», даю вам слово вспомнить о вас.

Я так много дурного слыхала о Краевском, что совсем не поверила его словам, но ошиблась; хотя не очень скоро, но все же он вспомнил обо мне и поручил мне большую работу для «Отечественных записок», но об этом будет сказано ниже.

До конца 1866 года мы вместе, то есть Василий Иванович и я, случайными статьями заработали чрезвычайно мало, недостаточно даже для нашей, более чем скромной жизни. К тому же чуть не половину получаемых денег мне приходилось уплачивать за лечение тяжело больного сына. Долги наши по лавкам снова выросли в весьма солидную сумму. Из лавок опять наотрез отказывались выдавать раньше уплаты долга. К довершению этого ко мне однажды позвонила моя подруга С., у мужа которой я заняла 200 рублей. Не снимая верхнего платья, она на пороге проговорила: «Мне очень нужны деньги. Когда же ты уплатишь свой долг?» На мое замечание, что ее муж давал мне взаймы более чем на полгода, она бросила мне с иронической улыбкой: «Да ведь и позже нечем будет платить! Ты прекрасно это знала, когда занимала, хорошо знаешь это и теперь... Насколько это честно, предоставляю судить тебе самой!» — и она резко повернулась и вышла.

Бросившись на диван в страшном волнении, я позвала Василия Ивановича и объявила ему, что у нас остается на руках менее 40 рублей, что нам с завтрашнего дня придется прекратить готовить обед. Из оставшихся у нас денег мы должны выдавать прислуге на содержание, кормить детей молочной кашей и яйцами, а самим под предлогом, что мы будем обедать у его сестры, уходить из дому. Прислуга, конечно, видела наше положение, но я старалась делать все, чтобы менее обнаруживать перед нею всю глубину нашего несчастья, а потому и решила прикрыть его «фантастическими обедами». В другое время Василий Иванович стал бы упрекать меня за фальшивую институтскую стыдливость, но в ту минуту он был так подавлен, что на все согласился.

И вот мы с 4 до 6 ежедневно уходили гулять в какой-нибудь парк, заходя в дурную погоду в Публичную библиотеку, а я нередко устраивала и кое-какие свои дела: шла к кому-нибудь из знакомых за книгами или возвращала полученные. Иногда я заставала хозяев за обедом, и они гостеприимно тащили меня разделить с ними трапезу. Я всегда упорно отказывалась, хотя запах пищи, разносившийся в комнате, пробуждал во мне волчий аппетит: мне казалось, что, приняв приглашение, я невольно начну есть с жадностью и обнаружу то, что я так старалась скрывать; мне кто-то в уши точно нашептывал: «Страдай до конца без стона, без жалобы, без сочувствия».

Но вот наступила пятая неделя нашего блуждания по несуществующим обедам, а в моем кармане оставалось

лишь немного мелочи, которой не могло хватить на весь следующий день на пропитание детей и прислуги.

— Не отпустить ли мне няню? — советовалась я с Василием Ивановичем, но тут же сокрушалась о том, как тяжело это будет: няня — такая чудесная женщина, так искренно любит детей и нас! А для меня самой как горько, как обидно прекратить литературную работу: с уходом няни мне никогда не придется присесть к письменному столу, никогда не кончу я своего педагогического труда, который так уже подвинут вперед [10], следовательно, должна буду похерить все мечты и надежды на будущее. Трудно было отпустить няню и потому, что младший сын, крайне болезненный мальчик, постоянно хворавший, требовал не только безотлучного присутствия при себе, но и множества услуг.

— Никакая новая урезка тут не поможет. Опять придем к тому же,— проговорил Василий Иванович после долгого молчания.

— Нам бы пробиться год-другой... У тебя и у меня будут готовы книги к печати... Но что же делать теперь, сию минуту? Ведь завтра уже детям нечего будет есть! Боже мой, что же делать? Что делать, говори же?..— И я зарыдала.

— То, что все делают в подобных случаях! Одно... одно средство...— каким-то раздирающим душу воплем прокричал мой муж и, не докончив фразы, быстро выбежал из комнаты. В первый и последний раз в жизни не мог сдержать себя этот на редкость выдержанный человек, большую часть своей жизни не только боровшийся со всевозможными лишениями, но и с нищетой в буквальном смысле этого слова. Никто никогда не мог сказать, в каком он настроении: он не выдавал его ни словом, ни звуком, ни жестом, работал каждую ночь до пяти часов утра и, кажется, только на этот раз решительно ничего не делал, а курил и шагал по своей комнате.

Убийственный намек, брошенный Василием Ивановичем, который нетрудно было понять без объяснений, потряс мой организм; одно воспоминание о нем приводило меня в ужас и исступление. Я очутилась в детской, бросилась на колени перед спавшими детьми и то с отчаянием умоляла их навести меня на мысль, что мне делать, то проклинала судьбу, что я не могу молиться, что я не верю ни во что, что я не надеюсь ни на высшую благость, ни на божье милосердье, что я лишена даже этого утешения.

На другой день Василий Иванович рано ушел в Публич-

ную библиотеку, а у меня работа валилась из рук. Отдав последнюю мелочь на покупку провизии для завтрака, я вошла в детскую. К моему изумлению, мой младший сын, который без чужой помощи уже несколько месяцев не мог приподнять голову от подушки, теперь сидел в кроватке и просил его одеть. В последние дни я замечала улучшение его здоровья, на что указывала и врачу, который объяснял это усиленными приемами рыбьего жира и ваннами из морской соли.

— Да ведь он у нас поправился от молочной пищи! — воскликнула няня радостно и наклонилась к ребенку, уже так давно не сидевшему самостоятельно.— Доктора-то ваши все приказывают кормить говядиной, а наши крестьянские ребята и в глаза ее не видят. Там, где есть коровушка да бог хлебом не обидел, какие они здоровые да ядреные!

— Зато сколько их и умирает по деревням в раннем детстве! — заметила я.

Тем не менее меня тоже очень удивляло, что мой больной мальчик начал поправляться именно в последнее время, когда, вследствие отсутствия средств, я начала питать его исключительно молочною и мучною пищей.

Возвращаюсь к прерванному рассказу. Более бодрый вид ребенка и неподдельная радость няни несколько ослабили мучительную боль моего сердца. Я решила, что хотя и не заплатила няне жалованья за два месяца, но еще попрошу у нее взаймы несколько рублей. Мне казалось, что поговорить с ней об этом мне будет не очень трудно... Но боже мой, боже мой! Что же будет через несколько дней, когда опять ничего не останется, а впереди ничего, решительно ничего? Слезы падали на исхудалые пальцы ребенка, когда я усаживала его в кресло и расстанавливала на столике перед ним игрушки. В эту минуту кто-то громко позвонил. Няня вышла и через минуту подала мне карточку с фамилией, мне совершенно неизвестною.

Передо мной стоял человек средних лет с копною густых, кудрявых волос, своим обликом напоминавший художника. Он заговорил о том, что вот уже целый год, как он собирает сведения о портретах и картинах Угрюмова, Воробьева и других. Я сказала, что у нас есть только портрет отца моего мужа, но кем он написан — не знаю, и ввела его в кабинет.

— Ведь это же кисти Угрюмова! [11] У вас должны быть и другие его вещи, а также портреты и картины некоторых умерших художников.

Он открыл записную тетрадь и начал вычитывать из нее

всю подноготную отца моего мужа, его родни и знакомых, среди которых были художники такие-то и такие.

— Некоторые их произведения,— говорил он,— а также многие другие, перешли в собственность отца вашего мужа. Когда он разорился, а затем умер [12], все его произведения поступили в собственность матери Василия Ивановича, а после нее достались вашему мужу. Между ними должен находиться портрет одного сановника времен Николая Павловича: его прежде всего я и разыскиваю.

Только тут я вспомнила, что как-то нашла в одном углу нашей квартиры большой сундук и увидала, что он сплошь набит испорченными картинами. Он был водворен на чердак, где с тех пор и оставался, никому не нужный и всеми забытый. Когда по просьбе посетителя его внесли и открыли, он с ужасом всплеснул руками:

— Мало удавить тех, кто так относится к искусству! — произнес он, не стесняясь моим присутствием, и быстро начал вынимать и раскладывать портреты и картины на столе и полу; между ними нашелся и портрет вельможи со звездой. Все портреты,— их оказалось гораздо более, чем картин,— были покрыты плесенью от сырости; на некоторых из них зияли даже трещины и дырки, и все они были изрядно перепачканы.

— Если эти произведения валялись у вас на чердаке в таком преступном небрежении, они вам не нужны. За этого сановника со звездой я могу вам дать двадцать пять рублей. Впрочем, я хочу купить все ваши картины. Вы сами видите, что некоторые из них никуда не годятся: я даю за все двадцать штук — триста пятьдесят рублей.

От неожиданного счастья у меня забилось сердце и всю меня так стало передергивать и трясти, что я ничего не могла выговорить!

— Ведь вот вы ничего не смыслите в искусстве, а теперь думаете, что я хочу вас нагреть... Дескать, не найдется ли другого покупателя, который даст за этот хлам еще больше.

— Нет, нет, берите, если только можете сию минуту отдать мне деньги,— проговорила я наконец.

Он сейчас же отдал мне деньги.

— А теперь продайте мне портрет отца вашего мужа.

Я просила его раньше взглянуть на две небольшие неиспорченные картины: на одной из них были изображены монахи, молящиеся в часовне, а на другой — пейзаж. За них любитель картин давал еще 100 рублей, но я взяла его адрес и обещала ответить на его предложение на другой же

день. Прощаясь, он приглашал меня посетить его мастерскую месяца через два, когда все купленные им картины будут реставрированы.

Я побежала отдавать жалованье служащим. С сияющими лицами они бросились меня обнимать, а няня, обливаясь слезами, умоляла оставить ее жалованье у меня.

— Когда совсем выправитесь с делами, тогда и отдадите. А нельзя будет, так год и два без жалованья служить буду. На башмаки или на что нужно у меня маленько прикоплено. А то я, глядючи на вас, совсем извелась! Поди же ты, какое горе свалилось! И с Варварушкой, вот при ней скажу, во как ссорилась за то, что она о ту пору своими глупыми словами ваше сердце пуще растравляла.

Подошла ко мне и кухарка с извинениями и тоже с просьбой оставлять у меня и ее жалованье.

— В книжку-то приписывайте, аккуратно приписывайте каждый месяц, чтобы, значит, чего не забыть, ну, а опосля все сразу и подсчитаете...

— Как посмотрю я на тебя, и глупая же ты, Варвара! И чего ты их наставляешь: «В книжку кажинный раз приписывайте»... Деревня! Тебе-то что? Не таковские, чтобы за ними что пропадало. Не первый год живешь,— сердито наступала на нее няня.

— Барыня, голубушка... Ах ты, господи, опять запамятовала!.. Вы ведь не любите, чтобы вас барынею называли...— припомнила Варвара мою просьбу: по принципу шестидесятых годов мы с негодованием отвергли эту кличку.— Я не такая зубоскалка, как она, что ни скажу, все поейному неладно... А я вас уж так прошу, так прошу: не то что с жалованьем могу потерпеть, а чтобы, значит, когда нужда опять вас пристукнет, так прихватите вы у меня деньжонок,— у меня больше ейного прикоплено. Она ведь целый день свои деньжонки транжирит на кофеи да на сливки.

Меня до глубины души тронули эти слова сердечного участия. «Как резко отличалось отношение этих двух простых женщин от поведения моей подруги, у которой я имела несчастье взять в долг»,— пронеслось у меня в голове. Я горячо благодарила их и не стала настаивать, чтобы они тотчас получили свое жалованье, уверенная в том, что это их обидит. Их сочувственное отношение очень помогло мне пережить и дальнейшую страду моей жизни. Обе они беспрестанно прибегали ко мне посоветоваться, как устроить подешевле то или другое домашнее дело или покупку, когда забор провизии в долг опять превышал

месячный срок. Варвара тащила с собой в лавку няню, рассчитывая на ее красноречие более, чем на свое собственное. И торговцы не тревожили теперь меня напоминанием об уплате. К тому же обе они зорко наблюдали за тем, чтобы в лавках ничего не приписывали лишнего. Мои отношения к ним тоже изменились: я говорила им теперь, когда кто-нибудь из нас получал работу или плату за нее. Как они радовались последнему и вперегонку начинали высчитывать, на сколько времени хватит у нас денег. Это было большим нравственным удовлетворением и облегчением для моей экспансивной натуры.

Когда Василий Иванович пришел за мной, чтобы отправиться на «фантастический обед», у нас стол уже был накрыт и вносили кушанье. Няня и я, мы со всеми подробностями передавали ему о чудесном избавлении нас от голода и мора. В первый раз после пяти недель мы наелись досыта.

У нас зашел разговор о двух картинах («Монахи в часовне» и «Пейзаж»). Василий Иванович очень удивлялся, что не вспомнил о них даже в такое критическое время, которое мы только что переживали. Он просил меня снести их в «Общество поощрения художеств» и узнать у Григоровича, нельзя ли их принять на выставку [13].

На вопрос Григоровича, за сколько я желаю их продать, я отвечала, что ничего в этом не понимаю и прошу позволения руководиться в этом деле исключительно его советом. По его мнению, за них следует назначить столько, чтобы за вычетом уплаты процентов в «Общество» для меня очистилось не менее 200 рублей. Мы так и решили. И на этот раз нам повезло: еще не наступили рождественские праздники, а Григорович уже известил меня, что картины проданы. Полученные за них деньги я немедленно вручила моей подруге С. и так была рада, что полугодовой срок, на который я брала деньги взаймы, еще не истек.

Мне недолго пришлось радоваться избавлению нас от грозившей опасности: уплатив неотложные долги из денег, вырученных за продажу картин, у меня опять оставалось немного. Неопределенный, совершенно случайный, заработок [14] и тяжелое материальное положение становилось хроническим.

Среди наших знакомых распространился слух, что мы продали картины (которые я забросила на чердак на съедение крысам) и что это улучшило несколько наше материальное положение. За все это время мы мало кого видели из наших знакомых. Если не было необходимости достать

какую-либо книгу или журнал, мы решительно никуда не выходили; с весны не было у нас и приемных дней. Впрочем, число их не только у нас, но посещение знакомыми своих друзей и близких вообще сильно поубавилось во время тяжелого периода этой ужасающей реакции.

Однажды к нам зашли два наших хороших знакомых: один из них, всегда оживленный, жизнерадостный студент, умел экспромтом и стишок сказать, подходящий к случаю, и сатирическую песенку спеть по поводу какого-нибудь дикого или курьезного общественного явления, и пляску сплясать с какими-нибудь смешными выкрутасами, и пробарабанить на фортепьяно для танцующих польку или вальс. Другой, года на три-четыре его старше, уже окончивший курс юрист — человек довольно мрачного типа; многие находили его красноречивым, а сам себя он считал чуть не будущим Демосфеном [15]. Оба они объявили, что пришли к нам по поручению наших общих знакомых. «Мрачный юрист» произнес чуть ли не настоящую речь, а студент иногда вставлял благожелательное или остроумное словцо, что настолько смягчало укоризненный тон, выговор, который наставительно делал нам старший из них, и настолько серьезно, что можно было принять нас за провинившихся школьников. Когда на его вопрос, почему мы нигде не показываемся и закрыли наши вторники, мы отвечали ссылкою на занятия — это лишь подстрекнуло оратора к настоящему обличению.

— Умственно развитые люди,— говорил он,— прекрасно знают, что вы невинно пострадали от произвола и самодурства правительства, все более угнетающих честных людей. А как вы реагировали на это? Вместо того чтобы ближе сплотиться со всеми нами, поделиться мыслями по этому поводу и продолжать вращаться в среде ваших единомышленников, вы совершенно изолировались от них. А почему? Потому что вы попали в тяжелое материальное положение. Вот тут-то бы, казалось, и нужно было убедиться в симпатии к вам ваших знакомых и искать утешения в их сочувствии... Но из того, что вы не могли кормить нас закусками и ужинами... да, да, только из-за этого, я твердо убежден в этом, крепко-накрепко заперли двери вашего дома. Мы должны не для жратвы объединяться... Если при продолжительном сидении и по слабости человеческой натуры требуется перекусить, то почему же вы не вспомнили прекрасную традицию начала этого десятилетия, честное товарищеское правило? Ведь когда-то вы сами

приходили в гости с тюричками... Что же, вы могли это делать относительно других, но, сохрани бог, чтобы кто-нибудь посмел это сделать относительно вас! Вас недаром считают гордячкой! Мысль — перед носом друзей запереть дверь — приписывают не Василию Ивановичу, а вам, Елизавета Николаевна, особе с дворянским, шляхетским гонором. Да будет вам стыдно!

— У вас веселятся от души, болтают без всяких стеснений... Какая жалость, что нельзя больше к вам приходить! — воспользовался студент маленьким перерывом во время длинной речи товарища.

— Да... с вашей стороны такое предвзятое изолирование от общества — поступок антисоциальный, узкоэгоистический. Теперь, когда вы крыс накормили картинами, вы можете пригласить нас в следующий вторник и напоить чаем. Если что-нибудь будет кроме этого, мы предупреждаем заранее, что все вынесем в кухню.

Во всех этих речах, теперь кажущихся архаическими, наивными и комичными, которые торжественно произносились нередко по поводу пустяка, выражались нравы того времени: в них сказывались и стремление к обличению, и желание солидарности между знакомыми, но в то же время при всяком удобном случае красною нитью проходило и искреннее сочувствие к ближним.

Мы горячо поблагодарили наших посетителей и просили передать знакомым, что будем ждать их к себе в следующий вторник.

Первою явилась Е. К. Гайдебурова.

— Я сказала вашей нянюшке оставить дверь открытою: за мною к вам идут гости. Когда они соберутся, пусть занимают сами себя, а мы с вами отправимся побеседовать в вашу комнату.

Не подозревая, что она умышленно желает вывести меня из столовой, я охотно последовала за нею.

— Гости желают видеть хозяйку! — кричали за дверью уже через полчаса после того, как мы уединились. Я вошла к ним и страшно переконфузилась. Наш обеденный стол был раздвинут и обильно уставлен всевозможными яствами и пивными бутылками.

Нелегко было жить тогда, очень тяжела была борьба за существование, но люди, которых мы наиболее уважали из нашей компании, не шли на компромиссы, чтобы обеспечить себя, мужественно боролись с лишениями и препятствиями, и их участливое сердечное отношение друг к другу, солидарность во взглядах на общественные задачи,

служили большим утешением, вливая мужество и энергию для продолжения трудовой жизни.

С момента удаления со службы В. И. Водовозов ненадолго отвлекался от главных своих литературных работ ради небольших случайных заказов. Во все остальное время он трудился над своими книгами: над «Практической славянской грамматикой» и «Словесностью в образцах и разборах» [16]. Но одна за другой они появились лишь через два — два с половиной года. Кстати замечу: Василий Иванович приобрел привычку работать почти одновременно над двумя книгами, объясняя это тем, что когда голова утомлена одним трудом, ему необходимо оставить его на несколько дней и заняться другим; только это одно, по его словам, дает ему возможность никогда не прекращать умственный труд. И этому правилу он неизменно следовал до конца своей жизни.

Среди случайных литературных заказов были работы на довольно странных условиях. Однажды к нему явился Паульсон (основатель педагогического журнала «Учитель») и заявил, что он составляет две книги для чтения в элементарных школах: одна из них носит название «Первая учебная книжка» и была издана уже раньше, но ей предстоит переиздаваться, другая — «Вторая учебная книжка» [17]. Он просил Василия Ивановича написать для его обеих книг сколько для него возможно стихотворений, как оригинальных, так и переводных, лишь бы содержание их соответствовало назначению. По словам Паульсона, он, не получив стихотворений, не может заранее определить гонорара, но он «не обидит». Последнее, конечно, он добавил тоном шутки.

— Да, вот еще что,— сказал этот человек, который со всеми разговаривал весьма высокомерно, а в эту минуту как-то сконфузился и потерял свой обычный самонадеянный тон,— ни в первой, ни во второй части моей книги я не нахожу удобным выставлять имя автора каких бы то ни было стихотворений. К тому же стихотворения эти вы мне передаете в полную мою собственность раз навсегда. Говорю об этом так детально, чтобы впоследствии не было каких-либо недоразумений и пререканий. Надеюсь, что письменного условия с вами не потребуется.

— Конечно, я спорить и прекословить не буду...— в тон ему отвечал Василий Иванович,— я так люблю писать стихи! Когда у меня является эта страстишка, не подходящая для настоящего времени, я стараюсь себя обуздать.

А так как эта работа будет теперь оплачена, я, кажется, присосусь к ней.

По черновым рукописям стихотворений, оставшихся после смерти Василия Ивановича, двадцать шесть стихотворений оригинальных и переводных было помещено в двух книжках Паульсона без имени их автора. Но, вероятно, их было гораздо больше: он нередко писал стихи на отдельных листках, бросая куда попало те из них, которые были уже напечатаны. За все эти стихотворения Василий Иванович получил от Паульсона 150 рублей и находил эту плату вполне удовлетворительною. Любопытно, что в своих двух книгах Паульсон, когда заимствовал из чего бы то ни было уже напечатанного, он аккуратно указывал и называл имена авторов, только имя Василия Ивановича никогда не было упомянуто. Понятно, всеми было признано, что все неподписанное в двух книжках Паульсона принадлежит его перу. Оказалось, что при этом он имел предлог, хотя, конечно, весьма своеобразный, для оправдания себя: «Называю фамилии писателей, давших мне *лишь* печатный материал для помещения в моей книге, как и было мною условлено с автором».

Ушинский очень недолюбливал Паульсона за его чересчур авторитетный и самоуверенный тон и в компании знакомых нередко острил над этою чертою его характера. Однажды на одном из педагогических собраний Ушинский возражал Паульсону и начал словами: «Самомнение и самолюбование — свойства недоброкачественные и у нас по справедливости не пользуются особым фавором. Но что сказать о специальном реферате господина Паульсона, только что прочитанном перед собранием почтенных педагогов, основанием которого служат исключительно гнилые подпорки?» И затем, путем неопровержимых научных данных, он разбил в пух и прах реферат Паульсона. Это сильно посбавило его спесь и заносчивость, и члены педагогического собрания, раздраженные его высокомерием, часто и после этого инцидента вспоминали о блестящем возражении Ушинского, столь тяжелом для самолюбия Паульсона.

Однажды Ушинский приехал к нам с книгою Паульсона: в ней лежало несколько закладок.

— Признавайтесь, Василий Иванович, эти стихотворения — ваше произведение? Употреблять кстати народные обороты, писать литературно, да еще стихами, Паульсон, конечно, не может...

Василий Иванович сознался и рассказал об условиях

с Паульсоном. Чтобы смягчить негодование Ушинского, сейчас же отразившееся на его физиономии, Василий Иванович похвастался хорошим гонораром.

— Как, вы считаете щедрым гонораром сто пятьдесят рублей за множество стихотворений? Упражнения, которыми господин Паульсон снабдил свою книжонку для обучения родной речи, несомненно, принадлежат его перу. В них рельефно сказывается отсутствие понимания духа русского языка и детской психологии. А ваши стихи и все повыдерганное им из чужих произведений даст возможность его книжонке выдержать несколько изданий. Вы же останетесь при пиковом интересе. И вы еще отдали ваш труд в полную его собственность, даже без права получить вознаграждение при последующих изданиях. Мне просто обидно за вас! И какой негодяй этот Паульсон: даже имя от вас отнял, нигде не подписал его, точно все ваши стихотворения его собственные. Это просто возмутительно до невероятности. Вот оно, наше вековое рабство!

Затем Ушинский начал резко выговаривать мне за то, что я допустила такую эксплуатацию и не оказала ему, моему наставнику, хотя самое маленькое доверие, не рассказала ему о наших материальных невзгодах, не взяла у него в долг, чтобы не допускать такого вопиющего безобразия. Он сам приехал бы все разузнать о нас, но, долго прожив вне Петербурга, не имел об этом никакого представления.

Из случайных работ, очень нечасто перепадавших в период наших тяжелых материальных невзгод, но хорошо оплачивавших авторский труд и приносивших нравственное удовлетворение, были статьи Василия Ивановича в «Отечественных записках» (во времена редакторства Некрасова, Елисеева и Салтыкова) под названием «Обзор книг и руководств для общего образования» [18]. Особенное оживление внесло в жизнь Василия Ивановича летнее временное заведование редакцнею «Отечественных записок». Когда однажды Елисеев уезжал на лето лечиться за границу, он передал свои обязанности Василию Ивановичу. Елисеев остался им, видимо, очень доволен, так как он говорил мне, от какой массы чтения плохих статей избавил его в то время Василий Иванович, какой подробный отчет он давал ему письменно об их содержании, до какой щепетильности он доходил, когда приходилось решать вопрос относительно приема той или иной статьи, при малейшем сомнении отсылая рукопись за границу на просмотр ему, Елисееву.

Некрасов, встретив Василия Ивановича, просил назначить ему день, когда он может посетить нас. Василий Иванович пригласил его на наш журфикс во вторник. Никогда не забуду, сколько неприятностей и огорчений вынесла я во время этого появления у нас Некрасова.

Вместе с другими к нам в тот вечер пришел наш знакомый, Владимир Романович Щиглев [19]. Это был человек вполне честный, не без некоторого и литературного дарования, но не по разуму радикальный, крайне узкий и однобокий в своих суждениях, всегда точно ищущий, на кого бы направить стрелы своего грубоватого остроумия и до неловкости прямолинейного, резкого обличения. Он был чистокровным нигилистом до мозга костей, и хотя грубость нигилизма и его эксцентричности в мелочах сильно сгладились в конце шестидесятых годов, но Владимир Романович оставался совершенно таким же, каким был в начале этого десятилетия. Для примера приведу следующее.

Однажды он пришел к нам и, увидав на столе оттиск уже гораздо раньше напечатанного в журнале перевода трагедии Софокла «Антигона» [20], спросил:

— Зачем извлечена из архива эта азбучная старина?

Когда он узнал, что Василий Иванович собирается издать ее отдельной книжечкой, он, по обыкновению, резко заметил:

— А к вам таки, как банный лист, прилипли старые кумиры... Ведь они в свое время уже были высмеяны!

— И напрасно... Такое произведение, как «Антигона», вечно останется прекрасным поэтическим произведением,— отвечал Василий Иванович.

— А вот я считаю это с вашей стороны если не настоящей изменой знамени, то, во всяком случае, сделкою с совестью,— отрезал он.

И вот этот-то человек ненавидел Некрасова всеми силами своей души за его стихотворения, посвященные Муравьеву и Комиссарову [21]. Его неутолимая ненависть не угомонилась и тогда, когда поэт в свое оправдание напечатал свое дивное, трогательное стихотворение «Неизвестному другу» [22]; те же злобные чувства пылали в нем и позже, когда уже выяснилось, что стихотворение к Муравьеву, которое особенно скомпрометировало репутацию знаменитого поэта, было написано им не для приобретения личных выгод, а чтобы спасти «Современник» и под влиянием советов знакомых. Но В. Р. Щиглев презирал какие бы то ни было выяснения и смотрел на них как на принципиальную неустойчивость тех, кто думал, что можно чем-нибудь

обелить, как он выражался, «гнусные преступления против общества».

На этот раз у нас было много гостей: мы устроили для приема их две комнаты рядом и настежь открыли двери той и другой, так что образовалась как бы одна большая комната. Первая из них была уже занята гостями, сидевшими за чайным столом, а в их числе и Некрасов с Василием Ивановичем. Во второй комнате — подле двери передней за стол усаживались только что входившие посетители. Пришел и Владимир Романович. Он долго не замечал Некрасова, хотя узнать его было нетрудно по фотографиям, которые повсюду продавались. Наконец Владимир Романович остановил на нем свой взгляд. Краска негодования мгновенно покрыла его щеки; он откинулся на спинку стула и с вызывающим видом бросил мне, неподалеку сидящей от него:

— Как? У вас этот Исав, который за чечевичную похлебку продал свое первородство! [23] И вы, пострадавшие от современного строя, водите знакомство, делите хлеб-соль с человеком, публично выступавшим с прославлением героев нашего гнусного режима?

Одна из дам, сидевшая подле него, дернула его за рукав и зашептала ему что-то, чтобы прекратить скандал, но подлила только масла в огонь. Владимир Романович резко выдернул свой рукав и продолжал громить еще с более искусственным злобным хохотом:

— Да-с, такие писатели, как этот господин, более других повинны в общественных подлостях! Они снискали себе громкую популярность своими произведениями честного характера, а как только ветер подул в другую сторону, переменили направление и пустились прославлять мерзавцев, которые душат честных людей. Не оправдывать следует таких перебежчиков, а клеймить!..

От этих слов у меня просто потемнело в глазах. Моя соседка дернула меня за плечо со словами: «Вас зовут!» Я выскочила в переднюю, где меня ожидал Василий Иванович.

— Ради бога, уйми ты его! Это же ведь просто скандал.

— Неужели Некрасов слышал?

— Не знаю: по выражению его физиономии ничего не заметно, но до меня явственно дошли слова Владимира Романовича. В нашей комнате все стараются громко болтать, чтобы заглушить его голос.

— Да уймитесь же вы, наконец! Ведь ему все слышно,— говорила я, наклоняясь к Владимиру Романовичу.

— А! И вы начинаете подвиливать, подлипать и припа-

дать к нужным человечкам! Конечно, сухая ложка рот дерет! — И он встал и, не прощаясь ни с кем, вышел в переднюю.

После его ухода ушли и остальные гости, а вместе с ними и Некрасов, который, таким образом, посетил наш дом в первый и последний раз. Но он при встречах с Василием Ивановичем в редакции «Отечественных записок» не менял своего дружески-внимательного отношения к нему. Очень скоро после «происшествия» с ним у нас, о котором мы не могли вспомнить без крайне тяжелого чувства, Некрасов пригласил Василия Ивановича к себе на обед, на котором присутствовали и многие сотрудники его журнала.

Теперь я возвращусь ко времени, немного более раннему, а именно к началу 1867 года, когда журнал «Отечественные записки» принадлежал еще А. А. Краевскому [24]. Однажды от секретаря этого журнала я получила записку, в которой он извещал меня, чтобы я приехала к А. А. Краевскому, если я еще и теперь нуждаюсь в компилятивной работе. Это известие потрясло меня своею неожиданностью.

«Как, он вспомнил свое обещание! Краевский, о котором я слыхала столько дурного [25], который произвел и на меня весьма неприятное впечатление!» — думала я.

— Вы, конечно, не ожидали, что я вспомню о своем обещании? — спросил Краевский, как только что я успела раскланяться с ним и произнести несколько слов благодарности. Он объяснил мне, что купил за очень дорогую цену (какую, он не назвал) целую охапку рукописей — материалов о крестьянских волнениях в Оренбургском крае в 1842—1843 годах.

— Все эти рукописи часто об одном и том же событии в той или другой местности, но описанные различными людьми; вы тщательно прочтете, и не один раз, конечно, и должны толково изложить в очерке приблизительно в пять-семь печатных листов.

Он позвонил служителю и приказал вынести за мной на извозчика плетеную корзину. Когда я приехала домой, я увидала, что она была вся сплошь набита рукописями, из которых каждая была написана особым почерком, большею частью в тетрадях школьного формата на грубой желтоватой и сероватой бумаге. Я немедленно приступила к разборке и чтению рукописей. Они уже на первых порах представляли для меня множество затруднений. Об одном и том же волнении в одной и той же местности было часто по нескольку описаний, сделанных различными лицами и противоречащих одно другому в весьма существенных чертах,

нередко даже в показаниях самих крестьян. Еще более затруднял меня неразборчивый почерк громадного большинства этих рукописей. Просиживая нередко целый день с утра до поздней ночи за разбором какой-нибудь тетрадки в десять — пятнадцать листиков, мне все же приходилось обращаться то к одному, то к другому знакомому с просьбой прочитать мне неразборчивые строки. Чтобы лучше вникнуть в смысл описываемых событий, я была вынуждена в конце концов переписать большую часть присланных мне бумаг.

Когда после самого усидчивого полугодового изучения материалов у меня уже было написано более половины статьи, мне кто-то сказал (дело было в конце декабря 1867 года), что с будущего года журнал «Отечественные записки» переходит в руки Некрасова. Я немедленно отправилась к Краевскому, который подтвердил справедливость слухов и шутливо добавил, что он продал «Отечественные записки» вместе со мной. Но он тотчас же переменил шутливый тон на более участливый, вероятно, потому, что прочел на моем лице выражение полного отчаяния.

— Могу вас уверить, что я говорил о моем заказе в размере пять-семь печатных листов, сделанном вам. Мне пришлось упомянуть об этом будущим редакторам «Отечественных записок» как потому, что я считал своею обязанностью это сделать по отношению к вам, так и для того, чтобы поставить им на вид, что материал, порученный вам для обработки, приобретен мною за несколько сот рублей. Раньше я не мог известить вас о переходе моего журнала в другие руки: дал слово никому не говорить об этом, чтобы болтовня не привлекла особого внимания цензоров к новому журналу. Редакторами будут: Некрасов, Салтыков и Елисеев. Следовательно, согласие на напечатание вашего труда будет зависеть от Елисеева. Я с ним уже говорил о вас, на что он отвечал мне, что для будущей редакции названная мною тема весьма подходящая и, если работа будет хорошо выполнена, он, Елисеев, примет ее с удовольствием.

Меня до того поразило это известие, что я совсем растерялась. Не говоря ни слова Краевскому, я протянула ему руку на прощанье и отправилась к Елисееву, с которым я была уже знакома.

Екатерина Павловна Елисеева — особа маленького роста, худенькая, с мелкими симпатичными чертами лица, чрезвычайно подвижная, состояла в то время в гражданском браке с Г. З. Елисеевым. Характерными качествами ее

были необыкновенная доброта и жалостливость к людям вообще, но особенно к своим любимицам и любимчикам, которым она всегда готова была сделать все, что только могла. К несчастью, это далеко не всегда удавалось по ее же вине: она отличалась большою рассеянностью и нередко вносила просто сумбур при исполнении деловых поручений. При этом она страдала отсутствием памяти: часто даже при простой передаче результатов порученного ей дела она многое перепутывала, одним словом, попросту была особой порядочно-таки бестолковою. Это давало повод ее знакомым подтрунивать над нею и рассказывать по этому поводу смешные анекдоты как за ее спиной, так и в ее присутствии, причем она первая заливалась от смеха вместе с другими.

Ее экспансивность, правдивость, искренность и прямота доходили у нее до прямолинейности и нередко ставили многих в неловкое положение. Но самою выдающеюся чертою ее характера была безумная, страстная любовь, доходящая до пламенного обожания, к своему мужу. Это она доказала всею своею жизнью до последнего вздоха, своими заботами о нем, всеми своими поступками и отношением к нему. Его интересы, желания, вкусы она всегда ставила выше своих. Безумная любовь к нему была и причиною ее смерти. Она не только безотлучно находилась при нем во время его смертельной болезни, но когда он скончался, то после каждой панихиды, отслуженной у его смертного одра, когда все расходились, она садилась у его изголовья, покрывала его лицо поцелуями, вытирала своим носовым платком его лицо, а затем свое собственное. Я сама застала ее в одну из таких минут. Делала ли она это сознательно, чтобы заразиться трупным ядом, или потому, что покойник возбуждал в ней такую же страстную любовь, как и при жизни, и она, глядя на него в последние минуты перед вечной разлукой, думала только о том, что ее жизнь без боготворимого ею человека теряет для нее всякий смысл... Кто знает! Но она пережила его лишь на несколько дней: смертельно заболела, слегла в день его похорон и не могла на них присутствовать,— она умерла от крупозного воспаления легких.

Скоро после первого знакомства с Екатериной Павловной меня крайне удивило, что она называет своего мужа «мамкою». Я просила ее объяснить мне причину этого странного эпитета, который она давала человеку, ничуть не напоминавшему женщину.

— Григорий Захарович,— говорила я,— напротив,

представляет характерный тип мужчины во всем блеске своей физической силы, ума и красоты.

Екатерина Павловна бросилась меня обнимать.

— Ты хорошо это сказала... Очень хорошо!

Меня страшно ошеломило ее фамильярное обращение ко мне на «ты», что я услышала от нее в первый раз. Заметив мое смущение, одна из ее любимиц, сидевшая тут же, объяснила мне, что на «ты» Екатерина Павловна обращается ко всем симпатичным для нее молодым девушкам и дамам.

— Понятно. Иначе значило бы оскорбить. А за что? Я не сумасшедшая!

Выражение «я не сумасшедшая» зачастую срывалось с ее уст. Когда Григорий Захарович слышал это, он обыкновенно говорил что-нибудь в таком роде: «Ну, это еще нужно доказать!»

Екатерина Павловна объяснила мне, что называет мужа «мамкою», «мамулечкою» потому, что каждому мать дороже всего на свете.

Не раз приходилось мне обедать у Екатерины Павловны вместе с ее знакомыми. Когда перед нею ставили блюдо с кушаньем, она тщательно его осматривала, выбирала лучший кусок, клала его на тарелку, бежала с нею к мужу, пододвигала ему нож и вилку, и быстро возвращалась на место. Однажды я шутя заметила ей, что она должна предпочтение отдавать нам, гостям, а особенно дамам, а не своим домашним. Она же, покачивая головой, как-то задумчиво произнесла:

— Да что мне за дело до вас всех, и мужчин, и дам!

Раздался общий хохот сидевших за столом. А она, не стесняясь, продолжала по-прежнему:

— И чего мне фальшивить? Всегда и всюду у меня только одна забота, одна думка в голове — он, мой голубчик!

Действительно, все остальное в мире отодвигала она на большую дистанцию от предмета своей страсти, тем не менее все достойное сочувствия вызывало у нее горячий отклик. Стоило ей, бывало, услышать от кого-нибудь о несчастной девушке, приехавшей из провинции учиться и захворавшей или очутившейся в безвыходном положении без денег и теплой одежды, Екатерина Павловна тотчас же просила передать ей то и другое. И это было даже тогда, когда средства Елисеевых были весьма ограниченны. Когда она не могла помочь ни деньгами, ни одеждой, она брала адрес несчастной девушки, чтобы в судках посылать ей

часть своего обеда. Мне не раз приходилось прибегать к помощи Екатерины Павловны, чтобы добыть какие-нибудь занятия для нуждающихся. Екатерина Павловна не забывала о просьбе, объезжала своих знакомых, но когда она приезжала ко мне, чтобы сообщить о результатах своих хлопот, она то и дело что-нибудь перепутывала: вместо того чтобы искать занятий музыкой и французским языком, она находила занятия французским и немецким языками. При этом она же обрушивалась на меня с негодованием:

— Ты должна была бы от времени до времени напоминать мне, что тебе от меня надо. А лучше всего написала бы два слова: «музыка, французский», вот и вся недолга.

— Конечно, вы больше виноваты, чем она,— с своей неизменно саркастической улыбкой замечал Григорий Захарович.— Понять Екатерину Павловну дело несложное, а вы давно с ней знакомы и все не можете приноровиться к ней.

— Ты один только, мамулечка, сокровище мое, знаешь все, что следует... Пошлет меня за книгой или за чем-нибудь другим и все запишет. Вот я у него никогда ничего не перепутываю...— И она бросается его обнимать.

Он освобождал свою шею от ее объятий, но никогда не делал этого резко или грубо, а чаще всего совсем не отстранялся от ее ласк даже в присутствии посторонних. Если бы они стесняли или шокировали его, ему бы, конечно, стоило сказать ей только одно слово и это уже никогда бы не повторялось.

— Вы, вероятно, хорошо знакомы с французскою пасторалью,— говорил Григорий Захарович, обращаясь ко мне в одну из минут, когда она душила его в своих объятиях.— А теперь полюбуйтесь на идиллию из русской семейной жизни.

Хотя Екатерина Павловна совсем бесцеремонно обращалась с молодыми девушками, но была горячо любима ими. Однажды я пришла на ее четверговый журфикс довольно рано, а несколько молоденьких девушек уже увивались около нее и без умолку болтали, перебивая друг друга.

— Ну, довольно стрекотать! Брысь по местам! Когда кто приходит позначительнее вас, вы без напоминания должны освобождать место...— говорила она им не то шутливо, не то сердито.

Барышни с хохотом бросились к стульям подальше от стола.

— Ну, моя значительность довольно сомнительного характера...— заметила я.

— Зачем так говорить?.. Как же тебя приравнивать

к этим птицам небесным? Ты и постарше их, и порассудительнее, и уже давно работаешь. А они что? Стрекозы, сороки. Может, стрекотанием-то у них все и ограничится.

Особенно усердно защищала Екатерина Павловна всех, кого она любила, от нападок, сплетен и злословия. В таких случаях она проявляла необыкновенную стойкость, мужество, даже выдержку, что, казалось, совсем было несвойственно ее натуре. По этому поводу произошел однажды даже превеликий скандал. У Гайдебурова в доме было многочисленное собрание знакомых. Присутствовали на нем и Елисеевы. Это было в ту пору, когда оба супруга особенно дружили с Мариею Александровною Маркович (Марко Вовчок) [26]. В одной группе заговорили о том, что она, получая переводы от Звонарева с платою по 15 рублей за лист, передает их другим, уплачивая за него по 6—7 рублей, а остальное кладет в свой карман.

— Может быть, на ее обязанности лежит редактирование переводов и ей приходится много возиться с выправкою их,— заметила Екатерина Павловна.

Но тут со всех сторон градом посыпались обвинения на Маркович. Самыми горячими обвинительницами явились Е. И. Конради и Л. П. Шелгунова, обе писательницы-переводчицы. Они смело называли фамилии своих знакомых, подвергшихся разнообразной эксплуатации со стороны Маркович. В пылу этих обличений никто не замечал или не придал никакого значения тому, что Екатерина Павловна то и дело переспрашивала фамилии лиц, пострадавших от Марко Вовчок, и, наклоняясь над столиком в углу, что-то записывала. Когда хозяева пригласили к закуске своих гостей, Екатерина Павловна, садясь за стол, заявила громогласно, что если бы все то, что было здесь сказано о Маркович, подтвердилось, то ни она, ни «мамка» не считали бы возможным подавать ей руку. Судя по оживленной улыбке Григория Захаровича, можно было думать, что он вполне одобряет выходку своей жены.

Прошло несколько недель, и я уже забыла об этом инциденте, как вдруг ко мне приехала Екатерина Павловна и Марко Вовчок, которую я несколько раз встречала у Елисеевых, но до тех пор мы не бывали друг у друга. Романами и рассказами преимущественно из быта малорусских крестьян Марко Вовчок приобрела огромную популярность в обществе, особенно среди молодежи того времени. Это была женщина выше среднего роста, полная, не особенно красивая, но, как про нее говорили, лучше всякой красавицы. Тогда она была уже не первой молодости, с чрезвычай-

но густыми, широкими черными бровями, с несколько расплывшимися, но весьма подвижными чертами лица, с умными темно-синими проницательными глазами. Одета она была всегда необыкновенно изящно, по моде, но небрежно. Екатерина Павловна заявила, что она завезла Марко Вовчок, а сама посидит у меня недолго: ей необходимо посетить кое-кого все по тому же «грязному делу». На мой вопрос, о каком деле она говорит, она тотчас же напала на меня за то, что я так легко забыла о помоях, которыми обливали Марию Александровну, «нашу честную, всеми уважаемую писательницу», с энтузиазмом говорила она, добавив к этому, «что если все так легко забывать и прощать клеветницам, то они всегда останутся такими же низкопробными существами. В таком случае мужчины будут вправе считать себя выше нас, женщин, даже в нравственном отношении... На это не должна равнодушно смотреть ни одна порядочная женщина». Затем Екатерина Павловна сообщила, что собрала сведения относительно большинства тех, с кем Мария Александровна, по словам сплетниц, поступила будто бы подло, а между тем оказывается уже в данную минуту, что ничего подобного не было. Впрочем, от некоторых еще не получены письма, с другими ей необходимо повидаться.

— Екатерина Павловна оказывается особой с рыцарской душой,— заговорила М. А. Маркович.— Скажите, пожалуйста, кто это нынче с таким самоотвержением защищает своих близких? Ведь она устроила настоящую анкету по моему делу, рассылает своих юных приятельниц, чтобы узнать только о том, когда та или другая дама может ее принять... Можете себе представить, до чего недобросовестными оказались госпожи Конради и Шелгунова: они ссылались даже на лиц, будто бы мною эксплуатируемых, но которых я никогда и в глаза не видала! Представьте же себе, сколько клевет прилипает к именам тех, у которых нет таких защитников, таких ангелов-хранителей, таких рыцарски честных людей, как Екатерина Павловна.

— При чем тут рыцарство? Обязанность каждого порядочного человека преследовать сплетниц... «Мамка» говорит, что это необходимо особенно для нас, женщин, чтобы оздоровить среду, в которой мы вращаемся, чтобы не краснеть за тех, с кем мы поддерживаем знакомство.

Вероятно, об усердном расследовании вышеизложенного дела не доходило никаких сведений ни до Конради, ни до Шелгуновой, так как обе они опять явились к Гайдебуровым на одно из последующих собраний. Вот тут-то Екате-

рина Павловна и начала их безжалостно разоблачать, прочитав одно за другим несколько писем от лиц, на которых указано было, как на жертв, подвергшихся эксплуатации со стороны Марко Вовчка. В одном из них отрицалось какое бы то ни было знакомство с нею, а потому-де писавшая и не могла говорить Шелгуновой что бы то ни было о ней, а тем более указывать на ее некорректные поступки; в другом указывалось, что однажды писавшая расспрашивала Конради о Марко Вовчке потому, что интересовалась ею как женщиною-писательницею; переводов же от нее она никаких не имела. В третьем письме писавшая объясняла, что она рассказывала лишь о том, как однажды носила Марко Вовчку на прочтение свой роман, которого та не одобрила, и добавила, что ею, вероятно, руководило jalousie de métier; * других же отношений она с этой писательницею никаких не имела. Вообще, слухи о Маркович как об эксплуататорше, как убедительно доказывала Екатерина Павловна, не подтвердились. Хотя Конради и Шелгунова продолжали настаивать на своем, утверждая, что все эти «дамы» испугались попасть в «историю», а потому и показывают теперь не то, что они раньше говорили, но Екатерина Павловна без стеснения назвала их особами, легкомысленно и преступно опорочившими честное имя известной писательницы.

Однако дружба между Елисеевыми и Маркович длилась недолго. Когда вышел ее перевод сказок Андерсена, то в одной из газет было указано, что многие места в них были слово в слово списаны из ранее напечатанного издания переводов тех же сказок, выпущенного в свет другими лицами, кажется, Трубниковой и Стасовой [27]. Чтобы более наглядно доказать это, соответственные места того и другого перевода были напечатаны en regard **.

Еще до появления этой обличительной статьи Елисеева не раз говорила мне о том, что я некорректно отношусь к Маркович: она-де известная писательница, особа постарше меня годами, а уже несколько раз посещала меня, а я только однажды ответила на ее первый визит. Я наконец собралась к ней, но это как раз пришлось через недели две после появления в свет злосчастной для нее статьи. Чтобы отправиться к Маркович вместе с Екатериной Павловной, я зашла к последней, но та наотрез отказалась сопровождать меня. Екатерина Павловна заявила, что хотя и поддерживает знакомство с нею, но между ними произошло охлаждение.

* чувство профессиональной ревности, зависти *(фр.)*.
** параллельно, рядом *(фр.)*.

— Ведь «мамку» не подкупишь ни золотом всего мира, ни дружбой. Когда появилось указание, что Марко Вовчок ограбила чужой перевод, она оправдывалась перед нами тем, что особа, которой она поручила его, подвела ее. Но «мамка» прекратил эти разглагольствования, прямо заявив ей, что с ее стороны это было, во всяком случае, весьма легкомысленно.

Когда я вошла к Маркович, она на этот раз совсем не имела вида светской сдержанной особы. С места в карьер она стала упрекать меня за то, что я под влиянием распространенной о ней гнусной клеветы порвала с нею знакомство, даже в такую, как эта, тяжелую минуту ее жизни. Когда я напомнила ей, что мое посещение опровергает взводимое на меня обвинение, она, крепко пожимая мне руки, со слезами, катившимися по ее щекам, нервно заговорила о том, что раскроет на третейском суде весь злонамеренный заговор, составленный против нее одним дамским кружком, члены которого из зависти к ее популярности решили ее погубить и облить грязью. Вообще она говорила на этот раз чрезвычайно много, и едва ли сознавая то, что так безудержно срывалось с ее уст. Но для меня было ясно одно, что она находилась до невменяемости в крайне возбужденном состоянии.

Теперь я возвращусь к прерванному рассказу, к последним числам декабря 1867 года, когда от Краевского я отправилась к Елисееву. Как только передо мной была открыта дверь его квартиры, я услышала мужские голоса, доносившиеся из кабинета в переднюю. В столовой я застала Екатерину Павловну, суетившуюся над приготовлением закуски. Она сказала мне, что Некрасов, Салтыков и Григорий Захарович обсуждали вопрос о выходе в свет первого номера «Отечественных записок», что их совещание скоро окончится, что она и меня приглашает принять участие в закуске. Но я просила ее лишь на несколько минут вызвать ко мне Григория Захаровича, так как я должна торопиться домой.

— Как, ты отказываешься познакомиться с такими знаменитостями, как Некрасов и Салтыков? Каждый на твоем месте отдал бы все на свете, чтобы хоть одним глазком взглянуть на них, послушать их разговоры, даже посмотреть на них, когда они едят.

— Вероятно, они делают это, как все смертные. Я чрезвычайно люблю читать произведения этих знаменитостей, а глазеть на них или навязывать им свою особу вовсе не стремлюсь.

— Зачем глазеть, ты разговаривай. Ведь ты у нас смелая! По правде сказать, я на днях даже подивилась твоей излишней самонадеянности: «мамка» говорил мне, что ты статью написала для нового журнала. Да понимаешь ли ты, какой это будет журнал? Это будет самый первый, самый лучший журнал в России! А тебя и это нисколько не смутило...

— Вы опять напутали, Екатерина Павловна!

Я объяснила ей, в чем дело, и просила вызвать Григория Захаровича. Он подтвердил все сказанное Краевским и прибавил, что для первых книжек «Отечественных записок» у них имеется уже громадный материал, чтобы я принесла ему мою статью через три-четыре месяца, так как раньше у него не будет времени ее прочитать. Я отвечала, что еще не кончила эту работу, но к назначенному сроку она будет готова.

На возвратном пути домой я почувствовала себя крайне плохо. Как только я легла в постель, меня стала душить смертельная боль в горле. Я с ужасом думала о том, что придется позвать врача, а платить нечем. Тогда мне пришла в голову мысль написать моей близкой знакомой, жившей около нас, которая была замужем за известным в то время доктором Тихомировым, чтобы она попросила своего мужа посетить меня.

Тихомиров скоро явился и заявил, что у меня дифтерит.

Тогда еще не была изобретена спасительная антидифтеритная сыворотка для подкожного впрыскивания, и меня лечили полосканиями и прижиганиями горла. Доктор приходил не только по нескольку раз в день, но и ночью сидел подолгу у моей постели, наблюдая за ходом болезни. Только невыносимая тяжелая болезнь не давала мне страдать еще и нравственно из-за того, что этот великодушнейший человек теряет столько времени для меня, а я не имею возможности хотя сколько-нибудь вознаградить его за труды. Дня четыре я задыхалась по многу раз в сутки, а когда в первый раз после этого заснула покойно, спазмы в горле прошли и меня не душило более, доктор объявил, что я нахожусь вне опасности, но тогда наступил второй период болезни — страшная слабость. Тихомиров долго еще продолжал посещать меня почти ежедневно. Этот до невероятности ужасающий упадок сил, не дозволяющий мне ни поднять головы, ни пошевелить рукою, вероятно, усиливался от все более возраставшей тревоги, что я не могу работать, что я пропущу срок представления статьи. Однако временами я чувствовала немного более сил, и тогда мне

казалось, что я слишком поддаюсь болезненному настроению: я просила няню принести мои тетради и усадить меня, обложив подушками. Но голова кружилась так, что я не могла ни соображать, ни сидеть более нескольких минут. Доктору донесли о моем поведении, и он начал убеждать меня, что я могу сильно повредить себе преждевременною попыткою работать. Я вдруг разволновалась: мое сердце преисполнилось величайшею благодарностью к этому самоотверженному человеку; неожиданно для меня самой у меня ручьями потекли слезы, я схватила его руку, поцеловала, не будучи в состоянии произнести ни звука.

Как только я встала с постели, я начала работать и с каждым днем чувствовала, что работа — моя спасительница и утешительница во всех несчастиях, моя отрада, счастье и наслаждение всей моей жизни, что она успокаивает нервы лучше всяких лекарств и дает с каждым днем все более силы забывать житейские невзгоды, напряженнсе углубляться в труд, окрыляет надеждою расплатиться наконец со всеми долгами, которых накопилось особенно много вследствие экстренных расходов за время болезни.

В конце марта работа была совершенно окончена, но стояла такая суровая погода, что я решила прежде, чем выйти на воздух в первый раз после тяжелой болезни, несколько повременить. Вдруг вышел апрельский номер «Вестника Европы» со статьей «Позднейшие волнения в Оренбургском крае в 1843 г.». Я бросилась читать ее и к ужасу своему пришла к заключению, что она составлена по тем же материалам, которые имелись и в моем распоряжении. Я не могла понять, как это могло случиться, и отправилась к Елисееву. Он также подивился этому и посоветовал для выяснения дела съездить в редакцию «Вестника Европы». Мое заявление заинтересовало сотрудников, находившихся в это время в редакции. Оказалось, что автор означенной статьи, г. Середа, только что возвратил материал, порученный ему [28]. Мне дозволили взять столько рукописей, сколько я пожелаю, с условием возвратить их после проверки. Когда я сличила их с рукописями, бывшими у меня, то оказалось, что они представляют точную копию с материалов, полученных мною от Краевского. Каждое волнение в той или другой местности Оренбургского края было описано в двух совершенно тождественных рукописях, написанных даже одним и тем же почерком. Ясно было, что какой-то человек, оставшийся неизвестным, продал по одному экземпляру описаний этих

волнений и в «Вестник Европы» и в «Отечественные записки».

Долго после этого удара я чувствовала себя какой-то пришибленной, индифферентной ко всему, меня окружавшему, бессильной начать новый труд.

К СВЕТУ

Из жизни людей шестидесятых годов

I

Как-то осенью, в первой половине шестидесятых годов, в мою квартиру позвонили. Когда я открыла дверь, на пороге передо мной стояла молодая, красивая девушка с нежным, здоровым румянцем на щеках, с густыми каштановыми волнистыми волосами, с темно-карими глазами. Эта была моя подруга по институту, Антонина Николаевна Садовская *. Только что мы успели расцеловаться, как кто-то опять дернул за колокольчик. Оказалось, что два дворника втаскивали ее чемоданы, узлы и картонки. Чрезвычайно смущаясь, густо краснея и помогая расставлять свои вещи, Тоня конфузливо бросала мне:

— Представь! Ведь я наконец совсем удрала от своих старух! Бога ради, не сердись на меня! Я так бесцеремонно нагрянула к тебе... Даже не предупредила. Мне ведь больше некуда деваться! Позволь провести у тебя хотя сутки. А завтра мы вместе поищем для меня какое-нибудь пристанище.

Хотя разрыв молодого поколения со старым был самою характерною чертою шестидесятых годов и мне то и дело приходилось быть свидетельницею того, как молодежь обоего пола уходила из-под родительского крова даже там, где детей страстно любили и где они, в свою очередь, были привязаны к родному гнезду, но все же я была чрезвычайно поражена «бегством» Тони,— так оно мало соответствовало ее характеру.

Историю ее дошкольной жизни мне отчасти рассказывала она сама, но еще лучше я познакомилась с нею из писем ее опекуна. Она лишилась матери в самом раннем детстве.

* Некоторые лица в этом очерке названы вымышленными именами, а писатели выступают под своими настоящими фамилиями. *(Примеч. Е. Н. Водовозовой.)*

Ее отец был учителем математики в одном из учебных заведений Воронежа. Оставшись вдовцом с двухлетним ребенком на руках и имея в городе свой собственный деревянный дом, Садовский прежде всего переселил к себе своего закадычного друга еще по университету, холостяка Муравского, учителя литературы в том же заведении, в котором служил и сам Садовский. Оба приятеля страстно привязались к маленькой девочке, оба чрезвычайно любили возиться с нею, внимательно следили за ее воспитанием, а через несколько лет Муравский занимался ею еще более, чем родной отец, который хворал очень часто и подолгу.

В то время знание иностранных языков считалось первым условием хорошего воспитания и воспитатели Тони нанимали для нее иностранок, а когда пришло время учить, сами стали ее учителями.

Садовский умер, когда его дочери было лет шесть. Он оставил завещание, по которому опекуном дочери, полным распорядителем ее судьбы и имущества был назначен крестный отец Тони, Муравский. Умирая, Садовский просил своего друга вести воспитание Тони в таком же духе, как оно было поставлено при нем, и тратить на него пятитысячный капитал, который он оставил в его распоряжение; когда же девочке исполнится девять лет, Муравский должен был определить ее в институт, даже если она не попадет в него по баллотировке [1]. В таком случае ему предписывалось продать дом и вырученные деньги вносить за ее воспитание.

Опекун исполнил более чем добросовестно желание своего приятеля. Он не тронул капитала Тони, а домашнее воспитание давал ей на собственные средства, заработанные им самим, присоединяя к этому и проценты с ее небольшого капитала. Когда девочке исполнилось девять лет, он отправился с нею в Петербург. Не желая лишать свою крестницу родственных привязанностей и заранее скорбя о том, что в институте ее ждет одиночество, если ее никто не будет навещать, он поехал познакомиться с ее родными тетками, сестрами матери Тони, двумя престарелыми девицами Алтаевыми. Сестры не могли пробудить в нем симпатии авторитетным, наставительным тоном и высказываемыми ими сентенциями в духе Домостроя. Очень огорчили они его и тем, что не проявили никаких родственных чувств к своей племяннице. Они заявили опекуну, что девушка только и может проникнуться правилами нравственности при воспитании в монастырской школе. Если Муравский последует их совету, они возьмут племянницу

на свое попечение и судьба ее впоследствии будет вполне обеспечена. Принуждать ее сделаться монахинею они не намерены, но если она сама почувствует призвание к монашеской жизни, она навсегда поступит в монастырь, а не пожелает — будет жить с ними, с своими родными тетками. Получив воспитание в монастырской школе, девушка, по их мнению, избежит житейского соблазна, и они, ее тетки, уже позаботятся о ее дальнейшей судьбе. Опекун отказался от этого предложения, ссылаясь на свое обещание, данное умершему другу, определить сироту в институт.

— В таком случае мы умываем руки,— отвечали старые девы, холодно распростились с ним и с своею племянницею. На просьбу Муравского посещать девочку в институте они отвечали неопределенно, и за все время воспитания Тони ни разу не поинтересовались ею, не ответили даже ни на одно из ее поздравительных писем, которые она, по требованию крестного, писала им в первые годы своей институтской жизни, ни разу не навестили ее и никого не присылали к ней. Только Муравский летом, раз в два года, когда он освобождался от учительских обязанностей, на две, на три недели приезжал в Петербург. Тогда он аккуратно являлся в приемные дни к своей крестнице.

В противоположность громадному большинству экспансивных институток, Тоня была если не скрытною, то весьма замкнутою особою и совершенно индифферентно относилась ко всем окружающим, как к властям предержащим, так и к товаркам. Она ни с кем особенно не сближалась, никому не выказывала ни привязанности, ни антипатии. Классным дамам она не грубила, но не была у них и в фаворе: они скорее недолюбливали ее, так как она, по институтской терминологии, не подлизывалась к ним и не дружила с теми из подруг, которые пользовались их благосклонностью. Причиною нерасположения начальства к девочке, со всеми вежливой, было также и ее упрямство. Когда ее наказывали (в младшем классе института наказания сыпались на головы воспитанниц как из рога изобилия), не было той силы, которая могла бы принудить ее попросить прощения. Это ставило в крайне неловкое положение классных дам. Инстинкты влекли Тоню скорее к порядочным, чем к дурным подругам, которых она сторонилась, но делала она это для них менее оскорбительно, чем кто бы то ни было из нас, выказывавших им всегда ненависть, презрение и выкидывавших относительно их злые проделки. Не будучи ни с кем из подруг ни в особенно дружелюбных, ни во враждебных отношениях, Тоня относительно товарок ни-

когда не заклеймила себя ни предательством, ни малейшим двусмысленным поступком с точки зрения школьной этики.

Когда в институте начались реформы знаменитого Ушинского и большая часть взрослых воспитанниц жадно набросилась на чтение, она тоже почитывала, но без особого увлечения, ни с кем не делясь своими мыслями насчет прочитанного. Однажды, уже незадолго до нашего выпуска из института, увидав ее за чтением произведения одного из классиков, я спросила ее: «Неужели и оно не растопит ее, «нашу ледяную глыбу»,— это было прозвище, которое мы дали Тоне. Она подняла голову от книги и с минуту смотрела на меня молча.

— А ты приходишь от всего или в восторг, или в отчаяние, кого-нибудь ненавидишь и проклинаешь или превозносишь до небес. Всегда бурлишь, всегда кипишь! Объясни мне, как ты вся не выкипишь!

Тоня вообще очень редко высказывала свои мысли и мнения, никогда не говорила о своем желании начать после выхода из института самостоятельную трудовую жизнь, о чем мы и вслух и про себя горячо мечтали с тех пор, как в наших стенах, замуравленных от всего живого, появился Ушинский с приглашенными им новыми учителями. Тем не менее она была очень неглупою девушкой; такою ее считали учителя и мы, ее подруги, судя по ее ответам и сочинениям.

— А мне было бы очень интересно знать,— сказала я ей вместо ответа,— если бы ты хотя раз искренно назвала мне причину, которая заставляет тебя ко всему и ко всем относиться так безразлично холодно? Почему ты никого не любишь? Как это выходит так, что решительно ничто не волнует тебя, ничто не трогает?

— Ты очень ошибаешься. Меня трогает, но только один человек в мире — мой крестный. Он один меня любит, только он один на свете интересуется мною, и я одного его люблю. А здесь для меня решительно всё и все безразличны. Ты в таком восторге от теперешнего преподавания и возможности чтения хороших произведений... Да, конечно, наша институтская жизнь теперь интересней прежнего. Но я ведь не из воспламеняющихся: вероятно, нужен огромный костер или горячее солнце, чтобы растопить такую «ледяную глыбу», как я.

Она доказала впоследствии, что правильно охарактеризовала себя в то время. Ее индифферентизм долго поддерживался отчасти природною холодностью ее темперамента

и какою-то преждевременною рассудительностью, но также и запоздалым физическим развитием, при котором кровь спокойно переливается в жилах, организм не получил еще толчка, мозг не начинал работать над разрешением жизненных проблем, а сердце молчит.

По окончании институтского образования Тоня решила остаться пепиньеркой, то есть пройти специальный педагогический класс в том же институте. Молодые девушки этого класса имели уже право выезжать в известные дни. И вот в это-то время Тоня иногда посещала мой дом, изредка театр, но чаще всего оставалась в институте, не пользуясь даже своими свободными днями. Ни разу не была она и у теток,— так оскорбило ее их невнимание к ней.

Хотя во время ее двухлетнего пребывания в специальном классе мой дом был единственным, который Тоня изредка посещала, хотя она с большею сердечностью относилась ко мне, чем прежде, но я не считала ее особенно близкою для себя, и прежде всего потому, что мы совершенно расходились с нею во взглядах на многие вопросы, чрезвычайно дорогие для меня. Прожив наиболее острый период зари нашего обновления в институте [2] и оставляя его только иногда, и то на несколько часов, она, конечно, не могла бы даже и при желании броситься в водоворот кипучей жизни шестидесятых годов. Но у нее и не могло быть подобного стремления: далеко не все идеи того времени были ей по душе, а к опрощению жизни, ко многим обычаям, нравам и одежде нигилистов она относилась с более горячим порицанием, чем это даже свойственно было ее натуре. Она считала всенеобходимым для девушки хорошие манеры и красивую одежду. Сама она имела вид светской барышни, прекрасно воспитанной и одетой хотя очень просто, но всегда изящно и с большим вкусом. При этом она постоянно высказывала сожаление, что ее ограниченные материальные средства не дозволяют ей гораздо больше тратить на свой туалет, а у меня и у людей мне близких задачи и стремления были совсем иного характера.

Раз она встретила у меня прехорошенькую молодую девушку с обстриженными волосами и в гладком черном платье, не украшенном никакою отделкой.

— А, это, значит, тоже нигилистка? — заговорила Тоня, когда гостья ушла.— Надела на себя монашеское облачение, по-мальчишески остригла волосы и воображает, что она героиня!

— Она и есть настоящая героиня! Исключительно своим трудом — уроками музыки и языков, разрисовкой

красками вееров и экранов — она содержит больную мать, двух маленьких племянниц и себя. Мало того, она еще умудряется давать два даровых урока в неделю в той школе, где я преподаю.

— Не умалила бы своих добродетелей, если бы немного расцветила свой монашеский туалет хотя бы каким-нибудь цветным бантиком: ведь цена ленты какой-нибудь четвертак.

— Вероятно, и четвертак для нее большой расчет. Ей, с утра до ночи занятой серьезной работой и заботой, некогда думать об украшениях. Мне кажется, только тот заслуживает порицания за свою более чем скромную одежду, кто прибегает к опрощению исключительно для выставки своих прогрессивных идей, во всех же других случаях это не минус, а плюс.

Когда Тоня увидала меня в первый раз после того как я отрезала свою косу, она посмотрела на это с не меньшим ужасом, как если бы я собственными руками отрезала себе уши или нос.

— Как могла ты, как решилась обезобразить себя? Ты представлялась мне всегда самостоятельным человеком, и вдруг рабски следуешь этой уродливой нигилистической моде!

Я ей указывала на то, что мои из ряду вон густые и непослушные волосы не только заставляли меня тратить на них много времени, но я так-таки и не научилась самостоятельно причесываться, всегда имела растрепанный вид, что меня страшно смущало. Но мои оправдания казались ей плохо мотивированными, и она находила мой поступок крайне глупым и унизительным для женского достоинства. Это не мешало ей с добротою и превеликим вниманием заботиться о моем туалете: она доставала мои платья из шкапов и старалась, если только была возможность, украсить их какими-нибудь кружевцами, бантиками или ленточками, и когда я не мешала ей это делать, она более снисходительно относилась, как она называла, к моим «нигилистическим замашкам и повадкам».

Когда Тоня кончила педагогический курс в институте, к ней приехал ее опекун и она объявила ему, что не желает более с ним расставаться, просила его увезти ее с собою в Воронеж и найти ей уроки в каком-нибудь учебном заведении этого города. Хотя он сам желал поселиться с обожаемою им крестницею, но боялся, что это сожительство вдвоем с молодою девушкою может повредить ее репутации; он чистосердечно высказал ей это, а также что он

находится в большом затруднении, куда ему деть ее, так как она не желала гувернантствовать, дозволить же ей жить одной в Петербурге он считает опасным. Преследуемый этою заботою, он известил Алтаевых, что желает показать им их родную племянницу, уже взрослую девушку. Он неожиданно получил от них весьма любезное приглашение и вместе с крестницею был принят чрезвычайно радушно. Тетки упросили племянницу погостить у них несколько дней.

Когда по их просьбе Тоня написала несколько деловых писем и исполнила кое-какие поручения, они стали уговаривать ее совсем остаться жить у них. Они уже немощные старухи; жаловались они, что часто похварывают, что зрение у них слабеет,— вот Тоня и была бы их помощницею, заботилась бы о них во время их частых болезней, иногда почитала бы им кое-что, съездила бы кое-куда по их делам,— ведь такой труд не обременителен. А им так хотелось бы иметь в своем доме близкого человека: им невозможно обходиться теперь без чужой помощи. Пробовали они для этого брать молодых девушек, но все они оказывались «вертихвостками и никчемными». Нечего и говорить, добавляли они, что родные тетки не обидят свою племянницу и сироту: она будет у них вполне обеспечена, может выбрать для себя комнату, а если пожелает, то две и три,— ведь квартира у них в собственном доме, и весьма просторная.

Опекуну старухи сепаратно говорили о том, что если они поладят с племянницею, то она после их смерти получит половину их состояния, а другую половину они завещают на благотворительные дела и на помин души. Муравскому же, вследствие случайного знакомства с доверенным по их делам, только что сделалось известным, что у Алтаевых огромное состояние: под Москвою большое поместье, в государственном банке солидный капитал на хранении и собственный дом на Сергиевской. Доверенный по их делам не скрыл от Муравского и того, что обе сестры — большие ханжи и порядочные скряги. Да и сам Муравский хотя не знал их близко, но только по тому, что он видел и слышал, не обманывал ни себя, ни Тоню, что ее жизнь у старых дев не может быть особенно привлекательною для молодой девушки. Однако уверенность в том, что красивая, умная и рассудительная Тоня в конце концов непременно покорит сердца своих теток и пробудит в них запоздалую материнскую любовь, а также надежда, что она впоследствии будет богатою наследницею, настолько соблазнили Муравского,

что он уговорил крестницу остаться у теток, не спросив их даже о том, будут ли они что-нибудь давать на ее туалет и карманные расходы.

Жизнь Тони у Алтаевых оказалась несравненно более неприятною, чем предполагали она сама и ее опекун. На нее сразу взвалили массу поручений, хлопот и дел, для исполнения которых ей то и дело приходилось разъезжать по всему Петербургу. Каждую свободную минуту она должна была читать теткам жития святых, писать письма под диктовку или самостоятельно набрасывать их, а также подсчитывать расходы и доходы по имению и дому. Старухи точно боялись оставить Тоню без дела хотя на минуту. Они наперед говорили ей: сделаешь это, начинай то-то. Когда изредка все было исполнено и казалось, что Тоня может отправиться в свою комнату, старухи просили ее вышить «хотя маленький букетик» по канве ковра, который они по обету должны были преподнести в ту или другую церковь. Каждое воскресенье, каждый большой праздник и накануне их она должна была сопровождать теток в церковь. По воскресеньям старухи давали обед знакомым духовным лицам, и такой день приносил Тоне особенно много хлопот.

Все это терпела скрепя сердце молодая девушка, но ее совершенно выводило из себя требование теток, чтобы она, исполняя свою обязанность разливать чай, все время присутствовала при беседах с ними монахов и монахинь, каких-то подозрительных проходимцев под видом странников и странниц с Афона и сборщиков на построение храма, которые то и дело заходили к ним по вечерам. Старухи с интересом слушали их россказни о чудотворных иконах и о странствиях по святым местам и находили их очень назидательными для такой молодой девушки, как Тоня.

Через несколько месяцев жизни у теток Тоня, одурев от постылой жизни, просила их разрешить ей съездить в театр, но они резко отказали ей, объясняя свой отказ тем, что при поступлении к ним она не предупредила их о своей любви к театральным зрелищам, которые, по их мнению, могут только погубить нравственность девушки; к тому же им и не с кем отпускать ее, а такой девушке, как она, неприлично выезжать одной. На ее возражение, что она целыми днями разъезжает одна по их поручениям, они отвечали, что это совсем другое,— тогда каждый видит, что она занята своим делом, а в театре мужчины, возбужденные безнравственными современными пьесами, только и думают

о том, как бы прицепиться к девушке и наговорить ей всяких пошлых комплиментов.

Тоня написала крестному, что жизнь у теток для нее несравненно тяжелее той, которую она вела в педагогическом классе института: тогда она, хотя изредка, могла выезжать в театр и куда ей хотелось. Крестный думал, что тетки будут наряжать ее, как куколку, а они то и дело упрекают ее за ее туалеты, слишком элегантные для сироты и бедной девушки. Скупы они до невероятности: для ничтожной поправки в доме они рассылают дворников во все концы города, чтобы найти столяра или слесаря на гривенник дешевле. С поваром каждый день происходит баталия за дорого заплаченную морковь или репу. Она не получает ни копейки вознаграждения за свой беспокойный труд, а между тем ей необходимы деньги, чтобы покупать себе то башмаки, то перчатки. Они не дозволяют ей помимо своих поручений никуда выезжать; она так завалена их делами, что даже не имеет возможности что-нибудь прочесть для себя.

Это письмо привело в негодование Муравского: он не щадил собственных средств, чтобы только не трогать маленький капитал своей крестницы, а теперь он должен высылать по крайней мере рублей двадцать пять на ее карманные расходы. Поразило его и то, что она ведет такую подневольную, замкнутую жизнь. Он требовал, чтобы Тоня немедленно выговорила для себя определенное время для выезда и для своего собственного чтения, чтобы она прямо и смело заявила им, что он, ее опекун, немедленно возьмет ее к себе и найдет ей уроки на сорок — пятьдесят рублей в месяц, и даже в таком случае она будет занята не более как до пяти-шести часов вечера. Он думает, писал он, что этих угроз достаточно будет для того, чтобы привести старух в христианскую веру, что эти ханжи и скряги побоятся лишиться в ее лице даровой компаньонки-экономки. Но тем не менее он просил Тоню, если только у нее хватит терпения, не порывать с ними окончательно: «Твои тетки обещали мне обеспечить тебя в будущем, а я могу так мало сделать для тебя!»

Как-то вечером Алтаевы, не дождавшись посещения любимого монаха Варсонофия, обещавшего к ним зайти, позвали к себе Тоню для чтения. Она отвечала, что явится через несколько минут, наскоро оделась, вошла к ним в пальто и шляпе и заявила, что ей сегодня некогда читать,— она решила посетить подругу и ночевать у нее.

Алтаевы были так поражены этим решительным заявле-

нием, что даже растерялись в первую минуту. Но когда дар слова к ним вернулся, то одна, то другая из них начала выкрикивать:

— Как ты смеешь так разговаривать с нами? Мы не знаем твоей подруги! Ты не можешь нас так опозорить!

— Если вы находите мое поведение предосудительным, вы можете сказать мне об этом завтра. В таком случае я немедленно телеграфирую опекуну, чтобы он приехал за мною, и поселюсь у него. Кстати, теперь рождественские праздники, и он свободен от занятий.

Она повернулась, чтобы уйти, а вслед ей старухи продолжали кричать:

— Как? Ты собираешься поселиться с холостым человеком? Да от тебя отвернется решительно все общество!

Когда Тоня после полугода жизни у Алтаевых в первый раз приехала к нам, я нашла ее похудевшею и побледневшею.

II

Тоня, будучи в педагогическом классе, посещала нас только по воскресеньям, да и то крайне редко. В первый раз она приехала к нам на журфикс во вторник, как раз в такое время, когда у нас, благодаря праздникам, должно было собраться особенно многолюдное общество.

И вот через час-другой все наши комнаты были переполнены преимущественно молодежью обоего пола, был кое-кто и из литераторов, а также и наш бывший инспектор в Смольном монастыре К. Д. Ушинский, знакомые дамы и между ними несколько моих подруг. Сели за чайный стол: собравшиеся мало-помалу все более оживлялись. Здесь и там сообщали новости городские и провинциальные, послышались смех, остроты, шутки, спор. Наконец гости сами бросились выносить в кухню самовар и посуду, сдвигали стулья и столы в комнату подле, и таким образом выгадывалось более места. Раздалось дружное хоровое пение. Выступали и солисты, и куплетисты, и импровизаторы, произносившие речи, в комическом виде изображая некоторые события из современной действительности, или стихи экспромтом, правда нередко сочиненные заранее. Но когда начались танцы, тут уже веселье достигло своего апогея. Танцы играли на фортепьяно два студента в четыре руки, а подле них сгруппировались аккомпаниаторы — молодые люди с балалайками.

Ко мне подсела Тоня, вся раскрасневшаяся от танцев, с блиставшими от удовольствия глазами. Наклоняясь ко мне, она заговорила:

— До чего у вас весело! Счастливая, счастливая! Посмотри! Даже Ушинский танцует кадриль! Правда, он только расхаживает, но его обычной суровой серьезности точно и не бывало! Господи! хохочет! Ну, этого я уже не могла себе представить!

В эту минуту ее кто-то потащил за руку и поставил в круг танцующих.

Я присела в уголок к маленькому столику, чтобы поболтать с Евгениею Карловною Гайдебуровою, которая пила чай. Ко мне опять подбежала Тоня и проговорила, обращаясь к ней:

— Простите, что я утащу ее от вас.

— Берите, берите... Я сию минуту покончу с чаем и сама явлюсь к вам.

— Знаешь, вот тут,— объясняла мне Тоня, указывая на небольшой кружок молодежи, сидевшей, сгруппировавшись, в маленькой комнате,— идет игра в загадки и разгадки. Тот, кто не сумел разгадать, должен по присуждению окружающих рассказать что-нибудь из прошлого, но именно такое, в чем ему трудно сознаться.

Хотя после первых лет шестидесятых годов обычай без утайки говорить в глаза окружающим все, что только придет в голову, стал ослабевать, но пока он еще держался: грубость нигилизма уже сглаживалась, но его основа осталась. Я очень боялась, что до ушей щепетильной Тони, никогда не бывавшей в такой бесцеремонной компании, дойдет что-нибудь, что будет ее шокировать. Когда мы очутились в этой группе, очередь рассказывать о своих прегрешениях оказалась за Зариным, молодым человеком лет 28, с симпатичным лицом, на котором оспа оставила заметные следы. «Будьте же добросовестны,— кричали ему со всех сторон,— чистосердечно расскажите о ваших грехах молодости!»

— Не можете же вы требовать от меня, господа, чтобы я перед всей честной компанией взял да и открыл крепко-накрепко замкнутый сундук со всеми моими прегрешениями? Мне самому до смерти совестно вспоминать о многом.

— Так вытягивайте из него что-нибудь комичное!

— Почему же только комичное? Можно и трагическое.

— Во всяком случае, Зарин, вы не имеете права уклоняться от нашего условия.

— Пусть будет по-вашему. Я расскажу то, о чем до сих

пор не могу вспомнить без краски стыда. Так вот: мне стукнул уже двадцать второй год, я только что перешел на третий курс юридического факультета и, должен сказать без хвастовства, был из серьезно занимающихся юношей. Несмотря на это, у меня была скверная привычка отправляться вечером после занятий, а то и ночью, шляться по улицам и приставать к одиноко идущим женщинам. Мне очень нравилось такое времяпрепровождение, и я находил, что это нисколько не предосудительно, даже полезно, как отдых после усидчивых занятий. И зачастую по вечерам или ночью я провожал то одну, то другую молодую особу, пока та не исчезала из моих глаз или не начинала во все горло звать городового. Тогда уже я со всех ног бросался в какой-нибудь переулок. Эта скверная привычка оставалась у меня даже и после того, когда однажды ночью я увидал небольшого роста худенькую-прехуденькую девушку, скорее даже подростка, которая боязливо пробиралась по улице, держа в одной руке портфельчик, вероятно с musique *. Еще пока я шел сзади нее и мои шаги гулко раздавались по тротуару, я заметил, что она вся дрожит как осиновый лист. Но ее страх и трепет ничуть не устыдили меня. Вдруг она сразу побежала, но я следовал за нею крупными шагами и скоро догнал ее, поравнялся с нею и положил руку на ее талию. Она еще пуще затрепетала, отбивалась, как пойманная птичка, слезливо всхлипывая, произносила какие-то бессвязные слова, а я еще крепче притянул ее к себе, и она без звука (верно, от страха у нее сделались спазмы в горле) почти упала на мою руку. Но в ту же минуту с шумом раскрылся ярко освещенный парадный подъезд дома, мимо которого мы с нею проходили. Оттуда на улицу вышло несколько мужчин и женщин. Схваченная и облапленная мною девочка точно сразу очнулась и как мышка юркнула в открытый подъезд. Волей-неволей я побрел домой, но должен сознаться, что и после своего возвращения я не почувствовал ни стыда, ни угрызения совести. Стою один в своей комнате и хохочу как дурак,— так мне было смешно вспоминать тот момент, когда трепещущую девочку я ощущал на своей руке, когда мне чудилось, что я слышу биение ее сердца. Эта позорная привычка, вероятно, довольно основательно сроднилась бы с моею душою, если бы не один случай...

— Однако вы, должно быть, порядочный мер...— вдруг гневно выкрикнул один из студентов, но присутствующие

* Здесь: с нотами *(фр.)*.

не дали ему кончить и с негодованием набросились на него: «Да ведь это же подло: принудить человека говорить о том, что ему тяжело вспоминать, а затем его же поносить!..»

— Я обещал рассказать, и докончу. Пусть уже после этого бросит в меня камнем тот, кто считает себя безгрешным в подобных делах.

Все сразу стихли.

— Так вот что нужно было, чтобы я наконец опомнился и оценил по достоинству свои похождения. Однажды в поздний осенний вечер навстречу мне шла высокая женщина. Она поравнялась со мною, и на хорошо освещенной улице я рассмотрел ее умное красивое лицо, смелое выражение ее прекрасных глаз. Когда она прошла мимо меня, я сейчас же пошел за нею. Молча прошли мы несколько минут, и я стал все ближе подходить к ней. Она тотчас остановилась и бросила мне несколько слов, в которых не было слышно ни волнения, ни конфузливости: «Не так близко! Слышишь, *ты?*» Хотя меня поразили ее высокомерные слова на «ты», точно окрик на лакея, который, несмотря на свое низкое социальное положение, осмеливается близко подойти к высокопоставленной особе, но они не пробудили во мне надлежащего сознания, а в первую минуту даже еще более подзадорили меня. Я смело поравнялся с нею и начал нести обычную околесицу: «Почему вы запрещаете приближаться к вам? Для меня чем ближе, тем несравненно приятнее»... и другую чушь.

Она шла молча, не замедляя и не ускоряя шага, но когда я выболтал все, что у меня было на языке, она, не останавливаясь, внимательно посмотрела на меня и, продолжая идти, заговорила с презрением: «Ты, видимо, порядочный-таки пошляк и шалопай. Вместо того чтобы учиться или вести с умными товарищами серьезную беседу, ты путаешься по улицам и тратишь свою жизнь на приставание к женщинам. К тому же ты еще и идиот! «Хочу ближе... для меня это несравненно приятнее...» (это она меня передразнила), а подумал ли ты, болван, что близость такого урода, как ты, всего изрытого оспой, должна приводить в ужас каждую женщину?»

Эти слова как громом поразили меня: они ужаснули, оскорбили, унизили меня до последней степени. Я бросился бы бежать без оглядки в ту же секунду, но точно окаменел,— прямо-таки не мог сдвинуться с места. Остановилась и моя обличительница и, точно заметив потрясающее впечатление, произведенное на меня ее словами, вдруг проговорила уже мягче:

— Ну, слава богу! В каком-то уголке *вашей* души есть еще стыд! Смотрите же (она только тут обратилась ко мне на «вы»), не растеряйте его в ваших авантюрах, а то они, верьте честному слову, сделают из вас форменного негодяя.— И она быстро двинулась вперед.

Я тоже почувствовал наконец возможность повернуть назад. Я возвратился домой, как жалкая, побитая собачонка, совершенно изничтоженный и опозоренный. Когда я, не раздеваясь, бросился на постель, я спрашивал себя, могло ли быть для человека что-нибудь еще более позорно-унизительное сравнительно с тем, что было мне только что сказано? Если бы на меня кто-нибудь ни с того ни с сего вылил громадный ушат грязных помоев, это было бы, пожалуй, еще хуже? «Ничуть,— тут же отвечал я сам себе,— это было бы только случайною неприятностью, а ее слова ошельмовали меня за мое действительно позорное поведение. Однако было бы еще хуже,— раздумывал я,— если бы она дала мне пощечину и плюнула бы в глаза». И опять я отвечал сам себе, что она имела на это полное нравственное право и что ее обращение со мною, все ее слова не менее истерзали мою душу, чем плевок и пощечина. Одним словом, господа,— кончил Зарин свое повествование,— с тех пор я совершенно излечился от своей позорной слабости.

— Господин Зарин! — вскакивая со своего места и протягивая руку молодому человеку, воскликнул господин среднего роста, с одухотворенной, в высшей степени интересной физиономией, чрезвычайно худощавый, с проницательно карими, лихорадочно блестевшими глазами: это был Ушинский.— Не осуждать вас должны мы, а выразить вам свою глубочайшую признательность. Очень многие делают и в зрелом возрасте еще похуже того, что вы проделывали в юности, но едва ли у многих хватит мужества так чистосердечно изложить позорную страницу своего прошлого. Такая откровенность, несомненно, имеет громадное моральное значение.

— Вас, наверно, и это не проняло? А сколько бы вы могли рассказать про себя такого,— сказала я пану Шершневскому.

Это был человек небольшого роста, некрасивый, лет за 35, с неинтеллигентным, точно хронически припухшим лицом. Его все называли паном Шершневским: он был поляк, но, хотя знал польский язык, говорил на нем крайне плохо. Этот весьма неинтересный субъект как-то особенно глупо ухаживал за всеми нестарыми женщинами и девушками и назойливо приставал к ним. Но даже и те из

них, которые имели некоторую склонность к флирту, не только конфузились, но страшно злились за подобную дерзость с его стороны и бесцеремонно гнали его прочь от себя.

— А вам, конечно,— отвечал он мне,— понравилось это всенародное покаяние уже потому, что его одобряет ваш богоподобный Ушинский. Раз он делает это, вы растериваете все ваши принципы, забываете, что никому не должно быть дела до личной жизни ближнего.

— Вы, по обыкновению, все перепутываете и сваливаете в одну кучу.— Но в эту минуту меня схватила за руку Тоня, и мы подсели с нею к Ушинскому.

— Расскажите-ка, Антонина Николаевна, как вы поживаете? Ведь я несколько лет вас не видел. Что хорошенького поделываете?

— Вот уж решительно ничего хорошего,— отвечала Тоня совершенно искренно, и она в нескольких словах обрисовала свою несложную и совсем несовременную жизнь у старых теток. В ее изображении можно было удивляться только тому, что такая неглупая девушка, ученица знаменитого Ушинского, могла быть совершенно лишена стремления к живой деятельности. Но у нее никогда не было ни малейшего поползновения представлять себя лучше, чем она была в действительности.

— Мне кажется,— сказал Ушинский,— даже как-то трудно представить себе жизнь, менее подходящую для здоровой, молодой девушки.

— Но, боже мой, Константин Дмитриевич! Где же мне жить, если не у теток? Матерьяльных средств у меня нет, если бы я даже и нашла какие-нибудь уроки, что очень трудно, то взять комнату у незнакомых людей мне не позволит опекун, да я и сама побоялась бы жить с чужими. К тому же на те гроши, которые нынче зарабатывают женщины, трудно устроиться даже весьма скромно.

— А вы не иначе согласитесь работать, как сразу получив место с хорошим окладом? Всем честным людям приходится вначале бороться с нуждою, лишениями и препятствиями. Жизнь без борьбы делает человека никуда не годною размазнею, немыслима для того, кто желает выработать в себе настоящую работоспособность и приобрести надлежащие знания.

Но тут мне пришлось отправиться в импровизированную столовую, устроенную, как обыкновенно, руками той же молодежи. Это была настолько маленькая комната, что большой стол нельзя было даже окружить стульями.

Когда я начала расставлять закуску, ко мне подошел Николай Александрович Манькович, молодой человек лет 27, красивый блондин высокого роста, года два тому назад кончивший университетский курс.

— Скажите, пожалуйста,— обратился он ко мне,— как фамилия вашей подруги? Я сегодня встретился с нею у вас в первый раз. Ведь ваших фиксов я ни разу не пропустил в этот сезон.

— А что, она вам понравилась?

— О да, даже очень и очень! Чудесная девушка: красивая, грациозная, без тени жеманства, кокетства и рисовки... А это такая редкость! Я все слышал, что она рассказывала о себе Ушинскому. Неужели она так же внезапно исчезнет, как появилась? Увы, увы, неужели же она промелькнет для меня, «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты»? [3]

— Теперь не время разговаривать: мне нужно расставлять закуски. А вот ваш отзыв я непременно передам ей, когда все разойдутся.— И я двинулась на другой конец стола.

— Я вам помогу,— не отставал он от меня, хватая посуду.— Видите ли что? — Он остановился и конфузливо теребил свою белокурую бородку, все не решаясь что-то сказать. Наконец, расхохотавшись, как-то искусственно, он проговорил скороговоркой: — Уж если вы хотите сплетничать, так сплетничайте сейчас, сию минуту, а я затем приглашу ее на мазурку.

— Несчастный! Вы не осмеливаетесь самостоятельно сказать даже комплимент?

— Раз это ваша подруга, значит, она современная особа... Скажи-ка кому-нибудь из вас комплимент, сейчас поставите на одну линию с паном Шершневским.

— Ну, вам не грозит эта опасность! От Адама и до настоящей минуты каждая девушка не прочь выслушать комплимент, если он не очень плоский.

Но тут кухарка внесла остальные закуски, и я сказала Маньковичу, что мазурка будет после ужина, а теперь нужно звать гостей в эту комнату и предупредить их, что здесь негде сесть.

— Господа! Ужин накрыт à la fourchette *,— зычно провозглашал он шутливым тоном, как бы желая придать что-то более торжественное закуске, которая у всех наших знакомых в это время была крайне скромною.— Господа,

* налегке *(фр.)*.

извольте направляться в эту комнату. За недостатком места для чересчур многолюдного собрания в этом милом нашему сердцу и гостеприимном доме пусть каждый возьмет, что ему по вкусу, и уходит в другие комнаты.— Его слова были покрыты шумными рукоплесканиями. Еще многие подходили к закусочному столу, когда из другой комнаты послышались голоса, требующие, чтобы Е. К. Гайдебурова спела что-нибудь. То была женщина лет 23, среднего роста, очень просто одетая, с белокурыми, прямыми, коротко остриженными, как у многих в то время, волосами, с чрезвычайно симпатичными и подвижными чертами лица. Она с необыкновенным юмором и экспрессиею пела комические песенки и дуэты.

Куманек, побывай у меня,
Душа-радость, побывай у меня...—

раздался ее небольшой, но приятный и звучный сопрано; она выражала свое пожелание заискивающим, сентиментальным голосом и лукаво блестевшими глазами. Ей громким баритоном отвечал студент, точно сдерживая свой грубый голос, и желая придать ему нежность. Это пение было настоящим сценическим представлением. Все покатывались со смеху, и когда оно окончилось, публика потребовала повторения. Затем следовали различные танцы и наконец мазурка с разнообразными фигурами и с разудалым подъемом, во время которой то здесь, то там мелькала пара танцующих — Маньковича с Тонею.

Когда все разошлись, Тоня потянула меня в комнату, где для нее была приготовлена постель.

— Ну, теперь я уже намозолю вам глаза! Буквально каждый вторник буду являться! Такое задушевное веселье! Господи, а я-то ведь чуть совсем не прозевала его! И как странно: ведь целый вечер мы только бесились, школьничали, пели, а меня точно окрылило какою-то отвагой. Честное слово,— никакого страха не чувствую перед завтрашним объяснением с тетками.

— Тоня, милая, ведь в таком случае тебе скоро и совсем не захочется жить у них. Как Ушинский, так и все наши будут беспрестанно стыдить тебя, что ты живешь с этими ханжами, проводишь жизнь так бесполезно и скучно, как столетняя старуха.

— Это все же лучше, чем гувернантство.

— Наоборот, ты в гувернантках была бы более незави-

симою: могла бы каждый вечер читать не только жития святых, но и выезжать, куда бы захотела.

— Какие вы все странные: Ушинский, ты и другие, с которыми мне приходилось говорить: вы воображаете, что человек решительно все может сделать с собою, что только он пожелает. А если у меня такой темперамент, что меня не воспламеняют даже самые чудные идеи! А если я окажусь неспособной к самостоятельной жизни? Если я не могу долее учиться, если мне до тошноты надоели книги? Нет, нет, над этим нужно сильно призадуматься, прежде чем решиться порвать с моими тетушками! Я всегда думаю: как бы не прогадать, как бы не было бы хуже от перемены?

III

Когда Тоня приехала ко мне в следующий вторник, она рассказала, как после своего возвращения от нас она прямо заявила теткам, что если они желают, чтоб она оставалась в их доме, она не будет сидеть у них безвыездно. Она поставила непременным условием — пользоваться каждый вечер полною, бесконтрольною свободою.

На этот раз старухи совсем не кричали на нее, видимо, они были даже смущены. Вероятно, они нашли для себя невыгодным порывать с даровою экономкою и чтицею.

— Ведь мы не хотели только, чтобы ты выезжала одна. Все, что мы говорили, мы нашли нужным сказать для твоей же пользы. И чего тебе не хватает у нас? Кажется, ты вполне обеспечена?

— Если бы крестный не посылал мне двадцати пяти рублей в месяц, я не могла бы купить себе даже башмаков. Я порядочно знаю иностранные языки и всегда могу получить место рублей на сорок в месяц и еще выговорить вечера для выездов и для собственного чтения.

Алтаевы, видимо, не ожидали, что Тоне может прийти в голову такая простая мысль о получке довольно изрядного для того времени вознаграждения за свой труд, и кончили тем, что огорченно проговорили:

— Обо всем этом нужно подумать... Тебе, вероятно, не говорил твой опекун, что, если бы мы с тобою поладили, мы бы по завещанию оставили тебе половину нашего состояния. Имей в виду, что других родственников у нас нет и нам было бы очень приятно сделать наследницею нашу родную племянницу-сироту.

— Но я ни за какие богатства не соглашусь сидеть у вас, как в тюрьме.

В первое же воскресенье после церковной службы одна из теток преподнесла Тоне брошку из своих старинных вещей, а другая — такой же древний браслет. Это было единственным вознаграждением за прошлые и будущие труды племянницы.

— Мы так решили: делай что хочешь по вечерам, только не оставляй нас, немощных старух. Мы так привыкли к тебе. Ты у нас скучаешь, и в этом виноват твой опекун. Если бы он согласился отдать нам тебя, когда ты была еще ребенком, мы определили бы тебя в монастырскую школу и ты не рвалась бы так к пустой светской жизни. Ты бы сумела оценить общество духовных лиц, которое нас окружает. Уже не говоря о многих священниках, людях большого ума и премудрости, но даже монахи-странники, посещающие наш дом... возьмем для примера хотя отца Варсонофия,— могут очень много сообщить интересного. Но тебя все тянет к суете мирской...

Всю вторую половину зимнего сезона Тоня оставалась у Алтаевых. Несравненно менее страдая теперь от жизни у них, она аккуратно являлась к нам каждый вторник. Не по летам осторожная, благоразумная и вдумчивая, она, видимо, желала самостоятельно присмотреться к тому, как сложится ее теперешняя жизнь у теток. Ей совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь со стороны толкал ее на немедленный разрыв с ними.

Как-то в один из понедельников пришелся большой праздник. Тоня, вся сияющая, приехала к нам гостить на три дня. Я встретила ее известием, что сегодня назначена вечеринка у М-ских,— они очень просили нас приехать с нею.

— Вот-то счастье: два вечера сряду проведу интересно! — с восторгом воскликнула Тоня, схватила меня за талию, и мы пустились вальсировать.

Странная метаморфоза происходила с этою девушкою: она делалась все более оживленною, полюбила удовольствия и развлечения, все более интересовалась всеми, кто окружал нас. Между прочим, она очень смешила нас тем, что обо всем, что ее интересовало или удивляло, она спрашивала объяснения у нескольких лиц. Это была особого рода система — узнавать мнение многих лиц об одном и том же.

Дело было в конце марта: снег стаял уже давно, но вечер был очень холодный. Тоня одела свое красивое черное

бархатное пальто и такую же шляпу: все на ней сидело всегда прекрасно и очень шло к ней. Мы весело собирались на вечеринку, не предчувствуя, что эта поездка окончится так печально для Тони и произведет на нее подавляюще-тяжелое впечатление.

Ввиду того что воспитанницы закрытых институтов надолго, а то и на всю жизнь оставались большими трусихами, я предложила Тоне ехать с моим мужем, Василием Ивановичем, но она возразила, что я никогда по вечерам не выезжаю одна, а ей уже давно приходится быть самостоятельной. Она просила нас только, чтобы мы ехали впереди: мы оба люди близорукие, она сама будет следить за тем, чтобы ее извозчик не отставал от нашего. Мы ехали с угла Ивановской и Кабинетской, где мы тогда жили, на Петербургскую сторону к нашим знакомым, и нам приходилось проезжать как по многолюдным, так и по малолюдным улицам. Мы приехали совершенно благополучно и на вопрос хозяев, а что же Антонина Николаевна, отвечали, что она сейчас явится. Нас усадили за чайный стол, но ее все не было, и я решила, что она заехала в кондитерскую купить конфект детям наших знакомых, может быть, кстати зашла и в перчаточный магазин. Однако прошло более часу, а она все не приезжала, и я заявила Василию Ивановичу, что мы немедленно должны возвратиться домой. Мы не нашли извозчика, и нам долго пришлось идти пешком.

Как только няня открыла дверь, она сообщила нам, что с барышнею случилось какое-то несчастье, что она возвратилась домой с каким-то офицером, который только что ушел от нас. Когда я вбежала в столовую, Тоня сидела облокотившись на стол руками и опустив на них свою голову. Она подняла свое распухшее от слез лицо, но не могла произнести ни слова. Только грудь ее судорожно подымалась; наконец она выпила воды и рассказала нам о только что случившемся с нею, но говорила бессвязно и сбивчиво, а минутами снова начинала волноваться и плакать.

Дело было вот в чем: ее извозчик на одной из улиц вдруг поехал медленнее, может быть, оттого, что сразу проходило несколько пешеходов, а может быть, потому, что он заранее условился об этом кое с кем. Тоня, заметив, что наша пролетка скрылась из виду, закричала: «Да поезжай же скорее!» В ту же минуту двое молодых людей, весьма прилично одетых в штатское, вскочили в ее пролетку, сели по обе стороны Тони и так сжали ее, что она волею-неволею очутилась у них на коленях. Один из них схватил ее за

талию, другой рукою зажал ей рот; его компаньон начал ее не то обнимать, не то обшаривать и расстегивать пуговицы ее пальто,— вероятно, все это было одновременно. Кричать она не могла и только толкала их локтями. В ту же минуту по их приказанию извозчик круто свернул в какой-то переулок. Вдруг тот, который зажимал ей рот, вздрогнул и опустил руку. Она увидала, что к ее пролетке быстро подходил какой-то офицер. Тоня хрипло вскрикнула; офицер стоял уже подле и закричал извозчику: «Стой!» Тот моментально остановил лошадь. Все это произошло в одну-две минуты. И Тоня, вздохнув свободнее, закричала что было мочи: «Спасите, спасите!»

Предприимчивые молодые люди, выпрыгнув из пролетки, не могли никуда улизнуть. Городовой и кучка прохожих, моментально вынырнувшая точно из земли, окружили пролетку. Офицер закричал городовому, чтобы он звал других на помощь и чтобы их всех вели в участок для составления протокола. Оба негодяя, перебивая друг друга, оправдывались:

— Помилуйте, господин поручик, это гулящая девка Машка! У кого угодно спросите, все ее знают. Мы с нею гуляли в трактире, она сама напросилась, чтобы свезти ее в танцкласс...

— Отчего же она кричала? Отчего происходила борьба? — спрашивал офицер.

— Очень просто: надрызгалась, ну и куражится!

Когда их привели в участок, офицер заметил, что этих негодяев здесь прекрасно знают и что они делают кой-кому из полицейских какие-то знаки глазами.

Тонин спаситель добросовестно изложил полицейскому приставу происшествие, свидетелем которого он был, и добавил, что объяснения господ штатских, крик жертвы и ее борьба с ними совсем не подтверждают их показаний: молодая особа имеет вид вполне порядочной девушки из общества, и она совершенно трезвая. Но негодяи настаивали на своем, все время называя ее «гулящею девкою Машкой», в доказательство чего ссылались на то, что она уже на извозчике начала раздеваться, чтобы им свободнее было делать с нею что вздумается. Тоня с удивлением взглянула на свое пальто и только тут заметила, что оно было расстегнуто, а она шла таким образом по улицам и не чувствовала холода. Когда очередь дошла до нее и пристав спросил об ее имени, фамилии и месте жительства, она отвечала, что постоянно живет у своих теток Алтаевых. Она не успела еще сказать ему, что в данное время гостит у нас

и что мы вместе с нею отправлялись на вечеринку к знакомым, как полицейский пристав с удивлением спросил ее:

— У каких Алтаевых? У двух богомольных барышень-сестер, имеющих собственный дом на Сергиевской? Я бывал у них по делам и припоминаю даже, что однажды видел вас у них. Больше не требуется никаких показаний с вашей стороны, а с ними (он указал на двух молодых людей) я дело покончу и без вас. Можете идти — вы совершенно свободны, сударыня.

— Мне кажется, вы сильно испуганы,— обратился офицер к Тоне, когда они вышли на улицу.— Не сочтите назойливостью с моей стороны, если я предложу вас проводить.

Тоня согласилась на это с благодарностью, и он довез ее до нашего дома. Этою новою услугою офицер еще более выиграл в ее мнении. Когда они были у двери нашей квартиры, он начал с нею прощаться. Ввиду того что Тоня от волнения молчала всю дорогу, а между тем она находила необходимым кое о чем спросить его по поводу случившегося, она сама предложила офицеру войти к ней на несколько минут. Как только она сняла пальто, она указала ему на золотую цепочку, которая блестела, прицепившись к складкам ее лифа, а часов как не бывало. Вот почему ее пальто оказалось расстегнутым: ясно, что нападение на нее было устроено с целью грабежа.

Усадив офицера в столовой, она высказала ему, что очень беспокоится насчет своего показания: когда она сказала в участке, что живет у Алтаевых, как это и есть на самом деле, пристав перебил ее вопросом и не дал сказать ему, что в данную минуту она гостит здесь, у своей подруги. Она боится, чтобы не вышло какого-нибудь недоразумения. Не желает она также и того, чтобы имя ее трепалось в газетах при описании этого происшествия.

Офицер предложил свои услуги: он сейчас же отправится к полицейскому приставу предупредить его об этом и думает, что дело будет улажено согласно ее желанию.

На другой день с рассыльным Тоня получила письмо от офицера, в котором он, при обращении к ней по всем правилам вежливости, упоминал о своих переговорах в участке и извещал ее, что все устроилось так, как она того желала. Затем стояла его подпись: Александр Ермолаев.

На эту записку Тоня посмотрела как на акт высшей порядочности со стороны офицера: он не навязывался на знакомство, не желал пользоваться своим положением защитника и спасителя молодой девушки, и она за это была

ему бесконечно благодарна. Его письмо доказывало также, что он считал своим нравственным долгом успокоить ее хотя письменно.

Как во весь вечер злополучного происшествия, когда мы до рассвета обсуждали его, так и на другой день, когда Тоня уже успокоилась, она нет-нет да и скажет что-нибудь в таком роде: «Как ужасна участь одинокой девушки!»

Однако через несколько недель после этого она, казалось, совсем забыла о случившемся.

IV

Бодрое, возбужденное настроение Тони сменилось грустью, тоскою и унынием. Нередко во время самого оживленного разговора она вдруг задумывалась, слезы закипали на ее глазах, и она, как бы желая взглянуть в окно, подходила к нему, смахивала слезу, возвращалась на свое место и, видимо с усилием подавив мучительную думу, продолжала начатый разговор. Ее тревожное состояние не проходило, и я наконец заметила ей, что она, несомненно, переживает какое-нибудь горе, и убеждала ее все откровенно рассказать мне.

— Боже мой! да я ничего не хотела бы в эту минуту так, как обсудить вместе с тобой тот ужас, тот позор... Да, новый позор, которому я подверглась, и уже не случайно, как тогда, когда меня спас Ермолаев, а сама устроила его, поступила бесстыдно до последней степени. Но я не могу говорить об этом! Я, кажется, тут же умру на месте от стыда, как только заикнусь о том, что я наделала! Нет, нет! Не спрашивай... не могу!

— Если ты не можешь все откровенно рассказать мне, почему бы тебе не обсудить того, что тебя так мучительно терзает, с твоим крестным? Судя по твоим рассказам, у тебя с ним идеальные отношения...

— Я его потеряла, потеряла навсегда! — И она вытащила из кармана пачку листиков почтовой бумаги, исписанных мелким мужским почерком, бросила их передо мной на стол и, рыдая, убежала в мою спальню.

Оказалось, что это письмо от Муравского.

«Как, Тоня, ты предлагаешь мне руку и сердце? Мне, который считал и всегда будет считать тебя своею родною дочерью! Да это, моя милая, такой камуфлет [4], от которого я не могу опомниться! И ты предлагаешь мне это потому, что, по твоим словам, любишь меня больше всех на свете.

Но, родная моя девочка, с меньшим чувством я никогда бы не помирился. Если кто-нибудь из провинциальных кумушек когда-нибудь скажет тебе, что тот, чье имя ты носишь, не твой родной отец, знай, что она солжет против очевиднейших фактов. Твой отец — мой единственный, истинный друг, горячо любимый мною всю жизнь, торопил меня с переездом в Воронеж, и по его хлопотам я получил наконец учительское место в этом городе: он желал во что бы то ни стало сделать меня твоим крестным отцом. Одна из здешних сентиментальных глупышек еще недавно сказала мне, что мою привязанность к тебе она, как и все, объясняет моею безумною любовью к твоей матери, которой я будто бы на одре смерти дал слово никогда не оставлять тебя. Это такая же ложь, как и первая.

Скоро после того, как твоя мать дала тебе жизнь, она заболела раком, который года через два унес ее в могилу. После ее смерти я, не расставаясь, жил с твоим отцом до самой его кончины. Так же как и он, я внимательно наблюдал за твоим физическим ростом, с восторгом слушал твой детский лепет, сиживал по ночам у твоей кроватки во время твоих болезней, так же как и твой отец, страдал и приходил в отчаяние от ухудшения твоего здоровья или ликовал и был на седьмом небе от радости, когда проходил кризис, играл и возился с тобою я тоже не менее, чем твой отец. А затем ты еще малюткою осталась исключительно на моих руках. И в период твоей институтской жизни, далеко от тебя, все мои мысли, все заботы всегда были сосредоточены на тебе. Ты всю жизнь была моею единственною радостью. С каким наслаждением я откладывал десяток-другой рублей, чтобы скопить сумму, необходимую для поездки в Петербург! Как еще задолго до свидания с тобой я рисовал в воображении нашу встречу, раздумывал о том, переменилась ли ты, похорошела или подурнела, сильно ли обрадуешься нашей встрече. Теперь мечтаю о том, как через четыре года я дослужусь до пенсии, выйду в отставку, а ты в это время уже будешь замужем: я поселюсь с вами, буду нянчить и любить твоих детей, моих внуков, так же, как любил и тебя. Моя старость быстро надвигается, родная моя детка, но благодаря тебе, мое сокровище, я не боюсь ее, не страшусь одиночества: я буду окружен родною семьею, и любимая рука закроет мне глаза. Верь мне, голубка, не одна кровь создает родственную связь между людьми, но и общие интересы, заботы о благосостоянии другого существа, мечты о его будущем.

Уверяю тебя, моя ненаглядная девочка, если бы на то,

что ты сама предлагаешь, мне намекнула одна из здешних кумушек-просвирен, я бы с ужасом и отвращением отшатнулся от нее: на брачный союз с тобою я посмотрел бы как на какое-то противоестественное преступление. И это потому, что я считаю тебя моим родным детищем, ниспосланным мне провидением. Но не салопница-просвирня делает мне это предложение, а дочка, данная богом, чистая девушка с кристальною душою! Храни тебя бог подумать, дочурка моя милая, что скверные эпитеты, которые я даю провинциальным кумушкам, я хотя мысленно прилагаю к тебе. Я ни на минуту не заподозрил чистоту твоих намерений, но меня в ужас приводит твое ребяческое миросозерцание. По самому поверхностному наблюдению над людьми, даже только понаслышке, ты должна была бы знать, что брак — одна из самых серьезных перемен в нашей жизни. И ты, такая осторожная во всем, такая разумная, рассудительная, вдруг сразу: «Не угодно ли, мою руку и сердце?» Твое предложение особенно изумило меня потому, что, судя по твоим письмам, ты в последнее время вся ушла в то новое, что ты только что встретила. Я уже не раз писал тебе, как я счастлив, что ты наконец попала в кружок людей живых и образованных... В каком я восторге от всего того, что ты мне сообщаешь! Ты не поверишь, как меня интересуют твои описания разговоров, которые ведутся в этом кружке, все то, что ты сообщаешь о взглядах и спорах по поводу тех или других вопросов. Я замечаю, что ты начинаешь живее интересоваться всем, что у тебя являются вопросы и мысли, которые еще никогда не приходили тебе в голову, одним словом, что ты наконец просыпаешься. Каким же образом именно теперь в твою голову пришла такая нелепая мысль? Прежде всего я объясняю это твоим замкнутым институтским воспитанием, затем твоею жизнью у тетушек, когда продолжали дремать все твои душевные силы, и тем, что с переменою, которая произошла в твоей жизни, ты еще не могла освоиться. Вероятно, потому, что ты встретила настоящих живых людей, впервые наблюдаешь иную жизнь, ты уже совсем не можешь примириться с обществом ханжей, паразитов и тунеядцев, хотя твое положение у Алтаевых изменилось к лучшему. Быть может, это чувствуется тобою только инстинктивно, но ты скоро сама признаешь, что я прав.

Когда ты побольше познакомишься с жизнью, то увидишь, что счастливые браки между людьми, даже соответственного возраста, явление крайне редкое, а если муж более чем в два с половиною раза старше жены, как это

было бы между нами, такие браки кончаются обыкновенно полным разрывом между супругами, ломкою всей жизни и тяжелыми трагедиями.

Ввиду того что тебе, видимо, опостылела жизнь у Алтаевых, не могла ли бы твоя подруга устроить тебя на даче в своем семействе? А если это невозможно, не можешь ли ты попросить своих знакомых подыскать тебе какое-нибудь место учительницы в отъезд?»

Когда мы, Василий Иванович и я, окончили чтение этого письма, мы употребили все наши усилия убедить Тоню, что в ее ребяческом предложении нет ничего постыдного для нее и что задушевный тон письма ее крестного красноречиво говорит о том, что и он так же смотрит на ее выходку.

Долго она еще рыдала и недоверчиво спрашивала: «Вы это только так говорите... чтобы меня утешить!» Наконец волнение ее улеглось, и она дала нам слово немедленно ответить своему опекуну.

— Скажи, пожалуйста, Тоня, почему ты вдруг вздумала сделать крестному такое предложение? — спросила я ее, еле удерживаясь от смеха.

— Не спалось мне как-то. Ворочалась я, ворочалась с боку на бок, и вдруг мне пришла на память ваша вечеринка и рассказ Зарина. Еще гораздо более взволновало меня воспоминание об инциденте со мною, когда я должна была явиться в полицейский участок. И вот передо мною стали рисоваться картины будущей моей жизни, одна ужаснее другой. Просто как-то даже страшно сделалось. И я решила, что спасти себя я могу только выйдя замуж за крестного. Я вскочила с постели и наваляла свое дурацкое письмо... Вот вы всегда издеваетесь надо мной, что я все обдумываю: в первый раз поступила скоропалительно — и устроила такую штуку, о которой всегда буду вспоминать с краскою стыда. Нет... теперь шабаш! Смейся сколько душе угодно, а я после этого еще несравненно серьезнее буду обдумывать каждый шаг.

Желание опекуна Тони поместить ее у нас на лето не могло осуществиться: дача наша, нанятая задолго до этого, была слишком мала даже для членов моей семьи. Не удалось нам и найти для нее места учительницы. Она уехала на лето с тетками в их подмосковное имение.

V

В первом письме из деревни Тоня описывала приволье деревенской жизни. Летом у теток ей жилось еще лучше, чем даже в последнее время в Петербурге. Когда Алтаевы давали ей поручения, которых в деревне было гораздо меньше, она очень радовалась им. Ее посылали обыкновенно в Москву, находившуюся от них по железной дороге в двух часах езды. Она приезжала туда утром и могла возвратиться домой только вечером. Исполнив порученное ей, она в свободное время осматривала Москву и знакомилась с ее достопримечательностями. Несмотря, однако, на прелесть деревенской жизни, Тоня писала, что жизнь у теток ее все более томит. «Не с кем сказать слова, поболтать по душе, никогда не раздается здесь, как и в их городской квартире, ни шуток, ни смеха». Кругом все как-то хмуро, благочестиво без благочестия, фальшиво и просто как-то глупо до дикости. Тетки особенно раздражают меня своей алчностью и показною религиозностью: чтобы не делиться со мною деликатесами, которые они покупают, они уничтожают их наедине, когда отправляются в свои спальни молиться богу и ложиться спать. Они зачастую преподносят богатые дары в различные церкви, раздают медные копейки на паперти нищим, но при мне никогда не помогли ни одному деревенскому бедняку. На днях к ним прибежала баба, их бывшая крепостная-дворовая, которую они как-то сами расхваливали за честность и порядочность. У нее после внезапной смерти мужа осталась на руках куча ребят. Вся ржаная мука у нее вышла, а до нового хлеба приходилось ждать еще более месяца: она умоляла дать ей взаймы четверть ржи. Тетушки приказали исполнить ее просьбу, но вытребовать с нее осенью полторы четверти — «полчетверти за процент», как они сами объяснили несчастной женщине. Приказание это было внесено в особую книгу, в которой записаны и другие подобные же «благодеяния Алтаевых».

Тоня в сентябре возвратилась с тетками в Петербург. Однако не прошло и недели с их приезда, как их снова вытребовали по экстренному делу в подмосковное имение. Они дали знать о своем отъезде духовенству, собиравшемуся у них по воскресеньям, и просили Тоню присмотреть за домом, а по вечерам поить чайком «божьих людей», если кто из них завернет к ним.

— У нас положение для них такое,— знакомили они племянницу с подробностями своих хозяйственных распо-

ряжений,— пусть чайку попьют, сколько душе угодно, можно и во второй раз для них подогреть самоварчик, но насчет булок — им полагается по одной трехкопеечной на брата. Зато в настоящее время можно им масленку с маслом ставить: в нынешнем году его достаточно получено из деревни. Денег мы даем каждому по пятнадцати копеек в неделю, но их-то уж пусть они подождут до нашего возвращения.

Алтаевы рекомендовали Тоне проявлять особое внимание к страннице Нимфодоре и к монаху Варсонофию,— это, по их словам, люди святой жизни.

После отъезда старух каждый вечер из «божьих людей» приходил кто-нибудь, а то и несколько человек сразу, выпрашивая у Тони хотя четвертачок от ее «усердия к богу» на построение храма.

Не дожидаясь окончания их чаепития, Тоня насыпала вазу сахару, ставила ее на стол перед ними, замыкала буфет (по требованию теток, как видно не рассчитывавших на честность «божьих людей») и отправлялась в свою комнату. Но вот однажды горничная докладывает ей о приходе монаха Варсонофия, которого она особенно не терпела за его бегающие глаза и антипатичное выражение лица. Она распорядилась, чтобы как можно скорее подавали чай. Когда вошел монах, Тоня заявила ему, что тетушки возвратятся еще не скоро. Она сейчас приготовит ему чай, но самой ей некогда беседовать с ним. Он же может не стесняться: тетушки просили его пить чай на здоровье и сколько угодно.

— Значит, брезгуешь человеком: одной рукой, как собаке, корку бросаешь, а другой за дверь швыряешь...

Тоня перебила его требованием называть ее «вы».

— И грех же какой эта твоя строптивость! В твои годы младые ты должна кажинному человеку доброе слово сказать, обласкать, услужить, значит, свое смирение выказать. Вот про тебя и добрая молва пойдет, хорошего женишка скоро найдешь.

— Вот вам чай,— сказала Тоня, вместо ответа поставив перед ним стакан и сахарницу,— а теперь потрудитесь сами угощаться.

— Полагаю, девонька, чудесная ты моя красоточка, строптивость-то твоя от тоски... Сладка ли жизнь со старым хламом, как твои тетки — старые девки, да еще такие скареды...

Тоня в это время уже встала из-за стола и подходила к двери, как вдруг Варсонофий сорвался со стула и бро-

сился ее обнимать со словами: «Слава милосердному!.. Одни мы теперь... Вот и попользуемся!» Однако молодая девушка ловко выскользнула из его объятий и успела уже позвонить. Вошла горничная, и «божий человек» волей-неволей отшатнулся от нее.

— Сейчас же вывести вон этого негодяя! Если у вас не хватит сил, позовите дворников...— закричала Тоня, вбежала в свою комнату и захлопнула дверь за собою.

Однако «божий человек», несмотря на увещание горничной, громко стучал в дверь, посылая Тоне угрозы:

— Ишь ты, каверза подлая! Если посмеешь оговорить, так и я ведь не без языка!

Когда волнение улеглось, Тоня начала укладывать свои вещи, а затем принялась за письмо к теткам. Описав сцену с Варсонофием, она прибавила, что так как это первое оскорбление она получила не в светском обществе, которое они так презирают, а в религиозном, и притом от «божьего человека святой жизни», то она навсегда уезжает от них в среду людей светских; она уверена, что там ничего подобного не угрожает ей.

Хотя она оставила Алтаевым свой адрес, но они никогда не справлялись о ней, и Тоня уже более не встречалась с ними. Лишь года через полтора она узнала о смерти одной из них, а затем очень скоро после этого и о смерти другой, а также о том, что огромное их состояние по завещанию оставлено на богадельни и на постройку церкви в селе, где находилось их имение.

Сцена с монахом заставила Тоню на другой же день после описанного события переехать к нам, что и было изложено в самом начале этого рассказа.

VI

В тот день, когда Тоня окончательно оставила дом своих теток, я не могла долго посидеть с нею, мне необходимо было ехать в школу на урок. Когда я возвратилась домой перед обедом, я застала ее в самой оживленной болтовне и возне с моими маленькими детьми.

— Барышня-то все время не отходит от них. Уж если так любит играть с чужими детками, как же будет своих-то миловать да баловать. Как можно скорее нужно Антонину Николаевну замуж отдавать!

— Я очень даже хочу выйти замуж... да не так-то это легко устроить!

— И, барышня, для вас это вовсе не трудно! Только пальчиком поманите Николая Александровича, господина Маньковича, страсть как был бы рад! Ведь мы с кухаркой насмотрелись, как он, втюримшись в вас, все глазанки просмотрел.

— Да! Это уже ни для кого не тайна,— сказала я, когда няня ушла накрывать на стол.

— Манькович слишком порядочный человек, чтобы выходить за него не любя. О замужестве я много думала и насчет этого выработала очень хорошую теорию.

— При чем тут теория? Конечно, относительно этого, как и во всех других случаях, необходимо иметь известные принципы...

— А вот на подобные требования, которые у вас, современных людей, в таком ходу, я смотрю как на фразеологию. У меня какое-то органическое отвращение к словам: «необходимо выработать миросозерцание, миропонимание, принципы». На меня веет от них чем-то искусственным. Наконец, как это выработать столь досточтимые вами принципы? Укажи такую книгу, где все это объяснено? Ты говоришь — нет такой книги, что это-де вырабатывается жизнью, само собой, размышлением, чтением... А вот у меня ничего не вырабатывается... Да я вовсе и не хочу подчиняться этому вашему катехизису и вообще многим общепринятым обычаям. Например, я прекрасно знаю, что для девушки постыдно говорить о том, что она хочет выйти замуж. Она может сколько угодно распространяться насчет своего стремления приносить обществу пользу, о том, что она мечтает идти вперед в своем развитии, а о том, что ей действительно ближе всего — откровенно высказать желание выйти замуж,— ни гугу!.. А вот я прямо заявляю: хочу замуж, до смерти хочу! Одиночество — это смерть для женщины! Хочу иметь защитника, покровителя...

— Чудачка ты этакая! Неужели ты думаешь, что ты будешь пришита к мужу? У него свои обязанности: уроки, лекции, служба. И в замужестве женщина предоставлена неожиданным неприятностям и опасностям.

— Ну, уж извини: к замужней женщине каждый подходит с осторожностью.

— Наоборот: даже наиболее порядочные из ухажеров подходят к замужней женщине смелее и развязнее, чем к девушке... Ну, да об этом не стоит спорить! Меня интересует вот что: по твоим словам, ты только и думаешь о замужестве. Почему же ты не выходишь замуж? Ты нравишься не только Маньковичу, а многим. Вероятно, все твои по-

клонники не подходят под твою новую теорию? Воображаю, как она великолепна и головоломна, как глубоко, всесторонне она тобою обдумана.

— За твои издевательства тебя следовало бы лишить возможности познакомиться с нею... Но я сегодня бесконечно добра! Так слушай же. Выходить замуж за общественного деятеля, как это принято теперь у очень многих людей вашего круга, только потому, что он человек не глупый, не дурной, а главное, занимается общественной деятельностью, с моей точки зрения, необыкновенно глупо и смешно. Брак только тогда настоящий, честный союз, если он соединяет два горячо любящих сердца. Мало того, ты имеешь нравственное право только такому человеку вверить свою судьбу, который мало-помалу заставит тебя переродиться, изменить к лучшему твою душу, твою мысль. Если ты любишь по-настоящему, тогда солнышко приветливее манит тебя к себе, аромат цветов опьяняет и волнует кровь, люди кажутся такими добрыми и чудесными, и ты готова их всех обнять, делать для них все, что только в твоих силах... А надежда увидеть «его», властителя твоих дум, заставляет безумно биться твое сердце. Даже для такой девушки, как я, «ледяной глыбы», как меня называли, которая думала только об обыденном и прозаичном, жизнь превратится тогда в волшебную сказку, даже такая, как я, будет задыхаться от счастия в мире грез! Только страстно любимый человек может пробудить от спячки такую индифферентистку, как я, может сделать ее живою и восприимчивою. Только тогда, когда судьба пошлет девушке счастье так полюбить, она смело может выходить замуж. А иначе, зачем менять свое положение? Но мое главное несчастье в том, что я никогда еще так не любила и, сдается мне, никого не могу так полюбить, следовательно, навсегда останусь старой девой с рыбьею кровью.

— В первый раз в жизни встречаю трезвую мечтательницу-идеалистку,— смеясь, сказал, входя к нам, Василий Иванович, слышавший всю экзальтированную апологию любви, произнесенную Тонею.— Поэты обыкновенно награждают мечтателей страстною натурою, безумными порывами и другими подобными атрибутами... А тут целый волшебный мир поэзии и грез создан обдуманно весьма трезвою девицею, и чуть ли не с научною обоснованностью.

За обедом Тоня спрашивала меня, могу ли я через час-другой отправиться с нею на поиски пристанища для нее. Ей так страшно, говорила она, жить у людей, ей совершен-

— ...И отличные работницы.

Посетитель.— А из какого сословия?

— Преимущественно из класса образованного: бывшие гувернантки, компаньонки...

Посетитель.— Безнравственность-то какая! Променять житье в благородном доме на такую грязную работу.

— Видно уж очень жутко в благородном доме, а тут никто не затронет самолюбия, не оскорбит чести...

Посетитель.— Честь, батюшка, роскошь для бедного человека.

«В типографии»
Гравюра П. Куренкова по рисунку Н. Степанова.
«Искра», 1864, № 22.

но чужих. «Если бы можно было подыскать что-нибудь мало-мальски подходящее у ваших знакомых».

— Вы раньше поживите у нас и, как подобает вам в качестве благоразумной девицы, «всесторонне и глубоко» обдумайте, можете ли вы после блистательных апартаментов Алтаевых помириться с крошечной комнатюркой у нас и с нашею скромною жизнью. А во время этого основательного обсуждения, может быть, кто-нибудь из наших знакомых и будет подыскивать себе жилицу.

— Хотя вы оба сильно пробираете меня за мое «всестороннее и глубокое обдумывание», но я в таком восторге!.. Неужели это правда, что вы оба соглашаетесь, чтобы я поселилась у вас? — И она, раскрасневшаяся и с глазами, блестевшими от восторга, вскочила с своего места, крепко обнимала нас, пожимала нам руки.— Если бы вы дали мне возможность притулиться в уголке вашей передней, но только разрешили бы жить с вами, я бы и тогда была самым счастливым человеком на свете!.. А вы еще отдаете мне комнату в мое полное распоряжение!

И Тоня, необыкновенно оживленная, с помощью прислуги переносила в свою комнату вещи и, разбирая их, вытащила хорошенький альбом. Она подала его мне с просьбою написать ей что-нибудь на память. Я обещала ей это, когда мне что-нибудь придет в голову. Она побежала к Василию Ивановичу. Очень скоро он принес альбом обратно. Тоня громко прочла:

«Вы окружаете любовь какими-то неземными чарами, забывая, что и в ней есть шипы и тернии, отрава и разочарование, что и она несет с собою самые отвратительные чувства: измену, ревность, безумную жажду мести. Даже при взаимной страстной любви над любящими друг друга существами то и дело разражаются житейские бури, а повседневная пошлость и обыденщина быстро охлаждают жар в крови и иссушают сердца. Стремление к удовлетворению таких узкоэгоистических чувств, как любовь, вынуждает этих двух quasi *-пламенеющих душ вечно ходить точно по вулкану, и в конце концов эта воспетая вами страстная любовь не приносит им ни душевного покоя, ни услады. Ваш взгляд на брак изобретен не вами, а так же стар, как божий мир, и, как все старое и отжившее, требует серьезного пересмотра. Только труд для счастья и просвещения обездоленных масс дает не эфемерное, не призрачное, а истинное счастье и сознание, что человек недаром прожил на свете».

* якобы *(лат.)*.

— Да, вам хорошо рассуждать об общественном благе: присели на несколько минут и сразу написали целых две страницы... Значит, в писании ваше призвание, следовательно, вы этим и можете приносить пользу ближнему. А я своего призвания не нашла и, вероятно, никогда не найду. У меня ни к чему нет особенных способностей! И как это жестоко с вашей стороны, Василий Иванович, так разочаровывать меня! Вы так унижаете любовь, самое возвышенное, бескорыстное, самое благороднейшее из всех человеческих чувств! Так безжалостно обрываете все цветы, все красочное, всю поэзию! Да вы и не совсем поняли меня. Ведь я же говорила, что когда человек воспламенится любовью не призрачною, а истинною, он все готов сделать для ближнего. Но вы требуете, хочешь не хочешь, ко всему приклеивай ярлыки! Это какая-то эпидемия, мода. А я хочу подражать моде только в туалетах.

— Что же, работайте на пользу ближних сначала хотя из-за моды, а затем это войдет в привычку, в потребность, в плоть и кровь. Я думаю, Антонина Николаевна, если вы усвоите мысль о необходимости иметь всегда в виду общественное благо, то при вашей обстоятельности она глубоко западет в вашу душу.

Так мы разговаривали и спорили втроем, но чаще всего только вдвоем. Иногда во время таких разговоров Тоня то с искренним сокрушением, то с иронией восклицала: «Как мне больно, как обидно, что вы оба (то есть Василий Иванович и я) презираете меня за мой заскорузлый эгоизм, за отсутствие в моей натуре «общественной жилки», как у вас принято выражаться. Что же мне делать, когда я не могу насквозь пропитаться вашими мировоззрениями, миропониманием, принципами и там еще чем-то в таком же роде? Ради бога, не злитесь вы на меня! Хочу быть сама собой!

— Да это же великое достоинство! — вставлял Василий Иванович, когда до него долетали наши разговоры.— Упорство в преследовании высших общественных идеалов...— Но, заслышав опять слова, которые она недолюбливала, Тоня догадывалась, что ее поддразнивают, махала рукой и убегала в другую комнату.

При нашей совместной жизни Тоня проявляла удивительное внимание, доброту, даже великодушие ко всем членам моей семьи и к прислуге, которая ее обожала. Вообще у нее оказался характер весьма приятный для совместной жизни, и скорее чисто альтруистические склонности, чем тень эгоизма. Она незаметно сделалась моею главною помощницею, правою рукою во всех семейных

заботах, и мне приходилось употреблять немало усилий, чтобы ограничить ее слишком большое усердие в этом отношении. Когда я возвращалась домой из школы, запоздав на несколько минут, она уже сидела за обедом с детьми, наблюдая, чтобы они не развлекались во время еды, присматривала за ними, когда меня не было дома. Как только я усаживалась за рабочий стол, она заманивала их в комнату подальше и играла с ними. Ночью, когда кто-нибудь из них просыпался и плакал, она вбегала в детскую. Меня не на шутку сердило ее ночное вставание, но она оправдывалась тем, что на этот раз это был особенно жалобный плач ребенка и что ей хотелось узнать, не заболел ли кто из них. Все это быстро душевно сблизило меня с нею, и мы жили, как сестры, за которых очень многие принимали нас, тем более что нас обеих называли по батюшке Николаевнами.

Заметив, как она по целым часам может возиться с детьми, я ей постоянно говорила, что ее призвание быть «фребеличкой» [5]. Но она отшучивалась: «Ведь ты же знаешь, что у меня это еще не обдумано всесторонне».

Она сразу начала вести деятельный образ жизни: много читала под руководством своего прежнего преподавателя, моего покойного мужа Василия Ивановича; в дни моих уроков в школе она нередко все время присутствовала на них, чтобы присмотреться к элементарному преподаванию. Посещали мы с нею и «детские сады».

В то время их было очень немного и они представляли мало интересного и поучительного, так как в них при воспитании детей руководствовались нелепыми немецкими учебниками, совершенно не соответствовавшими русским нравам: их авторы до неузнаваемости искажали основные идеи знаменитого педагога Фребеля. Но вот однажды мы забрели в детский сад Софьи Андреевны Люгебиль (жены профессора греческого языка) [6] и просили ее разрешить нам присутствовать при занятиях и играх детей.

— Присутствовать? — с неподдельным удивлением обратилась к нам эта, еще не старая в то время, худенькая женщина.— Такие молоденькие, и вдруг присутствовать!.. Да вы сами еще как позабавитесь с нашими ребятками! Вам самим будет очень весело!..— И она без дальнейших слов легонько втолкнула нас в кружок играющих. Мы не заметили, как очутились посреди малышей, державших друг друга за руки, как вместе с ними мы начали вертеться то в одну, то в другую сторону, как останавливались и повторяли за ними слова песни, хлопали в ладоши, бежали то

галопом, то рысью, представляли горячившихся лошадей и, наконец, пустились обгонять друг друга. Вдруг одна из крошек упала и расплакалась. Софья Андреевна схватила ее на руки, прижала к груди, целовала ее глазки, из которых слезы текли ручьями, и пустилась бежать с криком: «Мы с тобою их всех обгоним!» И ребенок уже прыгал на ее руках, глазенки его блестели от удовольствия, и он весело размахивал ручонками.

— Ой, как мы устали: отдохнем, а потом поработаем! — говорила Софья Андреевна, запыхавшись от беготни, и высыпала из нескольких ящичков деревянные кубики.

— Я буду строить дяде стул! — кричал мальчик.— А я ему устрою кроватку! Он придет усталый, усталый!

— Почему дядя не приходит? — вдруг встрепенулись дети, и отовсюду раздавались те же вопросы.

— Какой же это дядя так их интересует? — спросила я у помощницы, сидевшей подле меня.

— Профессор, муж Софьи Андреевны, дети обожают его.

Через несколько минут кто-то позвонил.

— Это дядя! — кричали дети и, как один человек, бросились к двери.

— Я вас в переднюю не пущу, еще простудитесь...— напрасно вразумляла их Софья Андреевна.

— Мы хотим к дяде! К дядечке! — кричали, визжали и пищали дети, сгрудившись у двери.

— Кто тут не слушается? Я его сейчас вынесу на улицу в одной рубашонке и брошу на землю,— стучал профессор в закрытую дверь костяшками своих пальцев. Он проговорил это своим обычным пискливым голосом, но стараясь сделать его как можно страшнее.

Дети хохотали, прыгали около двери, продолжая вопить: «Дядя, дядечка, иди к нам!»

Дверь открылась, и в нее прямо на профессора налетело несколько ребят.

— У меня с утра крошки не было во рту, а вы воображаете, что я сейчас пущусь с вами прыгать? Очень ошибаетесь! Я так есть хочу, что сейчас, малыш, проглотил бы тебя целиком! — И профессор, этот маленького роста человек, хромой или, точнее сказать, сильно припадающий на одну ногу, худенький-прехуденький, с серьезным лицом, с тонкими губами, которые, казалось, никогда не разжимались для улыбки, но в душе которого был заложен кладезь любви к детям, дернул за волосенки одного из ребят.

— И меня, дядечка, проглоти!

— И меня съешь! — кричали ребята, окружив его и не давая ему пройти.

Профессор скорчил свирепую физиономию, что было до невероятности комично, и схватил на руки одного из ребят: потрясая его ноги в воздухе и показывая вид, что он желает ими избить всех окружающих, он таким образом прокладывал себе дорогу в столовую. Дети фыркали и давились от смеха.

— Что это за порядки в детском саду Люгебиль? — строго спрашивал профессор.— Дети, вместо того чтоб заниматься полезною для них работой, набрасываются на человека, который только что входит в комнату, и не дают ему даже поесть.

— Мы работали... Я сделал для тебя стулик! — А я кроватку! — тараторили дети и толкались вокруг него такой густой толпой, что мешали ему даже сесть в кресло.

— Брысь, брысь! — отстранял он их рукой, и они отскакивали с хохотом, но сейчас же опять бросались к нему.

— Да что вы хвастаете, детишки, что вы работали? Ведь никто из вас не кончил начатое! Как только вы звоните, профессор, с ними невозможно справиться!

— Я им покажу, что значит не слушаться! — И профессор обводил толпу, сурово сдвинув брови. Но дети еще пуще заливались от хохота и как пчелы жужжали вокруг него. Когда он наконец уселся с большим трудом, дети вскакивали на ручки его кресла, стояли с той и другой стороны его, толкали друг друга и падали. Девочка-толстушка, прекрасно лазившая, ловко взобралась по спине профессора и, точно мягкий шарик, прямо шмякнулась к нему на колени; остальные дергали его за сюртук, за руки.

— Рук не трогать! Видите...— он указал на только что поставленную перед ним тарелку с котлетами...— Есть хочу!

— Дядечка, разве ты руками будешь есть?

— А разве я собака или кошка, чтобы лакать? Руки — главные помощники при еде! Не вам чета! Вы только мешаете, а сами, чай, здорово закусили? А ведь ты, крошка, кажется, проголодалась? Так умильно поглядываешь на меня? — И он заботливо клал в рот девочке-толстушке, сидевшей у него на коленях, кусочки котлеты.

— Ну,— сказал профессор, вставая,— теперь я основательно подзакусил и могу делать все, что вам угодно.

— В зайчики! — Нет, лучше в петушки играть!..

И профессор на корточках скакал по полу, приставляя

к своим ушам ладони рук, чтобы показать, как зайчик прядет ими, вскочив на ноги, махал руками, изображая крылья птицы, и кричал кукуреку, куковал, как кукушка, блеял, как овца, бегая, трусливо поглядывая по сторонам, злобно лаял, как собака, точно бросаясь на прохожих... И вся толпа детишек вместе с ним скакала на корточках, так же, как и он, вскакивала на ноги и проделывала те же самые движения, издавая те же звуки.

— Ну-ка отдохнем да песенку споем...— предложил профессор. Все вмиг уселись на стулья и затянули песенку.— Давайте-ка дрова рубить! — И дети во главе с своим предводителем проделывали соответственные движения. Но вот начались подвижные игры, и профессора выбирали то волком, то кошкою, то мышью. В этих ролях фигурировали и другие, но первый номер всегда оставался за профессором, и он самым добросовестным образом старался представить зверя, которого изображал.

Наконец один за другим раздались звонки: это матери, няни, горничные пришли за своими питомцами.

— Не хочу. Не пойду домой! — кричали малютки.

— Мамочка, хотя минутку, одну самую, самую маленькую минутку подожди! — умоляла девочка-толстушка. Немало было и детей, проливавших горячие слезы о том, что их берут домой. Профессор успокаивал их, говоря, что он устал, а что назавтра он придумает такую, такую штуку!.. Софья Андреевна и помощница помогали одевать ребят.

Придерживалась ли госпожа Люгебиль какого-либо метода в своем детском саду, трудно сказать, но в нем царила из ряду вон горячая любовь к детям и совершенно особая атмосфера истинного счастья, которым дети сами наслаждались и которое они давали своим воспитателям. В это время эти учреждения никому не приносили большой выгоды, но некоторые из них все же хотя несколько вознаграждали за труд воспитательниц, а детский сад Люгебиль давал лишь большой убыток: много детей она принимала совсем даром, за других платили половину назначенной платы, и едва ли за четверть принимаемых детей делался надлежащий взнос.

— Какие чудеснейшие люди эти Люгебили! Даже и тот, кто равнодушен к детям, может у них научиться любить их,— повторяла Тоня. Ее теперешнее обыкновенно хорошее настроение делалось все более жизнерадостным.

— Несомненно, это люди замечательно добрые, любвеобильные, сердечные... И хотя для детей возраста детского сада любовное отношение должно быть главнейшею осно-

вой воспитания, но, по-моему, нельзя же все нести на алтарь любви... Нужно что-нибудь давать, чтобы расширять умственный кругозор детей...— заметила я.

— А с моей точки зрения,— возразила Тоня,— когда встречаешь таких редкостных людей, которые одною любовью могут творить чудеса, вызывать в окружающих такую горячую привязанность, критика неуместна...

— Не влюблена ли ты, что такая ликующая?

— То ли будет тогда!..— отшучивалась она.— Но я все-таки очень, очень счастлива.

— Мне кажется, однако, что это не мешает порядочной девушке побольше думать о своем туалете, красоте и эстетике. Твое платье без цветного бантика и других соответственных украшений скоро заставит зачислить тебя в разряд нигилисток,— говорила я шутливо, употребляя ее прежние слова и выражения, чтобы дать ей почувствовать всю их несостоятельность.

— Какой там бантик! Когда мы начали прыгать на корточках, один ребенок зацепился за него и я нашла его потом на полу растерзанным.

— Да кому какое дело, почему твой туалет страдает от отсутствия изящества, столь необходимого для порядочной молодой девушки, почему он начал носить признаки декаданса и монашества. Я уже давно замечаю, что с тобою творится что-то неладное. И прическа твоя указывает на это... Вообще у тебя начинают сильно шататься твои туалетные принципы.

— Моя прическа, которую у вас прозвали «эшафотом», действительно бросается как-то в глаза... Да нечего тебе изводить меня насмешками! Они не умалят моего чудеснейшего настроения.

Когда я через часа два вошла к ней, несколько исписанных листиков почтовой бумаги лежали в стороне, а она все еще продолжала быстро писать.

— О чем ты можешь писать такие длинные письма твоему крестному?

Она ничего не ответила, но это отчасти выяснилось для меня, когда недели через две почтальон подал два письма — к ней и ко мне.

— Ах, крестный, дорогой мой: и тебе накатал послание! — узнав его почерк на обоих конвертах, заметила Тоня.— Что же он тебе пишет?

— Осыпает меня такою горячею благодарностью за тебя, которую я вовсе не заслужила. Почему же ты не написала ему о том, сколько ты помогаешь мне в моих

делах? Я непременно напишу ему, что ты наплела ему порядочных небылиц, что ты из ледяной глыбы превращаешься в вулкан!.. Письмо твоего крестного мне очень понравилось. Каждою своею строчкою он говорит о том, что он любит тебя, как сорок родных отцов любить не могут [7], что рука, которая писала эти строки, дрожала от волнения, слезы капали из глаз... Смотри — слезы и теперь еще заметны на бумаге! Да, он, должно быть, чрезвычайно добрый и хороший человек! Дай мне прочитать его письмо к тебе, — просила я Тоню.

Вот выдержка из него: «О мое дитя, мое сокровище, моя родная девочка! С каким восторгом я вижу из твоего письма, что с тобою совершается чудо, более поразительное, чем то, о котором повествует миф о Галатее [8]. Эту прекрасную статую пробуждает к жизни ее творец, великий художник Пигмалион... Я всегда рассчитывал, что и для тебя наступит время, когда придет твой Пигмалион и разбудит тебя от сна, вдохнет жизнь в свое художественное произведение и заставит быстрее переливаться кровь в твоих жилах. Но ты пробуждаешься самостоятельно: у тебя являются более духовные и общественные цели, что несравненно ценнее и благотворнее для современного человека. Особенно радует меня то, что у тебя раньше личных чувств явилось стремление к трудовой жизни, сочувствие ко всему возвышенному и прекрасному. А насчет Пигмалиона — не тужи: он придет в свое время, но уже не для того, чтоб пробудить тебя к реальной жизни, а чтобы бросить к твоим ногам весь пыл юной страсти, чтобы высказать тебе свой восторг и преклонение, умолять тебя сделаться его подругой, его ангелом-хранителем, его вдохновительницею благороднейших современных идеалов. О да, конечно, это так должно быть, и это будет именно так. Как только все сладится у вас ко взаимному удовольствию, я тут как тут: сейчас же приковыляю к вам на одной ножке (мой ревматизм сильно дает себя чувствовать в последнее время), чтобы погреться у вашего, родного для меня очага».

VII

Наша мирная совместная жизнь была внезапно нарушена совершенно неожиданно. Однажды в ноябре, который выдался в том году особенно морозным и снежным, перед самым обедом, когда мы были все дома и сидели с Тонею в детской, кто-то так сильно дернул за колокольчик, что

ребенок, сидевший у меня на коленях, вздрогнул и вскрикнул от испуга.

— Так звонят только неделикатные люди! — проговорила Тоня и побежала открывать дверь. Но она быстро вернулась и, наклоняясь ко мне, прошептала: «Это Аня Ивановская. Кажется, так же, как и я, совсем переезжает к вам». Я невольно взглянула на нее и удивилась бледности, мгновенно покрывшей ее всегда румяные щеки. За нею скоро вошла и Ивановская, наша институтская подруга. Она бросилась обнимать и целовать меня, сопровождая свое приветствие восторженными восклицаниями.

— Как я рада, что наконец вижу тебя! Ты знаешь, как я тебя люблю! Господи, как я к вам рвалась! А, и Василий Иванович! Здравствуйте, дорогой, дорогой Василий Иванович. Дайте мне пожать вашу благородную руку! Вспоминали ли вы меня когда-нибудь? «Чего мне вспоминать такую стрекозу?» — думаете вы, а я в восторге, прямо в восторге, что вижу вас! Вы оба чудеснейшие люди...

— Будем объясняться в любви после обеда. На голодный желудок это как-то неудобно...— сказал Василий Иванович. Мы двинулись в столовую, и только это остановило на минуту безудержную болтовню Ивановской.

— Где же ты пропадала? Я тебя не видела более полугода! — спрашивала я ее.

— Да ведь меня отец в гувернантки сунул! Да... сунул и, по своему обыкновению, против моего желания. Я ему говорю: «Папа, уважающая себя девушка теперь старается применять свои силы к более плодотворной деятельности, чем гувернантство». Но ему хоть кол на голове теши. Ведь он невообразимый деспот и тиран! К тому же современные идеалы ему и не по плечу! Ну, что же вам еще сказать? Место, как и нужно было ожидать, оказалось прегнусное: из меня хотели сделать безответную рабу. Пробыла три месяца, плюнула и уехала.

— Странно. Единственный раз, когда мы были у тебя и видели твоего отца, он произвел на нас впечатление человека весьма порядочного, неглупого и горячо любящего своих трех дочерей.

— О, он знает, как и с кем разговаривать! Он подъезжает ко всем «красным», и сам желает прослыть человеком либерального образа мыслей.

— Но такая репутация для чиновника не совсем удобна. И зачем ему наше мнение? Мы не поддерживаем с ним никаких отношений, круг наших знакомых совсем не тот, что у него.

— Привык ухаживать за своим начальством, ну и подлизывается ко всем.

— Однако нельзя сказать, чтобы ты очень почтительно отзывалась о родном отце,— заметила Тоня.

— А ты, Тонечка, все такая же паинька, какою была?

— Но теперь-то где же вы живете? — спросил Василий Иванович.

— Господи! — всплеснула она руками.— Разве я не сказала? Вот ведь какая я рассеянная! Я разошлась с отцом, совсем разошлась! Жить с деспотом, который истерзал мою душу, я больше не в силах. Я убежала от него навсегда и совсем перебралась к вам. Я могла бы поселиться у тетки,— она довольно добродетельная старушонка, но невыразимо скучное созданье, и притом заскорузлая реакционерка и ретроградка. К тому же отец в последнее время своими жалобами так восстановил ее против меня, что она тоже лезет теперь ко мне со своими тошнотворными нравоучениями. Да и с какой стати я переселилась бы к ней, когда могу переехать к вам, моим милым, хорошим, чудеснейшим людям?

Вместо того чтобы поблагодарить ее за выраженные чувства восторженной любви и такого наглядного их доказательства, как ее переезд к нам, я заметила:

— Право, не знаю, Аня, куда я тебя помещу. У нас нет не только свободного угла в квартире, но даже дивана, на котором я могла бы тебя положить.

— Вот пустяки! Стоит ли об этом думать! Я могу лечь куда попало, хотя в передней. Ведь кроме вас, мне некуда деваться.

— Конечно, если это так, то мы должны потесниться,— возразил Василий Иванович.

— Самых деликатных людей возмущает, когда с ними поступают неделикатно, а вас, Василий Иванович, и это не может вывести из терпения, если вам только кто-нибудь скажет, что ему некуда деваться... хотя бы это было из-за взбалмошности! Вот попомните мое слово: к вам скоро явится еще новая жилица... Нами двумя дело не ограничится. Я лично не считаю возможным более стеснять вас, а потому и отправляюсь сейчас же отыскивать себе комнату,— проговорила Тоня с пылающими от негодования щеками и встала, чтобы отправиться к себе.

Я знала, что у нее дело не расходится со словом, и загородила ей дорогу. Я дрожала при мысли, что она, с которой я так сроднилась душой, сию минуту уйдет от нас к незна-

комым для нее людям, уйдет из-за Ивановской, к которой я никогда не питала нежных чувств.

— Если ты уйдешь... если даже ты будешь продолжать об этом думать... ты мне причинишь такую боль... — Я чувствовала органическое отвращение высказывать свои чувства, и эти слова мне пришлось с силою вытягивать из горла, да и то только страх, что Тоня сию минуту убежит от нас, заставил меня высказаться.

— Ах, Лизочка, разве ты не знаешь Тоню? О, я хорошо изучила ее за два года нашей совместной жизни в пепиньерках! Это холодная натура, которая никого не любит, никого не жалеет! Она намекает, что я взбалмошная. Пусть так: я не могу и не хочу всегда оставаться в рамках ее холодного, мещанского расчета и бездушного эгоизма.

— Зачем вам, Антонина Николаевна, уходить, подымать такую трагедию? Вы знаете, как мы все к вам привыкли, как все здесь любят вас... Но, конечно, если у человека нет пристанища, знакомые должны устроить его у себя. Переселение к нам Анны Петровны не может помешать и вам оставаться у нас.

— Вы бы, Василий Иванович, лучше не рассуждали о таких вещах. С утра и половину ночи вы сидите за книгами, поглощены вашими лекциями, статьями и решительно ничего не понимаете в практической жизни. Имеете ли вы какое-нибудь представление о том, какую уйму хлопот и неудобств вносит каждый новый жилец в скромную жизнь такой семьи, как ваша? Вы даже не можете сообразить того, что в вашей квартире немыслимо найти уголок, где можно было бы положить спать хотя на одну ночь еще новую жилицу.

— А вот вы сейчас будете посрамлены в ваших великолепных, всесторонне обдуманных, практических соображениях! — возразил Василий Иванович. Затем он начал отодвигать стол к стене, поставил два кресла одно против другого в некотором расстоянии, наконец вышел из комнаты.

Нужно заметить, что единственная у нас свободная комната, не служившая ни спальнею, ни рабочим кабинетом, была столовая. Эту комнату почти всю целиком занимал обеденный стол, который кругом был обставлен стульями; от них до стены оставалось не более полуаршина свободного пространства, а в углах стояли два кресла.

Василий Иванович возвратился с гладильной доской и начал ее вставлять в расставленные кресла.

— Вот вам и отличная постель! А, что? — воскликнул он, поглядывая победоносно на всех нас.

Няня, увидав, что Василий Иванович тащит гладильную доску, так заинтересовалась этим, что вошла в столовую.

— Но это еще не все... подождите. Знаю, что в таком виде предусмотрительные хозяйки сейчас закричат, что стулья загораживают дверь, что нельзя будет проходить в переднюю...— и он схватывал стулья, которые с грохотом падали на пол, подымал, выносил их в переднюю и ставил там друг на друга...— Ну, что, хорошо? И еще с каким комфортом можно устроиться...— наивно-простодушно, как ребенок, восхищался он своим произведением, то отходя от него, то возвращаясь к нему, чтобы поправить неправильно стоявшие кресла.— Обратите внимание, как все это основательно устроено: с одной стороны стол, с другой стена подпирают кресла и не дают им раздвигаться, а стол сослужит двойную службу: на него можно поставить подсвечник и все, что требуется.

— А когда барышня будет ложиться спать да пошевелит креслами, вот она и шмякнется на пол.

— Что ж, и этой беде можно помочь! — проговорил Василий Иванович и через несколько минут принес огромную веревку и начал ее обвязывать вокруг кресел.

— Да что же вы делаете, Василий Иванович? Смотрите... вы так стянули кресла, что гладильная доска порвала уже их обивку! — говорила Тоня с досадой.

— А все-таки такая кровать будет для барышни узка. Да и очень жестко ей будет спать на ней. А у нас нет ни одного лишнего тюфяка,— заявила няня.

— Ну, это уже совершенные пустяки: в третьем классе по железной дороге путешествуют еще с меньшими удобствами. Наконец, на доску можно положить какую-нибудь одежду,— упорно отстаивал Василий Иванович выгоды своего изобретения.

— У меня самой найдется кое-что...— проговорила Аня, выбежала в переднюю и вынесла оттуда что-то, обернутое в газетную бумагу. Она развязала веревки и вынула роскошнейшую дамскую шубу черно-бурой лисицы, покрытую великолепным черным бархатом.

Мы с Тоней, зная более чем скромные размеры жалованья отца Ани и сейчас же заметив, что шуба гораздо длиннее, чем то требовал ее рост, как-то невольно в один голос вскрикнули: «Аня! Да откуда же у тебя такая роскошная шуба?»

— От покойной мамы в наследство досталась.

— Почему же она досталась тебе, а не твоей старшей сестре Кате или младшей — Ольге?

— А почем я знаю! Досталась, да и только,— с неудовольствием процедила Аня сквозь зубы.

Василий Иванович нашел эти разговоры не идущими к делу. Ему так хотелось поскорее покончить с своим изобретением и представить его нам во всем блеске. Он почти вырвал из рук Ивановской шубу со словами: «Ведь это же устраивается гораздо великолепнее, чем я мог себе представить! Вот смотрите: одну половину шубы мехом вверх следует разостлать на доске. Воротник представит мягкую, как пух, подушку, а чтобы сделать ее выше, можно подсунуть платок какой-нибудь или книгу, а другою половиною шубы вы, Анна Петровна, можете накрыться...— Для наглядности и чтобы лучше приноровить шубу к спанью, он мял ее без всякой пощады, складывал на разные лады, причем она трепалась по полу, подсовывал кулаки под воротник, не обращая внимания ни на драгоценный мех, ни на бархат.— И это прекрасно, что у вас оказалась такая хорошая шуба! У нас в столовой холодновато. Ну, вы теперь устроены по-царски!»

Ответом на это был залп единодушного хохота: няня, Тоня и я просто покатывались со смеху, унимались на минуту, но смех снова душил нас. Только Аня стояла, не произнося ни слова, хмурая и надутая, а Василий Иванович, поглядывая на меня и Тоню, с сокрушением покачивал головой.

— Ведь ежели бы нашего барина послушать, кто его не знает, значит такой господин, который не может вполне полно постичь его характер, он, наверно, подумал бы, что барин наш просто шутки шутит, а ведь он, как перед истинным, все это всурьез барышне советует...— говорила няня, захлебываясь от смеха.

— А вы обе,— произнес Василий Иванович, с несвойственным ему озлоблением поглядывая то на меня, то на Тоню,— недалеко от нее ушли. Вы наглядно подтверждаете давнишнюю мою мысль, что институт такое ядовитое учреждение, которое навсегда отравляет кровь воспитываемых. Вы обе сознательно учитесь, работаете, серьезно смотрите на жизнь, а допотопными взглядами ваших прабабушек вас так пропитали, что уже никто и никогда не выбьет их из ваших голов. По-вашему, пусть человек замерзнет, но, боже сохрани, накрыться красивою шубою: на нее следует смотреть, как на святыню.

— Что дорогую шубу не следует трепать, как подстилку, подобными допотопными взглядами проникнуты, вероятно, не только институтки... Но относительно этого у нас с вами, Василий Иванович, диаметрально противоположные взгляды... А вы мне вот что скажите: допустим, что для Ивановской вы устроили роскошнейшую спальню, ну а третью жилицу куда же вы положите?

— А вы и тут сообразить не можете? Вы — гений практичности и благоразумия! А вот этот стол, ну зачем он стоит по ночам без всякого употребления? Его можно несколько раздвинуть и превосходнейшим образом выспаться на нем.

— Ну, я уж никогда не стала бы обедать за столом, на котором спят! — сказала Тоня.

— Хотя теперь каждый порядочный человек считает долгом упрощать свою жизнь и сокращать свои удобства, но я никогда не видала, чтобы самый бедный крестьянин спал на обеденном столе,— заметила я.

— Мало ли какие предрассудки у крестьян! Можно подражать только хорошему... А и несчастные же вы обе (это обращение было ко мне и Тоне)! Много вам придется пережить бессмысленных, ненужных страданий, если вы как-нибудь очутитесь в крайней бедности.

Мы не допустили Аню спать на ее драгоценной шубе, а бережно повесили ее в шкап. Прежде чем она улеглась, мы все, даже прислуга, принесли ей кто подушку, кто плед, кто одеяло. Спать ей было не жестко, но на другой день она говорила, что несколько раз падала на пол со своей импровизированной кровати. Может быть, это так и было, но возможно, что она видела это только во сне. Вообще она любила рассказывать различные происшествия, которые как-то особенно часто случались именно с нею. По своему характеру Анна Петровна Ивановская была особа неуравновешенная, неустойчивая до полного легкомыслия. И со знакомыми, и с малознакомыми она была то смелою до бесцеремонности, то трусливою до неприличия; она легко поддавалась как дурному, так и хорошему влиянию каждого более ее сильного и красноречивого человека, но то и другое быстро соскальзывало с нее, не зацепляясь ни за ее сердце, ни за мозг. Красивые слова и мысли, вычитанные или услышанные ею, производили на нее чарующее впечатление, но она никогда не разбиралась, правильны они или нет, справедливы или несправедливы, но тотчас вносила их в свои разговоры и рассуждения, иногда даже невпопад. Послужив ей недолго, эти мысли и слова быстро

исчезали из ее лексикона, но приносили ей нередко большие неприятности: чужие выражения, иногда весьма злые и остроумные шутки, которые она пускала в оборот, высказывались ею не для того, чтобы уязвить кого-нибудь, но потому, что они казались ей красивыми и оригинальными, а какие они могут иметь последствия, об этом она никогда не думала.

Влюбчива она была до невероятности, то и дело меняя один предмет страсти на другой. Уже будучи взрослою девушкою на выпуске, когда при новом режиме в институте исчезло пресловутое «обожание», ей случалось влюбляться в преподавателя, которому за несколько дней перед тем она наговорила дерзости, коробившие ее подруг. Когда у нее являлся новый «предмет страсти», она всем надоедала разговорами о нем и своими восторгами. Ей кричали: «Ах ты, сума переметная!» — но ее гораздо более выводило из себя, когда воспитанницы хором пели: «Ах, Аннета, что же это?» — модулируя эту фразу то в насмешливом, то в угрожающем, то в укоризненном тоне. Она тогда на всех кричала, топала ногами, бранилась и кончала рыданиями с истерическими выкриками. Такою она была, такою и осталась в то время, когда появилась на нашем горизонте.

Ивановская то и дело приходила в какое-то возбужденное повышенное состояние: ее чувства, желания, настроения, взгляды, понятия о людях, ее симпатии и антипатии очень часто менялись. Ее нельзя было назвать ни умной, ни глупой, ни злой, ни доброй. В настоящее время ее, вероятно, считали бы психопаткою, но тогда этот эпитет не был еще общераспространенным, и тот, кто ее близко знал, называл ее истеричкою.

Мы, подруги Ивановской, находили ее внешность эффектною, думали, что она будет нравиться. И действительно, с первого взгляда она казалась привлекательною. Она была среднего роста, худощавая, но пропорционально сложенная, с тонкою, красивою талиею, с густыми, черными как воронье крыло волосами и с такими же черными, густыми бровями дугой. Но, приглядевшись к ней поближе, в ее наружности обыкновенно открывали много дефектов. Одни говорили, что черты ее лица так мелки и что резец ее творца так мало углубил их, что она уже в среднем возрасте будет представлять стертую монету. Других поражали ее голубые, слишком светлые глаза, лихорадочно блестевшие во время нервного возбуждения, а в более спокойные минуты не имевшие никакого выражения, точно они были из фарфора, разрисованного чересчур водянистою голубою

краскою. Но более всего поражал бледно-молочный, без малейшего румянца, цвет ее лица, которое резко выделялось из рамки черных волос, за что с первого ее появления у нас ее прозвали «мухою в молоке».

Аня переоценивала свои внешние и психические качества, подозревала каждого, кто подольше останавливал на ней свой взгляд, что она пронзила его сердце стрелой Амура, и начинала с ним кокетничать напропалую, говорить еще более фразисто, все это обыкновенно кончалось тем, что она производила дурное впечатление.

Наша совместная жизнь приносила и Ивановской и нам множество неудобств. Неаккуратная и рассеянная вообще, а тем более в нашем доме, где она не имела собственного угла, она всюду разбрасывала свои вещи, беспрестанно умоляла прислугу отыскать ей то одно, то другое. Поздно вставая по утрам, она мешала нам пить чай в столовой и много прибавила хлопот и работы служащим, которым она вообще пришлась не по душе. Ни обязанностей, ни занятий у нее не было в это время: она любила читать и читала, но книга, как всякая работа, скоро ей надоедала. Тогда она шла к кому-нибудь из нас: поговорив с нею несколько минут, как я, так и Тоня (когда дело касалось болтовни, Аня забывала антипатию к ней) отделывались от нее чем-нибудь в таком роде: «А ты не читала такой-то статьи? Непременно прочти, очень интересная»,— и совали ей номер журнала. Она отправлялась к Василию Ивановичу: «Пожалуйста, поговорите со мною»,— упрашивала она его. Он имел привычку так уходить в свои занятия, что не видел и не слышал, что делается вокруг. Но когда она повторяла свою просьбу во второй и третий раз, он отрывался от своей рукописи, смотрел на нее непонимающими глазами и как-то испуганно спрашивал: «Что, что такое случилось? Ах, поболтать... Хорошо. Очень рад!» Он быстро вставал, набивал свою трубку и, покуривая, начинал шагать по кабинету. «Пожалуйста, Анна Петровна, говорите, я вас слушаю...»

— Что же я могу сказать? Вы все знаете обо мне? Я не скрыла от вас, что до сих пор жила при условиях, убивающих всякую мысль.

— Но вы достаточно уже имели времени, чтобы создать надлежащее содержание для своей жизни, обдумать, к чему вас более всего влечет, и начать серьезно и систематично работать в этом направлении.

— Я не лентяйка. Работаю, но работать с утра до рассвета — слуга покорный... Знаете ли, во что вы превра-

тили свою жизнь? В фабрику писания, в фабрику чтения, в фабрику работы без просвета и отдыха! Работая так, вы скоро разучитесь и думать.

— Нельзя сказать, чтоб мы работали без отдыха: у нас приемные дни, и мы сами, хотя, правда, очень редко, но все же посещаем знакомых. А что много приходится работать, что же делать? Знаете пословицу: не так живи, как хочется, а как бог велит.

Но трубка была уже выкурена, и Василий Иванович садился за свой стол. «Вы, пожалуйста, продолжайте говорить, Анна Петровна... я буду вас слушать. Мне нужно только одну строчку дописать». Но как только он садился в кресло и наклонялся над бумагой, так буквально ничего не видел и не слышал, не отвечал даже, когда Аня о чем-нибудь спрашивала его, не замечал и того, что в ее голосе слышались истерические нотки, что она укоряла его и весь свет в индифферентизме по отношению к ней и наконец, раздраженная невниманием, хлопала дверью кабинета и выходила.

Однажды я возвратилась из школы несколько ранее обеда. Няня объявила мне, что нет никого дома. Антонина Николаевна приказала передать мне, что она получила от крестного письмо и две корзины с гостинцами, которые ей доставил рассыльный. В одной из корзин были банки с вареньем, предназначенные для меня, а в другой — домашнее печенье и пряники для Тони.

— Эти четыре банки с вареньем и корзину барышня просила вас спрятать, а сама уехала к барыне, которая все это привезла ей. И подумайте только: когда за барышней захлопнулась дверь, а «она-то» и шасть в столовую...

— Кого же это, няня, вы называете «она-то»? — перебила я ее, прекрасно понимая, кого она имеет в виду.

— Да наша-то новая жиличка.

— Ведь вы же называете по имени Антонину Николаевну, а эту барышню должны называть Анной Петровной.

— Разве ж их можно приравнять друг к дружке? Антонина Николаевна наша как есть настоящая барышня, умная, деловитая, а ведь это же какая-то шалая!

— Прошу вас, няня, не говорите мне так о ней.

— Да как же ее так не называть? Посудите сами: как только за нашей барышней захлопнулась дверь, «она» вытянула банку из корзины, схватила ложку и ну лакать варенье, как кошка молоко. А я ей вежливо-превежливо говорю: «Как же это вы насчет варенья не соблюдаете никакой аккуратности? Ведь это не каша. Вот пообедаете,

так к чаю варенье и будет подано». А она мне: «У вас все размерено, все рассчитано по линеечке да по ниточке, а я этого терпеть не могу!» Ну, и нахлебалась же «она»,— больше фунта сразу отхватила...

— Стоит об этом говорить! — И я, чтобы унять поток няниных речей, направилась в свою комнату.

— Нет, уж как хотите, Елизавета Николаевна, а чтоб не вышло чего, вы уж разберите нас с нею.

— Кого и с кем разбирать?

— Да меня и кухарку Варвару с Анной Петровной. Прибежала это она к нам намедни в кухню, и ну нас упрашивать дать ей взаймы рублей шесть. Как ни уговаривала она нас, как ни божилась, что отдаст на будущей неделе, а все-таки не уломала ни меня, ни Варвару. Видим, что барышня ветрогон, чего ради нам деньги наши терять! Ушла. Бегает по комнате сердитая такая, к барину пристает: «Тоска душу мою иссушила...» И бессовестная же она: не стыдится даже барина беспокоить, а он из-за работы по ночам не спит...

— Чего только вы не наплели, няня! Кончайте же то, что вы начали...

— Так вот она опять прибежала к нам, держит в руках два платья, бросила их на Варварину кровать и говорит: «В долг не хотите дать, так вот я вам их продаю по три рубля за каждое. Давайте шесть рублей, и оба платья ваши. Сделаны они мне этою осенью, пятьдесят рублей за них дадено, а я вам за шесть рублей уступаю. Одевала я их не больше как по два, по три раза». Поду́мали мы, поду́мали с Варварушкой и рассудили: лифа́-то не годятся для нас, она уж больно щупленькая, а юбки можно приноровить: материя дорогая. Дали мы ей шесть рублей, да потом нас думка взяла: как бы с ее какого греха не нажить. И решили мы вам все рассказать.

— Эти шесть рублей считайте за мной. Через недели две-три я или возвращу вам эти деньги и передам платья Анне Петровне, или ваши деньги останутся у нее, а вы будете делать с вашею покупкою, что вам заблагорассудится. А до тех пор прошу вас не дотрагиваться до этих платьев.

В эту минуту раздался звонок, и я увидала входящую Аню, нагруженную тюрячками и корзиночками.

— У, какой собачий холод! Совсем окоченела... а ты бери и наслаждайся...— тараторила она, бросая покупки на стол и подвигая их ко мне.— Чудеснейшие финики, а здесь миндаль, шептала, все сладости, которые я обожаю! А вот

это божественные копченки! У, как холодно! Нянечка: не в службу, а в дружбу, отыщите мой теплый платок, целую горсть сладостей за это получите. А ты, принцесса, почему ни до чего не дотрогиваешься?

— Отчего ты так озябла? Ведь твое пальто на пуху?

— Что же делать, когда оно меня не согревает! Говорила «фатеру», чтобы шубу купил, ну, да он, по обыкновению, пожадничал.

— А что за нужда была тебе сегодня выходить?

— Ну, милая моя, ты никогда не поймешь, что человек от тоски у вас может ошалеть! Вот я побегала по Гостиному двору, заглянула в кое-какие магазины, прокатилась, ну и размыкала грусть-тоску.— И она отправилась в кухню с своими тюрячками и корзиночками и высыпала няне и кухарке в передник и на стол столько гостинцев, что почти опустошила свои сверточки.

Наконец возвратилась Тоня. Вот что она нам сообщила: Елена Павловна Ермолаева с двумя девочками и с своим мужем, который служил в Воронеже, жили в этом городе, где обе ее дочери 11-ти и 12-ти лет учились в частном пансионе. Лето они проводили в нескольких верстах от города, в своем имении, куда к ним из Петербурга обыкновенно приезжал их сын Александр Петрович Ермолаев, окончивший курс в одном из петербургских юнкерских училищ. В настоящее время он офицер, человек лет 26—27.

Когда Тоня произнесла эту фамилию, она улыбалась и с крайним удивлением смотрела то на меня, то на Василия Ивановича.

— Да разве вы забыли, что это тот самый Александр Петрович Ермолаев, который оказался моим спасителем и рыцарем? Это удивительное совпадение меня крайне поражает! Неужели, Василий Иванович, вы не согласитесь, это что-то крайне таинственное и непостижимое в моей судьбе?

— Час от часу не легче! При ваших институтских понятиях и бреднях вы еще ударяетесь в мистицизм! Только этого и не хватало! А между тем это подтверждает только одно: вместе с допотопными предрассудками вам внедряли еще и суеверный страх перед самыми обыденными явлениями.

— А вот я,— гордо заметила Аня,— не придаю ни малейшего значения приметам: меня не одолевают ни предрассудки, ни суеверия.

— Но ведь ты ни малейшего значения не придаешь и здравому смыслу! — насмешливо возразила Тоня.

— О чем же ты сегодня разговаривала с твоим рыцарем? Знает его мать о том, что он явился твоим спасителем? — спросила я ее.

— Оказывается, что как только он услыхал от матери мою фамилию и о том, что она приглашает меня в качестве учительницы к его сестрам, он только тогда рассказал ей о приключении со мной. Ведь это тоже говорит в его пользу! У него, значит, нет привычки хвастаться своими подвигами. Когда madame Ермолаева условилась со мною насчет моих занятий с ее дочерьми, она позвала своего сына. Я тут только в первый раз рассмотрела его как следует. Ведь тогда я была в таком волнении, что у меня все было в тумане... Увы, увы, в этом рыцаре, к сожалению, нет решительно ничего привлекательного. Когда я вспоминала этот злополучный инцидент, Ермолаев всегда представлялся мне не иначе как в самом благородном свете, сиял передо мною своею геройскою доблестью. Может быть, все это так и есть, но в его наружности, в его словах, улыбке, в манере говорить,— одним словом, решительно во всем, он мне показался таким незначительным, таким неумным человеком... Да, полное разочарование!

— Почему же Ермолаева именно тебе предложила урок?

Оказалось, что Ермолаевы хорошо знакомы с ее опекуном, который нередко посещал их дом, и члены этой семьи очень любили его. Когда умер муж Елены Павловны, ей пришлось продать имение и переселиться в Петербург. Она желает жить вместе со всеми детьми и отдать дочерей в гимназию во второй и третий класс. Вот она и решила взять учительницу, которая бы подготовляла девочек в гимназию. Она очень рада, что опекун Тони, которого она привыкла считать добросовестным человеком, рекомендовал ей свою крестницу как надежную учительницу для ее дочерей. Ермолаева предложила Тоне 40 рублей в месяц за три часа ежедневных занятий,— такое вознаграждение считалось в то время превосходным. Тоня с восторгом приняла предложение. На эти занятия у Ермолаевых она смотрела как на великое счастье, свалившееся на нее с неба. Она сейчас же принялась совещаться с Василием Ивановичем о том, что следует ей почитать по разным предметам гимназического преподавания, чтобы с большею подготовкою приступить к занятиям.

— А знаешь ли,— сказала мне Тоня,— я ведь на тебя в большой обиде. Я рассчитывала, что ты отнесешься с восторгом к счастью, которое так неожиданно выпало на мою

долю, а ты приняла это почти равнодушно. Даже не поболтала со мною об этой поразительной встрече с Ермолаевым. Ведь при Василии Ивановиче нельзя об этом говорить.

— Это правда, Тонюша... Но что же мне делать, когда я до такой степени поглощена теперь Аниными делами. Предчувствую, что она наделает нам много хлопот с своими авантюрами, втянет нас в какую-нибудь скверную историю...— И я рассказала о продаже Анею платьев прислуге, о сластях, накупленных на вырученные деньги, передала ей мой страх, что она не сегодня завтра продаст свою дорогую шубу, чтобы иметь деньги на покупку конфект, беспокоила меня и мысль о том, кому принадлежит эта шуба.

— Хотя бы ты съездила поговорить о ней с ее отцом, с сестрами, с теткой. Это могло бы тебе что-нибудь выяснить, заставило бы поговорить с нею серьезно о том, почему она без основательной причины, в чем я не сомневаюсь, убежала от отца. А ты относишься ко всему пассивно, но не потому, что ты пассивна по натуре, а потому, что у тебя ложное представление о деликатности или, короче сказать, ты тряпка и еще тысячу раз тряпка!

Я не могла протестовать против этого столь нелестного обо мне мнения потому, что находила в нем много справедливого.

Не разогнал тоску Ани и «вторник», на который она возлагала преувеличенные ожидания. Она надеялась потанцевать, но танцы не состоялись, мечтала встретить Ушинского, но он не пришел. Единственным результатом первого собрания у нас после ее переселения было то, что пан Шершневский всецело овладел ее вниманием. Так как она просидела с ним целый вечер, то я и спросила ее, какой матерьял она могла найти для разговора с ним.

— Сначала он, по обыкновению, говорил мне комплименты, а затем прибавил: «Вы не знаете, какой я несчастный человек! Ни одна женщина до сих пор не позволяла мне добровольно поцеловать ее. Будьте же вы моею Эгериею [9], моею прекрасною феей, которая первая пожалеет меня!» — и он сказал это с такою грустью, что я до сих пор не могу забыть. Мне так стало его жалко... Знаешь, мне кажется, что вы слишком сурово относитесь к нему.

— Единственное сочувствие, которое он желает вызвать, это чтобы женщины его целовали. Следовательно, и ты отнеслась к нему безжалостно.

— Вот еще! Целоваться с таким уродом, да еще при всех! А я вот что надумала: не предложить ли ему фиктив-

ный брак со мной? Тогда во время бракосочетания мы должны будем поцеловаться... Что же... в благодарность за его согласие, да еще ради такого случая, и только один раз, я могу дать ему возможность поблаженствовать...

— Аня! Ты просто приводишь меня в ужас! Для того чтобы осчастливить его своим поцелуем, ты готова вступить с ним в фиктивный брак! Это слушать даже страшно! Я знаю несколько таких браков, и все они кончались не только очень печально, но в большинстве случаев и трагично! К тому же ведь их заключают вследствие каких-нибудь препятствий со стороны родителей: когда не отпускают дочь учиться, не соглашаются на ее брак с любимым человеком. А ты никогда не говорила нам ни о чем подобном...

— Мне необходим фиктивный брак, чтобы навсегда развязаться с «фатером». Он толкнул меня на постылое место гувернантки, он и в других отношениях может выкинуть что-нибудь подобное. Вот я и хочу выйти замуж, хотя фиктивно, чтобы навсегда избавиться от какого бы то ни было насилия и самодурства со стороны отца.

Жизнь Ивановской у нас с каждым днем все более пугала меня: она у всех нас занимала деньги и с такою же просьбою обращалась к нашим знакомым. Одним из них она говорила, что забыла деньги дома, а ей необходимо поблизости зайти в магазин, других уверяла, что пришлет свой долг завтра. Я наконец решилась сказать, что ей необходимо искать работу и поговорить об этом с Ушинским. Она отвечала, что постоянно думает об этом, но не решалась беспокоить Ушинского, а теперь, по моему совету, через дня два отправится к нему.

На другой день после завтрака, когда кроме меня никого не было дома, я вдруг услышала из своей комнаты, как кто-то вскрикнул. Я бросилась в столовую и вот что увидала: бархатная шуба на черно-бурой лисице была разостлана на столе. Ивановская с ножницами в руках уже отрезала от нее снизу одного полотнища с четверть аршина (мех вместе с бархатом). В эту минуту неожиданно вошла в столовую няня Ани, вскрикнула и, с ужасом всплеснув руками, оттолкнула ее от стола и схватила шубу.

— Пресвятая богородица! Да что ты, Анночка... И взаправду совсем рехнулась! Ведь это шуба как твоя, так и твоих сестер!

Нужно заметить, что няню Ивановских знали все подруги Ани. Она нередко приходила в институт на свидание с нею и оказывала нам всевозможные услуги: бросала

в почтовый ящик письма тех из нас, кто не желал их показывать классной даме, исполняла наши маленькие поручения относительно покупок. Мы все были чрезвычайно признательны ей, и она оставила в нас о себе одно из лучших институтских воспоминаний как о необыкновенно добром, милом существе, бесконечно любящем свою Анночку.

— Да что же это она с нами делает? — заговорила няня после того, как мы расцеловались с нею. На одну руку она набросила шубу, а другою вытирала платком катившиеся по щекам слезы и села на стул возле меня.— Пошла жить к чужим людям... Здесь-то ведь нет таких ребят, чтобы ты могла обучать (обращалась она к Ане). Здешняя прислуга сказывала мне, как ты им продала за шесть рублей свои дорогие платья, а теперь ты к шубе подобралась! Папенька утром привел покупателя на эту шубу и велел мне показать ему ее. Я туда-сюда, а шубы нет как нет. Спасибо сестрицы надоумили: «Наверно, говорят, Анночка с собой захватила». Анночка, детка моя дорогая! — вдруг подбежала к ней няня, не выпуская из рук шубы и обнимая ее другой рукой.— Да кто же тебе дома чем поперечил? Ведь если кто тебя когда и побранит, так только я одна...

— Ах, нянечка,— сквозь слезы проговорила Аня, страстно обнимая и целуя свою няню в глаза, лицо, хватая целовать ее руки, которые та отнимала — Ты святая! Ты во всем нашем доме единственно хорошая! Я больше всех люблю тебя!

— Ведь вот всех вас троих вынянчила, всех растила, за всеми ночей недосыпала, все вы точно клещами в сердце мое впились. Стрясется с вами что неладное, и все мое нутро переворачивается... А все же из вас-то троих сестер мне тебя жальчее всех... Да чего мне за сестер твоих изнывать? Катюша — девица разумная, только двумя годиками постарше тебя, а уж давно поставила себя по-настоящему. Шутка ли сказать, от своих трудов в хозяйство тридцать рублей каждый месяц вносит! А в этом году не позволила тетке в гимназию за Олечку платить, все до копеечки сама внесла. На свои трудовые денежки обувает, одевает себя и вас, сестер, и меня, старуху, то и дело одаривает. Да и за Олечку нет у меня страху: все больно похваливают ее за учение, к родителю своему она почтительна, к тетке внимательна, вижу — вся пошла в старшую сестру. Ведь ты одна у нас, Анночка, какая-то неудачница, точно вроде как шалая какая... Девица ты взрослая, а сердчишко-то и ум у тебя ребячьи, что ни час — подавай тебе новенькое, а ра-

зум-то плохой, чтобы рассудить, что худо, что хорошо. И, господи боже мой, до чего ты злосчастная!.. Детка моя родная! Ну, как же мне тебя больше всех не жалеть? Головушка твоя беспутная, ветром набитая!.. Сколько мук мученических ты еще примешь, сколько горя ты себе еще наделаешь! — Последние фразы няня уже как-то мучительно выкрикивала, рыдая, обливаясь горючими слезами.

Я взглянула на Аню, вот-вот ожидая от нее вспышки или резкого отпора за сказанное. Я думала, что она непременно вскипит, отрежет какую-нибудь дерзость своей няне за ее до невероятности простосердечные и наивные слова, которые могли так мало польстить самолюбию и тщеславию Ани. А она вдруг бросилась перед ней на колени, уткнула в них свою несчастную голову и рыдала, рыдала.

Только при словах этой простодушной, любвеобильной старушки я поняла всю глубину несчастного характера Ани. Тот, кто знал ее, находил, что все свои дикие выходки она считает незаурядными, красивыми, а каждый благоразумный поступок — мещанским, лишенным поэзии. В таком духе она постоянно оправдывалась перед нами в своих бесчисленных странностях. Вот это-то более всего и раздражало меня и скопляло в моей душе против нее порядочный груз неудовольствия. Но сцена, только что происшедшая перед моими глазами, тяжкие рыдания Ани на коленях перед нянею красноречиво подсказывали мне, что она отлично знает цену своим словам и поступкам. Но ей не дано силы воли и энергии изменить, переделать свой характер, неустойчивость которого, вероятно, сильно зависела от истерии. Все фибры ее души всегда были напряжены, взвинчены или вконец расшатаны; ее выходки не сожаление возбуждали в нас, а одно раздражение. Только няня, эта полуграмотная старуха, глубоко поняла ее своею чуткою, любящею душою, своею бесхитростною мыслью. И вдруг страстная жалость к ней охватила мою душу, и я выбежала в другую комнату.

— Да встань ты, не убивайся, детка, никто как бог: может, он тебя еще и выправит. Скажи ты мне, какая же это в твоей головенке мыслишка завязла, что ты вдруг взяла да и откромсала эдакой кусище от дорогой шубы?

— Мне холодно на улице: моя шубка мало греет. Хотела завтра ехать к одному господину работы просить, да боялась замерзнуть.

— И разум же у тебя какой плохой! Сама рассуди: уж ежели резать решила, так отдала бы хорошему портному, он бы и обрезал и подшил... А то вдруг сама! Себе передника

скроить не умеешь, а тут взялась хозяйничать над драгоценным мехом да бархатом. Я ведь давно тебя ищу: у теटеньки чуть не каждый день справлялась, к твоей подружке на Фурштадтскую бегала и всюду ношу с собою пуховый платок,— знаю, что ты в такие холода всегда мерзнешь. И сюда его притащила. Да поедем мы с тобой, Анночка, домой! Чай, ведь ты чужим людям давно в тягость!

— Нет, нянечка, ни за что! Подумай, что мне отец за шубу сделает...

— Ах, Анночка, Анночка, вот ведь какая ты: блудлива, как кошка, а труслива, как заяц! И чего тебе папеньку-то опасаться? Не драчун он, не сквернослов, и строгости-то в нем нет никакой. А что по головке не погладит — это верно. Так ведь сколько ты ему неприятностей и срамотины наделала: в чужой дом ни за что ни про что сбежала, а теперь опять с драгоценной шубой — детским достоянием всех вас троих сестер... ты каких делов наделала? Ну, и смирись, проси у отца прощения. Он простит: знает, что ты не по своей воле чудишь.

Но на все ее уговоры Аня отвечала отрицательно.

На другой день утром кухарка доложила, что господин Ивановский желает видеть меня и Василия Ивановича и очень просит его принять. После первых приветствий он просил позвать его дочь. Я обошла все комнаты и нигде не нашла ее. Вдруг она выскочила из одного уголка, образуемого открытою дверью, и, чтобы нашего разговора не было слышно в столовой, потащила меня через коридор в другую комнату. «Скажи отцу, что я не выйду. Из моего угла мне отлично слышно все, что вы будете говорить»,— прошептала она мне на ухо. Когда я передала Ивановскому, что дочь его не желает выйти, он сказал: «Я хотел при ней сообщить некоторые факты, относительно которых она могла бы возражать, если бы они были не совсем точно переданы мною. Впрочем, я не сомневаюсь в том, что она подслушивает у какой-нибудь двери. Так вот: две вещи ее особенно сильно раздражают. Считаю себя вынужденным сказать вам, что я лишь три последние года получаю по сто рублей в месяц. При нашей семье в пять душ это слишком скромная цифра, чтобы взрослым членам семьи можно было обходиться без работы. Если мы теперь, и особенно прежде, не испытали тяжелых лишений, то этим мы исключительно обязаны заботливости няни. Образование я дал моим дочерям только благодаря моей родной сестре, а их тетке. Получая девяносто рублей в месяц вдовьей пенсии, она более половины ее тратила на уплату в учебные заведе-

ния за своих племянниц, а моих дочерей. Сама же она до последнего времени жила совершенно по-студенчески. Старшая моя дочь, Катя, окончив курс консерватории, сейчас же принялась за уроки и большую часть заработка тратит на семью. Мне не пришлось напоминать ей об ее обязанностях: она сама все разыскала, сама рвалась к труду. Что же касается Ани, то прошло уже более полугода после окончания педагогического курса, она продолжала говорить о своем стремлении к свету, а сама не двигалась с места; только тогда я в первый раз напомнил ей, что пора взяться за дело. Я узнал от близких знакомых, что в одном порядочном семействе в пяти часах езды от Петербурга требуется гувернантка к десятилетней девочке. Я действительно настоял на том, чтобы Анночка взяла это место, и тогда же заметил, что это ее крайне раздражило. Анночка не должна оставаться без дела уже потому, что от безделья она особенно нервничает и чудит. Прожив три месяца гувернанткою, она бросила место. Хозяйка дома так объяснила мне ее уход: десятилетняя дочка этой дамы вдруг начала натирать свое лицо клюквой, и когда мать побранила ее за это, сказала: «Анна Петровна каждое утро красит свои щеки румянами, чтобы сделать их розовыми... У меня нет румян, а тоже бледный цвет лица, вот я и начала румяниться клюквой». Имейте в виду, что хозяйка дома вовсе не отказывала Анночке от места, а заметила ей только, что в качестве гувернантки ей совсем не подобает румяниться, тем более в присутствии своей воспитанницы. Ответом Анночки был отказ от места. После этого она прожила дома еще четыре месяца. За день или за два до ее побега к вам я заметил, что ей бы следовало поискать каких-нибудь занятий. Так как она недовольна была местом гувернантки, которое я подыскал ей, то я просил ее искать работу уже самостоятельно. Вот это, видимо, так ее раздражило, что она, не простившись ни со мной, ни с сестрами, оставила родной дом. Катя и Оля, несмотря на множество занятий, все же находят время забежать иногда к тетке, которая, чтобы дать им образование, часто лишала себя самого существенного; они играют с нею в лото, картишки или читают ей что-нибудь. Их тетка в восторге от посещений своих племянниц. Только одна Анночка не находит для этого времени, а когда забежит как-нибудь раз в месяц, и то когда сестры застыдят ее, что она не желает проведать тетку. Она долго после этого ворчит, повторяя, что ей скучно проводить время с умственно убогою старухою. Когда я однажды услыхал это,— это было за день или за два до ее

бегства,— я высказал ей, насколько жестоко и неприлично с ее стороны такое отношение к родной тетке. Вот две причины, которые могли повлиять на то, что Анночка бросила мой дом.

Затем Ивановский спросил, предполагает ли его дочь окончательно поселиться у нас, и в таком случае какие она будет нести обязанности в нашем доме. Этот неожиданный вопрос совсем переконфузил меня. После продолжительной паузы я отвечала, что мы не говорили с ней ни о чем подобном, что у нас нет никакого для нее дела, нет для нее и особой комнаты и что она выносит у нас большие неудобства, так как спит в столовой.

Ивановский вынул восемь рублей и, протягивая их мне, просил отдать прислуге: шесть рублей на выкуп платьев, а два рубля за то, что они не были использованы ими. Дочери своей он просил передать, что она может возвратиться домой, когда ей угодно, без объяснения причин своего бегства.

Весь этот день Аня ходила мрачная, с заплаканными глазами, и не только ни разу не вспомнила об «эгоизме» и «консерватизме» отца, но не проронила о нем ни слова.

VIII

Дурное настроение Ани быстро исчезло: она уже на другой день была весела, как птичка, и с утра щебетала на разные лады о своем предчувствии, что сегодня (это был вторник) судьба, наверно, пошлет ей счастье увидеть Ушинского, «этого гениального, этого необыкновенного, этого исключительного человека». Ведь она и жить-то считает возможным только потому, что на свете существует такая личность, как Ушинский, «этот светоч, это солнышко». Предчувствия не обманули ее.

В последнее время как-то само собой установилось, что по вторникам ранее остальных гостей к нам являлись пан Шершневский и Николай Александрович Манькович: первый, вероятно, потому, что не был обременен занятиями, а последний — чтобы подольше созерцать предмет своей страсти. Тоня в разгар своей усиленной деятельности была так погружена в работу, что редко выходила из своей комнаты раньше девяти часов, когда собирались уже многие; поэтому Манькович старался подсесть ко мне, чтобы поговорить о Тоне. Меня это начинало все более тяготить. Я прекрасно видела, что его страсть к Тоне все более усили-

валась, а она по-прежнему не выказывала ему ни малейшего предпочтения перед другими, с удовольствием болтала с ним, слушала его разговоры с гостями, которые он обыкновенно вел очень умно и не без юмора, но этим все и ограничивалось. Маньковичу от времени до времени, вероятно, надоедало без всякого успеха добиваться ответа на свои чувства, и его настроение совершенно менялось: он вдруг терял способность воздерживаться от озлобления, тяжеловесно острил, резко или грубовато отвечал на участливые вопросы, кидал даже на Тоню мрачные взгляды. В таких случаях она избегала разговора с ним, выбирала место, чтобы подальше сесть от него. Но когда дурное настроение проходило, Манькович опять становился прежним — веселым и оживленным. Со мною, однако, он был неизменно добр, никогда не прохаживался злобно на мой счет, напротив, всегда старался выставлять мои хорошие качества, которых часто совсем не было.

Шершневский сильно недолюбливал Маньковича, и наши посетители объясняли это тем, что Николай Александрович умен, находчив, красив и очень нравился женщинам, а Шершневский представлял совершенную ему противоположность. К тому же привычка Николая Александровича выбирать объектом своих острот Шершневского немало возмущала последнего, и он старался платить ему тою же монетою. В этот раз Шершневский во всеуслышание заявил, по своему обыкновению, с непристойною прямолинейностью и грубостью: «Сам-то Манькович не сумел добиться благосклонности одной особы, вот он и обхаживает Елизавету Николаевну, чтобы она помогла ему в этом своим влиянием». Эта фраза, сказанная громко, могла бы наделать множество неприятностей, если бы она дошла до ушей Маньковича, но его в эту минуту случайно вызвал к себе в кабинет Василий Иванович.

Еще никого не было, кроме обычных посетителей, сидевших в моей комнате, когда Тоня вошла со свертком в руках и, поздоровавшись со всеми, сказала, обращаясь ко мне: «Уезжаю на Фурштадтскую к Ермолаевым, отдать детям книги. Возвращусь часа через полтора». За нею последовал Манькович, немедленно встал и Шершневский, направляясь в переднюю.

Когда вошел Манькович, я спросила его, куда девался Шершневский.

— Поехал провожать Антонину Николаевну.

— Почему же он, а не вы?

— Шершневский разжалобил ее тем, что подробно

изложил, почему ему необходимо проводить ее: он отправляется тоже на Фурштадтскую, у него сильно болит нога, а нанять извозчика нет денег. Против последнего аргумента Антонина Николаевна, видимо, не могла устоять.

В эту минуту вошел Ушинский; к нему так и бросилась Аня: глаза ее разгорелись от счастья и восторга, и они вдвоем прошли в кабинет Василия Ивановича. Когда мы остались только с Николаем Александровичем, он начал меня упрашивать, чтобы я ему как-нибудь пожертвовала часок-другой времени днем, когда у нас не бывает посторонних и в отсутствие Антонины Николаевны. Я отвечала ему, что мне нетрудно догадаться, о чем он желает говорить, но он напрасно думает, что кто бы то ни было может повлиять на Тоню в делах интимного характера. Однако он так настойчиво умолял исполнить его просьбу, что я наконец согласилась.

— Скажите мне, пожалуйста, что это за офицер, который провожает Антонину Николаевну? Я недавно шел мимо ворот вашего дома, когда она с ним подъехала... Сколько удалось рассмотреть, едва ли он многим красивее пана Шершневского и, судя по внешности, не умнее его.— При последней фразе он искусственно рассмеялся.

— Ради вас самих, Николай Александрович, очень прошу вас, не следите вы за Тоней: она будет возмущена этим.

— Неужели вы думаете, что я способен подсматривать за кем бы то ни было? Эта встреча произошла совершенно случайно, и я так торопился, что даже не подошел к ней поздороваться.

Я рассказала ему о происшествии с Тоней в прошлом году и о роли Ермолаева. Это было с моей стороны большою ошибкою, так как к страсти Маньковича присоединилась ревность, и без того уже сильно мучившая его.

Вдруг в столовую вбежал Шершневский, обозленный как никогда, и начал что-то выкрикивать во все горло. При первых звуках его голоса все торопливо вошли в столовую.

— Выбросила из саней! Кто этому поверит! Образованная девушка, а как простая баба, даже, можно сказать, как самый простяцкий деревенский мужик, толкает своего спутника и так больно пыняет в спину и голову, что у меня свалилась шапка, оторвалась полость и я, как бревно, вывалился в снег...

— Кто же причинил вам все эти неприятности. Кто вас разобидел? — спросил Ушинский с иронической улыбкой на тонких губах.

— Такой грубый поступок вашей прекраснейшей ученицы не мог меня разобидеть! А вот вы, знаменитый русский педагог, образ которого, как красное солнышко, горит в сердцах его учениц, который для них выше Сократа, выше мудрецов древности и современности... Какое же это воспитание, позвольте спросить, вы давали им? Или, может быть, вся глубина премудрости ваших новейших педагогических систем и должна проявляться в грубых выходках?

— Вы меня так вдрызг изничтожили, так основательно провалили все педагогические системы древности и современности и я так был поражен, что прозевал фамилию виновницы причиненных вам неприятностей.

— Вы говорите, что она неприятности мне причинила? Нет-с, извините-с! Тут дело идет не о пустяковинных неприятностях, а о членовредительстве. Своими мужицкими толчками она меня заставила вылететь из саней: я мог упасть на камень и раскроить себе череп, переломать кости, вывихнуть ноги, руки...

— Да нечего вам пересчитывать все части вашего тела: они, видимо, остались целыми и невредимыми,— перебила я его.— Садовская — особа деликатная: если она это сделала, вы, значит, дали для этого серьезный повод.

— Как? Так это Антонина Николаевна? Девушка такая благоразумная, благовоспитанная, даже с светскими манерами! Вот уж никогда бы не подумал, что она способна на такую грубую выходку...— удивлялся Ушинский.

— И я бы никогда не поверила, Константин Дмитриевич,— сказала Тоня, входя и здороваясь с ним,— что вы можете завинить кого бы то ни было только со слов обвинителя.

— Что такое я вам сделал? Я вам говорил такие комплименты, о которых и понятия не имеют все ваши ухажеры, вместе взятые, все ваши донжуаны... Гарун-аль-Рашид [10] или черт его знает какой там другой восточный дурак только и умели сказать что-нибудь подобное своей Зюлеечке. Так вы должны были бы этим только гордиться, должны чувствовать признательность ко мне...— совершенно серьезно и запальчиво выкрикивал Шершневский, и его обвислое, лоснящееся лицо раскраснелось, как кумач.

Присутствующие разразились страшным хохотом...

— Как? Гарун-аль-Рашид восточный дурак? — выкрикнул кто-то из присутствующих.

— Вы никого не потрясли вашими азбучными знаниями! — огрызался Шершневский.

Начали раздаваться звонки, и несколько дам и мужчин друг за другом входили в столовую. Вновь прибывшим было сообщено о только что происшедшем инциденте и о хвастовстве Шершневского своим умением говорить дамам комплименты. Как его, так и Антонину Николаевну гости упрашивали познакомить их с этими комплиментами.

— Что же, я не прочь... Нисколько не сомневаюсь, что никто из вас не слыхал ничего подобного! Я сравнивал ее с «чарующей весною», с «распустившимся бутоном дивной розы»; я говорил ей, что «в моих жилах при взгляде на нее клокочет огонь страсти, как пылающий костер», что она «сама грация и поэзия», что «своею красотою она, как молниеносная стрела, пронзает мое сердце», что она «божественна и обольстительна, как гурия [11] в раю Магомета», что «аромат ее волос восхитительнее всех райских благоуханий». Да мало ли что я говорил в минуту экстаза! Ну-ка скажите, кто из ее ухажеров способен высказать ей хотя сотую долю таких прелестных, воздушных, поэтических комплиментов? — И Шершневский, сам смакуя и упиваясь своей фразой, обводил присутствующих самодовольным, победоносным взглядом.

Его слова были встречены громким хохотом и аплодисментами, а Тоне со всех сторон кричали, что она бесчувственная и неблагодарная.

Пока за столом все еще продолжали обсуждать этот инцидент и подсмеиваться между собой над самодовольством Шершневского, несколько человек уже сидели в стороне и вели между собою иные разговоры.

Сергей Васильевич Максимов (писатель-этнограф и путешественник по России), дружески хлопнув по плечу знакомого студента, спросил его:

— Ну, милый друг, чем вы теперь восторгаетесь, чему поклоняетесь, что предаете анафеме? А хорошее времечко мы с вами переживали еще годика два тому назад! Ведь я чуть не вдвое вас старше, а, бывало, душа так и рвется из нутра, так и хочется крикнуть чуть не полицейскому крючку: «Прочь с дороги с грязными лапами! Знаешь ли ты, семя твое крапивное, что мы празднуем зарю нашего обновления? Что яркое солнышко осветило все уголки нашей родины?» И все мы ходили тогда пьяными не от вина, а от счастья, которое безумно рвалось наружу.

— После возмутительного приговора над Чернышевским [12], да еще в такое реакционное время, как теперешнее, только идиот может упиваться подобными фразами,— резко проговорил студент.

— Правительство, несомненно, от времени до времени наносит нам серьезные раны. И одною из них был приговор над Чернышевским. Но из-за этого не может же все пойти насмарку, нельзя же не признавать великого значения крестьянской реформы,— говорил известный в то время педагог Семенов.

— И чего это вы все до сих пор носитесь с крестьянскою реформою? Я много путешествовал по матушке-России,— возражал Максимов,— и всюду мог наблюдать одно и то же: положение крестьян после реформы только ухудшилось. Их экономическая зависимость так велика, что не в чем проявиться их личной свободе. Крестьянину приходится так же унижаться, так же раболепствовать перед помещиком, как и во времена крепостничества. Промышленность у нас жалкая, развивается она крайне туго, а земельный надел крестьянина очень часто состоит наполовину из болотистой земли, из песку или суглинка. Чем же ему кормиться, как не заработком у того же помещика либо у местных кулаков, которые, как саранча, набросились теперь на деревню. Вот крестьянин и кланяется помещику земно, чтобы надрать лыка на свои лапти в его лесу, или лебезит перед кулаком и умасливает его. Чуть слово молвит без раболепства, и он навсегда лишается заработка и у того и у другого. К зависимости от помещика присоединилась теперь еще зависимость от мироеда.

— Странно, что до сих пор так ликуют и утешают себя настоящими и будущими реформами, которых ждет та же участь, что и крестьянскую реформу,— говорил Николай Степанович Курочкин.— Обкорнают, урежут, сократят, объяснят каждую из них так, что все новое совершенно сведут на нет.

К ним подошел Григорий Захарович Елисеев (талантливый внутренний обозреватель «Современника», писавший под псевдонимом «Грыцько»). В то время это был человек уже лет за сорок: фигура импозантная и весьма благообразная, с густой бородой, с волосами до плеч, с проницательно блестевшими глазами из-под нависших густых бровей, пронизывавшими каждого, с кем он говорил. Он молчал, но чрезвычайно внимательно слушал: чуть-чуть ироническая улыбка нередко раздвигала его плотно сжатые губы. Он, казалось, наблюдал не только за каждым, кто что говорил, но за внешностью и за жестами говорившего, точно его задачею было запечатлеть в своей душе не только мысли и слова каждого, но и его внешний облик.

— Что же нам, универсантам, делать в настоящее

время, чтобы приносить обществу какую-нибудь пользу? Теперь не прежние времена, чтобы заботиться только о своей будущей карьере! Воскресные и элементарные школы, в которых мы работали, закрыты [13], кружковые собрания для самообразования строго запрещены; правительство все силы напрягает, чтобы возвратить нас в первобытное состояние...

В это время Ушинский, обходя сидевших и подавая на прощанье руку, заметил студенту:

— А вот во избежание этого каждый молодой человек обязан сам учиться поосновательнее прежнего, и не только для экзаменов, но вместе с тем и обучать грамоте каждого, с кем сталкивает его судьба.— И он торопливо направился в кабинет.

— Кажется, знаменитый педагог обучение азбуке считает панацеею от всех зол! — иронически заметил Елисеев [14].

Но я не стала слушать дальнейших рассуждений. Я глубоко уважала и с большою симпатиею относилась к Г. З. Елисееву, но меня возмущало поверхностное и легкомысленное отношение ко всем педагогам, каковы бы они ни были, и к педагогическим вопросам вообще у очень многих серьезных и талантливых литераторов того времени, к числу которых принадлежал и Григорий Захарович. К тому же мне хотелось узнать, что будет говорить Ушинский Тоне, которую он заранее просил зайти в кабинет.

— Из курьезных объяснений Шершневского я понял только, что он наболтал вам много пошлостей. Выслушивать подобные вещи, конечно, весьма тошнотворно... Но, простите вашего ворчуна-учителя: это еще не причина, чтобы прибегать к некультурному воздействию, выталкивать из саней и тому подобное. Мне кажется, что сама природа вложила в душу женщины такой инстинкт, что ей стоит только известным образом взглянуть на нахала, чтобы указать ему надлежащее место,— хотя по обыкновению очень живо, но наставительно говорил Ушинский Тоне.

— Может быть, для нахала этого и достаточно, но Шершневский в то же время и форменный идиот,— отрезала она.

— Голова у него, кажется, действительно довольно скудоумная, дряблая и нелепая натуришка, но все же я нахожу, что вы и другие в вашем доме слишком презрительно, слишком высокомерно к нему относитесь. Если вы

находите его убогим в нравственном и умственном отношениях, зачем же вы приглашаете его к себе?

— Зачем его приглашают? — переспросила Тоня, вспыхнув, как зарево, и горячо заговорила, забывая благоговение, которое мы, ученицы Ушинского, питали к нему. Необыкновенный пиетет, который внушал нам к себе наш несравненный наставник и учитель, заставлял нас всех несколько стесняться с ним. Тоня, как и остальные его ученицы, искренно уважала его, но не вносила в свои чувства никакой экзальтации,— вероятно, потому она совсем и не робела перед ним.— Как в этот, так и в другие дома, где бывает Шершневский,— отвечала она,— он сам приходит без всякого приглашения.

— И все-таки за одни дурацкие комплименты он не заслужил с вашей стороны такой кары, которая сильно напоминает дореформенный быт наших дворян... Вы ведь и сами несколько виноваты: если вы считаете, что пошлость и навязчивость его характерные качества, зачем же вы берете его в провожатые?

— Вы просто хотите меня завинить во что бы то ни стало! Шершневский на этот раз, как и всегда, сам навязался. Он жалобно упрашивал меня взять его с собою, уверяя, что ему необходимо ехать туда же, куда и мне, плакался на то, что у него страшно болит нога, что нанять извозчика у него нет денег... И все это оказалось выдумкою... Наконец, он смертельно надоедал мне своими пошлостями, бесцеремонным образом совал свой нос в мои волоса... Я должна сознаться в еще большей преступности: я чрезвычайно жалею, что не надавала ему тысячу пощечин, а только вытолкнула из саней.

— Ого-го! Да вы девица весьма решительная! С таким характером и силою воли можно успешно вести борьбу не только с прилипчивыми кавалерами...

— Шершневский совсем не идиот, но в последнее время он действительно как-то опошлел и опустился,— заметил Василий Иванович.— Инцидент с Антониною Николаевною прекрасно это иллюстрирует. И то, что она выкинула его из саней, послужит ему только на пользу.

— Кстати, познакомьте меня с этим субъектом... Сообщите, где он учился, имеет ли какие познания, чем промышляет?

Василий Иванович сообщил то немногое, что знал о нем.

— Шершневский вследствие бедности должен был оставить университет на третьем курсе филологического факультета. Он на днях просил меня подыскать ему какие-

нибудь занятия, говорил, что знает немецкий, польский, французский и латинский языки, но так ли это в действительности — неизвестно. Как только он оставил университет, ему пришлось пробиваться уроками, в последнее время исключительно в частных пансионах, где не всегда платят даже один рубль за урок, а с этой осени он не имеет никаких занятий.

— Может быть, он и дурит от безделья,— заметил Ушинский.— А компилятивная статья в последнем номере «Журнала министерства народного просвещения», составленная довольно толково и подписанная буквою Ш.,— не его ли она?

Чтобы убедиться в этом, позвали Шершневского. Результатом переговоров было то, что Ушинский просил его походить к нему два-три дня, чтобы убедиться, может ли он исполнять у него некоторые работы. Шершневский выдержал искус, и Ушинский предложил ему у себя стол и особую комнату, относительно же вознаграждения за труд сказал, что оно будет выяснено через два-три месяца, а теперь он может брать по 40—50 рублей в счет будущего жалованья.

Шершневский через неделю-другую совсем преобразился: его всегдашнее, точно спросонок, мрачное и сонное лицо сделалось теперь более одушевленным. Он принарядился, припомадился и почистился. Когда он в первый раз по получении места пришел к нам, мы, точно сговорившись заранее, зааплодировали ему. Он всюду превозносил теперь Ушинского, выказывал преклонение перед величием его души и его необыкновенным умом.

— Вы более не ждите от меня комплиментов,— сказал он однажды с важностью, поглядывая на дам.— Хотя вы и современные дамочки, но все на один лад — до смерти любите, когда мужчина лебезит перед вами. И хвастаете этим друг перед другом. А Константин Дмитриевич человек серьезный: дойдут до него ваши сплетни и интриги относительно меня, и, пожалуй, лишишься у него места.

И он стал держаться теперь в обществе с бóльшим достоинством.

Участие Ушинского к Шершневскому сильно поразило меня. Оно пробудило в моей душе еще бóльшее благоговение к моему наставнику. Что Ушинский был человек великодушный и личность исключительная, нам всем, его ученицам, давно было известно. Но я всегда видела, что наибольшее внимание он оказывал людям более или менее способным, талантливым, подававшим надежды проявить

себя чем-нибудь в будущем, и резко относился к людям глупым. Между тем перед ним во всем блеске проявилась пошлость Шершневского, но он и его вытянул из бедственного положения. Мы все только подсмеивались над Шершневским, а в душе даже презирали его, только один он, Ушинский, протянул ему руку помощи. Вот кого можно назвать истинным поборником идеалов шестидесятых годов, раздумывала я,— стремление к обличению и к педагогическому воздействию даже на людей, по своему возрасту давно вышедших из-под педагогики, эти характерные качества наилучших шестидесятников оказываются характерными качествами и нашего дорогого наставника.

Как-то Шершневский забежал к нам днем на одну минуту, просил вызвать к нему Ивановскую и, передавая ей книгу, указал на немецкую статью в несколько страниц, которую Ушинский просил ее перевести. В запечатанном конверте он посылал ей 25 рублей за не сделанный еще перевод.

— Как? Я только вскользь упомянула Ушинскому о том, что мне необходимы платные занятия, и он уже вспомнил! — кричала Аня. Трудно описать ее восторг и экстаз, великолепные эпитеты, которыми она осыпала Ушинского.

Когда Аня навосхищалась до хрипоты, когда она обегала все комнаты, изливая перед каждым из нас чувства восторга, когда о своей неожиданной радости она пересказала прислуге, няня пришла нам сообщить: «Барышня не в себе: ей надо дать каких-нибудь капель!» Я вбежала в кухню: Аня сидела на табуретке, запрокинув голову, с открытым ртом, точно ей не хватало воздуха, с посиневшим лицом и истерически хохотала, как-то всхлипывая, точно от рыданий. Мы уложили ее в постель. Полежав недолго с компрессом, она закричала: «Я сейчас еду к Ушинскому благодарить его, броситься перед ним на колени, целовать его руки!» Я отвечала, что никуда не пущу ее. Для нее сейчас же разложили в столовой складную постель, уже давно доставленную нам знакомыми, а мы сами отправились обедать в мою спальню.

Аня проснулась поздно вечером, взяла немецкий словарь, просидела за работой всю ночь и несколько дней, два-три раза переписывала ее и под предлогом, что ей не удаются некоторые фразы, просила Василия Ивановича поправить ее перевод. Ему пришлось зачеркнуть почти каждую строчку и под нею написать совсем другое. Аня чистосердечно просила нас всех откровенно сказать ей,

нести ли перевод с поправками или снова переписать его. Мы с Тонею нашли, что переписывать после поправок, сделанных другим, значило бы обманывать Ушинского. Василий Иванович предоставил ей решить этот вопрос, как она сама желает. Она немедленно отправилась к Ушинскому и представила ему работу с поправками. Что она говорила с ним, как он отнесся к ее работе, она нам не рассказывала, но возвратилась от него очень скоро и крайне расстроенная. Я в это время уже собиралась на урок и на лестнице встретила Шершневского. Он тут же заявил мне, что Ушинский просит меня к себе и извиняется, что по болезни не может сам приехать: он простудился, и доктор строго запретил ему выходить. Я просила передать, что после урока немедленно явлюсь к нему.

— Ну и угораздило же Анну Петровну! Нашла кому делать любовные признания... да еще на коленях! Ушинскому, этому Златоусту, этому проповеднику, не знающему других страстей, кроме страсти распространения просвещения! И отчитал же он ее! Ах ты боже мой! Если бы так-то... какая-нибудь девица передо мной... да на коленях... а, а, ах!

Ушинский лежал в своем кабинете совершенно одетый и прикрытый пледом.

— Почему вы своей подруге Ивановской уделяете так мало внимания? — резко спросил он меня, как только я успела поздороваться с ним.

Я отвечала, что сделала для нее все, что могла.

— Вы думаете, что, приютив у себя несчастную девушку, вы можете этим ограничиться? Относительно ее вы взяли на себя ответственную роль матери, а между тем не обращаете ни малейшего внимания на то, что она совсем больна. Вы давно должны были показать ее психиатру, а не дозволять больной девушке разъезжать, куда вздумается.

Этот упрек взбесил меня своею несправедливостью.

— Я никогда не брала на себя роль ее матери. Это было бы и довольно мудрено: мы с нею одних лет. К тому же никто из членов как моей, так и ее собственной семьи не смотрит на нее как на душевнобольную. Мы считаем ее просто истеричкой.

— А я вам сейчас докажу, что она психически больная. Возможно даже, что форма ее душевной болезни тяжелая и опасная. Скажите откровенно, давал ли я когда-нибудь повод вам, моим ученицам, смотреть на меня как на мотылек, перепархивающий с цветка на цветок?

— Господи, что вы спрашиваете, Константин Дмитрие-

вич! — с ужасом воскликнула я. — Даже институтское начальство, которое на вашу голову взваливало всевозможные ужасы, только в одном этом никогда не обвиняло вас.

— Ивановская же отнеслась ко мне как к последнему пошляку!.. А это что же такое? (Он вытащил злополучный перевод и помахивал листами.) Это уже красноречиво доказывает, что она и вас всех свела с ума! Я не заказывал перевода Василию Ивановичу! И для вас еще мало всех этих доказательств ее невменяемости? Неужели для того, чтобы убедиться в ее психозе, вам нужно, чтобы она выбежала на улицу нагишом? Усердно прошу вас завтра же отправиться с ней к психиатру.

Если бы я не вспомнила при этом рассказа Шершневского о том, что у Ушинского произошло с Анею, я не вполне поняла бы его слова.

— К сожалению, Константин Дмитриевич, у меня решительно нет времени возиться с нею. Я сегодня же отправлюсь к ее отцу.

— Как, к ее отцу, который из-за какой-то тряпки чуть не убил ее?

Я отвечала, что если Аня так передала ему историю с шубой, то она выказала этим лишь жестокую несправедливость к отцу. И я рассказала, как было дело и наш разговор с Аниным отцом.

— Налгать на родного отца, придумать целую историю, в которой нет ни слова правды, да разве все это не достаточно подтверждает, что она душевнобольная? Кстати: Василий Иванович просил меня доставить ей какие-нибудь занятия в школе или частные уроки. Передайте ему, что я забочусь не только об интересах нуждающихся в подобных занятиях, но еще более об интересах учащихся. Школа — не богадельня! Я не имею нравственного права рекомендовать заведомо душевнобольную особу.

Дома мне сказали, что Аня все время плакала, и ее пришлось положить на мою кровать. Мы сели обедать только втроем. Я объявила, что немедленно отправлюсь к Ивановскому и настою на том, чтобы он сегодня же взял от нас свою дочь. Я ждала протеста со стороны Василия Ивановича и была удивлена, когда он сказал: «Да, тяжело с нею, того и смотри, что попадешься из-за нее в какую-нибудь кутерьму!»

Ивановскому я передала всю историю с Ушинским и его мнение о болезни Ани, упомянула и о том, как она однажды проговорилась мне, что не прочь была бы заключить фиктивный брак. Хотя из этого пока ничего не вышло, но меня

чрезвычайно волнует, что она в конце концов приведет в исполнение эту шальную мысль.

Ивановского возмутило мнение Ушинского о психической болезни его дочери, но он выразил полную готовность взять ее сию же минуту. Раньше чем проститься с отцом Ани, я просила его показать мне ее комнату. Она пустовала со времени ее бегства к нам и оказалась очень уютною, весьма скромно, но комфортабельно обставленною.

Я отправилась к себе с нянею Ивановских, которая всю дорогу высказывала опасение, что ей не удастся убедить Анночку возвратиться домой. Но это оказалось совсем не трудною задачею. Вероятно, она сама почувствовала, что сделала большую глупость, променяв свою удобную комнату на беспокойное существование у нас.

Когда мы вошли в столовую, Аня сидела одна и кончала обед. Она крайне удивилась, увидав свою няню. Я сообщила ей, что была у Ушинского, но из всего разговора с ним передала ей только то, что он находит необходимым для нее немедленно начать лечение. Но у нас нет подходящего помещения, и потому ей немыслимо оставаться у нас, тем более что ее собственная комната совершенно свободна.

— Это правда, что я в последнее время чувствую себя скверно и что мне без собственного угла крайне неудобно. Но как же отец?

— Как отец? — переспросила ее няня сердито.— А так твой отец, что совсем извелся от стыдобины, что ты зря болтаешься у чужих людей. Ведь у них и без тебя свои дети, свои заботы и тяготы... Да и богачеством-то они не больно отличаются... И как ты, Анночка, не думаешь обо всем этом? Взаправду ты большая срамница!

— Ну, ну, милая старушенция...— перебила Аня, обнимая ее.— Из-за чего же ты кипятишься? Ведь я не отказываюсь ехать с тобой! Едем хотя сию минуту.

В ту же минуту Тоня выскочила из своей комнаты со словами: «Нужно скорее собирать Анины вещи»! Тут как тут оказалась и наша няня, и мы все принялись перебегать от одного подоконника к другому, из одной комнаты в другую и собирали всюду разбросанные Анины щетки и гребенки и всевозможные мелочи, осматривали шкапы, вносили в столовую ее платья. Все было приготовлено к отъезду чрезвычайно быстро, из страха, как мы потом сознавались друг другу, чтобы она не передумала и не осталась у нас. Когда мы все стояли уже в передней и прощались, ее няня, укоризненно покачивая головой, сказала:

— Ах, Анночка, Анночка! Ты точно малый ребенок! До сих пор не знаешь порядков!

— Какие там еще порядки? Ты опять со своими наставлениями, навеки нерушимыми!

— А вот какие порядки: ты больше месяца здесь прожила. Прислуге ты наделала много хлопот: должна же ты понимать, что ее следует вознаградить.

К нашему изумлению, двадцатипятирублевка, полученная ею от Ушинского, оказалась в целости. Со дня получения этих денег она никуда не выходила и все время сидела за работой. Она вынула двадцатипятирублевую бумажку и с сердцем сунула ее няне. Та отправилась в кухню и возвратилась с размененными деньгами.

— Теперь сказывай, кому из господ сколько задолжала?

Аня начала припоминать, насчитала десятка полтора рублей, а затем заявила, что не помнит, брала ли взаймы еще у кого-нибудь. Тогда няня, подавая мне означенную сумму долга, просила написать ей, как только я узнаю, кому еще и сколько осталась она должна.

После этого я никогда уже более не встречалась с Анею.

IX

Наступил наконец день, назначенный мною Маньковичу для свидания с ним. Как только он поздоровался со мною, он немедленно приступил к делу.

— Скажите мне откровенно, неужели я уже такое ничтожество, что не могу сделать предложение Антонине Николаевне, не оскорбляя ее? Почему я должен делать ей предложение через вас, а не могу высказать его непосредственно? Почему она так холодно-неприступно держит себя со мною? Если бы вы знали, как я страдаю! Я отбился от занятий! Я ничего не могу делать! Ее образ всюду преследует меня! Если бы года два тому назад кто-нибудь сказал мне, что здравомыслящий человек погибает от охватившей его страсти, я, как многие в то время, взглянул бы на это как на признак слабосилия, как на склонность к паразитству, как на отсутствие серьезных жизненных задач. Мог ли я думать, что сам так жестоко попадусь! Помогите мне! Будьте мне родною сестрою!

Он говорил все более горячо, бегал по комнате, нервно теребил то волосы, то бороду, бросался на стул, немедленно вскакивал, и его фигура опять мелькала перед моими глаза-

ми. Он повторял одно и то же много раз, иногда лишь перефразируя сказанное, и, вероятно, продолжал бы говорить очень долго, если бы я не попросила его выслушать меня.

— По теории Тони, для того чтобы выйти замуж, необходимо безумно любить: без такой любви брак с порядочным человеком — преступление...

Он не дал мне кончить и с озлоблением начал засыпать меня вопросами.

— А за непорядочного выйти замуж можно? Брак с непорядочным по ее теории не преступление? Значит, она решила выбрать себе супругом Ермолаева, этого господина с телячьими глазами и с идиотскою физиономиею! Да, я и забыл! Это ведь рыцарь без страха и упрека. Недаром он ежедневно провожает ее, ежедневно мозолит ей глаза! Вот увидите, она выйдет замуж за него, выйдет из-за одного того, чтобы он отвязался от нее.

— Вы хотя бы не терзали себя относительно Ермолаева: он совсем не нравится Тоне. Когда она кончает уроки в его семействе, обыкновенно уже совсем темно и мать его приказывает ему проводить Тоню.

— А я готов ежедневно провожать ее хоть на край света! Пожалуйста, скажите ей, что это было бы для меня величайшим счастьем. Передайте ей также, что я умоляю ее принять меня с глазу на глаз. Пусть она хотя несколько пожалеет меня! Боже мой, боже мой, что мне делать? Чувствую, что-то невыразимо скверное творится со мной... Вы видите... Я уже не могу сдерживать себя! Утратил силу воли, гордость, самолюбие, не потерял только сознания, что все это она замечает, что все это еще более роняет меня в ее глазах! Вы одна можете помочь мне! Вы самый близкий для нее человек! Вы одна имеете на нее влияние! Боже, как мне тяжело!

Выражение его лица, голос, жесты, все говорило мне о его мучительной душевной тревоге: он переживал всю остроту, всю муку страсти, тяжелый сердечный недуг.

— Я не раз уже говорила Тоне о том, что я считаю вас, Николай Александрович, во всех отношениях прекраснейшим человеком, самым подходящим для нее мужем.

— Вы это говорили? Правда, вы говорили? — Голос его сорвался, он бросился передо мной на колени, целовал мне руки, горячие слезы градом катились из его глаз.

— Но что же с нею поделаешь, дорогой Николай Александрович? Ведь у нее теперь нет ни малейшей мысли о замужестве! На днях она говорит мне: «Как я еще не-

давно шокировала знакомых, откровенно сознаваясь всем, что хочу выйти замуж. Но теперь ни по любви, ни без любви не чувствую к этому ни малейшего расположения. Жизнь, которую я теперь веду, мне так пришлась по душе, и вдруг переменить прекрасное настоящее на что-то неизвестное,— да ни за какие коврижки!» И ведь действительно, Тоня в самое последнее время изменилась до неузнаваемости. Подумайте: кроме трехчасовых ежедневных уроков у Ермолаевых, к которым она подготовляется чрезвычайно серьезно, она посещает еще кружковые лекции, дополняет слышанное прочитанным, умудряется найти время, чтобы по утрам сбегать в квартиру лавочника обучать его мальчика.

— Я могу только с благоговением преклоняться перед таким серьезным стремлением к свету! Не мешать я буду ей в этом, а содействовать, сколько хватит сил,— клялся Манькович и умолял упросить Тоню как можно скорее принять его, но не в день, назначенный для гостей.

Уломать Тоню исполнить желание Маньковича было трудно.

— Не торопи ты меня... Дай хорошенько обдумать, следует ли мне еще соглашаться на это!..— Наконец она решилась назначить ему для этого особый день, но с условием, чтобы я присутствовала при их разговоре. Сколько я ни доказывала ей, что это и меня и Маньковича ставит в крайне глупое положение, она непоколебимо отвечала:

— Тогда я беру свое слово назад. Разве ты не замечаешь, как часто меняется его настроение? То он бросает на меня пламенные взоры, то смотрит с такою злобою, точно готов разорвать на клочки. Своим шпионством за мною он еще более злит меня. По какому праву он отравляет мне жизнь? Решительно немыслимо принять его с глазу на глаз! Он может не только других, но даже себя уверить, когда разозлится на меня, что я его затягивала, завлекала, кокетничала, играла с ним!

— Как тебе не стыдно подозревать в такой гадости вполне порядочного человека?

— Что же делать! Я еще никем не увлекалась до полной слепоты.

Ввиду того что я наотрез отказалась передать Маньковичу поручение Тони, ей самой пришлось объявить ему свое решение в один из вторников. Это так поразило и ошеломило его, что он несколько минут не мог выговорить ни слова. Дрожа от гнева и оскорбления, он наконец заговорил:

— Я ничего не скрываю от Елизаветы Николаевны... и все-таки такие интимные дела двух людей могут решаться только между ними! Я не могу принять ваше предложение, несказанно унизительное для моего человеческого достоинства! Имею честь кланяться.

И Манькович удалился, ни с кем не простившись, и не являлся к нам целый месяц.

Но вот однажды в воскресенье кто-то позвонил. Я открыла дверь и увидала перед собою Маньковича с криво надетой шапкой и с неестественной улыбкой на губах.

— Да... Я пришел! Я хочу знать...— входя в столовую, говорил он пьяным голосом, и на меня пахнуло от него водочным перегаром. В ту же минуту вошла Тоня и, ничего не заметив, жестом пригласила его в свою комнату, а меня схватила под руку и потащила к себе.

— А этот херувим с телячьими глазами... Паж неземной красоты... с идиотским выражением... Он продолжает всюду шляться за вами? Я ему морду побью! — стоя перед Тонею, в упор глядя на нее своим затуманенным взором и пошатываясь, проговорил он пьяным голосом.

— Как вы смеете являться ко мне в таком виде? — И она быстро вышла из комнаты.

Я задержалась на минуту и, указывая ему на графин с водой и умывальник, сказала: «Выпейте воды! Очнитесь!» — и отправилась к Тоне. Я умоляла ее сбросить с себя напускную холодность и войти в несчастное положение человека, влюбленного в нее, пожалеть его искреннею, сердечною жалостью. Она должна помнить, доказывала я ей, что это не какой-нибудь пропойца: он не берет в рот ни водки, ни вина, а напился с отчаяния, чтобы придать себе смелости.

— Да почему ты думаешь, что мне его не жаль? Меня возмущает, что он осмелился ввалиться к нам в таком виде, но еще более, что он каждый раз проявляет свою ревность! Господи, за что же на меня такая напасть?

Наконец в дверях показался протрезвившийся Манькович с мокрыми волосами и убитым видом.

— Я не смею даже просить у вас прощения за мое скотское поведение. Я знаю: более унизить себя в ваших глазах, Антонина Николаевна, уже немыслимо. Когда вы запасетесь житейским опытом, вы поймете, что бывают минуты в жизни, когда трезвый нередко напивается до бесчувствия, а человек, страшно любящий жизнь, может покончить самоубийством...

— Мне очень тяжело, что я причинила вам боль... Но и вы же поставьте себя на мое место. Вы обиделись за то, что я вам назначила свиданье при ней... Не спорю: может быть, и другой на вашем месте так же бы реагировал... Недаром же она (Тоня указала на меня) так возмутилась этим. Но мне казалось это необходимым, чтобы ни вы и никто другой не имел права сказать, что я вас сначала завлекала, кокетничала с вами, а натешившись, бросила эту... женскую игру. Мне кажется, что при вашем неуравновешенном характере можно ожидать всего. Моя совесть не позволяет мне поступать иначе.

— Да! Вы весьма предусмотрительный человек! — с горечью и иронией воскликнул Манькович.

— Я не хочу быть перед вами такою, какою вы создали меня в вашем воображении. Вот потому-то я и считаю долгом говорить с вами вполне чистосердечно. Я глубоко вас уважаю, питаю к вам самую сердечную симпатию, самую искреннюю дружбу, но вы сказали ей (она опять указала на меня), что желаете сделать мне предложение, а это требует от меня особой любви, которой я не чувствую к вам.

— Я ничего не требую, решительно ничего. Я удовольствуюсь тем, что вы можете мне дать. Я буду бесконечно счастлив, если вы и без страстной любви согласитесь быть моею женою. Умоляю вас, осчастливьте меня! Не все же вступают в брак по взаимной страстной любви! Пусть страстная любовь будет только с моей стороны. Пожалейте меня! Я даже не стыжусь произнести это слово. Я прошу вас согласиться на брак со мною хотя из сожаления ко мне. Спасите меня! Я погибаю! — И он рыдая бросился на колени и схватил ее руки. Тоня высвободила их, хотя у нее самой текли слезы по щекам. Он вскочил с колен и, то расхаживая по комнате, то останавливаясь перед нею, заговорил: — Вы человек по натуре благоразумный, вас шокируют неровности моего характера. Но я теперь, даю вам честное слово, только теперь выскочил из своей колеи! Мною овладело какое-то безумное чувство к вам, а между тем вы стали меня сторониться еще более, чем прежде, еще холоднее обращаетесь со мной... И меня всего как-то перевернуло... Я вас умоляю, дайте мне слово...

— Как же я могу дать вам слово, когда в настоящее время я вовсе не желаю выходить замуж. Я хочу избрать для себя какую-нибудь специальность, для изучения которой мне, может быть, придется на время уехать за границу...

— Даю вам честное, благородное слово всеми силами содействовать этому...

— Вы говорите так, точно не знаете, что весь уклад брачной жизни тормозит женский труд, если он не исключительно посвящен семейным заботам.

— Ваша воля, ваши желания были бы для меня священны, всегда и всюду стояли бы на первом месте!

— Я хочу раньше, чем выходить замуж, приобрести полную самостоятельность. Имея в виду эту цель, я не могу допустить никакой помехи, не хочу преклоняться перед чужою волею... Вы говорите, что моя воля и мои желания будут на первом месте, но мужчины это обыкновенно говорят, пока не добьются своего, и в большинстве случаев выходит совершенно наоборот. К тому же в браке немыслимо делать то, что желает только жена или только муж. И вот это-то преклонение перед волею мужа или перед силою семейных обстоятельств отрывали бы меня от намеченной мною цели, от деятельной жизни, которая дает мне такое нравственное удовлетворение. Весьма возможно, что если бы я кого-нибудь безумно полюбила, то считала бы счастьем преклониться перед его волею и перед силою семейных обстоятельств... Но я ни в кого не влюблена. Зачем же мне мое теперешнее положение менять на что-то неизвестное? О браке ведь недаром говорят, что это лотерея, выигрышные билеты в которой так же редки, как и счастливые супружества.

— Я согласен ждать, пока вы кончите все, что себе наметили: учитесь, уезжайте за границу или оставайтесь здесь... Мое чувство не такого характера, чтобы от продолжительной отсрочки оно разлетелось как дым. Я буду ждать терпеливо и могу ждать очень долго. Оставьте за мной только право, только одно право любить вас и надеяться, что когда вы покончите с вашею подготовкою для независимой жизни, вы хотя тогда согласитесь быть моею женой.

— Но ведь это же было бы недобросовестно с моей стороны. Как я могу поручиться, что в продолжение двух-трех лет, которые мне понадобятся, я сама не влюблюсь в кого-нибудь? Вы сами можете встретить девушку, которая сочтет величайшим счастьем связать с вами свою судьбу.

— Никогда!

— Не говорите так решительно. Я даже по своему опыту могу сказать, что человек под влиянием различных условий сильно меняет взгляды, принимает решения, пере-

ворачивающие его жизнь. Вы и близкие мне люди считаете меня благоразумной, предусмотрительной, и я всегда старалась заслужить эту репутацию... А сколько за эти годы произошло перемен в моей душе, в моих взглядах, стремлениях! Нет, нет, я ничего, ничего не могу обещать, не хочу связывать себя словом, не желаю добровольно надевать на себя цепи!

В эту минуту на парадной лестнице кто-то дернул за колокольчик, и Манькович с скорбным лицом, точно страшно усталый и разбитый, сейчас же встал с своего места и, ни слова не говоря, простился с нами. После этого он совсем перестал бывать у нас, и мы только года через два увиделись с ним.

X

Хотя отсутствие в нашем доме Ани Ивановской и прекращение передряг в романической истории Тони дало возможность членам моей семьи работать без помехи, но это не мешало кое-каким обстоятельствам волновать нас от времени до времени.

Однажды ночью я встала к расплакавшемуся ребенку. Когда я снова ложилась в постель, кто-то позвонил, и я услыхала голос Шершневского, просившего Василия Ивановича о дозволении переночевать у нас. Затем оба они вошли в кабинет.

— Выгнал! Да еще так, как не прогоняют даже проворовавшуюся кухарку! Деньги, вещи, паспорт — все осталось у него: я в буквальном смысле слова оказался без крыши над головой.

Я наскоро оделась и вышла к Шершневскому.

— Кто же виновник этого ужаса?

— Ваш мудрец, затмивший мир своею гуманностью, ваш Златоуст, ваш богоподобный воспитатель Ушинский!

— Все эти бессмысленные эпитеты давали ему вы сами, да разве еще Ивановская, но не мы. Но тот, кто знает Ушинского, не может допустить мысли, чтобы он дурно поступил с кем бы то ни было.

— А со мною поступил именно так.

— Значит, вы заслужили...

— Да что же это такое? Как только вы сойдетесь, так у вас начинаются раздоры! — с досадою проговорил Василий Иванович.— Рассказывайте все по порядку.

— До десяти часов сегодняшнего вечера я исполнял

самым добросовестным образом все работы, которые мне поручал господин Ушинский; привел в порядок его библиотеку, составил полный каталог его книг, писал и списывал для него на дому и в публичной библиотеке, почти ежедневно бегал по его книжным делам, по типографиям и редакциям. Каждый раз, когда я подавал ему порученную мне работу, он бурчал «правильно» или что-нибудь подобное. Ведь по-настоящему поощрить человека он не может: вероятно, думает, что умалит свое величие. Сегодня кухарка говорит мне: «Кабинет барина я убрала. Он уехал за город и долго не вернется, а вы идите в его комнату: я буду убирать у вас». Нужно вам заметить, что, постоянно пересматривая вышедшие и собранные Ушинским азбуки и книги для первоначального чтения на русском и иностранном языках, я решил и сам попытать счастья, написать азбуку, и уже порядочно подвинул свою работу вперед.

В эту минуту из Тониной спальни раздался ее громкий смех: дверь из кабинета в столовую, около которой была ее комната, оказалась полуоткрытою, и она слышала весь разговор. Я тоже засмеялась при этом.

— Что же вы желаете показать вашими смешками и улыбочками? Хотите пронзить меня, как стрелою, намеком, что я пишу азбуку с целью обокрасть «Родное слово» господина Ушинского?[15] С вашим женским умом (он скорчил презрительную гримасу) это в порядке вещей! Но, к моему крайнему изумлению, то же самое изволил вбить в свою голову и господин Ушинский, человек образованный и неглупый.

— Спасибо и за то, что вы милостиво считаете его, по крайней мере, неглупым... А еще недавно вы восторгались его необыкновенным умом! — перебила я Шершневского.

— Как вы можете с ними жить под одною крышею? — обратился он к Василию Ивановичу, указывая жестом на меня и на Тонину дверь.

— А вот то, что вы поносите Елизавету Николаевну, не стесняясь присутствием ее мужа, а сами просите у них ночлега... Это как же назвать? — прокричала Тоня, притворяя свою дверь.

— Это, наконец, просто невыносимо! И как вам-то не стыдно, пан Шершневский: даже в такую критическую для вас минуту вы не можете не сцепиться!

— Господи! Я и тут провинился! Да скажите же вы им, Василий Иванович, чтобы они оставили меня в покое! Ведь

обе они никогда мне слова не дают сказать! Настоящие прогрессивные женщины! — воскликнул он с иронией и продолжал: — Так вот как было дело. Разложил я на столе господина Ушинского свою работу: разные азбучки, книги для чтения, его «Родное слово», педагогические статейки, и спокойно пишу себе упражнения для своей книги на отдельных листах. Ходил я в столовую обедать, затем пить вечерний чай, а потом садился за его рабочий стол. Часов в десять у меня так разболелась голова, что я отправился прилечь: думаю, отдохну, а потом опять поработаю. Слышу — возвратился Ушинский и немного погодя нервно начинает бегать по комнате. Вдруг он как толкнет ногою дверь в мою комнату, ворвался ко мне и ну на меня кричать и как каменьями осыпать меня самыми унизительными эпитетами: «Плагиатор! Крохобор! Подлый человечишка! То из одной книги вытащит фразу, то из другой, а меня уже ограбил напропалую! Еще бы ему самостоятельно справиться при такой скорбной, скудоумной головенке! Если вы, бессовестный человек, осмелитесь напечатать ваше крохоборство, я докажу, что это сплошной плагиат!» А сам все стоит перед моею кроватью, кричит на меня и размахивает чуть не перед носом моими листами. Но в эту минуту он раскашлялся, захрипел и побежал к умывальнику полоскать горло. Ну, думаю, «подожди ж ты у меня... Я тебе хорошо отплачу за все твои оскорбления...». Вскочил с кровати и побежал за ним. Он горло полощет, а я выкрикиваю: «Непременно напечатаю. Значит, у меня хорошо выходит, если вы изволили так струсить, что забыли всякое приличие. Вы слишком много о себе воображаете: вбили себе в голову, что вы великий изобретатель гениальных педагогических систем, а между тем все эти новые педагогические методы, по которым составлена ваша книга, и ваше наглядное обучение, и природоведение — все изобретено гораздо раньше вас. Вы являетесь не новатором, не изобретателем новых педагогических методов, а только компилятором, который сумел скомбинировать и приноровить эти новшества. Значит, вы следуете образцам, давным-давно указанным знаменитыми педагогами». Но тут он покончил с полосканием и пришел уже в невменяемое состояние. «Вон отсюда! Сию минуту вон! Не сметь более переступать порог моего дома!» — орет он во все горло, топает ногами и весь трясется. Мне, конечно, ничего не оставалось, как шапку в охапку, пальтишко на плечи и бежать без оглядки. Ну, что вы скажете, Василий Иванович, об этом поступке великого педагога?

— Только одно, что пятый час ночи и нам всем пора ложиться спать.

На другой день мы узнали, что Шершневский ушел от нас очень рано и оставил записку, в которой благодарил за ночлег и хотел наведаться вечером. В этот же день мы получили с посыльным от Ушинского вещи Шершневского и запечатанный конверт на его имя.

Когда мы вечером собрались вокруг чайного стола, мы начали рассуждать о «происшествии».

— Все ли Шершневский вполне точно передал?

— Его единственное достоинство — правдивость: он правдив до неприличия. Это такая тупица, что ни присочинить, ни придумать ничего не может! — заметила Тоня.

— Вы все преувеличиваете и переборщаете. Ну, какой он тупица и идиот? Еще недавно Ушинский говорил мне, что Шершневский весьма порядочно исполняет у него разнообразные обязанности, а для этого нужна и смекалка, и добросовестность, и известные знания. Ушинский — человек строгий и требовательный как к себе, так и к другим: мы, учителя, несколько лет работавшие с ним, хорошо знакомы с этою чертою его характера. Если бы работа Шершневского была плоха в каком-нибудь отношении, Ушинский не стал бы его держать. И у меня Шершневский постоянно берет книги: его мнения о них и взгляды вовсе не отличаются глупостью, и считать его идиотом можно только в пылу полемики. Правда, в его голове есть какие-то ржавые гвозди, и он нередко несет бог знает что; есть в его натуре и известная доза пошлости и эротомании, но глупости он чаще всего говорит вам, дамам. Постоянная вражда с ним у вас идет потому, что вы не признаете его мужской привлекательности, презрительно относитесь к нему, и он мстит вам до потери сознания.

— Вот и оказывается, что он идиот! Сам урод, а туда же за другими вприскочку... Извольте преклоняться перед такой привлекательностью! — не унималась Тоня.

— Несложная же у вас психология: как что не по вас, так сейчас «идиот». Согласитесь же, по крайней мере, с тем, что он не пройдоха, не подхалим?

— Он действительно, кажется, не страдает этими грехами, но все-таки он пролаза и втируша: всюду лезет без приглашения, хотя прекрасно знает, что никому не доставляет удовольствия.

— Втереться к нам и в два-три семейства наших знакомых — не велика корысть! Люди даже с меньшими, чем у него, знаниями, но с житейскою мудростью умеют

прекрасно устраиваться! То, что он посещает только наше общество, говорит о том, что духовные интересы у него выше материальных расчетов.

— Очень ошибаетесь! Я сама слышала, как однажды у вас же один студент предложил ему давать бесплатные уроки сыну мастерового. Шершневский, вместо того чтобы просто отказаться от занятий, которые не принесут ему никакой выгоды, начал издеваться над народолюбием молодежи вообще, над нынешней модой, как он выразился, «учить всякого сопляка». Что же, и после этого вы еще будете обелять его?

— Это не приводит меня в восторг, но точно так же и то, что вы, Антонина Николаевна, постоянно растравляете в себе человеконенавистнические чувства к нему. Когда он к вам лез с своими пошлостями, вы вывернули его из саней. Я находил, что вы прекрасно поступили. Казалось бы, вы полностью заплатили ему по счету. Так нет же: для вас необходимо разорвать его в клочки! Еще бы, такая принцесса, как вы, а он, по вашим словам, этот урод и тупица, осмеливается подойти к вам, как к простой смертной, без коленопреклонения.

Тоня хохотала, но продолжала добиваться своего.

— Мне все-таки интересно знать, как вы объясните его ответ студенту?

— Это понятно само собою: изголодался до последних пределов, а так как он не способен на низкопоклонство и в будущем не рассчитывает обеспечить себя, вот он и злится, и с остервенением набрасывается на идейных людей. Я уверен, что и сам он в это время страдает и в душе презирает себя.

— Счастливый вы человек, Василий Иванович! Такой запас у вас оправданий даже для пошляка! Как я завидую, как я преклоняюсь перед этой чертой вашего характера. А все-таки, сколько вы ни говорили в его защиту, я все же продолжаю ненавидеть таких людей, как Шершневский, и с презрением относиться к ним.

— А меня чрезвычайно удивляет, как Ушинский, так щедро одаренный духовными преимуществами, мог хотя на минуту посмотреть на Шершневского как на своего конкурента? И все же он поступил с ним довольно-таки бесцеремонно. Если от обыденного человека требуется снисходительность и великодушие, то эти качества тем более обязательны для такого крупного человека, как Ушинский,— проговорила я.

— И на солнце пятна есть! И великие мира сего, как

и мы, грешные, не избавлены от недостатков,— перебила меня Тоня.

Когда Шершневский вошел к нам вечером, мы передали присланные ему вещи и пакет. Он распечатывал его дрожащими руками.

— Смотрите!

В конверте не было никакого письма: только паспорт, деньги и узкая полоска бумаги, на которой после каждого месяца занятий Шершневского стояла цифра 150 рублей. «За три месяца — 450 рублей; за отсутствие предупреждения об окончании занятий за месяц — 150 рублей. Итого 600 рублей. Раньше было взято 50 рублей: 550 рублей препровождаю».

Это так потрясло Шершневского, что он долго сидел молча. Затем быстро зашагал по комнате.

— Это такое поразительное великодушие! Такое! Что же я-то наделал! Больному, нервному человеку, как он, за его вспышку я наговорил черт знает что! Я просто скотина! Подумайте, ведь этих денег мне хватит почти на два года. Но, может быть, я не имею нравственного права брать деньги за месяц, который я не буду у него работать? Пожалуйста, Василий Иванович, скажите откровенно, как вы думаете?

— Почему же нет? Это только говорит о корректном отношении Ушинского к своему секретарю. Константин Дмитриевич человек властный и энергичный: если вы ему возвратите деньги, он перешлет вам их обратно и уже, конечно, настоит на своем.

— Ну, бегу нанимать комнату. Пусть мои деньги постоянно сохраняются у вас: я буду брать только по двадцать пять рублей в месяц.

Когда была напечатана азбука Шершневского, никто не обратил на нее внимания: кроме сотни-другой экземпляров, она совсем не разошлась и осталась на руках издателя.

XI

В один из воскресных дней, когда мы только что кончили завтрак, к нам приехала Ольга Ивановна Антонова.

В передней стояла девушка лет 20-ти, блондинка, с нежно-розовым румянцем на щеках, с прелестными синими глазами, по внешности живая и симпатичная. Она

бросилась обнимать меня и Тоню, хотя никто из нас не видал ее раньше.

— Не думайте, что я сумасшедшая или сентиментальная провинциалка. Но я вас обеих до смерти полюбила заочно, давно мечтала о знакомстве с вами! Ах, боже мой! Я ведь и не знаю, кто из вас Антонина Николаевна, кто Елизавета Николаевна,— говорила она, конфузливо улыбаясь.

Когда мы отрекомендовались и уселись с нею, мы узнали, что она дальняя родственница Ермолаевых и приехала из Воронежа только накануне. Она ученица Тониного опекуна.

— Это у нас единственный симпатичный и образованный человек. Если бы вы знали, сколько мне приходилось выносить неприятностей из-за него. У вас, конечно, уже давно не существует таких пошлых взглядов на отношения между людьми... У нас же немыслимо посетить холостого человека, хотя бы он был больной и старик. А между тем к Анатолию Михайловичу Муравскому у нас все в городе относятся с большим уважением. К тому же известно, что он никогда не был ловеласом, что я его ученица и он продолжал руководить моими занятиями. Впрочем, у нас никто не верит, что взрослая девушка, кончившая курс, может продолжать свое учение. Моя мама постоянно повторяет мне: «Ты должна подчиняться взглядам других. Я не хочу, чтобы про мою дочь ходили сплетни. Если тебе невтерпеж узнать о какой-нибудь книжке, ты должна ходить к Муравскому не иначе как с твоим отцом». В присутствии же папы у меня никаких разговоров не выходит с Анатолием Михайловичем: у них совершенно различные интересы. Папу больше тянет к картишкам. Вот потому-то, когда мама уходит вечером в гости, я бегу к Анатолию Михайловичу. Если бы вы знали, как я приятно провожу у него время. Он мне иногда читает отрывки из писем Антонины Николаевны. Какие интересные у вас собрания, как я завидую вам обеим! Ведь только из этих писем я узнала, что есть люди, которые живут совершенно иначе, чем у нас, о том, что их занимает, о чем они спорят, как чудесно они умеют иногда веселиться! Из ваших писем, Антонина Николаевна, я поняла также, как полезно посещать учебные заведения, детские сады, а раньше мне это и в голову не приходило. Анатолий Михайлович знакомил меня также и с содержанием различных научных сочинений, давал мне кое-что прочесть, указывал то, на что я должна была обратить особенное внимание. Но на другой день после моих

посещений мама уже обо всем осведомлена. Наши дамы уверяют ее, что из-за меня и их дочери начинают своевольничать, что она обязана положить этому конец. И вот меня, как преступницу, зовут в кабинет, бранят, стыдят, мама плачет, папа кричит, топает ногами, выходит из себя. А еще обиднее для меня, что к Анатолию Михайловичу тоже заходит из-за этого какой-нибудь отец семейства, как будто чтобы его проведать, а сам то шуточкой, то серьезно доказывает ему, что он не должен принимать меня уже из-за одного того, что это смущает наших девиц. «Они ведь только и мечтают о том, чтобы наедине с холостяком глазками пострелять, и тут уже забывают обо всем... Того и смотри, что через месяц-другой волей-неволей придется такую девицу выдавать замуж за какого-нибудь чинушку с двадцатипятирублевым окладом». А Анатолий Михайлович — человек щепетильный; как ему ни тяжело, а все же он иногда скажет мне: «Не ходите ко мне, Ольга Ивановна, а то вас совсем съедят! Я отлежусь и как-нибудь сам приеду к вам».

Мы начали расспрашивать Антонову, чем она занималась до сих пор и как ее родители решились отпустить ее одну.

Оказалось, что вместе с своею приятельницею, замужнею молодою женщиною, у них была устроена элементарная школа, в которой та и другая были преподавательницами. Разрешенная после громадных затруднений, эта школа была закрыта без всякой причины, по доносу одного видного чиновника, к ухаживанию которого резко отнеслась приятельница Антоновой. После этого Ольге Ивановне уже ничего не оставалось делать в Воронеже. Она стала проситься у родителей отпустить ее в Петербург, но те и слышать не хотели об этом. Однако тут подвернулся такой случай: родная сестра ее отца отправилась путешествовать за границу. Месяца два тому назад она вышла замуж за немецкого коммерсанта и живет с ним в Вольфенбюттеле. Антонова была очень дружна с своею теткою и просила ее написать родителям, чтобы они отпустили ее к ней. Когда получился благоприятный для нее ответ, родители все-таки хотели помешать и этому, но Антонова смело заявила им, что ни силою, ни проклятиями (которые в то время все еще были в ходу) они не удержат ее более. «Это испугало моих родителей,— говорила она.— Они недели две бранились между собой, и до меня нередко долетал голос отца, который так усовещивал мать: «Да опомнись ты! Ведь из нашего города убежало в столицы учиться уже

пять девиц. Вспомни, сколько неприятностей было в этих семьях! А ты своими угрозами хочешь дождаться еще большего скандала. Пойми же наконец, что теперь все старое пошло насмарку и все переменилось, все по-иному, даже справедливость и правду, и ту умудрились перевернуть наизнанку. Родителям волей-неволей приходится считаться с этим. Из ее поездки еще, может, не выйдет ничего дурного, а силой удержишь — достукаешься еще до какого-нибудь ужаса». И вот меня отпустили с условием, чтобы я недолго погостила в Петербурге у Ермолаевых, а затем отправилась к тетке в Вольфенбюттель. В этом городе есть прекрасные детские сады и знаменитый в Германии педагогический институт, в котором читают лекции по самым разнообразным отделам педагогики и по уходу за детьми, дают практическую подготовку воспитательницам для руководства в детских садах, читают и методы обучения по различным предметам. Вот я и хочу поступить в это учреждение».

На вопрос Тони, как Ольга Ивановна смотрит на семью Ермолаевых, она чистосердечно отвечала, что все ее члены — люди чрезвычайно порядочные. Но покойный муж Елены Павловны отличался простоватостью, и о его глупости в Воронеже до сих пор ходят анекдоты. Его сын Александр Петрович получил в наследство от отца его умственные способности, и хотя он человек честный, даже благородный, но невыразимо скучный и неумный. Его мать, Елена Павловна, несравненно более интересная женщина. Затем Антонова передала Тоне усердное приглашение Ермолаевой приехать обедать в тот же день, и обе они отправились к ней.

По рассказу Тони, когда она возвратилась домой, она была приглашена на обед не без умысла. Кроме домашних, у Ермолаевых никого не было. Когда Тоня собралась уезжать, Елена Павловна упросила ее разделить с нею вечернее одиночество. Чтобы отпраздновать приезд Ольги Ивановны, она взяла билеты в оперу для нее, сына и дочерей.

Как только Тоня очутилась с глазу на глаз с Ермолаевой, та, горячо обнимая ее, со слезами на глазах начала благодарить за успехи своих дочерей. Она теперь спокойна за них; у девочек пробудился интерес к чтению, они говорят, что так стыдно не знать урока у Антонины Николаевны или отвечать его только по учебнику, и усердно читают все, что она им рекомендует. Как она, Елена Павловна, была бы счастлива, если бы бог послал ей такую невестку, как Анто-

нина Николаевна. Тоня молчала. «Спасите Сашу! — вдруг начала Ермолаева умолять Тоню.— Спасите моего сына! Он безумно влюблен в вас! Он тает, как восковая свечка, не спит по ночам... Он так высоко ставит вас, что даже боится сделать вам предложение. Он прекрасно понимает, что вам может представиться более блестящая партия, что вы во всех отношениях выше его! Но верьте мне: вы не найдете более честного, благородного, рыцарски преданного вам сердца! Конечно, при своем скромном чине поручика он получает ничтожное жалованье, но он тогда оставит военную службу. Я могу выхлопотать для него порядочное место». Тут Тоня вскочила как ужаленная, упрашивая Ермолаеву не продолжать: она не только не думает устраиваться на средства мужа, но будет всеми силами добиваться приобрести полную самостоятельность раньше, чем решится на замужество. Что же касается Александра Петровича, она, Тоня, на себе испытала, как он добр, деликатен, какое великодушное у него сердце. Но она совершенно не думает о замужестве. Вероятно, очень скоро ей удастся уехать за границу, и она еще не знает, сколько времени там придется прожить.

Тогда Ермолаева начала предлагать ей то же, что и Манькович: ее сын будет ждать ее сколько угодно, но пусть она даст ему слово, что она выйдет замуж только за него. Это воскресит его. Но Тоня осталась непоколебимой и отвечала ей таким же категорическим отказом, как и Маньковичу. «Я не могла, конечно, сказать ей в глаза,— передавала она мне,— что я только что отказала человеку умному, красивому, интересному, а главное, который мне чрезвычайно нравится. И вдруг я сделаюсь супругою ее сына, с которым, как с мужем, просто стыдно в люди показаться,— такая у него безнадежная физиономия и такой он неумный».

Через несколько дней Тоня показала мне письмо Александра Петровича.

«Высокоуважаемая Антонина Николаевна! Единственный человек, с которым я разговариваю вполне откровенно о своих интимных делах,— это моя мать. Но я никогда не поручал ей передавать вам что бы то ни было. Все сказанное ею должно было показаться вам большою самонадеянностью с моей стороны, даже дерзостью и наглостью. И вы были бы вправе так посмотреть на это, если бы я был в этом сколько-нибудь виноват. Отсутствие же вины перед вами дает мне смелость обратиться к вам с просьбой: забудьте все, что говорила вам моя мать, и не лишайте меня по-

прежнему вашего дорогого для меня доверия, дозвольте, как и прежде, провожать вас после уроков в нашем доме. Если бы вы давали мне какие-нибудь поручения, позволили бы мне вам служить и быть хотя чем-нибудь полезным, как в настоящее время, так и в будущем, я был бы несказанно счастлив.

Ни на что не рассчитывающий и глубоко преданный вам Александр Ермолаев».

XII

Е. П. Ермолаева решила уехать на лето за границу с своими дочерьми. Она добилась экзаменов для них раннею весною, что было на руку Тоне, которой очень хотелось поскорее посетить крестного. «Досадно подумать,— говорила она мне,— что я до сих пор не решалась показаться к нему потому, что он боялся за мою репутацию. Недоставало только, чтобы я дорожила мнением провинциальных сплетниц».

Антонова по просьбе Тони выслала ей программу занятий в педагогическом институте и дала подробные сведения о плате за учение, о ценах в пансионах и о тамошней жизни вообще. Тоня решила ехать туда учиться, но желала предварительно посоветоваться об этом с крестным.

Несколько дней сряду она возила на экзамены в гимназию своих учениц, и они превосходно сдали их. На другой день девочки с букетами в руках и в сопровождении своего брата приехали ее благодарить.

Я в первый и в последний раз видела Ермолаева. Его внешность и манера говорить произвели на меня удручающее впечатление. Он был ниже среднего роста и так широк в плечах, что представлял из себя скорее квадрат, чем обычную мужскую фигуру. Так же необычайными были и его плоское лицо темно-желтоватого цвета, и его чересчур узкие, бесцветные глаза, и коротко остриженные редкие черные волосы. Этот монгольского типа офицер точно в насмешку над своей некрасивою наружностью, по моде тогдашних франтов, делал пробор сзади головы и свои напомаженные волосы зачесывал на две стороны. Это давало возможность видеть недостаток растительности на его голове, а пробор среди нее напоминал широкую дорогу. Об уме его я лично не составила определенного мнения: на вопросы он отвечал односложно и крайне конфузливо, видимо с трудом выдавливая каждое слово.

Тоня через несколько дней уехала в Воронеж, а когда она возвратилась, мы жили на даче, где она и прогостила у нас несколько дней до своего отъезда за границу. Она с восторгом рассказывала о крестном, который своим тонким чутьем понял, что ее поездка в Вольфенбюттель вызвана не капризом, а серьезным стремлением учиться, и предложил ей не стесняться в средствах, а если понадобится, решил тронуть даже ее маленький капитал.

Лекции в педагогическом институте в Вольфенбюттеле начинались в августе, но Тоня стала основательно подготовляться к ним. Хотя она весьма порядочно знала немецкий язык, но ей никогда не приходилось слушать лекций на этом языке. Не желала она забрасывать и свое общее образование. Вместе с Антоновой они наняли для себя учителя немецкой литературы, который все лето читал им по три лекции в неделю о Гете и Шиллере, задавал им и письменные работы о прочитанных произведениях; по вечерам к ним приходила опытная «фребеличка», обучавшая их фребелевским работам. Когда начались практические занятия в детском саду и лекции по педагогике, Тоня с таким же рвением и так же основательно относилась и к ним.

Прошел уже год ее пребывания в Вольфенбюттеле. Она подробно знакомила меня со всеми своими впечатлениями, сообщала о лекциях, занятиях и о жизни в этом городе. Однажды в конце одного из своих писем она спрашивала меня: «Почему ты никогда не напишешь мне о Маньковиче? Я даже не знаю, в Петербурге ли он или уехал куда-нибудь?»

Я отвечала ей, что после ее последнего объяснения с ним он перестал нас посещать. «Справляться о нем мне не приходилось: без всякого повода с нашей стороны он весьма недружелюбно отнесся к нам. Принятый в нашем доме как близкий человек в продолжение нескольких лет, он, потому что ты отказала, не только не простился с нами, уезжая из Петербурга, но и не известил о том, куда уезжает».

Следующие свои письма Тоня уже почти исключительно наполняла справками и о Маньковиче и упреками по моему адресу. Она никогда не причисляла меня к разряду людей, писала она, которые относительно своих близких придерживаются правила «с глаз долой — из сердца вон». Относительно Маньковича «ты должна была бы иметь в виду, что тяжелое страдание, которое я причинила ему, мешало ему переступать порог вашего дома». Она убеди-

тельно просила меня узнать адрес Маньковича, при этом сама вспомнила фамилию его товарища Савицкого, семейство которого он посещал.

Я отправилась к Савицкому и немедленно известила Тоню обо всем, что узнала. Манькович за все время своего отсутствия написал Савицкому всего две небольших записочки: прошлую зиму он как приват-доцент читал лекции в Киевском университете, а раннею весною, вследствие смерти своего отца, отправился в свое небольшое имение, недалеко от Белой Церкви. Где он теперь, остался ли хозяйничать в деревне или по-прежнему читает лекции в Киевском университете, Савицкий не знает. Дошел до него слух, что какой-то Манькович женился, а так как их два брата, то Савицкий и запросил об этом Николая Александровича, но не получил никакого ответа...

После долгого отсутствия известий от Тони я наконец получила от нее длинное послание, настоящий вопль исстрадавшегося сердца. Она писала, что в продолжение более года жизни за границей ее напряженные занятия не ослабевали, но теперь ее мало-помалу начинает одолевать тоска по родине: перед нею все чаще рисуются картины ее жизни в нашем доме, приходит на память ее отказ Маньковичу и его отчаяние. «Бессердечный отказ единственному человеку, которого я любила, и тоска по людям, с которыми я не могу более отводить душу, совсем истерзали меня». Она уже несколько раз писала Маньковичу по двум неопределенным адресам, которые я отправила ей, но прошло уже два месяца, а она не получила ни строчки в ответ. Мстит ли он ей за ее жестокость, или он действительно не получал писем? И тут же она убеждала себя, что он слишком великодушен, чтобы мстить такому, как она, душевно измученному человеку. Она убедительно просила меня, если я случайно встречу его, узнаю его настоящий адрес, немедленно дать ему знать о том, что она написала ему четыре письма и не получила ответа. «Он когда-то говорил, что любит меня, почему же я не могу сказать ему того же? Я вовсе не желаю, особенно в таком серьезном деле, придерживаться предрассудков».

В следующем письме Тоня чрезвычайно порадовала меня известием, что мы скоро увидимся. Она писала, что ей более нечего делать в Вольфенбюттеле. Практически и теоретически она хорошо изучила немецкий язык и педагогическое дело, для чего она и ездила в Германию, а в немецких похвальных бумажонках и аттестатах она не нуждается. Она смело может считать себя хорошо вооору-

женною для того, чтобы заработать себе насущный кусок хлеба. Ей во что бы то ни стало хочется приехать к нам к рождеству, чтобы устроить для моих детей первую рождественскую елку.

Чуть не за полторы недели до своего возвращения она написала мне, что укладывается и может уже теперь точно сказать, что приедет 24 декабря в 10 ч. утра. Если, паче чаяния, это предположение изменится, она будет телеграфировать.

XIII

Роман между Маньковичем и Тоней снова возобновился, и передо мною, как в панораме, стали быстро развертываться картина за картиной их взаимные отношения, пока все это не закончилось весьма печально, истерзав их обоих до глубины души, сделав брешь в их моральных чувствах, надломив молодые силы, заставив их утратить веру в людей, в будущее и в личное счастье. Он издергал даже мои нервы, так как оба они опять затянули меня в водоворот своей кипучей страсти, своих непоправимых ошибок, любви и ненависти.

— Николай Александрович, господин Манькович, вас спрашивают. Не хотят входить. Говорят, раньше узнайте, желает ли Елизавета Николаевна меня принять,— доложила кухарка.

Через минуту я уже стояла в передней и крепко пожимала его руку.

— Как повернулся у вас язык спрашивать, приму ли я вас?

С первого взгляда Манькович за два года, казалось, мало переменился — не похудел, не пополнел. Только в его красивых темных глазах не было ни прежнего молодого задора, ни иронии и самоуверенности: они точно выцвели и казались переутомленными, а его высокая фигура с гордо поднятой головой как будто осела и была теперь менее подвижною.

— Вы не поверите, как меня мучила мысль, что вы и Василий Иванович сочтете мое поведение относительно вас настоящим свинством. Как мне было не терзаться этим, когда у вас я встречал самое радушное, самое внимательное отношение к себе? Как много провел я у вас чудеснейших вечеров! Но посудите сами, мог ли я, оплеванный, опозо-

ренный, с мучительною болью в душе, мозолить вам глаза своею особою?

— Что за фантазия, Николай Александрович! Ни оплеванным, ни опозоренным вы никогда не были. Тоня никому, а тем более вам, не могла сознательно причинить никакой душевной боли.

— Значит, она бессознательно заставила меня при вас сделать ей предложение? Нисколько не стесняясь, откровенно и тоже при вас она созналась, что проделывает это с целью, чтобы я не посмел подумать, а тем более сказать кому-нибудь, что она кокетничала со мною, затягивала меня в свои сети. По-вашему, она тоже бессознательно действовала, когда отказала мне в праве считаться ее женихом, хотя бы в продолжение многих лет? Чего же она опасалась? Вероятно, того, что я потащу ее в полицейский участок, как только узнаю, что она не сдержала слова? Эгоистка она до мозга костей! Мелочное тщеславие и самолюбование для нее превыше всего...

— Как вы не хотите понять, что в то время ее охватило непреодолимое стремление к приобретению знаний. Она так страстно отдавалась всему, что помогало расширить ее кругозор, отвоевать самостоятельность. Она боялась, что даже мысль о личном счастье может помешать ее плану. Возможно, что она отказала вам и потому, что не чувствовала еще ни малейшей потребности в жизни сердца. Во всяком случае, я думаю, что духовные интересы, которыми она в то время была увлечена, не заслуживают такого порицания...

— Ну, будет о ней! Меня совершенно не интересует более госпожа Садовская. Что было, то прошло и быльем поросло! Могу уверить вас, что все мои безумства я давно сдал в архив. Лучше скажите мне, зачем вы брали мой адрес у Савицкого?

— Он нужен был для Тони: одно за другим она написала четыре письма по данным ей неопределенным адресам на Белую Церковь и в Киевский университет.

— Как? Антонина Николаевна написала мне четыре письма? Не получал! Не получал! На Киевский университет я и не мог получить — давно его оставил, а на Белую Церковь, даже без названия деревни, в которой я живу, мне обязаны доставлять письма. Значит, ими заинтересовался местный почтмейстер.— Манькович замолчал, затем остановился передо мной и с язвительною иронией спросил: — Зачем же она изволила себя беспокоить и писать человеку, который не внушил ей даже самого элементарного доверия?

Впрочем, я очень рад, что не получал ее писем: я бы все равно не ответил на них.

— Почем знать, Николай Александрович, может быть вражда, с которою вы отзываетесь о Тоне, говорит о не потухшей еще страсти в вашем сердце. Мне почему-то кажется, что я скоро буду свидетельницею счастливого окончания вашего романа. Недаром же такое неожиданное совпадение случайностей: вы приехали вчера, а она возвращается завтра в десять утра.

Последнее известие так ошеломило его, что он, опираясь дрожащими руками на столик, за которым я сидела, стоял против меня с побелевшими губами, не будучи в силах произнести ни звука.

«Что бы мне ему сказать, лишь бы прекратить это неловкое молчание?» — раздумывала я.— А знаете, Николай Александрович, ведь ваш товарищ Савицкий сказал мне, что до него дошел слух о том, что кто-то из вас, двух братьев, женился, но он даже от вас не мог добиться ответа на этот вопрос.

Манькович быстро отвернулся от меня, подошел к окну, и с большим усердием отскребал пальцем снег от заиндевевшего стекла.

— Что же вы молчите? Это очень меня интересует.

— Конечно, женился не я, а мой брат Василий.— Опять помолчав, он подошел к диванчику, сел подле меня и, видимо, справившись с своим волнением, заговорил в прежнем язвительном тоне: — Скажите, пожалуйста, что же должен означать приезд эрцгерцогини Садовской? Я слыхал, что она уехала за границу на два года.

— Кончила все, для чего ездила, вот и возвращается.

— Значит, превзошла все науки? Она и прежде была влюблена в себя, вероятно, потому, что размеряла все, даже и чувства, по ниточке и по линеечке. Ей и в голову не приходило, что это характерная черта мещанской, расчетливой душонки! Ну, а теперь? Воображаю! — И он вдруг захохотал таким диким голосом, что я вздрогнула и с сожалением взглянула на него. Но, всецело погруженный в свои думы, он ничего не замечал, прокашлялся и опять заговорил в том же духе.— Ну и что же? По всем заграницам протащила за собой своего квазимодо? [16] Ведь он при ней двойную роль играл: и вздыхателя, и лакея.

— Однако как еще сильно говорит в вас и ревность, и месть, и злоба, и страстная любовь!

— Только недоставало, чтобы я из-за нее поссорился еще с вами! Пеняйте на себя: вы сами толкаете меня на

разговор о ней, а меня она совсем не интересует... Повторяю: я давно выбросил из головы и сердца все свои безумства...

— О да, конечно... Это и видно! — сказала я с явной насмешкой.

— Лучше скажите мне, когда я могу повидать Василия Ивановича и ваших деток? Вы, вероятно, готовите им елку на днях?

— Завтра же... Приходите.

— Не знаю, удастся ли завтра, но, если позволите, пока я здесь поживу во время праздников, я нередко буду забегать к вам.

XIV

Какою радостью билось мое сердце, когда я на другой день ехала встречать Тоню. Она так вошла в интересы нашей жизни, так сжилась со всеми нами, так искренно принимала к сердцу все наши тревоги, невзгоды и маленькие удачи, что я не могла отделить ее от лиц, близких мне по крови.

Поезд еще не остановился, когда Тоня высунулась из окна вагона, заметила меня среди ожидающих и окликнула несколько раз. Когда пассажиры начали выходить, она со всех ног бросилась ко мне, и мы обнимались, смеялись, плакали, бестолково задавали друг другу вопросы. Наконец мы вошли в один из проходов вокзала, где носильщик сбросил ее вещи, взял квитанцию на багаж и отправился за ним. Она поручила мне присмотреть за вещами, а сама побежала нанимать экипаж. Я оглянулась кругом и заметила господина, прислонившегося к стене, с поднятым вверх меховым воротником, с шапкой, надвинутой так, что его лица совсем нельзя было рассмотреть. Его фигура, пальто, все указывало мне, что это был Манькович. При моей близорукости я сначала побоялась его окликнуть, а затем решила не подавать и вида, что узнала его. К тому же, как только я посмотрела на него, он юркнул в выходную дверь. Когда мы усаживались в карету, я опять увидела его среди публики. Тут уже я окончательно убедилась, что это Манькович, но ни слова не сказала об этом Тоне.

Как только мы тронулись в путь, Тоня начала забрасывать меня вопросами о Маньковиче. Ее поразило, что он приехал в Петербург накануне ее возвращения. Она не сомневалась, что это служило счастливым предзнаменова-

нием полного переворота в ее судьбе, что заря личного счастья уже наступает.

Мы, шестидесятники, усердно высмеивали, обличали и преследовали всех, кто рассказывает о своих снах, придавая им значение, верил в предчувствие, гадание по картам, в гадальщиков, предсказывающих будущее. Чтобы подчеркнуть свое свободомыслие, мы демонстративно зажигали три свечи там, где можно было обойтись и двумя, здоровались нарочно на пороге, подавали за обедом соль друг другу. Но это презрение к суевериям у многих чаще всего проявлялось в несоблюдении мелочных примет, но не охватывало нас глубоко, а было, так сказать, чисто внешним отрицанием; внутренне же мы были насквозь пропитаны суеверными страхами. Когда какое-нибудь предзнаменование угрожало несчастием, мы трепетали от ожидания и радовались, когда иная примета пророчила хорошее. Только несколько последующих поколений постепенно освобождалось от суеверного мусора, веками скоплявшегося в наших головах и сердцах, но совершенно ли очищена от него интеллигенция и в настоящее время, — это еще вопрос.

Когда я по требованию Тони начала последовательно рассказывать ей о моем разговоре с Маньковичем, она нашла, что вполне заслужила его враждебное отношение к себе. «Но он же любит меня? Увидимся, поговорим откровенно между собой, и вражда пройдет мало-помалу. Он обещал к вам забегать, а ведь он не может же сомневаться в том, что я буду жить с вами? Нет, как хочешь, это удивительно хорошее предзнаменование, и оно начинает сбываться. У меня так светло, так хорошо на душе! Я нисколько не сомневаюсь, что все изменится к лучшему!» И, раскрасневшаяся, ликующая, с громким смехом вбежала она в нашу квартиру и, не сбросив еще всех зимних доспехов, понеслась по коридору, громко звала детей, обнимала прислугу.

— Благоразумная девица! Помилосердуйте! Как ураган принеслась к нам из неметчины... Да вы нас испепелите! — шутил Василий Иванович, когда она здоровалась с ним.

Она бросилась к своим вещам и начала их распаковывать. Мы запротестовали, требуя, чтобы она раньше рассказала нам о своем житье-бытье. Она садилась, чтобы исполнить наше желание, но сию же минуту вскакивала с своего места, подзывала к себе то одного, то другого из моих мальчиков, начинала что-нибудь рассказывать им, но то одно, то другое отвлекало ее, и она опять бросалась распаковывать

свои вещи. Скоро вся ее комната и столовая оказались заваленными ее вещами, но более всего между ними было украшений для елки и подарков детям, сработанных ее руками. Тут были не только фребелевские работы и приготовленные из них вазочки, бонбоньерки, корзиночки, но и всевозможные звери, птицы, рыбы, деревья, цветы, люди, мебель, куклы. Все было изящно исполнено из цветной бумаги, стекляруса, бисера, пробок, сушеных ягод и цветов, семечек, разноцветных шнурочков, ленточек и всевозможных материй. Дети подняли шум, крик, беготню; от радости они то и дело подбегали обнимать ее, а она тащила их от одной кучки игрушек к другой, что-то показывала им, объясняла. Оказалось, что она далеко не все еще извлекла из своих бесконечных картонок: скоро фортепьяно, стулья, диваны, столы — все было покрыто ее произведениями.

Когда я спросила ее, сколько времени она потратила на приготовление такой массы вещей, она ответила, что думала об этой елке, начиная с первой своей работы, и каждую из них бережно хранила. Когда недели за две до ее отъезда одна фребеличка узнала, что у Тони за полтора года сохранились все ее изделия, что она исполняла их не только по фребелевским образцам, но приобретала и особые рисунки, а многое заимствовала от товарок, ее уговорили сделать «выставку».

— В Германии ведь ко всему приклеивают ярлыки, всему дают громкие названия. Все мои работы немецкие учительницы живописно разложили на столах и подставках, и множество немок торжественно их осматривало,— за них они произвели меня чуть не в гении.

Множество вещей, привезенных Тоней, дали нам возможность богато разукрасить елку, но их оказалось еще так много, что остальное мы разложили на подносах.

Только тогда, когда раздался первый звонок, Тоня проскользнула в свою комнату, чтобы переодеться. Она вышла к нам в шерстяном белом платье без всяких украшений, наскоро зачесав вверх свои густые волосы и заколов их сзади большим узлом. Она была чрезвычайно мила в этом простеньком наряде. На ее щеках по-прежнему играл нежно-розовый румянец; она несколько похудела, но это делало ее лицо еще более одухотворенным.

Наш праздник уже кончался, но Тоня все еще с увлечением кружилась с детьми, то останавливалась и пела с ними песенку, дружно ударяя в ладоши и пристукивая в такт ногами. Она не заметила Маньковича, который стоял несколько заслоненный от нее елкой и пристально смотрел

на нее. Он, вероятно, забыл в эту минуту весь мир и ни с кем не поздоровался, хотя я сидела от него в двух шагах с знакомой ему дамой. Когда мне показалось, что моя соседка узнала его, я подошла к нему. Он смотрел на меня непонимающими глазами, долго и рассеянно пожимая мне руку. В эту минуту к нему подошла Тоня: оба страшно переконфузились, покраснели, протянули друг другу руки и, не сказав между собою ни слова, разошлись в разные стороны.

«Маленькие гости» с своими матерями отправились восвояси, мои дети улеглись спать. Николай Александрович с Василием Ивановичем разговаривали в кабинете, а Тоня не выходила из своей комнаты. Только я одна сидела за чайным столом с знакомой дамой и наконец окликнула остальных, приглашая пить чай. Василий Иванович подсел к нам, а когда Тоня появилась в столовой, она подошла к Маньковичу и обратилась к нему с каким-то вопросом: они уселись поодаль и начали беседовать между собою. Когда все разошлись, Тоня сообщила мне, что Николай Александрович не проявил к ней никакой вражды, не пускал в ход и насмешек, но держал себя с нею крайне сухо. Затем она внезапно спросила меня, не буду ли я сердиться на нее за то, что от моего имени пригласила Маньковича обедать к нам завтра.

Он начал ходить к нам ежедневно; с каждым разом разговор его с Тонею становился все оживленнее, отношение все любезнее. Однажды он предложил взять для нее билет в театр, и с этого дня они отправлялись вместе повсюду: на спектакли, концерты, в оперу, на вечеринки к знакомым. Нередко утром они уезжали в Александровский парк гулять и возвращались домой только к обеду, а вечером ехали вместе на какое-нибудь представление. Со стороны можно было подумать, что это жених и невеста. Когда у нас собирались гости и Маньковичу с Тонею не удавалось поместиться друг возле друга, они, ни на кого не обращая внимания, перекидывались через соседей своими замечаниями, а несколько минут спустя уже сидели рядом. Не только меня, но и Тоню многие спрашивали, когда же ее свадьба,— так всем это казалось очевидным. Однажды ей задали тот же вопрос при мне и в присутствии Маньковича, шутя упрашивая ее устроить свадьбу как можно веселее и многолюднее. Нисколько не смущаясь, она сказала: «Конечно, ведь это будет самый счастливый день моей жизни. О! тогда от веселья пол и стены будут дрожать, музыка греметь, но вот когда это будет, я еще не знаю».

Оба они, казалось, все более пьянели от счастья, расхаживали всегда вместе, увлеченные оживленным разговором, поглядывая друг на друга влюбленными глазами. Где бы они ни проходили, всюду раздавался их веселый смех, и я ждала, что вот-вот Тоня скажет мне наконец о втором предложении Маньковича.

Вдруг кто-то из моих хороших знакомых передал мне, что он от нескольких лиц слышал о том, что Манькович женат. Я убеждала Тоню спросить его об этом, но вызвала с ее стороны только взрыв негодования, который потух только потому, что она была в веселом настроении.

— Так ты хочешь, чтобы Николай Александрович действительно имел бы право считать меня мещанской расчетливой душонкою? Я так безумно счастлива! И вдруг самой омрачить лучшие дни моей жизни подозрением в низости благороднейшего человека? Низость с его стороны была бы, конечно, не в том, что он женат, а что он молчит об этом до сих пор. Меня нисколько не удручает то, что он не делает мне предложения: я из-за своего учения не дала ему права считать меня невестой, а он не желает, вероятно, чтобы наш брак помешал окончанию его диссертации. Печально только то, что он до сих пор страдает из-за моего поступка.

— Как же он это проявляет?

— Иногда среди самого задушевного разговора он както вздрагивает, покраснеет до корня волос, закроет лицо руками и замолчит. Я умоляю его сказать мне, что его угнетает. Однажды он сказал с такою сердечною болью: «Ах, зачем вы не исполнили тогда моей просьбы? Я без ужаса не могу вспомнить, сколько вы тогда заставили меня страдать!» — Помолчав, Тоня добавила: — Если он уедет, не сделав мне предложения, а я из его писем узнаю, что он окончил диссертацию, я сама поеду к нему, не посмотрю на провинциальных кумушек.

Праздники давно кончились, уже перевалило за вторую половину января, а Николай Александрович не заикался о своем отъезде, и мы вместе с ним сидели однажды за обедом, когда Тоне подали письмо. Она быстро пробежала его.

— Господи, какой стыд! Скоро месяц, как я в Петербурге, а до сих пор не собралась к Ермолаевым. Кто-то из них на днях видел меня в театре, и Елена Павловна приглашает меня завтра к обеду. Но ведь мы же увидимся с вами, Николай Александрович, завтра вечером на именинах?

— Я приглашен... буду непременно.

На другой день Тоня уехала к Ермолаевым, а я пригласила обедать Михаила Николаевича Лебедева, чтобы вечером вместе с ним отправиться на именины к нашим общим знакомым,— у Василия Ивановича была спешная работа и он оставался дома.

Михаил Николаевич Лебедев, кончивший академию генерального штаба, геодезист, работал в Пулковской обсерватории и впоследствии издал особый труд по геодезии, имевший научное значение [17]. Это был человек умный, образованный и чрезвычайно симпатичный. Он был почти единственным военным, посещавшим дома наших знакомых. Еще раньше, когда он жил в Смоленске, он крепко сдружился с моими братьями и с одною из моих сестер; они все считали его ближе и роднее родственников по крови, а моя мать не иначе называла его как «богом данный сыночек». Когда он переселился в Петербург, свою дружбу и симпатию он перенес и на мою семью, часто посещал нас и близко сошелся со всеми нашими знакомыми.

Как только в этот раз он пришел к нам, один из его первых вопросов был: «Когда же наконец у вас свадьба?» Я представила на его суд все мои соображения, все сомнения на этот счет: и упорные слухи относительно того, что Манькович уже женат, и его злобное отношение к Тоне еще накануне ее приезда, и то, что он до сих пор не делает ей предложения, и как сама она смотрит на все это.

— Он был зол на Антонину Николаевну потому,— заговорил Лебедев,— что его самолюбие сильно пострадало. Рассчитывал, что память о ней выкинул из головы и сердца, а вдруг увидал ее и снова влюбился. Взгляд Антонины Николаевны на свои прошлые и теперешние отношения к нему мне глубоко симпатичен и с моей точки зрения весьма корректен. И чего вы опасаетесь за них? Они просто неразлучны: я как-то отправился в Эрмитаж — они там, на другой день пошел в оперу — они уже сидят в местах за креслами, вчера прохожу мимо Пассажа — они разгуливают по Невскому под ручку и так увлечены своим разговором, такое блаженство написано на их лицах!.. Я хотел поздороваться,— куда тут! Прошел мимо. Они ни на кого не смотрят, ничего не видят. Как же вы можете думать, что он женат? Ведь для этого нужно быть великим актером и человеком совсем без сердца и моральных правил, одним словом, «вполне полным подлецом». Разве он когда-нибудь давал вам повод считать его таким? Я на него смотрю как на весьма порядочного человека.

XV

Как только мы приехали на вечеринку, первый, кого я увидала, был Манькович. Мрачный и бледный, нервно кусая губы, он одиноко стоял, прислонившись к стене.

— Тоня еще не приехала? — спросила я его.

— А я почем знаю! — как-то злобно огрызнулся он.

— Как вы грубы, однако! — И я отправилась на другой конец комнаты, объясняя его раздражение тем, что он потерял терпение, ожидая предмет своей страсти.

Когда хозяйка дома, сидевшая подле меня, встала, Манькович занял ее место. Не желая показать ему досаду за его резкую выходку, я спросила его, долго ли он думает еще прожить в Петербурге. Он отвечал, что уезжает завтра же вечером. В эту минуту вошла Тоня. Она была в темном платье с накинутым на плечи красным суконным башлыком, украшенным золотыми кисточками, который только что вошел тогда в моду и придавал ее скромному туалету нарядный вид. Хозяйка дома потащила ее в другую комнату и усадила подле себя за чайный стол.

— Большие доходы или, по крайней мере, место с солидным окладом должен иметь супруг Антонины Николаевны, чтобы удовлетворять ее художественным вкусам и аппетитам.

— Вы прекрасно знаете, что Тоня основательно вооружена для приобретения хорошего заработка. Ее мужу не придется оплачивать ее туалеты. Я совершенно не понимаю, как вы можете так говорить о ней?

— Через час-другой все поймете... И все узнаете...

В эту минуту к нам подошла Тоня, и Манькович как ни в чем не бывало поздоровался с ней. Я предложила ей мое место и ушла, с ужасом думая о том, что-то будет через час-другой.

Когда М. Н. Лебедев вышел из другой комнаты, мы сели с ним в углу около окна, и я рассказала ему о дикой выходке Маньковича и о моем страхе, что он готовит что-то неожиданное для Тони. В это время кухарка поставила небольшой столик перед нами и, покрывая его скатертью, проговорила: «За большим столом для двух-трех гостей не хватит места».

Когда начали вносить кушанья, я предложила Тоне и Маньковичу присоединиться к нам, не подозревая, что этим в сильной степени ослабляю впечатление от скандала, задуманного Маньковичем. Столик, за который мы уселись

вчетвером, стоял в уголку, на небольшом расстоянии от круглого стола, занимавшего всю комнату. То, что мы говорили между собой, не слышно было за большим столом, да и сидевшим за ним было не до нас: там шел горячий спор, увлекший большинство гостей; оттуда то и дело раздавались голоса споривших и звонкий смех. За нашим маленьким столом разговор не клеился. Но вот подали шипучку, очень мало напоминавшую шампанское, и хозяин дома начал разливать ее по стаканам.

— Все без исключения должны произнести какой-нибудь тост,— сказала хозяйка.— В материале не будет недостатка. Сегодня у нас тройное торжество: день именин мужа, день моего рождения и годовщина нашей свадьбы.

Все поднялись с своих мест чокаться с хозяевами. Приветствия и поздравления сопровождались страшным гвалтом посетителей и даже битьем посуды. Наконец все стихло, кто-то поднялся, чтобы произнести речь. Манькович подбежал к концу большого стола, и я начала зорко наблюдать за ним: бледный, дрожащими руками он пересматривал бутылки одну за другой. Нашел одну из них нераскупоренною и начал подливать шипучку в наши стаканы; но руки его так тряслись, что он то и дело проливал ее на скатерть. Тут я в первый раз заметила обручальное кольцо на его пальце и глазами указала на него Михаилу Николаевичу. Мы вдруг, точно условившись с ним, быстро поднялись с своих мест, сразу поняв, что Манькович сейчас устроит какой-то скандал.

— Тоня, вставай! Нам необходимо моментально ехать домой,— решительно сказала я, наклоняясь к ней, обхватывая ее за талию и приподымая.

Она с удивлением взглянула на меня и, сразу поняв, что ей грозит какая-то опасность, вдруг вздрогнула и вместе со мною повернулась к выходу.

— Почему же вы все уходите? И вы, Антонина Николаевна? Разве вы не желаете поздравить меня с законным браком? Выпить за здоровье моей жены? Я буду просить о том же всех присутствующих...— говорил он, как-то заикаясь, скороговоркой; голос его то и дело срывался. Он не успел еще окончить начатого, как мы уже стояли к нему спиной, пробираясь к выходу, но сказанное я слышала отчетливо, то же должна была слышать и Тоня. Я повернула голову, чтобы позвать Михаила Николаевича, но увидала, что он наклонился к Маньковичу и что-то говорит ему. Я вышла с Тонею в переднюю, а за нами и Михаил Николаевич. Когда мы одевались, нас не видно было из столовой,

в которую я притворила дверь из передней. На наше счастье, никто не вышел с нами прощаться.

Прежде чем спуститься с лестницы, Михаил Николаевич взял Тоню под руку. Мы вышли на улицу, Михаил Николаевич подозвал извозчика, сел на облучке, и мы все в одних санях отправились домой. Я не могла рассмотреть лица Тони: всю дорогу она не проронила ни слова, не вырвалось из ее груди ни вздоха, ни стона.

Как только мы возвратились, Михаил Николаевич прошел в кабинет Василия Ивановича, который, по обыкновению, сидел за работой, а я повела Тоню в ее комнату, и она как-то машинально помогала мне раздевать ее. Когда она лежала уже в постели, я была поражена ее расширенными зрачками. Я поставила свечку на ее столик, но она быстро закрыла глаза руками. Накрыв свечку абажуром, я переставила ее на пол. Я боялась заговорить с нею, боялась поцеловать ее. Я тихонько вышла из комнаты, подвинув к ней звонок.

— Месть, и какая бесчеловечная месть за отказ, полученный два года тому назад, месть за свою женитьбу, месть за то, что он опять влюбился в нее!.. Черт знает что такое! — говорил Василий Иванович.

— Я вообще противник дуэли, но это один из редких случаев, когда она является единственным средством, чтобы наказать негодяя, отомстить ему за Антонину Николаевну, дать ей моральное удовлетворение,— возражал Лебедев.

— У вас, военных, дуэль универсальное средство от всех зол! Все вы отрицатели и враги дуэли до первого случая. Какое же удовлетворение Антонине Николаевне может принести дуэль? Разрекламирует только скандал, о котором будут рассуждать вкось и вкривь, следовательно, бросать камни и в нее, совершенно неповинную. Теперь об этом инциденте, кроме немногих лиц, никто не знает, а тогда о нем все заговорят... И какая, подумаешь, справедливость, когда дуэль может погубить человека, который возьмется отомстить за Антонину Николаевну! Манькович выказал свое до невероятности мелкое, пошлое самолюбие, но каково же будет ему вечно жить с убийством в душе? Он совершил гнусный поступок, но возможно, что угрызения совести заставят его измениться к лучшему... А если он еще сделается убийцею? Тогда уже он в конце концов может оказаться бесповоротным негодяем.

— Все это происшествие как-то совсем не вяжется ни с духом настоящего времени, не соответствует оно и ха-

рактеру современного человека вообще и Маньковича в частности,— говорил Лебедев.— Мне приходилось встречаться с его товарищами по гимназии и университету — все отзывались о нем с наилучшей стороны. И вдруг этот самый человек решается поставить обожаемую девушку в самое жестокое положение. Он перед этим не разлучался с нею целый месяц, несомненно, говорил ей любовные слова и в то же время носил нож за пазухой, думал только о том, как поудобнее нанести ей удар прямо в сердце. Бр!.. И подумать, все эти пылкие страсти происходят в настоящее время, когда первое правило — любить и жениться по кодексу новых гражданских взглядов, выбирать подругу жизни прежде всего для того, чтобы вместе с нею успешнее выполнять общественные задачи...

— Все это так потому, что усвоена только внешняя сторона этих идей. Когда люди будут вполне отдаваться общественной деятельности, а не застревать исключительно в тине личных чувствиц, тогда в душах людей не будет накопляться столько грязи и злобы.

— Уверяю вас, все это одна словесность, одна теория,— протестовал Михаил Николаевич.— Можно вполне отдаться общественной деятельности, можно благоговеть перед современными идеалами и все силы напрягать, чтобы проводить их в жизнь, но ближе всего, больнее всего всегда будут отзываться неудачи и несчастья личной жизни. Так есть в настоящее время, так будет в будущем и во веки веков.

— Скажите, Михаил Николаевич, что вы говорили Маньковичу, когда мы с Тонею уходили? — спрашивала я его.

— Да то, что он заслужил! Шепнул ему прямо в ухо: «Негодяй вы, негодяй и еще раз негодяй! Говорю это вам тихо, чтобы не расстраивать праздника».

— А он что?

— Да он был в каком-то невменяемом состоянии, может быть, даже ничего не понял. Как только вы направились к двери, он бухнулся на стул, обхватил свой стакан двумя руками, точно его кто-нибудь отнимал у него. Стакан так дрожал в его руках, что из него все выплескивалось на скатерть. Он решительно ничего не ответил на мои слова.

В эту минуту зазвенел колокольчик из Тониной комнаты. Я застала ее в мучительном страдании от тошноты. Когда она несколько успокоилась, я села в кресло и моментально заснула около ее постели. Когда я проснулась, уже было светло. Тоня по-прежнему лежала с открытыми

глазами. Я подняла штору и была поражена быстрой переменой, происшедшей с нею в одну ночь: мертвенно-бледная, с провалившимися щеками, с глубоко запавшими глазами, она неподвижно смотрела в одну точку на стене и, не произнося ни слова, лежала как в столбняке. Доктор сказал, что это оцепенение у нее вследствие сильного нервного потрясения, прописал какую-то микстуру, приемы которой вызывали лишь рвоту, и я перестала ее давать. Мне так хотелось поговорить с нею, поплакать вместе... Я знала, конечно, что она не оправится от этого, но мне казалось, что если бы она могла заплакать, прошел бы хотя ее ужасающий столбняк, который, вероятно, леденил ее душу.

XVI

Михаил Николаевич пришел к нам на другой день и сообщил следующее: когда он несколько часов тому назад выходил из дому, его, видимо, подстерегал Манькович, имевший невыразимо истерзанный и истрепанный вид: все лицо его было в синяках и грязных пятнах, он был совершенно пьян и говорил заплетающимся языком. Из его несвязных слов можно было уловить только одно, что он угрожал убить Михаила Николаевича, если тот не отведет его немедленно к Антонине Николаевне. Михаил Николаевич убедил его, что в пьяном виде никто не пустит его к ней, что в таком состоянии, в каком он находится, нельзя ни убивать, ни объясняться, что он, Лебедев, отвезет его прежде всего выспаться и затем он уже проделает все, что будет ему угодно. И ему удалось уломать Маньковича. Когда они сидели вместе на извозчике, Михаил Николаевич заметил, что на обеих его руках повыше кисти кожа на два-три пальца шириною была до крови истерта и изорвана. На его вопрос, как это случилось, Манькович отвечал так, как будто дело шло о самой обыкновенной вещи, и притом о другом лице: «Хотел броситься в прорубь... мерзавец помешал... я его в морду... он скрутил руки, бил по щекам... в участке по скулам били и сапогами в грудь и спину...» Сколько в этом правды, сколько фантазии пьяного человека, трудно разобрать. Но что-нибудь в этом роде могло быть: физиономия у него избитая и грязная, с руками его тоже, видимо, не очень церемонно обращались.

Манькович не пришел к нам в этот день, как мы ожидали. Тоня и вторую ночь совсем не спала и на другой день ничего не ела, но лежала она уже не в таком оцепенении,

как накануне, более двигалась, и глаза ее несколько прояснились.

В этот день после завтрака, только что мы разошлись по комнатам, как к рабочему столу Василия Ивановича как-то незаметно подошел Манькович. Он вошел без звонка по черной лестнице, чтобы не проходить по столовой, к которой примыкала Тонина комната. Когда голоса из кабинета стали до меня доноситься, я вошла посмотреть, кто пришел. Манькович бросился передо мной на колени.

— Я заслуживаю презрения... Но ведь самым тяжким преступникам — грабителям, мошенникам, убийцам — дозволяют выяснить причину и повод их преступления. Я знаю, что и мое объяснение не послужит к моему оправданию, но, может быть, оно хотя несколько смягчит ваше мнение обо мне?

— Если бы вы ножом пырнули Тоню из-за угла, это, вероятно, было бы объяснено вашим внезапным помешательством, но вы...— я махнула рукой и добавила: — Пожалуйста, встаньте, Николай Александрович, вы виноваты не передо мною.

Волнение Маньковича во время рассказа было так велико, что он беспрестанно прерывал его рыданиями, пил воду, отдыхал по нескольку минут, но затем продолжал начатое, зачастую повторяя уже сказанное или прибавляя к нему новые подробности. Я передам только самое существенное.

«Отказ Антонины Николаевны от моего предложения и форма, в которой он был сделан, мне казались столь унизительными для моего человеческого достоинства, так потрясли мой организм, привели меня в такое отчаяние, что я от горя и тоски не находил себе места. Всю весну и половину лета я, несмотря на привычку к деятельной жизни, решительно ничего не делал в Петербурге, никого не посещал, никого не принимал, только шагал по своей конуре. Мой отец, проживавший в своем имении близ Белой Церкви, усердно звал меня в деревню. Вполне сознавая необходимость переменить место и образ жизни, все гибельней отзывавшиеся на моем здоровье, я так ослабел физически, что, должно быть, совершенно утратил силу воли и инициативу и никак не мог решиться предпринять даже небольшую поездку. Только тяжелая болезнь отца и невозможность брата Василия посетить его заставили меня уехать в деревню. Отец поправился, а тоска по-прежнему изводила меня.

С осени я получил возможность читать лекции в Киев-

ском университете в качестве приват-доцента. Я находил, что это единственное средство, которое может меня спасти, и уехал в Киев. Действительно, обязательный труд и новая деятельность оживили меня, но подготовка к лекциям и умственное напряжение так переутомили, что мне пришлось бы самому отказаться от лекций раньше времени, но в марте я получил извещение о смерти отца. После похорон я остался в деревне, надеясь на то, что, когда силы мои окрепнут, я буду в состоянии работать в тиши деревенского уединения над начатой мною диссертацией.

В деревне я жил и до сих пор продолжаю жить совершенно одиноко, ни с кем не познакомился из интеллигенции Белой Церкви, но у меня там проживает двоюродная сестра, с которою я с раннего детства связан узами самой сердечной дружбы и полного взаимного доверия. Только ее посещения развлекают меня и доставляют мне удовольствие: я могу с ней откровенно говорить решительно обо всем, но сам я не посещаю ее дома, так как не могу выносить ее супруга, господина Баскакова. Сестра крайне несчастна в замужестве. Ее супругу, форменному пошляку, ловеласу и развратнику, еще за несколько месяцев перед моим приездом едва удалось потушить одно скандальное дело о растлении им четырнадцатилетней мещанской девушки. Чтобы заставить отца жертвы молчать, господину Баскакову пришлось заплатить ему пятнадцать тысяч рублей, большую часть приданого его жены.

У моей сестры двое сыновей — восьми и девяти лет, к которым уже с полгода до моего переселения в деревню поступила учительницею и гувернанткой двадцатидвухлетняя девушка, Мария Петровна. Сестра была ею очень довольна, но высказывала страх, как бы ее «благоверный», немного угомонившийся после громкого скандала, не начал преследовать ее своими ухаживаниями. Сестра нередко приезжала ко мне с своими мальчиками; весною она присылала их иногда с гувернанткою, но они так усердно пользовались деревенским раздольем, что я их совсем не видал, кроме завтраков и обедов.

Начались жаркие дни, и мальчики как-то отпросились у меня возить сено с рабочими. Жара загнала гувернантку в столовую. Сознавая, как плохо я выполняю свои хозяйские обязанности, я первый раз припудил себя заговорить с нею, расспрашивал, как ей живется. Она отвечала, что могла бы считать свое место вполне удовлетворительным, если бы не хозяин дома. В первое время он не обращал на нее ни малейшего внимания и она была совершенно покой-

на, но теперь он становится с нею все любезнее. Ввиду его репутации это сильно тревожит ее. Чтобы обезопасить себя от внезапной потери места, она рассказала о своем положении одной хорошей знакомой моей сестры, госпоже Х., которая всегда была с нею очень любезна. Та, в свою очередь, обещала ей, в случае какого-нибудь неприятного столкновения с Баскаковым и вынужденного отказа от места у сестры, взять ее к себе в качестве учительницы для своих сыновей, так как ей уже необходимо одного из них готовить к поступлению в гимназию.

Недели полторы у меня не были ни сестра, ни ее дети с гувернанткой. Вдруг однажды ночью кто-то стучит то в дверь, то в окно моего домика и затем ко мне входит перепуганная Мария Петровна. Несмотря на холодную ночь, она была без шляпы и какой бы то ни было накидки. Моя сестра в этот вечер уехала на именины; отсутствовал и ее супруг. Гувернантка, отправив детей спать, уселась читать в столовой, но когда около десяти часов услыхала шаги Баскакова, она отправилась в свою комнату, закрыла, по обыкновению, дверь на крючок и присела к своему столику продолжать чтение. Когда она входила к себе, окно ее комнаты, вследствие холодной погоды, было закрыто и она не осмотрела его. Вероятно, Баскаков уже раньше отодвинул задвижки, так как через несколько минут окно открылось и он вскочил в ее комнату. Она с криком бросилась бежать, он что-то говорил ей, о чем-то просил ее, но она, опасаясь его преследования, нигде не остановилась ни на минуту, побоялась даже войти в переднюю, чтобы накинуть что-нибудь на себя, и убежала по черному ходу.

Указав Марии Петровне на то, что она не может, конечно, сомневаться в моем желании оказать ей гостеприимство, я должен был ей заметить, что она, пожалуй, повредит себе во мнении здешнего общества тем, что она ночью отправилась к холостому человеку. Мне такой предрассудок совершенно чужд, говорил я ей, но боюсь, что на вас он навлечет много неприятностей. Мария Петровна оправдывалась тем, что, как только она вышла из дверей дома Баскаковых, первою ее мыслью было явиться к госпоже Х., но она вспомнила, что та отправилась на именины вместе с моею сестрою, что ее не примут в отсутствие хозяйки дома. Она завтра же увидит ее, все объяснит и не сомневается в том, что госпожа Х., как обещала, пригласит ее к себе.

Долго обсуждать это происшествие я не мог: все последние дни я чувствовал себя крайне плохо и, против-

шись с Марией Петровной, ушел к себе. На другой день, как только я проснулся, прислуга сказала мне, что «барышня» не ложилась спать и давно ушла.

Ко мне приехала сестра: она нашла, что Мария Петровна поступила чрезвычайно опрометчиво, отправившись ночью ко мне, что ей грозит полный остракизм из общества. Она было уверена, что никто теперь не подаст руки молодой девушке, что все будут говорить ей в лицо ужасные дерзости, делать гнусные намеки и предложения.

— Неужели среди интеллигенции Белой Церкви не найдется порядочного семейства, которое поняло бы безвыходное положение молодой девушки и защитило бы ее от нападок? — спрашивал я сестру.

— Здесь не столица: говорят, что там подобные предрассудки давно выкинуты за борт, а у нас они господствуют во всей силе.

Тогда я предложил дать средства Марии Петровне на ее отъезд в Петербург или Москву, где любая контора могла бы отыскать ей место гувернантки. Сестра нашла этот план неосуществимым: бюро для приискания мест крайне плохо организованы, и в гувернантки, в громадном большинстве случаев, берут иностранок, а русская может насидеться без места год и больше. Но более всего сестра поразила меня тем, что, несмотря на то что она была весьма неглупой женщиной, что ей прекрасно было известно, какую душевную муку я переживаю, начала уговаривать меня жениться на Марии Петровне. Я просто остолбенел от удивления. Как я могу жениться на особе, о которой я не имею надлежащего представления, с которой разговаривал лишь по необходимости, фамилии которой даже не знал до той минуты.

— Что же из того, что ты ее не знаешь, а я знаю, что она честная, деятельная девушка с прекрасным характером и вдобавок недурна собой. Где же ты найдешь себе жену, когда ты никуда не показываешься? А жениться тебе крайне необходимо хотя бы для того, чтобы стряхнуть с себя хандру. Посмотри-ка ты: все у тебя обваливается, везде беспорядок, все тебя обкрадывают, через три-четыре года такой жизни за долги с молотка продадут твое именьице и ты останешься даже без крыши над головой. А ты ничего не делаешь, не заботишься о хозяйстве, не подвигается вперед и твоя диссертация, а чтение университетских лекций тебя утомляет. Подумай сам, что будет с тобою? Ты кончишь тем, что будешь только шагать из угла в угол и окончательно потеряешь способность взяться за какое бы то ни было дело. А женишься, встряхнешься, и вот уви-

дишь, возьмешься хотя за хозяйство. Конечно, ты думаешь, что брак, устроенный таким упрощенным способом, без поэтических аксессуаров, без продолжительного ухаживания, без коленопреклонения, вздохов и взаимных клятв, не заманчив? Ну, а чем же кончилась твоя поэтическая любовь? Рассчитывать на счастье в браке потому, что он заключен по любви,— одна иллюзия! Возьми хотя меня в пример: я ведь по страсти вышла замуж, думаю, что даже мой супруг женился по любви, ведь за ним перед нашей свадьбой увивалась особа с громадным состоянием. Что же получилось? Позор и вечный страх, что он повторится! А в близком будущем моих детей ждут нужда и лишения.

Я указал на то, что ее муж исключение, редкий негодяй и эротоман.

— В каждой семье что-нибудь да не ладно,— возражала она,— в одной муж пьяница, если он порядочный, то жена совершенная пустышка, разоряет семью на свои наряды, в другой муж картежник или жена истеричка, портит жизнь окружающих своими фокусами и причудами. В семьях средней руки, которые мне приходилось наблюдать, всегда есть какая-нибудь червоточина, какой-нибудь дефект. Ну, а сам ты разве встречал когда-нибудь вполне счастливое супружество? И как это ни странно, но ни продолжительное знакомство, ни длительное жениханье до брака не гарантируют семейного счастья. Верь мне, счастья нет на земле! Все счастье состоит в том, что в ранней молодости человек мечтает о счастье, о взаимной страстной любви,— вот это-то и есть единственное счастье, самая лучшая пора жизни. Ты жестоко поплатился за свои мечты и фантазии. Ну, и будет: начинай реальную жизнь. Я знаю, мои слова кажутся тебе дикими, но умоляю тебя, подумай о них.

После отъезда сестры возвратилась и Мария Петровна, бледная, трепещущая, заплаканная, перепуганная. От волнения она долго не могла говорить. Оказалось, что госпожа Х. вышла из себя только потому, что Марья Петровна осмелилась переступить порог ее дома. «Как же вы не понимаете,— говорила она ей,— что я обещала взять вас к моим детям раньше, чем с вами произошла эта гнусная история, после которой вы не имеете права являться ни в один порядочный дом, а тем более сделаться наставницей детей».

Марья Петровна еле вытягивала из себя эти слова и прибавила уже рыдая, что она настолько подготовлена к преподаванию, что смело может быть и школьною учи-

тельницею, и давать уроки из гимназического курса. Но как найти сразу, сию минуту место, где она могла бы приклонить голову?

Я не мог ее дослушать: жалость обожгла мое сердце; я убежал в свою комнату и начал думать. В словах моей сестры я находил теперь много справедливого. «К чему мне моя свобода? — спрашивал я себя.— Женившись на этой девушке, неповинной в своем несчастье, я, по крайней мере, избавлю ее от безвыходного положения».

Я рассказал Марье Петровне историю своего увлечения, не утаил и того, что до сих пор страдаю от его последствий, и высказал надежду, что мы, оба несчастные, скорее поймем друг друга, чем счастливые люди, что мы будем стараться всю жизнь поддерживать друг друга...

Через три дня мы повенчались.

На первых порах мне пришлось много хлопотать и это отвлекло меня от моих навязчивых мыслей. Жена моя чуть не на другой день после свадьбы погрузилась в хозяйство. Она приютила в людской старика-калеку, бывшего когда-то старостою, управлявшего огромным поместьем и опытного хозяина. Он указывает ей все, что и как следует сделать и поправить в хозяйстве, помогает ей в этом и моя сестра. И вот за полгода с небольшим со времени нашей свадьбы мое маленькое имение и дом приведены в блестящее состояние. Я ценю и уважаю жену, но это нисколько не сблизило нас, и мой брак оказался большим несчастьем не только для меня лично, но и для нее и даже для моей сестры. В первое время моя жена более доверчиво и ласково относилась ко мне, приходила поболтать по вечерам, почитать, но потому ли, что я не сумел воспользоваться этим, чтобы сблизиться с нею, или потому, что она рассчитывала быстро завоевать мою любовь, а вместо этого видела, что тоска, уныние и дурное настроение опять захватили меня в свои когти, она совсем отшатнулась от меня, и мы живем, как чужие, связанные только общностью хозяйственных интересов. Сестра, которая теперь относится к ней, как к родной дочери, с нескрываемой досадой смотрит на меня, упрекает меня за мою холодность к жене, но более всего терзается угрызениями совести, что она толкнула меня на этот брак, и проклинает своего мужа, главного виновника этого несчастья. И вот она же, сестра, упросила меня отправиться на рождественские праздники в Петербург, чтобы окунуться в жизнь той среды, в которой я так привык вращаться, но прежде всего чтобы посоветоваться с специалистами по нервным и душевным болезням.

Если бы я хотя на минуту мог представить себе, что Антонина Николаевна возвратится из-за границы во время моего пребывания здесь, я бы, конечно, ни за что не тронулся с места. Но все, кого я встречал еще перед своим переездом в деревню, утверждали с ее слов, что она уехала на два года. И вдруг я узнаю, что она возвращается, но что еще больше изумило меня, так это то, что она несколько раз писала мне. Тут уж я забыл решительно обо всем на свете: и свою тяжелую борьбу, чтобы выкинуть ее образ из головы и сердца, и о том, что между нами уже давно все покончено и что я женат. Я не мог дождаться утра и задолго до прихода варшавского поезда уже был там. Оттого ли, что, как только она появилась, мои глаза застилал какой-то туман, или потому, что я надвинул шапку на глаза, но при первой встрече я плохо ее разглядел. Когда же я пришел к вам вечером и долго наблюдал ее из-за елки, она пленила меня еще с несравненно большею силою, чем прежде, и своим прелестным лицом, и своими живыми, умными глазами, своею игрою с детьми, и даже своими приплясываниями и притоптываниями. У меня так билось сердце, что я боялся упасть в обморок... Я понял, что только она, одна она могла бы дать мне счастье, что только одну ее я любил и буду всегда любить. А когда при следующем свидании она сообщила мне о содержании своих писем ко мне и так робко, так застенчиво-стыдливо призналась, что она тосковала обо мне, что она горько сожалела о том, что не исполнила моего желания,— тогда я уже окончательно потерял голову. Каждый день с раннего утра я только и думал о том, как бы поскорее увидеть ее. Однако, возвращаясь в свою комнату после целого дня, проведенного с нею, у меня вдруг являлась злоба против нее. Я мысленно упрекал ее за то, что она исковеркала мою жизнь, что я для того, чтобы не думать о ней, забыть об обиде, нанесенной мне ею, женился без любви, вконец испортил молодую жизнь несчастной жены... И в такие минуты, должен сознаться, я пылал к ней враждою и ненавистью. Но когда на другой день я встречал ее, злые чувства пропадали, как по мановению волшебного жезла, я снова был бесконечно счастлив, снова восторг охватывал мою душу. Я много раз решал сказать ей о своей женитьбе, но все откладывал до следующего раза.

В тот день, когда мне пришлось увидеть Антонину Николаевну на именинах, я получил письмо от жены, в котором она извещала меня об опасной болезни моей сестры. Я был особенно злобно настроен не только по тем

мотивам, которые всегда заставляли меня страдать из-за Антонины Николаевны, но и потому, что я вынужден был расстаться с нею и сказать ей о своей женитьбе. О чем я говорил с нею в этот злосчастный вечер, я совершенно не помню. Еще менее понимаю я, как я мог признаться ей в своей женитьбе в такой гнусной, в такой оскорбительной для нее форме! Клянусь вам всем святым — я как-то мало соображал... Я машинально повторял себе, что должен сейчас, сию минуту все сказать ей... Сердце разрывалось от муки... Я не знаю... я помню и не помню... я говорил и делал все в каком-то тумане».

Кончив свой длинный рассказ, Манькович долго сидел молча, затем обратился ко мне с просьбой упросить Антонину Николаевну, чтобы она приняла его хотя на несколько минут,— ему крайне необходимо сказать ей несколько слов. Я указала ему на то, что с самой минуты возвращения с вечеринки она до сих пор ни с кем из нас не проронила ни слова, не спала и не ела, что, по словам доктора, у нее тяжелое нервное потрясение. Манъковича это так поразило, что он, то ломая руки, то закрывая лицо руками, забегал по комнате, с отчаянием повторяя: «Боже мой, боже мой! Я подлый убийца!»

XVII

Когда я передала Тоне просьбу Маньковича, она долго смотрела на меня, точно раздумывая что-то, затем, к моему удивлению, сказала: «Пусть войдет!.. Но ты не уходи».

Манькович бросился на колени перед ее кроватью, с воплем повторяя: «Простите, простите!» Резким жестом она указала ему на стул и холодно проговорила с выражением брезгливости в лице: «Не так близко!» — точно его близость могла загрязнить ее.

— Простить — забыть! Нет, нет!.. Я до гробовой доски буду помнить ваше подлое, бесчеловечное предательство!..— Голос ее задрожал и оборвался.

Манькович вскочил со стула и, прижимая к груди дрожащие руки, весь как-то съежился; глаза его выражали страх, точно у побитой собаки, которая боится нового удара.

— Пощадите!.. Хотя каплю сострадания... Прошу вас! Я нанес вам незаслуженную обиду, но я не так уже виноват!.. Я сам исстрадался! Я конченый человек... я совсем погиб!.. Но за что же так? За что?

Тоня, точно не поняв сказанного, заговорила голосом, в котором слышались и горечь обиды, и душевная мука:

— Во мне жила мечта о большой взаимной сердечной симпатии. Вы растоптали мою любовь... мою мечту... мою грезу! Вы изранили мое сердце. Оно исходит кровью... Моим страданиям не будет конца! — Она задыхалась от рыданий, слезы градом текли по ее щекам, и она рыдала, рыдала.

Я приподнимала ее с подушек, давала пить воду, нюхать спирт, положила компресс на голову. После продолжительного пароксизма судорожных рыданий, полежав несколько минут, она резким выкриком, которому силилась придать злую иронию, спросила:

— Что же такое, крайне необходимое, привело вас сюда?

— Если бы вы... если бы вы позволили... если бы уделили мне хоть каплю великодушия... нет, нет, только сострадания... если бы вы позволили мне начать развод с женою, чтобы...— Он не мог более выжать ни звука из своего горла и снова упал на колени.

— Как? Вы предлагаете мне сделаться вашей женой? Вы? — И она, в упор глядя на него злыми глазами, в которых вспыхивали искры негодования, быстро приподнялась с подушек, но сейчас же упала на них.— Как вы смели подумать, что я соглашусь быть женою форменного негодяя и скандалиста? Как вы смеете снова оскорблять меня?

Манькович, с трудом приподнимаясь с колен, хрипло произнес:

— Клянусь вам... никакого скандала не было... Как только я раскрыл рот... я опомнился...

— Да, вам не удалось вполне оскандалить меня, но только благодаря случаю и моим близким. При первых ваших словах Елизавета Николаевна догадалась, в чем дело, и потащила меня, а Михаил Николаевич вам что-то шепнул, конечно, чтобы остановить продолжение вашей благородной речи, вашего ошельмования меня, сфабрикованного вами, чтобы оплевать мое чувство к вам... Но я его не стыжусь и не скрывала ни от вас, ни от других. Если бы вы не только раньше, но в этот злополучный вечер сказали мне, что женаты, но разойдетесь с женою, я и без формального развода и без церковного брака согласилась бы быть вашей женой... Вы должны были это понять из моего отношения к вам, должны были это почувствовать... Ну, теперь все... решительно все сказано... Уходите! Сейчас... Сию минуту!

После этого объяснения слезы, стоны, рыдания потрясали и разрывали грудь Тони с утра до поздней ночи ежедневно, и так продолжалось более месяца. Мы несколько раз призывали врача, но он, как большинство докторов того времени, прописывал почти все одни и те же успокоительные средства в различных дозах, советовал развлечения, путешествия, что было совершенно немыслимо: она без сильного головокружения не могла встать с постели. И все плакала, плакала. Я удивлялась, как она не выплачет всех своих слез, как не разорвется у нее сердце.

В те немногие часы, когда она лежала более покойно, я садилась у ее кровати, чтобы поболтать с нею. Она подымала свои распухшие красные веки, а в глазах, по обыкновению, стояли все еще невыплаканные слезы; в лице не было ни кровинки, губы вздрагивали от сердечной муки.

— Не правда ли? — сказала она мне однажды,— какое глубокое значение имеют кресты на могилах? Крест — символ страдания... Вся жизнь — одно страдание! — И она снова разрыдалась. Когда я старалась направлять ее внимание на что-нибудь другое или предлагала ей почитать, она, отрицательно качая головой, давала знать, что это ее не интересует, и чаще всего возвращалась к разговору о «происшествии», которое разбило ее счастье, подробно расспрашивала обо всем, что предшествовало печальному инциденту. И этот разговор, как и решительно все, кончался рыданиями и слезами. Сообщила я ей и рассказ Маньковича о его жизни в деревне и о его женитьбе. Хотя при этом слезы текли по ее щекам, но мне казалось, что уже ничто не могло послужить в ее глазах оправданием для него.

Заходил к ней побеседовать и Василий Иванович.

— У меня ничего, ничего нет впереди! — жаловалась она ему.— Ни бодрости, ни энергии, ни надежды. Все святое поругано, оплевано... В голове и сердце все пусто.

— Полноте, Антонина Николаевна, поправитесь и посмотрите на все иначе. Конечно, каждый страдает, кто несет аварию в личной жизни, но ведь у вас это страдание переходит все границы. Когда воспитание будет поставлено более благоразумно, когда самолюбие, сентиментализм и романтизм не будут подавлять всех душевных и физических сил, люди поймут, что миром должна двигать не одна только личная, эгоистическая любовь... Ведь вы умели находить нравственное удовлетворение в деятельной жизни. Почему же теперь, когда вы окрепнете, вам не приняться снова за труд? Вы разочаровались в любви, испытали на

себе, до какой степени непрочны расчеты на личное счастье...

— Хотя я потеряю в вашем мнении, но должна сознаться, что я принадлежу к разряду тех жалких женщин, для которых общественная деятельность привлекательна только тогда, когда впереди есть надежда на личное счастье. И все-таки, несмотря на это, я никогда не собиралась всю жизнь наполнить одною любовью.

— Вы растравляете свою душевную рану, приходите в отчаяние при воспоминании об обиде, нанесенной вам более всего потому, что вы совершенно неправильно смотрите на отношение Маньковича к окружающему.

— Как? Вы оправдываете даже его? — вскричала запальчиво Тоня.

— Умоляю вас, выслушайте меня до конца, Антонина Николаевна. Когда я узнал о происшедшем с вами, я был так потрясен, что решил немедленно ехать объясниться с ним, но Михаил Николаевич убедил меня дать Маньковичу опомниться день-другой. Но, как только я выслушал его собственный рассказ, я пришел к убеждению, что он человек ненормальный и невменяемый: он утратил силу воли, сознание своих человеческих обязанностей, наблюдательность, пошатнулся и его здравый смысл. Для примера возьмем хотя бы его брак. Его сестра, измученная позорным поведением своего мужа, растерявшая в передрягах своей жалкой жизни даже чутье к естественному влечению сердца, говорит ему: «Любовь — иллюзия, обман, женись на незнакомой девушке. Я вышла замуж по страсти, а что из этого вышло?» Это предложение поражает Маньковича своей нелепостью, но только на какой-нибудь час. Выясняется, что преследование эротомана лишило молодую девушку места, и психология Маньковича моментально меняется: он уже находит совет своей злополучной сестры разумным и предлагает молодой девушке брачный союз, забывая, что этим он не спасет от беды, а погубит ее. Вместо того чтобы активно прийти к ней на помощь, немедленно отправить ее в Петербург и просить Савицкого, хотя не надолго, устроить ее и в то же время заставить своего зятя, виновника этой беды, выдавать на ее содержание известную сумму, пока она не получит занятий, съездить и в Киев (ведь у него сохранились же там кое-какие связи среди интеллигенции), он в точности выполняет просьбу сестры. А почему? Потому что брак устранял от него возможность действовать активно; вероятно, сестра и шаферов и попа подыскала, а ему оставалось только отправиться в церковь

для бракосочетания. Конец этого злополучного брака свидетельствует тоже об утрате Маньковичем элементарных человеческих чувств. У него не болит сердце, не возмущается совесть при мысли, что он втянул молодое существо в ненужный союз с ним, и он даже не старается смягчить эту ошибку хотя бы сближением с нею, а, напротив, разводит перед нею хандроны,— и они становятся чужими людьми.

Отношение его к вам тоже говорит об отсутствии в нем логики и здравого смысла: когда он с вами, он, по его словам, очарован вами, но как только остается один, у него пробуждаются к вам враждебные чувства. Нужно вам заметить, что я для того, чтобы лучше выяснить кое-что из его рассказа, отправился к нему на другой же день после последнего его посещения. Для меня было непонятно, почему он не мог доверчиво и искренно отнестись к вам и признаться в своей женитьбе даже и тогда, когда все ваше отношение к нему ясно говорило о чувствах искренней любви. Но он по-прежнему стоял на своем: «Она два года тому назад не дала мне права считаться ее женихом и тем исковеркала мою жизнь... Признаться ей в женитьбе я не мог, боясь, что все счастье сразу разлетится, как дым». Когда я ему доказывал, что на то, что он считает преступлением с вашей стороны, большинство взглянуло бы как на идеально честный поступок девушки, которая не могла его настолько любить, чтобы считаться его невестой, это оказалось для него совсем непонятным. Удивило меня и отсутствие в нем наблюдательности. Он влюбился в вас, когда вы были еще светской барышней, которая не позволила бы себе сблизиться с человеком без «Исаия ликуй» [18], но он не заметил, что вы давно превратились в современную молодую девушку, что вы вложили всю душу, все свое чистое сердце в свою первую любовь, а потому и его легкомысленная женитьба не могла служить препятствием его союзу с вами. Я видел вас вместе только по часу в день и еще менее того, да и то находил, что в ваших отношениях к нему ясно выражается ваше бесповоротное решение связать с ним свою судьбу. По его признанию, у него хотя порой и мелькало что-то в этом роде, но все же он был не вполне уверен в вас. Подумайте, а ведь он не был лишен ни наблюдательности, ни сообразительности. Любопытно было узнать также, за что и почему он решил устроить вам скандал и как он мог забыть о том, в каком обществе он находился в тот вечер. Ведь у нас, особенно молодежь, не стесняется откровенно высказывать свое мнение. Не Антониною Нико-

лаевною, которую он стремился пригвоздить к позорному столбу, говорил я ему, а им, Николаем Александровичем, были бы возмущены все присутствующие, и очень многие, вероятно, перестали бы даже подавать ему руку после этого... И скандала-то настоящего он не сумел устроить: даже на это не хватило у него ни смелости, ни энергии! Но он твердил одно, что смутно помнит обо всем, что происходило с ним в этот день, а тем более вечером, что он ничего не мог соображать... Да...«наука страсти нежной» [19] совсем отняла у него рассудок! Уверяю вас, Антонина Николаевна, если бы вы связали с ним свою судьбу, вы очень скоро разошлись бы и порвали с ним все отношения.

— В ваших словах много правды,— отвечала Тоня печально,— но это уже «überwundener Standpunkt» *.

Пролежав недель пять, Тоня встала сильно исхудавшая, постаревшая и подурневшая. Через несколько дней после этого она уехала к крестному. Весною она написала, что на днях выходит замуж за Александра Петровича Ермолаева. Он оставил военную службу, получил место в Воронеже, и они будут жить вместе с крестным и ухаживать за ним. По словам докторов, ему не протянуть более двух-трех месяцев.

Тоня, как она сообщала мне, прежде чем сделаться невестой Ермолаева, откровенно довела до его сведения обо всем, что она пережила. «Я выхожу замуж без страстной любви,— сознавалась она мне,— честнее даже сказать — совсем без любви. Но я глубоко уважаю моего будущего мужа. Он благороден не по трафарету, и как поступить в затруднительном случае — ему подсказывает природное честное чувство, а не вычитанное им из книг: у него золотое сердце. Я уверена, что мой брак без увлечения, но благоразумно обдуманный, даст мне возможность тихо и мирно провести остаток моей жизни». Она изредка приезжала в Петербург, всегда посещала меня, но никогда не говорила о своем муже, а только о своем сыне, воспитанию которого она вся отдалась. Но я уже никогда не видела ее ни особенно веселою, ни оживленною, какою она бывала прежде. Когда я передавала ей о том, что теперь занимает петербургскую интеллигенцию, о чем мечтает молодежь, о фактах из нашей общественной жизни, о современных стремлениях передовых людей, она очень слабо на это реагировала. Ее занимали только педагогические вопросы, и она момен-

---

* Здесь: пройденный этап *(нем.)*.

тально записывала книги и журналы в этой области, которые я ей называла. Она умерла 43-х лет.

Маньковича я никогда более не встречала и ничего не слыхала о нем.

ИЗ ДАВНО ПРОШЕДШЕГО

Дело было во время крепостного права, за несколько лет до освобождения крестьян.

В июне месяце члены моей семьи получили от дяди Андрея Григорьевича [1] самое родственное письмо, в котором он чрезвычайно усердно просил всех нас приехать к нему погостить и провести вместе с ним день его именин. За лет двадцать до этого он уже в преклонных летах женился на молодой, очень богатой женщине, но прожил с нею лишь несколько лет. После ее смерти на его руках осталась маленькая дочка Надя, которую дядя безумно любил.

Мои сестры уже и раньше несколько раз гащивали у дяди и очень нравились как ему, так и своей кузине. Он прекрасно понимал, что его родные племянницы могут быть лишь наиболее желательными подругами для его дочери.

Матушка вполне верила в искренность желания дяди видеть всех нас у себя. Ей известно было, что Андрей Григорьевич очень любил, чтобы в торжественные праздники к нему приезжали его родственники, которых, кстати сказать, было очень немного: с его стороны только наша семья, а со стороны его покойной жены — престарелая тетка, после смерти которой Наде должно было перейти по завещанию ее громадное состояние.

Андрей Григорьевич весьма ценил, когда кто-нибудь как в день его именин, так и в дни тезоименитств его дочери и в большие праздники преподносил Наде в подарок какой-нибудь пустячок. Соседи-помещики, желая расположить его к себе или войти с ним в какие-нибудь деловые отношения, выписывали для Нади из Петербурга и Москвы конфеты в дорогих бонбоньерках, туалетные принадлежности, пудами доставляли ей вяземские пряники, так как она была большая лакомка. Но она была слишком избалована, чтобы ценить что бы то ни было, тем более что все подобные подарки были в одном и том же роде, и она совершенно равнодушно принимала их. Дядя же был всегда в восторге от этих преподношений, объясняя их любовью к его дочери,

чем он дорожил более всего на свете. Соседки-помещицы все же проявляли изредка изобретательность в этом отношении. Однажды, когда Надя была еще небольшой девочкой, одна помещица заказала к пасхе столяру громадное деревянное яйцо, приказала просверлить его мелкими дырочками, вложила в него крошечного белого ягненка, искусно убранного голубыми ленточками и шелковинками, и в первый день праздника положила этот подарок в постель к ногам ребенка. Проснувшись, девочка внимательно смотрела на яйцо, которое покачивалось из стороны в сторону, но когда оно покатилось по постели, она схватила и раскрыла его. Ягненок выпал на ее колени. Ее восторгу не было конца. Она, конечно, в любое время могла взять из имения отца сколько угодно подобных животных, но красиво убранный ягненок, подаренный ей, по ее мнению, был особенно привлекателен. Она носилась с ним несколько дней, а затем его постигла участь всех подарков: Надя или забрасывала их куда-нибудь, или сама не знала, куда они исчезли. Что же касается соседки, которая была мелкопоместною помещицею, то она в благодарность за свой оригинальный подарок получила полосу земли: она несколько лет добивалась купить ее у дяди, но раньше этого инцидента он наотрез отказывал ей в этом.

После этого случая явилось много подражательниц: одна барыня преподнесла яйцо со щенком, другая с котенком, третья с голубем, но это не только не доставляло девочке удовольствия, но даже раздражало ее. Ее отец приказал дворовым людям говорить всем, чтобы его дочери никто не смел более делать подобных подарков.

Как только было получено моею семьею приглашение от дяди, матушка немедленно отвечала ему, что мы можем выехать недели через полторы. Она находила необходимым посетить старика потому, что он был искренне расположен к нам. К тому же эта поездка развлечет моих сестер, а мне перед отъездом в институт доставит лишнее приятное воспоминание о деревне, и я увижу много не виданных мною вещей, так как дядя устраивает у себя в такие дни великое торжество: к нему съезжаются все помещики Калужской губернии с своими женами и домочадцами; устроено будет и множество разнообразных увеселений.

Мои сестры начали волноваться при мысли, что бы им подарить кузине: денег у матери, по обыкновению, не было, кроме очень скромной суммы, которую она по грошам собрала, чтобы всей семьей отправиться в Петербург для определения меня в Смольный институт. А если бы они

и были, то в нашем захолустье ничего нельзя было купить. Решено было пересмотреть все имеющиеся у нас в запасе вышивки гладью, сработанные руками крепостных девушек. Но матушка при этом справедливо заметила, что хотя наши вышивки, может быть, и очень красивы, но что у Нади, вероятно, существуют такие вышитые платья, о прелести которых никто из нас не может даже составить себе ни малейшего представления. Тогда моя сестра Саша вдруг что-то вспомнила, выскочила из комнаты и скоро внесла картонку, наполненную чудными мелкими искусственными цветами, полученными ею в подарок от пансионской француженки, которая была необыкновенно талантливою в этом искусстве и обучалась ему в Париже. Сестры решили убрать все платье кузины, которое они преподнесут ей, этими цветами, и матушка утверждала, что теперь наш подарок, пожалуй, окажется наилучшим.

Дядя прислал за нами превосходный дормез, запряженный четырьмя лошадьми: внутренность его была обита кожей, а дно устлано высокими, мягкими перинами и подушками, покрытыми тонкими простынями, обшитыми великолепными кружевами. Для нашего услаждения во время путешествия мы получили от него же большой ящик со всевозможными вкусными вещами, приготовленными дядиным превосходным поваром.

Стояла прекрасная летняя погода, и мы ехали не торопясь: в самую жаркую пору дня мы по нескольку часов останавливались на станциях для кормежки лошадей и для отдыха, но в комнаты не входили даже по ночам, а спали на открытом воздухе в чрезвычайно удобном экипаже. Приехали мы на пятый день путешествия в имение дяди, находившееся в нескольких верстах от города Жиздры, Калужской губернии. Хотя вся семья Андрея Григорьевича в это время состояла из него и его шестнадцатилетней дочери Нади, но громадный и роскошный дом его с флигелями и множеством пристроек кишел обитателями: у кузины был большой штат учителей, учительниц и компаньонок разных национальностей; для каждого и каждой из них было отведено особое помещение в одну или две комнаты.

Мы приехали за два дня до торжества. Я находила большое удовольствие бегать по анфиладе комнат, убранных с роскошью, до тех пор мне совершенно незнакомою, и смотреть на приготовления. Отовсюду раздавались шум, стук молотков, сновали рабочие, мастерившие на полу что-то вроде помоста для театральных представлений, в которых Надя должна была играть главную роль: устанавлива-

ли фортепьяно, на котором она же должна была исполнить какую-то увертюру в четыре руки с одним из своих учителей-иностранцев, арфу, на которой она должна была играть под аккомпанемент своего пения. К стенам этой громадной залы прибивали белоснежные простыни с прикрепленными на них зелеными ветками и листьями деревьев, а живые цветы между ними приказано было приколоть рано утром в день торжества, чтобы они блестели своею свежестью. Но меня еще более интересовала другая комната, в которую то и дело вносили какие-то корзины. Я осторожно стала пробираться в нее, оглядываясь во все стороны. Но тут меня увидала Надя, схватила за руку и, войдя со мною в «сортировочную», сказала экономке, чтобы мне подали стул, столик и поднос и чтобы при распаковке разных угощений мне наложили бы побольше всего, что мне понравится. Затем она убежала сию же минуту. Скоро на моем подносе образовалась целая гора. Но тут в комнату вбежала сестра Саша, взяла тарелку, положила на нее несколько конфет и фруктов и, взяв поднос, на котором уже лежали горы всевозможных вкусных вещей, поставила ее перед экономкою; меня же за руку она потащила из комнаты. Когда дверь за нами затворилась, она сказала мне: «Ты больше этого ничего не съешь. Не хватает еще, чтобы ты здесь расхворалась от обжорства. К тому же совсем непристойно выносить из «сортировочной» целые подносы. Ведь над тобою будет издеваться вся прислуга». Хотя я оправдывалась тем, что сама Надя так распорядилась, но сестра, не обращая на это внимания, ввела меня в одну из комнат, предназначенных для нас, и ушла. Очень мне не понравилось ее вмешательство в распоряжение кузины, но делать было нечего. Когда все было съедено, я отправилась отыскивать сестер и кузину и нашла их в ее роскошном будуаре. Сестры с помощью нескольких портних и горничных примеряли Наде те платья, которые она должна одеть в разных актах той или другой пьесы, в которой она принимала участие. Примеряли и платье — подарок нашей семьи, убранное цветами: оно чрезвычайно понравилось ей, и она решила одеть его во время самого бала, которым должны будут закончиться все представления и характерные танцы.

Рассмотрев и потрогав всевозможные флакончики на туалете кузины, я то и дело вскрикивала: «Какая прелесть!» Надя, даже тогда, когда в самый трудный момент таинства примерки не могла повернуть ко мне голову, каждый раз кричала мне: «Бери, бери все, что тебе понра-

вится! Ставь все на окно, я потом велю отнести в твою комнату». Я уже с восторгом начала все это приводить в исполнение, когда Саша резко схватила меня за руку, притянула к окну, выхватила у меня из рук флакон, который я облюбовала, и, нагибаясь ко мне, настойчиво произнесла: «Не смей трогать здесь ни одной вещи... Не смей выражать своих восторгов!»

Кузина, занятая примеркою своих туалетов у другой стены своей большой комнаты, не совсем расслышала наш разговор и спросила:

— Что, девочке скучно?

— Да,— отвечала за меня сестра,— я ее отведу в залу к рабочим. Нам она мешает! А там ей будет на что посмотреть.

— Нет, нет, Шурочка... Отведи ее в мою прежнюю детскую: там до сих пор осталось много моих прежних игрушек. Пусть возьмет все, что ей понравится. Я велю все это запаковать в корзину, и вы возьмете с собой, когда будете возвращаться домой.

Шурка опять потащила меня по коридору, но когда мы вошли в детскую, она строго сказала: «Ты можешь здесь все рассматривать, даже играть с тем, что тебе понравится, но ничего ты с собой не возьмешь,— мы не нищие, чтобы вывозить корзинами вещи из богатого дома».

Я рассеянно слушала наставления сестры, но, прежде чем она успела выйти, мое внимание привлек очень длинный ящик на одной из полок, прикрепленных на трех стенах комнаты, на которых были расставлены прежние игрушки Нади. Среди них было много больших и малых ящиков, но еще больше стояло различных домиков, замков, зверей. Меня почему-то более всего заинтересовал самый длинный ящик. Подставить стул и вытянуть его было для меня минутным делом. Когда я открыла картонку, меня поразила красота громадной величины куклы, роскошно разодетой.

Мне всегда казалось, что я так люблю мою сестру Сашу, что ради нее всегда сделаю все, что она только пожелает. Но такой соблазн был выше моих сил. И я, рыдая, начала выкрикивать, что эту куклу, как и все игрушки, подарила мне сама кузина. Я же возьму домой только одну эту куклу.

Матушка, проходя по коридору, услыхала мои вопли и вошла к нам. Узнав, в чем дело, она сказала:

— Уж этой твоей гордости, Шурочка, я совсем не понимаю. Отчего бы девочке не взять с собою все игрушки, которые ей подарены?

— Неужели, мамашенька, вы не будете конфузиться, когда за бедными родственниками при их отъезде десяток лакеев будут тащить корзинами добро их господ?

— А хотя бы и так! Так-таки и не буду конфузиться... Очень мне нужно утруждать свою голову таким вздором! И без того все знают, что мы не богачи, я не стыжусь этого... Впрочем, делай как хочешь! — И матушка махнула рукой, хлопнула дверью и вышла из комнаты.

Саша начала внушать мне, что игрушки не понадобятся мне более, так как через два месяца я отправляюсь в институт, что у меня с нею так много занятий перед институтскими экзаменами, что мне будет не до кукол. К тому же до нашего отъезда отсюда, следовательно более недели, я могу ежедневно приходить в эту комнату и играть всеми игрушками. Но меня это нисколько не утешило. Когда сестра ушла, я начала рассматривать другие игрушки, но не знала, как с ними обращаться, так как большинство было с заводным механизмом. Да меня уже ничто не прельщало после куклы. И чем более я на нее смотрела, тем сильнее охватывало меня отчаяние при мысли, что она могла бы мне принадлежать, если бы не Саша, что с каждою минутою вызывало у меня все большую злобу против сестры. Я стала серьезно обдумывать, как бы устроить так, чтобы все-таки взять куклу с собою.

Настал день торжества. Дядюшка принимал поздравления только с двух часов дня. До этого времени к нему никто не должен был входить, даже его дочь. Но гости съезжались гораздо ранее. Лакей вводил их в гостиную, где занимала их Надя и где их угощали шоколадом, домашними тортами, пирожками, пирожными и печеньями, которые несколько лакеев разносили на огромных подносах.

Но вот раздается звонок. Это означает, что дядюшку внесли в приемную залу и что теперь к нему могут явиться с поздравлениями не только гости, но и служащие. Лакей с шумом раскрыл настежь двустворчатую дверь, и все торжественно и молча двинулись в нее. При входе в эту комнату у противоположной стены в великолепном кресле сидел дядя за небольшим столиком. Ноги его были покрыты пледом. Нужно заметить, что он в это время был уже древним стариком, с высохшим, как у мумии, желтым лицом, испещренным глубокими морщинами, с длинными белыми как лунь, редкими волосами, несколько подвитыми внизу, с сурово сдвинутыми густыми седыми бровями. Лицо его было без усов и бороды, с чисто выбритыми пергаментными щеками. Дядя страдал какою-то неизлечимою болезнью

желудка. Уже много лет он проводил свою жизнь в кровати или сидя в роскошном кресле, которое в губернии называли не иначе как троном: оно обрамлено было слоновою костью и инкрустациями и представляло собою не что иное, как замаскированное судно, без которого дядюшка ни минуты не мог обходиться при своей желудочной болезни. В карете, когда он изредка катался, тоже было устроено судно. Впереди всех стояла Надя, вся в белом, с светлыми буклями до пояса, и с букетом цветов в руках, то сверкая бриллиантами в длинных подвесках серег, то поблескивая своими красивыми синими глазками. Сзади нее стояли родственники, за ними — гости, гувернеры, гувернантки и учителя, а в дверях толпились домашние служащие. Зала была битком набита народом. Кто случайно входил позже других и попадал не на подобающее место, то есть слишком близко к столику, за которым восседал виновник торжества, тому кто-нибудь глазами указывал, где он должен стоять; все происходило в гробовом молчании. Так как я в первый раз попала в такую торжественную церемонию, то я с ужасом дернула матушку за юбку, а когда она ко мне наклонилась, я сказала ей на ухо, что мне страшно, и просила ее увести меня. Матушка чувствительно ткнула меня в спину и, тоже наклоняясь к моему уху, сказала: «Стой смирно!» — а затем, прикрывая рот платком от душившего ее смеха, взяла меня за руку и придвинула к себе. Про эту церемонию, как и про другие в таком же роде, она всегда говорила, что ее до слез смешат подобные затеи помещиков.

Когда все пришло в порядок, Надя еще ближе придвинулась к столику: она начала произносить на французском языке какое-то поздравительное стихотворение, то потрясая рукою, в которой держала букет, то прижимая его к своему сердцу. Когда она окончила, то положила на стол букет и обняла отца. Он, в свою очередь, благодарил ее тоже на французском языке, но обращался не только к ней, но и к публике: слезы ручьями катились по его исхудалым щекам, а голос дрожал от волнения. Я опять дернула матушку за руку, а когда она наклонилась ко мне, я спросила ее: «Чего же он плачет?» Опять последовал еще более бесцеремонный толчок в спину, но уже без всякого словесного вразумления.

После речи отца Надя продекламировала одно за другим что-то по-немецки, по-английски и по-итальянски. Только по-русски не было произнесено ни слова. Вероятно, потому, что дядя заботился только о преподавании дочери иностранных языков, она однажды поразила меня, когда,

лет через восемь после этого, написала мне по-русски невообразимо безграмотное письмо.

После Нади один за другим подходили родственники и гости, поздравляли дядю и его дочь, и большинство протягивало ей какой-нибудь подарок. Учителя и учительницы поздравляли на своем родном языке. Но вот перед столиком останавливается среднего роста француженка-компаньонка, которая только месяца полтора тому назад заменила прежнюю. На ее губах любезная улыбка, но она говорит что-то такое, что поражает дядю так, что у него трясутся руки и голова.

— Что вы сказали? — строгим голосом спрашивает он ее по-французски, особенно сурово сдвинув брови.

— Раздуй тебя горой, со всей твоей семьей! — повторяет она снова по-русски, но так выговаривает слова, что многие не поняли, на каком языке она говорит. Публика начала тихонько перешептываться между собою; у всех, как говорили потом мои сестры, вспоминая этот эпизод, лица выражали ужас, хотя в глазах светились радость и смех.

Дядя тут же потребовал, чтобы она сказала, кто ее выучил произнесенным ею словам, но она молчала и с удивлением поглядывала по сторонам. Тогда он попросил матушку расспросить ее об этом, а сам обратился к присутствующим с речью на французском языке, в которой он просил всех извинить его, что они сделались свидетелями такого возмутительного скандала. После этого дядюшку немедленно понесли в кресле в спальню отдохнуть перед обедом, а гости отправились закусывать в столовую, обсуждая случившееся. Несмотря на возмущение, какое выражалось ими при этом, все собравшиеся, видимо, были очень довольны происшедшим.

В крепостнические времена даже те немногие дворяне, которые жили, казалось, в ладу между собою, не питали друг к другу особенно дружелюбных чувств. Их однообразная семейная жизнь очень часто нарушалась несравненно более зазорными домашними дрязгами и непристойностями, чем только что случившееся, они и рады были, что не только у них одних происходят скандалы, но даже и в таком солидном доме, как у Андрея Григорьевича. К тому же это происшествие надолго давало помещикам богатый матерьял для разговора при посещении друг друга, а он нередко оскудевал до того, что буквально не о чем было слова молвить, если бы не выручали состояние погоды и бедствия

вроде недорода хлеба или мора на скот, а главное, картишки.

Матушка прежде всего объяснила француженке, какой смысл имеет ее приветствие. Та пришла в неописуемый ужас и отчаяние и показала лоскуток бумаги, на котором она французскими буквами записала русское приветствие, только что ею произнесенное, чтобы как можно тверже вызубрить его. Тот, кто научил ее этому, уверил ее, что это чрезвычайно понравится хозяину дома, который весьма ценит, когда иностранцы, для которых так труден русский язык, произносят на нем свои приветствия. Но назвать своего учителя она не желала: она поняла, что ему угрожает большая беда, и совесть запрещала ей указать на него. Но тут же в комнату матушки начали вбегать слуги и заявили, что обучил ее этому парикмахер-француз, который давно уже живет в России и хорошо говорит по-русски. Из всего, ими сказанного, легко было узнать следующее: этот парикмахер-цирюльник в последнее время несколько раз при бритье барина нечаянно оцарапал его бритвой. При этом дядюшка, не желая или не имея возможности по своей слабости подниматься с кресла, приказывал ему наклоняться к себе и награждал его оплеухой по той и другой щеке. А так как это случилось и с неделю тому назад, то барин объявил ему, что он, когда побреет его в именины и сделает прическу барышне, после окончания празднеств будет выдран на конюшне. Это так озлило парикмахера, что как только он сегодня окончил свое дело с барышнею и барином, так и пропал из дому, и вещи его тоже куда-то исчезли.

Матушка просила Надю отстоять у отца ни в чем не повинную француженку-компаньонку, но кузина моментально забыла свое обещание исполнить эту просьбу, и француженке было отказано на другой же день.

Этот инцидент не нарушил, однако, порядка увеселений: три дня сряду продолжались торжественные завтраки, обеды, а за ними шли спектакли, концерты и танцы под музыку оркестра, приглашенного из губернского города. Но на четвертый день гости, приехавшие из более отдаленных местностей, стали возвращаться восвояси.

Мое дело с куклою окончилось для меня большою неприятностью. Однажды Надя застала меня в своей детской, и я, воспользовавшись этим случаем, начала упрашивать ее, чтобы она уступила мне свою куклу только на время: когда я буду уезжать в институт, я возвращу ее ей. Мне казалось, что такого рода просьба сразу все уладит

и не может возбудить неудовольствие Саши. Кузина очень удивилась и отвечала мне, что она подарила мне не только куклу, но и все свои игрушки. Тогда я рассказала ей, как и почему не желает этого Саша. Надя позвала свою горничную и приказала ей, чтобы она в день нашего отъезда уложила куклу в деревянный ящик и раньше, чем мы сядем в экипаж, поставила бы его под сиденье.

Однако по возвращении домой моя хитрость была обнаружена, и мне пришлось рассказать сестре о своем разговоре с кузиной. Сестра чрезвычайно рассердилась на меня, но еще более огорчилась она на матушку, которой мой поступок казался только забавным, тогда как она считала его дурным и неблаговидным.

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

I

В 1887 году, в феврале был арестован мой сын, Василий Васильевич Водовозов, в то время студент третьего курса юридического факультета Петербургского университета. За час или полчаса до обыска горничная подала мне визитную карточку, на которой значилось: «Действительный статский советник П. К. З-ский».

Ко мне вошел господин небольшого роста, по наружности далеко за пятьдесят лет. По его словам, он только что приехал из Москвы, чтобы просить меня и еще двух-трех издателей перевести наши издания в Москву и передать ему все хлопоты по этим делам. Желание посвятить свою жизнь книжному делу и заставило его явиться ко мне. Я не стала расспрашивать его об условиях и заявила ему, что для меня это совершенно немыслимо: помещения, как для книжного склада, так и для моей квартиры, наняты по долгосрочному контракту, и я совершенно не могу воспользоваться его предложением. Но он продолжал настаивать и развивать свой проект, а в конце концов просил меня давать ему мои книги хотя на комиссию. Тут я предложила ему чаю, и на стол, у которого мы сидели, нам поставили чайный прибор.

В то время когда мы вели нашу беседу, вдруг дверь отворилась и в комнату, без доклада горничной, вошел господин очень высокого роста в военной форме. Будучи крайне близорукою и имея одного близкого знакомого из

военных, жившего в то время далеко от Петербурга, я подумала, что это он, и с радостью пошла ему навстречу. Каково же было мое удивление, когда я увидела перед собой полицейского пристава.

— Мне поручено сделать обыск в вашей квартире,— произнес он и, видимо, хотел еще что-то прибавить, но в ту же минуту к нему подлетел действительный статский советник и, суетливо-нервно впихивая ему в руки свою визитную карточку, торопливо заговорил:

— Я знать не знаю госпожу Водовозову... Заходил к ней только на одну минутку навести справку. А теперь крайне тороплюсь на поезд Николаевской железной дороги. Из моей карточки вы узнаете мой адрес.

Полицейский пристав загородил ему дорогу и, указывая на чайный прибор, сказал:

— Как же это так, ваше превосходительство! Вы, видимо, только что благодушествовали за чайным столиком, и вдруг «знать не знаю»! Должен предупредить вас, ваше превосходительство, что я имею право задерживать всех, кто находится или входит в квартиру в момент обыска. Да мне кажется, что и вы сами не пожелаете оставить даму одну в столь неприятную для нее минуту. А я знаю, что госпожа Водовозова одна в доме: в третьем этаже у нее идет обыск, а сейчас он начнется и здесь. Ведь вы же можете быть ей полезны вашим присутствием при обыске и при составлении протокола, наблюдая за правильным действием полиции.

— Ничем я не могу быть полезен человеку, которого я совершенно не знаю и никогда в жизни не видал. К тому же я должен моментально ехать на поезд...

— Вот как! Пользоваться радушным приемом (он опять указал на чайный прибор) незнакомой дамы возможно, а оказать ей услугу в затруднительную минуту вы, ваше превосходительство, считаете невозможным? К тому же поезд первого и второго классов в Москву (он вынул свои часы) уже отошел,— теперь три с половиной часа.

— Но я решительно не могу здесь оставаться ни минуты. Я навел маленькую справочку, а затем у меня нет с госпожою Водовозовою решительно никаких дел. Я же ясно сказал вам, что я незнаком с ней... Вы ведь видите, что я не прячусь: я дал вам свой московский адрес. Можете вызывать меня когда угодно: я не отлыниваю, но теперь ухожу...

И он двинулся к двери, в двух шагах от которой стоял пристав.

— Позвольте, позвольте, ваше превосходительство... не извольте торопиться. Оставаться вам или нет во время обыска, я отдаю всецело на решение госпожи Водовозовой: если она находит бесполезным ваше присутствие — можете уйти, если же она пожелает — вы должны будете остаться.

— Пожалуйста, отпустите господина З.,— обратилась я к полицейскому приставу.— Он действительно приезжал ко мне только по делу и видел меня сегодня в первый раз в жизни. Я вовсе не желаю задерживать его при обыске.

— Можете, можете уходить, ваше превосходительство... Да-с: его превосходительство настоящий рыцарь! — произнес пристав, усаживаясь на стул. Не знаю, слышал ли последние слова действительный статский советник, так как он на ходу, крайне торопливо надевал пальто и, не застегиваясь, буквально выскочил из двери как ошпаренный. Только что захлопнулась за ним дверь, как до нас донесся отчаянный крик с лестницы.

— Ха-ха-ха... да ведь это молодцы задержали его превосходительство! — хохотал пристав и, вскочив, побежал в переднюю, раскрыл дверь и закричал полицейским, чтобы они пропустили г-на З-го.

Каждое слово, каждая фраза, обращенная приставом к действительному статскому советнику, дышали иронией. Но я не осуждала этого насмерть перетрусившего человека. В те сравнительно недавние времена обыски и аресты не были еще в такой степени бытовым явлением, какими они сделались позже, и тогда немало было людей весьма интеллигентных, которые смотрели на них с превеликим страхом, остерегались входить в сношения с людьми, близко стоявшими к потерпевшим такую аварию; громадное же большинство русского общества смотрело в таких случаях на всех членов семьи арестованного как на отмеченных печатью Каина.

Пристав, прежде чем приступить к обыску, задал мне несколько вопросов. Почему моя квартира, состоящая лишь из немногих комнат, находится в двух этажах? Почему моя другая квартира, во дворе, замкнута? Если в ней всего одна комната и сложены мои издания, то почему же они не находятся в одном помещении? Просил меня назвать всех членов моей семьи и всех служащих у меня.

Все мои ответы, видимо, казались ему удовлетворительными, если об этом судить по тому, что он не возвращался к ним снова. Но и у него, и у всех других, когда меня подвергали формальным допросам, возбуждала крайнее подозрение моя квартира, расположенная в двух этажах.

Между тем это было простою случайностью и не носило и тени чего-нибудь конспиративного или подозрительного.

— Согласитесь, что квартир в Петербурге в пять-шесть комнат сколько угодно. Почему же вам пришлось устроиться в двух этажах? Наконец, если вы решили поместиться в двух этажах, зачем же вам было пробивать пол и проводить внутреннюю лестницу? Все это, вероятно, было хлопотно и дорого?

— И даже весьма неудобно для меня по нескольку раз в день спускаться и подниматься по лестнице,— добавила я.— Но еще неудобнее было бы для меня нанять квартиру далеко от моего книжного склада. К тому же я нигде в этой местности не находила такой хорошей и сравнительно дешевой квартиры, как эта.

— Думаю, что такие доводы не будут сочтены достаточно мотивированными,— сказал пристав, пожимая плечами, как будто желая заставить меня серьезно подумать об этом.

Когда увозили моего сына и жандарм, делавший у него обыск в третьем этаже, понятые и дворники выходили из квартиры, я подошла к приставу, который стоял в сторонке, и спросила его, по какой причине был сделан этот обыск, почему арестован мой сын и куда везут его теперь.

— Нас известили, что в мастерскую госпожи Кармалиной отдан в брошюровку перевод Туна «История революционного движения в России», книги у нас недозволенной [1]. Затем мы узнали, что литографированные листы этого перевода были доставлены в брошюровочную вашим сыном *. Теперь его везут для дачи первых показаний, а куда посадят, не знаю, но вы можете об этом справиться завтра в жандармском управлении.

Я не сумела оценить тогда этот, хотя и осторожный, но неуклончивый ответ пристава, но скоро убедилась, что, прежде чем добиться самой законной справки об арестованном,приходится терять много времени, бегая то туда, то сюда, и нередко испытать множество кривляний и издевательств лиц, заведующих подобными делами.

На другой день обыска, рано утром, мне сказали, что

---

* Книга немецкого проф. Туна, существующая теперь на русском языке в нескольких переводах, считалась в то время недозволенною. В сотрудничестве с несколькими лицами мой сын перевел эту книгу, снабдил ее примечаниями и приложениями. Этот перевод не был им напечатан, а лишь литографирован в небольшом количестве экземпляров. *(Примеч. Е. Н. Водовозовой.)*

меня желает видеть Клеопатра Федоровна Кармалина, с которой я уже давно была знакома. В продолжение многих лет она исполняла секретарские обязанности в журнале «Русская старина», получала по тогдашнему времени большое вознаграждение, а затем открыла свою собственную маленькую брошюровочную. Это была женщина уже не молодая, с очень некрасивым лицом красно-кирпичного цвета, весьма неглупая и остроумная, но с превеликими странностями. Иногда она приходила к нам одетая буквально как рыночная торговка, в заплатанном пальто и в истрепанном платье, нескладно висевшем на ней, а однажды в морозный день утром пришла в легком платье канареечного цвета с глубоким вырезом на груди. При этом объяснила, что она так разоделась потому, что в редакции грозят ее прогнать, если она не будет прилично одеваться. Когда ей заметили у нас, что едва ли удобно носить светлое и легкое платье зимою, да еще в конторе, где ей постоянно приходится возиться с пыльными книгами и тетрадями, ей только тут пришло в голову, что это действительно не совсем удобно. «Но откуда же взять денег на новое платье?» — говорила она, объясняя нам, что у нее страсть, от которой она никак не может избавиться. Эта страсть зачастую заставляет ее тратить все заработанные деньги на безделушки, которые так привлекают ее в окнах магазинов, а затем оказываются для нее вовсе не нужными. Дорого ей обходится и содержание огромной собаки, которая ночью всегда лежит на постели у ее ног, так как занятия в редакции не дозволяют ей проводить с «любимым существом» достаточно времени. Она не имеет ни одного друга, ни одного близкого человека ни среди своих знакомых, ни среди родных,— собака ее единственный друг, и она любит ее больше всего на свете.

И вот эта-то женщина, которая, как нетрудно было догадаться, и выдала моего сына, теперь подымалась ко мне по внутренней лестнице из третьего этажа. Она еще не успела взобраться наверх, как я, стоя на площадке четвертого этажа, просила ее не подыматься выше, а только сказать мне, как она может объяснить то, что сын мой арестован, а она на свободе.

Смущаясь и путаясь, она не прямо отвечала на мой вопрос, но из сказанного ею ясно было, что она с неделю тому назад поссорилась с одним из рабочих своей мастерской и рассчитала его. Обозленный отказом рабочий поклялся отомстить ей, вот он и донес, что в ее брошюровочной находится недозволенная книга. У нее вчера утром

сделали обыск и отобрали все листы, отданные моим сыном в брошюровку.

— Но ведь рабочий, вероятно, не знал моего сына? У вас отобрали листы или книги, на которых не было выставлено ни фамилии переводчика, ни издателя, вы остались целы и невредимы, а мой сын арестован... Кто же выдал его?

Она опять начала что-то плести, беспрестанно повторяя одну и ту же фразу:

— Ведь я же ничего не понимаю в политике!

Меня это наконец вывело из терпения, и я прервала ее разглагольствования словами:

— Меня не интересуют ваши политические воззрения. Мне необходимо знать, и вы нравственно обязаны сказать мне: вы ли выдали моего сына и предупреждал ли он вас о том, какие книги он отдавал вам брошюровать, а также закрыта ли в данную минуту ваша брошюровочная.

— Бога ради, не сердитесь! Вы сами увидите, что я не виновата... Я вам расскажу все по порядку. Утром вчера ко мне нагрянула полиция и сейчас же нашла книги,— рабочий все им указал. А пристав нашего участка начал на меня кричать, топать ногами и все тыкался: «ты» да «ты», точно я простая баба: «Ну, ты, собирайся!» — орет он во все горло. Я уж и пальтишко накинула, к двери прижалась, да в эту минуту мой песик выскочил из-за перегородки и бросился на пристава, так тот даже оторопел, а затем стал орать на меня еще пуще прежнего. «Уйми, говорит, старая дура, свою собаку!» Я песика унимаю, а пристав меня, ей-богу не вру, самыми непечатными словами, как горохом, осыпает. И вдруг свой кулачище в мое лицо как сунет, ногами топает, а сам кричит: «Сейчас говори, сволочь, кто эти листы тебе приносил?» Как же было не сказать? Я и сказала. Что же тут такого? Не могла же я дать ему избить меня до полусмерти? И сколько я неприятностей из-за всего этого вынесла: вхожу в мастерскую, а рабочие меня на чем свет бранят, в голос кричат: «Такое обхождение вы по заслугам получили: выдали студента, да и одеваетесь хуже последней судомойки!.. Вас и за хозяйку-то никто не почитает!»

— Скажите же мне наконец, говорил ли вам мой сын, какого сорта книги он вам отдавал в брошюровку?

— Да, говорил, что-то про цензуру и про политику, а я ведь ни в цензуре, ни в политике ничего не смыслю...

— Вы работали несколько лет в редакции журнала, теперь имеете свою брошюровочную — и ничего не понима-

ете в этих делах! Какой вы вздор несете! Все это вы прекрасно знаете и даже сумели сообразить, что за донос вы можете остаться на свободе.

— Да разве я боюсь тюрьмы? Меня уже вызывали к допросу, грозили закрыть мастерскую, и я вынуждена была и там подтвердить, что показала при обыске. Мастерская хотя и не закрыта еще, но я каждую минуту жду, что ее закроют.

Но мастерская не была закрыта, а очень скоро умерла собственною смертью, вследствие недостатка работы.

Сейчас после свидания с Кармалиной я должна была ехать в жандармское управление. До тех пор мне лично никогда не приходилось хлопотать об арестованных. Я не знала, что в каждом учреждении, ведающем подобные дела, нужно, по крайней мере, знать по фамилии лицо, от которого можно было бы добиться необходимых сведений. При первом же шаге я потерпела полное фиаско, причиною чего отчасти было и то, что я не умела по форме военного и полицейского различить его чин и звание. Когда я вошла в жандармское управление, я спросила служителя, где я могу узнать, в какую тюрьму посажен мой сын. Служитель довел меня до одного из отделений этого учреждения и распахнул дверь в большую комнату. За столом сидели три жандарма, и к одному из них я обратилась за необходимыми для меня справками. Перед ним лежали какие-то бумаги, и он вместо ответа, перелистывая их, начал расспрашивать меня о моей квартире, о том, что заставило меня устроить ее так, как никто не устраивается в Петербурге,— одним словом, стал задавать мне те же вопросы, какие задавал и полицейский пристав, но еще с бо́льшими подробностями. При этом он все время наклонялся к бумаге, которая лежала перед ним: видимо, это был рапорт об обыске.

— Понимаете, квартира всего в семь комнат,— говорит он соседу с ироническою улыбкою,— а между тем она устроена в двух этажах, пробита внутренняя лестница... Члены вашей семьи обедают вместе? — обращается он ко мне,— и если это так, значит, каждый раз они должны подыматься наверх. Слыхал я, что так устраиваются англичане, живут в трех и четырех этажах, но чтобы обыватели Петербурга размещались таким образом,— не имел понятия.

Я ответила на эти вопросы так же, как и приставу, но по выражению его физиономии видела, что он не верит моим объяснениям.

— Может быть, вы будете любезны объяснить нам также, почему у вас происходят такие многолюдные собрания по вторникам? Почему вы не даете предварительно знать об этом полиции?

— Будьте добры, скажите мне, если это формальный допрос, то почему же я не получила повестки для явки? Ведь я пришла сюда только затем, чтобы узнать, в какой тюрьме сидит мой сын.

— Вы действительно имеете право не отвечать на эти вопросы, так как вы не вызваны формальной повесткой. Но я хотел оказать вам только любезность, чтобы лишний раз не беспокоить вас приходом сюда. В таком случае вы на днях же будете вызваны для дачи показаний. Имею честь кланяться...

— Позвольте же спросить вас, в какой тюрьме сидит мой сын?

— Можете там справиться,— отвечал он крайне сухо, кивнув головой направо.

Я решила, что это означает — в комнате направо от той, в которой я находилась. И когда вышла в коридор, я остановилась у полуоткрытой двери маленькой комнаты, у стола которой стоял рыжеволосый жандарм и курил папиросу. Я задала ему тот же вопрос. Вдруг он быстро подскочил ко мне, так что я даже попятилась назад, и, смотря мне в упор злыми глазами, с раздражением закричал:

— Как вы смеете входить в комнату без доклада служителя? Как вы осмелились вторгаться ко мне без предупреждения?

Я отвечала, что не переступала порога его комнаты, что дверь его была полуоткрыта, что, наконец, я не знала, что без малейшего повода с моей стороны я нарвусь на дерзость. И быстро пошла к выходу. Сердце горело от стыда и негодования, и я спускалась по лестнице с мучительным сознанием, что ничего не добилась. Когда вышла на улицу, я с тревогой спрашивала себя: «Что же теперь делать?» — и решила отправиться в департамент полиции. Но в приемной этого учреждения никого не было, кроме чиновника, который что-то писал за столом, а перед ним стоял молодой человек с симпатичным лицом. Когда чиновник кончил писать, он подал ему для подписи какую-то бумагу, а сам обратился ко мне.

— Я не имею ни малейшего представления о деле вашего сына,— отвечал он мне и назвал приемные дни и часы директора, добавив, что тогда я могу все узнать, что мне надо.

— Но ведь в таком случае мне придется ожидать еще два дня! — невольно вырвалось у меня.

— Почему же вы не спросили об этом в жандармском управлении?

— Я только что оттуда, но встретила там ничем не вызванную с моей стороны дерзость и явное нежелание дать мне это сведение.

Я направилась к двери, а сзади меня шел молодой человек, который мне показался несколько знакомым. Когда мы молча оделись в передней и вышли на улицу, он сказал мне, что встречал меня у таких-то общих знакомых, и назвал свою фамилию. Я чрезвычайно обрадовалась, что встретила человека своего круга, рассказала ему свое дело и спросила его, как узнать сегодня же все то, что мне так необходимо. Он посоветовал мне сейчас же снова отправиться в жандармское управление, подать служителю визитную карточку и попросить отнести ее товарищу прокурора по политическим делам Котляревскому.

— Про него идут не очень-то хорошие слухи,— говорил он.— Однажды при обыске, как рассказывают, он осмелился раздеть догола одну политическую, и в него политики даже стреляли [2]. Но мои знакомые, обращавшиеся к нему в последнее время за различными справками, остались довольны его приемом. Отправляйтесь к нему, только торопитесь: он остается в жандармском управлении, кажется, до четырех часов. Что же касается нахала жандарма, который наговорил вам всяческие дерзости, то скажите, какой он на вид? Не рыжий ли, с рыжими торчащими усами, среднего роста и с крайне антипатичным лицом? Если это так, то это жандармский ротмистр П. Он еще может, если представится случай, отомстить вам за ваш ответ!

Его описание вполне соответствовало наружности наглого жандарма.

Опять лечу в жандармское управление. Надежда так окрылила меня, что я не чувствую никакой усталости. Я сделала все так, как мне советовал молодой человек. И служитель, относивший мою карточку, немедленно заявил, что г. Котляревский ждет меня, и проводил до его комнаты. Когда я открыла дверь, навстречу ко мне поднялся господин высокого роста, плотный, в очках, с интеллигентным лицом. Он попросил меня сесть и вполне вежливо отвечал мне, что мой сын находится в доме предварительного заключения, сказал, что я могу посылать туда пищу и белье несколько раз в неделю, и объяснил, ка-

кие правила существуют для отправки книг заключенному.

— Если вашему сыну несколько дней придется подождать необходимых для него книг, вы не беспокойтесь, — там существует весьма порядочная библиотека.

На мой вопрос, могу ли я теперь же просить о свидании и как следует об этом хлопотать, Котляревский отвечал, что это обыкновенно разрешается через недели полторы-две, что для этого мне следует подать прошение директору департамента полиции. Но когда я спросила его, какая участь ждет моего сына, он отвечал, что не мог еще ознакомиться с делом, но что, если я через неделю зайду к нему, он выскажет мне свое мнение по этому поводу, но вовсе не ручается, что это так именно и будет.

Из жандармского управления я решила немедленно отправиться в семейство Карла Юлиевича Давыдова, знаменитого виолончелиста, автора музыки множества романсов и музыкальных произведений. Его жена Александра Аркадьевна (издательница журнала «Мир божий» с 1892 года), в молодости отличавшаяся замечательною красотою, получила самое поверхностное образование, но была одарена выдающимся природным умом, оригинальностью и находчивостью. Она вела знакомство среди артистического мира и светских людей высших классов общества. В 1885 или 86 году познакомившись с Анною Михайловною Евреиновой (редактором журнала «Северный вестник»), она начала быстро сближаться с интеллигентными людьми вообще, но особенно с писателями, и в то же время с одним из выдающихся из них, Н. К. Михайловским. Сближению ее с иным кругом людей и идей содействовала и ее дочь Лидия Карловна (впоследствии Туган-Барановская). В ту пору это была совсем молоденькая девушка, получившая, однако, более солидное образование, чем ее мать. Она преимущественно вращалась в кругу прогрессивной молодежи и умственно развитых студентов, устраивала у себя собрания и сама посещала кружки, в которых читали рефераты по научным предметам, обсуждали различные жизненные проблемы, вели споры.

Я торопилась к Давыдовым, с которыми познакомилась года за полтора перед этим, чтобы предупредить их о возможности у них обыска, так как Лидия Карловна принимала участие в переводе Туна. Мне необходимо было также узнать от нее, не посылала ли она моему сыну каких-нибудь бумаг и писем, так как они могли попасться в отобранных жандармом бумагах моего сына. Обо всем этом

я считала своею обязанностью лично переговорить с молодою девушкою и дать ей кое-какие советы по этому поводу До моего прихода утром того же дня Давыдовы были извещены одним из своих знакомых об обыске у нас. Когда я позвонила, я услыхала за дверью, что к ней кто-то приближается. Затем послышались шаги нескольких лиц, шепот и, как мне показалось, все сразу исчезли из передней. Я дернула звонок во второй и третий раз. После долгого ожидания дверь отворил сам знаменитый виолончелист. Я здороваюсь с ним и подаю ему руку; он нерешительно протягивает мне свою, которая у него так дрожит, что я спрашиваю его о здоровье, но он, не отвечая, бросается от меня, как от прокаженной, в следующую комнату, в которой сидели мать и дочь и куда вошла и я. Давыдов молча начал быстро ходить по комнате, то нервно потирая руки, то хватаясь за голову в каком-то ужасе, то пожимая плечами. Александра Аркадьевна медленно приближалась ко мне, но, не подходя близко, вдруг неистово замахала на меня руками, истерично выкрикивая бессвязные фразы:

— Зачем вы пришли? Уходите! Сейчас уходите! Это даже довольно бессовестно с вашей стороны после таких вещей приходить в чужой дом! Вас видел швейцар? Конечно, видел! За вами, наверно, кто-нибудь следил... Да говорите же, проследил ли кто-нибудь вас до нашей квартиры? Видел ли вас наш швейцар? Вы, разумеется, привели за собой целый хвост! Около вашей двери... Да, да... около самой вашей двери посажен городовой, околоточный, шпион или что-то в этом роде... Да-с, это говорил нам человек, который сам это видел! И после этого вы смеете входить в чужой дом! Это невероятно! Это просто преступление! Я прямо вам говорю в лицо: это просто даже бессовестно с вашей стороны! Вы испортили всю карьеру Шарля... Для своих глупых затей вы бросили в волчью пасть его благородное, славное имя, которое с благоговением произносит вся Европа! Вы погубили Лидушу: вы исковеркали ее жизнь, все ее будущее... Вы все бросили в помойную яму! Боже мой, боже мой!

Меня не только поражало безобразие этой сцены, но и то, что Александра Аркадьевна, эта светская дама, которая прекрасно умела владеть собой, тут, видимо, пришла в какое-то исступление. Я молчала, да и немыслимо было вставить хотя одно слово во время диких выкриков, которые она безостановочно точно выбрасывала из себя. Иногда вместе с ее выкриками раздавался голос ее дочери, которая

тянула мать за юбку, хватала ее за талию, прижимала ее к своей груди, умоляя:

— Мамочка, успокойся! Мамочка, выпей воды! Мамочка, мне необходимо переговорить с Елизаветой Николаевной... Ты должна благодарить ее, что она к нам заехала. Иначе я сама поехала бы к ней сегодня же,— ведь тогда бы ты еще больше перетрусила...

Но Александра Аркадьевна, отталкивая свою дочь, продолжала выкрикивать на разные лады те же бессвязные фразы, а ее супруг по-прежнему нервно бегал по комнате, то потирая руки, то хватаясь за голову. Но вот в выкриках его супруги послышались хриплые ноты. Дочь поднесла ей стакан воды. Я воспользовалась перерывом и громко сказала:

— Видно, что вы всю свою жизнь прожили среди людей, которые арестовывали других... Напрасно вы начали путаться среди тех, которых арестуют! Вот потому-то по отношению к ним вы и теряете самое элементарное приличие и самообладание.

Александра Аркадьевна вдруг смолкла. Выпитая ли вода вернула ей сознание, стыд ли за свою невоздержанность внезапно вспыхнул в ней, или все это вместе, только она замолчала, а слезы градом катились по ее щекам. Ее дочь, осыпая ее поцелуями и поглаживая по голове, приговаривала: «Вот, вот и хорошо! Пойдем, я тебя уложу, тебе надо отдохнуть!» — и, обняв мать за талию, повела ее в спальню. В ту же минуту маэстро быстро выбежал из комнаты. Лида скоро вернулась, но я уже одевалась в передней. Она умоляла меня зайти в ее комнату, говоря, что это для нее крайне необходимо.

Лидия Карловна была чудеснейшею и умною девушкою. Прекрасно понимая все недостатки матери, умея находить их и тогда, когда они были прикрыты ее светскою и остроумною болтовнею, с антипатиею относясь ко множеству знакомых светского круга ее родителей, она всем сердцем разделяла стремления тогдашней молодежи, постоянно умственно шла вперед, но продолжала страстно любить свою мать, которая, в свою очередь, платила ей горячею материнскою привязанностью. Но ни новые люди, которыми все более окружала себя Александра Аркадьевна, ни новые взгляды, ни ее горячая любовь к дочери не изменили вполне ее миросозерцания, сложившегося под влияниями, совершенно противоположными убеждениям ее новых посетителей. Хотя многие взгляды, усвоенные ею чуть не накануне, она смело пускала в ход, точно всегда

придерживалась их, но многое, что сильно колебало прежние ее понятия светской женщины, укладывалось в ней совершенно поверхностно: она то и дело язвительно высмеивала хорошее, симпатичное и достойное уважения. Добиваясь знакомства с каждым более или менее известным лицом, она умела умно и мило поговорить с ним и, как казалось, даже выказать сердечное расположение; от нее почти все уходили, очарованные ею. Но никто лучше ее не умел так превосходно, можно даже сказать художественно, выдвинуть слабые и смешные стороны своего посетителя, его некрасивые манеры, его невзрачный вид, смешно сидевший на нем туалет. Ее высмеивания касались преимущественно внешней стороны человека, но делались они с таким юмором и неподражаемым мастерством, что являлись выпуклыми и рельефными и заслоняли собою благородные стороны ума и сердца высмеиваемой личности. Когда подобные разговоры происходили при ее дочери, та говорила: «Опять эти зловещие светские звуки!» — или что-нибудь в этом роде, и произносила это либо с грустью, либо с досадою, смотря по тому, кого и что высмеивала ее мать. Лидия Карловна рано составила себе правильное понятие о том, над чем можно смеяться и чего не дозволяет нравственное чувство интеллигентного человека. Мать была несравненно одареннее дочери, но многие, присутствуя при том, как она беспощадно критиковала то того, то другого, только что вышедшего за порог ее двери, не принимали в расчет неблагоприятных сторон ее воспитания и прежней жизни, считали ее двуличною и фальшивою. Напротив, к ее дочери все, кто близко знавал ее, относились с полным доверием и благожелательностью.

Когда я очутилась наедине с Лидиею Карловною, я спросила ее о том, какие рукописи и письма она в последнее время пересылала моему сыну, чтобы сообразить, что из них могло быть захвачено при обыске, затем дала ей множество указаний, как ей следует действовать [3]. Я встала уже, чтобы уходить, когда Лидия Карловна опять заговорила: «Мне бы так хотелось объяснить вам причины дикой сцены, которую мама закатила вам»,— и она рассказала мне, что утром в этот день один из ее знакомых известил ее об обыске у нас. Это заставило ее немедленно заявить родителям, что то же самое грозит и ей, что она, наверно, будет скоро арестована. Хотя они сперва не поверили в возможность этого, но это так их ошеломило, что они послали с нарочным записку старинному другу семьи (который знал Лиду с ее рождения и был с нею на «ты»), чтобы он

немедленно посетил их по очень важному делу. Выслушав все, что Лида при родителях сообщила ему о своем участии в этом злополучном деле, их приятель сказал, что за перевод нелегального сочинения и издание его в ничтожном количестве, не получившего еще распространения, по его мнению, переводчики понесли бы небольшую кару, вроде того, что их отдали бы на известное время под негласный надзор полиции. А вот тем, кто писал примечания и снабдил перевод Туна приложениями, а судя по заглавию книги можно себе представить, какого характера они должны быть, раз их составляли радикальные студенты, им уже не только никогда не видать университета, но их ждет судьба, пожалуй, и похуже. Этот друг Давыдовых очень советовал им сильно попридерживать теперь Лиду от посещения и приглашения к себе подобных молодых людей, иначе, говорил он, ей не уцелеть. Он, то есть приятель семейства знаменитого музыканта, ушел от них не более как за полчаса до моего прихода. Вот это и было, по словам Лидии Карловны, главною причиною испуга ее матери «до умопомрачения». Затем эта милая девушка стала говорить мне, что как она, так, вероятно, и многие сотрудники перевода Туна сочтут своею нравственною обязанностью отправиться в жандармское управление и заявить о своем участии в названном издательстве, что такое сознание всех прикосновенных к этому делу, вероятно, облегчит судьбу моего сына, на котором теперь тяготеют их общие грехи, и в таком случае ему, вероятно, не будет грозить опасность покинуть навсегда университет.

Я доказала ей всю несостоятельность и неправильность такого взгляда в принципиальном отношении, обратила ее внимание и на то, что наши нравы обязывают того, кто попался, мужественно выкручиваться самостоятельно и все силы употребить на то, чтобы даже случайно кого-нибудь не пристегнуть к своему делу, если бы оно даже велось сообща.

Когда я выходила от Давыдовых, чтобы ехать домой, уже наступил вечер. Я только теперь почувствовала страшную усталость. С момента обыска прошло немногим более суток, а я за это время пережила смену самых разнообразных впечатлений: воочию увидела предательство и человеческую низость, испытала незаслуженную дерзость, была свидетельницею всей мерзости рабского страха. «Но, боже мой, какие это все мелочи,— думала я,— сравнительно с тем ужасом, который охватывал меня при мысли, что мой сын будет лишен университетского образования». Это толь-

ко теперь впервые пришло мне в голову. После его ареста я думала только об одном: будет ли он иметь возможность заснуть в тюрьме, дали ли ему что-нибудь поесть. Но то, что арест может повлечь за собой лишение образования, мне ни разу не пришло в голову за суетой этого дня. «Нет, я не могу, я не должна этого допустить! Как мать, я обязана отдать всю жизнь до последнего вздоха, чтобы только не случилось этого!» Меня всю знобило, сердце то замирало, то учащенно билось, и я с тревогою думала о том, в состоянии ли я подняться к себе в четвертый этаж. «Если бы заплакать, если бы заплакать, мне стало бы легче!» И мне вспомнилось, как в особенно тяжелые минуты моего злополучного детства у меня тоже не было слез и как обожаемая мною сестра, наклоняясь надо мной, говорила: «Заплачь, сестренка, заплачь, тебе будет легче!» Ее горячие слезы падали на мое лицо, растопляли лед, сковывавший мои члены, и я начинала рыдать на ее груди. «Ее уже давно нет,— и один ужас впереди!» Минутами мне представлялось, что передо мною вертится громадных размеров колесо: я нечаянно зацепилась за один из его зубцов, и теперь уже мне не будет пощады.

Подымаясь к себе мимо третьего этажа, я увидала, что городовой продолжает сидеть у дверей нашей квартиры. Он весело и добродушно закивал мне головою, точно встретил родного человека. Несколько дней сряду после обыска то один, то другой городовой сидел у нашей двери. Мы совершенно свободно уходили и возвращались домой, некоторые из знакомых навещали нас, и городовой не мешал этому. На некоторых, однако, он наводил страх: узнав, что нашу дверь сторожат, многие не приходили вовсе, а другие, уже подымаясь на лестницу и только тут заметив городового, делали вид, что читают дощечки или ошиблись нумером квартиры, и спускались вниз,— так, по крайней мере, они сами нам рассказывали.

Когда я позвонила, навстречу мне выбежали мои домашние и курсистка Гитта, которую мы все очень любили. Я могла только сказать им, что устала, лягу в постель и тогда все расскажу. После изложения всех моих мытарств и злоключений мои домашние разошлись по своим комнатам, а молодая девушка села подле моей кровати и начала сообщать о своем тяжелом положении. Она, как и другие курсистки-еврейки, после переэкзаменовки некоторых окончательных экзаменов осенью, должна была уехать из Петербурга. Экзамены затянулись, но вот уже месяц, как они кончились, а ей крайне необходимо пробыть в Петер-

бурге еще с месяц. Последнее время, по хлопотам различных лиц, ей выдавали отсрочки, но дольше полиция не желает ее здесь оставлять и через два дня заставляет ее уехать на родину. Она — сибирячка, может получить деньги только через месяц; к тому же тут у нее есть неотложные дела. Вся надежда у нее только на меня. Я должна что-нибудь придумать, что-нибудь сделать, чтобы она могла прожить в Петербурге еще хотя один месяц.

— Я ничего не могу придумать, чтобы облегчить опасность, грозящую моему сыну, чем же я могу помочь вам? Я даже не имею представления о том, к каким лицам обращаются в таких случаях.

Гитта осталась ночевать в моем кабинете, в который дверь моей спальни была открыта. Через несколько часов, убедившись, что она не спит, я позвала ее к себе и сообщила ей, что по ее делу я надумала обратиться к полицейскому приставу, который накануне делал у нас обыск. Но по выражению ее физиономии я поняла, что мои слова не только сердят, но и обижают ее. Помолчав, она проговорила:

— Я знаю, что с моей стороны было крайне неделикатно тревожить вас... Что же делать, если вы для меня являлись соломинкою, за которую хватаются утопающие. Но зачем же предлагать такое, что можно принять за насмешку?

— Если бы вы за один день испытали столько, сколько я сегодня, то вы, наверно, более доверчиво отнеслись бы к полицейскому приставу, о котором я говорю. Он чрезвычайно зло и остроумно высмеивал смехотворную трусость действительного статского советника, без придирок и мелочности исполнял свои обязанности, был со всеми вежлив и корректен, охотно и без уверток отвечал на мои вопросы, а в жандармском управлении меня пересылали из одного отделения в другое, гадко и злобно осыпали меня дерзостями, хотя я не подала к этому никакого повода. Вот я и желаю обратиться по вашему делу к этому человеку. Я не думаю, чтобы он чем-нибудь существенно помог вам в вашем затруднении, но я уверена, что он даст хотя какой-нибудь толковый совет, объяснит нам, к кому можно было бы обратиться.

Узнав от дворника, что пристав принимает в 11 часов утра, мы отправились с Гиттой еще раньше, чтобы явиться к нему до его приемного часа, и я предварительно написала на визитной карточке, что прошу его принять меня по

моему личному делу не в участке, а в его квартире. Пристав немедленно вышел со словами:

— Но чем же я могу быть вам полезен? Ведь с окончанием обыска окончились и мои обязанности.

Я отвечала, что пришла к нему с моею приятельницею с просьбою, а если он не может исполнить ее, то дать нам хотя добрый совет.

— Удивляюсь, прямо можно сказать поражен, что вы... вы... после обыска, сделанного мною, все же решаетесь обратиться ко мне с просьбою, да еще за советом. Наперед обещаю, что все, что в пределах закона и что дозволят мне мои силы, я все сделаю для вас обеих с величайшим удовольствием.

Моя приятельница подробно рассказала ему свое дело и показала свои бумаги. Рассмотрев их, он сказал:

— Разрешить вам продолжительное пребывание в Петербурге я не имею права, но еженедельно выдавать вам отсрочку в продолжение полутора месяцев — могу.

И он сейчас же выдал ей какую-то бумажку на неделю, а затем просил ее присылать к нему свою прислугу каждую неделю за такою же отсрочкой.

— И в другой раз я готов прийти к вам на помощь, если только вы не побоитесь моего звания,— сказал он нам, когда мы, прощаясь, благодарили его за оказанную услугу.

Через несколько дней после обыска я получила повестку, вызывавшую меня в жандармское управление. За столом в комнате, в которую меня ввели, сидели два жандарма. Когда я уселась на указанный мне стул, один из них, не подымая головы, продолжал что-то писать, а другой начал снимать с меня формальный допрос. Тут только я рассмотрела, что это был не кто иной, как жандармский ротмистр П. Я не показала и вида, что узнала его, и совершенно покойно отвечала на все его вопросы, которые начались с того, что их так всех заинтересовало, а именно: о моей квартире с внутреннею лестницею. Затем он просил назвать всех членов моей семьи, их лета и занятия и перешел к вопросу о причине многолюдных собраний у меня по вторникам. На этот вопрос я отвечала, что всю жизнь прожила в Петербурге и нет ничего удивительного в том, что приобрела много знакомых. На его же предложение назвать их имена и фамилии, я сказала, что не считаю возможным исполнить его желание.

— А по какой причине? — бросил он грубо и отрывочно.

И на это я по-прежнему вежливо отвечала ему, что из-за этого могут быть неприятности для моих знакомых.

— Позвольте узнать, о каких таких неприятностях вы изволите говорить?

— Вы сами это знаете лучше меня.

— Вы обязаны немедленно объяснить сказанное вами и назвать лиц, наиболее часто вас посещающих.

— Я решительно отказываюсь отвечать на оба эти вопроса.

— Вы должны понимать, что это совершенно бесполезно: агентурные сведения дают нам возможность прекрасно знать всех лиц, посещающих вас.

— А потому-то я и не сообщаю, что это бесполезно, как вы сами только что сказали.

Он резко пододвинул мне бумагу с словами:

— Извольте писать под мою диктовку.

И он начал диктовать по порядку, все, что было мною сказано, придавая местами иной характер моим словам и выражениям. Я положила перо со словами:

— Зачем вам трудиться диктовать, когда я сама могу написать?

— Вы думаете, у меня есть время с вами возиться? Вам сказано писать, и вы должны исполнять то, что вам приказано. Извольте сейчас же писать.

— Я не верю, что вам дано право так обращаться с кем бы то ни было. Во всяком случае, или не мешайте мне писать, или я немедленно уйду и спрошу у товарища прокурора господина Котляревского, допустимо ли здесь такое обращение, которое я встречаю от вас уже во второй раз.

— Да пусть госпожа Водовозова пишет, как она желает,— заметил второй жандарм, тут только подняв впервые голову от своей бумаги.

Когда я написала все, что требовалось, ротмистр взял бумагу и протянул ее своему соседу, который, прочитав, пробурчал:

— Кажется, все так было и устно изложено.

И я вышла из жандармского управления, уже не сомневаясь в том, что нажила себе в ротмистре П. злейшего врага.

Не дождавшись срока, назначенного мне Котляревским, я через два дня после свидания с ним, а именно 28 февраля, опять отправилась к нему с предварительно заготовленным письмом, в котором извинялась, что тревожу его раньше назначенного им времени, и объясняла, что тяжелое нравственное состояние неизвестности заставляет меня осведо-

миться о том, не успел ли он уже ознакомиться с делом моего сына.

Те, кто был в таком положении, в каком очутилась я, прекрасно знают, что самое ужасное в подобных случаях — оставаться без хлопот об арестованном близком человеке. С утра до вечера точно кто-то толкает тебя, точно кто-то нашептывает в уши: «Не стой на месте, ежедневно, ежечасно думай, разузнавай, нельзя ли что-нибудь сделать для облегчения участи». Эта мысль так назойливо преследует, что всякое другое дело просто валится из рук.

Я очень удивилась, когда служитель, относивший мое письмо, пригласил меня к Котляревскому: я думала, что он вышлет мне сказать, чтобы я пришла к нему через неделю, как уже было мне сказано.

— А ведь я еще не вполне ознакомился с делом,— сказал Котляревский, когда я вошла к нему.— Вы, видимо, сильно тревожитесь за судьбу вашего сына, и я уже теперь могу вас несколько успокоить: кара, вероятно, будет совсем не из тяжелых. Имейте только в виду, что я еще не успел ознакомиться со всем необходимым материалом и что решение дела зависит от усмотрения многих лиц. Если пожелаете узнать еще что-нибудь, зайдите ко мне через три-четыре дня. Во всяком случае, могу вас порадовать одним,— дело не затянется.

Уже прошел срок, назначенный мне Котляревским, а я все не являлась к нему. Только такое экстраординарное событие громадной важности, как второе первое марта [4], могло задержать меня: я знала, что все внимание жандармского управления и полиции сосредоточено теперь только на случившемся. У меня, однако, не хватало сил долго ждать, и я отправилась снова к Котляревскому.

— Теперь дело вашего сына затянется,— сказал он, махнув рукою, как бы говоря: «нам не до вас!»

— Но почему же?

— Да мало ли почему: будут разыскивать, не имели ли лица, арестованные за другие преступления, знакомства или каких-нибудь сношений с террористами [5], не принимали ли они косвенного или прямого участия в их заговоре. Да и кару ваш сын понесет потяжелее, чем тогда, если бы не случилось этого ужасающего преступления.

— Неужели кару за политические проступки налагают, не только соображаясь со степенью их тяжести, но и с событиями известного характера, хотя бы они совсем не касались арестованного?

— Непременно... Это сильно принимается в расчет!

Такие события, как теперешнее, наводят обывателя на мысль, что господа революционеры несут слишком слабую ответственность за содеянное ими и что подобные печальные явления — результат слабости правительства.

— Неужели правда и то, что усиливают кару политического и за случайное знакомство с лицом, более его скомпрометированным? Ведь человек может быть знакомым с тем или другим, но находить своего приятеля неподходящим к революционной деятельности и ни слова не говорить с ним о своих планах и намерениях революционного характера.

— Извините, у нас этого никогда не бывает! Молодой человек, отдавшийся революционной деятельности, считает каждого своего знакомого подлецом, если тот не занимается тем же, чем и он, а себя ни к чему не годным, если он не сумел склонить каждого к такой же деятельности.

Недели через полторы после обыска, когда отобраны были формальные показания как от всех членов моей семьи, так и от служащих у меня в то время и служивших в моем доме много лет тому назад, мне разрешены были свидания с сыном. Я знала, при какой обстановке происходят эти свидания в доме предварительного заключения, мне однажды начертили даже план комнаты с клетками, но действительность превзошла составленное мною представление. Когда я подошла к железной клетке с двойною решеткою, в которую с другой стороны ввели моего сына, я была так ошеломлена и потрясена, что долго не могла выговорить ни слова. Трудно представить себе чувство матери, когда ей показывают родное детище, точно хищного зверя в железной клетке зоологического сада! Разница только в том, что там эта клетка стоит под открытым небом, а в клетке для арестованных настолько темно, что нельзя рассмотреть физиономию человека, стоящего в ней. Мне давали и «личные свидания»: тогда в одну из камер вводили арестованного и сажали его и меня за столик, у которого также садился тюремный надзиратель или жандармский унтер-офицер. Эти «личные свидания» почти не давали возможности беседовать с арестованным: если вы начинали говорить на иностранном языке, вас немедленно предупреждали, что это не дозволено; с тем же самым обращался к вам смотритель и тогда, когда он чего-нибудь не понимал в вашем разговоре. Да и в голову ничего не приходило при такой обстановке.

Некоторое время свидания шли совершенно правильно. Вдруг однажды, когда я только что вошла в дом предвари-

тельного заключения, один из надзирателей подошел ко мне и заявил, что я лишена свиданий, и быстро исчез. Я долго сидела на скамейке крошечного коридорчика перед дверью, за которой происходили свидания с заключенными, но смотритель не появлялся. Я была так ошеломлена этим известием, что решительно ничего не могла сообразить; наконец как-то машинально вышла на улицу и отправилась в жандармское управление. Без доклада вошла я к Котляревскому, который встал при моем появлении, и как-то машинально опустилась на стул. Я молчала, а он ходил по комнате, тоже не говоря ни слова. Наконец он налил стакан воды и поставил его передо мною. Я сделала глоток, но рука так дрожала, всю меня так трясло, что я поставила его обратно.

— За что мне запрещены свидания? — с трудом вытянула я наконец из своего горла.

Не останавливаясь и по-прежнему шагая по комнате, Котляревский проговорил:

— Вероятно, в наказание за то, что ваш сын не отвечал чистосердечно на вопросы, на которые он обязан отвечать.

— А, значит, только предатели могут видеться со своими матерями! [6] — И тут я потеряла всякое сознание того, что я говорю, всякое самообладание и говорила, говорила, не переставая; сама себя я услышала только тогда, когда выкрикнула последнюю фразу: «И вы, человек образованный, в этой грязной яме!» Тут я несколько опомнилась, хотела встать со стула, но не могла и начала опять пить воду.

Котляревский, облокотившись на спинку пустого стула и наклонившись ко мне, проговорил резко и отчетливо, но не громко: «Как вы смеете в таком виде являться сюда? Берегитесь!» — и с шумом отодвинул свой стул, как бы приготовляясь сесть за стол. Я встала и пошла к двери, не прощаясь и не говоря ни слова.

Только ночью, лежа в постели и вспоминая все происшедшее за день, я ужаснулась при мысли, что, вероятно, наговорила Котляревскому такое, что повредит моему сыну, что теперь я лишаюсь единственного человека в жандармском управлении, который деликатно относился ко мне. Меня мучила и моя несправедливость относительно Котляревского: за его внимание я отплатила ему дерзостью. Я давала себе слово впредь молчать, когда что-нибудь будет меня сильно волновать, ужасалась своей невоздержанности вообще, хотя уже и тогда была в возрасте, смежном со старостью, но сумела выдрессировать себя

в этом отношении лишь гораздо позже. Я решила не показываться более к Котляревскому на глаза, да в этом пока и не было нужды. Знакомые посоветовали мне пропустить еще одно свидание, а затем навести справки у начальника дома предварительного заключения, не получилось ли для меня дозволение снова ходить на свидания. Оказалось, что такое разрешение только что получено.

При каждом «личном свидании» я замечала, как пагубно отзывалась тюрьма на здоровье моего сына. Ввиду того что окончание его дела все затягивалось, я просила директора департамента полиции [7] о том, чтобы мне отдали сына на поруки под денежный залог.

— Политическому преступнику не место в вашем доме, в котором собираются писатели и вообще люди неблагонадежные. Нам известно и то, что вам наносили визиты и только что выпущенные из дома предварительного заключения,— сказал мне директор.

Наступило лето, и я переехала с семейством на дачу. Я написала моей престарелой матери, чтобы она попыталась с своей стороны подать прошение с просьбою отдать ей внука на поруки, но она долго не откликалась на мое письмо, и я совершенно не понимала, почему не получаю от нее ответа. В одно из свиданий с сыном я вдруг заметила кровоподтеки на его висках. Это так меня встревожило, что я опять отправилась к директору департамента полиции, который, расспросив, где я теперь живу, к моему удивлению, сразу разрешил мне взять сына на дачу с условием, чтобы я внесла денежный залог, предупредив меня при этом, что, если к осени дело его все еще не будет окончено, он, то есть директор, никоим образом не дозволит ему жить со мною в Петербурге. Все же это быстрое согласие на исполнение моей вторичной просьбы, вопреки категорическому отказу в первый раз, вероятно, объясняется тем, что и тюремный врач заметил крайне болезненное состояние арестованного. Я внесла требуемый от меня залог и скоро после этого должна была за какой-то справкой снова явиться к директору, который объявил мне, что получил прошение от бабки моего сына.

— Теперь уже я отдал распоряжение о том, что ваш сын будет жить с вами на даче, но осенью вы должны отвезти его к вашей матери.

Так говоря, он просматривал какую-то бумагу, и мне показалось, что это и было прошение моей матери: он спрашивал меня о месте ее жительства, о том, с кем она живет, и при этом сверял с тем, что написано было в бумаге, кото-

рую он держал. Через недели две после этого я получила письмо от матери, которое носило явные следы перлюстрации, а потому и получилось гораздо позже, чем следовало. Причину своего долгого молчания моя мать объясняла своею болезнью. Она прислала мне и копию с своего прошения: в нем говорилось, что она живет в девяноста верстах от железной дороги, в глухой деревне Бухоново Смоленской губернии, в местности, в которой не существует ни фабрик, ни заводов. Она просила исполнить ее просьбу вследствие ее болезни, «надвигающегося конца ее жизни, полного одиночества, так как с нею никого нет, кроме психически больной дочери, а также ввиду заслуг, оказанных родине ее двумя родными братьями Иваном и Николаем Степановичами Гонецкими».

В продолжение всего лета на даче, несмотря на пребывание в ней моего сына, полиция совершенно не беспокоила нас. Осенью я отправилась в Смоленскую губернию и с крайним страхом оставила моего сына у матери, так как она жила с моей старшей сестрой, в то время душевнобольной. Меня очень тревожила мысль, как отразится ее болезнь на моем сыне, незадолго перед этим перенесшим тюремное заключение.

Очень скоро после моего возвращения меня посетили Давыдовы — мать и дочь. Когда мне сказали о их приезде, мне невольно пришло в голову, что с отъездом моего сына мой дом для Александры Аркадьевны оказывается неопасным. Кстати замечу, что хотя у ее дочери и был обыск, но совершенно поверхностный, и только в ее комнате; к допросу ее тоже привлекали [8], но ей совсем не пришлось поплатиться тюрьмой. Она нередко в присутствии матери рассказывала близким знакомым весьма неприятные вещи для самолюбия Александры Аркадьевны, но они не оскорбляли ее, так как все это ее дочь высказывала хотя и в иронически-фамильярном тоне, но чрезвычайно добродушно и мило. И на этот раз Лидия Карловна в лицах представляла ту сцену, которую ее мать, по ее словам, «закатила» мне тогда и как ее отец, в ожидании «трагического ужаса» для его семьи, мрачно ероша свои волосы, нервно бегал по комнате. Александра Аркадьевна то хохотала, то бросалась обнимать меня.

— Даю вам честное слово,— сказала Лидия Карловна, обращаясь ко мне,— что мама вполне сознательно стыдится теперь своего «гнусного поведения» и уже давно убедилась в том, что, если бы вы тогда уехали от нас, не переговорив со мной, я просидела бы в тюрьме несколько месяцев.

И обе они начали просить меня приезжать к ним, что, по их словам, им только и могло бы доказать, что я более не сержусь на них. Инстинкт, однако, подсказал мне, что до совершенного окончания «дела» моя нога не должна переступать порога их дома. И я под разными предлогами не показывалась у них, хотя обе они навещали меня от времени до времени. Моя предусмотрительность, как оказалось, имела основание.

По письмам, получаемым из деревни, я видела, что моя престарелая мать все более расхварывается. Наконец доктор, лечивший ее, написал мне, что она доживает свои последние дни и чтобы я торопилась приехать к ней, если желаю проститься с нею перед вечной разлукой. Это новое горе, свалившееся на мою голову, удручало меня вместе с мыслью о том, что-то будет с моим сыном после ее смерти? Он не мог жить в деревне не только потому, что отдан был на поруки своей бабушке, но и потому, что в доме после ее смерти могла остаться только больная сестра, психическая болезнь которой все усиливалась. Это удручавшее меня известие было получено мною как раз в приемный день директора департамента полиции, и я отправилась к нему. Когда я объяснила, в чем дело, он, вспыхнув от гнева, резко проговорил: «Вы с своим сыночком больше всех доставляете нам хлопот!» — и добавил, чтобы я вошла в его кабинет, когда будет окончен прием. Опять повторив с бóльшими подробностями те же упреки за то, что я-де поставила его в затруднительное положение, он указал на то, что окружающие часто преувеличивают опасность болезни близких им людей. Я подала ему бывшее при мне письмо земского врача вполне официального характера и сказала, что раньше кончины моей матери я не уеду из деревни,— следовательно, не могу взять оттуда и моего сына. Это, вероятно, заставило г. Дурново поверить, что с моей стороны тут нет никакой мошеннической проделки, чтобы какими бы то ни было средствами взять сына из деревни; к тому же я представила для этого достаточно данных, по которым департамент полиции мог проверить справедливость моих слов. В конце концов директор департамента согласился на то, чтобы мой сын после возвращения из деревни остался жить со мною в Петербурге ввиду того, что его дело должно окончиться очень скоро.

Не прошло и нескольких дней после нашего приезда в Петербург, как А. А. Давыдова просила нашего общего знакомого передать мне, чтобы я не вздумала теперь посетить ее дом, так как Лиде это грозит опасностью. Я не-

медленно ответила ей письмом приблизительно в таком духе, что она имела бы некоторое право предупреждать меня, чтобы я удержалась от посещения ее семейства, если бы я, согласно многократным ее просьбам, хотя раз воспользовалась ее приглашением. Но так как я ни разу не была у нее после сцены, которую она мне устроила, то я принимаю переданные мне ее слова за крайнюю неделикатность с ее стороны, недобросовестность и дикую, рабскую трусость.

Неделю-другую спустя после этого ко мне приехал Николай Константинович Михайловский. Поговорив о моем путешествии и о моих делах, он перешел к «истории» с Давыдовой: она, по его словам, была сообщена ему не только Александрой Аркадьевной, но и ее дочерью, которая, в чем я нисколько не сомневалась, передавала ее с свойственным ей беспристрастием.

В своих отношениях к знакомым Николай Константинович, как истинный джентльмен, всегда стоял за то, чтобы люди порядочные крепко держались друг друга: то одному, то другому из поссорившихся он обыкновенно указывал на хорошую черту характера его противника и всегда старался объединять людей известного круга. Я не мало удивлялась, как этот заваленный редакционными делами человек, почти ежемесячно пишущий огромные статьи [9], мог урывать время, чтоб забежать к нескольким знакомым исключительно для того, чтобы уговорить их непременно явиться на какое-нибудь празднество в честь того или иного общественного деятеля, на похороны писателя и т. п. Конечно, в этих случаях дело шло обыкновенно о людях, являвшихся носителями тех общественных идеалов, которым он сам служил всю свою жизнь. Много горячего участия, внимания и сочувствия не только на словах, но и на деле проявлял он к каждому общественному деятелю, если ему приходилось с ним сталкиваться, пострадавшему от нашей общественной неурядицы. Но у него было не мало знакомых и в простой обывательской среде, много поклонников и поклонниц, которым он оказывал большое внимание. Однако относительно лиц этой последней категории он нередко разочаровывался, так как зачастую проявлял большую симпатию к людям, совсем не заслуживающим этого. Но до наступления разочарования Николай Константинович относился к некоторым из них до такой степени пристрастно, что, говоря о них, терял даже всякое чувство меры, точно влюбленный, и нужно заметить, что так было относительно и женщин и мужчин.

В ту пору, о которой я упоминаю, Николай Константинович, увлеченный красотою и умом Александры Аркадьевны, был возмущен моим письмом к ней, а еще более, как оказалось, моею фразою о том, что она, прожив всю свою жизнь среди людей, которые арестовывали других, теперь начала путаться среди тех, которых арестуют, а потому-де не умеет держаться с ними мало-мальски добропорядочно. Эти слова, видимо, показались Николаю Константиновичу очень оскорбительными для достоинства Александры Аркадьевны.

— С вашей стороны,— говорил он мне,— было довольно-таки жестоко пользоваться преимуществами своего положения. Александра Аркадьевна не могла самостоятельно выбирать своих знакомых: когда она вышла замуж, она была для этого слишком молода. Да и почему вы так смело утверждаете, что круг ее знакомых состоял из людей, которые арестуют? Я вовсе не хочу этим сказать, что все это были, поскольку мне известно, превосходные люди, но едва ли на всех можно взводить такое обвинение.

Я объяснила ему, что мои слова были вызваны сценой, которую она устроила мне, а мое резкое письмо — ее неделикатным предупреждением меня через общего знакомого, чтобы я не посещала ее, хотя я ни разу не была у нее, несмотря на многократные ее просьбы и посещения моего дома. Понятно, что на такой ее поступок я не могла посмотреть иначе, как на наглость, ничем не вызванную с моей стороны, и как на дикую трусость.

Николай Константинович настойчиво продолжал ее оправдывать.

— Я вполне признаю,— говорил он,— что трепет Александры Аркадьевны перед городовыми и обысками доходит у нее до комизма, что трусость вообще качество не особенно почтенное, но многие весьма образованные люди, а один мой знакомый, можно даже сказать «косая сажень в плечах», сознавались не мне одному в своей боязни мертвецов. Они знают, что покойник не схватит их за бороду, и в то же время ни за что не останутся в комнате, где лежит тело покойника. Нелепыми страхами страдают очень многие...

Его доводы в защиту Александры Аркадьевны меня совсем не убедили: я прекрасно знала, что они всегда бывают таковыми, когда ему приходится защищать своих любимцев. Однажды при мне ему кто-то рассказал о неблаговидном поступке одного его приятеля (к которому он питал в то время большую приязнь, но впоследствии со-

вершенно разочаровался в нем), а Николай Константинович заметил: «Это совсем неправдоподобно: взгляните только сами на физиономию Кривенко [10],— ведь он точно с образа сорвался».

В начале 1888 года я узнала, что мой сын будет приговорен к пяти годам ссылки в Архангельскую губернию. Узнав из газет о времени приема министра юстиции Манассеина, я отправилась к нему. Оказалось, что видеть его, как и большинство других министров в то время, было совсем нетрудно: о днях их приемов печаталось в газетах и большинство министров было совершенно доступно публике.

В передней Манассеина сидел чиновник, который записывал фамилии просителей и кратко то, о чем они желали говорить с министром. Затем посетитель входил в приемную и садился подле просителя, пришедшего перед ним, чтобы не нарушать очереди. В точно определенный час в комнату вошел министр. Все встали, и он выслушивал просьбу каждого. Один из посетителей — чиновник — просил о том, чтобы его сына не отправляли по этапу, а дозволили ехать на собственный счет. При этом он подал докторское свидетельство, тут же прочитанное министром, в котором значилось, что сын просителя только что вынес тяжелую форму дифтерита и что путешествие по этапу может оказаться весьма вредным для его здоровья. Когда очередь дошла до меня, я стала просить министра об ослаблении наказания моему сыну, доказывая, что перевод Туна и составление примечаний к нему, при том условии, что эта книга не получила никакого распространения, не заслуживает такой тяжелой кары, какая ему назначена. Министр внимательно выслушал меня; по его замечаниям и сделанным мне вопросам я видела, что он с делом вполне знаком. Когда я кончила, он сказал мне:

— Я совершенно не могу смотреть на преступление вашего сына так, как смотрите вы, его мать.

Он уже хотел обратиться к следующему, когда я начала его просить о том, чтобы он дозволил моему сыну отправиться в ссылку не по этапу.

— Правда, он не перенес никакой тяжелой болезни перед этим,— говорила я,— но он очень слабого здоровья.

Вместо ответа министр спросил меня:

— Многочисленные учебники и книги для чтения юношества — ваши произведения?

Я отвечала, что учебников не писала, но книг для чтения юношества и педагогических работ у меня немало.

На это министр сказал, обращаясь к чиновнику, стоявшему подле него:

— Запишите, что бывшему студенту Водовозову дозволено отправиться в ссылку на свой счет.

В феврале 1888 года мой сын отправился в Архангельск, где местный губернатор назначил местом его ссылки город Шенкурск. Спустя некоторое время после этого мне прислано было извещение из жандармского управления, по которому я должна была явиться за получением залога, внесенного процентными бумагами различной ценности. Служитель ввел меня в комнату, и я села на стул перед столиком. Через несколько минут ко мне быстро вошел жандармский ротмистр П., держа в руках пачку процентных бумаг. Он бросил их на стол с словами:

— Извольте расписаться в получении, и сейчас же.

Если бы он обратился ко мне с обычной в таких случаях вежливостью, я бы, конечно, не заставила его напоминать мне о том же. Но он не вручил мне бумаги, а бросил их на стол, и не просил меня расписаться, а отдал приказание, сделанное повелительным и резким тоном. Ничего не говоря, я открыла свою сумку, взяла портмоне и уже начала вынимать из него бумажку, в которой были записаны нумера билетов и стоимость каждого из них, как вдруг ротмистр подошел ко мне совсем близко и еще более резким голосом прошипел почти над моим ухом:

— Как вы смеете ослушиваться? Вам приказано сейчас же подписаться. Делайте, что вам велят!

— Приказывать мне вы ничего не смеете. Сначала проверю, а потом подпишусь,— сказала я, невольно отодвигаясь от него.

— Проверять? Это еще что за фокусы? Да как вы смеете мне это говорить даже? Мне некогда с вами возиться! Ну, живо! — Но он, должно быть, не рассчитал своего голоса и последние фразы хрипло прокричал.

Я вскочила с своего места и, глядя ему в упор, резко ему ответила:

— Я буду жаловаться на ваше непозволительное поведение. И чем дольше вы мне будете мешать проверить мои бумаги, тем медленнее...

— Как вы осмеливаетесь так разговаривать со мною? — шипел ротмистр, перебивая меня, повторяя одни и те же фразы и не замечая, что в дверях, спиной к которым он стоял, остановилась высокая фигура Котляревского.

Не знаю, была ли дверь комнаты открыта или полуоткрыта, услыхал ли Котляревский, случайно проходя по

коридору, наши резкие пререкания, но он неторопливо приблизился к столу и обратился ко мне с вопросом:

— Что все это значит, сударыня?

— Я хотела проверить нумера билетов прежде, чем расписаться в их получении... Не все эти процентные бумаги принадлежат мне. А господин ротмистр не только мешает мне это делать, но все время возмутительно дерзко кричит на меня.

— Госпожа Водовозова, как только входит в жандармское управление, так, по обыкновению, начинает скандалить. А теперь, вместо того чтобы расписываться в получении бумаг, воспользовалась случаем, чтобы наговорить мне массу дерзостей.

Одинаково флегматично выслушал Котляревский как ту, так и другую сторону и, обращаясь ко мне, сказал:

— Потрудитесь считать.

Я начала сверять билеты с моею записочкою, пересчитала и пересмотрела их один и другой раз, но не находила среди них сторублевого билета первого выигрышного займа и заявила об этом Котляревскому.

— Я все бумаги принес. Госпожа Водовозова то хватала процентные листы, то бросала их, то открывала и закрывала свою сумку. Почем я знаю, куда она их дела!

— Господин ротмистр, потрудитесь принести недостающий билет первого выигрышного займа,— не понижая и не повышая голоса, все таким же флегматичным тоном обратился Котляревский к ротмистру.

— Вы, значит, больше доверяете госпоже Водовозовой, чем мне?

— Господин ротмистр, потрудитесь принести недостающий билет первого выигрышного займа. Поищите где-нибудь там... ну, под стулом, под конторкой... вообще там где-нибудь.— И опять ни иронии, ни повышения голоса, ни малейшей улыбки на губах.

Ротмистр вышел, Котляревский шагал по комнате, а я молчала. Через несколько минут вошел ротмистр с лицом, покрытым красными пятнами, и с процентною бумагою в руке.

— Действительно, она завалилась...— проговорил он крайне сконфуженно и положил бумагу на стол.

— Я же вам говорил. А теперь к делу: потрудитесь снова пересчитать и сказать, все ли вы получили.— И это Котляревский произнес прежним невозмутимым тоном.

Когда я расписалась в получении, ротмистр моментально исчез.

— Сердечно благодарю вас, и не только за отыскавшиеся деньги... Без вас ротмистр, право, кажется, мог бы меня избить.

Котляревский выслушал мои слова молча, с обычным индифферентизмом, наклонил голову, как будто давая этим понять, что аудиенция уже окончена.

II

С первого года ссылки моего сына я уже начала мечтать о том, чтобы ему дозволено было приехать держать государственные экзамены. Это заставляло меня усердно расспрашивать у знакомых, не знают ли они примера, чтобы высланному студенту дозволено было приезжать из ссылки держать выпускные экзамены университетского курса. Многих поражал этот вопрос своею наивностью, и мне старались объяснить всю глубину моего непонимания основы и цели, на которых у нас существует и держится административная ссылка. А Сергей Николаевич Южаков всем говорил, что это у меня навязчивая идея, что меня не следует разочаровывать в несбыточности этой надежды. Я прекрасно понимала всю трудность добиться желаемого, но дала себе слово отдать все мои силы для осуществления моей мечты.

Прошло уже более года, но мне никто не мог подать совета, как приступить к делу. А собранные сведения все более красноречиво говорили мне, что мои мечты бессмысленны и беспочвенны. Минутами я приходила в отчаяние, но только минутами, а затем подбадривала себя и давала слово не падать духом.

Осуществление моего желания зависело прежде всего от разрешения министра народного просвещения, министра внутренних дел и департамента полиции: и я раздумывала, с кого из них начинать хлопоты. Вдруг как-то читаю в газете известие, что князь Голицын, архангельский губернатор, приехал в Петербург и остановился там-то. На другой же день отправляюсь к нему. Ко мне вышел человек, по виду средних лет, с интеллигентным лицом, изящный, воспитанный, в выражении физиономии которого совершенно отсутствовала официальная или чиновничья печать. Это дало мне возможность, не конфузясь и без страха, изложить ему мое дело. На его вопрос, были ли примеры такого дозволения, я отвечала, что до сих пор, сколько я знаю, их не было, но что, ввиду все учащающихся

случаев самоубийств и психических расстройств среди сосланных, а также и потому, что нельзя же всю жизнь карать человека за одну ошибку, я рассчитываю, что администрация примет все это во внимание и снизойдет к моей просьбе.

— За одну ошибку, как вы говорите, а по понятиям администрации — за политическое преступление, она вовсе не карает всю жизнь: например, ваш сын сослан только на пять лет. И если он в это время не совершит нового политического преступления, а по вашей терминологии, ошибки, он будет освобожден и может держать какие угодно экзамены.

— Ссылку обыкновенно приходится считать вдвое сравнительно с сроком, первоначально назначенным администрациею. Если такой срок определен в пять лет, то по истечении этого времени ссыльного в громадном большинстве случаев освобождают еще не совсем, а лишь дозволяют передвинуться в местность, с несколько более благоприятными условиями для жизни, где ему приходится провести еще два-три года; затем ему разрешают переехать в еще более культурный пункт, где он опять проводит столько же. А через лет десять, когда ему уже не помешают жить в провинциальных университетских городах, молодой человек обыкновенно до такой степени исстрадается в ссылке, выпьет до дна всю чашу всевозможных ужасов, сопряженных с нею, что уже совершенно теряет стремление к научной деятельности, при этом нервы его вконец расшатались, здоровье ослабело. В продолжение этих десяти лет оторванный от всего близкого и родного, он чаще всего обзаводится семьею, а между тем найти заработок без университетского диплома в настоящее время чрезвычайно трудно.

На вопрос князя, чем он может мне помочь в этом деле, я просила его, если у него будет запрос о моем сыне из министерства внутренних дел или из министерства народного просвещения, не ставить ему препятствий для временного отпуска его из ссылки.

— Если местная администрация не укажет на какие-нибудь неблаговидные поступки по отношению к ней с его стороны, я даю вам слово не ставить ему ни малейших препятствий, а указать даже на его склонность к серьезным занятиям, о чем мне сообщали уже не раз. Я сделаю это охотно, потому что вполне сочувствую вашему предприятию и искренно желаю вам успеха.

Я просила его о дозволении прислать ему по почте

изложение на бумаге всего дела, но он отклонил это, обещав не забыть. По прекрасному впечатлению, произведенному на меня князем Голицыным, я вполне поверила его слову, и не ошиблась. Впоследствии ему действительно был сделан такой запрос, и он дал вполне хороший отзыв.

Господи, каким восторгом билось мое сердце, когда я возвращалась домой! Первая попытка увенчалась успехом,— это очень подбадривало меня при многих последующих препятствиях. Я не раз слышала о том, какую массу хлопот приходится предпринимать и как долго длятся они, пока добиваются перевода даже крайне больного ссыльного для лечения у специалиста, хотя бы даже и в местность, весьма удаленную от культурных центров. Подобные разрешения получались нередко уже тогда, когда ссыльный умирал или по слабости здоровья совершенно не мог предпринимать никакого путешествия. Это заставило меня вплотную приступить к хлопотам уже в 1889 году; начать их я решила с департамента полиции.

Порядки в этом учреждении в период его управления Петром Николаевичем Дурново в качестве директора были образцовые. Такое суждение я высказываю не как специалист, понимающий механизм чиновничьей машины, а только как человек, которому приходилось нередко обращаться в учреждения, имеющие целью, как говорилось тогда на официальном языке, уничтожение крамолы или искоренение неблагонадежных элементов. Только в департаменте полиции, начальником которого был в то время П. Н. Дурново, можно было скоро добиться необходимых сведений, только в этом учреждении не прибегали к ненужным обманам родственников арестованных или осужденных за так называемые политические преступления. В остальных учреждениях этого рода без церемонии прибегали к совершенно бесцельным обманам, что страшною болью отзывалось в сердцах людей, близких осужденному, уже и без того измученных его печальною участью. Так, например, получается известие, что арестованный будет отправлен в ссылку через столько-то времени, нередко с точным обозначением дня отправки. Несчастных родителей ради этого случая очень часто выписывали из отдаленной провинции. Бросив все дела, они приезжали в назначенный срок, надеясь повидать своего сына или брата, а то и для того, чтобы проститься с ним навсегда перед вечной разлукой, между тем этого сына или брата уже отправили в ссылку за несколько дней до назначенного родственникам срока. Но директор департамента полиции П. Н. Дурново не прибегал

к таким бессмысленным средствам, и чиновники держались при нем корректно, наводили надлежащие справки даже тогда, когда родственникам политических случалось приходить за ними в неприемные дни директора. Что Дурново держал их всех в струне, видно из того, что, как только он ушел из департамента, все порядки в нем сразу изменились к худшему для родственников политических.

Петр Николаевич, поскольку мне приходилось сталкиваться с ним в этом учреждении, был человек вспыльчивый, но отходчивый, относился к нам, родителям, с непоколебимою прямотою, доходящей нередко до невероятной грубости, но характер его в известной степени не лишен был своего рода благородства. Правда, он нередко утешал убитую горем старуху-мать такими словами: «Ваше сведение вполне справедливо о том, что вашего сына хотели отправить в ссылку на три года, а я подал голос за пятилетний срок,— за содеянное им и этого еще мало...» Но напрасно заставлять терять время за какой-нибудь справкой, давать заведомо облыжное указание — этого не водилось при нем в департаменте полиции. Петр Николаевич был таким же врагом ненужной жестокости, хитрости и двоедушия, каким он был врагом «политических авантюристов», как он называл арестованных и осужденных по политическим делам. Если враг был у него в руках и «сидел смирно», как он выражался, он не прочь был исполнять маленькие просьбы его родственников: дозволял им иногда лишнее свидание, давал разрешение двум, а то и трем лицам, в экстраординарных случаях ходить на свидания к заключенным, допускал с воли врача к сильно занемогшему и дозволял кое-что другое в таком же роде. Конечно, он был всегда на страже, чтобы его даже и такая снисходительность не переходила границ. Иногда во время приема, строго соблюдая очередь, он подходил к девушке, которая просила его разрешить ей свидание с таким-то арестованным, так как она его невеста. Директор тут же приказывал немедленно справиться, сколько лиц приходит на свидание к такому-то политическому. Если оказывалось, что их уже двое или трое, он обращался к девушке с словами вроде следующих: «Невест-то у него еще много будет! Я не могу дозволить переполнять приемную». Если же к заключенному приходило мало посетителей, он обыкновенно не отказывал в просьбе желающим. Бывали и такие случаи: смотритель спрашивает нас, ожидающих свидания с заключенными, не может ли кто-нибудь из нас найти для такого-то политического товарища или знакомого, который поже-

лал бы его навещать: «Директор дал знать, что он дозволит свидания». Когда мы расспрашивали смотрителя о заключенном, которого никто не навещал, он рассказывал нам, что его родные в провинции, а он заскучал и мало ест. Неизвестно, конечно, вытекало ли это из чувств человеколюбия или из боязни все большей смертности в тюрьмах.

Хотя Петр Николаевич и мне делал немало подобных одолжений, но я чрезвычайно побаивалась идти к нему в этот раз, так как дело шло об одолжении несравненно более серьезном, чем все предыдущие; особенно опасалась я его гневной вспышки и того, что он, выслушав первую фразу, не даст мне до конца изложить мою просьбу. И вот в день и час его приема я стояла среди просителей, которых у него всегда было очень много. Когда очередь дошла до меня, то прежде чем я успела открыть рот, гнев внезапно охватил его в такой степени, что все лицо его покрылось красными пятнами.

— Как, опять вы? Чего же вы, наконец, хотите от меня? Разве для вас мало было сделано? Несмотря на серьезное политическое преступление, ваш сын отдыхал у вас на даче; вместо того чтобы опять посадить его в тюрьму, я отправил его в деревню. Но и там ему не пожилось! Для него все слишком плохо и всего мало! Да чего же вы, наконец, желаете? Если вы так дрожите над своим сыном, вы и должны были так воспитать его, чтобы он не занимался политическими авантюрами.

В продолжение всей этой речи я только и думала о том, как бы улизнуть. Как только он подвинулся вперед, я тихонько выскользнула из круга посетителей. Он не спросил меня даже, зачем я приходила. А между тем, исполнял он или нет просьбу посетителей, он всегда внимательно выслушивал каждого. Однако на этот раз вспышка гнева заставила его забыть о том, что он не дал мне высказать моей просьбы. Но я была бесконечно рада этому: если бы он тогда спросил меня, в чем моя просьба, я должна была бы ему объяснить задуманное мною, а так как он был не в духе, то это вызвало бы с его стороны еще несравненно больший гнев. Неудавшаяся попытка заставила меня не показываться директору на глаза довольно продолжительное время, но когда я снова пришла к нему, то по выражению его лица мне показалось, что он настроен более благодушно, чем в последнее наше свидание.

— Вы ведь как-то совсем недавно приходили сюда? О чем вы тогда просили?

— В последний раз я не решилась высказать вам свою просьбу, ваше превосходительство.

— Почему же? Я, кажется, всех выслушиваю! Я не могу выполнять всех фантазий просителей относительно политических преступников, но разумную просьбу я по возможности стараюсь удовлетворять. В чем же дело?

Но голос мой, несмотря на мои усилия, не слушался меня, язык не поворачивался.

— Если вы чем-нибудь стесняетесь, войдите в кабинет после приема.

Я так и сделала, но и оставшись с ним с глазу на глаз, долго собиралась с силами: прокашливалась, заикалась, путалась. Наконец у меня вырвалось как-то само собой:

— Хочу просить о дозволении моему сыну держать государственные экзамены, а для этого прошу разрешить ему на время приехать из ссылки.

Директор сидел через стол напротив меня и наклонился, чтобы лучше вслушаться в мои слова.

— Совершенно не понимаю, что такое: говорите громче.

Наконец я высказала то, что хотела, и настолько определенно, что для него уже не могло быть ни малейшего сомнения в том, о чем я прошу. Директор весело и добродушно расхохотался.

— С такими просьбами еще никто ко мне не обращался! Ну и фантазерка же вы! Ведь вот что выдумали! Только этого и недоставало. Разве вы не понимаете даже и того, что это гораздо более зависит от других, чем от меня?

— Но если бы все лица, от которых зависит такое разрешение, согласились исполнить мою просьбу, могу ли я рассчитывать, ваше превосходительство, что вы с своей стороны не будете этому препятствовать?

Быстро выговорив все это, я решила, что теперь уже долготерпение директора лопнет и надо мною разразится гроза. Я встала с кресла, чтобы ретироваться при первой возможности. Но вдруг Петр Николаевич опять раскатисто расхохотался и, махнув рукой, проговорил:

— Не буду, не буду мешать!

Все отношения П. Н. Дурново как ко мне, так и к другим родственникам «политиков» вполне свидетельствовали о том, что он честно держит свое слово, но я понимала, что обещание, данное мне, скорее носило насмешливый, чем серьезный характер; его смех и слова при этом звучали издевательством над моею наивностью. Но что же делать! Если бы в них было еще более яда, не могу же я из-за этого похерить надежду, которая так поддерживает меня? Не

могу же я не идти дальше, не добиваться достижения своей цели? И я решила, что если и не добьюсь успеха, то по крайней мере буду чиста перед своею совестью, что, несмотря ни на что, сделала решительно все, что только могла.

После этого я начала всех расспрашивать о Делянове и о том, как он принимает посетителей. Наконец я встретила знакомого С., который лично хорошо знал Делянова. Он мне сообщил следующее: на приемах у министра он не бывал, но ему не раз приходилось беседовать с ним и слышать его рассуждения о многих современных вопросах.

— Я нисколько не сомневаюсь в том,— сказал он мне,— что, по мнению министра, удовлетворять подобные домогательства, как ваше,— значило бы поощрять студентов к политическим преступлениям. Делянов человек не злой, иногда выказывает даже мягкосердечие, но на редкость слабохарактерный. Если бы и была какая-нибудь возможность уломать его исполнить вашу просьбу, то уже затем вам пришлось бы встретиться с таким препятствием, преодолеть которое совершенно немыслимо. Дело в том, что у Делянова два докладчика: Аничков и Эзов. Все, о чем у него просят, должно быть изложено на бумаге. Аничков, главный и почти единственный докладчик, рассматривает все просьбы и докладывает их министру, делая при этом свои замечания, высказывая о них свои мнения. Это человек с непреклонною волею и настоящий злопыхатель, с самыми заскорузлыми реакционными взглядами,— вот он-то и оказывает на Делянова громадное влияние, и конечно, в самом консервативном смысле. Если бы и возможно было такое чудо, что министр был бы не прочь благосклонно отнестись к вашей просьбе, то Аничков счел бы своим долгом напомнить ему, что относительно политических все подобные поблажки — антигосударственный проступок. По-видимому, Делянов сильно побаивается Аничкова, но в то же время крепко прицепился к нему. Если бы доклады министру делал Эзов, я бы посоветовал вам попытать счастья, хотя и тогда едва ли ваша просьба могла бы иметь успех. Но при Эзове все-таки была бы какая-нибудь надежда: это весьма образованный, порядочный и вполне благожелательный человек. Я уверен, что он сделал бы все, чтобы поддержать вашу просьбу перед министром. Но ему поручаются доклады лишь в самых редких случаях, когда Аничков по делам куда-нибудь уезжает или когда он хворает. Но, насколько мне известно, он всегда здравствует и крайне редко куда-нибудь уезжает.

Я просила моего знакомого известить меня, если вдруг, совершенно неожиданно, Эзов явится докладчиком. Мне интересно было также узнать мнение С., почему Делянов, побаиваясь Аничкова, держится за него более крепко, чем за Эзова.

— Вероятно, потому, что Аничков более соответствует как его взглядам, так и современному положению вещей: вдохновляемый им, министр не боится совершить какую-нибудь оплошность относительно правительства при его современном направлении. Что же касается самого Аничкова, то, зная слабость министра просвещения, которого вследствие бесхарактерности можно хотя изредка чем-нибудь разжалобить или склонить на что-нибудь более или менее либеральное, он и старается быть у него единственным докладчиком.

Я решила пока выжидать. Вдруг в Петербурге появилась какая-то неизвестная до тех пор эпидемия, которая валом валила с ног массу народа. В газетах то и дело появлялись известия о том, что на той или другой фабрике, в школе, в казармах внезапно заболело множество людей; немало больных оказывалось и среди всех классов общества. Доктора назвали эту эпидемию инфлюэнцией [11]. Я немедленно написала моему знакомому, чтобы он справился, не захворал ли Аничков. Каково же было мое удивление и мой восторг, когда мой знакомый через два-три дня после этого приехал сказать мне, что Аничков действительно захворал, что доклады министру, по крайней мере в продолжение нескольких дней, будет делать Эзов. И я отправилась к Делянову в дом армянской церкви, где он жил тогда. В вестибюле швейцар взял мою верхнюю одежду, и я, поднявшись на одну лестницу, очутилась в крошечной передней, которую скорее можно было назвать узеньким коридорчиком. Налево была дверь в кабинет министра, а против входа — дверь в приемную. В передней у окна стоял человек и усердно читал газету. Он стоял спиной к окну, так что ему видно было и ожидающих в приемной, и тех, кто выходил от министра. Он был одет в обычное штатское платье, и я не могла понять, какую должность он мог занимать. По отсутствию форменной одежды и по весьма интеллигентному выражению лица я не могла представить себе, чтоб это был простой лакей.

В приемной, куда я вошла, несмотря на полдень, стоял полумрак; публика — дамы и мужчины — сидела, не двигаясь и не разговаривая между собой, напоминая не живых людей, а каменные изваяния. Я думала, что, когда наступит

время, назначенное для приема, министр войдет в общую комнату и будет выслушивать нас по очереди, как это я видела у министра юстиции и в департаменте полиции. Однако прошло около часа, а до нас не доносилось ни звука, стояла по-прежнему гробовая тишина: никого не вызывали из приемной и никто не выходил от министра. Секретарь, лакей, или лучше назову его «любитель газет», стоял у окна, не меняя своего занятия: брал газету из одной пачки, быстро просматривал ее и, тщательно сложив, клал на другую сторону. Я подошла к нему со словами:

— Простите, что я вас беспокою, но очень прошу вас сказать мне, примет ли меня сегодня министр?

— Я это знаю столько же, сколько и вы,— отвечал он холодно, продолжая и в эту минуту читать, а может быть, только смотреть в газету.

— А в данную минуту министр принимает кого-нибудь?

— Конечно.

— Будьте любезны, скажите мне,— может быть, я должна послать министру мою визитную карточку?

Он на минуту поднял голову от газеты и, иронически скривив губы, отвечал:

— Вы сами должны знать, имеете ли право посылать министру свою карточку.

Презрительный тон «любителя газет» и его высокомерие убедили меня, что послать министру визитную карточку было бы с моей стороны величайшею бестактностью, а может быть, и дерзостью. Очевидно, и для исполнения такого простого обычая нужно иметь известные права.

Я опять уселась на свое место, еще просидела несколько минут, но ненарушимая тишина стояла по-прежнему. Я спустилась вниз поговорить со швейцаром. Прежде чем открыть рот, я протянула ему несколько серебряных монет, и он опрометью бросился подавать мне пальто.

— Нет, нет... Я еще не ухожу. Я хочу с вами поговорить.

— С превеликим моим удовольствием, ваше превосходительство.

Я хотела возразить ему, что я не превосходительство, но сочла это невыгодным для данной минуты.

— Скажите, пожалуйста, есть у министра прием сегодня? А если есть, то почему же из приемной никого не вызывают к нему и он сам не выходит к посетителям?

— У него сидит военный генерал, вон и ихнее пальто.

— Но ведь прошло уже более часа. Когда же министр успеет всех принять?

— Это вы верно сказали: его сиятельство никак не успеет всех принять. У нас сегодня до тридцати человек. Все ж примет двоих-троих. А те, с кем не успеет переговорить в этот раз, придут в следующий приемный день. Его сиятельство, граф наш, добрейшей души человек. Он ко всем снисходит. Мне нередко говаривает: «Смотри, всех ко мне принимай: одёжа ли у кого простая, значит бедная, от моей двери никого не гнать». И как уж наш граф прост со всеми в обхождении! Точно он и не граф, точно он и не министр, точно он и не первеющее лицо в государстве.

— Однако как же долго приходится ходить к министру, чтобы наконец быть принятым им?

— А как же быть-то, ваше превосходительство? Ведь ежели, примерно сказать, придет к нему полный генерал либо придворный важный чин, ведь такого-то нужно отличить от других? Не может же его сиятельство два-три слова сказать с важнеющим лицом, да и по шапке его!

Но в эту минуту мне послышался сверху какой-то шум, и я бросилась на лестницу. Оказалось — пустая тревога. Я очень пожалела, что не успела спросить у швейцара, какую должность занимает при министре «любитель газет», столь нелюбезно отвечающий на вопросы. Посидела я в приемной еще несколько минут, и так как по-прежнему не было ни малейшего движения, то я подумала, что мне придется много и много раз приходить к министру, прежде чем удастся переговорить с ним, и что за это время, пожалуй, Аничков успеет выздороветь. Эта мысль придала мне такую отчаянную смелость, что я решительно подошла к «любителю газет», продолжавшему свое чтение, и положила поверх пачки трехрублевую бумажку, стараясь при этом загородить собою дверь в приемную, чтобы мой фортель не был замечен сидящими в ней.

— Не сочтите это за дерзость... Пожалуйста, возьмите, простите, что мало... Объясните, бога ради, как добиться аудиенции у министра?

Любитель газет быстро обернулся ко мне, преспокойно взял трехрублевую бумажку, сунул ее в карман, вошел в приемную, вынес оттуда стул, прикрывая свободною рукой половинку открытой двери, и сказал, наклоняясь ко мне:

— Садитесь и пишите, что я вам продиктую.

При этом он достал из стола письменные принадлежно-

сти, нажал пружинку чернильницы и, подавая мне перо, спросил:

— Ваше имя, фамилия и звание?

— Писательница Елизавета Николаевна Водовозова.

— Писательница? Вы пишете в газетах или журналах?

— Я пишу книги и сама их издаю.

— Так это же прекрасно! — И он, быстро наклонившись к самому уху, начал диктовать приблизительно следующее:

— Ваше сиятельство, господин министр, простите, что я решаюсь беспокоить вас своею покорнейшею просьбою принять меня сегодня же,— меня вынуждает к этому неотложное дело.— Когда я хотела подписать свою фамилию, он остановил меня: — Назовите ваши сочинения,— и, когда я назвала, он продиктовал: — Писательница и издательница, автор книг «Жизнь европейских народов», в трех томах, и педагогического сочинения «Нравственное и умственное развитие детей».

Только что я успела встать со стула, как послышались голоса у двери кабинета министра. Я вскочила в приемную и увидела, как высокий военный генерал проходил по кабинету. Не прошло и пяти минут после этого, как мой теперешний «благожелатель» вошел в приемную с словами:

— Его сиятельство министр народного просвещения приглашает к себе госпожу Водовозову.

Я вышла из приемной, но он опередил меня и раскрыл передо мною дверь кабинета министра. Когда я подошла к письменному столу, у которого сидел Делянов, он встал и протянул мне руку со словами:

— Я знал вашего покойного мужа. Как же, как же... Я прекрасно знал Василия Ивановича. Мне нередко приходилось беседовать с ним еще в ту пору, когда я был попечителем Петербургского учебного округа. Очень рад с вами познакомиться. Но скажите, пожалуйста, зачем это вы три тома написали о жизни еврейских народов?

— Я не писала, ваше сиятельство, о жизни еврейских народов: три тома моего труда носят название «Жизнь европейских народов».

Он взял со стола лист, написанный мною, и бегло взглянул на него.

— Ну да... ну да... я знаю, вы написали «Жизнь европейских народов», но ведь у вас тоже есть и труд «Жизнь еврейских народов»,— настаивал он, видимо желая какнибудь вывернуться.

Мне пришлось повторить сказанное.

— Я знаю, у вас много книг... В качестве министра просвещения мне приходится знакомиться с огромным количеством выходящих изданий.

Весь этот разговор шел стоя, но тут министр указал мне на кресло, приглашая сесть, и, сам усаживаясь к столу против меня, подвигая ко мне коробку с папиросами, спросил:

— Вы курите?

Получив отрицательный ответ, он продолжал:

— А то, пожалуйста, не стесняйтесь! Не в моем характере стеснять кого бы то ни было. Я человек простой. Ко мне каждый может прийти: и богатый, и бедный, и человек, занимающий высокое положение, и совершенно простой. Для меня решительно все равны. Каждый может изложить мне свои желания,— я всех выслушиваю с одинаковым вниманием.

— Это и дало мне смелость явиться к вашему сиятельству.

Делянов действительно держал себя совершенно просто: ни в тоне речи, ни в его манерах не было ничего начальственного, никакой напускной важности или искусственности. Вот эта-то простота обращения и дала мне возможность разговаривать с ним без малейшего стеснения. В то время ему, по виду, было за шестьдесят лет. В его внешности меня поразило только необыкновенно круглая форма его головы.

— Вы получаете пенсию после смерти вашего мужа?

Я отвечала, что пенсии не получаю, так как мой покойный муж прослужил в гимназии лишь двадцать один год, но что я пришла к нему совсем по другому делу.

— Ввиду заслуг Василия Ивановича на пользу просвещения, что вполне признано министерством народного просвещения, вы смело могли бы хлопотать о получении пенсии или, по крайней мере, полупенсии. Что же касается затруднений вследствие упущения времени и других препятствий, я счел бы своею обязанностью посодействовать вам, насколько это для меня возможно.

— От всей души благодарю, ваше сиятельство, но не об этом я пришла вас просить.

— Как, вы отказываетесь от пенсии? Следовательно, вы имеете хорошие материальные средства?

— Я решительно не имею никаких средств и живу исключительно литературным трудом.

— Странно! Очень странно! Как-то не приходилось

слышать, чтобы кто-нибудь упускал случай получать пенсию, когда для этого есть какая-нибудь возможность. Чем же я тогда могу быть вам полезным?

Я вкратце рассказала ему о ссылке моего сына и просила его дозволить ему приехать в Петербург держать государственные экзамены.

— О чем вы могли бы просить и относительно чего я предлагаю вам мои услуги, вы категорически уклоняетесь... Как же вы, сударыня, не принимаете в расчет, что я как министр просвещения обязан беречь молодое поколение от нравственной порчи, от политической заразы? Исполнив вашу просьбу, я допущу политического преступника в общество студентов, в аудиторию с остальными... Он опять начнет развращать молодежь, как и прежде.

На мой вопрос, каким образом мой сын развращал студентов, Делянов настойчиво отвечал:

— Да-с, развращал, это мне доподлинно известно! Университетское начальство и профессора прямо говорили мне об этом. Ведь за это-то его и сослали.

Я возражала, что он выслан за перевод Туна и за примечания к нему.

— Очень возможно, что это было уже последнею каплею. Но он развращал студентов своими речами и разглагольствованиями в «Научно-литературном обществе», вся научность которого заключалась в том, чтобы вести противоправительственную пропаганду [12]. Речи, рефераты молодых людей в этом обществе носили характер исключительно недозволенной пропаганды, дерзкой и крайне вредной.

— Насколько мне известно, на собраниях этого общества обыкновенно присутствовал кто-нибудь из профессоров.

— Что же из этого? Немало оказалось и таких профессоров, которые даже с кафедры вели революционную пропаганду. Вот, например, господин С⟨емевский⟩: он считается историком, а миропонимание этого ученого чисто революционное, сплошное осуждение правительства, даже в прошлом. С его точки зрения, основа нашей исторической жизни никуда не годна: наши финансы, экономическое положение народа — все это было отчаянное, неправда царила всюду, жестокости происходили такие, каких в то время нигде не бывало. И вот, изволите ли видеть, несмотря на то что в нашем прошлом ничего не было, кроме ужаса и мрака, Россия, слава богу, живет, и не только живет, но во всем мире считается могущественнейшею державою. Нет-с... таких вредных господ я не допущу на кафедру.

Пускай пишет что угодно, это не мое дело. А вы, сударыня, сознайтесь чистосердечно, так же чистосердечно, как я с вами беседую, что вы решились вырвать у меня дозволение для вашего сына держать государственные экзамены с целью, чтобы затем потихоньку да полегоньку вытащить его на кафедру?

— Вполне чистосердечно сознаюсь вам, ваше сиятельство, что я никогда не читала и не слыхала, чтобы какая-нибудь мать могла втащить своего сына на кафедру. Может быть, это возможно при могущественных связях. Я же не имею никакой протекции, и даже к вам явилась по простому указанию в газетах о времени вашего приема.

— Для того чтоб явиться ко мне, никому не нужно запасаться ни протекциями, ни рекомендациями: и бедным, и богатым, и знатным, и простым смертным — для всех широко открыта моя дверь.

— Вы только что сказали, ваше сиятельство, что заслуги моего покойного мужа признаны министерством просвещения и дают ему право на получение если не пенсии, то полупенсии. Я вместо этого прошу лишь об одном — дозволить моему сыну держать экзамены. Только об этом прошу, и больше ни о чем я не посмею утруждать вас.

— Ах, нет, нет! — заговорил министр даже с каким-то испугом, точно я прижимала его к стене.— Это даже очень нехорошо с вашей стороны, что вы так настаиваете на одном и том же! Это просто какое-то нравственное насилие! Поймите же: я не могу отказаться от своих взглядов на политических преступников. Мне из-за этого могут даже сделать запрос, почему я начинаю мирволить таким господам, как революционеры, которых я всегда считал величайшими врагами государства.

— Но ведь мой сын пострадал только за перевод сочинения немецкого профессора Туна. Ваше сиятельство, прошу вас, исполните мою просьбу.

— Нет, пожалуйста, прекратите этот разговор. Вы так настоятельно... так горячо об этом просите, что меня это даже волнует.— Он опять произносил это как-то по-детски, жалобно и точно испуганно.— Но я желаю от души быть вам полезным, а потому прошу вас, объясните мне чистосердечно причину, почему вы отказываетесь от пенсии.

Я отвечала, что могу изложить все дело вполне откровенно, но ввиду его посетителей очень боюсь его задерживать. К тому же я человек не светский, не сумею облечь в надлежащую форму то, что я желаю сказать, не сумею

найти те обороты речи, в каких я только и могла бы все изложить ему как министру.

— Насчет посетителей это уже моя забота. Повторяю, я всегда доступен для каждого: для меня несть эллин, несть иудей [13]. Что же касается выражений, которых вы боитесь не найти в вашем лексиконе, чтобы достаточно почтить меня как министра просвещения, то я враг официального чинопочитания. Да и вы, сударыня, не чиновник, числящийся на службе по моему ведомству.

И я правдиво и откровенно изложила ему следующее: когда разразилось дело Каракозова, у нас в доме не было никакого обыска, не призывали и моего покойного мужа к какому бы то ни было допросу или объяснению. Это было вполне естественно: он ни в каракозовском и ни в каком другом политическом деле не участвовал. А потому, когда весною кончились уроки в гимназии, он совершенно покойно уехал с семьею в деревню. Возвратился он в Петербург в половине августа, накануне начала своих занятий. На другой день он отправляется в гимназию на урок и вдруг узнает от швейцара, что его место занято другим учителем, который сегодня в первый раз только что явился на урок. Не веря своим ушам, Василий Иванович бросается к директору гимназии. Тот заявляет ему, что из министерства просвещения очень недавно получено официальное извещение о том, что В. И. Водовозов увольняется от занимаемой им должности в гимназии без объяснения причин [14]. При этом директор добавил, что до получения этого заявления у него о Василии Ивановиче решительно никто ничего не спрашивал, никто не собирал о нем никаких сведений. Он, директор, сам поражен этим инцидентом и рассчитывал выяснить причину этого загадочного увольнения из личных объяснений Василия Ивановича.

Выгнанный без всякой причины и так неожиданно и бесцеремонно из гимназии, мой покойный муж прямо от директора гимназии отправился в пиротехническое и аудиторское училища [15], рассчитывая, что хотя в этих двух учреждениях у него сохранились еще занятия. Но и из этих двух заведений он тоже оказался уволенным без объяснения причин. Итак, моего покойного мужа уволили в 1866 году из всех заведений, где он преподавал [16], уволили без всякого предупреждения, как не увольняют даже кухарку в порядочном доме. Таким образом, вся моя семья буквально была вышвырнута на улицу без куска хлеба. Но это еще далеко не все: когда через два-три года после этого то одно, то другое частное заведение предлагали ему учи-

тельское место, он предупреждал, что уволен из казенных заведений, но его уговаривали согласиться, взяв на себя хлопоты о разрешении. Однако ему не разрешали преподавания и в частных заведениях. А принц Ольденбургский, узнав, что начальница одной из частных гимназий предложила Василию Ивановичу место учителя литературы, сказал ей: «Как могли вы даже подумать о том, чтобы пригласить к себе такую политически скомпрометированную личность? Водовозов — Каракозов; обе фамилии недаром рифмуют друг с другом!»

В это время я тоже не могла помочь ничем моей семье. За полгода перед этим Александр Карлович Пфель *, по желанию одной высокопоставленной особы, решил устроить новый класс с программою женской гимназии, в который допускались бы лучшие ученицы различных училищ и женских приютов. Преподавательские места в этом вновь открывающемся учреждении могли, между прочим, занимать и женщины, выдержавшие экзамены на младшего учителя гимназии. Вместе с тремя другими женщинами я была допущена к экзаменам, выдержала их, была принята преподавательницею и должна была начать уроки со второй половины августа. В назначенное время я явилась на уроки, но Пфель заявил мне, что учреждение этого нового класса затягивается **, но, во всяком случае, я не была утверждена в качестве преподавательницы и мне не дозволяется преподавание потому, что в 1861 году, во время студенческих волнений, я произнесла речь студентам, для чего будто бы даже взобралась на дрова [18]. Я немедленно представила мой институтский аттестат, из которого видно было, что я окончила курс в Смольном институте лишь в 1862 году, то есть через шесть месяцев после означенного события, следовательно, в то время, когда меня обвиняли в произнесении речи, я безотлучно находилась в четырех стенах закрытого учебного заведения. Но это не помогло. Видимо, уже решено было наперед во что бы то ни стало измором извести мою семью. Как же мне после этого принять пенсию от министерства просвещения, которое так беспощадно губило жизнь моей семьи? Я не только не

---

* Чиновник особых поручений при Четвертом отделении собственной его величества канцелярии [17], который через два года после этого получил звание почетного опекуна и управляющего Московским воспитательным домом с его округами, Николаевским сиротским институтом и др. *(Примеч. Е. Н. Водовозовой.)*

** В конце концов это учреждение не устроилось. *(Примеч. Е. Н. Водовозовой.)*

думала в настоящее время о пенсии, но даже немедленно после смерти моего покойного мужа, когда одно лицо предложило мне хлопотать об этом, я наотрез отказалась. Мне казалось, что, если бы я поступила иначе, кости моего покойного мужа перевернулись бы в гробу.

И вдруг я тут только спохватилась и сообразила, что совсем не так должна была излагать это дело министру, который, насупившись, сидел молча, не проронив ни слова во время моего рассказа.

— Я терпеливо выслушал вас, но не как министр народного просвещения, а как частное лицо. Прошу вас помнить об этом, сударыня. Вот что я замечу относительно вашего длинного повествования о всех жестоких преследованиях и несправедливостях к вам правительства. Конечно, ошибки везде возможны, но, простите, сударыня,— не относительно покойника. А между тем вы говорите об его увольнении с такою злобою и раздражением даже теперь... Вы стараетесь указать, как на величайшую несправедливость, на то, что Василия Ивановича уволили из гимназии без объяснения причин, и вы, видимо, не допускаете даже мысли, что власти имели полное моральное право так поступить. Не я был тогда министром просвещения, но, будучи лично знаком с Василием Ивановичем, я интересовался им и прекрасно знаю, что он во время всей своей преподавательской деятельности то и дело выступал на педагогических учительских совещаниях с различными своими протестами против общего решения своих же товарищей-учителей, особенно когда дело шло об исключении какого-нибудь негодного ученика.

— Это действительно случалось, но он протестовал лишь тогда, когда увольняли лучших учеников за какую-нибудь шалость или за ничтожный проступок. Совесть не позволяла ему присоединяться к мнению товарищей, которые с легким сердцем портили жизнь тому или другому юноше.

— Я уважал покойного Василия Ивановича, но, простите, сударыня, не думаю, чтобы, кроме него, все остальные учителя были люди бессовестные. Вы изволили сказать, что он протестовал тогда, когда учеников увольняли за простые шалости и ничтожные проступки. А я до сих пор вспоминаю случай, когда Василий Иванович остался при особом мнении даже тогда, когда проступок одного гимназиста возмутил всех порядочных людей и когда все требовали строгой кары провинившемуся. Я говорю про гимнази-

ста, который пустился отплясывать вприсядку перед своим священнослужителем, перед своим законоучителем.

— Это было не совсем так, ваше сиятельство: священник опоздал на урок, ученики думали, что он уже не придет, и один из них действительно начал плясать, но как только заметил входящего священника, сейчас побежал на свое место.

— Танцы и пляска не запрещены, но не в классе. Неуместны они особенно перед уроком закона божия, когда ум ученика должен быть направлен на соображения высшего характера. Негодный мальчишка устроил эту дерзость, чтобы похвастать перед товарищами, показать им, как он пренебрежительно относится к таким предметам, как закон божий, и к таким преподавателям, как его законоучитель. А Василий Иванович одобрял и такие поступки учеников и находил, что удаление из заведения и самых безнравственных мальчишек — преступление. Вот, сударыня, подобные-то протесты против общего решения товарищей-учителей и заставили смотреть начальство на Василия Ивановича как на человека беспокойного и неблагонадежного. Именно неблагонадежного: это слово прекрасно определяет поведение человека. Кроме протестов, несомненно, за покойником числились и другие немалые прегрешения, но подымать всю эту историю при его увольнении, выяснять все это, как вы желаете, немыслимо. Что Василий Иванович был человеком действительно неблагонадежным и что этот эпитет вполне к нему подходил, он вполне доказал, когда у нас введен был классицизм [19], который благополучно господствует и в других культурных государствах Запада и всеми признается полезным при образовании юношества. Но Василий Иванович, конечно, оказался этим недоволен и всюду разносил правительство, всюду кричал о смертоносности классицизма, писал об этом, читал рефераты [20]. С вашей стороны, сударыня, неблагоразумно возмущаться тем, что его уволили, и уволили без объяснения причин. Нечего удивляться, сударыня, и тому, что его сын оказался революционером. Исполнить вашу просьбу — не могу: я не потатчик юношам такого сорта. К сожалению, к сердечному моему сожалению, решительно ничего не могу сделать для вас.

Я медленно спускалась по лестнице, утратив всякую надежду, сознавая, что мои дальнейшие шаги в этом направлении совершенно бесполезны.

— Вот, ваше превосходительство, какой продолжительной беседы вы удостоились! Его сиятельство умеет отли-

чать достойных людей! Почти целый час имели счастье провести с его сиятельством с глазу на глаз! — говорил швейцар, указывая мне на часы и подавая пальто. Вдруг с верхней площадки меня окликнул мой «благожелатель».

— Как же ваше дело? В чем оно заключается? Исполнил ли министр вашу просьбу? — торопливо спрашивал он меня, когда я опять поднялась на лестницу. При этом он чуть приоткрыл дверь передней, высунув голову и таким образом разговаривал со мною. В нескольких словах я сообщила ему, о чем просила министра и о результате моего ходатайства.

— Сдается мне, что этого очень трудно добиться! Но вы все-таки еще попытайтесь: напишите прошение как можно убедительнее. Только не упоминайте в нем о том, что он вам отказал. Принесите прошение сюда, сегодня же в девять часов и легонько постучите в эту дверь. «Его» не будет в это время, и я немедленно выйду к вам. Завтра утром все прошения я должен отнести господину Эзову, который читает их, делает доклад о них министру и при этом может замолвить за вас словечко. Вы сами к нему отправляйтесь завтра же в его приемные часы. Господин Эзов — человек очень обходительный.

Я с точностью исполнила эти советы и в назначенный час передала моему «благожелателю» прошение, предварительно положив на него, уже без всякого страха, скромную мзду.

Когда я на другой день вошла в приемную Эзова, его немногочисленные посетители уже расходились, и он пригласил меня в свой кабинет. Это был человек очень небольшого роста, худощавый до истощения, с печатью тяжкого недуга во всех чертах чрезвычайно симпатичного и интеллигентного лица. Он сказал мне, что уже успел прочитать мое прошение, вполне сочувствует матерям, стремящимся, чтобы их сыновья кончали университетский курс, что он в таком духе и будет говорить с министром. Но ввиду того что министр при личном свидании со мной так категорически отклонил мою просьбу, он, Эзов, очень сомневается в успехе. Но это не помешало ему подробно расспросить меня о высылке сына, о моем разговоре с министром, о моих занятиях, о моих изданиях.

Я утратила всякую надежду на благоприятный исход этого дела; формальный отказ, который я рассчитывала получить еще не скоро, казался мне даже лишней затяжкой, напрасно обременяющей мое и без того тяжелое, неопределенное положение. Вот потому-то и не было преде-

лов моему изумлению, когда через несколько дней М. И. Семевский приехал сказать мне, что Делянов дал разрешение моему сыну держать государственный экзамен, бумага им уже подписана и на днях я получу об этом официальное уведомление. Так как все это М. И. Семевский узнал от самого Эзова, то члены моей семьи очень заинтересовались, каким образом ему удалось уломать министра.

Вот что мы узнали. Когда дошла очередь до изложения моей просьбы, Эзов начал говорить министру о том, как много молодых людей лишены теперь возможности кончить университетский курс. Отчасти, говорил он, это происходит вследствие трудностей, сопряженных для ученика с классицизмом: для бедняка, не имеющего репетитора, трудно одолеть гимназический курс со всеми этими экстемпоралиями *, но отчасти и вследствие того, что за политические провинности, иногда совершенные по простому легкомыслию юношей, их исключают из университетов. Министр отвечал, что он прекрасно знает всю трудность классицизма для учащихся, что на это ему жалуются учителя, но не он его ввел. Что же касается политических провинностей молодежи, то это дело уже полицейских учреждений. Конечно, он, министр, находит, что революционный элемент необходимо искоренять самыми энергичными мерами, но, если проступок юноши не из тяжелых, он согласен, что такого не следует лишать образования, не дозволяя ему держать экзамены: «Выслать куда-нибудь на север подальше на год-другой, чтобы охладить горячую голову, вот и все». За суровые мероприятия он, министр, нигде не возвышал своего голоса.

— Я никогда не забываю, что моя задача — распространять образование, а не тормозить его.

— А между тем при том положении вещей, какое у нас теперь создалось в различных областях жизни, может скоро оказаться недостаток в людях, окончивших университетское образование. Вот, например, госпожа Водовозова: она просит ваше сиятельство разрешить держать государственные экзамены ее сыну, который был уволен из университета только за то, что дал отлитографировать перевод немецкого профессора Туна, которого, кстати сказать, не разошлось ни одного экземпляра. Что касается самого произведения Туна, то могу смело уверить вас, что в нем нет решительно ничего, могущего зажигать политические страсти.

* Здесь: контрольными работами (от *лат.* extemporalia).

— Я знаком, я, конечно, знаком с произведением Туна. Но видите, раз начальство что-нибудь запрещает, то решительно все, а тем более студенты, обязаны вполне подчиняться такому постановлению.

Кстати замечу, что Делянов, по рассказам лиц, имевших случай беседовать с ним и встречать его, когда при нем упоминали о каком-нибудь произведении, всегда утверждал, что прекрасно с ним знаком, хотя это ничем не подтверждалось. Очень любил он и повторять излюбленную фразу о том, что он никогда не забывает свою задачу распространять просвещение, а не тормозить его. Он вспоминал ее и тогда, когда его министерство повысило плату за университетское образование [21], говорил о своей любви к просвещению и в самую горячую пору своего похода против «кухаркиных детей» (как окрестило общество его циркуляр против поступления в средние учебные заведения детей низших сословий) [22], произносил он свою излюбленную фразу и тогда, когда ограничил прием в учебные заведения инородцев, когда для евреев была установлена процентная норма [23]. Сознавая непосильную трудность классицизма для большинства учащихся и ничтожную роль, какую во время его господства играли все остальные учебные предметы, Делянов, однако, крепко держался этой системы за весь период своего управления министерством просвещения. Но перейду к рассказу.

Лишь только в разговоре с Эзовым Делянов упомянул о том, что студент обязан повиноваться распоряжениям начальства, его докладчик заметил ему:

— Это несомненно так, ваше сиятельство. Но ведь студент Водовозов за содеянное и понес весьма чувствительную кару: предварительное тюремное заключение и пять лет ссылки. Я решаюсь вам указать и на другую причину, которая заставляет меня поддерживать просьбу госпожи Водовозовой: я не имею ни с нею, ни с ее сыном никакого личного знакомства, но она — писательница для юношества, книги ее имеют весьма значительное распространение, сама она вращается в известном литературном кругу, и при отказе ей все эти писатели начнут всюду кричать и распространять совершенно неправильную молву о вашем сиятельстве, доказывать, что ваше министерство тормозит дело просвещения.

— Да боже меня сохрани! Вам-то уже известно, что я всеми силами стараюсь распространять его.

— Так вот, ваше сиятельство: во избежание кривотолков подтвердите это вашею подписью.— И Эзов в ту же

минуту подал министру перо для подписи.— Если бы я,— говорил он,— пришел к министру за подписью через несколько часов, он бы, вероятно, уже раздумал дать ее.

Получив официальное разрешение от министра народного просвещения, я отправилась к директору департамента полиции в его приемный день. Среди многочисленных просителей я стояла последнею. Когда дошла очередь до меня, директор, с нескрываемою иронией, обратился ко мне:

— Что скажете новенького?

— Вы обещали, ваше превосходительство, если лица, от которых зависит дозволить моему сыну держать экзамены, согласятся на это, то и вы не будете препятствовать...

— Ах, боже мой! Да что вам, наконец, надо от меня? Вы опять с вашими нелепыми фантазиями! Это даже довольно неделикатно с вашей стороны! Мало вы предъявляли мне всяких просьб, мало вы наделали хлопот департаменту полиции?.. А теперь вы во что бы то ни стало желаете втянуть меня в ваши фантастические планы, в ваши авантюры!

— Но я получила формальное разрешение.— И я протянула ему бумагу с означенным уведомлением.

— Что? Что вы говорите? — расширив зрачки и в упор глядя на меня, спрашивал директор. Его необыкновенное изумление и суровая отповедь, как и всегда, напугали меня. В таких случаях мне казалось, что я что-нибудь сказала не так, как следует. Испуганная, я машинально повторяла уже сказанное и протягивала все ту же бумагу. Но он отстранил ее и, после нескольких минут раздумья, произнес:

— Зайдите в мой кабинет.

На мое счастье, мне пришлось не сейчас войти к нему,— его отвлекли какие-то посетители. Это дало мне возможность обдумать, что говорить, и я твердо решила не сообщать ему, каким простым способом я добилась осуществления раз поставленной себе цели. Когда я наконец вошла в его кабинет, я подала ему бумагу, которую он внимательно прочитал.

— Вы получили разрешение от его сиятельства графа Делянова! За мое директорство это первый случай такого разрешения. Я обещал вам не ставить препятствий, если другие разрешат, но такого оборота дела я никак не мог предвидеть. Впрочем, от своего слова я не отказываюсь. Да это было бы и бесполезно. Если вам удалось добиться разрешения от министра народного просвещения, вы сумеете

выхлопотать и все остальное. Да-с!.. Могущественные у вас связи! — и он встал, подавая мне руку.

Мой сын приехал в марте 1890 года держать экзамены, которые растянулись на весьма продолжительный срок: некоторые из них происходили до лета, остальные — после его окончания. Таким образом, мой сын, приехав из ссылки, прожил в Петербурге и его окрестностях до девяти месяцев. Вышло так, что даже во время лета департамент полиции не потребовал его возвращения в ссылку, так как сроки экзаменов были крайне неопределенные. Но мне выдавали лишь недолгосрочные отсрочки на право жительства моего сына в Петербургской губернии, а потому мне то и дело приходилось являться в департамент полиции. В таком случае я всецело подвергалась то суровому, то более снисходительному обращению со стороны директора. В первом случае он бросал не то гневные, не то раздраженные окрики вроде следующих: «Когда же этому будет конец?» — или упрекал меня за то, что я, заручившись всевозможными связями, поставила моего сына в особые условия, при которых ссылка не будет надлежащею карою за его преступление. Но я была уже обстрелянной птицей: молчала как убитая, чтобы дать пройти вспышке. И действительно, через минуту директор, обращаясь к чиновнику, уже давал надлежащее распоряжение на новую отсрочку.

В следующем году надо мной стряслась новая беда: мой второй сын, Николай, в то время студент юридического факультета, за присутствие на похоронах Н. В. Шелгунова в апреле 1891 года был подвергнут непродолжительному аресту, а затем исключен из Петербургского университета [24]. Скоро после этого до меня дошли слухи, что кому-то из уволенных студентов министр просвещения разрешил продолжать курс в провинциальном университете. И я во второй раз отправилась к Делянову, предварительно письменно изложив мою просьбу о дозволении моему сыну перейти в Дерптский университет [25]. Мой «благожелатель», по-прежнему дежуривший в передней министра, встретил меня по-приятельски, внимательно расспросил, в чем состоит мое новое дело, и подтвердил, что двое или трое, хлопотавшие о том же, получили дозволение. Но, когда я спросила его, нельзя ли мне ограничиться подачею прошения, он запротестовал, говоря, что при личном свидании дело будет вернее.

Здороваясь с министром и еще стоя с ним посреди комнаты, я изложила ему мою просьбу.

— Скажите, пожалуйста, сколько же, наконец, у вас сыновей? — ворчливым тоном спросил Делянов, знаком приглашая садиться. Я отвечала ему, что у меня два сына.

— И оба революционеры?

— Помилуйте, ваше сиятельство, какая же революция в том, что мой сын, будучи лично знаком с Шелгуновым, отправился на его похороны?

— А я утверждаю, что он отправился исключительно с целью протеста, с желанием публично заявить правительству: «Вы угнетали покойного, гоняли его по ссылкам [26] (хотя он заслужил несравненно более суровое к нему отношение), а мы, молодое поколение, за это-то и преклоняемся перед ним». Ведь я прекрасно знаю, что ваши сыновья не могут быть религиозными людьми: я лично был знаком с покойным Василием Ивановичем и с вами имел честь достаточно познакомиться, чтобы судить о том, что ваш сын отправился на похороны Шелгунова не для того, чтобы помолиться за душу усопшего раба божия, а чтобы вместе с другими студентами устроить революционную манифестацию. И как наивны эти молодые люди! Ну, сколько их там было? Для примера скажем триста, пятьсот, допустим даже, что их пришло бы, наконец, три и четыре тысячи... Скажите, пожалуйста, что такое для правительства три-четыре тысячи революционеров? Да решительно ничего! Появляется эскадрон жандармов и...— При этом министр вдруг поднял руку к своему лицу, повернул ее ладонью вверх и дунул. Этим приемом он, очевидно, желал наглядно показать мне, как при одном только появлении жандармов моментально исчезнут с лица земли все революционеры, точно пылинка при легком дуновении ветра.— Да еще пусть бога благодарят, что их только разгонят и рассадят по участкам. Правительство, по обыкновению, действовало в высшей степени милостиво и снисходительно: оно могло бы повернуть дело и так, что только мокренько бы осталось. А почему плодятся у нас эти несчастные, устраивающие демонстрации-манифестации? Только потому, что семейные начала крайне неустойчивы. У нас все сваливают на школу,— нет-с, извините-с... тут во всем виновата семья, в которой исчезли все устои, все добрые старые семейные традиции и добропорядочные принципы. Вместо того чтобы почаще повторять вашему сыну: «Остерегайся манифестантов, держи себя от них подальше, переходи на другую сторону улицы, как только их завидишь», а вы, сударыня, даже при отсутствии религиозных чувств, изволите отправ-

лять своего сына молиться за душу усопшего раба божьего под предводительством господина Михайловского.

— Михайловский шел за гробом не в качестве предводителя, а как ближайший друг Шелгунова.

— А! Вы, значит, знакомы с господином Михайловским! Прекрасным обществом вы окружаете ваших сыновей! Чего же удивляться, что они революционеры! И меня вот еще что интересует: скажите, пожалуйста, почему это вы, сударыня, вместо здоровой духовной пищи пичкаете ваших сыновей произведениями господина Михайловского, этого памфлетиста? — вдруг огорошил меня Делянов совершенно неожиданным мною даже от него обвинением. И высказал он это в такой странной форме, что у меня мелькнуло в голове: «Тут дело не обошлось без какого-нибудь доноса или, по крайней мере, нелепой передачи». Я не раз слыхала, что любовь Делянова к болтовне заставляет его при всяком удобном случае задерживать у себя людей различного общественного положения и выспрашивать у них о том, что делается в городе, о слухах и людях. Его добродушное обращение с собеседниками располагало многих из них к сплетням. Вопрос Делянова поверг меня в недоумение, и у меня вырвалось как-то само собою:

— Мои сыновья читают не исключительно Михайловского, а столько же его произведения, сколько и каждого выдающегося, крупного писателя.

— Как? Михайловский — крупный, выдающийся писатель? — И министр при этом как ужаленный вскочил с своего места.— И вы, сударыня, писательница, образованная женщина, можете называть этого жалкого памфлетиста выдающимся писателем?

— Простите, ваше сиятельство, но на Михайловского в литературе уже давно установился взгляд, даже среди тех писателей, которые разделяют не все его идеи, как на замечательного социолога, публициста и критика.

— Очень сожалею и современную литературу, и вас, сударыня, и всех, придерживающихся подобных взглядов на такого вредного писателя, как Михайловский, снискавшего себе известность только своим популярничаньем среди молодежи, выступая ее предводителем в антиправительственных сборищах. Что же касается вашей просьбы относительно вашего сына, то считаю долгом заявить вам, что я по совести не могу наполнять университеты, хотя бы и провинциальные, заведомыми революционерами.— И с этими словами министр встал и подал мне руку, показывая, что аудиенция окончена.

Открывая при моем выходе дверь, мой «благоприятель» сделал мне едва заметный знак глазами, который подсказал мне, что я должна подождать его. И действительно, я остановилась за дверью, а он через несколько минут вышел ко мне на площадку со словами:

— Неудача? Да вы не смущайтесь! Другим дозволено, и вам разрешат! Это он сегодня порасстроился с вами! Я слышал ваш разговор: ведь с ним умеючи надо говорить. Да ничего, нужно только несколько деньков задержать прошение. Это я устрою.

Но, вероятно, не старанию моего «благоприятеля» я обязана была тем, что моему сыну разрешили продолжать университетский курс в Дерптском (Юрьевском) университете: многие студенты, уволенные за присутствие на похоронах Шелгунова, точно так же были приняты в провинциальные университеты.

После моего второго, и последнего свидания с Деляновым я долго не получала ни отказа на мою просьбу, ни известия об ее удовлетворении. Тяжелое настроение мешало работе, и я решила отправиться к Н. К. Михайловскому. Издавна уже как-то повелось, что в трудные минуты жизни, в периоды житейских невзгод и треволнений хорошие знакомые Николая Константиновича отправлялись посоветоваться с ним, а то и просто рассказать ему о том, что с ними случилось. Трудно представить, как бесконечно внимателен он был в таких случаях. Он всегда умел дать хороший совет, привести в пример какой-нибудь аналогичный случай из жизни, который окончился благоприятно, а то и совсем разогнать тоску, если какое-нибудь обычное житейское затруднение или недоразумение его собеседник принимал к сердцу более трагично, чем оно того заслуживало.

Михайловский в это время жил в Любани, где он поселился, когда был выслан из Петербурга [27]. До невозможности жалкое помещение занимал он в это время: оно не напоминало ни дачу, ни дом, а представляло какую-то полутемную хибарку с крылечком, которое в шутку называли террасой. У Николая Константиновича я застала его сына, племянника и одну общую знакомую. Мы провели время, как и всегда, в самой непринужденной болтовне, а молодежь и в школьничествах, в которые от времени до времени втягивали и Николая Константиновича.

На возвратном пути в вагоне мне пришлось сидеть около пожилой дамы, с которою я встречалась в знакомых домах, возвращавшеюся в Петербург из провинции. Когда

она узнала, что я еду от Михайловского, она заговорила о нем с чувством самого глубокого уважения и горячей признательности.

— Чтобы вполне оценить его,— говорила она,— узнать его благороднейшее сердце и нежную душу, нужно попасть в беду. Он был очень дружен с моим мужем, несколько лет сряду часто бывал у нас, и я, как и все люди нашего круга, считала его крупным писателем и весьма порядочным человеком. Но если бы мне кто-нибудь сказал тогда, что он может глубоко проникнуться чужим горем и несчастьем, окружить человека, попавшего в беду, самыми нежными, самыми деликатными заботами, я бы нашла это большим преувеличением, приписала бы это обычному свойству нашей интеллигенции, которая — раз уже выдающийся писатель, награждает его несуществующими душевными качествами. Но вот надо мной стряслась беда: мой муж отправлен был в ссылку, и Николай Константинович стал так заботиться о моей семье, точно о своей собственной. Что же касается материальной помощи, то он оказывал ее с невыразимо тонкою деликатностью. Да, это настоящий человек, истинный джентльмен в самом лучшем смысле этого слова! — закончила она.

МЕМУАРНЫЕ ОЧЕРКИ И ПОРТРЕТЫ

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ВОДОВОЗОВ

Из воспоминаний институтки

Наконец давно ожидаемый новый учитель литературы, Василий Иванович *Водовозов*, появился у нас в классе. Боже, как он был далек от того идеала, который мы уже себе составили. Человек, рекомендованный и столь расхваливаемый Ушинским, должен был, по нашему мнению, обладать суровым выражением лица, презрительной усмешкой, молниеносным взглядом. И вдруг мы увидали более чем пожилого человека (он уже тогда, несмотря на свои 35 лет, выглядел стариком), среднего роста, с самою простодушною физиономиею, рассеянно поглядывавшего то в одну, то в другую сторону. Сзади него шел Ушинский. Ни с кем не раскланявшись, Василий Иванович подошел к столу, суетливо завозился с своим огромным портфелем и вдруг повернулся как-то вбок и задумчиво уставился в одну точку на стене. Наконец он как будто что-то вспомнил, встрепенулся и снова завозился с своим портфелем, но тут он как-то неловко потянул рукавом за замок портфеля и свалил его на пол.

— Это ничего...— добродушно, махнув рукой и рассмеявшись, сказал он, точно сам себя успокаивая, и нагнулся, чтобы подобрать рассыпавшиеся по полу книги, ударяясь о стол головой.

Только присутствие Ушинского сдержало наш презрительный смех. К тому же в эту минуту нас поразило то, что сам Ушинский тоже рассмеялся как-то очень добродушно, а мы уже совсем не подозревали в нем никакого добродушия. И — о ужас! — этот гордый и высокомерный Ушинский тоже начал усердно помогать подбирать книги новому учителю.

— Ну что, ведь экзаменовать их не надо? — вопросительно обратился Василий Иванович к Ушинскому, и тут же сам себе ответил: — Конечно, нет... Зачем?

— Как хотите... Им как-то при мне читали Пушкина «Чернь», вот бы и вы им тоже прочли да объяснили.

— Что же... это можно... Только у меня нет с собой этого тома Пушкина... Впрочем, все равно.— И с этими словами Василий Иванович подошел к скамейкам и произнес все стихотворение на память.

Уже через несколько минут нас поразило, что человек, по нашему мнению столь далекий от поэзии, так хорошо передает стихи. Окончив стихотворение «Чернь», Василий Иванович заметил, что на ту же тему Некрасовым написано «Поэт и гражданин» (мы в первый раз услыхали имя этого поэта), и опять от начала до конца, так же прекрасно и тоже наизусть он произнес и это стихотворение, а затем приступил к объяснению. Говорил он далеко не гладко, но все, что он говорил, мы совершенно ясно понимали, все это противоречило всему тому, что мы до сих пор слышали, все это в высшей степени заинтересовало нас и впервые заставило серьезно работать наши головы. Последовательно объясняя стихотворение того и другого поэта, Василий Иванович дал краткое изложение идей, господствовавших в литературе с 1820-х до половины 1840-х годов, и тех, которые возникли в ней с конца 1840-х и в 1850-х годах, перед крестьянскою реформою. Таким образом, в конце лекции перед нами само собой выяснилось содержание и смысл того и другого стихотворения. По окончании урока Василий Иванович заметил нам, что с будущей лекции мы начнем последовательно, одно за другим, изучать произведения русских писателей, но что у нас едва хватит времени серьезно проштудировать более крупные из них, тем более что мы должны знакомиться и со всеобщей литературой. На этот раз он потому так долго остановился на этих двух стихотворениях, что Константин Дмитриевич просил объяснить их, а затем он уже сам увлекся. При этом он просил нас к будущему разу письменно изложить как содержание названных двух стихотворений, так и его сегодняшнее объяснение. Он предложил нам всегда во время урока записывать за ним, но при изложении относиться самостоятельно к его объяснениям.

На первый раз мы прощали все странности нового учителя уже за одно то, что он нас не «распинал», то есть не экзаменовал. Мы боялись этого не потому, что не знали пройденного, так как всегда, о чем было уже упомянуто, твердо заучивали уроки Старова [1], а потому, что всякий новый преподаватель, введенный Ушинским, представлялся нам большим «насмешником». Мы скоро пришли на этот

счет совсем к другому выводу, особенно относительно Василия Ивановича.

С каждой лекцией он незаметно для нас самих втягивал нас в серьезную умственную работу, которая до тех пор совсем была немыслима для институток. Мы, ничего не читавшие, вдруг начали читать чрезвычайно много, а некоторые из нас и с пожирающею страстью. Необходимость не только прочесть, но и проштудировать каждое произведение и после толкового объяснения учителя изложить его письменно развивала в нас мало-помалу способность внимательно слушать и излагать прочитанное, быстро расширяли наш умственный кругозор.

Быстрому умственному росту институток того времени содействовал не только Василий Иванович, но и бо́льшая часть новых преподавателей *, и прежде всего сам К. Д. Ушинский. Он читал нам лекции по педагогике, и при своих обширных знаниях, при большом ораторском таланте, он обладал выдающеюся способностью излагать в доступной для нас форме необходимые понятия по психологии и физиологии. Замечательная способность Ушинского подобрать пригодных для дела людей, по одной лекции учителя понять слабые и хорошие стороны его преподавания и своим необыкновенным педагогическим тактом и чутьем уметь настолько поддерживать его своими советами, что в конце концов из него действительно вырабатывался хороший педагог, также много помогала блестящим успехам учениц, их серьезным, усидчивым занятиям. Содействовали этому, наконец, и 1860-е годы — самая горячая, самая светлая пора развития в русском обществе гражданских идеалов и стремлений к бескорыстному служению родине, только благодаря энергии Ушинского занесенных и в наш, до той поры крепко-накрепко запертый, монастырь. В нашем шкафу появились теперь произведения русских авторов, для нас был выписан даже «Рассвет» *Кремпина,* в то время считавшийся лучшим журналом для юношества [2]. К тому же большая часть преподавателей, каждый по своему предмету, приносили нам наиболее полезные произведения.

Если В. И. Водовозов почему-нибудь не считал удобным принести нам ту или другую книгу, как подспорье для

---

* Из наиболее талантливых преподавателей, введенных К. Д. Ушинским, осо́бенно выделялись Мих. Иванович *Семевский,* увлекательно читавший у нас лекции по русской истории, и Дм. Дмитриевич *Семенов* — учитель географии, получивший впоследствии известность педагога-практика. *(Примеч. Е. Н. Водовозовой.)*

своих объяснений при изучении того или другого писателя, мы все же знакомились с нею из его устного изложения.

Всем известны прежние темы русских ученических сочинений. Как бились мы, бывало, у Старова над каким-нибудь «восходом солнца», которого никто из нас, конечно, никогда не видал, чтобы нагнать хотя две странички разгонистым почерком, что считалось minimum'ом объема такого сочинения. У Василия Ивановича мы не делали сочинений на подобные темы, но излагали письменно все прочитанные произведения авторов, пополняя их объяснениями учителя; мало-помалу и наши собственные взгляды все более вырабатывались под руководством опытного педагога. Эти письменные работы у некоторых едва умещались на 8-9 листах. Но, как бы объемисты они ни были, Василий Иванович не затруднялся этим, тщательно выправлял наши работы и ему еще часто приходилось делать на полях множество пояснений.

Василий Иванович всегда оставался болтать с нами не только между уроками, но весною и осенью он нередко приходил в наш сад, и мы в свободное от занятий время гуляли вместе с ним. Впоследствии к этим беседам начальство относилось весьма недружелюбно, но в первый год вступления Василия Ивановича в наше заведение никто не стеснял наших бесед, и они принесли нам, тогда еще малоразвитым девушкам, совершенно изолированным от мира, людей и хороших книг, весьма существенную пользу. Только из этих бесед узнали мы, какие существуют у нас лучшие журналы, впервые от Василия Ивановича услышали мы имена *Добролюбова, Некрасова, Островского, Тургенева* и других замечательных современных писателей и деятелей, так как наша программа не вмещала изучения современной литературы. От Василия Ивановича узнали мы также о существовании воскресных школ для народа. Был ли он в театре, он сообщал нам о впечатлении, вынесенном им из представления, и тут же, кстати, знакомил нас с целями, которые преследовали драматический писатель и современный актер.

Эти беседы не носили и тени характера лекции; они быстро пробуждали в нашем уме самый живой интерес к неизвестному нам до сих пор миру. Мы, нисколько не стесняясь, высказывали свои мнения и часто, перебивая друг друга, осыпали его вопросами. Все, что приходило нам в голову во время этих бесед, мы немедленно сообщали Василию Ивановичу, желая знать обо всем его мнение. Если он замечал, что кого-нибудь из нас особенно интересу-

ет что-либо вычитанное нами в новом журнале, выписываемом для нас, он называл нам другие популярные сочинения и нередко даже сам доставлял их нам. Все более чувствуя потребность в этих беседах с Василием Ивановичем, мы, в свою очередь, замечали, что и его в высшей степени интересует наша болтовня, как бы она ни была наивна и подчас даже смешна.

— Вы бываете в гостях, или вы все только читаете и пишете? — пристаем мы, бывало, к нему.

— Еще бы... после пяти-шести уроков в день так иногда устанешь, что не до работы. Вот я вчера целый вечер провел в гостях.

— Где же вы были? А вы знаете какого-нибудь литератора? Скажите... когда литераторы собираются в гости, что они делают? Ведь другие, нелитераторы, так, пожалуй, все и смотрят, так и следят за литераторами.

— Вероятно, это очень неприятно,— перебивают подруги.

— Напротив,— восторженно возражает одна.— Я думаю... как они счастливы... как гордятся общим вниманием!

— И литераторы вместе с другими пьют чай в гостях? — вдруг спросила одна.

Хотя всех в душе интересовал этот вопрос, но он был поставлен так категорично, так простодушно-наивно, что мы сами рассмеялись, а вместе с нами и Василий Иванович.

Однако скоро все эти беседы были прекращены. Деятельность Ушинского пришлась настолько не по душе нашему начальству, что оно мало скрывало это даже от нас, грубо порицая его нововведения, вкривь и вкось перетолковывая его слова, осуждая всех новых учителей и презрительно подсмеиваясь над ними. У нас начали серьезно поговаривать об удалении из института Ушинского, а вместе с ним и всех введенных им преподавателей. Мы пришли в серьезное отчаяние и заволновались. Но это лишь вызвало крутые меры против наиболее строптивых и угрожало им серьезными последствиями. До нашего выпуска оставалось лишь несколько месяцев, и некоторые из наиболее любимых учителей успокоивали нас, говоря, что оставят институт лишь вместе с нами. Мы тотчас успокоились, но не надолго. Однажды дежурная дама заявила перед уроком одного из новых учителей, чтобы мы не смели более разговаривать с ним во время рекреаций *. Мы объяснили себе, что это распоряжение касается лишь одного учителя,

---

* перемен (от *лат.* recreation).

и продолжали выходить к Василию Ивановичу. Первое время это нам сходило с рук, тем более что уроки Василия Ивановича довольно долго совпадали с дежурством более снисходительной классной дамы.

Как-то вбежала в класс одна из наших подруг и передала нам конец разговора Ушинского с Василием Ивановичем, которого она была случайной свидетельницей. Ушинский, стоя у окна против Василия Ивановича, сказал ему с иронической усмешкой:

— Так вы думаете, что вашим беседам не помешают... Наивный вы человек! Ведь для этого нужно иметь волчьи зубы и лисий хвост...

Опасаясь повредить Василию Ивановичу, а вместе с тем и себе, мы условились как можно реже выходить теперь к нему во время рекреаций, но ничто не помогло, и наши беседы с ним были приостановлены. Теперь нам это было особенно тяжело уже потому, что нашему развитию дан был серьезный толчок: мы продолжали усердно читать все, что только могли достать из рекомендованного нам, но кроме книги требовалось живое слово, опытный руководитель, который, хотя бы иногда, разрешал наши недоразумения и сомнения. К тому же перед каждой из нас все более назревал самый жгучий, трудный, самый сложный из всех вопросов: что нам делать с собою после окончания курса?..

За эти полтора года, проведенные нами в институте после реформы Ушинского, мечты и стремления институток совершенно изменились. Никто из нас не мечтал более о балах, о выездах, об эффекте, произведенном роскошью туалета и легкостью танца,— теперь все хотели работать, все мечтали о серьезных занятиях, даже девушки, совершенно обеспеченные в материальном отношении. С кем же нам было посоветоваться обо всем этом, как не с Василием Ивановичем, ближе других ставшим к нам и с которым мы могли говорить, не стесняясь, даже о своем семейном и материальном положении? Тогда некоторые из нас придумали такое средство: подавая письменную работу, мы в конце ее спрашивали Василия Ивановича обо всем, что нас занимало. Мы были уверены, что Василий Иванович поймет причину таких письменных вопросов, сумеет найти подходящую форму и удобный момент, чтобы и во время занятий дать хотя краткое объяснение, ответ на мучающий нас вопрос. И действительно, Василий Иванович чрезвычайно внимательно и деликатно относился к таким просьбам: возвратит ученице ее работу и начинает толковать с нею о том, о чем она его спрашивала, придав такому объясне-

нию общеинтересный характер. К несчастию, однако, одна из таких работ с обращением к Василию Ивановичу попалась в руки классной дамы, особенно недолюбливавшей Ушинского и всех новых учителей. Она всюду стала кричать, что воспитанницы пишут письма учителям, но не показала этого письма начальству, а передала его содержание устно, по-своему, совершенно исказив его первоначальный смысл. И вот каждая классная дама начинает передавать содержание этого злополучного письма другой даме, но уже в новой редакции, так что в конце концов оно носило пошлый, грязный характер. На всех воспитанниц, заподозренных в сочувствии к новым учителям, начали взводить обвинения в самых тяжких преступлениях, делали двусмысленные намеки на их отношения к этим учителям, намеки, которых они решительно не понимали в данную минуту, но которые могли скорее нравственно исковеркать девушек, чем принести им какую-нибудь пользу. Ушинского прямо в глаза обвиняли, что он ввел безнравственных учителей; он потребовал письмо и пришел в ужас, что такой наивный детский лепет мог послужить поводом к столь возмутительным обвинениям. Уже после окончания мною курса Ушинский, встретив меня, начал вспоминать историю, наделавшую в институте так много шуму и доставившую ему столько хлопот и неприятностей, вручил мне довольно объемистую тетрадь и просил переслать ее по принадлежности. Вся тетрадь заключала в себе живо и бойко изложенную характеристику личностей Печорина и Онегина, и лишь последние четыре странички были посвящены личным чувствам, вопросам и сомнениям. Вот в чем состояло это обращение к Василию Ивановичу:

«Как мне нужно с Вами переговорить, Василий Иванович! Но при теперешних порядках это совершенно немыслимо, между тем я более чем кто-нибудь нуждаюсь в Вашем совете. Боже, какое множество «проклятых вопросов» осаждает мою бедную голову, заставляет напролет проводить ночи без сна! Более всего пугает меня следующее: несмотря на то что я бесконечное число раз перечитала «Евгения Онегина» и «Героя нашего времени», несмотря на то что я вполне поняла и совершенно согласна, но согласна только умом, с оценкою, данною Вами этим героям, мое сердце не подчиняется никаким благоразумным внушениям, ни своим собственным, ни даже Вашим. Все герои, как Печорин и Онегин, имеют для меня неотразимую прелесть. Вместо того чтобы возбудить презрение к себе своею пустотою, своими жестокими, часто даже бесчело-

вечными поступками, они привлекают меня своим каким-то гордым, таинственным величием, своим презрением к жизни и к людскому мнению, одним словом, они имеют надо мной непобедимую власть и силу. Я чувствую, я вполне уверена, если бы я встретилась с личностью вроде Онегина, и тем более Печорина, я с наслаждением записалась бы в число его жертв, лишь бы только он, хотя на одну минуту, остановил на мне свое внимание. Из этого Вы видите, как глубоко я безнравственна, какая я жалкая и несчастная. Вы всегда указываете на труд как на лучшее средство против всех нравственных недугов. Вы как-то упоминали, что это лучшее лекарство против сентиментальных фантазий,— я думаю, что и в этом случае Вы подвели бы мои думы под ту же категорию. Что же мне делать, чтобы не предаваться таким безнравственным бредням? Клянусь Вам, я готова работать и день и ночь, укажите только, над чем и как работать, чтобы быть полезной и себе и другим. Вы как-то говорили, что у Вас есть воскресная школа; позвольте же мне, Василий Иванович, после окончания курса разделить в ней Ваш труд. Объясните только, что мне следует почитать, над чем поработать для того, чтобы приносить в этой школе действительную пользу. Но все же этого для меня еще слишком мало, чтобы совсем заглушить, вырвать с корнем мои омерзительные думы. Для этого, я полагаю, нужно приискать тяжелую, большую, большую работу. Прошу Вас, добрый, хороший Василий Иванович, составить мне программу на целый год, имея в виду 12 часов в день работы в продолжение шести дней, воскресенье же я буду проводить в Вашей школе и только вечером посещать подруг, которых очень люблю. Для моей пошленькой натуры необходим целый день тяжелого труда, иначе я совсем погибну.

Я забыла Вам объяснить, почему я прошу у Вас программы на целый год: отец позволил мне в течение года после выпуска серьезно позаняться, и только уже после этого я поступлю в гувернантки».

История, возбужденная этим письмом, во время которой нас совсем измучили допросами и двусмысленными намеками, прекратилась отчасти сама собой, вследствие начавшихся экзаменов, отчасти благодаря энергии Ушинского. Он много хлопотал, чтобы выяснить дело, мешавшее нашим занятиям, и наше начальство скоро убедилось, что, несмотря на доносы и клеветы, которые оно распускало об Ушинском, высшие власти все же весьма уважительно относились к нему, и оно начало сквозь пальцы смотреть на

новых учителей, тем более что они скоро совсем должны были оставить заведение.

Итак, из всех учителей, бывших в институте за все время воспитания моего в нем, Василий Иванович Водовозов более других оставил по себе память, как достойнейший преподаватель в лучшем смысле этого слова. Он был не только опытным педагогом, пробудившим в нас сознательный интерес и любовь к изучению родной литературы, но и истинным другом своих учениц. Обладая обширными сведениями по многим отраслям знания и проникнутый самою теплою любовью к молодежи, он развил в нас живой интерес к знанию, любовь к труду, утвердил в мысли, что каждый, на какой бы ступени развития ни стоял, обязан быть полезным окружающим, а для этого он должен идти в уровень с веком, следовательно, постоянно, всю жизнь пополнять пробелы своего образования, и что только себялюбец и лентяй пренебрежительно относится к скромному делу, которое у каждого под руками, мечтая в будущем совершить гигантский труд.

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СЛЕПЦОВ

(1836—1878)

I

Едва ли кто-нибудь из русской интеллигенции шестидесятых — семидесятых годов не слыхал имени известного в то время писателя В. А. Слепцова. Одни знали его по беллетристическим рассказам («Питомка», «Казаки», «Постоялый двор», «Мертвое тело», «Ночлег» и многим другим) [1], обнаруживавшим в авторе не только тонкую наблюдательность, но и знание народа, которое он вынес во время своих странствований по Владимирской губернии для изучения фабричного люда. Многих он привлекал своим замечательно мастерским чтением. Не мало было и таких, которым знакома была его артистическая деятельность. Поступив на медицинский факультет Московского университета восемнадцатилетним юношею, он сильно увлекся театром. Его увлечение особенно усилилось, когда он начал произносить перед товарищами-студентами монологи из пьес тогдашнего репертуара, чем производил сильное впечатление, очаровывая своих слушателей. Этот успех

заставил его бросить медицину, сделаться актером и поступить на сцену в Ярославле под фамилиею Лунина [2]. Непоседа по натуре, он недолго прослужил в театре, переселился в Петербург и скоро приобрел огромный круг знакомых среди литераторов, артистов, молодежи обоего пола и вообще в различных слоях общества. Вот тогда-то он и окунулся в самый кипучий водоворот жизни бурного периода шестидесятых годов, и не как праздный наблюдатель, но как неутомимый общественный деятель. Огромную популярность не только в столице, но и в провинции приобрел он, когда в 1865 году вышел в свет его роман «Трудное время», до сих пор имеющий немаловажное значение в литературе [3].

Но я вовсе не собираюсь ни вдаваться в критическую оценку произведений, ни писать биографию этого замечательного человека, а хочу дополнить ее лишь несколькими данными для его характеристики, преимущественно на основании моих личных воспоминаний.

Слепцов для проведения в жизнь идей того времени не щадил своих сил: про него воистину можно сказать, что он жег свечу своей жизни с двух концов. Что же мудреного, что он умер на 42 году, прохворав предварительно несколько лет.

Я встретилась с Слепцовым в 1862 году, когда в первый раз попала в интеллигентный кружок молодежи, а затем он нередко бывал и в моем доме, и в семействах моих близких знакомых.

Когда я познакомилась с ним, я скоро убедилась, что неподвижное, холодное выражение его замечательно красивого лица и его, как казалось по внешнему виду, безучастное отношение к окружающим, отсутствие экспансивности в век людей экспансивных по преимуществу были лишь маскою [4]. Несмотря на свою сдержанность и внешнюю холодность, Слепцов был человеком с чутким сердцем и великодушным характером, с мятежною душою, вечно ищущей, с живою общественною жилкою. Его предприятия с общественною целью далеко не всегда удавались, но он не терял мужества, не унывал и немедленно принимался за выполнение новых планов.

Василий Алексеевич высказывал свои мнения обыкновенно весьма сдержанно, особенно в большом обществе, что давало повод многим говорить о нем как о большом дипломате. Но это было несправедливо: молодежь того времени отличалась привычкою стремительно проявлять и доводить до всеобщего сведения все свои чувства и мысли. Я никогда

не видала, чтобы во время страстных и бурных прений и споров, когда то один, то другой порывался высказать свое мнение, требовал слова, чтобы Слепцов пытался нетерпеливо перебить начавшего говорить. Несмотря на то что в то время он был еще очень молод, он уже выработал большую сдержанность в обращении с людьми, а это, вероятно, далось ему не легко, так как его поступки показывали, что он был человеком крайне увлекающимся. Однако его обычная сдержанность не мешала ему выступать на защиту каждого, когда кто-нибудь из присутствующих в обществе, где он находился, подвергался какой-нибудь неприятности, незаслуженной словесной обиде, неправильной оценке своих самомалейших общественных заслуг, получал хотя бы легкую сердечную царапину, конечно, если только обвиняемый не мог или не хотел сделать этого сам. И с такою защитой ему приходилось выступать нередко. Нужно заметить, что тогдашняя молодежь во избежание того, чтобы не походить на своих отцов и дедов, которые, по ее мнению, ради своекорыстных целей прибегали к лести, фальши, угодничеству и низкопоклонству перед всеми, с кем они водили знакомство, требовала, чтобы все говорилось без утайки каждому в лицо. Понятно, что последователи этих взглядов то и дело пересаливали в этом отношении и впадали в излишнюю фамильярность. Но Слепцов, по своей природной деликатности, щепетильности и конфузливости, не мог ни в глаза, ни за глаза высказать что-нибудь резкое; даже защищая другого, он не прибегал к укорам и унижению противника, но часто одной какой-нибудь остроумной шуткой, сарказмом, смешным анекдотом тонко давал чувствовать ему отсутствие в нем справедливости и беспристрастия.

Слепцов, вообще, был человеком с сложною душевною жизнью, умственно и нравственно более развитой и солидный, с более сложившимся миросозерцанием, чем «зеленая молодежь», среди которой его можно было встретить чаще всего. Мне кажется, что он искал общества молодежи столько же, сколько и она его; это, вероятно, было следствием отчасти его стремления, как вообще у интеллигентных людей того времени, к пропаганде своих идей, отчасти же — сердечною потребностью его необыкновенно доброй души приходить на помощь каждому, кому он мог быть чем-нибудь полезным (а среди молодежи всегда было много нуждающихся). Но несомненно и то, что его более всего тянуло в семейства, где особенно много собиралось молодежи, потому что там всегда шло разудалое, шумное веселье

и рука об руку с ним можно было услышать и рассуждения на серьезные темы. И это понятно — в такие семейства стремился не один Слепцов, но и те из литераторов, художников, ученых, профессоров, которые представляли тогда наиболее прогрессивный элемент русского общества.

Хотя Слепцов был истинным поклонником идей шестидесятых годов, которые бурным потоком пронеслись тогда по градам и весям русской земли, но он весьма скептически относился к стремлению, охватившему огромную часть образованного общества, состоявшему в том, чтобы неуклонно выполнять предписанные правила практической жизни. Кодекс этих правил был аскетически суровый, однобокий и с пунктуальною точностью указывал, какое платье носить и какого цвета оно должно быть, какую обстановку квартиры можно иметь и т. п. Прическа с пробором позади головы у мужчин и высоко взбитые волосы у женщин считались признаком пошлости. Никто не должен был носить ни золотых цепочек, ни браслета, ни цветного платья с украшениями, ни цилиндра; предосудительным считалось иметь в квартире и дорогую обстановку. Хотя эти правила не были изложены ни печатно, ни письменно, но так как за неисполнение их каждый подвергался порицанию и осмеянию, то тот, кто не хотел прослыть заскорузлым консерватором, твердо знал их наизусть. Слепцов совсем не следовал этому предписанию, за что многие осуждали его. Но он не искал популярности — она сама пришла к нему и была результатом той неутомимой деятельности, с какою он проводил в жизнь идеи шестидесятых годов, и особенно идею женской эмансипации. Он находил, что женщина в русском обществе самое обездоленное существо, и отдавал все силы своих богатых способностей, чтобы помочь ей выйти на самостоятельную дорогу.

Среди разнообразных идей, волновавших тогдашнее общество, разрешение женского вопроса казалось ему наиболее необходимым и не терпящим отлагательства, так как, по его словам, прекрасная половина рода человеческого была в то же время наиболее слабою и угнетенною. Действительно, после падения крепостного права женщины оказались еще в более тяжелом положении, чем прежде, так как они вынуждены были немедленно самостоятельно зарабатывать свой хлеб. Прежде бедные девушки, дальние родственницы помещиков, кое-как ютились в их семьях в качестве учительниц детей богатых родственников, экономок, а то и просто приживалок. Потеряв крестьян и испу-

гавшись своего разорения несравненно более, чем могла угрожать крестьянская реформа, большинство помещиков бесцеремонно заявляли своим родственницам, чтобы они убирались на все четыре стороны. С другой стороны, дух времени требовал, чтобы и женщины зажили новою жизнью, приносили пользу обществу и достигли бы одинакового умственного уровня с мужчинами, от которых они сильно отставали по своему образованию и умственному развитию. И вот Слепцов весь свой ум, знания, всю энергию своего деятельного темперамента отдает на работу для практического осуществления женского вопроса.

Слепцов был человеком разносторонних знаний и разносторонних способностей: он прекрасно знал французский, немецкий и латинский языки. Однажды на вечеринке кто-то из присутствующих привел в доказательство им сказанного латинскую поговорку и спросил Слепцова, правильно ли он ее процитировал. Одна дама, сидевшая тут же, заметила, обращаясь к нему: «Я никак не думала, что вы, при вашей артистической натуре, можете быть знатоком мертвого языка». Он конфузливо проговорил: «Я совсем не знаток латинского языка, но когда-то ему учился». Тут же было замечено, что его прекрасное знание латыни для многих не подлежит сомнению.

В устраиваемых Слепцовым спектаклях и литературных вечерах с благотворительною целью он был то режиссером, то актером или чтецом, пел на вечеринках близких знакомых под аккомпанемент скрипки, а еще чаще балалайки, мастерски играл на гармонике. В домашней обстановке он мог многое поправить, набросать для столяра и токаря рисунок, починить, а очень часто и смастерить кое-что самостоятельно, так как, уже будучи писателем, учился столярному и слесарному мастерствам. Он любил все красивое, увлекался и художественными произведениями, и изящными безделушками, и не раз сознавался, что, проходя мимо окна магазина, ему всегда очень хочется купить какую-нибудь красивую вещицу, но кошелек его, прибавлял он шутя, «редко ему дозволял следовать художественным влечениям».

Посещавших его лиц поражало, что он с каждым из прислуживавших у него, была ли то девочка, парень или старуха, умел поговорить, пошутить и был всюду окружен искреннею любовью. И не мудрено: для каждого нуждающегося он бросался на поиски за занятиями, приискивал студента, который согласился бы даром заниматься с тою или другою девушкою, а для помощи женщинам, которые

писали ему о том, что решили окончательно переехать в Петербург для пополнения своего образования, он то и дело устраивал спектакли и литературные чтения. Когда сбор с них оказывался недостаточным, он давал свои деньги и, вследствие этого, то и дело находился в самом критическом положении, даже тогда, когда получал из редакции «Современника» необходимые для его жизни средства. Вечные хлопоты не только мешали работе Василия Алексеевича, но крайне переутомляли его и расстраивали нервы.

При жизни Слепцова многие были убеждены, что в своем лучшем беллетристическом произведении «Трудное время» (1865 год), в котором центральною фигурою является Рязанов, холодный скептик до мозга костей, он изображает самого себя, но они забывали, что если в авторе и было какое-нибудь сходство с главным действующим лицом его повести, то разве чисто внешнее. В ней Слепцов прежде всего бичует людей, порывы которых к общественной деятельности быстро пошли на убыль, когда после необыкновенного общественного подъема наступила реакция. Рязанов относится с большою сдержанностью, а то и с холодным сарказмом к тем, кто обращается к нему за советом или за разрешением недоразумений. Слепцов же на всякий призыв о помощи, материальной или духовной, отзывался всем сердцем. Если он, когда к нему обращались, вместо участия оставался прикрытым, как забралом, маскою холодности и равнодушия, то это было только тогда, когда от него требовалась не существенная помощь, а «словесность» — так называл он привычку знакомых и незнакомых дам то и дело втравливать его в рассуждения по поводу сложных явлений и жизненных проблем, разрешать которые следует не во время журфиксов, а в серьезных трактатах, научных и литературных.

Как выдающийся беллетрист, рассказчик и чтец на вечерах, как устроитель общественных предприятий, как человек остроумный и замечательно деятельный, наконец, как необыкновенный победитель женских сердец, Слепцов постоянно давал пищу для разговоров. Много шло пересудов о романах его личной жизни; при этом некоторые утверждали даже, что он притягивает к себе женщин каким-то особенно вкрадчивым голосом, который проникает в самую душу. Мне кажется, что он от природы так щедро был одарен, сравнительно с другими, всевозможными душевными и умственными преимуществами, что ему незачем было прибегать к каким бы то ни было ухищрениям: женщин пленяли в нем его красота, молодость, изящные

манеры, ум, находчивость, остроумие; импонировали им и его общественное положение, его огромная популярность в интеллигентных кругах, первая роль, которую он играл во главе женского движения, а их страсть к нему еще более разжигалась вследствие его сдержанности, внешней холодности и индифферентизма, с которыми он обыкновенно держал себя со всеми.

Слепцова чрезвычайно занимала мысль, как бы дать женщинам образование и развитие более солидное, чем они тогда получали, как бы расширить для них возможность легче добывать заработок и научить их устраиваться дешевле на небольшие средства. Эти мысли он постоянно проводил в кружках, в которых вращался. Все соглашались, что в данный момент это наиболее необходимо, но, пока все рассуждали, как это осуществить на практике, Слепцов начал устраивать научно-популярные лекции для женщин, организовал в Петербурге женскую переплетную мастерскую, много хлопотал, чтобы открыть контору для переписки и переводов с иностранных языков [5], и, наконец, устроил общежитие на Знаменской улице, прогремевшее в обществе под названием «Знаменской коммуны» [6]. В эту коммуну принимались женщины и мужчины, но с большим выбором, люди более или менее знакомые между собой и вполне порядочные. У каждого была своя комната, которую жилец должен был сам убирать: прислуга имелась только для стирки и кухни. Расходы на жизнь и квартиру покрывались сообща. Когда в общежитие приходили знакомые всех жильцов, их приглашали в общую приемную, своих же личных знакомых каждый принимал в своей комнате. Коммуна устраивала и «фиксы», и каждый приглашенный чувствовал себя польщенным, так как он встречал здесь избранное общество: художников, писателей, наиболее интересных людей того времени, и вечеринка проходила необыкновенно оживленно.

Несмотря на строгий выбор жильцов и гостей, много ходило сплетней, небылиц и грязных клевет об этой коммуне, отчасти потому, что это предприятие было совершенною новостью, а отчасти потому, что не приглашенные на «фиксы» были оскорблены и злы на жильцов коммуны. Просуществовав один сезон, это общежитие распалось, как распадались тогда очень многие предприятия, прежде всего вследствие новизны дела, отсутствия практической жилки у русских интеллигентных людей, но более всего потому, что женщины того времени обнаруживали отвращение к хозяйству и к простому труду, перед которым в теории

они преклонялись. Никто в коммуне не хотел как следует заниматься хозяйством, хотя большинство составляли женщины,— это нередко исполнял один Слепцов, который и без того был завален разнообразнейшею работою. Все это вызывало большой беспорядок в общежитии, и жизнь для многих в конце концов оказывалась не дешевле, чем в меблированных комнатах.

Зенита популярности и значения достиг Слепцов, как было упомянуто выше, когда вышел его роман «Трудное время». К нему начали являться тогда не только петербургские, но и провинциальные дамы, которые нередко специально приезжали для этого из провинциальных захолустьев, требуя, чтобы Василий Алексеевич указал и выяснил им «новые пути», по которым должна идти русская женщина, объяснил, как выйти из того или другого жизненного затруднения, задавали ему неразрешимые вопросы, нередко бесцеремонно предъявляли требования, чтобы он нашел постоянный заработок или дал средства на обратный путь, так как они приехали потому, что им все указывали на Слепцова, как на человека, который приходит на помощь всем современным женщинам,— все это создавало ему много крайне тяжелых минут. Он далеко не всегда мог снабжать деньгами обращавшихся к нему, и вот эти-то женщины, удовлетворить требованиям которых очень часто не было никакой возможности, более других распускали нелепые слухи о том, будто бы он протежирует только хорошеньким.

II

Когда однажды в полдень солнечного осеннего дня я постучалась в квартиру, в которой Слепцов нанимал комнату, мне открыла дверь деревенская баба в ситцевом повойнике [7]. На мой вопрос, встал ли Василий Алексеевич и может ли меня принять, она словоохотливо заболтала, пока освобождала меня от верхней одежды и провожала по узкому, длинному коридору:

— Ноне он с петухами вскочил. Убирается-то он живой рукой: сам у себя все повычистит, и пинжачок, и столики, и игрушечки свои, а то и пол сам выметет. И как за работу-то садится — день на ночь переделает...

Только что я хотела спросить, что означает «день на ночь переделает», как мы подошли к его двери. Я постучала и услышала его голос: «Войдите»,— дверь оказалась неза-

пертою. Я была ошеломлена тем, что представилось моим глазам: при светлом, солнечном дне Василий Алексеевич сидел за рабочим столом с плотно занавешенными окнами и с несколькими зажженными свечами. Он быстро поднял шторы и погасил свечи. На высказанное мною удивление он объяснил, что ему нередко приходится работать при такой обстановке, чтобы получить полную иллюзию мрака, тишины ночи и уединения, что это подымает его нервы и сосредоточивает мысли на работе. «Вот и сегодня при искусственном освещении мне удалось хорошо поработать». Я сказала, что не буду ему мешать и изложу мою просьбу в несколько минут. Он вдруг переконфузился, уверял, что уже кончил работу (несмотря на спокойную манеру держать себя, он был, в сущности, застенчивым человеком), настоял на том, чтобы я позавтракала с ним, и вышел распорядиться. Я принялась разглядывать его комнату, убранную с большим вкусом. Все письменные принадлежности были чрезвычайно изящны: чернильница, пресс-папье, портфель, подсвечники, всевозможные ножички, ваза с красивым букетом; столики и этажерки были уставлены красивыми безделушками и портретами в рамках.

— Однако, какие вам прощают преступления! — сказала я, указывая ему на изящные вещи.

— Уверяю вас, мне это необходимо... Вижу, вы смеетесь... Что же делать, если моя природа столь несовершенна! Вероятно, более всего виною мои истрепанные нервы. Если бы я оголял свою жизнь так, как этого требует современный катехизис, у меня бы пропало самое элементарное соображение.

В это время баба, с которою я только что познакомилась, начала накрывать на стол.

— Рекомендую — Петровна, женщина с большим характером и настойчивостью. Как только крепостные освободились, она приехала сюда с мужем, выхлопотала ему подходящее место, долго пробивалась поденною работою, но в то же время подучивалась стряпне, и теперь специалистка по биткам, которыми сейчас вас угощу. С этой осени она наняла квартиру и отдает внаймы комнаты таким бездомным бродягам, как ваш покорный слуга. Так вот прошу любить да жаловать, это моя хозяюшка, очень славная женщина, только большая ворчунья... Она у меня кухарка и горничная, она же и «dame de compagnie» *.

---

* компаньонка *(фр.)*.

— Хотя я не все твои словечки пойму, да знаю, что не обидишь. Не таковский...

— Кто же зря обижает?

— Из вашего брата много озорников: норовят без причины облаять да обсмеять.

— Вот нашего брата она не одобряет, а великую приверженность имеет к своему супругу: только и слышишь: «Мой старик да мой старик!»

— Что ж, когда мы с ним одни на свете. Только нас и есть — он да я. Горести с ним делили, вместе страду крепостную отбывали, вместе детей хоронили... Всем-то мы никчемные, только друг для дружки... Вот и выходит «мой старик».

— А за что, Петровна, ты на Василия Алексеевича ворчишь, чем ты им недовольна?

— Да как же на его не ворчать, сама рассуди, барынька милая. К ему, почитай, кажинный день молодки придут, а уж не то три, не то четыре промеж их такие пригожие, такие раскрасотки, ни в сказке сказать, ни пером написать. На него-то глядючи, они совсем извелись... Как он с бабами да барынями на стороне — знать не знаю, ведать не ведаю; сказываю только про тех, что сюда к ему бегают. Ведь крючок-то двери своей он на запоре не держит: новая барышня пришла, опять сюда же к ему веду, подать ли что время пришло, звонок ли даст,— войду, и не постучусь. И что ж ты думаешь, наш-то Алексеич, скажу тебе как перед истинным, что пень с ними.

— Битки неси, Петровна, битки неси,— перебил ее Василий Алексеевич.

— Говори, говори, Петровна, пожалуйста, все доскажи,— подзадоривала я ее.

— Чего ж не сказать? Начала, так кончу: и хорошее и худое в глаза скажу. Лучше парня, как наш Алексеич, на всем свете не сыщешь: кому дело изъяснит, кому бумагу напишет, кому работишку отыщет,— никому отказа нет, и ко всем-то он с шуточкой да с прибауточкой. Все как есть жильцы нашего дома знают его, то и дело просятся у меня к ему. А вот как с барышнями-то со своими, по крайности когда я тут же стою, так скажу тебе, он без всякой жалости. Ведь девкин-то век не долог! Вот хоть бы взять вчерась: барышня от его выходит, сказывает ему что-то, а он сквозь зубы шамчет, а сам-то точно на стену глядит на бедняжечку, хоть бы маленькое, маленькое ласковое словечко промолвил. А она-то от перепуга вся съежилась, в рукава

пальтишка не попадает, оторопела вся, того и смотри, слезы в три ручья польются... А он торчит, как тумба...

— Ну, Петровна, музыку свою ты ведь теперь надолго завела... Неси битки.— И легкий румянец покрыл бледные щеки Василия Алексеевича.

Когда мы уселись с ним за завтрак, он стал благодарить меня за то, что я решилась разделить его трапезу: еда в одиночестве, по его словам, заставляет его терять аппетит. Он прибавил, что ушел бы куда-нибудь завтракать, но у него сегодня с утра какая-то апатия. И действительно, лицо его было болезненнее обыкновенного, и я поняла, почему для работы ему приходится иногда возбуждать свои нервы, превращая редкий в Петербурге солнечный день в ночь с зажженными свечами.

Я начала извиняться, что хочу просить его о деле, к которому он, по-видимому, не имеет никакого касательства, но моя знакомая (я назвала фамилию особы, которую он раза два встречал в моем доме) так настойчиво просила меня передать ему ее просьбу, что я не могла отказать ей. Она прошла курс шитья и кройки, сшила с успехом несколько платьев и просит его похлопотать у знакомых ему дам, чтобы они давали ей заказы на туалеты.

Меня передернуло то, что он молчит, не только ни словом не ободрил меня, но не переспросил даже фамилию моей знакомой, которую мог забыть или вовсе не расслышать при рекомендации. Взглянув на него, я была еще более поражена полным равнодушием, с которым он выслушивал меня, как будто думая о чем-то другом. Я высказала ему, что он, вероятно, плохо себя чувствует, и что я очень жалею, что мне пришлось беспокоить его в такое время. Он несколько оживился и, не отвечая прямо на вопрос, заговорил о деспотизме женщин, который, по его словам, глубоко лежит в их натуре.

— Новые идеи и взгляды она легко схватывает, но они не ослабляют прирожденного ей деспотизма. Если она разговаривает, она требует, чтобы ее собеседник не только отвечал точь-в-точь как она того желает, но моргал бы веками и кашлял именно так, как ей этого хочется.

— Вы, вероятно, знаете и множество других специально женских недостатков? Может быть, с вашей точки зрения, женщина представляет один сплошной недостаток?

— Не совсем так,— заговорил он, улыбаясь.— Сравнительно с нами, мужчинами, у женщин, пожалуй, имеются даже более крупные достоинства, но один недостаток уни-

чтожает все их преимущества. Нельзя забывать, что женщины до сих пор преимущественно живут жизнию чувства, а их любовь и самопожертвование, которые поэты осыпают такими благоуханными розами, приносят мужчине несравненно более шипов и терний, чем наслаждения и счастья. Чем более страсти в любви женщины, тем более она ревнива. О, тогда уже у нее исчезают все благородные стороны характера: мстит она, не разбирая средств, и деспотизм проявляет в такой степени, что совершенно отравляет жизнь любимого человека. Пока же у нее не наступает исступленный период ревности, она просто задушит своею любовью. Она не умеет и не может смотреть на своего избранника иначе, как на свою вещь, как на свою полную и неотъемлемую собственность. По природе она настоящая крепостница. По ее понятиям, глаза, уши, слова любимого человека должны служить только для нее одной; он должен забыть для нее о своих вкусах, о своей склонности к прекрасному, о своей общественной деятельности, очень часто даже о своем человеческом достоинстве. На горе интеллигентному человеку, ему более всего нравятся женщины со страстным темпераментом, но жизнь с ними, сколько я наблюдал, сущий ад.

— Однако знаменитый ревнивец Отелло был мужчиною.

— Это, вероятно, давным-давно так было: теперь же русские женщины перещеголяли всех Отелло в мире.

— Неужели все эти письма от женщин? — спросила я, вдруг случайно заметив на одном из столиков стопками сложенные письма в конвертах.

— Да, от женщин. И, к величайшему моему несчастию, я должен отвечать на все: следует ли девушке бросить родительский кров, разойтись ли замужней женщине с мужем, можно ли оставить детей на руках престарелой бабки, а самой ехать в столицу учиться,— одним словом, меня призывают быть судьею и решителем судьбы в самых интимных, деликатных областях человеческой жизни. Я уже не говорю о просьбе каждой из них найти заработок. Это уже так вышло, что оказалось моею прямою обязанностью.

— Но, обращаясь к вам с подобными вопросами, эти особы как-нибудь мотивируют же, что побуждает задавать их?

— От этого мне не легче... Все же многое в каждом письме остается для меня неразрешимою задачею.

Он взял несколько писем и начал быстро пробегать их

глазами, кратко сообщая мне их содержание или цитируя из них отдельные фразы и выражения.

— Вот что пишет молодая девушка: мать ее больна и, не вставая, лежит в постели несколько лет; по словам доктора, она останется в таком положении всю свою жизнь. И вот, когда молодая девушка заявила своим родственникам, что должна ехать учиться в столицу и просила наиболее близких из них по очереди проводить с ее матерью известное время, против нее поднялась целая буря: родственники не могут успокоиться и уже несколько месяцев продолжают бросать ей в лицо оскорбления и ужасные обвинения, всюду кричат, что она не смеет оставить старуху на руках прислуги — простой бабы, что ухаживать за родною матерью — обязанность дочери, а не родственников. Одним словом, в конце концов ваш покорный слуга призывается решить, как должна поступить эта молодая особа, хотя я не имею ни малейшего представления ни о ней самой, ни о ее положении,— и об этом она не упоминает ни слова.

— Мне кажется,— заметила я,— что на этот вопрос все же не особенно трудно ответить.

— Слушайте: еще курьезнее. Замужняя женщина сообщает мне: «Должна вам представиться,— я человек с современными взглядами, всем сердцем сочувствую новым идеям, стремлюсь всеми силами к достижению указанного идеала». Далее, по ее словам, она считает своим долгом довести до моего сведения, что она много раз умоляла своего мужа уступить крестьянам половину или хотя бы даже небольшую часть принадлежащей ему земли, но он, ее супруг, называет ее требования нелепым и даже вредным вздором. Вот эта дама и просит меня решить, имеет ли она право, при диаметрально противоположных взглядах с своим мужем, продолжать сожительство с ним под одною кровлею. При этом она добавляет, что если она порвет все отношения с мужем и переедет в Петербург, то она не сомневается в том, что я подыщу ей постоянный заработок. И вот подобные наивные до невероятности требования, призывающие меня разрешить домашние распри и недоразумения людей, о которых я не имею ни малейшего представления, прямо в столбняк меня приводят.

— Зачем же отвечать на такие письма?

— А мне сдается, что и такая корреспондентка спрашивает у незнакомого ей человека о столь щекотливых вещах просто потому, что не умеет писать, не умеет найти надлежащую форму, в которую ей следует облечь мысли, терзаю-

щие ее. Ведь теперь желание у всех у них одно — вырешить трудную, сложную задачу, внезапно поставленную изменившимися условиями жизни. А потому и не хотелось бы оскорбить кого-нибудь из них молчанием или неделикатным ответом. Ведь все они страстно стремятся к самостоятельности, к настоящему образованию, к общественной пользе. Все эти реформы, так изменившие строй нашей жизни, весь ее уклад и нравы, точно обухом хлопнули их по голове, они потрясены и не могут сообразить, как применить к действительности многие современные требования. Сидят они там в какой-нибудь трущобе, вращаются среди выживших из ума старух и стариков, им не с кем посоветоваться... Вот они и растерялись... К тому же они не привыкли логически думать, не привыкли заботиться о себе, ну, и задают дикие вопросы, заставляют других решать за себя. Можно себе представить, как они душевно страдают...

Хотя я уже давно составила мнение о Слепцове как о человеке замечательно великодушном, но этот разговор с ним еще более убедил меня в его сочувствии каждому, у кого оказывается хотя проблеск какой-нибудь мысли. И я подумала, что если он, прощаясь со мной, и забыл о моей просьбе, то, вероятно, только потому, что он в таком деле уже ничем не может помочь. Каково же было мое изумление, когда, через несколько дней после моего посещения, Слепцов зашел ко мне специально за тем, чтобы оставить для моей знакомой несколько адресов дам, которые соглашаются сделать ей заказы на шитье своих туалетов.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СЕМЕВСКИЙ

Автобиографический набросок моего покойного мужа Василия Ивановича о его детстве и юности я хочу дополнить рассказом о том, что знаю лично о последующих обстоятельствах его жизни, и указать лишь на некоторые основные черты его характера.

Уже в начале 60-х годов я была хорошо знакома с многими членами его родной семьи. Его два брата, Михаил и Александр, и их сестра Софья сильно отличались друг от друга по своему характеру, темпераменту, воззрениям на жизнь и по своим отношениям к людям. Несмотря на это, Михаил и Александр в продолжение нескольких лет сообща нанимали маленькую квартиру. С ними жил и их брат Жоржик, совершенно больной юноша, лет двадцати, кото-

рого они после двухгодовой совместной жизни, по совету врачей, устроили в деревне у родственников. Петр Иванович, года на два старше Жоржика, проживал в провинции, но нередко приезжал погостить к старшим братьям.

Александр Иванович, высокий, худощавый, с подвижными чертами нервного лица, всегда оживленный, был очень любим в обществе, как человек остроумный и занимательный собеседник [1]. Он легко смотрел на жизнь, и материальные невзгоды совсем не тяготили его. В периоды безденежья он брал кусок черного хлеба, совал его в карман всегда довольно потрепанного пальто и, не теряя бодрости настроения, с книгою в руках отправлялся в какой-нибудь парк или к кому-нибудь в гости. Вероятно, отсутствие страданий от каких бы то ни было материальных лишений заставляло его быстро тратить свои деньги, которые доставались ему случайно, так как в это время платной работы у него не было. Имея множество знакомых, с которыми он всегда вел оживленную беседу, он едва ли к кому-нибудь питал глубокую привязанность, кем-нибудь сердечно интересовался.

Петр Иванович — самый красивый из всех братьев. Когда он гащивал у них, они обыкновенно затягивали его на «фиксы» к своим знакомым. Он скромно садился в уголок, не принимал никакого участия в разговорах и спорах, а когда с ним заговаривали, он конфузливо краснел, улыбался и застенчиво отвечал на вопросы, не пускаясь ни в какие рассуждения.

Я как-то заметила Александру Ивановичу, что его брата Петра Ивановича уже давно все встречают у нас, но никто не знает его.

— А между тем Петр вовсе не загадочная натура. Он весь как на ладони! — В эту минуту в комнату вошел Петр Иванович. Александр Иванович, указывая на брата, продолжал: — Рекомендую, очень обязательный молодой человек, когда ему не навязывают ни дел, ни поручений... Хорошо усваивает факты, но делать из них вывод он не мастер. Да ведь и дело-то это нудное, лежит скорее на обязанности философов...— Подобные вещи, иногда весьма щепетильные, Александр Иванович часто высказывал, не стесняясь личным присутствием того, о ком говорил, и притом с какой-то безобидной иронией.

Михаил Иванович Семевский (впоследствии редактор исторического журнала «Русская старина» [2]), человек с практической жилкой, но бестактный и крайне вспыльчивый, чрезвычайно работящий, печатал в то время свои

многочисленные исторические статьи в различных журналах, но всегда нуждался в деньгах. Отчасти это происходило потому, что плата за литературную работу была тогда незначительная, а органов печати несравненно меньше, чем в настоящее время, да и не каждая редакция помещала его работы. Безденежье много портило его и без того несносный характер. Материальные затруднения приходилось испытывать Михаилу Ивановичу и потому, что на его плечах лежали действительно весьма сложные и многочисленные семейные обязанности. На его полном иждивении жил его больной брат Жоржик, хроническая болезнь которого требовала больших расходов. Помогал он и своему брату Александру, хотя у того водились и собственные деньжонки. Они оба (Михаил и Александр) несколько раз получали маленькие наследства после смерти своих теток, над которыми они хотя и сильно подтрунивали, но не забывали их навещать от времени до времени. Правда, наследства эти были весьма скромных размеров, от одной до трех тысяч, но любопытно то, что старухи-тетки оставляли по завещанию свое скромное достояние лишь двум своим старшим племянникам, но ни о своей племяннице, ни о своих остальных племянниках они не заботились. Александр Иванович, получив свою часть наследства, быстро спускал деньги и прибегал к займу у брата, которого это очень сердило. Михаил Иванович не был так уверен, как его брат, что новое наследство опять так же неожиданно свалится на их головы, и не рассчитывал получить свой долг от Александра. К тому же Михаил Иванович старался при первой возможности оказать помощь и своей сестре Софии Ивановне, муж которой долго оставался без места, так что она вынуждена была жить с маленьким сыном у своих родственников в качестве гувернантки. Приходилось Михаилу Ивановичу тратить деньги и на своего младшего брата Василия Ивановича, которого он еще в корпусе [3] заставлял брать платные уроки музыки и французского языка.

Василий Иванович, по его собственным словам, не обнаруживал ни малейшей склонности к музыке; Михаил Иванович тоже не имел к ней пристрастия, но в эпоху 60-х годов требовалось развивать и упражнять у воспитываемых все способности — физические и умственные. В те времена очень многие твердо верили в то, что путем упражнения можно привить и развить каждый талант, что для этого вовсе не нужно врожденных способностей. И как это ни странно, но это стремление у многих уживалось как-то вместе с отрицанием искусства и поэзии. Часто даже люди

небогатые, но до фанатизма преданные идеалам 60-х годов, из последних сил выбивались, чтобы обучать своих детей рисованию, даже музыке и пению, несмотря на то что у них не было ни слуха, ни голоса.

Михаил Иванович представлял собою смесь наиболее характерных достоинств и недостатков прошлой барской крепостнической эпохи с новыми веяниями 60-х годов. Последнее сказывалось у него в том, что, несмотря на отсутствие пристрастия к музыке, он считал своим долгом платить за уроки младшего брата, а неустанная забота о членах своей семьи напоминала прежний родовой быт наших помещиков, когда, обнищав, они нередко ютились в крошечном доме своего дальнего родственника со всеми своими чадами и домочадцами. Но, конечно, прежде всего его отношение к членам своей семьи и забота о них указывали на его доброе сердце.

По своим привычкам Михаил Иванович не имел ничего общего с своим братом Александром. Он страдал от материальных лишений, выходил из себя, когда не мог обзавестись хорошим платьем, любил ездить по железным дорогам в первом или, по крайней мере, во втором классе; а у Александра Ивановича были самые демократические вкусы и навыки. Заботы о членах своей родной семьи не приносили Михаилу Ивановичу нравственного удовлетворения, не снискивали ему у них ни любви, ни уважения. Вспыльчивый, как порох, он то и дело упрекал их своими благодеяниями. Это заставило даже беспечного Александра Ивановича записывать на лоскутке бумаги каждый рубль, который он брал взаймы у брата, и прикалывать эту бумажонку к одной из стен их квартирки. Как только до него долетали резкие звуки окриков старшего брата на кого-нибудь из домашних, Александр Иванович срывался с своего места, хватал свой бумажный листок и подносил его к лицу брата с словами: «Сейчас дойдет очередь и до меня... Так вот: от последней продажи имения тетушки получено две тысячи рублей. На свою тысячу я у тебя наел и перебрал на карманные расходы немногим более этой суммы... Опять умрет какая-нибудь дуреха, все возвращу полностью». При этом он быстро убегал из дому.

Михаил Иванович нередко каялся в своем дурном характере (покаяния были отчасти в обычае в эпоху 60-х годов). Он приписывал дурные стороны своей натуры барским привычкам крепостнической эпохи, но это нисколько не ослабляло его гневных вспышек. Особенно болезненно отзывался его дурной характер на его сестре

Софии Ивановне. Кроткая, любящая, чуткая, она не любила рассказывать кому бы то ни было, но особенно старшему брату, о своем житье-бытье. Тяжелая участь гувернантки известна каждому, а ей эту обязанность приходилось выполнять, имея при себе собственного ребенка, что уже оказывалось совсем невыносимым. Разговор на эту тему с Михаилом Ивановичем обыкновенно кончался тем, что он немедленно преподносил сестре десяток-другой рублей, так как даже из отрывочных ее ответов он получал конкретное представление о ее безвыходном положении. Но, протягивая руку помощи, он всаживал ей и нож в сердце. Она была женщиной очень религиозной и безумно любила своего мужа. Михаил Иванович нажимал сразу обе педали: «Вот, Сонечка, ты бы и попросила своего всеблагого господа бога, чтобы он образумил твоего благоверного... Пора ему опомниться, кормить свою семью, добыть какое-нибудь местечко». София Ивановна передавала мне подобные нотации брата, нередко рыдая, упрекая себя за то, что она не умеет отделаться от его расспросов какими-нибудь незначительными фразами, и обыкновенно добавляла что-нибудь в таком роде:

— Ведь Миша на редкость доброй души человек! Но какой невыносимый характер! Его деньги жгут мне руки...

У Михаила Ивановича были дурные отношения со всеми, с кем ему приходилось близко сталкиваться: его переписчицы, секретари, помощники — почти все страдали от его неуравновешенного характера. При этом особенно солоно приходилось тому, кто безропотно переносил его брань и издевательства и вынужден был, несмотря на это, продолжать у него работу. Одному своему секретарю-студенту он бросил однажды в лицо бумаги, в которых тот сделал какую-то ошибку или неправильно понял его требования. Секретарь, указывая на упавшие бумаги, произнес решительно и настойчиво:

— Потрудитесь все это немедленно поднять и извиниться передо мной. Иначе я подам, куда следует, жалобу за оскорбление.

Эти неожиданные слова поразили Михаила Ивановича. Его гневные вспышки обрушивались на многих, но он не привык получать отпора, и чаще всего потому, что имел дело с людьми, сильно нуждавшимися в заработке. Михаил Иванович знал, что и этот студент страшно наголодался, прежде чем получить у него работу. И вдруг такая гордыня!.. Не менее поразила его и угроза студента подать жалобу за оскорбление,— Михаил Иванович сильно опа-

сался гласности и немедленно исполнил требование молодого человека.

— Затем позвольте с вами навсегда распроститься,— отрезал его секретарь.

Но Михаил Иванович схватил его за руки, начал горячо извиняться и умолял его работать у него по-прежнему. Молодой человек согласился. В первое время после этого Михаил Иванович действительно вел себя довольно сдержанно, но при новом столкновении начал упрекать его за гордость, которая, по его словам, комична, когда человеку нечего есть. Тогда студент окончательно ушел, несмотря на все клятвы Михаила Ивановича, что это больше не повторится.

Однако проявление гордости подчиненных не исправляло характера Михаила Ивановича, но заставляло его проникаться к ним уважением и сердечным расположением. Так было и в этом случае. Его бывший секретарь попался в какой-то студенческой истории, из-за которой ему приходилось выйти из университета. Михаил Иванович начал серьезно за него хлопотать,— у него в то время было много знакомых в высших чиновничьих сферах. Хлопоты увенчались успехом, и молодой человек был снова принят в университет. Эти и подобные инциденты Михаил Иванович сам рассказывал своим знакомым с полною объективностью, но, конечно, не упуская случая упомянуть о затруднительности своих хлопот относительно строптивого студента.

Многочисленные семейные заботы Михаила Ивановича должны были скоро увеличиться еще с просьбою младшего брата Василия Ивановича перевести его из корпуса в гимназию в два последние старшие класса. Для этого приходилось нанять учителя латинского языка и преподавателя по всем остальным предметам, так как программа обучения в корпусе не соответствовала гимназической. К тому же Михаилу Ивановичу предстояло при вступлении брата в гимназию обмундировать его с ног до головы, платить за его обучение, покупать для него необходимые учебники и книги, наконец, содержать его на свой счет. Обо всем этом Михаил Иванович любил побеседовать с своими хорошими знакомыми. Происходило это отчасти вследствие его экспансивности, присущей очень многим в то время. Тогда было в обычае чуть не все свои дела, нередко даже интимного характера, делать предметом общего обсуждения. Что же касается Михаила Ивановича, то этим он тешил отчасти и свое тщеславие, которым сильно страдал. В беседе на эту тему он указывал, как будет для него затруднительно такое

новое обязательство, высчитывал вслух, во что может ему это обойтись, и добавлял, что, к сожалению, совесть не дозволяет ему остаться глухим к просьбе младшего брата. Он, Михаил Иванович, «всем нутром» сознает, что должен именно так поступить, а не иначе.

— Какой из моего братишки Василия выйдет военный? Книга для него все, и больше для него решительно ничего не существует. Счастливый брат Саша,— прибавлял он обыкновенно,— его жена — богатая женщина *, живет он себе припеваючи и не помышляет о нуждах семьи... Да и все мои братья уже привыкли к тому, что я один должен всех их выцарапывать из всякого затруднения. Вот хотя бы Вася... Ведь он не обращается с своей просьбой к Саше, а только ко мне... (При этом Михаил Иванович вздыхал.) А ведь до сих пор я ни от кого из них не видел благодарности. И вот подите же, отказать не могу... Слава богу, хотя в квартире есть теперь местечко. Жоржик умер, Александр женился.

И многие, даже недолюбливавшие Михаила Ивановича за его дурной характер и дерзкие выходки, хвалили его за поступок относительно младшего брата.

И вот Василий Иванович начал готовиться к поступлению в гимназию. Хотя оба учителя наняты были лишь на несколько месяцев и не могли нахвалиться успехами своего ученика, но каждый раз, когда Михаилу Ивановичу приходилось платить им деньги, он говорил брату:

— Нужно что-нибудь устроить, чтобы снять с меня хотя часть обузы, а то ведь просто не продохнуть...

Михаил Иванович очень скоро сам надумал, как себя облегчить: разыскал через знакомых огромного роста упитанного парня, несколькими годами старше Василия Ивановича и целой головой выше его ростом, исключенного из нескольких учебных заведений. Родители великовозрастного молодого человека, выгнанного за неспособность из многих учебных заведений, решили готовить его в юнкерское училище. Василий Иванович обязан был его обучать всем предметам ежедневно, но с условием, чтобы ученик ходил на дом к учителю. Молодой человек оказался крайне ленивым и плохо подготовленным. Тем не менее он удовлетворительно сдал весною экзамены, и его родители через своего сына просили Василия Ивановича зайти к ним,

---

* А. И. Семевский был женат на Александре Васильевне Петрашевской, родной сестре Михаила Васильевича Петрашевского. *(Примеч. Е. Н. Водовозовой.)*

чтобы лично принести ему свою благодарность. Василий Иванович в первый и в последний раз был в их доме, поразившем его роскошью своей обстановки. Но какая была определена плата за его преподавание, Василий Иванович не имел ни малейшего представления, так как условие заключал Михаил Иванович и он же получал деньги за уроки брата. Василию Ивановичу он тоже не говорил об этом, как будто это дело совсем не касалось его: Михаил Иванович хотя и был человеком экспансивным, но о том, что хотел скрыть, мог не проронить ни слова. В то время не только среди крестьян и рабочих глава семейства заключал условия с работодателем, «поставлял» ему в работники сына или брата и получал за него вознаграждение; случалось, это делалось и в среднем классе общества. Я знала семью одного чиновника, который, не получая платы за комнату в своей квартире в продолжение нескольких месяцев, нашел для своего жильца уроки у своего же брата чиновника, но значительнее его, и получал за него деньги, а тот и не знал, сколько он зарабатывает.

Почти одновременно с великовозрастным учеником Василий Иванович сам подыскал уроки в одном знакомом семействе, где ему платили по одному рублю за час, что давало ему в месяц рублей двенадцать. Это вознаграждение Михаил Иванович великодушно предоставил в полное распоряжение своего брата на его карманные расходы. Но Василия Ивановича угнетала мысль, что плата по одному рублю за часовой урок слишком тяжела для его знакомых, в то время сильно нуждавшихся. Чтобы чем-нибудь успокоить свою совесть, вечно преисполненную болезненной тревоги и опасения, как бы не обременить чем-нибудь ближнего, он решил заниматься с новым учеником больше и чаще, чем это следовало по условию. Когда он кончил занятия, ему подарили серебряные часы, с которыми он не расставался до самой смерти.

Первый год жизни у брата, несмотря на целый день напряженного труда (для гимназического курса и для частных уроков), Василий Иванович, по его словам, совсем не чувствовал себя утомленным. Мысль, что он больше не в корпусе, что он будет иметь возможность кончить образование в университете, приводила его в безумный восторг, и он чувствовал глубокую благодарность к старшему брату. Вспоминая об этой поре своей жизни, он говаривал мне: «Все же вначале жизнь улыбалась мне, но а затем судьба как-то сразу начала трепать меня». Особенно радовало его, что он приобретает несравненно больше знаний, чем в кор-

пусе, что к его услугам огромная библиотека брата, что его окружает интеллигентное общество,— у Михаила Ивановича собирались тогда писатели и вообще более или менее видные общественные деятели. Даже занятия с малоспособным учеником не могли омрачить его бодрого настроения. К тому же частные уроки хотя и отнимали у него много времени, но он был счастлив, что таким образом уменьшает денежные расходы на него своего брата. Не отравляли его вначале даже столкновения с Михаилом Ивановичем. Когда тот в минуты гнева упрекал его за что-нибудь, Василия Ивановича не оскорбляли эти упреки,— они подымали в его душе какую-то необыкновенную жалость к брату, который взял на себя добровольно так много забот и обязанностей. И он начинал уверять его в своей глубокой признательности, говорил ему, что он без его помощи совсем бы погиб и т. п. Это как-то сразу успокаивало, даже умиляло Михаила Ивановича, не избалованного благодарностью близких.

Василий Иванович покончил с частными уроками весною, перед самым началом гимназических экзаменов. Он их сдал вполне благополучно и осенью должен был перейти в последний класс гимназии.

К лету Михаил Иванович подыскал брату новые занятия. Василию Ивановичу пришлось уехать в деревню, кажется, Волынской губернии, в интеллигентную семью подготовлять мальчика в гимназию. Он остался очень доволен летом, проведенным в деревне: и семья оказалась вполне добропорядочною, и мальчик симпатичным и способным, и достаточно времени оставалось у него для собственных занятий, и прогулки были прекрасные, чему он всю жизнь придавал огромное значение.

Михаил Иванович встретил брата с распростертыми объятиями. Родители мальчика, которого он обучал, в письмах к нему расхваливали его брата и превозносили его педагогические способности. Остался доволен Михаил Иванович и тем, что его брат точно выполнил его предписания. Прощаясь с ним перед отъездом в деревню, он строго наказывал ему, чтобы на деньги, которые он будет получать за летние занятия, он с осени одевался на свой счет, а Василий Иванович, кроме этого, еще внес из них и плату за полугодие своего гимназического образования.

Однако во второй год жизни у Михаила Ивановича, следовательно уже в выпускном классе гимназии, отношения между братьями вдруг быстро стали портиться. Может быть, вследствие различных житейских неудач, а отчасти,

вероятно, и потому, что раздражительность характера Михаила Ивановича готова была себя проявить по самому ничтожному поводу; как бы то ни было, но Михаил Иванович то и дело брюзжал, а скоро стал и весьма грубо напоминать брату о том, что пора ему искать платные занятия. Василий Иванович каждый раз отвечал ему, что он этого никогда не забывает, но пока все как-то безуспешно.

Не прошло и месяца после возвращения Василия Ивановича из деревни, когда однажды Михаил Иванович вошел в его комнату мрачный и раздраженный и застал его за чтением какого-то научного сочинения. Заметив по выражению лица брата его дурное настроение, Василий Иванович, чтобы избежать бури, начал сообщать ему, что по газетным объявлениям он в этот день ходил в один дом, где ему предложили пятнадцать рублей в месяц за ежедневные занятия по два часа, что с путешествием туда и обратно возьмет более трех часов. При этом он старался убедить брата, что в последнем классе гимназии у него самого будет много занятий, а потому он и не мог взять на себя уроки, требующие значительной траты времени. Затем он имел неосторожность добавить, что ему так хотелось бы подготовлять себя к научной деятельности уже теперь и приняться за чтение серьезных научных произведений.

Этого было более чем достаточно: Михаил Иванович вышел из себя и потерял всякое самообладание. Он издевался над братом, который, не имея никакой поддержки, кроме него, работающего как вол, осмеливается, еще сидя на гимназической скамейке, мечтать о научных занятиях. При этом он с негодованием восклицал, что ведь он, Михаил Иванович, мог же ограничиться корпусом, а его братец, у которого молоко на губах не обсохло, уже мечтает об ученой карьере. Когда Василий Иванович попробовал напомнить ему, что он весь первый год не отказывался ни от каких частных занятий и теперь не отказывается от них, но желает только, чтобы они отнимали у него не так много времени, Михаил Иванович затопал на него ногами и назвал его «негодяем» и «паразитом». Тогда Василий Иванович заявил, что, если бы теперь была не глухая ночь, его уже не было бы здесь.

На другой день Василий Иванович нанял комнату, одну из самых жалких и дешевых даже для того времени, но и за нее он не мог уплатить за месяц вперед, а вынужден был отдать хозяину в залог единственное свое достояние — серебряные часы. Но как существовать без гроша в кармане? Василий Иванович в тот же день отправился туда, где

накануне предлагали ему пятнадцать рублей в месяц за обучение трех детей. Охотников на этот жалкий заработок не оказалось, и урок остался за Василием Ивановичем. Молодежь обоего пола в то время почти исключительно существовала на вознаграждение, получаемое за уроки. Платили за них до невероятности мало, особенно девушкам, нередко по 6-10 рублей в месяц за ежедневное обучение по часу и более; гонорар же в 15 рублей уже считался вполне приличным. Но он не соблазнил студентов, вероятно, потому, что приходилось терять много времени, а женщины не могли взяться за урок, для которого требовалось хотя элементарное знание латинского языка.

Вспоминая впоследствии эту тяжелую пору своей жизни, Василий Иванович говорил, что он еще позже других стал на свои собственные ноги, а вот один его знакомый уже с первого класса гимназии сделался вполне самостоятельным. И Василий Иванович с благоговением рассказывал о нем. В комнату своего родственника, уходившего из дому по вечерам, мальчик-гимназист собирал детей дворников, ремесленников, прачек. Малышей обоего пола маленький гимназист обучал русской грамоте и арифметике.

Нужно заметить, что после крестьянской реформы стремление к обучению сказывалось с необыкновенной силой, а школ было недостаточно для всех желающих. Юный труженик не мог своих учеников обучать дома: члены его многочисленной семьи, люди крайне бедные, ютились в одной комнате. Гимназистик получал за своих учеников по 1 и 1 $^{1}/_{2}$ рубля в месяц и умудрялся не только питаться и одеваться на свои собственные гроши, но даже давать дворнику своего дома небольшую мзду, чтобы тот не донес, куда следует, за устройство школы без разрешения надлежащих властей.

Хотя вполне самостоятельное существование Василий Иванович начал позже мальчика-гимназиста, но и ему оно доставалось крайне тяжело. Напряженная работа без передышки с утра до поздней ночи и непрерывные материальные лишения уже через несколько месяцев заставили его свалиться с ног. Он прислал мне письмо для передачи моему знакомому доктору Тихомирову, которого он просил навестить его.

Врач по призванию, гуманнейший человек по натуре, простой в обращении и весьма симпатичный, доктор Тихомиров пользовался большою популярностью среди бедноты своего района и учащейся молодежи: он не только безвозмездно лечил бедняков, но многим из них умел и помочь

как-то особенно деликатно. После посещения расхворавшегося Василия Ивановича Тихомиров зашел ко мне и заявил, что медицина не в состоянии оказывать существенную пользу таким больным, как его новый пациент.

— Молодой человек живет в сырой комнате, единственное окно которой выходит во двор на помойную яму, питается пищей младенцев, то есть исключительно молоком и хлебом, а между тем его здоровые зубы требуют упражнения. Голову свою он перегружает умственным багажом, что еще более обессиливает его организм, расшатанный вредными условиями жизни. Конечно, я буду посещать его,— говорил доктор,— пожалуй, и прописывать кое-что, а то, при своем мрачном настроении, он еще вообразит, что всеми брошен. Ему нужны не лекарства, а светлая комната и надлежащее питание.

Когда я пришла навестить Василия Ивановича, я увидала перед дверью его комнаты маленький столик, на котором наставлена была посуда. Тут же стояла двоюродная сестра Василия Ивановича Клеопатра Федоровна Кармалина и тщательно рассматривала на свет пустую бутылку.

— Посмотрите,— сказала она мне, здороваясь и потянув меня за руку по коридору, чтобы ее слова не были услышаны больным,— Тихомиров объяснил Васе, что ему следует пить микстуру, что он сам будет ее приготовлять, так как не рассчитывает на аккуратность аптеки. И вот эту микстуру он сам привозит или присылает ежедневно. В бутылке осталось несколько капель... Попробовала, и что же? Крепкий, хороший бульон с протертым рисом, и больше ничего.

Когда мы с Кармалиной вошли к Василию Ивановичу, я была поражена, до чего он исхудал и пожелтел за один месяц. О Тихомирове он говорил с восторгом, доходящим до такого умиления, что минутами у него срывался голос и показывались слезы на глазах. Доктор требует, передавал Василий Иванович, чтобы он через несколько дней уже начал выходить на воздух. Вероятно, так и будет,— его микстура обладает волшебною силою: на вкус приятна и напоминает хороший суп. Василий Иванович и не подозревал всей утонченной деликатной хитрости Тихомирова,— о ней он узнал гораздо позже.

— Я говорила твоему великолепному братцу Мише, как ты расхворался,— начала Кармалина.— Он очень растревожился, хотел сейчас же ехать к тебе, да задержался... просил меня разузнать, как ты отнесешься к его посещению.

— Что ты наделала, Клеопатра! Разве ты не знаешь, что из этого может выйти? Упреки, попреки, намеки, и больше ничего! Еще будет злорадствовать, что я своею строптивостью довел себя до серьезной болезни.

Клеопатра Федоровна клятвенно обещала устроить все так, чтобы отбить охоту у Михаила Ивановича посещать брата во время болезни.

Кармалина, двоюродная сестра Семевских (исполнявшая кой-какие работы у Михаила Ивановича, а затем и секретарские обязанности в журнале «Русская старина»), была особою, в которой уживались самые противоположные качества ума и сердца: прямая, неглупая от природы, порядочно образованная, она в то же время отличалась полною бестактностью и необыкновенными чудачествами; многие совершенно несправедливо считали ее даже нравственною и умственною тупицею. Люди, поручавшие ей какую-нибудь работу, говорили о ней как об особе добросовестной, работящей, но шалой. Она то забывала прийти к работодателю в назначенный срок, то теряла данную ей для переписки рукопись или книгу, и по ее же словам только потому, что она неожиданно для себя торопливо собралась в цирк посмотреть представление циркового наездника с выдрессированными собаками, обезьянами или другими животными. Самою выдающеюся чертою ее характера было хроническое безденежье: она занимала направо и налево, у всех, кто попадался на глаза. Даже при желании уплатить свой долг она никогда не могла этого сделать. Как только она получала плату за труд, она накупала множество безделушек и опять оставалась без денег. Она никому не умела внушить уважения, а ее двоюродные братья Семевские относились к ней с нескрываемым презрением. Только Василий Иванович жалел ее, обращался с ней дружески и находил, что она просто несчастный и взбалмошный человек. Она ли отговорила Михаила Ивановича от посещения больного брата, или он сам так решил, но этот визит не состоялся.

К Василию Ивановичу, вместо старшего брата, неожиданно приехал Александр. Он пожурил брата за то, что тот придавал воркотне Михаила «трагическое значение», уверял его, что Михаил Иванович, несмотря на свой адский характер, горячо и даже нежно любит его, и сообщил следующее. Тетушка Анна Егоровна, которая сделала наследниками своего имения Александра и Михаила, забыла или не пожелала в своем завещании упомянуть о том, кому после ее смерти должно перейти одно ее крошечное имение с раз-

валившимся домиком и с небольшим клочком земли. По закону наследниками этого именьица являются все братья. Александр Иванович, по его словам, узнал, какая могла бы быть его запродажная цена,— оказалось, 400—600 рублей. Он, Александр Иванович, желая приобрести эту землю для какого-то предприятия, предложил братьям уступить ему свой клочок земли, на что все они согласились. Если и Василий Иванович ничего не имеет против этого, то за свой клочок земли Александр Иванович даст ему 75 рублей. Не расспрашивая о подробностях этого дела, Василий Иванович немедленно согласился на все с превеликою благодарностью. Но не прошло и нескольких дней, как его неотступно начала преследовать мысль, что Александр сочинил все дело с наследством для того, чтобы помочь ему в трудную минуту жизни. Кармалина, с которою он при мне говорил об этом, возразила, что Александр Иванович на днях привезет ему вместе с деньгами надлежащую бумагу для подписи об этой сделке. Работая у Михаила Ивановича, она слыхала разговор об этом между братьями. Как всегда, Клеопатра Федоровна не упустила удобного случая набросать характеристику двух братьев, всегда неизменно одну и ту же.

— Тебе нечего терзаться мыслью,— успокаивала она,— что Александр сочинил это наследство, лишь бы вызволить тебя из беды. Не таковский он, чтобы принимать к сердцу нужду ближнего, хотя бы даже родного брата. Правда, он приятный человек для разговора, но Миша куда его добрее и участливее. Конечно, это человек тяжелый, и его корка хлеба у каждого в горле застрянет, но все-таки он добрый человек, а Александр — прожженный эгоист. Вот хотя бы взять этот случай: человек он с большими средствами, говорила я ему о том, как ты нуждаешься, ну, мог бы, кажется, воспользоваться этим и, вместо того чтобы предложить тебе семьдесят пять за твой клочок земли, выложить триста — четыреста рублей.

Но сама Кармалина поступила несравненно хуже своих двоюродных братьев. Как только она узнала, что Василий Иванович получил условленную плату, так немедленно явилась к нему и выпросила у него в долг 60 рублей. Конечно, ей для этого пришлось нарисовать картину своей безысходной нужды, сообщить об угрозе хозяина дома прогнать ее с квартиры и т. п. Но только у Василия Ивановича после ее посещения из 75 осталось всего 15 рублей. Александр Иванович, который узнал об этом, вероятно, от самой Кармалиной (она без утайки все рассказывала как

о себе, так и о других), с возмущением говорил мне о том, что если его брат Василий до такой степени страдает отсутствием выдержки характера и мог последние гроши отдать такой негоднице, как Клеопатра, то, значит, сама судьба назначила ему закалить свою волю в тяжелой борьбе из-за куска хлеба. «Для таких людей, как Вася, суровые уроки жизни необходимы, а то он навсегда останется кисло-сладким идеалистом, человеком, негодным для практической жизни». И после этого Александр Иванович уже никогда не расспрашивал ни знакомых Василия Ивановича, ни его самого о его материальном положении.

Когда София Ивановна упрекнула однажды Кармалину за ее поступок с младшим братом, та оправдывалась тем, что решилась на заем у Василия Ивановича только тогда, когда узнала от него самого, что он через доктора Тихомирова получил новую работу — составление каталога одной частной библиотеки, за что ему назначено вознаграждение более ста рублей, к тому же она непременно отдаст ему свой долг. Но, конечно, она никогда не сделала этого; деньги же за составление каталога были получены лишь через несколько месяцев, так как на эту работу Василий Иванович мог урывать час-другой далеко не ежедневно.

Когда кто-нибудь из близких замечал Василию Ивановичу, как гибельно может отозваться на его здоровье его напряженный труд без отдыха даже летом, он указывал, что ежедневно гуляет по часу, а иногда и больше, сменяет одно занятие другим, что мешает умственному переутомлению, наконец, обстоятельства всей его жизни сложились так, что меньше работать он не может. Каждый умственно развитой человек, объяснил он, обязан всю жизнь, постоянно, если возможно ежедневно, увеличивать и расширять запас своих знаний. И действительно, Василий Иванович следовал этому правилу твердо и неуклонно до самой кончины. Каждый предмет, слушателем которого он был в среднем учебном заведении, в медицинской академии, а затем и в университете, он считал необходимым пополнять чтением наиболее известных сочинений. К своим урокам он точно так же относился необыкновенно добросовестно. Он считал необходимым готовиться к каждому из них, был ли он учителем в пансионе или в частном доме. Ему однажды пришлось обучать семилетнюю девочку, начиная с азбуки. Василий Иванович счел своею обязанностью прежде, чем приступить к этим занятиям, познакомиться с наиболее известными тогда трудами по новейшей системе первоначального обучения.

Если у него выпадал свободный часок, он бросался на чтение лучших критических очерков и наиболее значительных беллетристических произведений,— и в такие минуты он просто блаженствовал, находил, что такое чтение служит наилучшим отдыхом, обновляющим силы. Иногда, однако, проходило несколько месяцев, а он не имел возможности почитать что бы то ни было для своего удовольствия. Как-то он выразил сожаление, что у него часто не хватает времени следить за журналами и литературой вообще. Ему возражали, что журналы и беллетристика не должны иметь особенного значения для него, специалиста-историка. Его всегда удивляло такое мнение, особенно если его высказывал человек умственно развитой. «Как может мало-мальски культурный человек не интересоваться литературой вообще, тем более родной? Как может специалист не бояться закиснуть в своей специальности, сделаться однобоким, узким ученым?» Невозможность быть всегда au courant * всего, что появлялось наилучшего во всех областях литературы, заставляла его нередко жаловаться на свой организм. Хотя он, по его словам, не страдает никакими недугами, но уже давным-давно не мог и не может заниматься по ночам: если он недоспит час-другой, он совершенно теряет возможность работать на следующий день. Между тем многие, когда это крайне необходимо, просиживают за занятиями целые ночи. «Потому что они не так, как вы, переутомляют свою голову круглый год»,— заметил ему однажды знакомый доктор. Но Василий Иванович продолжал настаивать на том, что в его организме есть какая-то особенность. «Например, я не могу безнаказанно выпить несколько глотков самого легкого вина, у меня делается отчаянное головокружение».— «Это только говорит о том, что вы крайне нервный человек», было ему ответом.

Любовь к литературе помешала ему, если можно так выразиться, утонуть в архивных источниках, над которыми ему приходилось постоянно работать, заставила его жить одною общею жизнью с лучшими представителями общественности, активно проводить в жизнь высоконравственные идеалы и общественные стремления прогрессивных людей, согрела от природы его добрую душу горячею любовью к трудящемуся люду, вдохнула в него глубокое сочувствие к горю ближнего, дала ему, наконец, возможность с исчерпывающею полнотою указывать в своих

* в курсе *(фр.)*.

трудах на отношение того или другого писателя к крепостному праву, на распространение в обществе прогрессивных и социальных идей, ссылаться на то или другое художественное произведение, если оно в ярких красках изображало положение народа.

В 1866 году Василий Иванович кончил курс классической гимназии с золотою медалью. Когда Михаил Иванович узнал об этом, он с величайшим восторгом приехал поздравить брата: в одной руке у него была корзина с вином (которого Василий Иванович никогда не пил), в другой — целый ворох разных сластей и закусок. На этот раз не было конца его объятиям, поцелуям, даже слезам, в искренности которых Василий Иванович никогда не сомневался. Но умиление и восторг Михаила Ивановича продолжались лишь несколько минут. Как только он спросил брата, подал ли он заявление о вступлении на историко-филологический факультет, Василий Иванович отвечал, что он поступит в университет лишь через два года, а теперь решил изучать естественные науки в медико-хирургической академии. Михаил Иванович долго не верил своим ушам, думал, что брат просто шутит, но, когда Василий Иванович наивно стал убеждать его в том, в чем были убеждены тогда его современники, то есть что изучение естественных наук должно быть необходимым фундаментом всех знаний без исключения, Михаил Иванович пришел в совершенное бешенство. Он с остервенением кричал на брата, забывая, что тот давно не зависит от него, упрекал его за то, что в таком серьезном деле он подчиняется моде, кричал на него до тех пор, пока Василий Иванович не обратил его внимания на то, что ему пора уходить на урок. Однако этим дело не кончилось: Михаил Иванович обошел чуть не всех своих знакомых с просьбою убедить брата поступить прямо в университет. Но со стороны одних он встретил порицание за нравственное насилие над своим младшим братом, со стороны других удивление, что он, Михаил Иванович, писатель, и вдруг не понимает громадного значения естествознания. Искреннее желание отговорить Василия Ивановича от принятого им решения только лишний раз подтверждало, что Михаил Иванович не понимал характера своего брата, который отличался сильною волей, и раз он на что-нибудь решался, он уже непоколебимо шел к его осуществлению.

Василий Иванович поступил в медицинскую академию, вовсе не имея в виду сделаться врачом, но, как было уже сказано выше, исключительно для изучения естественных наук. По его собственному признанию впоследствии, Миха-

ил Иванович был прав: отчасти это была дань веку, но в то же время его тянуло в медицинскую академию и другое. Посещая публичные лекции Сеченова [4], этого высокодаровитого лектора, Василий Иванович приходил в восторг от его лекций, и он стремился прослушать хотя один полный курс этого замечательного ученого.

К занятиям в академии Василий Иванович относился с такою же добросовестностью, как и ко всему, за что он брался: он серьезно занимался анатомиею под руководством Грубера, не пропускал лекций, сдавал экзамены, расширял получаемые знания чтением подходящих сочинений. После двухлетних занятий в этом учреждении он перешел в Петербургский университет на историко-филологический факультет.

Только с 1872 года, после блестящего окончания университетского образования, когда Василий Иванович был оставлен стипендиатом при университете для подготовления к профессорскому званию и когда он уже печатал свои статьи в журналах, ему перестали угрожать материальные невзгоды. Но и после того, кроме последних семи-восьми лет жизни, его заработки были более чем скромны. Нужно иметь в виду, что все его научные труды требовали усидчивого, длительного изучения по архивным данным и неизданным источникам. При его изумительной научной добросовестности, проработав несколько месяцев над одним каким-нибудь отделом вновь предпринимаемого труда, он имел возможность напечатать в журналах лишь несколько статей, что давало ему, как значится в его записках [5], от 1 400 до 1 500 рублей в год. Но из этих денег он вынужден был ежегодно тратить до 500 рублей на переписку в архивах, на приобретение книг, а иногда и какого-нибудь архивного провинциального материала. Как истинный поклонник одного из принципов 60-х годов — тратить возможно меньше на себя лично, он, при своих скромных вкусах и потребностях, выработанных к тому же школою нужды, мог бы легко просуществовать и на 1000 рублей. Но когда к нему обращались за помощью люди, крайне нуждающиеся, недостаток заработка давал ему себя болезненно чувствовать. Не удивительно, что он мечтал сделаться редактором или соредактором какого-нибудь прогрессивного журнала или честного издательского предприятия. Но у него было органическое отвращение высказывать что-нибудь подобное при посторонних; «точно о чем-то клянчишь, что-то выпрашиваешь для себя», возражал он мне, когда я говорила ему о том, что никто не имеет понятия

о его желании, никто не имеет представления, как при разнообразных знаниях он мог быть полезен в качестве соредактора. Его мечта осуществилась только в последние годы его жизни, когда он и С. П. Мельгунов начали редактировать журнал «Голос минувшего» [6].

Авторы многочисленных очерков [7], посвященных памяти покойного Василия Ивановича, единодушно говорят о нем как о человеке необыкновенной доброты, который не пассивно, а активно, всем сердцем принимал живое участие в людях, а С. П. Мельгунов, который вел с ним совместную работу по редактированию журнала, дает такое оглавление своим воспоминаниям о нем: «Историк-гражданин», «Великое сердце» [8], и в этом определении нет ничего преувеличенного, ничего неправдоподобного.

Непоколебимый в своих принципах, не способный ни на какие компромиссы с совестью, Василий Иванович был врагом абсолютизма, деспотизма и произвола Романовых, истинным сторонником политической свободы, а в адресе, поднесенном ему в день юбилея [9] («Всероссийским литературным обществом»), он совершенно правильно назван был «горячим поборником идей социализма». Свои убеждения и взгляды, насколько было мыслимо при тогдашних условиях нашей жизни, он открыто высказывал с самого начала своей общественной и литературной деятельности, а потому его лекции в университете уже через три года были прекращены по административному распоряжению [10].

Он был верным, стойким другом людей, угнетенных прежним режимом. В бумагах покойного оказалось громадное количество писем, полученных им от разных лиц, но более всего от ссыльных, так или иначе пострадавших за свои убеждения. Трудно представить, до чего разнообразны были поручения, которые он исполнял для них. Его просили похлопотать о перемещении из одной местности в другую, более благоприятную для лечения или для занятий, чем отдаленный от культуры уголок, в который они были заброшены по произволу администрации. Многие обращались к нему с просьбою навести те или другие справки в архивах, посылали ему свои статьи для прочтения и для напечатания в журналах, а если они окажутся для того непригодными, просили указать, что еще следует проштудировать, чтобы сделать их удобоприемлемыми для напечатания; поручали заказать переписку для той или другой своей работы и переписанное сверить с подлинником, отыскать перевод, пристроить в качестве сотрудника газеты или журнала, собрать известную сумму денег для

переезда в новую местность, прислать рекомендательное письмо, подыскать платное занятие на месте ссылки. Особенно часто просили его выслать книги для изучения того или другого предмета или для самообразования вообще. К нему обращались даже с просьбами указать тему для исторического романа, исторической повести, драмы и выслать надлежащие материалы. И Василий Иванович бегал за справками по библиотекам, отправлялся в приемные дни в департамент полиции, еще чаще к крупным чиновникам, от которых более или менее зависела судьба «политиков», реагировал решительно на все, отвечал на все письма без исключения. И в эти бесконечно разнообразные поручения он вносил присущую его натуре высокую добросовестность. Выше было указано, каким образом он приобретал основательные знания не только по своей специальности. Вот потому-то он был полезен каждому, кто обращался к нему за советом. Путешествие по Сибири [11] дало ему возможность приобрести обширное знакомство среди сибирской интеллигенции, что нередко сильно помогало ему подыскивать занятия для сибирских политических ссыльных.

Василий Иванович всегда сердечно радовался, когда за советом к нему обращались люди, занятые каким-нибудь умственным трудом,— с ними у него обыкновенно устанавливалась прочная духовная, а нередко и душевная связь. Он не только снабжал их всевозможными книгами и материалами, но в свои записные тетради заносил, чем занимался каждый из них. Уезжал такой человек в провинцию или попадал в ссылку, но Василий Иванович уже никогда не забывал о нем. По своей собственной инициативе он постоянно следил, нет ли чего нового по вопросу, интересующему того, кто к нему однажды обратился за советом, и без просьбы и напоминания высылал ему новые сочинения, снабжал его редкими книгами из своей библиотеки. Хотя он старательно и с большим трудом собирал и приобретал книги такого рода и чрезвычайно ценил их, но если они, по его мнению, требовались для того, кто серьезно занимался и был в отсутствии, Василий Иванович считал преступлением не предложить ему дорогую книгу, хотя бы тот и не подозревал о ее существовании. Очень часто эти книги захватывала полиция при обыске лиц, как тогда называли, «неблагонадежных», или «политиков»; терялись они и потому, что ссыльных переводили нередко из одной местности в другую как по их собственной просьбе, так и по произволу администрации. Добиться нового адреса от «политиков» далеко не всегда было возможно, так как их

письма то и дело пропадали или, отправленные по оказии, не доходили по назначению, потому что такое лицо было арестовано или в пути, или скоро по возвращении. Василий Иванович очень скорбел об утрате редких книг, но это не заставляло его отказывать в них кому бы то ни было. Слова поэта: «Его сердце корысти не знало» — можно смело применить к нему.

Если невозможно было исполнить просьбу ссыльного, положение которого было безвыходно, в таких случаях, можно сказать без преувеличения, на Василия Ивановича было тяжело смотреть,— до того он душевно терзался и приходил в совершенно нервное состояние. То он быстро бегал по комнате и хватал одну за другой свои многочисленные тетради с записями, перелистывал их дрожащими руками, отыскивая фамилию человека, который мог бы ему посодействовать в этом деле, то обращался к домашним, настаивая и упрашивая их подумать о том, нельзя ли хотя что-нибудь сделать для несчастного.

Совершенно так же относился Василий Иванович не только к ссыльным, но к горю каждого. Его сердце билось горячим сочувствием ко всем, на долю которых выпадали какие бы то ни было несчастия, нищета, тяжелая борьба за существование. Принципы, которым он оставался верен до последнего вздоха, были весьма суровые, требовали от него большого великодушия, при этом сердце его было удивительно чуткое и отзывчивое. Достаточно для этого привести хотя следующий пример.

Однажды ему пришлось возвращаться домой по черной лестнице. На подоконнике, горько рыдая, сидела женщина, которую он спросил о причине ее слез, но не мог добиться, в чем дело. Он пришел домой страшно взволнованный.

— Я первый раз в жизни видел, как человек плачет «кровавыми слезами». Господи, до чего должны быть ужасны ее страдания! Позовите ее... Я просил ее подождать...

Вошла женщина в грязных нищенских отрепьях. Ее лицо все было в синяках и кровоподтеках, она едва поднимала веки, так они были вздуты от опухоли и болячек. Она то и дело вытирала лицо и глаза тряпкою в кровяных пятнах, не то от ссадин на лице, не то от болячек на веках. Она представляла поистине ужасное зрелище. Домашние начали ее расспрашивать, но она показывала нам, что у нее что-то неладно во рту. Наконец из нескольких отрывочных фраз мы разобрали только, что муж избил ее. Мы решили отправить ее в больницу. Василий Иванович, опасаясь, что

она самостоятельно не смеет обратить внимание на свое положение, сам отправился ее проводить. После выхода из больницы она то и дело стала забегать к нам. Ее муж проследил за ней и явился к Василию Ивановичу с угрозою донести на него полиции за то, что он вмешивается в его семейные дела. Муж несчастной Христины оказался настоящим дикарем: он тут же с невозмутимой беззастенчивостью сообщил следующее. Он женился потому, что Христина клялась перед образом, что за ней дадут приданое, которого не оказалось. Он немедленно прогнал ее и забыл о ее существовании, но ему, как на грех, полюбилась девушка, которую он не может уговорить быть его женою без венца. «Я не знатный барин, чтобы разводиться по-законному, а простой чернорабочий при типографии Стасюлевича. Раз десяток-другой задам женушке знатную трепку, авось поколеет».

И начались бесконечные хлопоты и душевные терзания Василия Ивановича, чтобы как-нибудь устроить несчастную женщину и обезопасить от убийства мужа. Поместить ее в нашем доме оказалось немыслимо: служащие заявили, что Христина нечистоплотна до такой безобразной степени, что никто из них не желает ни есть с нею за одним столом, ни спать в одной комнате. Невозможно было поручить ей и какую-нибудь работу, тоже вследствие ее непроходимого неряшества. И Василий Иванович начал ежемесячно выдавать ей какую-то денежную сумму; но хлопоты, которые она ему наделала, и мысль, которая его терзала, что она будет убита мужем, не давали ему покоя. Он много раз ходил по ее делу и в полицию, и даже к Стасюлевичу, упрашивая его повлиять на своего рабочего. Между супругами временами наступало затишье, и Христина не являлась к нам неделю-другую, но затем она опять приходила вся избитая, уверяя, что муж забрал от нее деньги, которые только что дал ей Василий Иванович. Ее муж, видимо, совершенно серьезно задумал привести в исполнение свою угрозу. И вот мы опять отводили ее в больницу, Василий Иванович или сам ходил ее навещать, или просил кого-нибудь сделать это за него, несколько раз являлся он по ее просьбе и в нищенский комитет [12], чтобы вызволить ее оттуда,— так продолжалось несколько лет, пока она не умерла.

Если Василий Иванович был чем-нибудь обязан кому бы то ни было, чувство долга и признательность перед таким лицом постоянно давали ему себя чувствовать. Обостренная впечатлительность делала его по временам мрач-

ным, замкнутым, рассеянным и нередко доводила его нервы до сильного расстройства. Но когда проходило тяжелое настроение, он становился более оживленным и бодрым и сообщал мне, что в данное время ему особенно хорошо работается. Я шутливо замечала, что такая перемена, вероятно, результат «капитальной уплаты долга кому-нибудь». В такие минуты Василий Иванович острил, подсмеивался над собою, а факты, которые я узнавала от него же, обыкновенно подтверждали мое предположение.

Однажды он заговорил со мною о необходимости возвратить брату Михаилу все то, что он потратил на него. Я доказывала ему, что это немыслимо высчитать, что уроки, за которые он получал вознаграждение, вероятно, без малого покрыли все расходы Михаила Ивановича, что если бы каждый стал проводить в жизнь его точку зрения, то должен был бы выплачивать родителям всю ту сумму, которую они потратили на него со дня его рождения, но что и в таком случае счет был бы несправедливым и неправильным, так как оценить заботы родителей, их бессонные ночи и страдания за время воспитания ребенка — немыслимо.

— Брат Михаил не обязан был ни содержать меня, ни давать более основательное образование, чем предназначила мне судьба,— отвечал он.

В конце концов он то же высказал и своему брату. Это, видимо, так поразило Михаила Ивановича, что он, рассказывая знакомым о признании своего брата, старался подчеркнуть, что у Василия Ивановича совершенно исключительная натура. «Люди обыкновенно не помнят добра, а Вася, несмотря на полный разрыв между нами дипломатических сношений (так называл он свою ссору с братом, продолжавшуюся несколько лет), прямо говорит, что он обязан только мне своим образованием». Но нравственное удовлетворение не помешало Михаилу Ивановичу перенести это дело на практическую почву. Он предложил брату большую работу для журнала «Русская старина» [13], говоря, что она своевременно будет оплачена. Но Василий Иванович наотрез отказался от какого бы то ни было вознаграждения и был очень счастлив, что мог наконец расплатиться с ним; радовало его и то, что работа была хотя и очень большая, но не спешная.

Однако были случаи, когда Василий Иванович оставался вечным должником, и тогда уже он никогда не мог выбросить из сознания и души тяжесть долга, что его мучительно тяготило.

Из Петропавловской крепости (1905 год), в которой

Василий Иванович просидел две недели [14], его перевели в Выборгскую одиночную тюрьму, в больницу. Когда я узнала об этом, я отправилась в жандармское управление навести справку о причине его перевода. Я знала, что многие с трудом добивались, чтобы арестованного, даже когда он начинал хворать, переводили в тюремную больницу. Я решила, что Василий Иванович серьезно захворал, если его отправили туда без хлопот. В жандармском управлении мне сообщили следующее: доктор Петропавловской крепости при первом освидетельствовании здоровья Василия Ивановича нашел его в крайне нервном состоянии и заявил администрации, что его долго держать в крепости не следует. Василию Ивановичу лично была неизвестна причина его перевода, и в первое же свидание со мною он спрашивал меня об этом. Во время его пребывания в Выборгской тюрьме одно обстоятельство так потрясло его нервы, что, вероятно, роковым образом отразилось бы на его здоровье, если бы ему пришлось пробыть в ней месяц-другой, а не полторы недели. Дело в том, что он подговорил одного надзирателя передать мне его письмо и доставить ему мой ответ, на что тот согласился. Между тем в ту минуту, когда ко мне явился надзиратель (о чем Василий Иванович не мог предупредить меня), в нашей квартире происходил уже второй обыск после его ареста, видимо вызванный следующим обстоятельством. Уже после того, как арестованного Василия Ивановича повезли в тюрьму, обыск еще долго продолжался в его кабинете. Домашние не могли войти туда, так как каждый из них должен был оставаться в своей комнате под надзором полиции. Только уже под конец обыска моему сыну удалось через толпу «ночных посетителей» прорваться в кабинет, куда и я последовала за ним. Но полицейские уже кончали свое дело и начали прикладывать печати к дверям изнутри. Вместе с ними пришлось выйти и нам. Наложены были печати к дверям кабинета и с наружной стороны. Дни стояли очень холодные, а между тем мы не могли топить самую большую комнату нашей квартиры, так как она отапливалась из кабинета, замкнутого и запечатанного. Я подала об этом заявление как в жандармское управление, так и в департамент полиции, а мой сын жаловался еще и на то, что обыск у Василия Ивановича и составление протокола происходили без присутствия домашних, и добавил, что в таких случаях у арестованного нередко выкрадывают деньги. И вот к нам опять нагрянули полицейские, жандармы и понятые в весьма внушительном количестве.

— Где ваш сын? — спросил меня жандармский полковник.

Я отвечала, что его нет дома, а где он, не знаю.

— Он изволил всюду рассказывать, что жандармы и полицейские обкрадывают при обысках. Он за это ответит! А теперь потрудитесь показать, где хранятся деньги вашего мужа, и сообщить, сколько их не хватает.

Я отвечала, что не знаю ни того, ни другого. Полицейские начали срывать печати с дверей, а затем вся орава двинулась в кабинет. У меня потребовали ключи от столов и шкапов, но я отвечала, что они находились у моего мужа, а где они теперь — не знаю. По приказанию жандарма привели слесаря с отмычками. Когда открыли все ящики столов и шкапов, слесарь приблизился к жандарму и потребовал плату за работу, а тот, обращаясь ко мне, произнес повелительно:

— Извольте заплатить.

— Как! вы взломали замки и думаете, что я буду еще за это расплачиваться?

Жандарм сердито вытащил из портмоне двугривенный и бросил его на стол.

— Маловато, ваше благородие... За восемь замков...

— Убрать его,— закричал жандарм, но слесарь быстро выскользнул в дверь без провожатого. Тогда жандармский полковник, выдвигая ящики столов один за другим и, вероятно, еще более раздосадованный тем, что находил их переполненными рукописями, то и дело обращался ко мне со словами: «Потрудитесь указать, где лежат ваши деньги». Он перерыл все столы, но не нашел никаких денег. (Кстати замечу, что позже, когда Василий Иванович возвратился из тюрьмы, он нашел в целости 150 рублей золотом: они лежали у него в конверте в том ящике, в котором особенно усердно рылся жандарм.) Раздосадованный, он подошел к книжным полкам, куда обратились все взоры людей, которых он с собою привел.

— Живо достать три книги посреди второй полки, а здесь снимайте вот эти с третьей полки...— командовал он, и все устремились с рвением исполнять его приказания.

Я вышла из кабинета — мне никто ничего не заметил, и я только позже вспомнила, что я оставила дверь приоткрытою. Проходя мимо передней, я вдруг услыхала, что кто-то без звонка дернул дверь за ручку. Я быстро открыла ее и увидела перед собою незнакомого человека высокого роста.

— Я пришел купить книги в книжном складе,— сказал

он мне, нагибаясь к моему уху, и прошептал: — От вашего мужа.

Я указала ему дверь книжного склада, которая приходилась почти против двери кабинета, но заметила, что он, сделав несколько шагов, вдруг весь задрожал. Я толкнула его в книжный склад, замкнула его, положила ключ в карман и отправилась в кабинет. Там все присутствующие были заняты книгами, стаскивали их с полок, подносили для осмотра жандармскому полковнику и вытягивали все, что попадалось под книжными полками, но там оказывались все книги и книги.

— Мне пора уходить! Тут нужен месяц, чтобы все осмотреть,— заявил взбешенный полковник, и наконец все наши «посетители» вышли.

Через несколько минут я вошла в книжный склад и застала надзирателя еле живого: он сидел на полу между шкапами и едва мог подняться: руки и ноги его дрожали, он долго не мог вымолвить ни слова; наконец проговорил:

— Оба жандарма знают меня в лицо. Приметили бы... И не миновать виселицы!

Я спросила его, не давал ли ему Василий Иванович письма для передачи мне. Он тут только вспомнил о нем и указал мне на одну книгу, в которую он будто бы засунул его. Но письмо валялось на полу. Я сказала, что напишу ответ, но он наотрез отказался ждать еще хотя несколько минут ввиду того, что жандармский полковник, может быть, и заметил его, но счел долгом промолчать до поры до времени. Когда я, чтобы вознаградить его за услугу, протянула к нему деньги, он отстранил их рукой и отрицательно покачал головой, но мне все-таки в конце концов удалось уговорить его исполнить мою просьбу.

Крайне перепуганный вид надзирателя, его попытки убежать от меня ежеминутно помешали мне попросить его избавить моего мужа от пересказа ему только что случившегося,— я знала, что это произведет на Василия Ивановича самое удручающее впечатление.

Когда через два-три дня после этого наступило время моего свидания с мужем, меня провели в большую светлую комнату. В ней никого не было, кроме священника, который сидел за столом и торопливо что-то писал. Я подумала, что попала не туда, куда следует. Мне приходилось много раз иметь свидания с арестованным сыном [15], узнавать и от других, при какой обстановке происходят эти свидания, но я никогда не слыхала, чтобы при них присутствовал священник. Объяснение этого я получила позже: в тот день

в Выборгской тюрьме служащие были сильно заняты, а Василия Ивановича уже решено было выпустить. Не знаю, что более помогло быстрому его освобождению из тюрьмы: всевозможные ли хлопоты о нем разных лиц или заявление психиатра Тимофеева о том, что дальнейшее пребывание в тюрьме такого нервного субъекта, как Семевский, значило толкать его на верную психическую болезнь, но видимо, что в минуту нашего свидания на него уже смотрели как на человека более или менее свободного, а тюремному священнику приходилось писать что-то неотложное.

Когда Василий Иванович вошел в комнату, в которой я ожидала его, я была поражена его видом: бледный, осунувшийся, с темными пятнами под глазами, он как-то рассеянно посматривал во все стороны, а как только подошел ко мне, громко заговорил, забывая всякую предосторожность: «Я подвел человека! Что мне делать, что мне делать!» — говорил он в отчаянии, ломая руки. Я поняла, что смотритель умудрился передать ему инцидент, происшедший с ним в нашей квартире. Но в эту минуту священник привстал с своего места и с досадою в голосе произнес: «Прошу мне не мешать своими разговорами... Идите в тот конец!..» Мы уселись в уголок и начали беседовать. Я старалась успокоить Василия Ивановича, указывая ему на то, что ему нечего убиваться, так как прошло уже несколько дней после этого происшествия, а смотритель цел и невредим; что же касается его собственного дела, то оно складывается, видимо, весьма благоприятно для него. Но Василий Иванович был занят только одним: он то и дело перебивал меня просьбою подумать о том, что бы можно было сделать для надзирателя, которого он так «подвел».

— Боже мой, ведь эта мысль изгложет меня! Подумай, умоляю тебя, подумай, что бы мне сделать для него?

Я возвратилась домой в ужасе при мысли о том, что произойдет с Василием Ивановичем, если ему еще долго придется сидеть в тюрьме. Все бывшие у меня тогда связи уже были пущены в ход, и я принялась писать письма к знакомым с просьбою приехать ко мне на другой день, рассчитывая, что кто-нибудь из них даст мне совет насчет дальнейших хлопот. Вдруг в мою комнату вошел профессор Г. В. Хлопин, которого Василий Иванович глубоко уважал и высоко ценил, как человека неподкупно честного и прямого. Он приехал порадовать меня известием, что Василия Ивановича выпустят из тюрьмы сегодня же. Днем не могли этого сделать потому, что ожидали форменную бумагу от

соответственного начальства, без которой тюремные власти не имеют права выпускать заключенных.

И действительно, Василий Иванович возвратился через несколько часов, хотя было уже около полуночи. Он очень оживленно рассказывал мне, как неожиданно для него совершился его выход, но вдруг замолчал и спросил, не придумала ли я чего-нибудь для смотрителя, чтобы хотя несколько вознаградить его за тот смертельный страх, который он заставил его пережить.

Это дело чрезвычайно долго терзало его душу: он собирался то лично отправиться к смотрителю, чтобы поближе познакомиться с его семейным положением, то по почте отправить ему деньги, но знакомые решительно отсоветовали ему делать это, чтобы не повредить надзирателю.

Так прожил Василий Иванович всю жизнь без уклонов в сторону: он шел прямою дорогою, ни на шаг не отступая ни от раз намеченной цели, ни от того, что диктовала ему совесть. Сочувствие к каждому, попавшему в беду, уже в молодости прочно укрепило в его сознании чувство долга самой высшей пробы и ценности. Высокогуманное отношение ко всем людям без различия их социального положения диктовали ему не только его благородные принципы и общественные идеалы, за осуществление которых он боролся всю жизнь, но и его золотое сердце, что вполне отразилось и на характере его научных работ. В них красною нитью проходит глубокая любовь к нашему злосчастному народу. Василий Иванович описывает многострадальное рабство крестьян, их непосильный труд, жестокие наказания, которые они выносили, унижение их человеческого достоинства, которому они подвергались вследствие полного произвола помещичьей и полицейской власти. С таким же сочувствием и вниманием он относился и к положению рабочих на золотых приисках. С организацией их труда он познакомился не только из громадного количества архивных источников, но и благодаря личному наблюдению над ними на месте, — специально с этою целью он и предпринимал путешествие по Сибири. После трудов, посвященных крестьянству и рабочим на золотых приисках, Василий Иванович остановился на изучении важнейших моментов истории прогрессивных воззрений, идей и политических движений в русском обществе. Результатом этого изучения была его книга «Политические и общественные идеи декабристов» [16], а затем его многочисленнейшие статьи о петрашевцах, которые уже собраны и будут изданы в двух

больших томах [17]. Эти последние труды могут убедить читателя в глубоком сочувствии Василия Ивановича к освободительным, социалистическим учениям, в его ненависти к произволу нашего дореволюционного правительства [18], в горячей любви к политической свободе, в его глубокой вере в полное обновление России, когда она скинет с себя цепи рабства, когда падет неограниченная самодержавная власть царя.

Трудовая жизнь Василия Ивановича была усеяна терниями: в юности он испытывал большие материальные затруднения, а затем представление магистерской диссертации, ее защита, чтение лекций в университете,— одним словом, каждый шаг его общественной деятельности создавал ему много невыносимых неприятностей, дурные отношения со многими профессорами филологического факультета, которые в то время были чрезвычайно реакционно настроены [19].

Василий Иванович уже с юношеских лет мечтал о кафедре. Когда наконец после тяжелой борьбы, распускаемой клеветы и даже доноса, сделанного на него Бестужевым-Рюминым Делянову [20], он все-таки получил право читать лекции в Петербургском университете,— они продолжались очень недолго, но он все же убедился в том, что мечта его юности была не фантастическим бредом юноши, а истинным призванием,— его аудитория всегда была переполнена слушателями, и притом студентами всех факультетов. С молодежью у него установились наилучшие отношения товарища-друга. И вот в 1885 году [21] правительство лишает его права читать лекции — это был самый жестокий удар в его жизни. Его большой приятель, профессор Стороженко, правильно выразился, что этим Василия Ивановича «обрекают на нравственную смерть». Тяжелая рана, нанесенная этим административным распоряжением, перестала давать себя чувствовать только в последние годы его жизни, когда он весь ушел в свои научные труды и в редакционную работу журнала «Голос минувшего».

КОММЕНТАРИИ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГМ — Голос минувшего.
ЛН — Литературное наследство.
Семевский — Семевский В. И. Василий Иванович Водовозов. СПб., 1888.
Тургенев. Письма — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма в 13-ти томах. М.-Л., Наука, 1961—1968.
Чернышевский — Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939—1951.

НА ЗАРЕ ЖИЗНИ

ЧАСТЬ III

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Глава XIV

[1] Стихотворение «Дума Сокола» (1840) получило высокую оценку В. Г. Белинского, который в статье «О жизни и сочинениях Кольцова» (1846) отнес его «к числу значительнейших произведений русской поэзии» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IX. М., 1955, с. 537). М. Е. Салтыков-Щедрин в статье «А. В. Кольцов» (1856) писал, что в этом стихотворении поэт всего полнее выразил «жгучее чувство личности», разрывающей «все внешние преграды» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. V. М., Наука, 1937, с. 33). В последнем собрании сочинений М. Е. Салтыкова дан другой текст этой статьи под заглавием «Стихотворения Кольцова», в печати не появлявшийся, в котором данной характеристики нет (см.: Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 5. М., Художественная литература, 1966, с. 7—32).

[2] «Православие, самодержавие и народность» — известная программная формула С. С. Уварова, министра народного просвещения (1833—1849). По его инструкции, в духе этой формулы попечители учебных

округов обязывались вести народное образование. В 1841 году в соответствии с этой программой был перестроен и общий устав университетов.

[3] Сложившаяся в России в 1859—1861 годах революционная ситуация послужила толчком для нового взрыва национально-освободительной борьбы в Царстве Польском. Взрыв этот вылился в грандиозное восстание против гнета самодержавия. Начатое в ночь на 23 января 1863 года, оно охватило также Литву и часть Белоруссии. К лету того же года восстание было подавлено войсками царского правительства; в отдельных местах оно продолжалось и в 1864 году.

[4] И. С. Гонецкий, командовавший лейб-гвардии Финляндским полком (то есть отборными войсками, назначенными для охраны особы государя), во время польского восстания разбил значительно превосходящими силами повстанческие отряды, действовавшие на территории Литвы под руководством одного из вождей восстания, З. Сераковского. Тяжелораненый Сераковский был взят в плен и повешен по приговору военно-полевого суда.

[5] Младший брат Александра II Константин Николаевич (1827—1892) возглавлял либеральную бюрократию, склонявшуюся к умеренным реформам общественного строя России, чем возбудил к себе ненависть реакционного дворянства, стремившегося сохранить крепостнические устои. Последние, чтобы рассорить великого князя с царем, распространяли слухи, будто он стоит во главе заговора, имеющего своей целью возвести его на престол. В мае 1862 года Константин Николаевич был назначен наместником в Царстве Польском, что было продиктовано политикой лавирования в польском вопросе из-за общего демократического подъема в стране и усиления, в частности, национально-освободительного движения в Польше. Однако половинчатая политика, проводившаяся Константином Николаевичем, лишь внешне выглядела как самостоятельная. Из переписки с ним Александра II видно, что великий князь действовал в строгом соответствии с личными указаниями царя, предписывавшими «крайнюю осторожность», «примирение» и т. д. при сохранении тем не менее военного положения и прямо заявленной задачи — восстановить «законную власть» русского царя (см.: Дела и дни, 1920, № 1, с. 122—162). После январского восстания, когда правительство перешло к открытой карательной политике, Константин Николаевич был отозван из Польши. Он продолжал оставаться фигурой, на которую ориентировалась либеральная бюрократия.

[6] И. С. Гонецкий горячо поддерживал карательные действия генерал-губернатора Северо-Западного края М. Н. Муравьева, получившего кличку «Вешателя». В ответ на благодарность, посланную Муравьевым Финляндскому полку (которым командовал И. С. Гонецкий) за взятие в плен З. Сераковского и Б. Колышко, он телеграфировал Муравьеву: «Финлядский полк пьет за здоровье гениального человека, который правит здешним краем» (см.: Корнилов И. П. Воспоминания о польском мятеже 1863 г. По рассказам генерал-адъютанта И. С. Го-

нецкого.— Русский архив, 1899, № 7. Об этом сообщалось также в газете «Русский инвалид» от 17 июля 1863 года).

[7] См. коммент. 1 к главе XIII т. 1.

[8] См. коммент. 2 к главе XI т. 1.

Глава XV

[1] В журнале «Современник» (1911, № 3) это примечание было при второй главе, которая вместе с первой и образовала XV главу в книге «На заре жизни». Местонахождение этих писем, как и всего архива Е. Н. Водовозовой, неизвестно.

[2] За обличением крепостнических порядков после отмены крепостного права нередко скрывалось и обличение остатков крепостничества.

[3] Этот новый подход к осмыслению исторического прошлого был типичен для тех лет. Так, один из видных деятелей тайного общества «Земля и воля» 60-х годов, А. Д. Путята, писал о необходимости внести коренные изменения в изучение истории. В его «Ответе» авторам прокламации «Молодая Россия» говорилось, что знание исторического прошлого родины требует освещения «не истории войн и правителей, даже не истории цивилизации, т. е. истории привилегированного меньшинства, но истории социальной — истории угнетенной массы». Эта история пока немногосложна: как люди и несчастные обстоятельства было загубили Русь, стремились обратить людей в лошадиную породу; как русский народ противился этому загублению; какие ужасы были, всеобщее мученичество, бичевание, собственность, нищета, запрещение мысли; как все-таки русский народ не погиб окончательно и как он восстановил свою свободу» (Виленская Э. С. Новые архивные материалы о деятельности «Земли и воли» (1862 г.) — В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., Наука, 1965, с. 40). Подобные мысли выражались большинством демократических публицистов.

[4] Новое судебное законодательство являлось одним из звеньев в цепи реформ 60-х годов, представлявших собой, по характеристике В. И. Ленина, важный шаг на пути к буржуазной монархии (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 165—166). Судебные уставы были утверждены 20 ноября 1864 года, а вводились в жизнь в 1866 году и впервые применены к делу о покушении на Александра II Д. В. Каракозова и кружка, к которому он принадлежал.

[5] Дальнейшими преобразованиями, кроме судебной реформы, были земская реформа, отмена университетских ограничений, цензурные установления, законы о воинской повинности и другие, обусловленные отменой крепостного права. Все они имели буржуазный, однако, половинчатый характер. Революционная часть русской демократии уже во время их подготовки не возлагала надежд на реформаторскую деятельность правительства.

[6] По распоряжению Николая I, переданному министру народного просвещения 30 апреля 1849 года, число студентов в каждом университете ограничивалось тремястами человек и воспрещен был новый прием, пока численность не снизится до указанной цифры. Затем по утвержденному царем докладу министерства народного просвещения от 26 января 1850 года преимущество при поступлении отдавалось лицам, имеющим право вступать в гражданскую службу, каковыми по закону являлись дворяне и дети купцов 1-й гильдии. Эти ограничения были отменены после смерти Николая I, в ноябре 1855 года, вследствие чего состав студенчества значительно пополнился за счет разночинцев.

[7] Пакетик (устар.).

[8] Сентиментальный женолюб, волокита. Имя героя романа д'Юфре «Астрея», ставшее нарицательным.

[9] Кто скрывается за псевдонимом Ваховского, установить не удалось. Не исключено, что это обобщенный образ. Его взгляды на искусство и литературу напоминают воззрения В. И. Водовозова, так же как и возраст (37 лет), и слова о намерении жениться. Возможно, что за Ваховским и скрыт Водовозов, а вымыслом являются отдельные детали биографии, которыми для сокрытия наделила его автор воспоминаний.

[10] Офени — коробейники, торговцы по селам вразнос. П. И. Якушкин был не только публицистом-этнографом, изучавшим крестьянство в образе коробейника, но и участником освободительного движения 60-х годов. В 1859 году был арестован в Псковской губернии, в 1865 году — в Нижнем Новгороде, был выслан из Петербурга и находился под надзором полиции.

[11] В 1860 году В. А. Слепцов, по поручению Этнографического отдела Географического общества, прошел пешком от Москвы до Владимира, ознакомился с состоянием и бытом деревни и положением фабричных работников. Это путешествие нашло свое отражение в его цикле очерков «Владимирка и Клязьма», печатавшихся сначала в № 1, 2 «Московского вестника» за 1861 год, а затем полностью в «Русской речи» за тот же год. В записной книжке Слепцова, опубликованной в томе 71 *ЛН*, содержатся его путевые заметки, использованные в этом цикле.

[12] Взятые в кавычки слова не являются цитатой из Щедрина, но обобщением его мыслей, высказывавшихся неоднократно. Наиболее близки к закавыченным словам места в обозрении «Наша общественная жизнь», публиковавшемся в «Современнике», № 3 за 1864 год (см.: Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 6. М., Художественная литература, 1968, с. 321, 322, 323 и др.).

[13] Самое выражение «молодая Россия», повторяющееся и ниже,— намек на выпущенную в это время прокламацию под тем же названием, автором которой был московский студент П. Г. Зайчневский и основные положения которой повторял «Смерч».

[14] Так называлась верхняя галерея («галерка») театра, вследствие

своей дешевизны, обычно занимаемая студенческой молодежью, бурно реагировавшей на игру актеров или пьесу.

[15] Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин» (1856).

[16] Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1860).

[17] Здесь, очевидно, подразумевались слова Лира в четвертой сцене второго акта трагедии Шекспира «Король Лир» (1606):

Дай человеку то лишь, без чего
Не может жить он,—
Ты его сравняешь
С животным.

(перевод А. В. Дружинина)

[18] Отрицание «искусства для искусства» было в то время характерно для одного из демократических течений, и некоторыми его представителями доведено до вульгаризаторского, утилитаристского и нигилистического отношения к проблемам эстетики в целом, а в частности и к поэзии А. С. Пушкина. Наиболее законченный вид это получило в публицистике и критике Д. И. Писарева, причислявшего Пушкина к родоначальникам школы «чистого искусства» (см., напр., его статью 1864 года «Реалисты»).

[19] Здесь упрощенное истолкование взглядов Н. Г. Чернышевского, выраженных в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855).

[20] Строки из стихотворения А. С. Хомякова «Россия» (1854). Опубликовано в книге «Стихотворения А. С. Хомякова» в 1861 году. До того распространялось в списках.

[21] Строка из стихотворения А. С. Пушкина «К морю» (1824).

[22] Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин» (1856).

[23] Строки из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1838).

[24] Просвирня — женщина в церковном приходе, преимущественно из духовного звания, приставленная печь просвиры (просфоры) — хлеб, употребляемый при причастии. Салопница — обычное в XIX веке прозвище нищенок.

[25] Имеются в виду сочинения весьма популярных авторов, вульгарных материалистов, натуралиста К. Фогта, физиолога Я. Молешотта и английского позитивиста Д.-Г. Льюиса.

[26] М. Д. Хмыров, получив военное образование, прослужил в военной службе десять лет и вышел в отставку в 1861 году, когда и занялся литературной деятельностью. Ведя более чем скромный образ жизни, затрачивал все свои заработки на приобретение книг для своей ценной и богатой библиотеки. Подробнее о нем см. «Русский архив», 1873, № 1, некрологическая статья П. А. Ефремова.

[27] Стихотворение А. Н. Майкова «Коляска», написанное при жизни

Николая I, воспевало императора как «великого человека», деятельность которого «история оправдает». Впервые оно было напечатано в посмертном издании сочинений поэта. Однако еще при жизни получило широкое распространение и установило за Майковым репутацию ретрограда. По свидетельству Е. А. Штакеншнейдер, уже в 1858 году Майков «Коляску» нигде не читал. И «о ней при нем и не упоминают никогда» (Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. М., 1934, с. 211). «Это была моя глупость, но не подлость»,— признавался Майков Я. П. Полонскому (Полонский Я. П. Из дневника.— *ГМ*, 1919, № 1-4, с. 107).

[28] В октябре 1861 года в связи со студенческими волнениями в Петербурге из-за введения новых правил, ограничивавших студенческое самоуправление и возможности поступления в университет малоимущих, значительное число студентов было заключено в Петропавловскую крепость. В ноябре студенты послали переведенному туда же из Третьего отделения собственной государя канцелярии поэту и переводчику М. Л. Михайлову (привлеченному за написание прокламации «К молодому поколению») стихотворение «Узнику», начинающееся словами:

Из стен тюрьмы, из стен неволи
Мы братский шлем тебе привет.

Автором стихотворения, по свидетельству Н. Я. Николадзе, был студент Петербургского университета И. А. Рождественский. По его словам, студенты мало рассчитывали на то, что их послание дойдет до Михайлова. «Каково же было наше восхищение,— пишет он,— когда немного дней спустя получился неизвестно каким путем трогательный ответ поэта, до слез нас растрогавший» (Каторга и ссылка, 1927, № 4, с. 44—45). По утверждению же Л. Ф. Пантелеева, автором стихотворения «Узнику» являлся ставший позднее видным деятелем «Земли и воли» Н. И. Утин, тоже студент Петербургского университета (см.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., Гослитиздат, 1958, с. 179). Об этом обмене стихотворными посланиями сообщает и сам М. Л. Михайлов в своих «Записках» (см.: Михайлов М. Л. Соч. в 3-х томах. М., Гослитиздат, 1958, с. 515). «Ответ» Михайлова заканчивался словами:

Будь борьба успешней ваша,
Встреть в бою победа вас.
И минуй вас эта чаша,
Отравляющая нас.

Оба стихотворения были впервые опубликованы в прибавлении к листам 119—120 «Колокола» от 3/15 января 1862 года.

[29] Подобные отзывы о В. А. Слепцове как о чтеце содержатся в ряде воспоминаний. Об этом пишут А. Я. Панаева (Воспоминания. М., Художественная литература, 1972, с. 338), П. В. Быков (Силуэты далекого прошлого. М.— Л., 1930, с. 182). В. И. Танеев свидетельствует: «Трудно себе представить что-нибудь лучше его чтения: простота, изящество,

одушевление, умение подражать голосу женщин, и притом без всякой театральности, без всякой аффектации» (*ЛН*, т. 71, с. 522).

[30] Стихотворение А. Н. Плещеева (1846). В 60-е годы стало для молодого поколения подобием демократического гимна.

[31] Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» печатался в журнале М. Н. Каткова «Русский вестник» в мартовском номере 1862 года, а в сентябре того же года вышел отдельным изданием.

[32] За этими словами мог содержаться намек на революционную деятельность.

Глава XVI

[1] Это было связано с распространением материалистической философии (правда, преимущественно в ее вульгаризированном виде), ставшей знаменем радикальной общественной мысли.

[2] «Иллюстрированная жизнь животных» немецкого зоолога А. Э. Брема впервые вышла в русском переводе в 1865—1867 годах под редакцией В. А. Зайцева. Издателем первых трех томов был В. О. Ковалевский, последующих — А. А. Черкесов; оба принадлежали к радикальным кругам 60-х годов, так же как и редактор перевода второго тома, упоминавшийся выше А. Д. Путята.

[3] См. коммент. 1 к главе XIII т. 1.

[4] Петербургские пожары, особенно пожары Апраксина и Щукина дворов (28—30 мая), вызвали в столице серьезную панику. Правительство воспользовалось ими как поводом для распространения слухов о якобы умышленных поджогах, совершаемых студентами-революционерами и поляками. Как писал впоследствии В. И. Ленин, «...есть очень веское основание думать, что *слухи о студентах-поджигателях распускала полиция»* (Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 29). Был возбужден ряд дел на лиц, подозревавшихся в поджогах, прекращенных за отсутствием доказательств. Но власти использовали панику для наступления на освободительное движение. Одной из первых акций такого наступления явилось закрытие воскресных школ (см. коммент. 11 к главе XII т. 1).

[5] Н. Г. Помяловский преподавал с 1860 года в воскресной школе на Шлиссельбургской дороге. В ней было до 70 преподавателей и около 800 учеников, занимавшихся в две смены. По словам Н. А. Благовещенского, друга писателя, «дело школы в скором времени сделалось одною из существеннейших забот Помяловского» (Современник, 1864, № 3, с. 137).

[6] Имеется в виду книга К. Д. Ушинского «Родное слово», учебник для первоначального обучения грамоте. Книга вышла впервые в 1864 году, а через 50 лет было выпущено 128-е издание. О звуковом методе см. коммент. 4 к главе V т. 1.

Глава XVII

[1] Три публичных лекции — «Три беседы о современном значении философии» были прочитаны П. Л. Лавровым в зале Пассажа в Петербурге в 1860 году в пользу Литературного фонда. Первая из них — «Что такое философия в знании?» состоялась 22 сентября; вторая — «Что такое философия в творчестве?» — 25 сентября и третья — «Что такое философия в жизни?» — 30 сентября. Затем они публиковались в «Отечественных записках» (1861, № 1), а также вышли отдельным изданием.

[2] Е. Н. Водовозова ошиблась, полагая, что П. Л. Лавров был выслан административно. В связи со сведениями, поступившими в следственную комиссию по делу о покушении Д. В. Каракозова на Александра II, об участии Лаврова в недозволенной правительством «Издательской артели», он подвергся обыску и на следующий же день (25 апреля 1866 года) арестован и предан суду генерал-аудиториата как состоящий на военной службе. Лавров был признан виновным в хранении противоправительственной литературы и в известных связях с лицами, осужденными за государственные преступления. По приговору военного суда, утвержденному Александром II 5 января 1867 года, Лавров был исключен из военной службы с утратой всех преимуществ, ею приобретенных, и выслан в одну из внутренних губерний под строгий надзор полиции. Отправленный в городок Тотьму, он был переведен в Вологду, а оттуда в Кадников той же губернии.

В феврале 1870 года с помощью Г. А. Лопатина Лавров бежал и вскоре был переправлен за границу. Там и началась его широкая революционная деятельность, участие не только в российском, но и в международном освободительном движении. Он вступил в Первый Интернационал, участвовал в деятельности Парижской Коммуны, был в дружеских отношениях с К. Марксом и Ф. Энгельсом, основал для российского движения журнал и газету «Вперед!», являлся одним из ведущих идеологов народничества.

[3] То есть голоштанники. Так во времена Великой французской революции XVIII века презрительно называли восставшую бедноту, крайне левого направления революционеров.

[4] Франкмасоны — участники религиозно-нравственных тайных обществ, возникших во Франции в начале XVIII века, получивших широкое распространение в других странах, в том числе и в России в начале XIX века, где были официально запрещены.

Глава XVIII

[1] «Колокол» и «Полярная звезда», издававшиеся в Лондоне А. И. Герценом, были запрещенными в России изданиями, однако получившими довольно широкое распространение в стране. *Фогт* (точнее,

Фохт) *Карл* — немецкий естествоиспытатель и участник революции 1848 года, *Молешотт Якоб* — голландский философ и физиолог. Представители вульгарного материализма, пользовавшиеся широкой известностью. *Льюис Джордж Генри* — английский философ-позитивист; *Бокль Генри Томас* — английский историк. *«Искра»* — сатирический журнал демократического направления, издававшийся в Петербурге под редакцией В. С. Курочкина. *«Молотов»* и *«Мещанское счастье»* — повести Н. Г. Помяловского, впервые напечатанные в журнале «Современник» (1861, № 2 и 10).

[2] Речь идет о романах французских популярных писателей.

[3] Вопрос о свободе брака и общественном воспитании детей оживленно обсуждался молодым поколением начала 60-х годов как один из факторов отрицания крепостнических основ дореформенного быта. Это отражалось и в нелегальной литературе. Так, участник революционного движения П. Г. Зайчневский в прокламации «Молодая Россия» выступал против института брака «как явления в высшей степени безнравственного и немыслимого при полном равенстве полов» и выдвигал требование общественного воспитания детей и их содержания «на счет общества до конца учения (Л е м к е М. К. Политические процессы в России 1860-х гг. М.— Пг., 1923, с. 516). В «Ответе» «Молодой России» А. Д. Путята возражал против уничтожения семьи, защищая, однако, право на развод. Детей же, писал он, родители могли оставлять у себя или же «поручать их воспитание общественным учреждениям». В случаях неправильного родительского воспитания, детей, по его мысли, следовало передавать в воспитательные дома (В и л е н с к а я Э. С. Новые архивные материалы о деятельности «Земли и воли» (1862 г.) — В кн.: «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., Наука, 1965, с. 36). Подобные мнения выражались многими участниками освободительного движения.

[4] Термин «нигилисты» применительно к представителям демократического движения 60-х годов был впервые употреблен М. Н. Катковым в его статьях в «Русском вестнике» (см.: К о з ь м и н Б. П. Литература и история. Изд. 2-е. М., 1982, с. 225—234), но широкое распространение получил после выхода романа «Отцы и дети» и применялся как официально-обвинительный даже властями. Так, во время следствия по делу о покушении Д. В. Каракозова на Александра II к дознанию привлекалось множество лиц за «заявление учения своего нигилизма». Смысл, который Тургенев вкладывал в этот термин, он раскрыл в письме к К. К. Случевскому от 14 (26) апреля 1862 года. «...Если он называется нигилистом,— говорит писатель о Базарове,— то надо читать: революционером» *(Тургенев. Письма,* т. IV, с. 380).

[5] Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети», а в особенности образ Базарова, вызвал острейшую полемику не только в радикальных кружках 60-х годов, но и в органах демократической печати. Так, в мартовских номерах журналов «Современник» и «Русское слово» за 1862 год были

опубликованы критические статьи об «Отцах и детях», в которых Базаров получил прямо противоположную оценку. В статье М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», печатавшейся в «Современнике», Базаров был объявлен пасквилем на молодое поколение. В статье же Д. И. Писарева, опубликованной в «Русском слове», роман Тургенева, как и его главный герой, расценивались весьма высоко.

[6] Первое упоминание о замысле «Отцов и детей», тогда еще просто новой повести, содержится в письме И. С. Тургенева к своей многолетней корреспондентке Е. Е. Ламберт от 6(18) августа 1860 года *(Тургенев. Письма,* т. IV, с. 116). В том же году 7(19) декабря писатель сообщал М. Н. Каткову (которому это произведение было обещано для опубликования в «Русском вестнике»), что треть повести уже написана (там же, с. 167). Закончена же она была в своей первоначальной редакции лишь 20 июля 1861 года, о чем Тургенев сообщал П. В. Анненкову в письме от 6(18) августа того же года (там же, с. 277). В своей статье «По поводу «Отцов и детей» И. С. Тургенев назвал другую дату окончания. Он привел следующую запись из своего дневника за 1861 год: «30 июля, воскресенье. Часа полтора тому назад я кончил наконец свой роман» (Тургенев И. С. Собр. соч. в 12-ти томах. М., 1956, с. 348). Переслав рукопись М. Н. Каткову, Тургенев потребовал дать ее на просмотр ряду названных им писателей и критиков; затем по их и Каткова замечаниям внес поправки, завершив эту работу в основном к осени 1861 года (о замечаниях Каткова см. след. коммент.). Однако в связи со студенческими волнениями этого времени Тургенев решил воздержаться от публикации «Отцов и детей». И только в январе 1862 года рукопись с поправками была отправлена в редакцию «Русского вестника», о чем Тургенев известил Каткова письмом от 11(23) января *(Тургенев. Письма,* т. IV, с. 324).

[7] И. С. Тургенев решительно отрицал подобное мнение. В письме к К. К. Случевскому от 14(26) апреля 1862 года он особо подчеркнул свое возражение против взглядов, будто цель романа состоит в попытке реабилитировать «отцов». *«Вся моя повесть,—* писал Тургенев,— *направлена против дворянства как передового класса» (Тургенев. Письма,* т. IV, с. 380). Поясняя свой замысел в создании образа Базарова, Тургенев писал: «Я хотел сделать из него лицо трагическое... Он честен, правдив и демократ до конца ногтей» (там же, с. 379). В письме к А. И. Герцену, написанном двумя днями позже, Тургенев, признаваясь, что под давлением Каткова ему пришлось «выбросить немало смягчающих черт» в образе Базарова (в чем он раскаивался), снова определял антитезу Базаров — Кирсановы как «торжество демократизма над аристократией» (там же, с. 382).

Глава XIX

[1] То есть отстраниться от ответственности за действия, с которыми не согласен, подобно прокуратору Иудеи Понтию Пилату, который, как гла-

сит библейское сказание, отдал на казнь Иисуса, предварительно умыв руки. В древности этот обряд служил свидетельством непричастности лица к действиям, им не одобрявшимся.

Глава XXI

[1] Такие преследования вообще начались в связи с массовым «хождением в народ», т. е. в 70-х годах.

[2] Мировой посредник — должность, введенная в связи с крестьянской реформой. Он назначался губернатором из числа местных дворян для урегулирования споров и жалоб, возникавших между крестьянами и помещиками при реализации Положений 19 февраля 1861 года. По закону от 27 июня 1874 года должность эта была почти повсеместно заменена Уездным по крестьянским делам присутствием.

[3] Мировые посредники первого призыва вступили в должность с начала реализации крестьянской реформы. В своем большинстве это были лица, не поощрявшие неумеренных претензий и произвола крепостников. В их числе были, например, Л. Н. Толстой, А. А. Бакунин, бывшие декабристы А. Е. Розен, Г. С. Батеньков. В результате столкновений с помещиками часть либеральных посредников ушла в отставку, а остальных поспешил уволить министр внутренних дел П. А. Валуев, добивавшийся сокращения числа мировых посредников якобы в целях экономии.

[4] Такое наименование получили крепостные крестьяне на основании крестьянской реформы 1861 года. Временнообязанное состояние заключалось в том, что до выкупа у помещиков полевых наделов крестьяне за пользование ими платили помещику оброк. В 1882 году с введением обязательного выкупа временнообязанное состояние было прекращено.

[5] Искаженное франкмасон, превращенное в ругательство.

[6] В Положениях 19 февраля содержалось множество неясных и противоречивых мест, которые можно было толковать как в пользу помещиков, так и в пользу крестьян. Для разъяснения таких пунктов издавались особые циркуляры, предусматривавшие преимущественно интересы помещиков, а не крестьян.

[7] Об уставных грамотах см. коммент. 9 к наст. главе.

[8] То есть бороновать.

[9] Уставной грамотой назывался документ, в котором определялись по каждому имению помещичьи права и крестьянские обязанности после отмены крепостного права и вплоть до выкупа крестьянами земельных наделов. В уставных грамотах обусловливался размер земельных наделов, их местонахождение и повинности крестьян за пользование ими (до выкупа). Большинство крестьян отказывалось от подписания уставных грамот, но они входили в силу и без подписи крестьян.

[10] Помещики старались выделять крестьянам земельные наделы

таким образом, чтобы они были окружены помещичьими землями, то есть чересполосно. Таким приемом крестьян лишали выгонов для скота, принуждали либо платить штраф за потравы, либо же за пользование выгоном выполнять дополнительные повинности.

[11] В соответствии с земской реформой, вводившейся законом от 1 января 1864 года, создавались выборные организации местного самоуправления — губернские и уездные земские собрания и земские управы, ведавшие хозяйственными делами — устройством и содержанием местных дорог, школ, больниц, богаделен, они также наблюдали за нуждами губернской и уездной торговли и промышленности и т. п. Избиратели разделялись на три курии, каждая из которых обособленно выбирала своих представителей (гласных). К первой принадлежали землевладельцы, то есть дворяне-помещики, ко второй — горожане с определенным имущественным цензом, к третьей — крестьянские общества. Выборы по крестьянской курии были многостепенными: крестьянские общества избирали представителей на волостной сход, на котором избирались выборщики, а из числа последних — гласные в земское собрание. Такая система выборов обеспечивала в земствах значительное преобладание помещиков. Тем не менее земская реформа являлась шагом на пути к буржуазной монархии, как отмечал В. И. Ленин (Полн. собр. соч., т. 5, с. 33).

[12] Ш п а н с к а я м у ш к а — один из видов жука, из которого после особой обработки приготовлялся нарывной пластырь.

[13] Надельные крестьянские земли находились в общинном владении в подавляющем большинстве губерний. Земля разделялась по дворам в соответствии с числом «душ», то есть только лиц мужского пола. Время от времени, с изменением численности семей, образованием семейств новых, производились переделы. Разверстание земель тут подразумевает уничтожение чересполосицы.

[14] Такого рода слухи широко распространялись среди крестьян по всей России. Находилось и немало толкователей Манифеста и Положений 19 февраля в желательном для крестьян духе. Это была одна из форм народного протеста против грабительской воли.

[15] См. коммент. 10 к наст. главе.

[16] На основании выкупной операции крестьяне по соглашению с помещиком выплачивали 20—25% выкупной суммы, а остальную им выдавало государство в виде ссуды, которую выплачивали бы крестьяне в течение 49 лет.

Глава XXII

[1] После пожаров Апраксина и Щукина дворов (см. коммент. 4 к главе XVI наст. тома) и одновременно появившейся революционной прокламации «Молодая Россия» наступление правительства на демократическое движение резко усилилось.

В начале июля 1862 года был задержан на границе ехавший из Лондона П. А. Ветошников. У него были найдены письма, послужившие поводом для подозрения о существовании связей между российскими общественными деятелями и издателями «Колокола». В связи с этим начались многочисленные аресты и сфабриковано дело «о сношениях с лондонскими пропагандистами».

7 июля 1862 года были арестованы Н. Г. Чернышевский и Н. А. Серно-Соловьевич, которых после длительного следствия и несмотря на отсутствие улик приговорили к каторжным работам. В середине июня подверглись аресту П. А. Баллод, затем Д. И. Писарев, осужденный и заключенный в Петропавловскую крепость. За печатание прокламаций подверглись репрессиям московские студенты. Правительственным распоряжением от 15 июня 1862 года на восемь месяцев были приостановлены журналы «Современник» и «Русское слово», то есть с июня 1862 года по январь 1863 года.

[2] После возвращения в родные места и жизни у брата (см. главу XXI) Водовозова вместе с мужем ездила за границу, откуда в конце 1862 года возвратилась и обосновалась своей семьей в Петербурге.

[3] В 1863 году крестьянские волнения шли на убыль. Но там, где они вспыхивали, для их подавления привлекалась военная сила.

[4] Здесь под видом рассуждений сообщается о фактах, действительно имевших место. Не только молодежь высказывала свои соображения о возможности ориентироваться на раскольников-старообрядцев, преследовавшихся как правительством, так и официальной церковью. На них возлагали большие надежды Н. П. Огарев, А. П. Щапов, В. И. Кельсиев (до своего ренегатства) и другие, считавшие раскольников существенным революционным элементом. Кельсиев осуществлял попытки установления регулярной связи между Герценом и Огаревым, с одной стороны, и старообрядческими общинами — с другой. С целью антиправительственной пропаганды среди сектантов при «Колоколе» издавалось особое приложение — «Общее вече», редактировавшееся Огаревым.

[5] Здесь также не только разговоры, как это изображает Водовозова, а намек на подобную попытку участников так называемого «казанского заговора» (см.: Козьмин Б. П. Казанский заговор 1863 года. М., 1929; Лейкина-Свирская В. Р. Казанский заговор 1863 г.— В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1960).

[6] Выдающийся английский философ-материалист XVII века Фрэнсис Бэкон, ставший в 1619 году лордом-канцлером, был обвинен во взяточничестве, в то время явлении очень распространенном в судебных органах Англии. В 1621 году он был присужден парламентом к уплате сорока тысяч фунтов стерлингов штрафа, заключению в Тауэрской башне и лишению прав отправлять должность и заседать в парламенте. Через несколько дней, однако, король Яков I отменил штраф и заключение, а позже Бэкон был помилован королем Карлом I, и он снова получил право заседать в парламенте.

[7] Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» публиковался в 3, 4, 5 номерах «Современника» за 1863 год.

[8] Этой оговоркой Водовозова как бы давала понять читателю, что революционного подтекста романа «Что делать?» она непосредственно касаться не будет. Между тем все ее последующее рассуждение о романе состоит из множества намеков на этот подтекст.

[9] Цитата из главы «Первое следствие дурацкого дела» романа «Что делать?» (*Чернышевский*, т. XI, с. 7).

[10] Здесь и далее снова намеки на революционный подтекст романа.

[11] Цитата из главы третьей романа «Что делать?» (*Чернышевский*, т. XI, с. 186).

[12] Цитата из главы третьей романа «Что делать?» (*Чернышевский*, т. XI, с. 122).

[13] Цитата из главы первой раздела VI романа «Что делать?» (*Чернышевский*, т. XI, с. 33).

[14] Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» был начат 14 декабря 1862 года и окончен 4 апреля 1863 года. Даты обозначены самим Чернышевским в черновой рукописи (см.: *Чернышевский*, т. XI, с. 702).

В заявлении Следственной комиссии от 15 декабря 1862 года Чернышевский, запрашивая ее разрешения, сообщал, что «он начал писать беллетристический рассказ, содержание которого, конечно, совершенно невинно,— оно взято из семейной жизни и не имеет никакого отношения ни к каким политическим вопросам» (*Чернышевский*, т. XVI, с. 364).

После напечатания всего романа власти обнаружили подлинный его смысл и цензор «Современника» В. Н. Бекетов был уволен. Между тем разрешение цензора на публикацию было чисто формальным. Фактически же оно исходило от управляющего Третьим отделением А. Л. Потапова. На подлинном экземпляре рукописи, хранившемся в Архиве Цензурного комитета, стояла надпись: «Печатать дозволяется... генерал-майор Потапов». Естественно, что после разрешения такой персоны Бекетову только и осталось, чтобы подтвердить его. Вследствие того что на номерах «Современника» значилось официальное цензурное разрешение, стало невозможным запретить его продажу и хранение, так же как и отдельно сброшюрованных частей романа «Что делать?».

[15] Эта формулировка, ставшая распространенным выражением,— результат размышлений А. Лопухова. Цитата (не совсем точная) из главы второй («Первая любовь и законный брак») раздела XIX романа «Что делать?» (*Чернышевский*, т. XI, с. 94).

[16] Столь рационалистическое толкование жертвенности просуществовало в русской освободительной мысли недолго. Один из ведущих публицистов некрасовских «Отечественных записок» Н. К. Михайловский расценивал это толкование как реакцию на лицемерие жертвенности, какою хвалились «отцы». «Открылось,— писал он в статье «Идеализм

и идолопоклонство» (1873),— что толки о жертвах вполне совместимы с обереганием собственной шкуры во что бы то ни стало, с поставкой на армию сапог без подошв и гнилой муки и т. д.» (Михайловский Н. К. Полн. собр. соч., т. IV. СПб., 1897, стб. 38). Тем не менее формула, провозглашенная Чернышевским, оказала огромное влияние на жертвенность русского революционного движения последующих десятилетий.

[17] Взятая в кавычки фраза не является точной цитатой из сочинений Д. И. Писарева, но мысль эта неоднократно выражалась публицистом.

[18] Не совсем точная цитата из главы четвертой романа «Что делать?» (*Чернышевский*, т. XI, с. 230).

[19] Имеется в виду прежде всего статья «Женщины, их воспитание и назначение в семье и обществе» поэта и переводчика М. Л. Михайлова, опубликованная в «Современнике» в № 4, 5, 8 за 1860 год, как и последующие его статьи подобного же рода. Статья Михайлова, как писал в своих воспоминаниях Н. В. Шелгунов, «читалась нарасхват, не смею утверждать, что именно статья Михайлова создала в России «женский вопрос», но верно то, что она его очень двинула вперед» (Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах. Т. 1. М., Художественная литература, 1967, с. 241).

[20] Прыжки во время танцев (от *фр.* entrechat). В данном контексте — неприличные телодвижения.

[21] Терпсихора — муза танца и пения, одна из девяти греческих богинь наук и искусств.

[22] Должно быть, исполнялась сценка из начала первого действия (явления 1—7) комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» (1833—1835).

[23] Имеются в виду стихотворения Н. С. Курочкина «Сатиры и песни. По мотивам итальянского поэта Джусти». По сведениям Третьего отделения, Курочкин читал их на литературных вечерах (см.: *ЛН*, т. 71, с. 458, примеч. 2). Стихи эти печатались в сатирическом журнале «Искра».

[24] Сын мемуаристки Василий Васильевич Водовозов, который неоднократно подвергался арестам и репрессиям, проживал в 90-х — начале девятисотых годов в Киеве, так как жительство в столицах ему было запрещено. Здесь в это время широкое распространение получили лекции и литературные чтения, устраивавшиеся на частных квартирах. На одном из таких чтений, когда А. В. Луначарский выступал с рефератом о Г. Ибсене, все присутствующие (60 человек, в том числе и В. В. Водовозов) были арестованы и заключены в киевскую тюрьму, где и находились в течение полутора месяцев, а затем два года числились под следствием по подозрению, что за лекциями скрывались революционные сходки.

Как позже писал в своих воспоминаниях В. В. Водовозов, лекции действительно использовались для сбора средств на нелегальные цели, но как раз этого власти установить не смогли и дело было прекращено (см.: *ГМ*, 1917, № 5—6, с. 85—86).

[25] Эта речь П. И. Якушкина одно из свидетельств того, что и в кружке Водовозовых велась революционная пропаганда.

[26] Перевод В. И. Водовозова «Зимней сказки» Г. Гейне впервые печатался в 1861 году в журнале «Отечественные записки» (№ 10—12).

[27] Речь идет об отрывке не из статьи, а из книги писателя-этнографа С. В. Максимова «Год на Севере» (1859), пользовавшейся большой популярностью в радикальных кругах, как и все, что касалось народного быта. Максимов путешествовал по северу России и берегам Белого моря в 1855—1856 годах, когда по инициативе великого князя Константина Николаевича морское министерство направило нескольких писателей в различные районы Российской империи для ознакомления с промыслами и местным бытом.

[28] Любопытное описание «водовозовских вторников» дает В. И. Семевский, посещавший их еще в свои гимназические годы. «Здесь перебывало много людей, и вторники посещались очень усердно. Несколько раз здесь устраивались почти формальные литературные чтения с какою-нибудь благотворительною целью. Так как новая квартира только сравнительно со старою могла назваться большою, то литературно-музыкальные вечера происходили в ней таким образом: из приемной выносилась вся мебель, кроме стульев, число которых увеличивалось, благодаря присылке от знакомых. В одной из маленьких комнат, соседней с приемною, отворяли дверь и ставили туда фортепьяно. В другой, также маленькой комнате собирался хор, для которого не было места там, где находился инструмент, и таким образом хор пел под аккомпанемент фортепьяно, находившегося в другой конурке. Все это не мешало вечерам у Водовозовых быть очень многолюдными и оживленными, и публика единодушно заявляла, что ей особенно приятна такая простота. Чтецы читали за столом, поставленным на пороге, причем хору приходилось отодвигаться в третью комнату. Чтецами бывали В. А. Слепцов, И. И. Якушкин, В. С. и Н. С. Курочкины, М. И. Семевский, П. А. Гайдебуров и, наконец, сам Водовозов. Все эти литературно-музыкальные вечера кончались танцами, и посетители обыкновенно просили, если будет еще вечер, прислать поболее билетов, так как желающих попасть на эти чтения было чрезвычайно много» (*Семевский*, с. 80—81).

[29] Видный революционный деятель-народник 70-х годов С. С. Синегуб в воспоминаниях («Записки чайковца») рассказал историю своего фиктивного брака. По предложению одного из подпольных кружков Петербурга он в роли жениха ездил выручать от родительского своеволия Л. Д. Чемоданову, в дальнейшем активную участницу революционного движения. С родительского благословения Синегуб и Чемоданова обвенчались, и таким образом, по действовавшим законам, она освобождалась от родительской власти. В дальнейшем фиктивный брак превратился в действительный (см.: Былое, 1906, № 8).

[30] «Что говорится, что делается кругом! — записала в дневнике 1856 г. Е. А. Штакеншнейдер.— Перерождаемся ли мы все, или только народились новые люди? Россия точно просыпается, как та царевна в сказке, что под чарами злой волшебницы спала сто лет 〈...〉 У нас же, едва

протерев глаза, все заговорили разом о новом, захотели нового, точно о нем грезили во сне. Что будет теперь? Все принялись что-то делать, не то строить, не то разрушать, я не разберу, конечно, на словах только» (Штакеншнейдер Е. А. Дневники и записки (1854—1886). «Academia», 1934, с. 109).

Революционный деятель 70-х годов С. Ф. Ковалик, принадлежавший уже к последующему поколению борцов с самодержавием, так писал о 60-х годах и их значении в освободительном движении в России: «Шестидесятые годы составили эпоху в развитии русского общества. Освободительное движение прокатилось широкой волной и коснулось самых разнообразных слоев общества. К нему примкнули не только молодежь, но и из пожилых людей все те, кто не был в корень развращен крепостным правом и всем предыдущим режимом. В результате получилось довольно стройное выступление в первый раз на сцену истории так называемого общества, во главе которого стали разночинцы, придавшие ему демократический характер. Отличительным признаком тогдашнего интеллигента была непоколебимая вера в силу человеческого ума» (Былое, 1906, № 10, с. 2).

Глава XXIII

[1] Это ослабление отразило изменившуюся обстановку в стране,— спад революционной ситуации, а соответственно и укрепление реакции, подогреваемой шовинистической пропагандой в связи с польским восстанием. К тому же выяснилось, что ожидавшаяся в 1863 году крестьянская революция не состоялась, и даже более того, крестьянские волнения, вспыхнувшие после объявления Манифеста 19 февраля, пошли на убыль. Как ни уродливо решила крестьянская реформа аграрный вопрос, она все же дала временную отдушину для устройства самостоятельного крестьянского хозяйства. Поэтому правительство и смогло сосредоточить все силы на подавлении польского восстания и усилить репрессивные меры против «нигилистов».

[2] Д. В. Каракозов, участник московского тайного общества, возглавлявшегося его двоюродным братом Н. А. Ишутиным (известного как «Ишутинский кружок»), стрелял в Александра II у ворот Летнего сада в Петербурге, но промахнулся и был задержан полицией. Это неудавшееся покушение послужило поводом для массовых арестов в Москве, Петербурге и других городах.

Тюремному заключению были подвергнуты и многие литераторы. М. Н. Муравьев, возглавлявший Следственную комиссию и известный под именем «Вешателя» за дикую расправу с польскими повстанцами, рассчитывал создать громкое дело с широким привлечением даже высокопоставленных лиц. Однако это не удалось, и суду были преданы 34 человека, впервые судившиеся по новым судебным уставам. По приговору Верховного уголовного суда Д. В. Каракозов был повешен, многие другие приго-

ворены к каторге и длительным срокам ссылки в отдаленные места. Эти годы резко усилившейся реакции получили наименование эпохи «белого террора».

[3] О. И. Комиссаров, картузник по профессии, находился в толпе в то время, когда рядом стоявший Д. В. Каракозов стрелял в царя. По официальной версии, он будто бы толкнул Каракозова под руку, вследствие чего тот промахнулся. Комиссаров был объявлен «спасителем царя», осыпан царскими милостями: произведен в дворяне, получил прибавку к фамилии «Костромской» и награжден деньгами. Высшая знать устраивала в его честь банкеты, его фотография широко распространялась. Окруженный почестями и внезапно разбогатевший, О. И. Комиссаров, склонный и ранее к пьянству, вскоре окончательно спился.

[4] Имеется в виду мемуарный очерк Е. Н. Водовозовой «Из недавнего прошлого» (см. наст. том).

[5] Увольнению В. И. Водовозова предшествовала ревизия петербургских гимназий, проходившая в 1865 году. В официальной брошюре, изданной по поводу ревизии, некоторых преподавателей обвиняли в распространении «либеральных софизмов» и в том, что они развивали в учениках дух критического анализа. Однако такого рода обвинения Водовозову при увольнении не предъявлялись. Он был отчислен без указания причин из Первой гимназии, где преподавал много лет, Константиновского училища, а позднее из аудиторского училища. Трудно сказать, в какой мере в данном увольнении сыграла роль ревизия 1865 года. Можно думать, что большее значение здесь имели личные связи и общее окружение Водовозовых, так как в казенном месте было отказано и Е. Н. Водовозовой, до того принятой в женское учебное заведение. Скорее всего основанием для увольнения В. И. Водовозова послужил высочайший рескрипт от 13 мая 1866 года на имя председателя Комитета министров, несомненно связанный со следственными материалами по делу о покушении Каракозова. В рескрипте было выражено требование Александра II, «чтобы воспитание юношества было направляемо в духе истин религии, уважения к правам собственности и соблюдения начал общественного порядка и чтобы в учебных заведениях всех ведомств не было допускаемо ни явное, ни тайное проповедывание тех разрушительных понятий, которые одинаково враждебны всем условиям нравственного и материального благосостояния народа» (см.: *Семевский*, с. 87).

[6] Первая часть «Рассказов из русской истории» была выпущена в 1861 году, вторая — в 1864-м. «Новая русская литература (от Жуковского до Гоголя включительно)» — в 1866 году.

[7] Фердинанд Семенович Сущинский был владельцем польско-русской типографии в Петербурге. Она перешла к нему от польского революционера Иосафата Огрызко, арестованного в 1863 году в связи с польским восстанием. После покушения Каракозова типография Сущинского была некоторое время опечатана.

[8] Затем в 1864 году в изданиях общего характера Водовозова опубли-

ковала статьи: «По поводу журнала для детей «Семейные вечера» (Современная летопись, № 16), «Семейные вечера», детский журнал» (Книжный вестник, № 4). В 1866 году печатались ее статьи «Из заметок старой пансионерки» и др. (Голос, № 18, 89), «Приличие» (Учитель, № 22—24). Чаще всего она подписывалась: «-ва», «В-...ва Е.», а позднее «Н. Бельский» и др.

[9] Точное название очерка — «Из заметок старой пансионерки». Печатался в № 18 от 16 января и № 89 от 1 апреля газеты «Голос» за 1866 год.

[10] Речь явно идет о книге Е. Н. Водовозовой «Умственное и нравственное развитие детей от первого проявления сознания до школьного возраста», вышедшей первым изданием в 1871 году.

[11] Портрет отца В. И. Водовозова, Ивана Васильевича Водовозова, был написан художником Г. И. Угрюмовым (1764—1823). Ныне находится в Государственной Третьяковской галерее.

[12] И. В. Водовозов вел обширную заграничную торговлю, будучи купцом 1-й гильдии, то есть человеком богатым. Он, не чуждый известной образованности, состоял корреспондентом Вольного экономического общества. В 1817 году И. В. Водовозов разорился и был объявлен несостоятельным должником. Он умер в 1828 году (см.: *Семевский*, с. 4).

[13] Писатель Д. В. Григорович был в то время секретарем Общества поощрения художеств.

[14] Как писал в своей книге о В. И. Водовозове близкий уже в то время к его семье В. И. Семевский, «работа была чисто случайная: то Водовозов получит кое-что за статью в «Учителе», то жена принесет вознаграждение за свой литературный труд, но всего этого было слишком недостаточно. Когда попадалась работа на 150—200 рублей, эти деньги немедленно исчезали в уплату по лавкам и затем приходилось сидеть без гроша до следующей получки, до новой работы» (см.: *Семевский*, с. 89).

[15] То есть выдающимся оратором, подобно древнегреческому оратору Демосфену (384—328 гг. до н. э.).

[16] Точное название первой: «Практическая славянская грамматика с примерами и упражнениями на правила древне-славянского языка, нового, церковного и древне-русского летописного»; название второй: «Словесность в образцах и разборах с объяснением общих свойств сочинения и главных родов прозы и поэзии». Обе вышли в свет в 1868 году (см.: *Семевский*, с. 91, 93).

[17] «Первая учебная книжка. Классное пособие при обучении письму, чтению и началам родного языка» И. И. Паульсона была впервые издана в Петербурге в 1868 году, а переиздана — в 1870-м. «Вторая учебная книжка. Классное пособие при обучении родному языку в элементарной школе» вышла в Петербурге в 1876 году. В первой из них по сохранившимся рукописям В. И. Семевский насчитал 22 стихотворения (из 34), принадлежавшие В. И. Водовозову (см.: *Семевский*, с. 93).

[18] Эта статья (точное ее название — «Обзор руководств и книг для

общего образования») была опубликована в № 5 некрасовских «Отечественных записок» за 1868 год. Имя автора было указано в предисловии и в оглавлении. За полной подписью В. И. Водовозова печаталось и продолжение этой статьи (с подзаголовком «Сочинения по естественной истории») в виде приложения к № 1 журнала за 1869 год. Кроме того, в «Отечественных записках» печатались статьи В. И. Водовозова под криптонимами: в № 9 за 1868 год «Русские богатыри» (за подписью В. В-в.), а в № 5 за 1870 год «О воспитательном значении русской литературы» (за подписью В. В.). «Отечественные записки» начиная с 1868 года перешли под редакцию Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и Г. З. Елисеева по договору, заключенному Некрасовым с издателем А. А. Краевским в декабре 1867 года (см.: *ЛН*, т. 53-54, с. 339). Обязанности секретаря редакции журнала В. И. Водовозов исполнял временно летом 1870 года.

[19] Поэт, известный в свое время стихами резко критической направленности, распространявшимися в списках. Учился в Первой Петербургской гимназии, где был учеником В. И. Водовозова. Известны его стихи, посвященные Е. Н. Водовозовой (см. коммент. 37 ко второму тому «На заре жизни» в издании 1934 года, где впервые опубликованы Б. П. Козьминым).

[20] Перевод принадлежал В. И. Водовозову и был напечатан в «Журнале министерства народного просвещения» (1856, № 9). Отдельным изданием вышел в Петербурге в 1877 году.

[21] После покушения Д. В. Каракозова Н. А. Некрасов в расчете спасти «Современник» написал стихи «М. Н. Муравьеву-Виленскому», прочитанные на обеде 27 апреля 1866 года (текст до нас не дошел), и «Осипу Ивановичу Комиссарову», опубликованные в «Современнике» (1866, № 4). Однако его расчет не оправдался, журнал был закрыт. Поступок Некрасова осуждался в демократических кругах, а сам поэт мучительно переживал неверный «звук» своей «лиры».

[22] Речь идет о стихотворении «Умру я скоро. Жалкое наследство...», написанном в 1866 или 1867 году, которому было предпослано посвящение «Неизвестному другу, приславшему мне стихотворение «Не может быть». Опубликовано в № 1 «Отечественных записок» за 1878 год.

[23] Ставшие крылатыми слова из библейской притчи, согласно которой старший сын Исаака Исав продал за чечевичную похлебку младшему брату Иакову свое первородство, то есть поступился честью из-за корысти.

[24] То есть до передачи редакции Н. А. Некрасову и другим.

[25] А. А. Краевский имел репутацию беспринципного дельца в журналистике, служившей для него главным образом источником обогащения за счет эксплуатации литераторов.

[26] М. А. Маркович (Марко Вовчок) начала заниматься переводами с 1867 года. Многие ее переводы печатались в «Отечественных записках» Н. А. Некрасова (роман Августа Мегью «Мощено золотом», некоторые очерки Шарля-Луи Шассена «Парижские письма» и др.). Ряд переводов

вышел в издании книготорговца и книгоиздателя С. В. Звонарева, в частности перевод труда Ф. Кольба «История человеческой культуры», осуществленный вместе с Н. Белозерской (СПб., 1872).

[27] Сказки Х.-К. Андерсена в переводе Марко Вовчок были изданы в 1871 году. Вскоре после их выхода в свет в газете «Петербургские ведомости» была опубликована статья «Что-то очень некрасивое» за подписью «И. Каверин» (1871, № 341). Она принадлежала перу В. В. Стасова. Путем сопоставления перевода Марко Вовчок с переводом тех же сказок, выпущенным в 1863 году и перепечатанным в 1868 году в издании Н. В. Стасовой и М. В. Трубниковой, автор статьи установил почти полное совпадение переводов. Он писал, что перевод Марко Вовчок «не что иное как переписанный текст из издания 1868 года, только слегка, для приличия, замаскированный кое-какими маленькими переделками и переименованиями». Избранная петербургскими литераторами и учеными особая комиссия, сличив переводы, пришла к тому же выводу, о чем сообщалось в № 322 «Петербургских ведомостей» за 1872 год.

[28] Не исключено, что лицо, продавшее один экземпляр копий документов в «Отечественные записки», продало другой экземпляр в «Вестник Европы». Однако автор статьи «Позднейшие волнения в Оренбургском крае в 1843 г.» в «Вестнике Европы» (1868, № 4 и 8) мировой посредник в Челябинске Н. А. Середа опирался на материалы, извлеченные им из местных архивов.

К свету

Из жизни людей шестидесятых годов

Впервые опубликовано в № 4, 5—6, 7—8 журнала «Голос минувшего» за 1916 год. С небольшими стилистическими поправками печаталось в сборнике произведений Е. Н. Водовозовой «Грезы и действительность» (М., 1918). Печатается по последнему тексту.

[1] См. коммент. 1 к главе VI т. 1.

[2] То есть тех лет, когда инспектором в Смольном был К. Д. Ушинский.

[3] Строки из стихотворения А. С. Пушкина «К***», посвященного Анне Петровне Керн. Вручено ей Пушкиным 19 июля 1825 года. Впервые опубликованы в «Северных цветах» за 1827 год.

[4] От *фр.* camouflet. Военный термин, означающий подземную вспышку пороха, взрыв для засыпки неприятельской подземной работы. В переносном смысле: неожиданная обида, огорчение.

[5] Фребеличками называли воспитательниц детских садов, применявших новейшие для того времени педагогические методы Ф. Фребеля.

[6] Доцент, а затем профессор греческой филологии в Петербургском

университете Карл Иоакимович Люгебиль, разделявший взгляды К. Д. Ушинского, основал совместно с женой Софьей Андреевной (Федоровной?) в 1862 году первый в России детский сад.

[7] Перифраз слов Гамлета из трагедии Шекспира: «...сорок тысяч братьев / Всем множеством любви со мною / Не уравнялись бы» (акт V, сцена 1).

[8] Согласно мифологическому сказанию, кипрский царь Пигмалион (820—774 гг. до н. э.) изваял из слоновой кости статую женщины, в которую безумно влюбился. Мольбы художника были услышаны Афродитой, она оживила статую, и Пигмалион женился на созданной им прекрасной Галатее. В переносном смысле: человек, влюбившийся в свое творение.

[9] Эгерия — италийская нимфа одноименного источника. Жена царя Нумы Помпилия, который по ее совету установил в Риме религиозные учреждения. Иносказательно: Эгерия — советница, руководительница.

[10] То есть справедливый халиф Багдадский (786—809). Прославлен в сказках «Тысяча и одна ночь».

[11] Гурии — фантастические обольстительные и вечно юные женщины, услаждающие, по Корану, праведников в раю.

[12] Окончательный приговор по делу Н. Г. Чернышевского, то есть «Мнение Государственного совета» с резолюцией Александра II «Быть по сему», был вынесен 7 апреля 1864 года. 4 мая приговор был объявлен Чернышевскому (каторжные работы в рудниках на семь лет и поселение в Сибири навсегда). 8 мая 1864 года приговор был опубликован в «Сенатских ведомостях» (см.: Дело Чернышевского. Сборник документов. Саратов, 1968, с. 420—436, 629). Дело по обвинению Чернышевского было сфабриковано при участии В. Д. Костомарова, его поддельных писем и записок и ложных показаний.

[13] О воскресных школах см. коммент. 11 к главе XII т. 1.

[14] Об отношении К. Д. Ушинского к вопросам распространения грамотности и образования в России после крестьянской реформы см. коммент. 8 к главе XII т. 1.

[15] См. коммент. 6 к главе XVI наст. т.

[16] Ставшее нарицательным имя урода из романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831).

[17] Вероятно, имеется в виду книга М. Н. Лебедева «Об измерении базисов по бечеве на геодезических работах в Болгарии» (СПб., 1882).

[18] То есть без церковного венчания, которое завершается этим возглашением.

[19] Строка из поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин», глава I.

Из давно прошедшего

Печатается по тексту журнала «Голос минувшего» (1915, № 10), где было опубликовано впервые и единственный раз при жизни писательницы.

[1] Речь идет о брате отца Е. Н. Водовозовой А. Г. Цевловском.

Из недавнего прошлого

Печатается по тексту журнала «Голос минувшего» (1915, № 1, 2), где было опубликовано впервые и единственный раз при жизни писательницы.

[1] Книга немецкого историка А. Туна «Die Geschichte der revolutionären Bewegung in Russland» вышла в Лейпциге в 1883 году. Ее автор, получивший образование в Дерптском (ныне — Тартуском) университете, некоторое время служил в России в министерстве иностранных дел.

Будучи позже профессором Базельского университета, он, ознакомившись с русской эмигрантской революционной литературой, задумал написать историю революционного движения в России. С этой целью А. Тун посетил центры российской политической эмиграции и при помощи некоторых деятелей русского революционного движения пополнил сведения, содержавшиеся в эмигрантской литературе.

В. В. Водовозов, будучи студентом Петербургского университета, выпустил несколько работ, запрещенных цензурой, и издал литографированный перевод книги А. Туна с собственным предисловием и примечаниями, а также с приложением некоторых народовольческих прокламаций. Это издание быстро расходилось, и когда в брошюровочной мастерской К. Ф. Кармалиной был сделан обыск, там было обнаружено 320 экземпляров еще не сброшюрованной книги Туна (см.: Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях империи по делам о государственных преступлениях с 1 января 1887 г. по 1 января 1888 г., с. 60—64).

В 1903 году книга А. Туна вышла на русском языке в Женеве в двух изданиях: в переводе, с примечаниями и дополнениями Л. Э. Шишко, а другое в переводе В. И. Засулич, Д. Кольцова, Б. А. Гинзбурга и других с приложением статей Л. Дейча, Г. В. Плеханова, Д. Кольцова и примечаниями П. Л. Лаврова. В 1906 году оба издания вышли в России легально.

[2] Неудавшееся покушение на М. М. Котляревского было совершено 23 февраля 1878 года, когда он занимал должность товарища прокурора киевского окружного суда. После покушения Исполнительный комитет русской социал-революционной партии выпустил прокламацию, в которой излагались причины покушения,— раздувание М. М. Котляревским политических дел, привлечение невинных людей, недозволенные приемы следствия, жестокость и пр. Под «политиками» подразумевались револю-

ционные деятели народнического течения, отстаивавшего необходимость политической борьбы с самодержавием для облегчения социалистической революции (будущие народовольцы), еще не отделившиеся от народников-пропагандистов, отвергавших политическую борьбу как единственную задачу, то есть без одновременной социалистической революции.

[3] Из этой фразы можно заключить, что Е. Н. Водовозова была хорошо осведомлена о сложившихся в революционном подполье приемах поведения. То же самое следует из ее слов: «Наши нравы обязывают того, кто попался, мужественно выкручиваться самостоятельно».

[4] Речь идет о подготовке покушения на Александра III группой А. И. Ульянова, попытки осуществить которое предпринимались с 26 февраля до 1 марта 1887 года, когда участников намечавшегося покушения арестовали. Первым «1 марта» было осуществленное народовольцами покушение на Александра II в 1881 году.

[5] Отобранные у В. В. Водовозова при обыске письма подтверждали его личное знакомство с А. И. Ульяновым, П. Шевыревым и другими участниками готовившегося покушения. Из рассказа В. В. Водовозова, опубликованного уже в советское время, явствует, что с А. И. Ульяновым он встречался неоднократно, беседовал о политических вопросах, хотя не разделял тактики террора.

«В декабре 1886 г. или январе 1887 г. А. И. обратился ко мне,— пишет Водовозов,— с просьбой спрятать некоторое количество т(ак) наз(ываемой) инфузорной земли» — составной части для производства динамита. Поскольку сам В. В. Водовозов «был причастен к разным конспирациям», а именно «печатал нелегальные издания и пр.», он подыскал квартиру для хранения (см.: Былое, 1925, № 6, с. 132—133). Однако этот факт остался неизвестен следственным властям.

[6] Это один из примеров осведомленности Е. Н. Водовозовой о нормах поведения на следствии,— характеристика чистосердечного показания как предательства.

[7] Директором департамента полиции был тогда П. Н. Дурново, исполнявший эту должность с 1884 по 1893 год. В 1905—1906 годах он стал министром внутренних дел, а затем членом Государственного совета, одним из лидеров группы правых.

[8] При обыске у В. В. Водовозова была найдена записка следующего содержания: «Приезжайте, я буду дома. Л. Давыдова». Как сообщал в своих воспоминаниях В. В. Водовозов, Л. К. Давыдова перевела для него «одну главу книги Туна» и рукопись ее была найдена у него при аресте (см.: Былое, 1906, № 7, с. 309).

[9] Н. К. Михайловский являлся автором весьма обширных статей, пользовавшихся большой популярностью в демократических кругах. С конца 1868 года он сотрудничал в «Отечественных записках» как один из ведущих публицистов. После смерти Некрасова стал одним из редакторов журнала, продолжая и большую авторскую работу вплоть до запрещения журнала в 1884 году.

С 1885 по 1888 год Михайловский — член редакции «Северного вестника», издательницей которого была А. М. Евреинова. Порвав с журналом, он продолжал сотрудничать в демократической печати — газете «Русские ведомости» и журнале «Русская мысль», а затем и в «Русском богатстве» — издании, которое он возглавил в 1894 году и вел совместно с В. Г. Короленко до самой смерти (1904).

[10] В воспоминаниях «Из недавнего прошлого», напечатанных в «Голосе минувшего», фамилия обозначена только буквой «К». Раскрытие криптонима принадлежит Б. П. Козьмину, выдвинувшему весьма веские и убедительные доводы в пользу того, что это — известный публицист, либеральный народник С. Н. Кривенко. В частности, исследователь привел свидетельство Н. С. Русанова о том, что Н. К. Михайловский называл Кривенко «иконою, сорвавшейся со стены» (Русанов Н. С. Архив Н. К. Михайловского.— Русское богатство, 1914, № 1, с. 145). Подробнее доводы Б. П. Козьмина см. в коммент. 80 ко второму тому воспоминаний Е. Н. Водовозовой «На заре жизни» в издании 1934 года (с. 475—477). Разрыв Михайловского с Кривенко, к которому до того он относился с особой любовью и даже был с ним на «ты» (что было редкостью для Михайловского), произошел в конце 1894 года. Причиной явилось неожиданное пристрастие Кривенко к проповеди «малых дел», вполне уживавшейся с самодержавием, против чего Михайловский решительно выступил. Новая позиция Кривенко сказалась, например, и в том, что он открыто «выражал неудовольствие» из-за того, что один из старейших лидеров революционного народничества, М. А. Натансон «заходил в редакцию, а потом был арестован» и опасался, что это могло бросить тень на журнал, как писал Михайловский С. Н. Южакову (см.: Виленская Э. С. Н. К. Михайловский и его идейная роль в народническом движении 70-х — начала 80-х годов XIX века. М., Наука, 1979, с. 265).

[11] Инфлюэнция — старое название гриппа, который, как известно, имеет разные, в том числе и очень тяжелые, формы. Эпидемия, начавшаяся в феврале 1889 года в Бухаре, вскоре проникла в европейскую часть России. В Петербурге было до 150 тысяч заболевших. Смертность была очень велика. Ссылка на эпидемию указывает, к какому времени относится ходатайство Водовозовой перед Деляновым.

[12] Студенческое научно-литературное общество при Петербургском университете было основано в 1881 году. Председателем общества был профессор О. Ф. Миллер. С самого начала в обществе наметилось два направления. Одно — ограничивало свою деятельность только научной работой, другое — ставило целью вести борьбу с революционным движением. Первое взяло верх, и второе покинуло общество. Руководящая роль в нем перешла к студентам, которые впоследствии стали деятелями конституционно-демократической партии. Но вскоре в работе Литературно-научного общества стали принимать участие и студенты — участники революционного движения. Так, незадолго до дела вторых «первомартовцев», А. И. Ульянов был избран секретарем общества. Деятельным

участником его был и В. В. Водовозов. После 1 марта 1887 года общество было запрещено.

[13] Точнее: несть иудей, ни эллин — как гласит евангельская легенда, слова из Послания апостола Павла к галатам, народу, жившему в Малой Азии.

[14] См. коммент. 5 к главе XXIII наст. т.

[15] См. коммент. 5 к главе XXIII наст. т. Пиротехническое училище готовило военных фейерверкеров, аудиторское — следователей военных судов (аудиторов) и приставов.

[16] По версии В. И. Семевского, из аудиторского училища, где Водовозов вел литературу и психологию, он был отчислен в 1868 году (см.: *Семевский*, с. 89).

[17] Четвертое отделение императорской канцелярии до 1880 года ведало учреждениями императрицы Марии (см. коммент. 10 к главе XII т. 1).

[18] Описанный факт действительно имел место в 1861 году, но с речью к студентам обратилась не Е. Н. Водовозова, а М. А. Богданова (по мужу Быкова) — слушательница университета, позднее ставшая, как и Е. Н. Водовозова, детской писательницей.

[19] Под введением классицизма подразумевался учебный устав 1871 года, узаконивший как полноценное лишь классическое среднее образование, в котором преобладающее место отводилось древним языкам и изучению античных древностей. До того, в соответствии с реформой 1864 года, наряду с ними существовали и реальные гимназии, в программе которых древние языки отсутствовали и преобладали точные и естественные науки. Уставом 1871 года они были переименованы из гимназий в училища. Для поступления в университет требовалось классическое образование. Реформа 1871 года была проведена реакционным министром народного просвещения Д. А. Толстым и не встретила сочувствия даже в либерально-бюрократических кругах.

[20] Имеются в виду статьи В. И. Водовозова «Древние языки в гимназии» (Журнал министерства народного просвещения, 1861, № 8), «Свод мнений о классическом и реальном образовании» (Своды замечаний на проект устава общеобразовательных учебных заведений по устройству гимназий и прогимназий. СПб., 1863, с. 23—64) и др. Специальный реферат «О классическом и реальном образовании» В. И. Водовозов читал 2 октября 1865 года в педагогических собраниях, устроенных при Второй петербургской гимназии, а затем в заседании 15 октября сделал к нему дополнения.

[21] В 60—70-х годах студенты, обучавшиеся в столичных университетах, вносили в год по 50 рублей каждый, студенты провинциальных университетов — по 20 рублей. Уставом 1884 года плата за обучение была повышена до 60 рублей. Из них 10 рублей выплачивались университету, а 50 рублей предназначались в качестве гонорара преподавателям. После 1 марта 1887 года плата за университетское образование была повышена

до 100 рублей, и кроме того, студенты вносили по 20 рублей в испытательные комиссии для сдачи экзаменов и получения выпускных свидетельств (см. Щетинина Г. И. Университеты в России и устав 1884 года. М., Наука, 1976, с. 195).

[22] Устав 1884 года был дополнен «Правилами о приеме в студенты университета», одно из которых состояло в требовании «свидетельства о благонадежности со стороны начальства» и ряда подобных. Эти «Правила» имели целью изменить социальный состав студенчества в пользу высших сословий. Однако ощутимых результатов они не дали, и после 1 марта 1887 года министерством народного просвещения был издан циркуляр (от 18 июня 1887 года), получивший в широких кругах обвинительно-саркастическое наименование — о «кухаркиных детях». Этим циркуляром предписывалось не допускать в средние учебные заведения детей малообеспеченных родителей, а именно: «лакеев, поваров, мелких лавочников и т. п. людей, детей коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат». Циркуляр, как и вся деятельность министра на поприще народного образования, вызвал резкое недовольство даже в среде умеренных либералов. Б. Н. Чичерин писал о И. Д. Делянове: «Он был лакеем графа Толстого, лакеем Каткова, лакеем всякого, кто имел силу» (Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 207). В другом месте он характеризовал Делянова так: «Он умственно был полнейшее ничтожество, а нравственно — совершеннейший подлец, холоп всякого, у кого была сила и власть. Сам он не имел никаких целей и видов, кроме желания держаться, и готов был на всякие пакости, чтобы угодить начальству» (там же, с. 197).

[23] В представлении И. Д. Делянова в Комитет министров от 8 июня 1886 года содержались следующие пункты: допускать в средние учебные заведения только евреев из высших сословий, не ниже купцов 1-й гильдии; ввести для евреев процентные нормы. Комитет министров не решился ввести это ограничение законодательным порядком, переложив это на министра народного просвещения, который по Положению Комитета министров от 5 декабря 1886 года получил право принимать частные меры по сокращению числа учащихся евреев в средних и высших учебных заведениях. После второго «1 марта» Делянов издал циркуляр (от 10 июля 1887 года), которым вводилась процентная норма для евреев (см.: Щетинина Г. И. Университеты в России и устав 1884 года, с. 203—204). На инородцев, о которых говорит Е. Н. Водовозова, распространялись такие же ограничения, как и на малоимущих (см. также предыдущий коммент.).

[24] На похороны видного публициста-демократа и общественного деятеля Н. В. Шелгунова, состоявшиеся 15 апреля 1891 года, собралось много учащейся молодежи и рабочих. При выносе гроба из квартиры произошла стычка с полицией, которая не разрешала собравшейся молодежи нести гроб до Волкова кладбища. Ближайший друг Шелгунова и устрои-

тель похорон Н. К. Михайловский так описывает это столкновение: «Только что вынесли гроб на улицу, произошла возмутительная сцена: молодежь хочет нести гроб, полиция требует, чтобы поставили на катафалк...» (Сб. «Памяти В. И. Гольцева». М., 1910, с. 202—203). Уступив требованию полиции, молодежь, однако, выразила свой протест тем, что, разобрав венки, понесла их на руках, вопреки закону, запрещавшему это. Похороны Н. В. Шелгунова превратились в демонстрацию. Как отмечал М. С. Ольминский, «это был первый публичный протест против самодержавного гнета» после реакции 80-х годов (сб. «От группы Благоева к Союзу борьбы». Ростов н/Д., 1921, с. 76). Вскоре после похорон («Шелгуновской демонстрации») последовала массовая высылка участников процессии из Петербурга (в числе прочих был выслан и Н. К. Михайловский) и исключение студентов из университета.

[25] Дерптский (с 1893 года — Юрьевский) университет, ныне Тартуский (Эстонская ССР), был основан в 1802 году.

[26] Впервые Н. В. Шелгунов был арестован 28 сентября 1862 года на Казаковском прииске, куда вместе с женой, Л. П. Шелгуновой, приехал для облегчения участи, а возможно и побега (как считали некоторые современники), содержавшегося там поэта и переводчика М. Л. Михайлова. Оттуда Шелгунов был переведен в Иркутск под надзор полиции. В марте 1863 года вторично подвергся аресту по доносу Вс. Костомарова за составление прокламации «К солдатам» и отправлен из Иркутска в Петербург, где был заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. За недоказанностью предъявленного обвинения был освобожден военным судом, но оставлен в подозрении. По решению генерал-аудиториата, не согласившегося с постановлением военного суда, в ноябре 1864 г. отправлен в ссылку в маленький городок Тотьму Вологодской губернии. В марте 1865 г. переведен в Великий Устюг, в январе 1866 г. — в Никольск, в декабре 1866 г. — в Кадников, в 1867 г. — в Вологду. В апреле 1869 г. Шелгунову было разрешено переехать в Калугу, в феврале 1874 г. он был переведен в Новгород, в 1875 г. ему разрешено было жить в Выборге, в 1876 году был снят надзор полиции и с 1877 г. разрешено проживать повсеместно. В 1882 году, в декабре, он вместе с Михайловским был на балу у студентов-технологов, где Михайловский произнес речь, за которую оба поплатились ссылкой в Выборг. В начале апреля 1883 года Шелгунову разрешили переехать в Царское Село, а в середине июля того же года он был освобожден от ссылки. Став в 1881 году редактором демократического журнала «Дело», Шелгунов привлек к участию в журнале видных политических эмигрантов — С. М. Степняка-Кравчинского, В. А. Зайцева, Л. А. Тихомирова, П. Н. Ткачева. В 1884 году, когда это вскрылось, он был обвинен в связях с «Народной волей» и политическими эмигрантами, за что поплатился новой ссылкой (с. Воробьево Смоленской губ.), продолжавшейся почти до самой смерти.

[27] Н. К. Михайловский, до этого высылавшийся вместе с Шелгуновым (см. предыдущ. коммент.), был выслан в апреле 1891 года в связи

с похоронами Н. В. Шелгунова и избрал местом ссылки Любань. Хотя прямых оснований для высылки Михайловского у карательных органов не было, поскольку он убеждал молодежь подчиниться требованиям полиции, однако власти опасались того общего влияния, какое Михайловский оказывал на молодежь.

МЕМУАРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Василий Иванович Водовозов

Из воспоминаний институтки

Эти воспоминания являются второй частью мемуарного очерка Е. Н. Водовозовой «К. Д. Ушинский и В. И. Водовозов. Из воспоминаний институтки», опубликованного под псевдонимом «Н. Титова» в журнале «Русская старина» за 1887 год (№ 2), то есть после кончины и К. Д. Ушинского, и В. И. Водовозова. Здесь печатается только та часть очерка, которая касается В. И. Водовозова, так как первую часть, посвященную К. Д. Ушинскому, Е. Н. Водовозова включила с незначительными изменениями в текст книги «На заре жизни». Печатается по тексту «Русской старины».

[1] О Н. Д. Старове и его педагогических приемах см. главы IX и XI «На заре жизни» и коммент. 3 к главе IX т. 1.

[2] О журнале В. А. Кремпина «Рассвет» см. коммент. 11 к главе XI т. 1.

Василий Алексеевич Слепцов

(1836—1878)

Впервые опубликовано в журнале «Голос минувшего» (1915, № 12), по тексту которого печатается.

[1] Рассказ В. А. Слепцова «Питомка. Деревенские сцены» был впервые опубликован в «Современнике» (1863, № 7). В том же году И. С. Тургенев писал о нем В. П. Боткину: «Это пробирает до мозга костей, и, пожалуй, здесь сидит большой талант» (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 158). По свидетельству А. М. Новикова, Л. Н. Толстой никогда не мог дочитать «Питомку» до конца: «Вначале его чтение этого рассказа, по обыкновению, было очень выразительно, но под конец глаза заволакивались, черты лица заострялись, он начинал останавливаться, старался преодолеть свое волнение, всхлипывал, совал кому-нибудь книгу, вынимал платок и поспешно выходил» (сб. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 1. М., Художественная литература, 1960, с. 447—448). Рассказ «Казаки» был напечатан в «Современнике» за 1864 год (№ 2). В собрание сочинений В. А. Слепцова, изданное им через два года, этот рассказ вошел под названием «Свиньи». В примечании пояснялось, что это заглавие и было первоначальным, но в журнале, как намекал автор, оно было заме-

нено по цензурным соображениям заглавием «Казаки». Рассказа под названием «Постоялый двор» у В. А. Слепцова нет. По-видимому, Водовозова назвала так какой-то другой рассказ писателя. Рассказ «Мертвое тело. Деревенские сцены в трех картинах» был опубликован в I томе сочинений В. А. Слепцова (Рассказы, очерки и сцены. СПб., 1866), а рассказ «Ночлег. Подгородные сцены» — в «Современнике» за 1863 год (№ 11).

[2] Как пишет в своих воспоминаниях В. И. Танеев, В. А. Слепцов покинул медицинский факультет Московского университета, увлеченный новыми идеями, в частности идеей сближения с народом, и с этой целью отправился пешком по Московской и Владимирской губерниям, после чего стал публиковать свои очерки о крестьянском быте. По словам Танеева, Слепцов, любя театр, играл на разных любительских сценах (*ЛН*, т. 71, с. 521). Это свидетельство ставит под сомнение утверждение Водовозовой, однако не исключено, что Слепцов мог выступать в отдельных спектаклях и на ярославской сцене.

[3] Повесть В. А. Слепцова «Трудное время» печаталась в журнале «Современник» (1865, № 4, 5, 7, 8). Раскрытию ее социального смысла посвящена статья К. И. Чуковского «Тайнопись «Трудного времени» (см.: Чуковский К. И. Люди и книги. М., 1958).

[4] То же самое подтверждает и А. Г. Каррик (Маркелова), участница слепцовской Знаменской коммуны (о коммуне см. коммент. 6 к наст. главе). «Он как будто стыдился поддаваться порыву чувств, будь то хотя бы жалость, негодование на несправедливость, порыв самоотвержения», — писала она и высказала мнение, что «некоторая натянутость и как будто рассчитанность манер происходили у него всего скорее от застенчивости» (*ЛН*, т. 71, с. 446).

[5] Относительно конторы для переписки и переводов с иностранных языков сведений не имеется. Что же касается переплетных мастерских, то в записке Третьего отделения от 1 декабря 1864 года сообщалось о существовании в Петербурге двух женских переплетных мастерских. Одна из них — переплетная В. И. Печаткиной — упомянута в записке и известна из литературы. Другую возглавила В. А. Иностранцева, активная участница женского движения, в конце 60-х — первой половине 70-х годов гражданская жена В. А. Слепцова (см.: *ЛН*, т. 51—52, с. 497). В. В. Стасов так писал о ней в своих мемуарах: «Молодая и красивая особа Варвара Александровна Иностранцева... проникнутая идеею «женского труда», самопомощи и «артели»... устроила переплетную артель и стояла довольно долго в ее главе, бодро, умело, энергично» (Стасов В. В. Воспоминания о моей сестре.— Книжки недели, 1896, с. 497). Возможно, что именно под влиянием В. А. Слепцова и была создана переплетная мастерская В. А. Иностранцевой.

[6] Знаменская коммуна, получившая это название от Знаменской улицы, где она находилась, иначе называлась слепцовской коммуной. Она была основана летом 1863 года, то есть вскоре после опубликования рома-

на Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и под несомненным его влиянием. Коммуна состояла из интеллигентных трудящихся женщин и небольшого числа мужчин. В доме Бекмана, где помещалась Знаменская коммуна, для ее членов и посетителей читались лекции видными учеными и общественными деятелями — И. М. Сеченовым, П. Л. Лавровым, А. Ф. Головачевым и другими. Коммуна просуществовала около года и затем самоликвидировалась. В записке Третьего отделения от 1 декабря 1864 года сообщалось, что «коммуна уничтожилась вследствие того, что члены ее узнали, что за ними наблюдают» (см.: *ЛН*, т. 71, с. 454). Реакционными кругами о коммуне распространялись клеветнические слухи, что нашло свое отражение в пасквильном романе В. В. Крестовского «Панургово стадо» (1869), а также в романе Н. С. Лескова «Некуда» (1864). О Знаменской коммуне см. статью К. И. Чуковского «История слепцовской коммуны» в сборнике его статей «Люди и книги» (М., 1958) и *ЛН*, т. 71, посвященный В. А. Слепцову.

[7] Повседневная головная повязка женщин из простонародья.

Василий Иванович Семевский

Впервые очерк был опубликован в журнале «Голос минувшего» (1917, № 9, 10) за подписью «Е. Семевская» в годовщину смерти В. И. Семевского и как дополнение к его там же напечатанным «Автобиографическим наброскам». Последние состояли из трех рукописных отрывков и были обнаружены после смерти В. И. Семевского в его архиве. Первая рукопись содержала воспоминания о детских годах и отрочестве, во второй рассказывалось о столкновении с профессурой Петербургского университета, препятствовавшей защите магистерской диссертации Семевского «Крестьяне в царствование Екатерины II», в третьем отрывке Семевский рассказывал о своем аресте в январе 1905 года и заключении в крепости. Печатается по тексту журнала.

[1] А. И. Семевский окончил курс в Михайловской артиллерийской академии, где был учеником П. Л. Лаврова. 27 сентября 1861 года, будучи в чине поручика гвардейской артиллерии, арестован в Петербурге вместе с некоторыми другими офицерами за участие в студенческих волнениях, предан военному суду и переведен в Брянский арсенал. В 1862 году вышел в отставку и служил на уральских заводах (см.: Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический словарь. М., 1928, т. 1, ч. 2, стб. 368).

[2] М. И. Семевский редактировал «Русскую старину» с 1870 года и до своей смерти — 1892 года.

[3] В. И. Семевский обучался во Втором кадетском корпусе в Петербурге в 1859—1863 годах. Многие преподаватели корпуса были деятелями общественного движения в начале 60-х годов (Н. П. и П. П. Ламбины, Э. Вреден, А. Д. Путята, Ломан, Савинов, Старов и др.).

[4] Знаменитый русский физиолог И. М. Сеченов вместе с другими профессорами принимал участие в чтении публичных лекций, когда из-за студенческих волнений Петербургский университет был закрыт. Лекции проводились в здании Думы и других залах в 1862 году (см. также коммент. 1 к главе XIII т. 1).

[5] Имеются в виду «Автобиографические наброски» В. И. Семевского (см. вводную заметку к данной статье).

[6] Журнал «Голос минувшего» начал выходить с января 1913 года как «Журнал истории и истории литературы, издаваемый при постоянном участии в редакции А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, П. Н. Сакулина и В. И. Семевского». С 1914 года на его титульном листе значилось, что он выходил «под редакцией С. П. Мельгунова и В. И. Семевского».

[7] На смерть В. И. Семевского откликнулись некрологами органы почти всей радикальной и либеральной печати. Эти отклики были перепечатаны в № 10 «Голоса минувшего» за 1916 год. Там же публиковались и телеграммы от отдельных лиц, направленные в редакцию. В некрологе, принадлежавшем перу А. М. Горького, напечатанном в издававшемся им журнале «Летопись» (1916, № 10), говорилось: «Наставник нескольких поколений русской интеллигенции, В. И. Семевский был неутомимый, рыцарски-честный работник на трудном, так легко и густо зарастающем разной сорной травой поле общественной деятельности. Человек талантливый, искренний и правдивый друг народа — это один из тех наших радикал-демократов, которые умели любить свой народ любовью мудрой, спокойной и непоколебимой... Старый рыцарь В. И. Семевский был достойным представителем той русской интеллигенции, которая в отчаянных условиях нашей действительности героически и мужественно совершала колоссальный труд духовного возрождения страны... Старая русская интеллигенция была сильна своим социальным романтизмом, своею верой в прогресс — эта вера дала ей силу вписать в суровую летопись русской жизни несколько ярких и прекрасных страниц» (*ГМ*, 1916, № 10, с. CXXXVIII). Бывшие шлиссельбуржцы, в числе которых были Г. А. Лопатин, Н. А. Морозов, В. Н. Фигнер, М. Ф. Фроленко и другие, почтили его память теплым некрологом, в котором заметили, что о заслугах В. И. Семевского перед революционным движением еще не настала пора говорить вслух (см.: т а м ж е, с. CXII—CXIII). Стоит отметить, что немало участливых слов было сказано в адрес Е. Н. Водовозовой-Семевской. Непосредственно обращаясь к ней, Вера Николаевна Фигнер писала: «Примите и мое участие в вашем горе — больно узнать, что Василия Ивановича уже нет. Крепко целую и обнимаю вас. Вера Фигнер» (т а м ж е, с. CXLIV—CXLV). В речи при погребении известный народнический деятель Н. С. Русанов указал на роль Елизаветы Николаевны в жизни В. И. Семевского и на нее как на светлый образ, облагораживающий душу (т а м ж е, с. CXLI). Отмечалась и роль В. И. Водовозова в духовном и нравственном формировании Семевского. Так, И. А. Линниченко писал, что облик Семевского сложился под воздействием В. И. Водовозова, у ко-

торого он учился и в семье которого воспитывался еще с гимназической скамьи (там же, с. XLI).

[8] Речь идет о статье С. П. Мельгунова «Историк-гражданин» с заголовком первой части — «Великое сердце». Из этого ясно, что редакционный некролог, напечатанный в № 9 «Голоса минувшего» за тот же год, был также написан С. П. Мельгуновым. В нем В. И. Семевский характеризовался словами: «великое и страждущее сердце», «историк-демократ», «историк-гражданин».

[9] Речь идет о сорокалетии научной и литературной деятельности В. И. Семевского (1914 год). Юбиляр отказался от официального чествования, и празднество состоялось лишь в узком кругу (см.: *ГМ*, 1916, № 10, с. XIV).

[10] В. И. Семевский с 1883 года читал курс лекций по русской истории на историко-филологическом факультете Петербургского университета в должности приват-доцента. Его лекции пользовались у слушателей большим успехом, но вызывали недовольство некоторых профессоров. Университетский устав 1884 года открыл широкие возможности для административного, бюрократического произвола. Этим воспользовался профессор истории К. Н. Бестужев-Рюмин, чинивший еще в 1881 году всяческие препятствия В. И. Семевскому в постановке на защиту его магистерской диссертации. Он сообщил министру народного просвещения И. Д. Делянову о критическом характере лекций Семевского.

1 января 1886 года Делянов направил попечителю учебного округа проект предложения о немедленном увольнении В. И. Семевского, что и было исполнено без указания причин увольнения. В ответе на один из административных запросов об этих причинах Делянов пояснял, что Семевский в своих лекциях говорил «о неприглядных картинах из крепостного права и быта помещиков», рассказывал «анекдоты» об императоре Павле, а на второе полугодие «объявил курс о царствовании имп(ератора) Александра I, где под рубриками «Военные поселения», «Аракчеев» и т. п. ему открывалось широкое поле для передачи слушателям происшествий, совершенно неуместных в аудитории учреждения, которое содержится на счет казны...» (Сватиков С. Г. Опальная профессура 80-х гг.— *ГМ*, 1917, № 2, с. 49—50). Студенты поднесли В. И. Семевскому адрес по случаю его увольнения, его подписали 309 человек, однако сбор подписей был запрещен университетскими властями, а один из студентов подвергнут аресту. В адресе было выражено «глубокое и искреннее сочувствие как честному русскому историку крестьянства, для которого народное благо было самым заветным идеалом». В нем также связывалось увольнение Семевского с воцарением «духа нового устава» (Сватиков С. Г. Увольнение Семевского и петербургское студенчество.— *ГМ*, 1916, № 12, с. 233. Подробнее о гонениях на прогрессивную профессуру в связи с уставом см.: Щетинина Г. И. Университеты в России и устав 1884 года. М., Наука, 1976). Свой протест В. И. Семевский выразил тем, что сам тотчас прервал лекции и в других учебных заведениях, не-

смотря на то что в Александровском лицее его просили дочитать курс до конца года (см.: С в а т и к о в С. Г. Опальная профессура 80-х годов.— *ГМ*, 1917, № 2, с. 50).

[11] В. И. Семевский отправился в Восточную Сибирь для исследования истории и современного положения рабочих на золотых приисках. Он пробыл в Сибири около года и в это время ознакомился с материалами архивов Иркутска, Красноярска, Томска, Олекминских и Витимских приисков и др. Результатом этого изучения явился двухтомный труд «Рабочие на сибирских золотых приисках», изданный в 1898 году в Петербурге.

[12] Имеется в виду «Комитет для разбора дел о просящих милостыню», существовавший в Петербурге (а также в Москве) с 1836 года и состоявший в ведении министерства внутренних дел.

[13] В «Русской старине» печатались следующие работы В. И. Семевского: «Сельский священник во второй половине XVIII века» (1877, т. XIX), «Н. И. Костомаров. 1817—1885 гг. Историко-биографический очерк» (1886, т. XLIX).

[14] Арест В. И. Семевского последовал после попытки прогрессивных ученых и литераторов предотвратить расправу правительства с мирным шествием рабочих к царю 9 января 1905 года: депутация, в составе которой был В. И. Семевский (в нее же входил и А. М. Горький), обратилась 8 января к министру внутренних дел П. Д. Святополк-Мирскому и председателю Кабинета министров С. Ю. Витте, но ничего не смогла добиться. 10 января после «кровавого воскресенья» все участники депутации были арестованы. В. И. Семевский описал эту историю во втором из своих «Автобиографических набросков». О депутации упоминает также и С. Ю. Витте (В и т т е С. Ю. Воспоминания, т. 1. М., 1960, с. 342).

[15] См. об этом в очерке «Из недавнего прошлого» (наст. том).

[16] Книга была издана в 1909 году в Петербурге. До того, в 1905 году, В. И. Семевский опубликовал в I томе издания «Общественные движения в России в первую половину XIX века» предисловие и статьи «Михаил Александрович Фон-Визин. Биографический очерк» и «Барон Владимир Иванович Штейнгель. Биографический очерк».

[17] Вышел только первый том труда В. И. Семевского «М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы». Революционные события и гражданская война задержали это издание, но первый том был опубликован еще при жизни Водовозовой. О многочисленных статьях В. И. Семевского о петрашевцах, лишь частично вошедших в первый том, рассказывается в предисловии к книге, написанном сыном Е. Н. Водовозовой — В. В. Водовозовым.

[18] То, о чем до революции 1917 года Е. Н. Водовозова могла лишь говорить вскользь или с помощью намеков, теперь говорилось ею открыто. Ее слова всецело подтверждаются текстом обращения «От Шлиссельбургского комитета», председателем которого с 1906 и до своей смерти являлся В. И. Семевский. В обращении отмечалось губительное для народа

бесправие и правительственное самовластие. В Шлиссельбурге, «как в фокусе ⟨...⟩ сосредоточились все ужасы, все муки, все жертвы, какими отмечено русское освободительное движение, начиная с Новикова и декабристов и кончая героями последних дней. Шлиссельбург был местом заточения, пыток и казней лучших, энергичнейших борцов за счастье народа. Могучая угроза в руках самодержавия,— в глазах тех, кому дороги честь и свобода родины,— он всегда был эмблемой великой душевной красоты, великого гражданского подвига. Это был как бы почетный боевой пост, на котором, в ожидании верной гибели, бестрепетно стоял авангард революции» (Былое, 1906, № 1, с. 315).

[19] Здесь прежде всего имеется в виду профессор истории К. Н. Бестужев-Рюмин, учеником которого был ранее В. И. Семевский и который сыграл весьма бесславную роль в ученой деятельности своего ученика, начав с препятствий к защите его магистерской диссертации. В качестве таковой В. И. Семевский представил первый том своего исследования «Крестьяне в царствование Екатерины II», законченный им в 1880 году. Хотя работа эта уже частями печаталась в факультетских записках Петербургского университета, после событий 1 марта 1881 года реакционная профессура добивалась отмены состоявшегося решения о печатании труда В. И. Семевского. Его удалось опубликовать ценой ряда купюр. Тем не менее историко-филологический факультет признал диссертацию неудовлетворительной и отказался ставить ее на защиту. Работа была защищена в Московском университете в феврале 1882 года. Вскоре в журнале «Вестник Европы» (№ 5 за тот же год) была опубликована статья «Диспут г. В. И. Семевского в Москве» за подписью «Z». В ней вскрывалась история интриг вокруг диссертации. Автором был А. Веселовский. Сам В. И. Семевский рассказал о перипетиях со своей магистерской диссертацией в «Автобиографических набросках».

[20] Имеются в виду интриги Бестужева-Рюмина против защиты В. И. Семевским магистерской диссертации, заявлявшего И. Д. Делянову о политической неблагонадежности Семевского.

[21] Точнее, в самом начале 1886 года.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ [1]

[1] В указатель внесены названия периодических изданий и личные имена, упомянутые прямо или косвенно в текстах воспоминаний. Ссылки на страницы вступительной статьи и комментариев набраны курсивом. Имена и названия, встречающиеся только в статье и комментариях, в указатель не включены. В указатель не включены также имена лиц, скрытых за псевдонимами, и имена, подлинность которых не имеет подтверждения.

СОДЕРЖАНИЕ

НА ЗАРЕ ЖИЗНИ

Часть III

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

МЕМУАРНЫЕ ОЧЕРКИ И ПОРТРЕТЫ

Водовозова Е. Н.

В 62 На заре жизни; Мемуарные очерки и портреты. Т. 2 /Подгот. текста и коммент. Э. Виленской.— М.: Худож. лит., 1987.—527 с. (Лит. мемуары).

В том вошли третья часть книги «На заре жизни», а также мемуарные очерки о писателях и общественных деятелях, с которыми Е. Н. Водовозова встречалась в 70—80-х годах прошлого века: В. И. Водовозове, В. А. Слепцове, В. И. Семевском.

В $\frac{4702010100\text{-}125}{028(01)\text{-}87}$ 23-87 ББК 84Р1

ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА ВОДОВОЗОВА

НА ЗАРЕ ЖИЗНИ

В двух томах

Том 2

Редактор **Л. Платонова**

Художественный редактор **Г. Масляненко**

Технический редактор **М. Плешакова**

Корректор **Н. Пехтерева**

ИБ № 4309

Сдано в набор 14.05.86. Подписано к печати 16.10.86. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72+1 вкл.+альбом=28,61. Усл. кр.-отт. 29,92. Уч.-изд. л. 32,13+1 вкл.+альбом=32,92. Тираж 100 000 экз. Изд. № II-2123. Заказ 416. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15